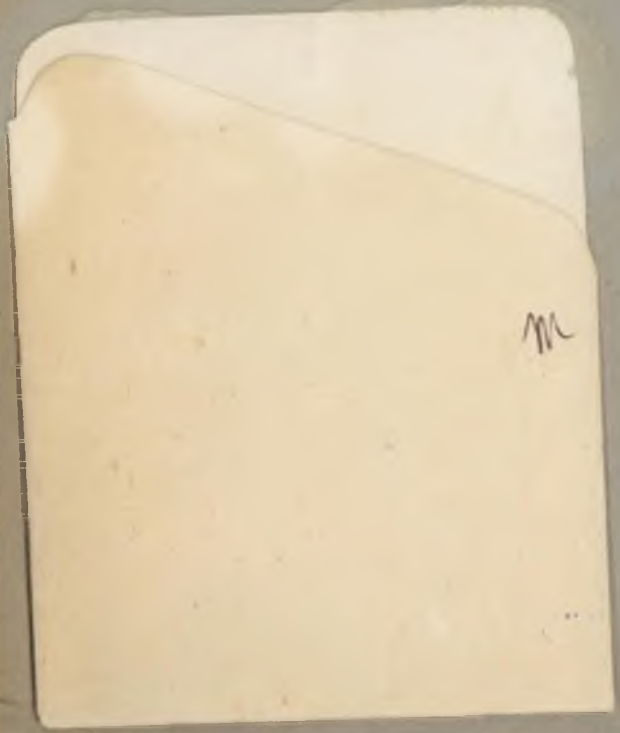
174612

Н. Л. Рубинштейн

РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ



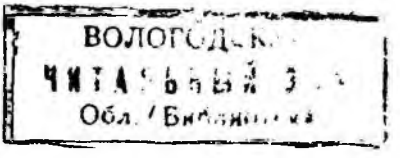
КНИГА
В СОХРАННОСТИ

Н. Л. РУБИНШТЕЙН

РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

174612.

Допущено Всесоюзным Комитетом по делам высшей школы при СНК СССР в качестве учебного пособия для исторических факультетов университетов и педвузов



ОГИЗ • ГОСПОЛИТИЗДАТ • 1941

9 (с)
Р 82

9
Р 82 901(02)

Книга Н. Л. Рубинштейна «Русская историография» впервые дает полную историю развития русской исторической науки от ее начала в летописях Киевской Руси и до Советского периода, кончая работами Ленина и Сталина. В книге показано последовательное накопление конкретных исторических знаний и развитие исторической мысли в связи с общим развитием истории СССР.

Книга рассчитана на студентов и аспирантов, изучающих историю СССР, на преподавателей истории, а также на всех интересующихся развитием исторической науки.

Редактор *А. М. ЛЬВОВ*
Младший редактор *Н. А. КИСЕЛЕВА*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга — результат работы автора, начатой в 1936/37 учебном году в связи с курсом лекций, читавшимся в Московском институте философии, литературы и истории, ныне Институте им. Чернышевского.

Тема исследования — история развития русской исторической науки, его основное содержание — история русской исторической мысли в научном познании русского исторического процесса.

Исходя из теоретических положений марксизма-ленинизма, автор видел разрешение своей задачи в познании действительной закономерности этого развития в последовательном, поступательном движении науки.

Эта закономерность раскрывается в конкретно-исторической обусловленности развития исторической науки. Прежде всего всякая идеология обусловлена общей закономерностью исторического развития самих общественных отношений: периодизация русской истории определяет периодизацию русской историографии. Идеологические связи, идеологические влияния составляют второй, дополнительный момент, определяющий развитие исторической науки: они заключаются в системе философских воззрений и в непосредственном влиянии исторической науки других стран; они получают отражение в общем состоянии общественной и научной мысли. Наконец, конкретное состояние исторических знаний и их практической разработки ближайшим образом определяет и обусловливает направление и границы развития науки.

Раскрытие указанных предпосылок, этой внутренней обусловленности развития, составило первую задачу исследования. Им открывается изучение каждого периода в развитии русской исторической науки.

Развитие самой исторической мысли составляет основной предмет книги. Для разрешения этой задачи важно было правильно определить основную линию развития исторической науки, ее определяющие звенья, ее ведущих представителей. Обычное в историографических работах перечисление большого число историков и их исторических работ имеет по суще-

ству справочное, библиографическое, а не познавательное значение. В общей историографии в значительной своей части — это фон; действительный путь науки получает свое полное и отчетливое выражение в ее наиболее ярких и типичных представителях. Можно спорить о том, правильно ли выделены в настоящей книге одни историки и опущены другие, но самое изучение сменяющихся исторических направлений возможно лишь через научный анализ творчества основных, наиболее типичных представителей каждого периода, каждой школы.

В связи с этим перед историком встает сложная и ответственная задача — определить конкретную историческую обусловленность рассматриваемых научных концепций, принадлежность изучаемого историка к определенному историческому периоду, определенной общественной среде. Деятельность историка протекает на значительном отрезке времени, но каждый историк имеет определенный период научной зрелости, когда оформляется его научное миросозерцание, — и это есть тот период, который представлен данным историком в общем развитии исторической мысли. Деятельность историка продолжается и дальше, но новые проблемы, выдвинутые новой эпохой, отражены уже другими выдвинутыми этой эпохой научными направлениями. Такова специальная методологическая проблема историографического изучения.

В связи с отмеченными выше проблемами решается вопрос о месте биографического элемента в историографическом изучении. Связи общественные, связи идеологические, личный идейный рост самого изучаемого историка и развитие его научной деятельности — таковы элементы, без которых невозможно историографическое изучение. В ряде случаев эта общественная и научная биография не только раскрывает научные предпосылки, но дает как бы вторичную проверку, материал, дополняющий научный анализ.

Наконец, необходима еще одна оговорка принципиального характера. Рассматривая развитие историографии в целом, автор не вносил в курс внешних оценок. Раскрывая внутреннюю сущность дворянской или буржуазной историографии в ее принципиальной, теоретической и методологической внутренней ограниченности, автор считал излишним формальное воспроизведение оценок каждого отдельного историка с точки зрения современного состояния науки. Автор считал по той же причине излишним формальное противопоставление марксистской концепции каждому ложному, ошибочному утверждению дворянской и буржуазной историографии.

Марксистский курс историографии в самом существе своем содержит другую, более высокую и принципиальную меру оценки. Маркс и Энгельс писали в «Немецкой идеологии»: «Коммунизм для нас не *состояние*, которое должно быть установлено, не *идеал*,

с которым должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом *действительное* движение, которое устраняет теперешнее состояние»[1].

Можно сказать, что подлинно научный труд по историографии также показывает, что исторический материализм «не состояние, которое должно быть установлено, не идеал», а «действительное движение». Движение исторической науки — такова тема исследования, исторический материализм — закономерное и неизбежное завершение пройденного пути. Движение исторической науки мобилизовало определенный запас исторических знаний, ставило определенные исторические проблемы, — в историческом материализме задача исторического познания получает свое законченное и единственное подлинно научное разрешение. Место отдельного историка на этом пути развития исторической науки определило реальную меру исторического значения каждого изучаемого исторического направления, каждого рассматриваемого историка.

Так автор понял стоящую перед ним задачу. Компетентные критики скажут, насколько он с нею справился.

Н. Рубинштейн.

Москва. МИФЛИ,
декабрь 1940 г.

---

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Немецкая идеология, Соч., т. IV, стр. 26.

ству справочное, библиографическое, а не познавательное значение. В общей историографии в значительной своей части — это фон; действительный путь науки получает свое полное и отчетливое выражение в ее наиболее ярких и типичных представителях. Можно спорить о том, правильно ли выделены в настоящей книге одни историки и опущены другие, но самое изучение сменяющихся исторических направлений возможно лишь через научный анализ творчества основных, наиболее типичных представителей каждого периода, каждой школы.

В связи с этим перед историком встает сложная и ответственная задача — определить конкретную историческую обусловленность рассматриваемых научных концепций, принадлежность изучаемого историка к определенному историческому периоду, определенной общественной среде. Деятельность историка протекает на значительном отрезке времени, но каждый историк имеет определенный период научной зрелости, когда оформляется его научное миросозерцание, — и это есть тот период, который представлен данным историком в общем развитии исторической мысли. Деятельность историка продолжается и дальше, но новые проблемы, выдвинутые новой эпохой, отражены уже другими выдвинутыми этой эпохой научными направлениями. Такова специальная методологическая проблема историографического изучения.

В связи с отмеченными выше проблемами решается вопрос о месте биографического элемента в историографическом изучении. Связи общественные, связи идеологические, личный идейный рост самого изучаемого историка и развитие его научной деятельности — таковы элементы, без которых невозможно историографическое изучение. В ряде случаев эта общественная и научная биография не только раскрывает научные предпосылки, но дает как бы вторичную проверку, материал, дополняющий научный анализ.

Наконец, необходима еще одна оговорка принципиального характера. Рассматривая развитие историографии в целом, автор не вносил в курс внешних оценок. Раскрывая внутреннюю сущность дворянской или буржуазной историографии в ее принципиальной, теоретической и методологической внутренней ограниченности, автор считал излишним формальное воспроизведение оценок каждого отдельного историка с точки зрения современного состояния науки. Автор считал по той же причине излишним формальное противопоставление марксистской концепции каждому ложному, ошибочному утверждению дворянской и буржуазной историографии.

Марксистский курс историографии в самом существе своем содержит другую, более высокую и принципиальную меру оценки. Маркс и Энгельс писали в «Немецкой идеологии»: «Коммунизм для нас не *состояние*, которое должно быть установлено, не *идеал*,

с которым должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом *действительное* движение, которое устраняет теперешнее состояние»[1].

Можно сказать, что подлинно научный труд по историографии также показывает, что исторический материализм «не состояние, которое должно быть установлено, не идеал», а «действительное движение». Движение исторической науки — такова тема исследования, исторический материализм — закономерное и неизбежное завершение пройденного пути. Движение исторической науки мобилизовало определенный запас исторических знаний, ставило определенные исторические проблемы, — в историческом материализме задача исторического познания получает свое законченное и единственное подлинно научное разрешение. Место отдельного историка на этом пути развития исторической науки определило реальную меру исторического значения каждого изучаемого исторического направления, каждого рассматриваемого историка.

Так автор понял стоящую перед ним задачу. Компетентные критики скажут, насколько он с нею справился.

Н. Рубинштейн.

Москва. МИФЛИ,
декабрь 1940 г.

---

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Немецкая идеология, Соч., т. IV, стр. 26.

ВВЕДЕНИЕ

Задача и тема марксистской историографии

Термин «историография» употребляется в литературе в двух значениях. В широком смысле, так сказать в обыденном употреблении, он обозначает вообще «писание истории». Соответственно говорят об историографии того или иного периода, имея в виду исторические работы этого периода. Отсюда и звание историографа, употреблявшееся в XVIII и в начале XIX в.; Миллер или Карамзин получили звание «историографов» вместе с официальным поручением писать русскую историю. В специальном научном применении под историографией понимают историю самой исторической науки.

Вместе с тем задачи и содержание историографии определяются марксистским пониманием содержания самой исторической науки. Буржуазная историография зачастую смешивает историческую науку с непосредственным запасом исторического знания. Классики марксизма-ленинизма отчетливо разделяют эти два понятия. Энгельс писал о науке XVIII в.: «...знание стало наукой, и науки стали совершеннее, т. е. примкнули, с одной стороны, к философии, с другой — к практике»[1].

Процесс накопления исторических знаний, конкретного исторического материала—необходимая база, материальная основа, на которую опирается наука в своем развитии. Но только теоретическое осмысление внутренней связи явлений, только теоретическая мысль, раскрывающая в разрозненных фактах реальную систему действительных отношений, превращает знание отдельных исторических фактов в действительное познание истории, историческое знание—в историческую науку.

Поэтому и задача историографии как истории исторической науки — не простое подведение итогов и суммирование накопленных фактических знаний, — она изучает рост науки в развитии ее содержания, историю творческого пути науки в развитии научной мысли. Современная марксистская историческая наука

[1] *Энгельс*, Положение Англии. — XVIII век, *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. II, стр. 348.

является в какой-то мере действительным итогом пройденного наукой пути, и поэтому задача историографии — не формальная критика и разоблачение ограниченности пройденных этапов, с тем чтобы их осудить и отвергнуть, а раскрытие этого действительного пути развития в диалектическом преодолении прошлого, в творческом процессе критического освоения исторического наследства. «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — говорил Ленин на III съезде Комсомола. «...Только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру...»[1]

Теория марксизма-ленинизма определяет и пути историографического изучения. Буржуазная историография сводила развитие исторической мысли к внешней смене и борьбе абстрактных идей, остающихся вне самой исторической науки и ее развития. Марксистская историография раскрывает прежде всего действительную историческую закономерность развития исторического познания в его внутреннем единстве и реальной обусловленности. Когда Энгельс говорит о связи исторической науки с философией и практикой, то это означает, что история является частью идеологии и как вся идеология определяется в своем развитии действительным развитием самой исторической жизни.

Поэтому марксистская историография изучает развитие исторической науки в связи с развитием общественных отношений, в общем развитии исторического процесса. Ее историческая обусловленность при этом особого, двоякого характера. Она выступает не только как продукт исторического развития, но и как его «отражение».

Историческое знание есть элемент общественного сознания человека. «Сознание вообще *отражает* бытие, — это общее положение *всего* материализма», — писал Ленин. — «Общественное сознание *отражает* общественное бытие — вот в чем состоит учение Маркса»[2]. Теория отражения, отбрасывая идеалистическую теорию тожества сознания и бытия, «...признает общественное бытие независимым от общественного сознания человечества. Сознание и там и тут есть только отражение бытия, в лучшем случае приблизительно верное (адэкватное, идеально-точное) его отражение»[3].

Подлинное историческое знание, это — знание действительного развития человечества, это — познание необходимости и неизбежности утверждения коммунизма как теории и как практики. Изучение исторического процесса есть изучение пути, ведущего человечество от начальных форм общественного строя

[1] *Ленин*, Соч., т. XXX, стр. 407 и 406.
[2] *Ленин*, Материализм и эмпириокритицизм, Соч., т. XIII, стр. 264.
[3] Там же, стр. 266—267.

к коммунизму; изучение исторической науки раскрывает путь познания тех законов исторического развития, который привел коммунизм от утопии к науке, который лег в основу всего учения марксизма-ленинизма.

Именно в этой двойной связи непосредственного развития самого исторического процесса и развития исторического познания — особое значение изучения развития исторической науки.

История дает не просто развитие человеческих представлений в науке; являясь «приблизительно верным отражением» самого исторического развития и в то же время познанием этого развития, она является опосредствованным и потому наиболее полным и адэкватным отражением самой исторической жизни. История развития исторической науки есть своеобразное развитие общественного самосознания в истории.

Развитие исторической науки и возникновение историографии

Историческая наука, как «отражение общественного бытия», и историография, как наука о ее развитии, сами подчинены закону исторического развития. «Сама идеология есть только одна из сторон... истории»[1].

Историография как наука появляется позже самой истории, так как предполагает в качестве предпосылки существование истории как науки. Поэтому для историографии нет места ни в античном мире, ни в средние века, когда история причисляется к искусствам или служит религиозно-нравоучительным целям. Для этого периода отсутствует самая проблема истории как науки. Историческое мышление человека еще не выходит за рамки простого воспроизведения факта, причем в представлении человека его индивидуальное восприятие исторического события вполне адэкватно последнему, а сама историческая наука — лишь непосредственное воспроизведение этого восприятия. Налицо первичные элементы исторического представления — индивидуальное воспроизведение события, но отсутствует самая проблема исторического познания, т. е. основа истории как науки, и, следовательно, не может быть и проблемы развития исторической науки, т. е. историографии. По яркой характеристике Гегеля, писатель этого периода «воспроизводит непродолжительные периоды, индивидуальные образы людей и происшествий; нарисованная им картина воспроизводит *без рефлексии* (курсив мой. — *Н. Р.*) отдельные черты так, чтобы вызывать у потомков столь же определенное представление об изображенном, сколь определенно оно представлялось ему в воззрении или в наглядных повествованиях»[2].

Только назревание существенных качественных изменений в структуре феодального общества, назревание в недрах его глубоких политических и классовых противоречий нарушает

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Немецкая идеология, Соч., т. IV, стр. 8, примечание.
[2] *Гегель*, Философия истории, Соч., т. VIII, стр. 4.

эту кажущуюся «гармонию» и порождает необходимость перехода от простого воспроизведения факта к познанию его смысла и значения, а вместе с тем и необходимость критики самих исторических представлений. Начало принципиально нового периода связано с более глубокими изменениями социального порядка, с оформлением и выступлением на арену нового класса—буржуазии, с назреванием конфликта между двумя историческими формациями. В истории европейских стран этот процесс совершается на переломе от XVII к XVIII в. Этот период и характеризуется Энгельсом как период превращения знания в науку. «XVIII век объединил результаты прошлой истории, бывшие до того отрывочными и случайными, и развил их необходимость и внутреннее сцепление. Бесчисленные перепутанные данные познания были упорядочены, обособлены и приведены в причинную связь; знание стало наукой, и науки стали совершеннее, т. е. примкнули, с одной стороны, к философии, с другой — к практике. До XVIII века науки не существовало...» В истории «...мы встречаем теперь впервые многотомные компиляции по всемирной истории, еще без критики и совершенно без философии, но все-таки всеобщую историю, вместо прежних исторических отрывков, ограниченных данным местом и временем»[1].

В порядок дня становились два важнейших вопроса, определившие дальнейшее развитие истории как науки. С одной стороны, проблема исторического процесса, т. е. внутренней связи исторических событий, его обусловленности и исторической направленности; с другой — вопрос о самом познании исторических событий на основании свидетельств источников, проблема источниковедения. Но методы научной критики еще только вырабатываются, а связь событий остается чисто внешней. История только «примкнула» к философии и к практике, вступила с ними лишь во внешнюю связь.

Преодолеть эту разобщенность дано было только в XIX в. Буржуазная революция конца XVIII в., «скачок» из феодальной формации в капиталистическую, требовала своего осмысления и раскрытия. Внешний разрыв надо было преодолеть анализом внутренней закономерности органического развития. Рождение новой науки XIX в. Ленин связывает с бурными революциями, «...которыми сопровождалось падение феодализма, крепостничества, везде в Европе и особенно во Франции»[2]. Эти события породили лучшее, «...что создало человечество в XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономии, французского социализма»[3]. В этих условиях буржуазная историо-

[1] *Энгельс*, Положение Англии.—XVIII век, *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. II, стр. 348—349.

[2] *Ленин*, Три источника и три составных части марксизма, Соч., т. XVI, стр. 352.

[3] Там же, стр. 349.

графия в короткий период своего подъема впервые формулирует идею классовой борьбы в истории.

В этих условиях впервые возникает и проблема развития исторического познания, исторической науки, т. е. возникает наука историографии. В этом вопросе, как и в ряде других, передовую позицию в буржуазной науке занимает философия Гегеля. Глубокий историзм, проникающий всю гегелевскую философию, впервые пытавшуюся познать мир в его «самодвижении», изучавшую все человеческое знание в его развитии, определил и гегелевскую трактовку исторической науки. В «Философии истории» Гегель сделал первую попытку дать научную концепцию развития исторической науки, которая определила направление историографических исследований первой половины и середины XIX в. Гегель устанавливал три этапа в развитии исторической науки.

Первый этап — «первоначальная история», по определению Гегеля — история «без критики и без рефлексии»: «историки описывали преимущественно протекавшие на их глазах деяния, события и состояния, причем сами они были проникнуты их духом и переносили в сферу духовных представлений то, что существовало вовне».

Второй этап — «рефлективная история» — соответствует Энгельсовской характеристике XVIII в. Ее содержание раскрывается в указываемых Гегелем подразделениях на всеобщую историю, прагматическую историю и критическую историю. В этот период разрабатываются вопросы исторической критики, прежде всего критики источника, и вопросы связи между событиями.

Современную историческую науку XIX в. Гегель определяет как «философскую историю», как «мыслящее рассмотрение» исторического процесса. Ее содержание — раскрытие закономерности исторического развития, понимаемой самим Гегелем с буржуазных идеалистических позиций. «...Всемирная история, — говорит Гегель, — есть выражение божественного, абсолютного процесса духа... благодаря которому он осуществляет свою истину, доходит до самосознания»[1]. На основе Гегелевской философии истории проблема историографии обозначается теперь именно как «история самосознания».

Нельзя при этом не остановиться на том, что историческая наука начала XIX в., буржуазная историческая наука в эпоху своего подъема, выдвигает ряд определений и формулировок, стоящих как бы на грани нашей марксистской науки и все же столь же отличных от определений последней, как идеализм от диалектического материализма. Так, Маркс называл Тьерри

---

[1] *Гегель*, Философия истории, Соч., т. VIII, стр. 3—12 и 51.

«отцом классовой борьбы в истории», но это было не марксистское понимание классовой борьбы, это была классовая борьба без учения об общественно-экономических формациях и о диктатуре пролетариата. Диалектика марксизма-ленинизма поставила с головы на ноги гегелевскую диалектику, раскрывая «диалектику вещей», которую Гегель только «...*у г а д а л*... в диалектике понятий»[1]. Так и гегелевскому учению о «самосознании» абсолютного духа в истории противостоит марксистское понятие общественного самосознания, т. е. исторически обусловленного и развивающегося как «отражение общественного бытия» познания исторического развития человеческого общества.

Кризис буржуазной науки и судьба буржуазной историографии

Буржуазия, впервые осознающая проблемы современной исторической науки в период борьбы со старой феодальной системой, в период своего исторического подъема, была неспособна дать их законченное разрешение. Как логика событий в своем последовательном развитии должна была обратиться против нее и выковать пролетариат в качестве подлинного и до конца последовательного борца за историческое развитие общественных сил, за освобождение общества от «всякого рода гнета», так и учение Маркса — «...законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке»[2].

Буржуазная наука последовательно отказывается от лучших традиций начала XIX в. Она идет назад, возрождая разорванность исторического прагматизма, отказываясь от философского синтеза, от самого принципа органического развития в историческом процессе. Наступает «отчаяние в возможности научно разбирать настоящее... стремление наплевать на всякие обобщения, спрятаться от всяких «законов» исторического развития, загородить *лес* — деревьями...»[3]

В этих условиях меняется и трактовка историографической проблемы в буржуазной исторической литературе. Собственно говоря, утрачивается самая задача раскрытия единого процесса развития исторической науки. Вместо общих работ по историографии появляются специальные тематические историографические обзоры в специальных исторических монографиях, знакомящие с предшествующей литературой по данной специальной теме. Но вырванные из общего контекста развития исторической науки в целом, такие обзоры имеют скорее библиографический, чем историографический характер. Появляются и сводные исторические библиографии, «национальные библиографии» типа ра-

---

[1] *Ленин*, Философские тетради, стр. 189.

[2] *Ленин*, Соч., т. XVI, стр. 349.

[3] *Ленин*, Соч., т. XVII, стр. 271.

боты Моно во Франции. Даже общие историографические работы вроде одного из самых серьезных компендиумов — книги Fueter'a «Geschichte der neueren Historiographie», имеют значительный уклон в библиографию. Соответственно и все это направление можно было бы назвать библиографическим.

Другую попытку уйти от основных проблем развития исторической науки представляет биографическое направление. Его можно обозначить этим термином, поскольку основным его признаком является стремление свести историю науки к биографиям ученых. Не развитие общественной жизни и общественного сознания, а личная биография ученого выдвигается как единственный источник исторических воззрений и теорий. Как образец такой трактовки исторической науки можно указать одну из новых историографических работ — книгу Gooch'a «History and historians of the XIX century» («Историческая наука и историки XIX века»).

Только в XX в., перед лицом сложившейся марксистской исторической науки, снова появляются попытки возродить философское направление в историографии с позиций неокантианства. Это направление получило одно из своих характерных выражений в философско-исторической концепции риккертианства, пытающегося теоретически упразднить принцип причинного объяснения органического развития, ликвидировать самую основу внутренней закономерности исторического процесса. Так, в историографической работе Below'a «Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen» (1916) речь идет не об органическом процессе развития исторической науки, а о борьбе идеологических тенденций, последовательно возобновляющихся и повторяющихся и ждущих от историка только оценки. Эта оценка направлена прежде всего и непосредственно против марксизма, антагонистом которого и выступает это «нео»-философское направление.

Содержание курса русской историографии

Изучение истории на прочной научной основе исторического материализма утверждено трудами Маркса и Энгельса и получило дальнейшее развитие в трудах Ленина и Сталина. Учение классиков марксизма-ленинизма об историческом материализме положено в основу настоящей разработки русской историографии. *Задача русской историографии — дать историю развития русской исторической науки в условиях развития русской истории, в связи с общим развитием общественной и научной мысли и с непосредственным ростом конкретного исторического знания.*

При этом определение конкретного содержания настоящего курса русской историографии требует известного уточнения и ограничения. Прежде всего его тема определяется как «русская историография». От изучения русской истории мы перешли к истории СССР, потому что нам нужна такая история СССР,

«...где бы история Великороссии не отрывалась от истории других народов СССР»[1]. Но в этом взаимодействии каждый народ сохраняет внутреннюю закономерность своего развития и развития своей национальной культуры. Поэтому и исторические воззрения, историческая наука, как часть идеологии, часть национальной культуры, связана с развитием последней и, таким образом, проходит у каждого народа свой путь исторического развития. Соответственно историография каждого народа может служить предметом самостоятельного научного исследования, прежде чем стать предметом изучения в единстве внутренней связи исторического и культурного развития народов нашего Союза. Историография Украины, Белоруссии, народов Кавказа и Закавказья и многих других народов нашего Союза не вошла в состав настоящего курса. Приходится в этой связи оговорить включение в курс Н. И. Костомарова; Костомаров был не только украинским историком, но и историком России, и поэтому принадлежит как украинской, так и русской историографии.

Другое ограничение темы: в настоящее исследование не вошли ни сочинения русских историков по истории других стран (прежде всего по истории Запада), ни иностранные исследования по русской истории. Первые хотя и отражают общий уровень теоретического развития нашей науки, но в то же время развиваются в зависимости от материальной базы, создаваемой развитием исторической науки соответствующей другой страны. Со своей стороны иностранная литература по русской истории вносит в последнюю теоретические и методологические достижения западноевропейской науки, но не изменяет реальной материальной основы национальной исторической науки и, напротив, сама от нее зависит.

Но расчленяя таким образом самые объекты изучения, мы должны с тем большей отчетливостью подчеркнуть внутреннюю связь отдельных областей исторической науки в их реальном взаимодействии. Историческая наука как часть идеологии развивается в условиях не только материальных, но и идеологических воздействий, в частности под значительным влиянием западноевропейской исторической науки, до новейшего времени опережавшей в своем развитии русскую историческую науку. В «Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР» товарищи Сталин, Жданов и Киров в частности писали: «Конспект не отражает роли и влияния западно-европейских буржуазно-революционных и социалистических движений на формирование буржуазного революционного движения и движения пролетарско-социалистического в России»[2]. Это указание целиком и полностью относится и к вопросам историографии.

---

[1] «К изучению истории», стр. 24.
[2] Там же, стр. 23.

Периодизация русской историографии

Марксистская трактовка исторической науки определяет и самую периодизацию русской историографии.

Изучение развития исторической науки и раскрытие основных этапов ее роста исходят из его исторической обусловленности. Поэтому развитие исторической науки отражает в основных этапах общую периодизацию русской истории. Но отражение не означает полного совпадения, поскольку и в ходе самого исторического развития оформление новой идеологии зачастую предшествует непосредственному торжеству нового начала в исторических отношениях общественной жизни, опережая последнюю.

Развитие русской исторической науки прошло следующие основные периоды:

1) Период феодальной историографии, распадающийся на три этапа, отвечающих:

а) феодальной раздробленности (до конца XV в.),

б) развитию феодально-абсолютистского строя в XVI—XVII вв. и

в) превращению исторических знаний в историческую науку в условиях складывания новых, буржуазных отношений.

2) Период буржуазной исторической науки:

а) ее формирования в рамках крепостного государства в первой половине XIX в.,

б) ее расцвета, связанного с трудами С. М. Соловьева в условиях победы буржуазных отношений в период реформ 60-х годов и

в) ее назревающего кризиса с 60-х годов XIX в.

3) Период кризиса буржуазной исторической мысли и создания марксистско-ленинской науки русской истории — период империализма и борьбы рабочего класса за пролетарскую революцию.

Наконец, 4) Историческая наука советского периода.

Соответственно содержание настоящего курса распадается на следующие четыре основных раздела:

1. Историческое знание феодальной России до конца XVII в.
2. Русская историческая наука XVIII в. Превращение знания в науку.
3. Буржуазная историческая наука в XIX в.
4. Русская историческая наука в эпоху империализма.

Рассмотрение Советского периода уже не входит в задачу настоящей работы.

Русская историографическая литература

Литература русской историографии, отражающая основные течения исторической науки, отличается бедностью общих историографических работ.

Один из первых историографических очерков в русской исторической литературе связан с оформлением русской буржуазной историографии и принадлежит ее лучшему представителю — С. М. Соловьеву. Надо сказать, однако, что его краткий очерк «Писатели русской истории XVIII в.» отличается сугубо описательным, почти справочным характером. Первым опытом курса русской историографии следует скорее признать книгу М. Кояловича «История русского самосознания». Отражая, с одной стороны, гегельянское влияние, так ярко сказавшееся в самом названии книги, работа Кояловича в развитии русской идеологии непосредственно примыкает к славянофильству, определившему его трактовку отдельных исторических теорий и исследований. В своем конкретном содержании она доходит до 80-х годов XIX в.

Другой общий обзор — «Главные течения русской исторической мысли» П. Н. Милюкова — сложился из лекций автора 1886—1887 гг. Надо сказать, что уже самое название книги отражает характер трактовки темы. «Историческая мысль» фактически целиком и полностью оторвана автором от исторических основ ее формирования. Речь идет лишь о сменяющихся идеологических течениях. В своем месте, при анализе общей исторической позиции автора, мы вернемся еще к характеристике этой работы. Надо добавить, что книга Милюкова доходит лишь до 40-х годов XIX в.

Другие буржуазные историографические работы отражают уже указанные выше биографическое и библиографическое направления. Яркий пример первого — книга К. Н. Бестужева-Рюмина «Биографии и характеристики», пример второго — «Опыт русской историографии» В. С. Иконникова или литографированный курс историографии Д. И. Багалея.

Задачу создания научной историографии не смог разрешить и М. Н. Покровский, посвятивший историографическим вопросам целый ряд своих работ Советского периода. Это вытекало из общей порочности его методологии. Его лекции по историографии, изданные под названием «Историческая наука и борьба классов», легли в основу его позднейших специальных статей и историографических статей его учеников. В своих лекциях М. Н. Покровский нередко с большой остротой отмечает социальное содержание воззрений историка, их классовую обусловленность. Но при этом самая задача исследователя переводится формально в плоскость «классовой борьбы», исследование превращается в голую полемику с изучаемым историком. Поэтому у М. Н. Покровского в конечном счете пропадает историческая

наука как целое и ее развитие; все сведено к антагонизму двух исторических концепций. И если подлинная задача марксистского анализа—раскрыть классовую ограниченность пройденного этапа для преодоления этой ограниченности, но вместе с тем для освоения и развития его положительных достижений, то у М. Н. Покровского фактически выпала последняя основная задача марксистской историографии.

За исключением этих немногих общих работ, притом весьма неполных по содержанию и хронологическому охвату материала, русская историографическая литература представлена лишь рядом специальных статей и очерков, посвященных отдельным историкам или проблемам[1].



17.9.74

ВОЛОГОДСКАЯ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Обл. Библиотека

[1] Указания на эту специальную литературу будут делаться в своем месте в ходе изложения.

Раздел I

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ РОССИИ ДО КОНЦА XVII в.

ГЛАВА 1

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (XI—XV вв.)

Основная литература: *Шахматов, А. А.*, Разыскания о древнейших русских летописных сводах, Спб. 1908. — *Его же*, Общерусские летописные своды XIV и XV вв., «Журн. мин-ва народн. просв.», 1900, сентябрь, стр. 90—176; ноябрь, стр. 135—200; 1901, ноябрь, стр. 52—80. — *Его же*, Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв., Акад. наук СССР, М.—Л. 1938.— *Пресняков, А. Е.*, Древнерусское летописание, «История русской литературы до XIX в.», т. I, под ред. А. Е. Грузинского, изд-во «Мир», М. 1916. — *Его же*, Летописное дело в XIV—XVI вв. (там же).— *Его же*, Лекции по русской истории, Соцэкгиз, М. 1938, т. I, Киевская Русь.— *Приселков, М. Д.*, Нестор-летописец, изд. Брокгауз-Ефрон, Птг. 1923.—*Его же*, История русского летописания XI—XV вв., изд-во ЛГУ, Л. 1940. — *Иконников, В. С.*, Опыт русской историографии т. II, кн. 1, Киев 1908.— *Коялович, М. О.*, История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, Спб. 1884.

Начало исторического знания

Буржуазные курсы русской историографии начинаются обыкновенно с XVIII в., с Татищева, как «отца русской исторической науки»; иногда, как Милюков, отмечают еще «Синопсис» Иннокентия Гизеля в качестве предверия исторической науки XVIII в., но совершенно отбрасывают весь предшествующий период русской исторической науки, период исторических знаний, еще не превратившихся в науку. В лучшем случае, первые письменные памятники русской истории от летописей XI в. до исторических повестей и хронографов XVII в. попадают во введение, по разделу источников, резко противопоставляемых собственно историческим произведениям.

Такой разрыв в развитии исторической науки коренится в особой буржуазной трактовке как источника, так и истории. Историческая наука, согласно этой точки зрения, есть прежде

всего субъективная интерпретация исторических фактов. Источник должен быть прежде всего «объективен», причем «объективность» понимается формально, как отсутствие авторского начала, как голое воспроизведение факта, его простая фотография[1].

Поэтому и летопись, утверждаемая как источник, превращается в простую и непосредственную регистрацию исторических фактов. Таков образ летописца, запечатленный в словах пушкинского Пимена: «Описывай, не мудрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь». Между тем уже лучшие буржуазные исследователи видели несоответствие этой концепции действительности. В середине XIX в. Надеждин еще пытался отделить «волков» от «агнцев», направляя свои обвинения только против московских летописцев XV—XVI вв.: «Составители их работали уже не по внутреннему призванию, а по заказу, в угождение известным понятиям и идеям, не имели ни добродушной простоты, ни искренней правдивости древних летописцев»[2].

Еще определеннее и резче высказался крупнейший знаток русской летописи А. А. Шахматов: «Рукой летописца управлял в большинстве случаев не высокий идеал далекого от жизни и мирской суеты благочестивого отшельника... рукою летописца управляли политические страсти и мирские интересы»[3].

Марксистское понимание в самом субъективном элементе, в авторской интерпретации, видит продукт эпохи и тем самым утверждает за ней значение исторического свидетельства.

В исторических произведениях этого начального периода обе темы выступают еще нераздельно, они являются и источником — свидетельством о фактах, и историографическим памятником — свидетельством об уровне исторических взглядов, исторического понимания эпохи. Поэтому разделение историографии и источниковедения определяется в данном случае не разницей исторических памятников, а разницей тех объективных сторон, которые являются предметом изучения. Источниковедение интересуется достоверностью самого источника и воспроизводимых им фактов. Историография выясняет осмысление автором исторических фактов и связи между ними.

Но не всякая субъективность трактовки сама по себе делает тот или иной памятник предметом историографии. Напрасно М. Коялович, отдавая летопись источниковедению, в то же время ищет истоки истории в литературных памятниках XIV—XV вв., в многочисленных повестях о Куликовской битве или в Сказании

---

[1] Впрочем, на определенном этапе развития буржуазная историческая наука в своем бегстве от синтетического осмысления исторического процесса объявляет такой объективизм формального отображения фактов идеалом научного исследования.

[2] *Надеждин*, Об исторических трудах в России, Библ. для чтения, кн. XX, 1837, стр. 98.

[3] *Шахматов*, Повесть временных лет, т. I, Птг. 1916, стр. XVI.

о князьях Владимирских. Последнее, несомненно, отразило определенную политико-историческую концепцию эпохи и поэтому в свою очередь отразилось в исторических памятниках непосредственно следующего затем периода. Но сам по себе этот памятник не принадлежит историографии, представляя лишь отражение исторических взглядов в литературном или публицистическом произведении. Эти памятники не ставят себе задачи дать историю, т. е. показать если не историческую связь, то во всяком случае историческую преемственность событий. Именно это дается прежде всего летописью, и именно поэтому с летописи и начинается история нашей науки.

Летопись как историографический памятник

Процесс складывания летописи — специальная тема источниковедения. Но в плане историографического рассмотрения важно то, что на разных стадиях ее формирования в разной степени выявляется ее историографическое значение. Если существовала первоначальная стадия простой погодной записи в стенах того или иного монастыря или церкви, то здесь начало исторического осмысления событий совсем ничтожно, хотя оно сказывается и здесь в отборе регистрируемых фактов.

Следующая стадия — местное летописание: летопись отдельного монастыря (например летопись Киево-Печерского монастыря) или отдельного княжества, отдельной земли. Здесь принцип отбора фактов, событий еще совершенно прост, голая хронологическая последовательность целиком заменяет вопрос об исторической связи. Только в летописном своде, долженствующем объединить всю историю русских земель, историческая задача выступает во всей полноте.

Указанная выше двойственная природа летописи — как источника и как памятника историографии—присуща летописи во всех ее видах и на всех стадиях ее развития, она характеризует самое существо летописи как исторического памятника. Историк всегда отделяет свой текст, свой взгляд от своего источника; в летописи сняты все грани, отделяющие автора-составителя летописи, свода от его источника. Автор чувствует себя полным хозяином полученного им от своего предшественника материала. Может быть, одна из причин этого заключается в том, что самая техника переписки ставит даже переписчика рядом с автором и позволяет ему ставить свое имя на списке вместо имени автора. С тем большим правом делает это продолжатель-летописец. Но в силу этого он присваивает себе и право свободного распоряжения текстом, вносит в него свои поправки и изменения и включает их в текст, совершенно не оговаривая его переделки. Первоначальный текст и его «авторская» обработка непосредственно сливаются, переходя один в другой. В результате та же «Начальная летопись» явилась в своих различных редакциях, заслонивших ее первоначальный текст.

Зависимость между автором и материалом сказывается и в обратном направлении. Если, с одной стороны, мы говорим, что составитель летописного свода подчиняет себе первоначальный летописный текст, то в конечном счете оказывается, что текст подчиняет себе автора-сводчика, что текст довлеет над ним. Чем дальше летописец-сводчик отстоит от начала летописания, чем объемнее полученное наследство, тем сложнее даже простая переписка. Новый текст часто является простым дополнением к предшествующему своду; в лучшем случае происходит известный отбор фактического материала. Уже составителю начального свода — «Повести временных лет» — не удалось достигнуть полного согласования составных частей, даже политическая обработка текста не доведена им до конца. Каждый летописец осуществляет фактическое авторство лишь в отношении небольшого отрезка летописи, описанного им в качестве современника. Отсюда чисто механическое соединение отдельных частей в сложном памятнике, который мы называем летописным сводом. Механическим объединением отдельных частей и является летописный текст вплоть до XV в.

Внутренней разрозненности материала соответствуют и общие исторические представления писателя этой эпохи. Он не ищет в исторической действительности внутренней связи и закономерности развития описываемого исторического события. Будучи обычно сам представителем церкви, он подчиняет его внешней силе божественного промысла: каждое событие существует вне внутренней связи с другими, а как проявление высшей воли, высшей божественной силы, провидения. Отсюда и определение этого мировоззрения термином — «провиденциализм».

Данная трактовка исторического процесса является в то же время непосредственным «отражением общественного бытия», — состояния феодальной раздробленности, когда в представлении современника исторический процесс ограничивался пределами местных исторических событий.

История древнерусского летописания. «Повесть временных лет»

Процесс роста феодальной раздробленности нашел свое выражение в развитии летописания.

В самом начале его истории стоит один из наиболее законченных и цельных летописных памятников — Повесть временных лет. Правда, анализ летописного текста привел акад. Шахматова к выводу — впрочем, оспариваемому некоторыми исследователями — о ряде последовательных сводов, наслаивавшихся один на другой в процессе создания Повести: таковы своды 1039 г., 1073 г., 1093 г., Несторова редакция 1113 г., редакция Сильвестра — политическая обработка 1116 г. и, наконец, свод 1118 г. Как бы то ни было, в конечном итоге, при самой своей многосоставности, эта летопись все-таки проникнута известной общей идеей некоторого политического единства под

главенством киевского князя. Эта идея проводится от призвания князей и до вокняжения Владимира Мономаха. Это — идея «русской земли».

«Се повести временьных лет, отъкуду есть пошьла русьская земля, къто в Кыеве нача пьрвее къняжити и отъкуду русьская земля стала есть»[1]. Таким образом, в летопись попадают две важнейшие проблемы нашей древней истории: происхождение русского народа и возникновение государства, — проблемы, продиктованные политическими условиями конца XI— начала XII в., ростом феодального распада и усилением княжеских междоусобиц. Повесть и в литературном отношении представляется наиболее целостным и законченным историческим памятником, отличаясь в этом отношении от ее последующих продолжений.

Можно думать, что это превосходство Повести определяется двумя моментами. С одной стороны, внешнее влияние: Киевская летопись XI в. непосредственно примыкает к ее византийским образцам. Автор обнаруживает знакомство с византийской хроникой Георгия Амартола, переведенной на славянский язык в XI в., повидимому, и с другими византийскими хрониками — Кедрина, Зонары, Льва Дьякона; отсюда он черпает и фактический материал; отсюда возникают и многие волнующие его проблемы. Киевское духовенство XI в. воспитано на образцах высокой по тому времени византийской культуры: влияние византийских образцов обусловило и относительно более высокий идеологический и литературный уровень Повести.

С другой стороны, и материальные условия представляли еще относительно более благоприятную обстановку. В начальный период феодального распада державы Рюриковичей Киев еще сохранял свое материальное и политическое первенство. Политическая концепция первенства Киева и зависимости от него остальных русских земель легла в основу исторической схемы Повести, сложившейся в окружении киевского князя.

Но даже в этих условиях летописец не в силах осуществить действительное единство текста. Текстовой анализ, начиная со Шлецера и до Шахматова, разложил Повесть на ее составные части—записи новгородские и киевские, жития, повести, легенды. В самой трактовке событий сказывается неизменное скрещение авторских тенденций. Так, в истории крещения национальная версия «Корсунской легенды», подчеркивавшей вынужденные уступки Византии Киеву, сталкивается с византийской схемой «божьей благодати», отводившей решающую роль Византии. Так, в династической борьбе конца XI в. Киево-печерская традиция, представленная Нестором и защищающая Изяславичей,

---

[1] *Шахматов*, Повесть временных лет, Птг. 1916, стр. 1.

сталкивается с политической переработкой Сильвестра в соответствии с интересами Всеволодовичей [1].

Местное летописание и своды XII—XIV вв.

Падение политического значения Киева и завершение процесса феодального раздробления разрывали византийские культурные связи и упраздняли связи политические, окончательно переводя историческую мысль в плоскость местной истории, местного летописания. Временное усиление отдельного политического княжества сопровождалось и возникновением местной летописи. Так, в XII в. существует свое киевское летописание, а в XIII в. летопись Волынская. На севере продолжают существовать Новгородские и Псковские летописи до XVI в. — наиболее устойчивое и развитое местное летописание, обусловленное как более длительной политической самостоятельностью этих земель, так и широтой их внешних связей, высоким уровнем их культурного развития. Уцелели летописи политических центров Северо-восточной Руси — Переяславля Залесского, Владимира, Суздаля, Твери и др. Некоторые летописи не уцелели как самостоятельные источники, но следы явно местного летописания прослеживаются и для других центров в позднейших сводах начала XIV в.: для Переяславля и Чернигова—на юге; на севере — для Ростова, Твери, Москвы. Все это чисто местные летописи, оторванные одна от другой.

Правда, наряду с этими местными летописями мы имеем и в этот период более сложные памятники — летописные своды, примыкающие к первоначальной Повести временных лет. Первый дошедший до нас свод — Ипатьевский (южного происхождения) — доведен до 1292 г., завершаясь Галицко-Волынскою летописью; составление его относится, очевидно, к началу XIV в. Несколько более позднего происхождения другой дошедший до нас «общерусский» свод — Лаврентьевский, названный по имени переписчика 1377 г., доведенный до 1306 г.

Критические исследования Шахматова о русских летописных сводах XIV—XVI вв., продолженные в новейшей работе М. Д. Приселкова «История русского летописания XI—XV вв.», говорят о ряде промежуточных сводов, начиная с Владимирского свода 1185 г.

Однако исследователи летописи слишком часто переносят на эти ранние своды представления и характеристики, связанные с поздними Московскими сводами конца XV и XVI вв. Как в истории Владимирского княжества конца XII в., в деятельности Всеволода Большое Гнездо некоторые историки склонны уже

---

[1] См., например, летописный рассказ о смерти Всеволода и вокняжении Святополка Изяславича, где после всех подчисток Сильвестра уцелело все же сообщение о конфликте Всеволода с киевскими боярами. ПСРЛ, т. I, вып. I, изд. 2-е, Л. 1926, стр. 215—217.

искать первые идеи политического единства Руси, программу ее национального объединения, так летописные своды, начиная с Владимирского свода 1185 г., должны были служить идеологическим выражением этой же общественной тенденции.

Но история Ростово-Суздальской земли, Владимирского княжения конца XII и начала XIII в. была лишь прямым продолжением и развитием процесса феодального дробления, начавшегося в Киевской Руси в XI в.; столь же тщетно искать объединительных тенденций в летописных сводах этого периода. Напротив, реальный анализ летописного текста раскрывает в своде лишь механическое соединение частей местного летописания. Под рукой исследователя летописный свод распадается на ряд отдельных самостоятельных отрывков — иногда в 40—50 лет, нередко всего в какие-нибудь 20 лет, выделяющихся своим особым содержанием, особыми интересами автора, связанными прежде всего с местом возникновения данного отрывка. Так, для середины XII в. исследователь указывает на местную летопись Переяславля Русского (т. е. южного), с 1177 г. начинается Владимирское летописание, перемежающееся с другими местными летописями; в 1216 г. оно переходит в Переяславль Суздальский, затем в Ростов, снова возвращается во Владимир и т. д. При этом разные своды дают и разные комбинации первичных составных частей.

Как возникает такой свод? Местный летописец, описывая современные ему или наиболее близкие к его времени события, должен присоединить их к начальной истории: каждое русское княжество должно иметь свою полную историю с древнейших времен. Но составление такой истории не под силу летописцу. Он просто берет текст летописного свода, так или иначе попавший в его распоряжение, чтобы присоединить к нему свой рассказ. Этот предшествующий материал берется как отправная точка, как последняя хронологическая дата, к которой добавляется новый очередной отрезок. Так могла попасть во Владимир летопись Переяславля Русского, продолжавшая начальную летопись. И то, что закончил последний применительно к интересам своей земли, продолжил владимирский летописец, но уже на основе других политических интересов. В отношении предшествующего текста такой продолжатель ограничивается большей частью тем, что сокращает не интересующие его детали из истории других княжеств и вносит под соответствующими годами дополнительные записи из своего, местного летописания.

Таким образом, летописный свод не противостоит местной летописи как особое, качественно отличное явление; он является лишь скрещением отдельных местных летописей. Так, в период господства Москвы, в XV в., еще могут держаться в летописных сводах явно антимосковские тенденции, проникающие из Ростовского или Ярославского летописания. Местное летописание с его обособленностью, оторванностью от других параллельных исто-

рических повествований остается определяющим для этого периода. Местному летописанию чуждо самое представление об едином процессе русской истории. Перед летописцем стоит только ряд местных исторических процессов, ряд местных летописей, так или иначе объединяющихся в его своде, но не перестраивающихся при этом в своем внутреннем содержании [1].

Переход к общерусскому своду

Местная летопись продолжает существовать и развиваться рядом, параллельно с последовательно возникающими и продолжающими или сменяющими друг друга в конце концов такими же «местными» сводами. Только реальный процесс ликвидации этих местных княжений, реальный процесс объединения их в составе великого княжения Московского, складывающегося Русского государства, приводит к реальной перестройке и самого летописания. В течение XIV в. прекратили свое существование княжества Переяславское, Ростовское, Нижегородское, фактически соединилось с Московским княжеством и княжение Владимирское. С ликвидацией княжения замирает и летописание без поддерживавшей его и определявшей его политическую устремленность княжеской деятельности. Территориальное поглощение княжества сопровождается упразднением идеологических памятников его былой самостоятельности. Местная история должна раствориться в истории московской, в Московской летописи, которая теперь уже ставит себе задачу превращения действительно в «общерусский» свод, отражая изменение политического значения великого князя московского.

Неслучайно именно с конца XIV в. усиленно развивается работа над созданием летописного свода. К 1390 г. относится составление «Летописца великого русского», доведенного до 1389 г. В нем звучит уже идея политического преемства Москвы от державы Рюриковичей, от князя Ярослава Владимировича. По словам Троицкой летописи, «аще хощеши распытовати, разгни книгу: Летописец Великий Русьский — и прочти от Великого Ярослава и до сего князя нынешнего» [2] (Василия Дмитриевича).

В старой литературе по истории летописания Летописец великий русский связывался с митрополичьей кафедрой, с деятельностью митрополита Киприана. М. Д. Приселков в своих последних исследованиях доказывает, что свод 1389 г. — памятник Московского великокняжеского летописания. Впрочем, и он начало общерусского летописания связывает теснейшим образом с митрополичьей деятельностью, начиная с Троицкого свода 1408 г.,

[1] Нам думается, что М. Д. Приселков в своем интересном и ценном исследовании «История русского летописания XI—XV вв.» значительно переоценил редакторскую деятельность сводчиков.

[2] Цит. по книге *Приселкова*, История русского летописания XI—XV вв., стр. 121.

причем в своем исследовании он доказывает принадлежность митрополиту Киприану именно этого последнего свода.

Как бы то ни было, именно идея создания общерусского свода становится уже определяющей для всего летописания XV в. По схеме Приселкова, по линии митрополичьего летописания за Троицкой летописью 1408 г. следовал Фотиев Полихрон 1418 г., а за ним общерусские своды 1448 и 1456 гг. Одновременно в том же плане общерусского свода развивается дальше с 1426 г. Московское великокняжеское летописание, самым ярким памятником которого для XV в. явился Московский свод 1479 г., на существование которого указал еще Шахматов [1].

С той же внутренней перестройкой летописания связано и возникновение хронографа как летописного памятника нового типа. К 40-м годам XV в. относится недошедшая первая редакция хронографа, составление которой связывают с сербом-эмигрантом Пахомием.

Подчинение летописания объединительным стремлениям Москвы отчетливо сформулировала сама летопись. Сообщая о походе Ивана III в 1471 г. на Новгород, она передает, что Иван III просил мать отпустить с ним дьяка Степана Бородатого, «умеющего говорить по летописцем Руским», чтобы в политических спорах с новгородцами напомнить им «их измены давные, кое изменяли великим князем в давныя времена, отцем его и дедом и прадедом»[2].

К этому же времени, ко второй половине XV в., относится и первое оформление той генеалогии московской династии, которая должна была утвердить политическое первенство московских князей, их историческое место не только в ряду русских князей, но и среди европейских государей, выводя московских государей от римского императора Августа, через его брата Пруса, и проведя эту генеалогию через Рюрика и киевских князей к князьям владимирским и московским. Эта генеалогическая схема впервые появилась в «Сказании о великих князьях Владимирских» и превратилась в «историографическую схему московских книжников XVI в.»

Окончательный перелом в русском летописании связан с новыми историческими условиями конца XV и первой половины XVI в.

---

[1] В последнее время подлинные тексты этого свода обнаружены М. Н. Тихомировым и М. Д. Приселковым.

[2] ПСРЛ, т. VI, стр. 192.

ГЛАВА 2

РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ФЕОДАЛЬНО-АБСОЛЮТИСТСКОГО ПЕРИОДА (XVI—XVII вв.)

Основные источники: Летопись по Воскресенскому списку. Полн. собр. русск. летописей, т. VII—VIII, Археографическ. комисс., Спб. 1856—1859. — Летописный сборник, именуемый патриаршею или Никоновской летописью. Полн. собр. русск. летописей, т. IX—XIII, Археографическ. комисс., Спб. 1862—1906.—Софийские летописи. Полн. собр. русск. летописей, т. VI, Археографическ. комисс., Спб. 1853. — Книга степенная царского родословия. Полн. собр. русск. летописей, т. XXI, Археографическ. комисс., Спб. 1913. — *Курбский, А. М.*, История о великом князе Московском (извлечение из «Сочинений кн. Курбского»), имп. Археографическ. комисс., Спб. 1913 (то же в «Русск. историческ. б-ке», т. XXXI, Спб. 1914). — Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени (Русск. историческ. б-ка, т. XIII), изд. Археографическ. комисс., Спб. 1908.— *Грибоедов, Ф.*, История о царях и великих князьях земли русской. Сообщ. С.Ф. Платонова и В. В. Майкова, Спб. 1896 (Памятники древней письменности, CXXI). — Синопсис, или Краткое собрание от разных летописцев о начале Славяно-Российского народа и первоначальных князьях богоспасаемого града Киева... в святой лавре Киево-Печерской... по благословению пречестного о Христе господина отца Иннокентия Гизеля... изображено типом в лето 1680 (первое издание относится к 1674 г., дополнено в изданиях 1678 и 1680 гг.).

Основная историографическая литература: *Пресняков, А. Е.*, Летописное дело в XIV—XVI вв. «История русской литературы до XIX в.», т. I, под ред. А. Е. Грузинского, изд-во «Мир», М. 1916.— *Его же*, Московская историческая энциклопедия XVI века, т. I—VII, Акад. наук, Спб. 1900. — *Шахматов, А. А.*, Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв., Акад. наук СССР, М.—Л. 1938. — *Пыпин, А. Н.*, История русской литературы, т. II, Спб. 1902. — *Попов, А.*, Обзор хронографов русской редакции, вып. I, II, М. 1866—1869.—*Васенко, П. Г.*, «Книга степенная царского родословия» и ее значение в древнерусской исторической письменности, ч. I, Спб. 1904. — *Платонов, С. Ф.*, Соч., т. II. Древнерусские сказания и повести о смутном времени XVII века как исторический источник, изд. 2-е, Спб. 1913. — *Белокуров, С. А.*, Из духовной жизни московского общества XVII в., О-во ист. и древн. росс., М. 1903; III. О записном приказе, стр. 53—84. —*Милюков, П.*, Главные течения русской исторической мысли, изд. 3-е, Спб. 1913 (гл. 1, Синопсис).—*Лаппо-Данилевский, А. С.*, Очерк развития русской историографии. Введение. «Русский исторический журнал», 1920, кн. 6, стр. 5—29 (обстоятельная библиографическая справка о Синопсисе на стр. 23—26). —*Райнов, Т.*, Наука в России XI—XVII веков. Очерки по истории донаучных и естественно-научных воззрений на природу, ч. 1—3, Акад. наук СССР, М.—Л. 1940.

Перемены в истории Московской Руси

В княжение Ивана III и Василия III происходит ликвидация феодальной раздробленности Северо-восточной Руси, создается Русское государство. Это объединение опиралось на развившиеся между русскими землями реальные связи — экономические и культурные, оно было прежде всего объединением русского народа, сплачивавшего свои силы перед лицом внешней опасности. Борьба за объединение находит отражение и в политической идеологии. Программа политического единства русской земли противопоставлялась феодальной раздробленности, утверждалось преемство Московского государства в отношении Киевской Руси. Идея единства русских земель распространялась и на южные и западные русские земли, находившиеся под властью Литвы и Польши: «Ано и не то одно наша отчина, кои городы и волости ныне за нами: и вся русская земля (божьею волею), из старины, от наших прародителей наша отчина» [1]. Объединение русских земель было вместе с тем утверждением политической власти великого князя московского против притязаний княжат, сперва сидевших по уделам, а затем заседавших в Москве в Боярской думе. Борьба, начатая Иваном III, заменяющим Боярскую думу совещанием «сам-третьей» с ближними боярами, завершается опричниной Ивана IV. Эта борьба получила свое идеологическое обоснование в теории божественного происхождения царской власти, в указанной выше генеалогии великих князей московских, в утверждении исконности их политических прав и вместе с тем переводившей их в высший разряд политической иерархии — наследников императоров римских и византийских. Брак Ивана III с Софией Палеолог, наследницей изгнанных из Константинополя византийских императоров, являлся как бы внешним закреплением этого преемства. Легенда о царских регалиях, присланных Константином Мономахом, и учение о третьем Риме, дополнившие генеалогию от Пруса, брата Августа-кесаря, были идеологическим выражением новой политической программы, находившейся в резком противоречии с линией местной историографии предшествующего периода.

Новая концепция отражала изменение не только внутреннего, но и внешнего положения Московского государства. Внутреннее объединение и политический рост вводили русское государство, окончательно сбросившее с себя татарское иго, в ряд крупнейших современных ему европейских государств, делая его необходимым участником в разрешении двух важнейших проблем европейской политики — балканской и балтийской. Яркая картина этого превращения дана Марксом в «Секретной дипломатии»: «В начале своего царствования (1462—1505) Иван III все еще был татарским данником: его власть все еще оспаривалась удельными

[1] Сборник русского исторического общества, т. XXXV, № 75, стр. 380.

князьями; Новгород, стоявший во главе русских республик, господствовал на севере России; Польско-Литовское государство стремилось к завоеванию Московии; наконец, ливонские рыцари еще не сложили оружия. К концу царствования мы видим Ивана III, сидящим на вполне независимом троне, об руку с дочерью последнего византийского императора; мы видим Казань у его ног, мы видим, как остатки Золотой Орды толпятся у его двора; Новгород и другие русские республики покорены; Литва уменьшилась в своих пределах и ее король является послушным орудием в руках Ивана; ливонские рыцари разбиты. Изумленная Европа... была ошеломлена внезапным появлением огромной Империи на ее восточных границах, и сам султан Баязет, перед которым она трепетала, услышал впервые от московитов надменные речи».

Как Русское государство включалось в систему европейских держав, так и изучение русской истории должно было включиться в систему всемирной истории.

Вместе с общим ростом Русского государства происходил культурный рост страны, нашедший свое отражение уже в оживлении литературной деятельности конца XIV и XV в. Культурный рост сказывается и в усилении критической мысли, обращающейся прежде всего против церкви. Появление первых ересей с конца XIV в. — одно из свидетельств культурного роста народа. Сближение с Западом, встреча с западноевропейской культурой должны были значительно активизировать процесс культурного роста, расширить идейный кругозор русского человека XVI в., породить у него новые культурные запросы.

Впервые русские люди попадают в страны Западной Европы в посольствах, направляющихся к цесарскому двору и в Италию. С развитием экономических связей Московской Руси с Западной Европой усиливается приток иностранцев в Россию. Здесь и иностранные дипломаты, и купцы, и эмигранты-греки, среди которых на первом месте Максим Грек, здесь и итальянские мастера, как Алевиз, Антон и Марк Фрязины, Аристотель Фиоравенти. К этому времени относится и распространение на Руси сочинений в области физики, астрономии, астрологии, космографии (известная в то время Космография Козьмы Индикоплова). Развиваются богословские споры, выступают с критикой официальной церкви боярин Федор Карпов и Матвей Башкин, Артемий и Феодосий Косой; выступает со своими писаниями кружок Максима Грека; в защиту официальной церкви пишет Иосиф Волоцкий свой «Просветитель», митрополит Даниил — свои проповеди. В литературу, в публицистику переносится политическая борьба, породившая писания Андрея Курбского и Ивана Грозного, Ивана Пересветова и Ермолая Прегрешного.

Все это говорит о том, что не только усложняются проблемы, занимающие «историка» XVI в., но растут и средства, расширяются

знания тех лиц, которые берутся за разрешение назревших исторических задач. Такова историческая база, на которой создается историческая литература XVI в.

Историческая повесть. «История о великом князе Московском» князя Курбского

Князь Андрей Курбский находился в центре политической борьбы между самодержавием и боярством. Он воспринял культурные влияния своего времени: в молодости он испытал влияние кружка, создавшегося около Максима Грека, и получил неплохое образование; он закончил его в эмиграции в Литве и стоял на уровне современной ему европейской образованности. В политической полемике между представителем старой политической системы, идеологом боярства князем Андреем Курбским и проводившим новую политику феодального абсолютизма Иваном Грозным впервые создается новая повествовательная форма исторического произведения. В ходе полемики обе стороны перешли постепенно к раскрытию исторических корней развернувшейся борьбы. Курбский в своем «Сказании» попытался восстановить картину борьбы от времен Василия III.

Специфика нового типа исторического произведения — исторической повести — заключалась в единстве темы. Правда, это вело к известной односторонности рассказа, повесть уже не давала полноты изложения событий, свойственной летописи. Но зато изложение оказывалось пронизанным одной идеей, одной темой, проходившей через все события. Последние давались поэтому в том непосредственном сцеплении, когда одно событие выступает как следствие или продолжение предыдущего. Принцип прагматического (τα πράγματα — деяния) изложения событий впервые появляется в русской истории с исторической повестью Курбского на смену простому хронологическому перечню событий летописной записи.

Переход к прагматизму у Курбского не означал еще, однако, разрыва с самыми основами мировоззрения предшествующей эпохи, с провиденциализмом как основой исторической мысли эпохи феодализма. В этом отношении нельзя согласиться с попытками изобразить Курбского представителем нарождающегося рационализма, чуть ли не опережающим западноевропейскую мысль на этом пути. Напротив, в «Истории о великом князе Московском» неизменно повторяются традиционные мотивы — «гнев божий», «божия благодать», «дьявольские козни». Приступая к своему повествованию, Курбский начинает ссылкой: «Всеял диявол злые нравы, наипаче же женами их злыми и чародеицами»[1]. О Московском восстании 1547 г. он пишет: «О немъже никто же сумнитця рещи явственныи гнев Божии» [2]. И дальше: «Произволение

[1] *Курбский*, Соч., т. I (РИБ, т. XXXI), Спб. 1914, стр. 162.
[2] Там же, стр. 168.

человеческое Господь прещедрый паче добротою наводит и утверждает»[1]; «Мор пущен был от бога на Нагайскую орду»[2], и т. д.

При этом характер исторического знания XVI в. обусловливал внутреннюю ограниченность исторического содержания повести. Поскольку связь явлений воспринималась лишь во внешнем сцеплении единичных событий, единство темы достигалось за счет искусственного объединения исторического содержания, сведения повествования к какому-то одному, искусственно выделенному ряду исторических событий.

Историческая повесть неизбежно ограничивалась поэтому и сравнительно коротким отрезком времени. Она не могла непосредственно вместить все содержание исторического процесса, т. е. все содержание летописи.

Конфликт двух форм исторического понимания — летописи и исторической повести — наглядно отразился в летописных сводах XVI в., пытающихся соединить старый летописный текст с исторической схемой «Сказания о князьях Владимирских».

Летописные своды XVI в.

Последние летописные своды — Воскресенский и Никоновский[3]. Свое название они получили по спискам XVII в., связанным с патриархом Никоном. Воскресенский свод—иначе Софийский Временник—получил свое название от Воскресенского монастыря, которому он был подарен патриархом Никоном; Никоновский свод непосредственно принадлежал последнему и, повидимому, подвергся со стороны патриарха Никона редакционной обработке. Но хотя самые списки относятся к XVII в., их текст сложился еще в XVI в. Основной текст обоих сводов доводился, повидимому, до 1533 г. Никоновский свод был затем продолжен до 1556 г., но, как уже указано, редакционная обработка XVII в. значительно изменила первоначальную редакцию. Воскресенский свод ярко отражает первую попытку XVI в. приспособить старый летописный текст к новым задачам и воззрениям. При этом в основе его оставался первоначальный летописный текст с его внутренней разорванностью и механическим соединением частей. Составитель свода оказался не в силах органически, внутренне переработать громоздкий летописный материал. Текст летописи подвергся лишь некоторой политической редакции. Особенному пересмотру подверглись московско-новгородские отношения. Так, вместо обращения Новгорода с челобитием о старине указывается: «бьют челом за свои вины и за грубости и за неисправления свои»; новгородцы «не похотели» — «не послушаша» и т. д.

---

[1] *Курбский*, Соч., т. I (РИБ, т. XXXI), Спб. 1914, стр. 237.

[2] Там же, стр. 238.

[3] Исследования Шахматова указывают на Московский свод конца XV в., как на их источник; над изучением этого текста работает в настоящее время проф. М. Н. Тихомиров.

Новую историческую концепцию составитель свода присоединил к первоначальному тексту в качестве самостоятельных приложений. Первым приложением дана редакция Сказания о князьях Владимирских под заголовком: «Начало православных государей и великих князей Руских, корень их изыде от Августа, царя Римского, а се о них писание предлежить»[1]. За этим первым приложением следует ряд княжеских генеалогий — удельных князей московских, тверских, смоленских и др. Среди них выделяется краткий перечень — «Начало и корень великих князей Руских вкратце», генеалогический счет князей от Рюрика до Ивана Грозного [2]. Здесь генеалогический перечень расходится с действительной родословной, но совпадает со счетом Степенной книги. Из других приложений следует отметить специальную статью о «Начале государей Литовских»[3] по связи с назревшим процессом присоединения русских земель, находившихся под властью Литвы.

В Воскресенском своде остались две самостоятельные части; новая историческая схема лишь внешне дополняла первоначальный текст.

«Степенная книга»

Попыткой реального подчинения летописного материала, перестройки его по образцу исторической повести явилась так называемая «Степенная книга». Она была впервые издана Г. Ф. Миллером в 1775 г.: «Книга степенная царского родословья, содержащая историю Российскую от начала оныя до времен г-ря, ц. и в. кн. Иоанна Васильевича, сочинение преосвященных митрополитов Киприяна и Макария». Внесенное Миллером указание на авторство Киприяна надолго запутало вопрос о происхождении Степенной книги, связав ее начало с концом XIV или началом XV в. Возможно, что источником этого недоразумения было глухое указание на «Летописец великий русский» и приведенная выше характеристика его содержания из позднейшей летописи. Позднейшие исследования решительно относят составление Степенной книги ко времени Ивана Грозного и связывают ее с известным кружком митрополита Макария, а окончание этого труда относят ко времени преемника Макария Афанасия. Митрополит Макарий играл крупную роль в направлении политики Ивана Грозного, в его борьбе с системой феодальной раздробленности, за утверждение московского самодержавия. С его именем связана в известной мере и большая организационная деятельность Стоглавого собора. Наконец, с ним же и с организованным им кружком связана обширная литературная деятельность, отражавшая программу единства Руси и московского самодержавия. Крупнейшими

[1] ПСРЛ, т. VII, стр. 231. Приложения даны за текстом первого тома; в рукописи они стоят впереди текста.

[2] Там же, стр. 239.

[3] Там же, стр. 253.

памятниками этой деятельности были Макарьевские «Четьи-Минеи» и Степенная книга. Четьи-Минеи — свод житий святых в календарном порядке, итог обширной деятельности по канонизации московских святых и составлению их житий — усиливали роль Москвы как религиозного центра самым отбором святых и редакцией житийного материала. Новая редакционная обработка русской истории в Степенной книге должна была служить целям утверждения нового политического положения московского царя.

В основу построения Степенной книги было положено Сказание о князьях Владимирских, генеалогия князей московских. Степень, или грань, обозначает поколение князей. Название отражало новый порядок изложения: не в порядке погодной записи, а по степеням, т. е. в последовательности княжений. Но при этом схема поколений, т. е. система степеней, оказывалась сугубо условной. Она была взята не из летописи, а из сказания, не была выведена из материала, а была продиктована политическими задачами. Общая генеалогическая нить разворачивалась не в порядке последовательности княжений, а по восходящему счету родословья московских князей. Так, после Ярослава Владимировича, в середине XI в., не Изяслав или Святослав, а Всеволод определил очередную (третью) степень. Таким же образом последовал Владимир Мономах, а не Святополк, дальше Юрий Долгорукий, за Юрием не Андрей Боголюбский, а Всеволод Большое Гнездо, так как от него идет генеалогическая связь к следующему поколению. Не продолжая всего счета степеней, отметим только, что в интересах этой общей схемы автор Степенной книги возвел в преемники Александра Невского его сына Даниила Александровича, хотя тот был только московским князем и никогда великим князем не был, зато отстранил великих князей из тверской династии — противников Москвы.

В результате погодный рассказ летописи оказался разорванным, а его отдельные части замкнулись в ряд повестей-биографий. То, что в итоге выпадало из системы основного биографического ряда, подверглось особой обработке по тому же повествовательно-биографическому принципу и превратилось в своеобразные приложения к основным «повестям». Так, дается биография Изяслава, но она попадает в приложение к биографии Всеволода, биография Андрея Боголюбского становится приложением к биографии его брата и преемника Всеволода Юрьевича и т. д. В результате, если в Воскресенском своде летописный текст фактически уничтожил авторскую попытку внести в него свою схему, то в Степенной книге авторская схема в конечном счете заменила первоначальный летописный текст с реальной последовательностью событий. Впоследствии Татищев с удивлением отмечал это противоречие Степенной книги действительному ходу событий.

При этом Степенная книга дает не общую повествовательную форму. Макарьевский кружок наложил на повествование свой

особый отпечаток: члены кружка, развивавшие свой литературный стиль в житийном жанре, перенесли его и в Степенную книгу. Это не повести, а жития князей. «Житие — не биография, а назидательный панегирик в рамках биографии, как и образ святого в житии — не портрет, а икона», — говорил Ключевский[1].

Церковное происхождение Степенной книги сказалось отчасти и на общей схеме, объединяющей отдельные повести. Настоящая история в ее истолковании могла начаться лишь с принятия христианства, с «крещения Руси». Поэтому весь предшествующий период, в том числе и генеалогия от Пруса, дается в качестве введения. Счет степеней — «гранесование степеней и оглавление гранем» — начинается с Владимира Святославича. Семнадцать степеней отсчитывает Степенная книга от него до Ивана IV.

Через все содержание Степенной книги особенно ярко проходит идея великокняжеской власти, идея московского самодержавия. Формулы «царь и великий князь», «государь и самодержец», «Царствие русские земли» и т. п. настойчиво повторяются в тексте Степенной книги, кончая велеречивым восхвалением Ивана IV: «царствова... боговенченной ц. и в. кн. Иван всего державства российского царствия ... храня отеческое наследие от супротивных и расточенная отовсюду собирая и многи страны приобретая и во единое христоименитое царство совокупляя...» [2]

Историческое преемство Московского царства явилось тем связующим звеном, которое должно было заменить формальную связь летописного рассказа, внести единство схемы в систему Степенной книги. Перемещение княжения — вот ключ к систематизации материала. Переходя от Александра Невского и его брата Ярослава Ярославича к IX степени, представленной московским князем Даниилом Александровичем, автор Степенной книги писал: «...от блаженного Владимера наченьше пять степеней во граде Киеве сконьчашася, три же степени град Владимер стяжа, девятый же степень нача в богоспасаемом граде Мосъкве о нем же речеся сице»[3].

В этой последней схеме заключается и конечный итог Степенной книги. Ее основное значение состоит в создании первой систематизированной схемы русской истории. И хотя это была чисто формальная, внешняя схема, — или, может быть, именно поэтому, — эта схема на долгое время, в разных вариантах и переработках удерживалась в русской историографии. Тем самым Степенная книга нанесла решительный удар старой летописной истории.

Но при этом в своем отношении к историческому источнику, к своему материалу, автор Степенной книги стоит на одних методологических позициях с летописцем-сводчиком. Он не отде-

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, т. II, стр. 272, изд. 1937 г.
[2] ПСРЛ, т. XXI, вторая половина, стр. 615.
[3] Там же, первая половина, стр. 295.

ляет своего источника, документального материала, текста предшествующего автора, от своей авторской трактовки. Ему чужда самая проблема источника, а значит и самые элементарные предпосылки исторической критики, без которой нет и науки. Только раньше, в летописях, источник подчинял себе автора, теперь авторская схема произвольно разбивала реальную связь документального материала.

Хронограф

Степенная книга разрешила только одну историческую задачу XVI в.: она дала схему внутреннего исторического развития Московского государства, но, как и летопись, осталась вне связи с всемирной историей. Этому принципу она изменила лишь один раз: в изложение XIV степени (Василий II Темный) она внесла сказание о завоевании Константинополя турками в 1453 г. Впрочем, это событие было и предметом внутренней истории; с него начинался новый этап в истории великого княжения Московского: Москва становилась «третьим Римом», а великий князь и царь московский—преемником византийских императоров. Но вместе с тем это событие решительно связывало московскую историю с всемирной историей. Это была большая и совершенно новая проблема, частично намеченная лишь в Начальной летописи, но и там в непосредственной связи с византийским летописанием, а затем полностью выпавшая из поля зрения русского летописца. Свое разрешение она получила на новом этапе в особом историческом памятнике' носящем название «хронографа».

Название «хронограф» — византийского происхождения, оно обозначает непосредственно византийские летописи. На Руси предшественником хронографа был так называемый «Еллинский летописец». Через византийские хронографы, объединившие разнородный литературный материал, русский человек знакомился с всемирной историей. В конце XV в. у московского книжника явилась потребность включить историю русского государства во всемирную, связать между собой эти два исторических процесса, до сих пор рассматривавшихся независимо друг от друга. Результатом объединения указанных двух памятников и явился хронограф XVI в., условно называемый хронографом первой редакции. Составление этой первой редакции исследователи приурочивают к 1512 г.

Состав памятника сложный. Библейские книги своеобразно объединяются с античными легендами из истории древней Греции и Рима (например, сказание о Троянской войне — в болгарской редакции, сказание об императоре Августе и др.), переработка тех и других была уже проделана византийскими хрониками, которыми и пользуется составитель русского хронографа. Они же определяют в основном и все последующее содержание хронографа; непосредственное сличение текстов устанавливает использование Константина Манасия, Георгия Амартола, Иоанна Зо-

нары. Из русских летописей автор делает сокращенные выписки и вносит их в общее изложение под соответствующими годами.

Текст первой редакции доведен до 1453 г., т. е. до завоевания Константинополя турками. Сказание о третьем Риме с этого года считало Москву преемницей Византии. В дальнейшем центр православия — центр всемирной истории — перемещался на Русь, и уже русская летопись, а не прекратившая существование византийская хроника, явилась основой всемирной истории.

На протяжении XVI в. ведется, повидимому, непрерывная дальнейшая работа над текстом хронографа, результатом которой являются две редакции XVII в. (2-я и 3-я). С одной стороны, в этих редакциях несколько расширен круг источников, видимо, под влиянием усиления связей России с Западной Европой и ознакомления с польскими хрониками Мартына Бельского, Стрыйковского, Кромера и др. С другой стороны, постепенно расширяется материал по русской истории. Наконец, текст хронографа начиная с 1453 г. дополняется непосредственно русской летописью.

Обращение к вопросам всемирной истории придавало хронографу особое значение в глазах русского человека XVI в. Хронографы подвергаются тщательной отделке в соответствии с вкусами царского двора. Известный список хронографа — так называемая «Царственная книга» — роскошно отделан, снабжен чуть ли не 16 000 иллюстраций. Дополняя исторический компендиум — хроники, географическими компендиумами — современными космографиями, этот литературный памятник превращался, по определению А. Е. Преснякова, в своеобразную «историческую энциклопедию XVI века».

Но выходя в своем содержании за рамки старого московского летописания, хронограф в то же время отставал в своем развитии от современного московского летописания. Если летописание в это время находилось уже в стадии превращения в прагматическую историю типа исторической повести, хронограф строится еще попрежнему в чисто летописном плане. Содержание хронографа сложно для его переработки, аналогичной той, которую переживает летопись; составитель хронографа не имеет еще прежде всего единой схемы, объединяющей темы. Погодная запись для него пока единственная форма объединения разнородного исторического материала.

Но там, где хронограф переходит в русскую летопись, он переживает общую с ней судьбу. Новые дополнения во 2-й и 3-й редакциях хронографа делаются из исторической повести и даются в повествовательной форме. Таким образом, в хронографе собственно летопись с присущим ей пониманием истории заканчивает свое развитие в XVI в., как и местная летопись Московского государства. Дело не пошло дальше летописных отрывков, как, например, Александро-Невская летопись времени Ивана IV. Так

называемый «Новый летописец» лишь по названию примыкает к летописям, а по своему содержанию и характеру принадлежит к историческим повестям.

Сказания и повести периода крестьянской войны и интервенции

В условиях бурных событий конца XVI и начала XVII в.— периода крестьянской войны и интервенции, описание событий приобрело особенно заостренный политический характер, выдвигая поэтому на первый план политические воззрения и оценки самого автора. Основной формой описания событий должна была стать историческая повесть. Авторы повестей были непосредственными участниками событий этого времени. Они участвовали в сменявшихся и сталкивавшихся между собой группировках и свою, в некотором смысле «партийную» трактовку старались перенести в исторический рассказ. Поэтому в своей дальнейшей эволюции историческая повесть приобретает еще более выраженные черты исторических записок, мемуаров.

Новый период в истории России сказался и на идейном уровне ее писателей: историческая и политическая мысль работает напряженнее, влияние Западной Европы в условиях непосредственного соприкосновения с новым малоизвестным западным миром становится более глубоким.

Этот период запечатлен в целой серии самостоятельных повестей. Повесть 1606 г., включенная в так называемое «Иное сказание», вышла из окружения Шуйского и отобразила его отношение к Годунову и к Лжедимитрию Отрепьеву в духе известного «извета Варлаама», по форме официального свидетельского показания, направленного острием не только против Лжедимитрия I, но в известной мере и против конкурентов Шуйского, Романовых. Продолжение повести до 1613 г. вышло уже из другого, романовского лагеря и враждебно Шуйскому. Историческая повесть приобретала резкую публицистическую заостренность.

«Словеса дней и царей» князя Ивана Хворостинина, бывшего приближенного первого Лжедимитрия, заподозренного в польских и католических симпатиях, преследуют прежде всего задачу по возможности обелить автора в глазах нового правительства Романовых.

Сказание Авраамия Палицына имеет специальной целью выдвинуть роль самого автора в событиях, связанных с ликвидацией интервенции, и роль Троице-Сергиевой лавры, келарем, т. е. фактическим управителем которой он состоял.

Характер сугубо личных наблюдений имеет «Временник» дьяка Тимофеева, проведшего бо́льшую часть времени в Новгороде, пережившего шведскую оккупацию и пересказывающего именно эту ограниченную часть исторических событий.

Наибольшей полнотой отличается повесть князя Катырева-Ростовского, лица, близкого к Романовым, человека прежде всего

военного. По своей полноте эта повесть ближе всего к летописи и найдена она первоначально в составе хронографа. Но и повесть Катырева в своем изложении не следует за непосредственной хронологией событий, а излагает их цельными кусками повествовательного характера. При наличии известных частичных отклонений основное и общее для всех их заключается в том, что автор постепенно от непосредственного пересказа событий переходит к вопросам их осмысления и оценки. У автора даже является потребность объяснить происхождение этих бурных событий, в связи с чем он иногда обращается к прошлому, начинает рассказ от времен Ивана IV, причем к этому побуждает его необходимость начать изложение с того, на чем оборвалось предшествующее летописание, чтобы сохранить историческую связь явлений.

Общий характер повестей верно подметил уже В. Иконников, говоря о Временнике дьяка Тимофеева: «Временник» дьяка Тимофеева далеко не похож на прежнюю летопись; автор его больше размышляет, чем рассказывает; самое изложение его представляет всю трудность, с какой приходилось бороться писателю в передаче своих мыслей. Потребность в обсуждении фактов чувствуется почти во всех сказаниях смутного времени» [1].

Попытки разработки истории в XVII в.

Повести периода крестьянской войны и интервенции еще раз показывают изменение исторических представлений и запросов в Московской Руси начала XVII в., но все же основной историографической задачи они разрешить не могли. Как и «Сказание» Курбского, повесть была ближе к мемуарам и поэтому могла вместить лишь рассказы об ограниченном историческом периоде. На исходе XVII в. историческая повесть непосредственно перешла в мемуары, и этот жанр впервые появился в нашей литературе в записках Желябужского, С. Медведева, А. Матвеева и др.

Невозможно было оживить и старое летописание. Хронографы 2-й редакции (XVII в.), как указано выше, лишь перерабатывали и дополняли первоначальный текст на основе новых источников, прежде всего польских хроник, а для позднейших периодов непосредственно переходили в историческую повесть. Редакции летописных сводов XVII в. — Никоновская и Воскресенская,— как указано, не распространяются на XVII в. В памятниках, непосредственно складывающихся в XVII в., название летописи сохраняется лишь на присоединенной к Москве Украине, применительно к так называемым казацким летописям. Но казацкая летопись — не летопись в первоначальном смысле этого слова. «Летопись Самовидца» — исторические записки, на грани между повестью и мемуарами; летопись Величко и «Повесть о презельной брани...» Грабянки — исторические повести со всеми характер-

[1] *Иконников*, Опыт русской историографии, т. II, ч. 2, стр. 1352.

ными чертами этого жанра, даже с более выраженными чертами литературного произведения, чем исторические повести XVI в. и так называемого «смутного времени», с определенной публицистической тенденциозностью.

Официальная история сделала попытку примкнуть к переработке летописи XVI в. — к Степенной книге, казалось бы, более отвечавшей официальным правительственным задачам.

Указом царя Алексея Михайловича от 3 ноября 1657 г. был учрежден специальный Записной приказ, которому поручалось написать историю России от Ивана Грозного, на котором остановилась Степенная книга; характерно, что историческая повесть не признавалась законным продолжением летописи, она рассматривалась как частные записки, а не как официальный памятник. Указ точно определял задачи приказа:

«По нашему в. г. ц. и в. кн. Алексея Михайловича, всеа великия и малыя и белыя Русии самодержца, указу быти приказу Записному... а сидеть в том Записном приказе тебе диаку Тимофею Кудрявцеву и записывати степени и грани царственные с в. г. ц. и в. кн. Федора Ивановича, всеа Русии самодержца, государства последних лет его государевых, так же записывать степени и грани государствованья в. г. ц. и в. кн. Бориса Федоровича, всеа Русии самодержца, и г. ц. и в. кн. Федора Борисовича, всеа Русии самодержца, и г. ц. и в. кн. Василья Ивановича, всеа Русии самодержца, и Растригино, и государствованья ж 33 лета отца нашего в. г. ц. и в. кн. Михаила Федоровича, всеа Русии самодержца, и наше в. г. ц. и в. кн. Алексея Михайловича, всеа великия и малыя и белыя Русии самодержца, по нынешней по 166-й год»[1].

Создание специального приказа имело определенное политическое значение: подобно старым летописям, задуманное продолжение Степенной книги должно было явиться историческим обоснованием исконности прав новой династии.

Работа приказа была задумана, как показывает специальное исследование С. А. Белокурова, в большом масштабе. В помощь дьяку Кудрявцеву было определено 2 старых и 6 молодых подьячих. Кудрявцев наметил с самого начала довольно широкий план привлечения исторических материалов, мы бы сказали, источников, для выполнения своей задачи. Из его докладных записок, подававшихся на имя царя, видно, что он собирался использовать как летописи и их продолжение в исторических повестях, так и официальный материал — актовый и дипломатический, в первую очередь из Разрядного и Посольского приказов. Необходимые материалы он ищет не только в официальных приказных

[1] Цит. по книге *Белокурова*, Из духовной жизни московского общества XVII в., М. 1903, стр. 55.

канцеляриях, но и у полуофициальных и частных владельцев — в патриаршей библиотеке, у монастырей и у отдельных бояр. Кудрявцев пытается получить в свои руки эти материалы хотя бы временно, для снятия копий. Однако планы Записного приказа не были реализованы. Приказ не получил намеченного штата работников, а затем стал перед фактами упорного сопротивления в деле выдачи необходимых материалов как со стороны приказов, так и со стороны частных владельцев материалов.

От начала 1659 г. имеется доклад Кудрявцева, показывающий, что последний уклонился от первоначально поставленной ему задачи и, следуя за поступившими к нему летописями и польскими хрониками, занялся вопросами отдаленной древности — «О начале великославного Сарматского, Славенского, Русского народов, и Московского старовечностью славна цветуща имянования», о призвании Рюрика и т. д.

В конце апреля 1659 г. обрываются сведения о Записном приказе. Причины закрытия приказа остаются неизвестными.

Возможно, что в известной связи с этим предприятием стоит «История» дьяка Грибоедова, составленная в 1669 г.

«История» дьяка Грибоедова

О дьяке Федоре Акимовиче Грибоедове мы имеем скудные сведения, относящиеся к его служебной деятельности за время 1639—1673 гг. Известно, что он к Записному приказу отношения не имел. С 1632 по 1664 г. служба Грибоедова проходила в приказе Казанского дворца, сперва в подьячих, затем в качестве дьяка. Выполнял он и специальные поручения, в частности в 1648 г. он состоял в комиссии князя Одоевского по составлению Уложения, потом выполнял дипломатические поручения на Украине, а в 1664—1671 гг. состоял разрядным дьяком. К этому времени и относится написание его «Истории».

«История сиречь повесть или сказание вкратце о благочестивно державствующих и свято поживших боговенчанных царей и великих князей, иже в Рустей земле богоугодно державствующих... наченше от святого и равноапостолного великого князя Владимира Святославича, просветившего всю Русскую землю святым крещением, и прочих, иже от него святого и праведного сродствия, такожь о богом избраннем и приснопамятнем великом государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии самодержце, и о сыне его государевом, о богом хранимом и благочестивом, и храбром, и хвалам достойном великом государе царе и великом князе Алексее Михайловиче, всеа Великие и Малые и Белые Русии самодержце, в которые времена по милости всемогущего в троице славимого бога, учинились они, великие государи, на Московском и на Владимирском, и на всех великих и преславных государствах Российской державы, и откуду в велицей Русии их великих и благочестивых и святопомазанных государей царей богом насажденный корень прозябе и израсте, и процвете, и вели-

кому Российскому царствию сторичный и прекрасный плод даде»[1].

Так определив содержание своей работы, Грибоедов как бы отвечал на задание, сформулированное в указе об организации Записного приказа. Официальное ее назначение отчетливо определено и заключительной пометой:

«Сия книга 36 глав — состав и слог во 177 году разрядного диака Феодора Иоакимова сына Грибоедова: и за ту книгу дано ему государева царева и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Русии самодержца, жалованья 40 соболей, да в приказ 50 рублев денег, отлас, камка, да придачи к помесному окладу 50 четьи, денег 10 рублев. А книга взята к великому государю в Верх»[2]. Верх — это дворцовый верхний этаж, где проживала царская семья.

По своему содержанию и структуре «История» дьяка Грибоедова непосредственно примыкает к Степенной книге: запись в приказе Большого дворца под 1669 г. прямо говорит, что Грибоедов «сделал степенную книгу благоверного и благочестивого дома Романовых». Лишь там, где Степенная книга окончилась, используется новый материал: хронограф 2-й редакции, сказание Авраамия Палицына, грамоты и приказный материал. Некоторой новостью в работе Грибоедова являются непосредственные ссылки на источники.

Примыкая к Степенной книге, автор начинает со Сказания о князьях Владимирских, т. е. с генеалогии князей Рюриковичей от Августа, кесаря Римского, и его брата Пруса. Как и в Степенной книге, счет степеням начинается с Владимира Святославича, как с первого православного князя: «И о том объявлено в Степенной книге в первой же степени оные»[3].

Если первая Степенная книга оканчивалась на Иване Грозном, то Грибоедов в интересах дома Романовых пытается разрешить те задачи, которые повести XV—XVI вв. выполняли в отношении Рюриковичей[4]. Центр тяжести в его работе переносится на позднейший период. История дьяка Грибоедова имеет около 70 страниц, из которых треть относится к периоду до Ивана Грозного, а две трети к периоду после Ивана Грозного, т. е. к периоду «смуты» и царствования Романовых. Поставив себе задачей показать историю дома Романовых, автор разрешает эту задачу двойной схемой, двумя выдвигаемыми им генеалогическими положениями. Он отрицает прекращение дома Рюриковичей со смертью Федора Ивановича; следуя за избирательной грамотой царя Михаила Федоровича, он утверждает преемство Михаила Федоровича

[1] *Грибоедов*, История о царях и великих князьях земли русской, стр. 1.
[2] Там же, стр. 69.
[3] Там же, стр. 9.
[4] Таким образом, и в этом отношении работа дьяка Грибоедова отвечает тем задачам, которые были поставлены перед Записным приказом.

по «сродствию» от Федора, как племянника по матери, Анастасии Романовне, которая была теткой отца Михаила, и, таким образом, Михаил оказывается продолжателем рода Рюриковичей. Но автору это казалось еще недостаточным для возвеличения дома Романовых. Как генеалогия Рюрика была выведена от Пруса, брата Августа, кесаря Римского, так потребовалось подвести и род Романовых к тому же Августу. В текст вводится «родословие» Анастасии Романовны: «В древних летах в Росийское царствие выехал ис Пруской земли государя пруского сын Ондрей Иванович Романов, а пруские государи сродни Августу жь, кесарю Римскому, обладающему всею вселенною. А откуду и в кое время пруское державство начася, и то писано в книге сей выше сего в 1-й главе. А от Ондрея Ивановича Романова в Росийском царствии пошли многие великие и честные роды»[1]. И далее следует генеалогия от Григория Яковли до царя Михаила Романова.

Таким образом, Грибоедов создает генеалогию Романовых аналогично Сказанию о князьях Владимирских. Параллельно с основной генеалогической схемой Грибоедов делает и ряд генеалогических экскурсов и справок об отдельных княжеских родах, например, говоря о князьях черниговских, он дает перечень княжеских и боярских фамилий, ведущих свой род от последних; то же для князей рязанских и др. Это дает основание сделать вывод, что автор пользовался соответствующими родословными книгами.

С. Ф. Платонов, исходя из «генеалогического» содержания Истории Грибоедова, полагал, что Грибоедов ставил себе лишь скромную задачу составления родословия князей, и поэтому его работу не следует рассматривать, как попытку дать историю России до XVII в.

С точкой зрения Платонова согласиться нельзя. Как и в Степенной книге, родословный счет здесь был определенной формой изложения истории. Автор Истории и современники рассматривали его работу как произведение по русской истории. «Сокращение российской истории в 36 главах, содержащее вкратце бытия российские от в. кн. Владимира I до восшествия на престол ц. Федора Алексеевича» — так обозначил книгу анонимный продолжатель Грибоедова, дописавший последние 5 «глав», или, точнее, параграфов. Книга Грибоедова все же не смогла удовлетворить историческим задачам XVII в.[2] Степенная книга также не отвечала уже историческим запросам нового времени.

---

[1] *Грибоедов,* История о царях и великих князьях земли русской, стр. 26.

[2] Она впервые была напечатана в 1896 г. как исторический памятник.

Украинские писатели в русской историографии. Феодосий Сафонович [1]

С 20-х годов XVII в. устанавливается более тесная культурная связь между Москвой и Украиной. Все чаще появляются в Москве представители украинского духовенства; от Москвы получает материальную помощь национальное культурное движение Украины. В свою очередь Москва все чаще прибегает к содействию украинских деятелей в проведении крупнейших культурных мероприятий XVII в., как, например, церковная реформа, создание Славяно-греко-латинской академии и др.

Могилянская академия, созданная митрополитом Петром Могилой в Киево-Печерской лавре, и Богоявленская братская школа, организованная киевским мещанством, были крупными культурными центрами. В организованных при них типографиях выполнялся не один заказ царя Алексея Михайловича по напечатанию специальных церковных книг для Москвы.

Присоединение Украины к Москве по Переяславскому акту 1654 г. еще больше усиливало культурные связи. В условиях развернувшихся крупных политических событий исторические запросы XVII в. должны были приобрести актуальность и для украинского писателя. Если составители так называемых «казацких летописей» отвечали прежде всего на запросы местного украинского читателя, то работы Феодосия Сафоновича и Иннокентия Гизеля ставили себе более широкую задачу написания общерусской истории.

Хроника Феодосия Сафоновича, игумена Михайловского монастыря в Киеве, составлена в 1672 г., как видно из самого заглавия хроники [1].

«Хроника з летописцев стародавних, з св. Нестора Печерского и инших, также з хроник польских о Русии, отколь Русь почалася, и о первых князех русских, и по них дальших наступаючих князех и о их делах, собранная працею иеромонаха Феодосия Сафоновича, игумена монастыря Михайловского Златоверхого Киевского, року от сотворения мира 7180, а от р. Хр. 1672»[2].

В этом заголовке не лишено интереса определение автором своей задачи и непосредственное указание на источники, которыми он намерен воспользоваться.

Текст, дошедший до нас под этим заголовком, распадается, однако, на две разнохарактерные части. Законченный летописный

[1] Наиболее подробные данные о «Хронике» Феодосия Сафоновича, оставшейся не опубликованной, содержатся в книге *А. Старчевский*. Очерк литературы русской истории до Карамзина, Спб. 1845, стр. 73—82. Биографические сведения о Сафоновиче крайне скудны и ограничиваются периодом 1649—1672 гг. См. «Русский биографический словарь» и *Пыпин*, История русской литературы, т. II.

[2] *Старчевский*, Очерк литературы русской истории до Карамзина, Спб. 1845, стр. 74.

текст, хроника в собственном смысле слова, доведен лишь до 1292 г. и воспроизводит в основном содержание Ипатьевской летописи, также обрывающейся на этой дате. Так же как Ипатьевский свод, хроника в этой части сосредоточивает свое внимание на судьбах Южной Руси.

Для характеристики исторической мысли XVII в. интереснее вторая часть, представляющая сборник исторических повествований и текстов, освещающих наиболее значительные события из истории Московской Руси и Украины за период XIII—XVII вв. [1] Трудно, правда, сказать, в какой мере вся эта часть работы принадлежит самому Сафоновичу. Состав этих приложений в двух сохранившихся списках, Толстовском и Вестеровском, различен. Документы о Московском восстании 1682 г. и «Хроника о земли польской», датированная 1682 г., расходятся с датировкой, указанной в заглавии сборника, являются текстами позднейшего происхождения. Частично, однако, и эта часть представляет, может быть, плод собирания материала Сафоновичем для его хроники, которую ему не пришлось продолжить. Сборник и в этой части сохраняет черты своего южного происхождения.

Количество приложений в двух указанных списках разное: в Толстовском — 19, в Вестеровском — 31; разно и их содержание. Но поражает обилие исторических тем: многочисленные события московской истории — история московских князей, Сказание о Мамаевом побоище, о разделении митрополий (Московской и Киевской), о патриаршестве, об Астраханском царстве, далее события и документы XVII в.; события украинской истории— Глуховская Рада, московско-польские переговоры (об Украине), исторические описания Литвы, Польши, повести о Турецкой империи. Сборник выходил за рамки чисто исторических материалов, включая и географические сведения (Космография, «Книга Большой Чертеж всему Московскому государству», «Чертеж всей Сибири, збиранный в Тобольске по указу ц. Алексея Михайловича» и др.) и популярные на Украине литературные произведения. Этот сборник — своеобразная энциклопедия исторических знаний XVII в. С материалами сборника связаны Синопсис Гизеля и «Ядро» Манкиева, черпавшие свой материал либо из Сафоновича, либо непосредственно из его источников. Независимо от решения вопроса о составителе этой части сборника, богатство его материала ярко характеризует рост исторических интересов в XVII в., интерес и внимание к письменным историческим памятникам, собственно говоря, начало их собирания. Это отношение к истории ярко выразил Феодосий Сафонович:

«Каждому бо вем [2] потребная есть речь [3] о своей отчизне знати

[1] Полный перечень приложений см. в названной книге Старчевского, стр. 77—79.

[2] — знаю.

[3] — дело, предмет.

и иншим пытаючим сказати. Бо своего рода незнаючих людей за глупых почитают» [1].

«Синопсис» Иннокентия Гизеля

Иннокентий Гизель был архимандритом Киево-Печерской лавры и в 1674 г. напечатал первое издание своего Синопсиса. Слово «синопсис» означает «общий взгляд», т. е. «краткий обзор»— «Обозрение Российской истории». Действительно, автор излагает русскую историю на 200 маленьких страницах печатного текста, притом в легкой литературной форме. Очевидно, эти качества и обеспечили Синопсису широкую популярность у тогдашнего читателя. В течение всего XVIII в. Синопсис был фактически учебной книгой по русской истории; по Синопсису изучал историю и Ломоносов. С 1672 по 1836 г. Синопсис выдержал около 30 изданий.

Сравнивая Синопсис со «сборником» Сафоновича, надо признать, что его содержание беднее, элементарнее; может быть, это объясняется его назначением стать учебной, популярной книгой. Но зато в нем сильнее выражен авторский замысел.

В авторской обработке сказались два основных определяющих момента. Один из них — политического порядка. Иннокентий Гизель — крупный украинский политический деятель, представитель украинской церковно-феодальной верхушки, что не могло не повлиять на его отношение к ряду событий прошлого, на трактовку отношения украинской истории к московской, отношения истории Киева к истории Москвы. В то же время он писал для русских, для московского читателя. При этом положение самого Гизеля было особенно сложным. В условиях разделения Украины по Андрусовскому перемирию 1667 г. Киев и Киево-Печерская лавра остались за Москвой (хотя самый договор формально оставлял вопрос об их конечной судьбе открытым). При этом нерешенным остался вопрос о церковном управлении на Украине: митрополит Тукальский оказался в польской части Украины, киевская митрополия периодами пустовала, а Гизелю необходимо было поддерживать нормальные отношения с Москвой и сохранять отношения с духовенством Правобережной Украины. Гизель вел довольно умело сложную дипломатическую игру в своей политической деятельности, дипломатически подошел он и к историческому материалу.

В Синопсисе Гизель обошел все те вопросы, которые неизбежно вели бы к вскрытию противоречий украинской и московской позиций. Особенно подробно изложены автором события древнейшей истории до Владимира Мономаха включительно, т. е. вопросы общей истории древней Руси. Изложив затем, с одной стороны, борьбу Владимира (Андрея Боголюбского) с Киевом, с другой — историю галицких князей, историю Киево-Печерской лавры,

[1] *Старчевский*, Очерк литературы русской истории до Карамзина, стр. 74.

имеющую для него особое значение, Гизель перешел непосредственно к татарскому нашествию и к Куликовской битве; в истории Украины он дал княжение Киевское и его завоевание Литвой. Дальнейшая история фактически сводится к вопросам борьбы с татарами и с Польшей, т. е. к вопросам совместной борьбы Украины и Москвы, но не касается взаимоотношений Украины с Москвой. Автор не дает даже истории Богдана Хмельницкого, не останавливается сколько-нибудь подробно и на истории Москвы.

Второй момент, определивший структуру Синопсиса, состоял в задаче дать целостное прагматическое, повествовательное изложение истории в соответствии с запросами нового времени. Здесь автор пошел по линии наименьшего сопротивления. Он положил в основу непосредственно историческую повесть и на ней построил свое изложение. Новая форма исторического произведения, принятая автором, облегчала ему решение первой задачи, не связывая автора с необходимостью соблюдения непрерывного следования фактов летописного изложения, но зато автор следовал зачастую механически за соответствующими литературными памятниками, воспроизводя их в своей истории. В результате история Владимира Святославича и крещения Руси заняла 30 страниц, Сказание о Мамаевом побоище — 40 страниц; таким образом, эти две повести составили треть всей книги, а о Ярославе рассказано всего на 2 страницах.

Неполнота изложения частично восполнена приложениями, содержащими перечень княжений не только русских, но и польских и литовских в связи с историей Украины, а также перечень киевских митрополитов.

Элементарность содержания, упрощение материала с резко выраженным при этом внешним литературным подходом к его отбору вызвали в историографической литературе отрицательное отношение к Синопсису. Шлецер, трактуя его с источниковедческой точки зрения, называл автора «историческим проказником».

Но при всей упрощенности содержания Синопсис является историческим произведением, отражающим характерные сдвиги в понимании истории России во второй половине XVII в. Прежде всего характерна в плане историографии та задача, которую поставил перед собой автор, — дать литературно обработанную, широко доступную книгу по истории.

Кроме того, при всей примитивности использования материала, постановка автором Синопсиса вопроса об источниках показывает характерную для XVII в. эволюцию исторического подхода.

Вместо общей ссылки на источники, притом весьма условной, данной в заголовке, автор систематически дает на полях указания на источники сообщений об излагаемых фактах и событиях: в одном месте — на Мартина Бельского, в другом — на Зонару

и т. д., т. е. автор считает нужным подтверждать свои высказывания ссылкой на источники, доказывать, а не только рассказывать. Значительно увеличился круг источников: многочисленные польские хроники, греческие хронографы, «летописец немецкий Кранциус», церковная всемирная история Бароний и т. д.

Вопрос об источниках впервые ставится таким образом именно Гизелем в Синопсисе. Отсюда уже один шаг к следующему этапу — к сопоставлению и проверке источников. Правда, сам автор без особых колебаний воспроизводит разные легенды, которые приведены в его источниках (в том числе в совсем ненадежных польских хрониках), и самый текст Синопсиса получает характер литературной компиляции. Тем не менее у автора Синопсиса мы найдем первую, — конечно, пока элементарную, — попытку критического сопоставления источников с целью определения своей точки зрения на вопрос. Впервые точка зрения автора отделяется от самого материала.

Так, Гизель отмечает наличие различных и разновременных свидетельств о крещении Руси и пытается разрешить это противоречие, выдвигая предположение, что либо не все были крещены сразу, либо первоначальное крещение было забыто. И хотя решение вопроса примитивно, но здесь впервые ставился вопрос о согласовании источников.

Так же Гизель подошел и к вопросу о происхождении Руси, сопоставляя толкования различных авторов.

Примером конкретной критики источников являются высказывания о происхождении царских регалий: «Обретается же в некиих летописцах яко от Константина Мономаха Кесаря Греческого прислана быша вся тая знамения царская Владимиру Мономаху Самодержцу Российскому: но событие того по смерти Константина Мономаха лет более пятидесяти от прочих летописцев Российских и от Бароииуша и Стрийковского изъявляется. По Бароииушеву бо свидетельству, седе на царствовании Греческом Константин Мономах лета от р. Хр. тысяща четыредесять второго, а преставися тысяща пятдесят четвертого»[1]. Исходя из хронологических соображений, он, однако, не отвергает самую легенду, а только предлагает заменить Константина Мономаха современником Владимира Мономаха Алексеем Комненом.

Так, перед Гизелем, писателем XVII в., перед которым оказалась не одна летопись, которую он переписывал, а ряд источников и поэтому ряд противоречий между ними, возникает проблема сопоставления материала, проблема критики, т. е. задача не простой переписки текста и регистрации фактов, а их анализа, задача научного подхода к материалу.

Нельзя не отметить, что автору Синопсиса принадлежит вместе с тем попытка создания первой схемы украинской истории.

[1] «Синопсис», стр. 101—102; цит. по изданию 1810 г

Поэтому при всей примитивности отбора и подачи материала Синопсис отражает определенный рост исторической мысли в конце XVII в. Хроника Феодосия Сафоновича и Синопсис Гизеля отражают характер исторических представлений общества XVII в.[1]

Рост исторического кругозора в XVII в.

В XVII в., с усложнившимися социально-экономическими отношениями, обострением классовой борьбы и растущими внешними связями, в частности связями культурными, в России происходит культурный рост, отражающийся в различных областях знания. Создаются впервые учебные заведения, привлекаются византийские и западноевропейские ученые, появляется первая учебная литература, растет интерес к изучению своей страны, к ее прошлому и настоящему.

Особое значение приобретает развитие географических знаний. От воспроизведения Космографии Козьмы Индикоплова Москва переходит к самостоятельному собиранию географического материала, к составлению географического описания Русского государства. Ко времени Бориса Годунова относится составление «Большого Чертежа» Московского государства. Правда, карта не уцелела, погибнув в московском пожаре в 1626 г.; не дошел до нас и новый чертеж, сделанный вслед за тем. Но сохранился сопровождавший ее пояснительный текст — «Книга, глаголемая Большой Чертеж»[2]. Книга Большого чертежа содержала маршруты, расстояния между отдельными пунктами.

«Чертеж» (карта) Сибири, составление которого было поручено тобольскому сыну боярскому Семену Ремезову, явился уже результатом прямых изысканий географических и даже исторических.

Семен Ремезов, представитель мелкого служилого рода, связанного с Сибирью со времени ее завоевания Москвой, является одним из передовых представителей русской культуры XVII в. Общий для XVII в. рост исторических интересов превратил географическую карту Сибири Ремезова в первую историческую карту в России, в смысле нанесения на географическую карту исторических данных. Ремезов тщательно связывает географический ма-

---

[1] Вопрос об авторстве Синопсиса остается, впрочем, спорным в исторической литературе. Некоторые исследователи отвергают авторство Гизеля, усматривая известные противоречия между политической позицией Гизеля и отдельными положениями Синопсиса. Вместе с тем в качестве возможного автора называют Ивана Армащенкова, участвовавшего в качестве писаря в двух посольствах Киево-Печерской лавры в Москву в 1680 г. Однако доводы против авторства Гизеля недостаточно убедительны. См. *Лаппо-Данилевский*, Очерк развития русской историографии. Введение, «Русск. ист. журн.», кн. 6, 1920, стр. 5—29.

[2] Книга Большого чертежа впервые была издана Новиковым в 1773 г. под названием «Древняя Российская гидрография», затем Мусиным-Пушкиным в 1792 г., позднейшие издания — 1838 и 1846 гг.

териал с историческим; он заносит на карту сведения об исторических памятниках — курганах, уцелевших развалинах старинных городов.

Семен Ремезов является также автором «Сибирской истории», написанной в результате большой для того времени работы, состоявшей не только в сведении местных летописей, но и в использовании впервые архивных статистических материалов, в привлечении местных произведений («бусурманские истории» и «бусурманские повести»), в опросе старожилов, памятных бывальцев, наконец, в описании археологических памятников. Большая работа Ремезова по собиранию исторических материалов — явление того же характера, что и сборник с Хроникой Феодосия Сафоновича. В том же направлении собирания источников предполагал развернуть работу Записного приказа дьяк Кудрявцев. Все эти явления, одновременно развивающиеся в разных концах Русского государства, свидетельствуют о новом подходе к источнику как общем явлении XVII в.

Расширение круга источников и знания источников приводит и к первым проявлениям настоящей критики источника, совершенно неизвестной всему предшествующему периоду. Исключительным образцом такой критики является определение Собора 1673 г. о мощах Анны Кашинской[1].

Анна Кашинская, вдова тверского князя Михаила Александровича, убитого в Орде, постриглась в монахини под именем Софьи, через 25 лет умерла и, согласно летописи, была похоронена в Троицкой церкви в Твери. Между тем в 1650 г. в городе Кашине, родине княгини, неожиданно объявились ее мощи, тут же оказалось и ее житие, якобы найденное в Соловецком монастыре и оттуда привезенное. Открытие мощей происходило торжественно, в присутствии самого царя Алексея Михайловича. Духовенство объявило Анну Кашинскую святой, и около ее гроба стали «твориться» чудеса, исцеления и пр.

Но затем произошло изменение политической, а главное, церковно-политической обстановки. Прежде всего на изображении Анны Кашинской оказалось двуперстое сложение, осужденное соборным постановлением против раскола. Патриарх направил в Кашин следственную комиссию, а за этим последовало и упомянутое соборное определение 1673 г. Комиссия дала образец совершенно четкого применения критики текста. Она составила акт из 13 пунктов. В первых 8 были установлены последовательно расхождения жития с Троицкой летописью; затем в 5 пунктах было проведено сличение свидетельств жития с актом непосредственного «досмотра» мощей; а из этого двойного ряда противоречий был сделан вывод о подложности жития и самих

[1] См. материалы по этому делу и самый текст соборного определения в работе «Город Кашин. Материалы для его истории, собранные И. Я. Кункиным», вып. II «Чтения в имп. Общ. ист. и древн. росс.», 1905, кн. 3.

мощей. В данном случае критика текста, как и на Западе, возникла прежде всего в практических целях и притом в церковной среде, в условиях богословских споров, по-своему искавших опоры в старых текстах, в их толковании и критике.

Это дело свидетельствует об отмеченном выше распространении знакомства с историческими памятниками, о росте исторических знаний, а вместе с тем и о создающемся на этой основе новом подходе к памятникам, об элементах критики, открывавших путь к превращению истории в науку. И понятно, что люди, достигшие этого уровня исторического понимания, не могли уже довольствоваться Степенной книгой или Историей дьяка Грибоедова.

Развитие этого нового направления было обусловлено дальнейшими внутренними социально-экономическими изменениями в жизни России, реформами Петра, наконец, влияниями западноевропейской научной мысли, быстро осваиваемыми русским обществом в итоге тех же Петровских реформ.

Раздел II

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В XVIII в. ПРЕВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В НАУКУ

ГЛАВА 3

НАЧАЛО НОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЭТАПА

Классики марксизма-ленинизма: *Маркс* и *Энгельс*, Святое семейство или критика «критической критики». Против Бруно Бауэра и К° (особ. гл. VI, 3), Соч., т. III, стр. 21—244.— *Маркс* и *Энгельс*, Немецкая идеология, Соч., т. IV.— *Энгельс*, Положение Англии. — XVIII век. — *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. II, стр. 348—366.

Основная историографическая литература: *Плеханов, Г. В.* (*Бельтов*), К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (есть ряд изданий). — *Александров, Г. Ф.*, Очерк истории новой философии на Западе, изд. «Сов. наука», М. 1939.—*Ueberweg-Heinze*, Grundriss der Geschichte der neuen Philosophie, 3—4 Aufl., Brl. 1925.—*Вайнштейн, О. Л.* Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней, гл. IV и V, Соцэкгиз, М. — Л. 1940. — *Fueter, Eduard*, Geschichte der neueren Historiographie von Ed. Fueter, München u. Berlin, Druck und Verlag von R. Oldenburg, 1936, 3 Aufl. (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, herausgegeben von G. v. Below, F. Meinecke u. A. Brackman, Abteilung I, Allgemeines).— *Плеханов, Г. В.*, История русской общественной мысли, кн. 2 и 3 (в частности кн. 2, гл. I и II), Соч., т. XXI и XXII, Гиз, М.—Л. 1925. — *Пекарский, П.*, Наука и литература в России при Петре Великом, т. I. Введение в историю просвещения в России в XVIII столетии. Спб. 1862. — *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, т. I, М. 1897

Общественные и философские основы новой европейской науки

В Западной Европе процесс, который мы наблюдали в России в XVII в., развился быстрее и интенсивнее.

В основе этого лежали прежде всего глубокие социальные сдвиги, которые в Западной Европе начинают отчетливо сказываться уже в XVII в.: в недрах фео-

дального общества происходит складывание новых буржуазных отношений. В наиболее передовых европейских странах — Нидерландах и Англии — это приводит уже к первым буржуазным революциям. Острота внутренних противоречий и практика политической борьбы порождают элементы более реалистического подхода и к вопросам общественной жизни и к их научному осмыслению в истории.

Политические результаты общественного развития в свою очередь оказывают влияние на историческую мысль. Процесс создания в Западной Европе национальных государств вызвал уже в XVII в. потребность в определенном подытоживании национальной истории и привел к созданию первых крупных национальных политических историй. Эта потребность усиливалась напряженными политическими противоречиями между европейскими государствами, приведшими к крупным европейским войнам XVII в. и также заострявшими политическую мысль историка.

Непосредственный участник революционной борьбы, наблюдатель внутренних сдвигов в европейском обществе XVII в. уже не мог довольствоваться разрозненными представлениями об единичных событиях, связывавшихся и направлявшихся только высшим «божественным промыслом», не мог остановиться на «провиденциализме» летописца. Он видел, что воля человека и политическая организация имели решающее значение в политической борьбе, и искал более реального, непосредственного начала, действующего в истории. Вместо божественного разума, невидимо направляющего историческое развитие, выдвигалась проблема его непосредственной «разумности» — «рациональности» с точки зрения практического суждения самого человека, его разума, его «здравого смысла». «Здравый смысл» человека становился основным критерием «научного» суждения историка XVIII в., а свои руководящие предпосылки он черпал непосредственно из практики политической жизни. Прежняя связь истории с церковью сменялась связью истории с политикой: «практической» наукой считал историю один из первых представителей нового философского направления — Локк; практической, политической наукой оставалась история в течение всего XVIII в. Не случайно и то, что значительная часть историков этого направления принадлежала к политическим деятелям своей эпохи.

Основные черты этого направления нашли свое яркое выражение в философских учениях эпохи. Естественно при этом, что в XVII в. свое наиболее четкое выражение новые принципы получили в Англии, — в стране, где всего полнее выразились новые социальные отношения.

Родоначальником нового философского направления, проникнутого духом материализма, был Френсис Бэкон (1561—1626). Церковной догматике он противопоставлял опытное зна-

ние. «Наука есть *опытная наука* и состоит в применении *рационального метода* к чувственным данным»[1], — так характеризовали Маркс и Энгельс основной смысл его философской позиции. Принципы своей эмпирической, материалистической философии Бэкон прилагал и к явлениям общественной жизни, отражая стремления поднимавшейся буржуазии, развивая в частности буржуазную экономическую программу.

Но философская мысль Бэкона наиболее полно отразилась в естествознании, именно «естествознание является в его глазах истинной наукой...»[2]

Философские идеи Бэкона получили дальнейшее развитие у Гоббса (1588—1679) и Локка (1632—1704), распространивших их на общественные науки. Вместе с тем два элемента приобретают в новом философском направлении решающую роль, придавая их учению определяющее значение в развитии исторической мысли: проблема человека и проблема государства.

«Локк обосновал философию bon sens, здравого смысла, т. е. сказал косвенным образом, что не может быть философии, отличной от рассудка, опирающегося на показания здоровых человеческих чувств»[3]. Учение Локка отражало складывание новой, буржуазной идеологии в феодальном обществе; по выражению Энгельса, Локк был «...сыном классового компромисса 1688 г.»[4] Учение Локка поставило проблему человека в центр философского изучения. Эмпиризм Локка, объявивший разум человека tabula rasa (чистой доской), а его представления и знания — продуктом ощущений и жизненного опыта, делал человека и его конкретную жизнь основой для понимания всего содержания человеческого знания и человеческих действий. Продуктом свободного соглашения людей, общественного договора, является и организация людей в государство.

Исходя из того же индивидуалистического представления о человеке, разрабатывал свое учение о государстве старший современник Локка, Гоббс, главная работа которого «Левиафан или мистерия, форма и власть государства церковного и гражданского» появилась в Париже в 1651 г. Он искал объяснения исторических явлений в человеческой натуре, которая всегда и везде одинакова. Эмпирически создававшийся человек Локка фактически разрывал все связующие его нити, и это обособление отдельного человека вылилось у Гоббса в своеобразную общественную философию, выведенную из «человеческой природы» и объявившую всю жизнь общества «войной всех против всех», а отношения людей между собой отразившую в краткой формуле

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. III, стр. 157.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 158.
[4] Письмо К. Шмидту от 27 октября 1890 г., *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XXVIII, стр. 260.

«homo homini lupus»— «человек человеку волк». Этому анархическому началу потребовалось противопоставить в качестве организующего начала государство, столь же абсолютное и неограниченное в своих действиях, как и локковский человек. «Единственное право на земле есть государственный закон», а само государство уподобляется Гоббсом всепожирающему животному — Левиафану. Генезис государства выводился из действий того же отдельного человека, отрекающегося от полноты своих прав в поисках спасения от посягательств такого же неограниченного права других людей.

В борьбе этих двух начал представлялось людям XVII в. видимое содержание развивавшихся на их глазах исторических событий. Эти два начала, каждое по-своему, определяли и историческое понимание прошлого.

Философско-историческая концепция рационализма

Но вместе с тем весь английский материализм остается механистическим, в нем нет историзма, отсутствует понимание развития.

В учении Локка о человеке лежит основа объяснения отдельных событий и конкретной связи между ними, исходившего от действующего лица и его психологии. Учение Локка рассматривало психику человека как продукт каждый раз повторяющегося однородного эмпирического процесса, отрывало ее развитие от жизни человеческого общества, человечества в целом, т. е. брало ее развитие абстрактно и неисторически. Психология человека определяла (и притом абстрактно-психологически) лишь связь между двумя конкретными событиями, но не общую связь исторического процесса. На ее основе могло развиваться лишь то прагматическое направление, которое получило свое наиболее законченное выражение у Юма (середина XVIII в.), горячими поклонниками которого в России выступили Щербатов, а потом Карамзин. Основой обобщения становилась жизнь государства, вопросы политики. Историческое событие было делом человеческой личности, а государство ставилось фактически вне конкретного хода исторических событий. Государство не развивалось само в конкретном ходе истории, а лишь служило для последующего осмысления и политической оценки этих событий. Само государство рассматривалось, таким образом, также не исторически, а с точки зрения выраженных в нем общих начал. Все было сведено к определенному кругу государственных образований, от которых в лучшем случае требовалось соответствие «естественным» условиям данной страны. Поэтому от исторических фактов требовались, главным образом, практические уроки, политико-назидательные выводы для формирования «искусства правильного приложения наших сил и действий для достижения вещей больших и полезных», по определению Локка.

Сложившаяся на пороге XVIII в. философия Лейбница пред-

ставляла своеобразную попытку свести отдельные элементы миропознания в единую философскую систему, исходя из противоположного, рационалистического начала; но в своих исторических выводах она оказалась неожиданно близка к выводам названных английских эмпириков. Лейбниц представляет для нас особенный интерес, во-первых, потому что он ближайшим образом связан с исторической наукой XVIII в., выступая сам как историк (в частности он положил начало научной этнографии) и в то же время, подобно многим историкам XVIII в., являясь политическим деятелем, практиком. Во-вторых, Лейбниц оказал ближайшее влияние на развитие научной мысли в России и непосредственно (в частности в переписке с ним был Петр I) и через своего ученика Вольфа, популяризировавшего его философское учение.

Лейбниц назвал свое философское учение о мире «монадологией». Монада — от греческого слова monos (один) — обозначает единичное, законченное, индивидуальное целое. Единство монады дано в единстве ее содержания, ее идеи, определяющей вместе с тем содержание и целенаправленность ее развития. Этим прежде всего делалась попытка перебросить мост от содержания к развитию, т. е. к истории. «Тут своего рода диалектика и очень глубокая *несмотря* на идеализм и поповщину»[1], — писал Ленин. В антиисторичности, в отрыве опыта отдельного человека от опыта, от развития всего человечества, обвинял Лейбниц Локка. В игнорировании исторического развития государств, в сведении всего к «естественному закону» обвинял он Гоббса.

Лейбниц пытается связать между собой отдельные элементы, из которых слагается реальная жизнь. При этом весь мир превращается в иерархию монад. Человек в своем единстве есть монада, и его действия определяются его внутренней природой; но и народ или государство также замыкается в такое единство, являясь органическим целым, монадой более сложного и высшего типа, которая имеет свою идею и свое закономерное развитие. И, наконец, человечество опять-таки есть определенная монада, определенное единство, еще более сложное и более высокое в единстве своей закономерности.

Только в этих чисто рационалистических, абстрактно существующих монадах не было перехода от одной системы к другой, от действий человека к действиям государства и от деятельности одного государства к жизни человечества; каждая система монад обособлена и замкнута. Разрешение вопроса их единства Лейбниц находил в предустановленной гармонии, в силу которой действия низшей монады (в данном случае — человека) не нарушают, не препятствуют развитию более сложной монады (государства),

[1] *Ленин*, Философские тетради; стр. 80.

а наоборот, в своем комплексе как бы получают разрешение в единстве развития монады высшего порядка.

Но тем самым Лейбниц соединял отдельные элементы лишь формально и абстрактно. Закономерность деятельности людей не создавала у него закономерности государственной жизни, а каждая имела свою закономерность. Возникавшая на этой основе попытка дать обобщенную историю отдельной страны или всего человечества превращалась в философскую, обобщенную историю, оторванную от самих конкретных исторических фактов.

Соединения в органическое целое деятельности людей, понимания истории как целостного процесса эта рационалистическая концепция не давала. Между историей человека и историей общества может быть в лучшем случае внешняя аналогия возраста, но нет фактической, органической связи между тем и другим. Поэтому органическое понимание исторического процесса не создается. Создается лишь внешняя схема, которая позволяет извне, идя прежде всего от политических задач, формально объединить исторический материал, формально свести его к известной схеме, но не раскрыть закономерности исторического развития. Отсюда внутреннее противоречие исторической науки XVIII в. При этом на первом этапе, пока слаба еще способность овладеть материалом, преобладание остается за материалом. В основе исторического произведения лежит хроника событий, схема лишь позволяет внести в приведенные в систему факты определенную долю оценки, которая продиктована в основном политическими взглядами автора, его политической программой.

По мере того как яснее ощущается потребность показать историческое развитие как целостный и реальный процесс, выступает другая сторона, усиливается абстрактная схема, но она усиливается за счет постепенного сокращения и выпадения самого конкретного материала. Это направление характерно для второй половины XVIII в., для деятельности французских просветителей, Вольтера и других, которые в своих исторических произведениях утверждают идею прогресса, стремятся показать развитие человечества, изучая быт и культуру, но не могут дать органически действующие силы и конкретное развитие самих общественных отношений.

Преодоление этого противоречия, переход к пониманию органического развития исторического процесса принадлежит следующему этапу, обозначает переход к буржуазной науке в полном смысле этого слова, связанный с победой буржуазной революции конца XVIII в. в Западной Европе.

В этом сведении всех явлений к абстрактным, логическим, рационалистическим моментам заключается специфическая природа нового направления, получившего отсюда и свое название

рационализма. В исторической науке рационализм сменил провиденциализм. Самая замена потустороннего божественного начала положениями человеческого разума — здравого смысла и человеческой психологии — представляла крупный шаг вперед, заставив человека ближе приглядеться к реальному содержанию и к практическому значению конкретной исторической действительности.

Падение старой концепции провиденциализма и стремление к «разумному» объяснению фактов отражают начало кризиса феодальной системы, зарождение буржуазных отношений и вызванных этим общественных противоречий. Но зарождение буржуазных отношений происходило в недрах феодального общества, в условиях господства феодального строя. Рационализм как идеология отражает внутреннюю противоречивость этого переходного периода. Именно поэтому ему прежде всего чужда идея необходимого развития, изменения существующей системы отношений. Все, что происходит, остается колебанием в рамках одной системы отношений, временным нарушением и восстановлением тожественных политических форм. Политическая концепция Гоббса отвечала правлению Кромвеля, но она смогла быть приспособлена и к реставрации Стюартов.

Развитие конкретного исторического изучения в XVII в.

Исторические сдвиги сказались и в конкретном развитии западноевропейской исторической науки XVII в.

Первый разрыв в системе феодальной летописной истории был внесен Итальянским Возрождением. Итальянский город с его напряженной социальной и политической борьбой был первым провозвестником зарождения новых буржуазных отношений. Обращение к источникам античной культуры было первым протестом против господства церковной идеологии в средневековой культуре. Дух критики и вопросы современной социальной и политической борьбы писатели-гуманисты перенесли и в историю. Трактат Лоренца Валлы «О мнимом и лживом дарении Константина» был первым образцом новой ученой критики текста. В своей «Истории Флоренции» Никколо Макиавелли делает попытку исторически осмыслить политическую борьбу современной Италии, а у Ф. Биондо эта политическая оценка исторических событий переходит даже в своеобразную новую периодизацию истории, в противопоставление древней, средней и новой истории.

Но свое дальнейшее, более глубокое и принципиальное развитие эти тенденции могли получить лишь на основе общеевропейских исторических сдвигов, в развитии общественной и научной мысли XVII в. Именно к исходу XVII в. относил Энгельс начало нового периода в истории научного знания, — превращение знания в науку.

Начало исторической критики именно в XVII в. получает

впервые свое действительное обоснование в новом отношении к историческому источнику. У писателя-гуманиста отношение к источнику определялось в значительной мере политической задачей: разоблачая один исторический фальсификат, он иногда сам создавал другой. XVII век подошел впервые к широкой научной постановке вопроса о публикации и критическом изучении исторических памятников, хотя на первых порах это изучение было обращено прежде всего на памятники древней истории и даже на памятники церковной истории. Свое начало это направление получило в деятельности ученых монахов, приступивших к изданию памятников церковной истории в условиях напряженной религиозной полемики, немало способствовавшей заострению критического подхода к этим памятникам.

Французскому монаху-бенедиктинцу Мабильону (1632—1707) обязана наука первой разработкой принципов научной публикации источников, с него начинается практическая разработка дипломатики как источниковедческой дисциплины [1]. Другой ученый, бенедиктинец Б. Монфокон (1655—1741), на рубеже XVII и XVIII вв. развернувший огромную публикационную и комментаторскую деятельность, подвел под нее и первую теоретическую базу: его «Palaeographia Graeca» положила основание палеографической науке. Свое завершающее развитие это направление получило в Германии у создателя библейской экзегетики И. Г. Михаэлиса и его продолжателя, геттингенского профессора И. Д. Михаэлиса («Младшего»). Из школы последнего вышел и фактический создатель научной критики в России А. Л. Шлецер. Этим была подготовлена материальная основа развития европейской исторической науки XVIII в.

Другим важным моментом историографического развития XVII в. было создание крупных национальных историй, данных в новом повествовательном изложении. Историк приступал к обработке накопленных исторических знаний, пытался привести их в систему. Политическая история XVII в. определила то направление, в котором пошла эта работа. XVII век — время создания национальной политической истории. Так, для Франции переход к новому этапу в развитии исторической науки отмечен первой общей политической историей Франции — «Histoire de France» Мезерэ (Mezeray, 1610—1683). В Германии первым историком этого направления можно было бы назвать Слейдана, автора работы «De quattuor summis imperiis». Тогда же в Швейцарии появилась работа Чуди (Tschudi). Наконец, в Англии, где актуальность событий XVII в. на время заслоняет вопросы более отдаленного прошлого, появляются прежде всего первые истории английской революции, начиная с работы Кларендона

[1] В 1683 г. он издал сочинение «De re diplomatica».

«History of the rebellion and civil war in England». Создаются и первые опыты обобщения национальной политической истории в общеевропейской политической истории. И рядом с церковной всеобщей историей католического писателя Барония или протестантского писателя Стратемана появляется первый светский компендиум европейской истории, составленный историком и юристом Самуилом Пуффендорфом (1631—1694). Его работа «Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten in Europa» получила широкое распространение во всей Европе, дав первую документированную историю международных отношений.

С этих работ начали свое знакомство с западноевропейской исторической наукой и русские люди в XVIII в., в эпоху петровских преобразований.

Русское общество и реформа Петра I

Внутренние сдвиги, отмеченные выше для Западной Европы, совершались, хотя и замедленными темпами и в иных формах, также в России конца XVII — начала XVIII в. И здесь в недрах русского феодального общества происходит процесс складывания новых отношений. «Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое»[1]. Этот процесс слияния был вызван, как пишет Ленин, «...постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок»[2]. Товарищ Сталин подчеркивает для эпохи Петра I значение нарождающегося купеческого класса: «...Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев»[3]. Медленно, но определенно нарастают новые социально-экономические отношения в России. В конце XVIII в. борьба с французской буржуазной революцией для российского царизма была вопросом не только внешней, но и внутренней политики.

Росло значение политической организации, увеличивалась роль государства. В деятельности Петра I, в Петровских реформах с особенной наглядностью выступила активная роль государства и вместе с тем роль личности в истории. Вместе с тем та ломка и та новая стройка, которые проводились в Петровских реформах, заставляли, конечно, по-новому, конкретно и практически, подойти к российскому прошлому и настоящему. Политические задачи, политическая точка зрения сменяли старый религиозный подход летописца, подобно тому как в практической

---

[1] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 73.
[2] Там же.
[3] *Сталин*, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, стр. 1.

жизни Петровская монархия изменила отношения, существовавшие между государством и церковью в Московской Руси.

Реформы Петра I, закрепляя и ускоряя внутренний рост Русского государства, выводят его на большую дорогу мировой политики. На западе и на востоке Русское государство активно участвует в мировой истории. И это в свою очередь должно было превратить первоначально лишь формально воспринятую связь с мировым историческим процессом в подлинную реальность и по-новому ставило перед русским человеком проблему исторического процесса.

Рост связей с Западом ускорял также освоение Россией достижений западноевропейской научной мысли. По выражению Ленина, Петровские реформы ускоряли «варварскими средствами» «...перенимание западничества варварской Русью»[1]. Политика Петра I открывала двери европейскому образованию в России. Среди многообразной культурной деятельности Петра по насаждению в России учебных заведений от начальных школ и до Академии наук, по заведению первой газеты, по переводу иностранных книг и созданию своей собственной научной литературы вопросы истории, призванной обосновать и исторически подкрепить всю петровскую политику, занимают одно из первых мест.

Удовлетворяя интерес к исторической науке, как и к другим областям науки, Петровская эпоха идет, с одной стороны, по линии освоения результатов западной науки, а с другой стороны, создает и свою собственную историческую науку.

Переводная историческая литература при Петре I

Среди переводной исторической литературы этого периода необходимо отметить в первую очередь перевод работ по всеобщей истории. В 1718 г. вышла последняя европейская работа, явившаяся уже плодом новейшей европейской науки, — «Введение в историю европейскую» Самуила Пуффендорфа. Книга вышла двумя изданиями (1718 и 1724 гг.). У Петра I мы встречаем специальную ссылку: «как о том славный историк Пуффендорф пишет». В 1719 г. вышла в переводе книга Барония «Деяния церковные и гражданские», ранее известная в России в сокращенном рукописном тексте. В 1724 г. была напечатана всемирная история протестантского писателя Стратемана «Theatrum historicum» («Феатрон, или позор исторический»)[2]. Перевод всех трех книг принадлежал одному лицу, очевидно, профессионалу-переводчику Гавриилу Бужинскому. В предисловии к Стратеману Бужинский изложил и свой характерный для этого времени взгляд на содержание истории; впервые мы встречаемся у него и с употреблением термина «гражданская история». «Гражданская история, — пишет Бужинский,— иссле-

[1] *Ленин*, Соч., т. XXII, стр. 517.

[2] Позор в древнерусском языке значило — зрелище.

дует о народех и их началех, населениях и преселениях, о делах во время брани и мира, о лицах и их добродетелех и пороках, о монархиях и их состоянии и падении, о царствиях и их начале и окончании, о обществах и их возрастении и пресечении, купно же о вере и бозех языческих, о временах и властителех во времена оная и о сим подобным»[1].

Хотя автор дает расплывчатое определение истории, оно все же заслуживает внимания, поскольку впервые историк ставит перед собой задачу охватить разные стороны исторической жизни.

Появляются и специальные исторические работы с известным уклоном в военную историю. Большой популярностью пользуется «Книга Квинта Курция о делах, содеянных Александра Великого, царя Македонского». Об Александре Великом была переведена и «краткая повесть» византийского хрониста Кедрина. Издано и «Краткое описание о войнах из книг Цезариевых». В 1710 г. вышла новая книга Шхонебека «История о орденах или чинах воинских». Привлекаются иностранцы и к изучению русской истории, например, пленный шведский офицер Табберт, известный в литературе под именем Стралленберга, книгой которого впоследствии пользовался Татищев. При содействии правительства состоялось путешествие Мессершмидта по Сибири. К этому, примерно, времени относятся и первые переводы восточных авторов.

Русское общество получает в это время непосредственное знакомство с новыми философскими и философско-историческими воззрениями. Выше упоминалось о переписке Лейбница с Петром I. Лейбниц принимал участие в разработке плана организации Академии наук, а его последователь Вольф намечался первоначально ее президентом и сохранял постоянные связи с Россией. Первый русский историк XVIII в. В. Н. Татищев неоднократно ссылается на Вольфа, а также и на взгляды Лейбница по вопросам этнографии.

Наконец, среди западноевропейской литературы по вопросам истории широкое распространение (не в переводе) имели многочисленные «лексиконы» — словари, имевшие характер наших современных энциклопедий. Широко пользуется различными словарями Татищев.

Первые русские исторические работы начала XVIII в.

Широкий интерес к истории получает отражение и в оригинальной русской исторической литературе.

В 1708 г. Мусин-Пушкин передал дьяку Поликарпову поручение Петра I написать историю России. Обращение по старине к дьяку вполне понятно: это

[1] Цит. по книге *Пекарского*, Наука и литература в России при Петре Великом, т. I, стр. 329—330.

были самые грамотные люди в старой Руси. Сохранившееся письмо Мусина-Пушкина содержит конкретные указания о задачах, которые были поставлены перед дьяком Поликарповым. «Понеже его царское величество желает ведать российского государства историю, и о сем первее трудиться надобно, а не о начале света и других государствах, понеже о сем много писано. И того ради надобно тебе из русских летописцев выбирать и в согласие приводить прилежно»[1]. Дьяк Поликарпов по своим представлениям недалеко ушел от дьяка Грибоедова, писавшего историю при Алексее Михайловиче, и не смог справиться с этой задачей. В 1716 г. Мусин-Пушкин сообщил ему: «История твоя российская... не очень благоугодна была»[2].

Примерно к этому времени относится еще одна попытка создать на старой базе историю России. Это — «Ядро российской истории», написанное около 1715 г. Книга первоначально ошибочно приписывалась князю Хилкову, российскому посланнику в Швеции, под именем которого издал ее в 1770 г. Миллер. Впоследствии выяснилось, что действительным автором был не Хилков, а его секретарь Алексей Ильич Манкиев.

«Ядро российской истории» непосредственно примыкает к историческим произведениям XVII в. Хилков и его секретарь Манкиев были задержаны в Швеции, когда в 1700 г. началась война; находились они там до 1718 г. В Швеции около 1715 г. и было написано «Ядро российской истории», представленное Петру по возвращении Хилкова и Манкиева в Россию. О книге упоминает Татищев в своей истории.

Автор пытается изложить свой материал в более простой и повествовательной форме, даже несколько его осовременить, но в основном Ядро повторяет произведения XVI—XVII вв. Соловьев, сравнивая Ядро с Синопсисом, отдает предпочтение первому вследствие большей фактической полноты. Но эта полнота была лишь результатом более точного воспроизведения более ранних текстов — Воскресенской летописи и Степенной книги.

Вслед за Степенной книгой автор подробно останавливается на родословных царей, удельных княжеских фамилий, боярских фамилий. В связи с призванием Рюрика приводится легенда об Августе и его брате Прусе. Как и Степенная книга, Ядро ведет рассказ «по степеням и граням», также считая 17 степеней от Владимира до Ивана IV. Как и в Степенной книге, история излагается по столицам. В соответствии с приложением к Воскресенской летописи дается генеалогия литовских князей от Рюрико-

[1] *Пекарский*, Наука и литература в России при Петре Великом, т. I, стр. 317.

[2] Там же.

вичей. Некоторые дополнения связывают Ядро с Сборником Феодосия Сафоновича, а рассуждения о происхождении племенных названий, возможно, идут от Синопсиса или от его источников — польских хроник. Отмечается несколько более подробное изложение русско-польских отношений с Ивана III. С материалами Сафоновича связаны экскурсы о завоевании Византии турками, о магометанской религии и др. В истории царствования Михаила Романова Манкиев имел своим предшественником Грибоедова. Новой была история второй половины XVII и начала XVIII в., до 1712 г. В последней части книги изложение событий получило в известной мере характер записок, поскольку автор описывал эти события как свидетель. В целом Ядро представляет скорее тип исторической повести; оно не отражало тех научных запросов, которые ставила перед историческим исследованием Петровская эпоха. Ядро не могло удовлетворить запросов Петра и тех слоев русского общества, которые определяли идеологическое и культурное развитие своего времени. Нужна была соответствующая подготовка для создания исторического сочинения, отвечающего новым требованиям. И прежде всего надо было начать с собирания источников, с создания реальной базы для дальнейшего исторического изучения.

Петр уделяет этому вопросу серьезное внимание. Начиная с 1720 г. издается ряд указов по этому вопросу.

Первое распоряжение о собирании рукописных материалов от 20 декабря 1720 г. предлагало: «Во всех епархиях и монастырях и соборах прежние жалованные грамоты и другие куриозные письма оригинальные, также и исторические рукописные и печатные книги пересмотреть и переписать губернаторам, вицегубернаторам и воеводам и те переписанные книги прислать в Сенат»[1].

Такой же указ был дан 16 февраля 1722 г. уже по линии церковной администрации: «Из всех епархий и монастырей, где о чем по описям куриозные, т. е. древних лет рукописанные на хартиях и на бумаге церковные и гражданские летописцы, степенные, хронографы и прочие сим подобные, что где таковых обретается, взять в Москву в Синод, и для известия оные списать и те списки оставить в библиотеке...»[2]

Специальный указ 17 мая 1721 г. предписывал: «Книги харатейные и старопечатные, у кого явились, и впредь по извету явятся в продаже, как в книжном ряду, так и в домах, оные все взять к церковным делам и отослать на печатный двор; а вместо тех дать людям с печатного двора новоисправленные...»[3]

---

[1] ПСЗ, т. VI, № 3693, стр. 277.
[2] Там же, № 3908, стр. 511—512.
[3] Там же, № 3784, стр. 390.

Мы имеем свидетельство Татищева, что он пользовался отдельными летописными текстами из библиотеки Петра, а об одной летописи он сообщает, что экземпляр ее у него не сохранился, так как он отдал ее Петру в 1722 г., когда Петр ехал в Персидский поход.

От собирания материалов делается уже и попытка перейти к самому написанию истории, но уже по новым образцам. Неслучайно и люди за эту работу берутся новые. Первыми на поле исторической деятельности выступают сам Петр и его сподвижники. Задачу составления истории Петровского царствования выдвигал еще Салтыков в своем «Изъявлении, прибыточном государству», присланном Петру в 1714 г. из Лондона [1]. Петр не только требовал материал, но лично собирался написать историю своего царствования. Как известно из его записей, он отводил один день, субботу, на занятие историей и делал заметки, какие вопросы вводить в свою историю: «Вписать в гисторию, что в сию войну сделано, каких когда распорядков земских и воинских, обоих путей регламентов и духовных; також—строение фортец, гаванов, флотов корабельного и галерного, и мануфактур всяких и строения в Питербурхе и на Котлине и в прочих местах»[2], — отмечал он в 1722 г. Под 1724 г. имеется запись: «Вписать в гисторию, в которое время какие вещи для войны и пр. художеств и по какой причине или принуждения зачаты; напр., ружье для того, что не стали пропускать, також и о прочем»[3]. В этих заметках почти такая же широкая программа для истории, как в приведенном выше высказывании Гавриила Бужинского.

Многие сподвижники Петра непосредственно занимаются писанием истории. Известно, что поручение написать историю Северной войны было дано иностранцу Гюйссену. Сохранилась история войны, составленная Шафировым, дипломатом Петра. Татищев сообщает о занятиях историей Феофана Прокоповича. Так, говоря в своей «Истории Российской» о происхождении славян, он вспоминает, что в 1724 г. архиепископ Прокопович поднес Петру «книжицу» о происхождении славян, а в другом месте по вопросу о денежном счете Русской Правды сообщает, что видел у Феофана Прокоповича книжку о монетах и введении денежного счета у славян. Но подлинным создателем исторической науки Петровской эпохи, самым ярким ее представителем, вышедшим из этой же среды «птенцов Петровых», был Василий Никитич Татищев.

---

[1] См. *Павлов-Сильванский*, Проекты реформ в записках современников Петра Великого, Приложения, гл. VI.

[2] *Пекарский*, Наука и литература в России при Петре Великом, т. I, стр. 321—322.

[3] Там же, стр. 322.

ГЛАВА 4

ТАТИЩЕВ

Основные сочинения Татищева: История Российская с самых древнейших времен, неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным советником и астраханским губернатором Вас. Ник. Татищевым, кн. 1, 1768—1769; кн. 2, 1773; кн. 3, 1774; кн. 4, 1784. Напечат. при Москов. ун-те. — История Российская... Книга пятая, или, по сочинителю, часть четвертая Древней летописи русской, М. 1848 (Чтения в Об-ве ист. и древн. росс., 1848, № 4, 5 и 9). — Лексикон Российской, исторической, географической, политической и гражданской, сочиненный господином тайным советником и астраханским губернатором Вас. Ник. Татищевым, ч. 1—3, Спб. 1793. — Духовная Василия Никитича Татищева. Издана под наблюд. Андрея Островского, Казань 1885. Отд. оттиск из IV тома «Изв. Казанск. о-ва археологии, истории и этнографии»; то же: Лейпциг, изд-во Вольфганг Гергард, 1862. — Разговор о пользе наук и училищ. С пред. и указ. Нила Попова (Чтения в Об-ве ист. и древн. росс. при Москов. ун-те, кн. 1, М. 1887, стр. 1—171). — «Утро». Литературный сборник, М. 1859 (Две записки Татищева, относящиеся к царствованию имп. Анны, стр. 369—389: 1. Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государства. 2. Напомнение на присланное расписание высших и низших государственных и земских правительств). — Краткие экономические до деревни следующие записки: Сообщ. сор. Серебряковым («Временник имп. Об-ва ист. и древн. росс.», кн. 12, М. 1852, стр. 12—32 (смесь). — Предложение о сочинении истории и географии Российской, в кн.: *Попов, Н.*, В. Н. Татищев и его время, изд. Солдатенкова и Щепкина, М. 1861, приложение XIII, стр. 663—696.— Продолжение Древней Российской Вивлиофики, ч. 1, содержащая Правду Русскую и Судебник царя и вел. кн. Ивана Васильевича. С примечаниями г. тайного советника В. Н. Татищева, Акад. наук, Спб. 1786.

Основная историографическая литература: *Попов, Н.*; В. Н. Татищев и его время. Эпизод из истории государственной, общественной и частной жизни в России первой половины прошедшего столетия, изд. Солдатенкова, К., и Щепкина, Н., М. 1861. — *Попов, Н.*, Ученые и литературные труды В. Н. Татищева, Спб. 1886. — *Соловьев, С. М.*, Писатели русской истории XVIII века, Собр. соч., изд. «Обществ. польза», Спб. (б. г.), ст. 1317—1388. — *Соловьев, С. М.*, История России с древнейших времен, кн. 4, изд. «Обществ. польза», Спб. (б. г.), ст. 1478—1492. — *Бестужев-Рюмин, К.*, Василий Никитич Татищев. Администратор и историк начала XVIII века. 1686—1750; в кн.: *Бестужев-Рюмин*, Биографии и характеристики, Спб. 1882, стр. 1—175. — *Пекарский, П.*, Новые известия о В. Н. Татищеве, Спб. 1864 (Приложение к IV тому Записок имп. Акад. наук, № 4). — *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, т. I, М. 1897: гл. II. Историки XVIII столетия; II. Русские историки XVIII столетия. Татищев, стр. 15—23. — Татищев, В. Н., см.

«Русский биографический словарь», том: «Суворова—Ткачев», стр. 332—346, Спб., изд. Русск. историч. об-ва, 1912. — *Плеханов, Г. В.*, История русской общественной мысли, кн. 2, гл. II, Гиз, М. — Л. 1925. — *Тихомиров, М.*, Василий Никитич Татищев, «Историк-марксист» № 6, 1940, стр. 43—56. Библиография: *Желоховцева, А. М.*, Библиографическая справка о В. Н. Татищеве, «Историк-марксист» № 6, 1940, стр. 57—62.

Формирование исторических взглядов Татищева

Василий Никитич Татищев (1686—1750)— типичный представитель Петровского времени. В нем ученый-историк тесно переплетается с политическим деятелем, с практиком-администратором. В практической политической деятельности формируются его исторические взгляды и как бы находят источник и материал для расширения научной работы, а из исторических изысканий делаются тут же практические политические выводы. Татищев в своих многочисленных представлениях Петру и его преемникам неизменно подчеркивает практическую ценность исторических знаний, как частную пользу при разрешении отдельных вопросов политической жизни, так и пользу общую в общей политике просвещения России, в общей системе научного образования человека. Характерный для XVIII в. союз истории с политикой, когда история приобретает характер наставления к политической деятельности, с тем чтобы в свою очередь в политической жизни обрести меру, ключ к пониманию и оценке исторического прошлого, нашел яркое выражение в жизни и деятельности Татищева, первого и крупнейшего представителя исторической науки XVIII в.

Татищев принадлежал к старому дворянскому роду и был родственником царицы Прасковьи, вдовы соправителя Петра Ивана V, женщины не очень культурной, но ловкой и не лишенной политического такта, что позволило ей сохранить хорошие отношения с Петром I. Татищева мы рано застаем в ближайшем окружении Петра; с 1704 по 1717 г. он участвует в военных операциях Северной войны, выполняет дипломатические поручения. В промежутке он успевает учиться, — учится также в новой петровской школе. Сперва он окончил артиллерийское училище; в 1713 г. он был послан для пополнения знаний в Германию, где посетил Берлин, Дрезден, Бреславль. К этому времени, очевидно, началась уже подготовка его как историка. По позднейшим автобиографическим свидетельствам Татищева, разбросанным в его сочинениях, известно, что он знал немецкий и польский языки и привез из путешествия много книг, приступив к созданию своей библиотеки, насчитывавшей впоследствии свыше 1 000 названий и представлявшей выдающееся явление для своего времени. Уже тогда он освоил современные философские воззрения западноевропейского рационализма; он осуждал процессы против ведьм, распространенные в то время еще и в России и на

Западе [1]. Будучи послан в 1717 г. в Данциг для переговоров о приобретении образа Страшного суда, якобы написанного еще Мефодием, с которым связывалось крещение славян, Татищев представил записку, опровергавшую подлинность предания и древность иконы. Очевидно, результатом новых научных интересов Татищева и было данное ему Петром в 1719 г. поручение по составлению географии России. И здесь теория сочеталась с практической задачей «землемерия», а данное поручение шло навстречу интересам самого Татищева, представившего Петру в 1719 г. специальную записку о землемерии, межевании земель и составлении ландкарт [2]. Татищев был определен «к землемерию всего государства и сочинению обстоятельной российской географии с ландкартами».

Это поручение, по словам самого Татищева, положило начало его историческим занятиям: приступив к работе над атласом, он пришел к выводу, что знание географии страны невозможно без изучения ее истории, так же как впоследствии он не раз указывает, что серьезное изучение истории невозможно без знания географии. «Сего ради, — писал он в 1725 г., — прилежал я принадлежащие до того книги, а особливо до географии принадлежащие истории собрать, из которых уже большею частию купил...» [3] Результаты этих работ получили впоследствии отражение в татищевском «Лексиконе историческом, географическом и политическом» и в его многочисленных исторических комментариях.

В 1720 г. Татищев как специалист по артиллерии был послан на Урал для управления горными заводами и пробыл на этой работе до 1723 г. Практическое поручение оторвало Татищева от его научных занятий, но оно же становится толчком к расширению его исторического кругозора. Здесь, на Урале, он знакомится с многочисленными народами, входившими в состав Российской империи; организация управления края связывается с изучением его—изучением состава населения, его нравов и обычаев, его истории. Возможно, что к этому времени относится приобретение двух «калмыцких историй», перевод которых, сделанный по его поручению, Татищев поднес потом Академии наук.

Не в меру активный, властный и неуживчивый администратор, Татищев, как и в последующих служебных поручениях, пришел в конфликт с местными влиятельными дельцами, и на этом обрывается временно его служба на Урале.

Новое служебное поручение — наблюдение за обучением русских юношей горному делу в Швеции, где он оставался с 1724

[1] Он вспоминал впоследствии в примечаниях к царскому Судебнику, что в 1714 г. спас одну женщину от осуждения за ведовство.

[2] Опубликована Пекарским в Записках Академии наук, т. IV, 1864, приложение № 4.

[3] *Пекарский*, Новые известия о В. Н. Татищеве (Приложение к т. IV Записок Академии наук, № 4) Спб 1864, стр. 11.

по 1726 г., явилось новым этапом в развитии научных занятий Татищева. Татищев соприкасался с видными шведскими учеными, занятыми изучением скандинавских древностей и в частности русско-скандинавских отношений, в том числе варяжского вопроса. Среди них — Ф. Страленберг, заканчивавший в это время свою работу о России, вышедшую первым изданием в 1730 г. («Das Nord u. östliche Teil von Europa u. Asia»); Г. Ю. Биорнер — автор «Historia russorum antiqua» и «Schediasma historico-geographica de Varegis»; Г. Э. Бензель — историк и редактор исторического журнала; Г. Бреннер — «библиотекарь и титулярный асессор в комиссии древностей». Татищев усиленно приобретал иностранные книги по истории России, собирал данные о материалах шведских архивов по русской истории и даже лично выступил в журнале Бензеля с первой печатной исторической работой — описанием костяка мамонта, найденного в Сибири [1].

В 1726 г. Татищев вернулся в Петербург и вел спокойную работу по Монетной конторе. С этого времени и началась, повидимому, систематическая работа Татищева по истории России. «Известно Государственной Коллегии, — писал Татищев в 1738 г., — что древняя Российская гистория во многих знатных делах и обстоятельствах темна и неисправна ...которую я, с 1727 году начав, колико возможно с Еуропскими, а паче с польскими и немецкими гистериками согласовал и несколько с латинского велел перевести ...да с татарского две гистории переведены и в Академию посланы; да Академии просил, чтоб персицкой гистории находящейся тамо манускрыпт велели перевести моими деньгами...» [2]

Выступление Татищева в 1730 г. было, может быть, первым итогом его исторических занятий этих лет. Проекту «верховников» Татищев вместе с другим сподвижником Петра, Феофаном Прокоповичем, противопоставил «шляхетскую» программу и написал «Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государства». Келейное избрание, произведенное верховниками, — «как то ныне весьма непорядочно учинено», — Татищев сопоставляет с тремя случаями избрания, имевшими место в русской истории, — Бориса Годунова, Василия Шуйского и Михаила Романова, из которых только последнее он признает законным, как произведенное «согласием всех подданных» [3]. Олигархической программе «верховников» он противопоставил не только политическую программу, но и историческое обоснование российского самодержавия. В истории России от Рюрика до Мстислава Великого (сын Владимира Моно-

---

[1] Официальная переписка Татищева из Швеции опубликована в указанной выше статье Пекарского.

[2] *Попов*, В. Н. Татищев и его время, стр. 657—658.

[3] «Утро». Литературный сборник, М. 1859, стр. 369.

маха, ум. в 1132 г.) «было совершенное единовластительство», сопровождавшееся исключительными политическими успехами. «Как скоро великие князья детей своих равно стали делить, и оные удельные, не повинуясь великим князьям, ввели аристократию ...тогда татары, нашед, всеми обладали; литовцы бывшую под властью многую часть от государства отторгнули. И так пребывало государство в рабстве татарском более двухсот лет». С Ивана III начинается третий период русской истории. «Иоанн Великий осмелился ту аристократию истребить», «паки монархию восставил», и, усилившись, сбросил татарское иго. Укрепление единовластия завершено Петром: «Петр Великий все оное усугубил и бо́льшую, нежели его предки, себе и государству самовластием честь, славу и пользу принес» [1].

Так, снова история связывается с политикой. История служит Татищеву для обоснования его политических взглядов; политическая программа определяет схему русской истории, ее периодизацию, проведенную в «Истории Российской» и на долгое время — с частичными вариантами и отклонениями — утвердившуюся в русской историографии. Но вместе с тем она выступает как определенный итог исторической работы, увязывается с конкретным материалом, почерпнутым из исторических источников.

Активная роль Татищева в событиях 1730 г. как идеолога шляхетства не могла все же не породить недоверчивого отношения к нему при дворе новой императрицы. Направление Татищева в 1734 г. в Екатеринбург (ныне Свердловск) для управления уральскими горными заводами, а затем в Оренбургскую экспедицию имело скорее характер политической ссылки и закончилось для Татищева новой неудачей. Конфликт со ставленником Бирона Шембергом и недовольство местных влиятельных лиц, использовавших отдельные злоупотребления властью со стороны Татищева, привели в 1739 г. к отозванию Татищева, а затем и к отдаче его под суд.

В период 30-х годов Татищев интенсивно продолжает работу над своей историей. Научные связи и начатые работы не обрываются. Он поддерживает деятельную переписку с Петербургом, с Академией наук, раздобывая новые исторические сочинения; здесь получил он книгу Стралленберга, из которой по его поручению делают для него переводы. Возвращение Татищева на Урал служит поводом к возобновлению исторических занятий, начатых во время его первого пребывания здесь. К этому времени относится окончательная разработка обстоятельной анкеты по собиранию на месте исторических, географических и этнографических сведений о населении Российского государства, содержавшей около 200 пунктов и представленной им в Академию наук в 1737 г.[2]

[1] «Утро». Литературный сборник, М. 1859, стр. 369, 372—373.
[2] См. *Попов*, Татищев и его время, приложение XIII, стр. 663.

Второй раздел анкеты предусматривал специально изучение народов Сибири, Приуралья и Поволжья; план и материал этой анкеты были впоследствии использованы Миллером. Татищев продолжал собирание местных исторических материалов, в частности по его поручению был сделан перевод истории Абулгази [1]. В рукописях Татищева уцелело составленное им описание Сибири и ряд материалов по местной истории. В 1738 г. он прислал в Академию наук тексты Русской Правды и Судебника 1550 г. с обширным комментарием, а в 1739 г., приехав в Петербург, представил в Академию наук первоначальный текст своей «Истории Российской».

Но труд Татищева не получил своего признания. В его научно-исторических взглядах, исходивших из европейского рационализма, усмотрели критику исторических представлений, утвержденных традицией и освященных церковным авторитетом, посягательство на авторитет церкви и распространение атеизма. В предисловии к первому тому «Истории Российской» Татищев с горечью вспоминает об этой критике; по совету друзей он постарался устранить наиболее уязвимые места, обойти их молчанием. Но и это не помогло. Рукопись Татищева пролежала в Академии наук около 30 лет, и лишь Миллер в 1768 г., через 18 лет после смерти автора, начал ее издание.

Татищев подвергся в это же время судебному преследованию по служебной линии; следствие и суд продолжались 2 года. Лишь в 1741 г., при Елизавете Петровне, снова удалось Татищеву восстановить свое положение. В период 1741—1745 гг. он состоял губернатором в Астрахани: используя его знания местных дел, приобретенные в бытность его в Оренбургской экспедиции местные связи, Татищеву поручают запутанные калмыцкие дела. Но и здесь его научный интерес не ослабевает. Татищев продолжает работу над «Историей Российской», которую он не оставляет до самой смерти. Лично Татищев осознавал исключительное значение и новизну своего труда. Не получая должного признания, он, однако, мечтал уже о том, чтобы сделать свою историю достоянием широких кругов европейских читателей, познакомить иностранцев с историей России. Англичанину Ганвею, с которым он познакомился в Астрахани, Татищев писал о плане перевода своей истории на европейские языки и о желании поднести ее Английскому королевскому обществу, одному из крупнейших научных центров того времени. Этим должна была бы осуществиться патриотическая цель, которую он ставил себе в своей «Истории»: «Через нее неприятелей наших яко польских и других басни и сущия лжи к поношению наших предков вымышленные обличатся и опровергнутся» [2].

---

[1] Хивинский хан и историк-хронист XVII в.

[2] *Татищев*, История Российская, кн. 1, ч. 1, стр. VI.

Новая опала, постигшая Татищева в 1745 г., привела к освобождению его от служебных обязанностей. Последние пять лет своей жизни он провел в своем имении Болдине, всецело предавшись своим научным занятиям.

Основы мировоззрения Татищева

Мировоззрение Татищева складывалось прежде всего под влиянием западноевропейской культуры. Практицизм, практическая политическая направленность знаний — второй характерный момент научной мысли XVIII в., выработанный у Татищева под влиянием его практической деятельности.

Татищев стоял на уровне современной западноевропейской культуры и требовал того же от каждого человека. В «Духовной»— в наставлении сыну, написанной в 1739 г., он требует изучения светских, — «шляхетских», по его выражению, — наук и рекомендует для этого поездки за границу, сетуя на неудовлетворительность постановки просвещения в России. Он высказывается даже вместе с другим современником Петра, Посошковым, за обучение крестьян: «Я же рад и крестьян иметь умных и ученых» [1].

В «Разговоре о пользе наук» наиболее полно отражено философское мировоззрение Татищева. Он резко ополчается на консервативную политику церкви, выступающей против «ереси» европейской культуры, опровергая утверждение, будто философия и наука «вредительны вере». Татищев в познании разумности мира, природы, человеческой деятельности видит основу подлинной веры, рассматриваемой им в духе деистических учений, а не церковно-догматически. Он распространяет этот широкий взгляд даже на богословскую область, рекомендуя изучение не только православной, но и католической и протестантской литературы для развития критического, сознательного отношения к вопросам религии. Сам он в своей «Истории» подвергает рационалистической критике немало легенд, освященных церковной традицией. Деизм был выражением передовой общественной мысли и на Западе — в Англии в период революций XVII в., во Франции в XVIII в.

В «Разговоре» Татищев набрасывает широкую картину знаний, нужных человеку, пытаясь даже привести их в систему, дать классификацию наук, исходя из степени их полезности для человека: 1) «*Науки нужные*» — необходимые для практической деятельности человека: основы грамматики, экономия, медицина, законы логики и богословие. 2) «*Науки полезные*» — языкознание, риторика, иностранные языки, математика, физика, история, география. 3) «*Науки щегольские*» — нужны только шляхетству; это — музыка, поэзия, фехтование и т. п. За ними следуют 4) «*науки тщетные*», например, астрология, и 5) «*науки вредные*»,

[1] «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ», Чтения в Об-ве ист. и древн. росс., 1887, стр. 70. Впрочем, из его «Экономических заметок» виден его практический помещичий подход к этому вопросу.

которые лишь порождают суеверия [1]. Он обобщает свою характеристику целей научного знания в духе философии XVII в.: «Науки главное есть, чтобы человек мог себя познать» [2]. Познание человека вместо богословия становится содержанием и целью человеческого знания. «Ум мы имянуем силу души, в котором просто смысл разумеется, — пишет он, — ...но разум имянуем ум, через употребление и поощрение его качеств исправленный, которое от науки приписуется...» [3] Татищев впервые в русской научной литературе подвергает рассмотрению вопросы человеческой природы, вопросы психологии и логики, опираясь в основном на учение Вольфа и неоднократно отсылая читателя к работам последнего. На естественной природе человека и постепенном развитии психических способностей, соответствующих возрасту человека, хочет построить Татищев систему образования человека, развитие его знаний.

Рационалистический и вместе с тем практический подход, устраняющий роль божественного установления, переносит Татищев и в свое учение о морали, объявляя основой морали «любовь человека к самому себе».

В духе политического рационализма он противопоставляет естественный закон закону письменному и строит свое учение о государстве. Как и государствоведы XVII—XVIII вв., он повторяет аристотелевское учение о трех основных чистых формах государственного строя — монархии, аристократии, демократии, устанавливая далее соответствие формы правления природе данной страны. Сам Татищев был сторонником монархического правления, подчеркивая, что самодержавие благоприятствует развитию науки и просвещению; он неоднократно ссылается при этом на роль Петра I в России. Историю русского самодержавия Татищев кладет в основу всей своей концепции русской истории.

Исторические воззрения Татищева

Исторические воззрения Татищева проникнуты тем же рационализмом и практицизмом. Татищев стремился всемерно убедить правительство и частных лиц в пользе исторических знаний. Выше упоминалась его записка 1719 г. о необходимости исторических и географических знаний для правильной организации землемерия. В «Изъяснениях на посланные начала гисторические» [4] Татищев снова доказывает эту мысль на конкретных примерах: непонятно звучит царский титул в тексте присяги для человека, не знающего исторического процесса складывания нашей государственной территории; трудно дать правильное административное деление страны, не зная исторически сложившихся территориальных делений,

[1] Чтения в Об-ве ист. и древн. росс., кн. 1, 1887, стр. 76—85.
[2] Там же стр. 2.
[3] Там же, стр. 9.
[4] См. *Попов, Н.*, В. Н. Татищев и его время, стр. 658—663.

и т. д. К этому же вопросу он возвращается, подготовляя издание царского Судебника: многие статьи последнего, перейдя в Уложение 1649 г., действуют еще до сих пор, а между тем смысл их часто уже непонятен; разъяснение их служит не только научным, но и практическим целям. В своей «Истории», обобщая это положение, он пишет, что историческое знание «дает опыт и администратору, и богослову, и юристу; что же касается нравственного значения истории, то оно заключается в том, что она свидетельствует, как добродетель постоянно вознаграждалась, а порок наказывался» [1]. Морализирующая тенденция проходит через всю историческую науку XVIII в.

Рядом с этой практической пользой стоит другое, более широкое понимание научной, образовательной пользы истории как науки. Людям, «неведущим пользы из того», которые печатание древних памятников «более за вред и поношение, нежели за пользу и честь почитают», Татищев отвечает, что «всякая древность к знанию полезна» [2]. Еще решительнее формулирует он это положение в «Истории Российской»: «Никаков человек, ни един стан, промысл, наука, ниже кое-либо правительство, меньше человек единственный без знания оной совершен, мудр и полезен быть не может» [3].

И сама история выступает у Татищева как выражение заложенного в ней разумного начала. При этом, в соответствии с философским учением Лейбница, связь исторической концепции и конкретного исторического материала разрешается в последовательном ряде исторических систем, развивающихся одна независимо от другой: история человечества, история народа-государства, наконец, история единичных конкретных человеческих действий — непосредственное содержание прагматической истории.

История человечества это — развитие человеческого разума, «всемирного умопросвещения». Развитие человечества подобно развитию отдельного человека: «...что касается до наук и разума прежних народов, то мы, взирая на известные нам древние действия, равно можем о них сказать, как о единственном человеке». «Храня посредство, — продолжает Татищев, — мню, не можно ль так разуметь, что первое просвещению ума подавало обретение письма, другое великое пременение учинило пришествие и учение Христово; третие — обретение тиснения книг»; так, развитием культуры определяются четыре возраста истории человечества: младенчество, юность, мужество и старость. Основное в этой концепции — признание прогресса, развития, как содержания исторического процесса. «Золотой век» не в прошлом, а в будущем, и Татищев обращает свою критику на эту легенду — одно из

[1] *Татищев*, История Российская, кн. 1, ч. 1, М. 1768, стр. II—III.
[2] *Татищев*, Продолжение «Древней Российской Вивлиофики», ч. I, стр. 6.
[3] *Татищев*, История Российская, кн. 1, ч 1, стр. III.

«суеверий», против которых он ведет упорную борьбу: «в темноте нам малая искра более видима, нежели в светлое время великий огонь» [1].

Вторая тема — история отдельной страны. Ее смысл разрешается в судьбах ее государственного строя; общая схема истории страны определяется колебаниями в осуществлении присущего ему государственного начала. И как отсутствует реальный переход от истории страны или государства к истории человечества, поскольку каждая выводится из своего особого логического начала, так отсутствует и прямая внутренняя связь между историей государства и конкретной историей, слагающейся из действий отдельных людей.

Связь последних заключается в их индивидуальной психологической обусловленности. «История есть слово греческое, то самое значит, что у нас деи или деяния... Нет никоего приключения, чтоб не могло деянием назваться, ибо ничто само собою и без причины или внешнего действа приключиться не может. Причины же всякому приключению разные, яко от бога или от человек...» [2]

В эту сферу конкретного исторического повествования, в прагматическую историю вводится впервые принцип причинного объяснения, — ограниченный и понятый чисто рационалистически, но вытесняющий старое историческое учение о божественном промысле — провиденциализм.

Общее рассмотрение истории у Татищева распадается на прагматическое повествование об исторических событиях и на общую социологическую концепцию, стоящую вне зависимости от конкретного развития самой исторической деятельности. Это раздвоение типично для всей исторической науки XVIII в.

Исторические труды Татищева

Историческое наследие Татищева обширно и до настоящего времени многое не только не опубликовано, но еще и не выявлено. Главным трудом Татищева является «История Российская», состоящая из 5 томов и доведенная до конца XVI в. «История Российская» (кроме V тома) была издана в XVIII в. Миллером, который уже тогда жаловался на неисправность рукописи, по которой производилось печатание; этот труд Татищева давно ждет своего переиздания на основе вновь открытых авторских текстов. «Лексикон исторический, географический и политический» [3] отражает подготовительную работу автора, процесс накопления исторического и географического материала. Та же подготовительная работа привела его к подготовке к изданию Русской

[1] *Татищев*, Разговор о пользе наук и училищ, Чтения в Об-ве ист. и древн. росс., т. I, 1887, стр. 38—39; об этом же в предисловии к I тому «Истории Российской» (кн. 1, ч. 1, стр. XXVII).

[2] *Татищев* История Российская, кн. 1, ч. 1 стр. I.

[3] Изданы три части до буквы «К».

Правды (краткой редакции) и Судебника и отразилась в составленных им комментариях. Опубликованные материалы, упоминавшиеся выше, отражают отдельные элементы его научной работы.

За последнее время обнаружен ряд доселе неизвестных рукописей Татищева: «Описание Сибири», «Примечания на книгу Страленберга», «Примечания на гл. 1-ю «Истории Сибири» Миллера», «Введение к гисторическому и географическому описанию Великороссийской империи» и др. [1] Многое, например исторические карты, о составлении которых сообщает сам Татищев, до сих пор не найдено.

Так или иначе, все эти работы в конечном итоге восходят к его «Истории Российской» или дополняют последнюю.

«История Российская» распадается на две глубоко отличные и по содержанию и по своей значимости части. В первом томе, состоящем из двух частей и являющемся «Введением» к «Истории», автор дает принципиальные предпосылки и методологическую разработку основных вопросов русской истории, определяющих современное Татищеву состояние русской исторической науки. В последующих томах он делает попытку сведения воедино конкретно-исторического материала [2].

«Введение» и его содержание. Общие вопросы русской истории и ее изучения

Определяя общее значение и методы исторической науки, автор переходит к вопросу об особом значении отечественной истории: «Что собственно о пользе русской истории принадлежит, то равно как о всех прочих разуметь должно, и всякому народу и области знание своей собственной истории и географии весьма нужнее, нежели посторонних; однакож должно и то за верное почитать, что без знания иностранных своя не будет ясна и достаточна» [3]. В этом положении требование осмысления исторического процесса осложняется еще одним элементом: изучение национального исторического процесса связывается с изучением всемирной истории, которая до сих пор получила лишь внешнее отражение в хронографах.

Татищев еще непосредственнее выдвигал политические задачи истории: от историка требуется, чтобы он «о прошедшем обстоятельно знал и о будущем из примеров мудро рассуждал». История России должна показать, по Татищеву, «сколько монаршеское правление государству нашему прочих полезнее, чрез которое богатство, сила и слава государства умножается, а чрез прочие умаляется и гибнет» [4]. В этой связи еще отчетливее формули-

---

[1] Пользуюсь частным сообщением проф. А. А. Андреева, нашедшего эти рукописи.

[2] В дальнейшем изложении I том обозначается, как «Введение», II—V тома обозначаются последовательно, как I, II, III и IV тома «Истории».

[3] *Татищев*, История Российская кн. 1, ч. 1, стр. V.

[4] Там же, стр. 545.

руется периодизация русской истории, которая дана была уже в его «Рассуждении». Первый период, до 1132 г., — господство самовластия; начинается он даже до Рюрика, который, «наследственно и по завещанию престол русский прияв, наипаче самовластие утвердил, которое до кончины Мстислава Первого... ненарушимо содержалось». Второй период — удельный (1132—1462): «князи разделились и сделалась аристократия или паче расчлененное тело» [1]. С Ивана III начинается третий период: «Иоанн Великий... опровергнув власть татарскую, паки совершенную монархию восстановил» [2].

Расширение исторических задач потребовало и расширения материальной базы истории, развития и уточнения ее методов. «Нужно принадлежащие ко оной обстоятельства знать, без которых история ясною и внятною быть не может, яко хронология, география и генеалогия. — Хронология, или летосказание, есть весьма нужно знать, когда что делалось. География показует положения мест, где что прежде бывало и ныне есть. Генеалогия или родословие государей... из чего можно уразуметь правильные наследства и домогательства» [3]. К этому надо добавить расширение круга источников и их содержания.

Автор пытается определить и специальные требования, предъявляемые к историку. Он сообщает два крайних мнения о качествах историка: «Одни мнят, что не потребно более, как довольное читание и твердая память», другие считают невозможным «не во всей философии обученному истории писать». «Но я мню, сколько первое скудно, столько другое избыточественно». Со своей стороны, он требует в первую очередь «свободный смысл, к чему наука логики много пользует». [4]

«Свободный смысл» или «здравый смысл», как чаще выражается писатель XVIII в., становится основой научной критики. Критика здравого смысла направляется прежде всего против всякого «суеверия» и «баснословия» в истории, борьбу с которыми решительно поднимает Татищев. Он горько жалуется на иноземных писателей, которые, «якобы для лучшего изъяснения, но паче для потемнения истины, басни, сложа, внесли и сущую правду сказания древних закрыли, как-то о построении Киева, о проповеди Андрея апостола, о строении Новгорода Славеном и пр.» Татищев остро высмеивает легенду о крещении Руси апостолом Андреем, созданную церковью, чтобы доказать переход христианства на Русь из первых рук, наравне с другими странами. Напомнив, что по летописи Киев основан лишь к VIII в. язычни-

---

[1] Необходимо отметить, что Татищев из своей периодизации исключил татарское завоевание как особый период; в этом отношении последующие историки (до Соловьева) сделали шаг назад по сравнению с Татищевым.

[2] *Татищев*, История Российская, кн. I, ч. I, стр. 542, 544.

[3] Там же, стр. VII.

[4] Там же, стр. VIII—IX.

ками, он язвительно указывает, что Андрей, очевидно, мог крестить лишь камни и деревья на киевских холмах.

Острый в борьбе с баснословием «здравый смысл» оказывался, однако, слабым и беспомощным как критерий научной истинности, как основа для собственного решения поставленных вопросов. И неудивительно, если автор порой от очень острой и убедительной критики старого исторического понимания неожиданно переходит к утверждению не менее произвольной и фантастической собственной гипотезы. Здесь сказывается ограниченность зарождающейся исторической критики.

И все-таки Татищев, не ограничиваясь общим утверждением критики «здравого смысла», попытался подвести под нее и первую научную основу в конкретной постановке проблемы исторического источника.

Вопросы источниковедения у Татищева

«Правость писания» — первый и основной вопрос источниковедения: «верность сказания за главное почесться может, оное же на многие степени разделяется» [1]. Автор дает первую, хотя несколько формальную, схему подразделения источников с точки зрения их достоверности. На первом месте стоит очевидец, участник событий, на втором — современник, черпающий сведения непосредственно от первых. Писатель, опирающийся на современные документы, — «естьли вскоре из архив, договоров, уставов или учреждений письменных и подлинных записок», — почти подобен современнику. К нему примыкает и позднейший историк, если он пользуется достоверным источником. Этим четырем категориям исторических свидетельств Татищев противопоставляет историков пристрастных и чужеземцев, у которых искажение действительности может быть результатом недостаточности знаний, плохой осведомленности в чужой и непонятной для них обстановке. На последнем месте он ставит писателей «баснословных». В эту первоначальную схему Татищев вносит существенное дополнение, указывая возможность искажения действительности по незнанию, или «по страсти», или, наконец, «из страха», когда автор зависит от «власть имущих» и пишет для них.

При всей условности такой характеристики источников она ставила перед историком ряд конкретных задач по описанию и разбору источников, которыми он пользуется.

В Синопсисе мы встречаем ссылки на источники, но эти ссылки делаются без анализа и критики. У Татищева вопросы источниковедения выделяются в специальный раздел его «Введения». Татищев значительно расширяет круг источников. Здесь «русские истории генеральные» — «Временник Нестеров», «Киприанова Степенная», хронографы, Синопсис; затем местные летописи («топо-

[1] *Татищев*, История Российская, кн. 1, ч. 1, стр. IX.

графии», по Татищеву) — Московские, Новгородские, Псковские, Сибирская, Астраханская, Нижегородская, Муромская («баснословная», — замечает тут же Татищев); далее дипломатический или актовый материал, источники «участные», т. е. записки участников событий (Игнатий диакон, митрополит Макарий, Курбский, Палицын, Сильвестр Медведев, Матвеев и многие другие); наконец, следуют литературные и законодательные памятники. Используются и свидетельства иностранцев. Татищев дает при этом общую характеристику и известную оценку источников, исходя из изложенных выше общих принципов. В отличие от многих историков XVIII в. (в частности Щербатова) он указал на преимущество летописи перед Степенной книгой, «которая есть сущая архонтология», и в частности отметил нарушение в Степенной книге хронологической последовательности повествования; он попытался определить и время ее возникновения, впрочем ошибочно связав ее с митрополитом Киприаном. Он критически отнесся к Синопсису, в котором многое баснословно, а «многое нужное пропущено». Так же критически отозвался он о польских хронистах, которыми пользовался автор Синопсиса.

От общего перечисления и суммарной характеристики источников Татищев переходит к их конкретному описанию. Это описание начинается с определения местонахождения использованного списка, источника его приобретения или места его хранения. Затем делается попытка определения времени и места возникновения текста. Помимо непосредственного указания в тексте имени автора или времени и места написания, Татищев фиксирует и косвенные указания, идущие от содержания источника и хронологических рамок его повествования. Впервые вводится и регистрация внешних признаков источника, прежде всего языка и стиля, косвенно характеризующих время и место его написания, а также точное воспроизведение заголовка или начальных слов. Давая таким образом описание 15 использованных им списков, он имеет в виду возможность сличения его данных с новыми, еще неизвестными списками, в открытии которых он не сомневается, — «можно уповать, что еще сыскать немалое к дополнению и изъяснению сего возможно» [1], — и призывает к продолжению и улучшению своего труда: «Всяк трудолюбивый, если впредь где какую летопись сыщет, в которой большие, яснейшие обстоятельства обрящет к дополнению сего, Академии сообщить может, дабы при другом издании могли пополнить или переправить» [2].

Описание текста подводит Татищева уже и к вопросу его истории; в особой главе «Введения» делается первый опыт дать историю русского летописания, и в этой связи впервые подни-

[1] *Татищев*, История Российская, кн. 1, ч. 1, стр. 56.
[2] Там же, стр. 64.

мается и вопрос о предшественниках Нестора, т. е. об источниках Начальной летописи.

Яркий пример подхода Татищева к источнику — постановка вопроса об Иоакимовской летописи. Выдвигавшиеся одно время обвинения Татищева чуть ли не в подлоге решительно опровергнуты исследованием Шахматова. Остается, напротив, образчик внимательного и добросовестного отношения к источнику. Перед фактом резкого расхождения Иоакимовской летописи со всеми известными ему текстами летописи Нестора Татищев счел необходимым выделить изложение ее содержания, оставив своим продолжателям возможность ее критического изучения в дальнейшем.

Тот же критический прием применяется и к древним и византийским писателям о России, свидетельства которых подробно изложены Татищевым и снабжены примечаниями; так, использованы Геродот, Страбон, Плиний, Птолемей, Константин Порфирородный.

Необходимо отметить, что этот же принцип Татищев распространяет и на пользование чужим авторским материалом. Так, придавая большое значение исследованиям Байера по норманскому вопросу, он выделил в особые главы изложение его взглядов, резко отделяя свой взгляд от взглядов используемого автора и перенося свои замечания в специальные примечания.

Положив начало описанию источников, Татищев первый приступает к их публикации. В подготовленных им изданиях Русской Правды и Судебника [1] впервые проводится применяемый и до настоящего времени принцип реального комментария, только, конечно, при другом объеме и уровне научного знания: история отдельных институтов, анализ терминов, характеристика правовых отношений. Этот же тип комментария Татищев применяет и в своей «Истории». Материал для комментариев Татищев попытался сперва найти в наиболее распространенных европейских словарях-энциклопедиях XVI—XVII вв. Буддея, Ламартиньера, Беера, Бейля. Но, убедившись в скудости и извращении содержащихся в них материалов по истории России, Татищев черпает материал для комментариев в русских источниках, в их взаимном сопоставлении. В связи с публикацией Русской Правды Татищев впервые отметил сложный состав ее краткой редакции, первые 17 статей которой он считает более древними, чем вторая часть, и полагает, что она относится к VIII или IX в.; он ссылается при этом на стиль и терминологию этой части Русской Правды.

Вопросы этнографии

Этнография — другая область, начало разработки которой положено Татищевым в первом томе его «Истории». «Биография Татищева указывает практический источник постановки этого вопроса — его

[1] Они были изданы уже Миллером по рукописи Татищева.

непосредственное соприкосновение с многонациональным составом населения России, поставившее перед ним вопрос этнографического описания и проблему этнических связей между племенами, ведущую к первой постановке проблемы этногенеза. Упоминавшийся проект анкеты — «Рассуждение о ревизии поголовной»— памятник непосредственной практической постановки этого вопроса. В бумагах Татищева сохранились и опыты этнографического описания.

Современная западноевропейская наука определила другое направление его научных изысканий в области этногенеза, изучение которого Лейбниц первый попытался поставить на научную почву филологического изучения, своеобразного зародыша сравнительного языкознания. И в этом вопросе Татищев решительно порывает с традиционной библейской легендой и доходит до определений, способных поразить своей современностью. «Сии же когда тако рассудить, что все народы, колико их разных званий было и есть, по уверению Моисееву, от единого Ноя и его сынов произошли; но чтобы можно сказать, кто от которого сына пошел, оное весьма сумнительно; ибо чрез так много тысяч лет народы преходя мешались, иногда пленниками и покоренными себе размножались, иногда пленением и обладанием от других язык свой переменить и оставить принуждены были» [1].

Но дав очень острую критику библейской легенды, Татищев тут же создает столь же необоснованную и фантастическую гипотезу, как и та, которую он критикует. Начав с филологического изучения материала и приступив к его конкретному изучению путем собирания словарного материала отдельных народов, он, однако, на этой новой языковой базе пытается построить свою генеалогию племен, подобную библейской, и возвести все народы, населяющие Россию, к тем народам-предкам, которых древние памятники указывают на территории нашей страны. Так, все народы Прибалтики, Финляндии, Поволжья и Севера, Приуралья и ряд кочевых народов средней полосы (например, древние печенеги и современные калмыки) были отнесены к разряду сарматов. Может быть, по территориальному признаку все татарские и тюркские племена попали в разряд скифов.

После этого встал вопрос о славянах и руси.

В решении славянского вопроса автор применил своеобразный примитивный филологический прием, впрочем, широко распространенный в писаниях XVIII в., — прием словесного истолкования племенного названия как средства решения этногенетической проблемы. По этому признаку предками славян оказались амазонки греческих авторов. По Татищеву, имя славян по-гречески должно было звучать алазоны, что значит блестящие, или славные, легенда же превратила алазонов в амазонок. Может

[1] *Татищев*, История Российская, кн. 1, ч. 2, стр. 431.

быть, поводом к этому истолкованию послужила рассказанная Герберштейном легенда о женах новгородцев, вышедших замуж за своих рабов, близкая к мифу об амазонках. Не отсюда ли и сообщаемое Татищевым аналогичное решение этого вопроса Феофаном Прокоповичем таким же «филологическим» приемом: имя «амазонок» толкуется им как искажение слов «*сами жены* управляют собой»?

В решении варяго-русской проблемы Татищев пошел за Байером [1] и дал систематическую сводку всех доводов о норманском происхождении руси, в дальнейшем повторяемых в основном всеми норманистами. Острой критике подвергает Татищев возникающие в это время попытки вывести варягов от славян через Вагрию — славянский город у поморян.

Он опровергает и высмеивает также отожествление руси и пруссов, впоследствии развитое Ломоносовым, правильно указав принадлежность пруссов к литовским племенам. В этой же связи Татищев первый высмеял и отбросил генеалогию Рюрика от Пруса, прочно введенную в историческую литературу Степенной книгой. Но и тут, исходя из политической концепции наследственной монархии, он заменил эту легенду другой, столь же произвольной, о наследовании Рюрика Гостомыслу.

И все же, отвергая поспешные этногенетические обобщения и конструкции Татищева, сделанные без соответствующей научной базы, нельзя не признать научного значения тех практических конкретных этнографических изысканий, начало которым в России положил именно Татищев.

Словарный материал, собранный Татищевым, был впоследствии оценен и использован Шлецером, построившим на его основе свою этнографическую схему племен, населявших Россию. Татищеву принадлежит первая попытка составить полный перечень племен на территории России с систематизацией всех основных данных по истории этих племен, сохраненных нашими источниками. Тщательный пересмотр всего историко-географического материала позволил Татищеву пересмотреть и разоблачить ряд этнографических легенд, то объединявших по созвучью чуждые друг другу племена, то создававших несколько племен из одного племени, в результате перемены им места поселения и названия. Так, Татищев первый указал на неправильность отожествления киммерийцев Причерноморья с германским племенем кимвров или гетов — с готами.

Историческая география

Другой специальной дисциплиной, необходимой историку и входящей в круг научных занятий Татищева, является география и в частности историческая география. В «Истории Российской» Татищев снова подчеркивает невозможность правильного понимания

[1] О Байере см. в следующей главе.

исторического события без отчетливого знания географических условий, территориального размещения этих событий, той географической обстановки, в которой эти события развертывались. Свидетельством его занятий в этой области являются в частности атласы, собранные в его библиотеке, и его непрекращавшиеся занятия картографией. Результаты такого географического рассмотрения исторических материалов сказались уже в конкретном приложении к этнографическим вопросам, вскрыв смешения различных племен в предшествующей литературе, порожденные спутанностью географических представлений. Уточнению географических данных уделено особое внимание в том реальном комментарии, которым снабжены летописные сведения в «Истории Российской».

Географический материал берется Татищевым в тесной связи с историей. Не географический в точном смысле слова, а историко-географический характер носят соответствующие статьи «Лексикона» Татищева. Например, под словом «Астрахань» Татищев считает нужным дать полную сводку истории территории Нижнего Поволжья, начиная со времен хазарского каганата до административного деления, проведенного Петром I.

В своей «Истории» Татищев сообщает о предпринятой им работе по составлению исторических карт. Историко-географический материал был распределен по четырем периодам, на которые разделялась история России (включая древний период — до Рюрика «или паче до Олега I»), причем Татищевым уже были составлены карты по первым трем периодам, и лишь для четвертого периода еще недоставало, по его словам, фактического материала.

Вопросы хронологии и генеалогии

Работа над летописью выдвинула перед Татищевым задачу более пристального рассмотрения специальных вопросов хронологии и генеалогии, необходимых для избежания ошибок в использовании летописного материала. Татищев приводит примеры такой путаницы у прежних авторов, нередко смешивавших одноименных деятелей в результате отсутствия точной датировки их деятельности. Так, в истории славянской письменности смешали создателя азбуки Кирилла Солунского с епископом Кириллом, современником императора Юлиана. В Приложении к I тому своей «Истории» Татищев дает специальную краткую хронологическую таблицу. Одновременно он ставит и задачу составления генеалогических таблиц; работой над их составлением занималось не одно поколение историков после Татищева. О генеалогии как особой вспомогательной исторической дисциплине говорят впоследствии и Миллер и Щербатов, а в XIX в. Строев.

Изложение конкретной истории России

Введение к «Истории Российской» Татищева охватило, таким образом, весь круг исторических проблем его времени, оно превратилось в своеобразную энциклопедию исторических знаний начала

XVIII в. и в то же время в обширную программу исторического изучения в ее приложении к истории России.

Приложение нового исторического понимания к конкретному историческому материалу являлось самостоятельной большой задачей, которая не могла быть осуществлена в один прием; оно требовало длительной и серьезной подготовительной работы. Прежде чем обработать материал, надо было его добыть, собрать. С собирания материала и начал Татищев.

Четыре тома его «Истории», последовавшие за «Введением» (т. II—V), явились прежде всего сводкой того летописного материала, который выбирается Татищевым из разных текстов летописей, оказавшихся в его руках. Результатом этой работы явилась своеобразная сводная летопись, «знаменитый Татищевский свод летописей», как называет его Соловьев[1]. В осуществлении этой задачи Татищев сохранил полностью и характер летописного изложения — систему разорванных погодных записей, легко принимавших в свой состав всякое новое фактическое дополнение. В силу этого, если «Введение» Татищева уже целиком стоит на почве науки XVIII в., обращено к новому, то непосредственное историческое изложение еще исходит из прошлого, оно обращено в прошлое, подытоживает старый исторический материал и не выходит за его пределы. Впрочем, идея «сводной летописи» еще надолго переживает Татищева, и в XIX в. ее повторяет создатель русской археографии П. М. Строев.

Свой летописный свод Татищев подверг двойной редакции. Первоначально он ставил своей целью возможно точное воспроизведение материала языком самих источников, т. е. на древнерусском языке; это указание относится, очевидно, к редакции 1739 г. Вторая редакция состояла в переводе текста на современный язык XVIII в., в некотором сокращении и упрощении самого изложения.

Этому летописному своду в «Истории» Татищева сопутствует, однако, и свой авторский текст, заключающий анализ и частично критику материала. Только эта авторская работа теперь отделена от самого материала, а для этого на данном этапе требовалось еще и формальное ее выделение: авторская работа Татищева перенесена в примечания. Татищев не успел снабдить примечаниями весь текст своей «Истории». В издании Миллера примечания даны лишь к двум томам «Истории» (до татарского нашествия); по сведениям Миллера, Татищевым были составлены также примечания к III тому, но, очевидно, не уцелели.

Примечания — памятник большой научной работы Татищева; в тексте примечаний нашли отражение те основные вопросы, которые были поставлены Татищевым в его «Введении». Это

[1] *Соловьев*, О продолжении истории Татищева, «Москвитянин» № 10, 1845, стр 176.

прежде всего — реальный комментарий к тексту, подобный тому, которым сопровождались и подготовленные Татищевым к печати юридические памятники. Это — комментарий географический, хронологический, генеалогический; здесь и анализ исторических терминов и институтов, упоминающихся в тексте. Новым дополнением являются специальные источниковедческие и, так сказать, историографические примечания. Татищев вводит здесь, во-первых, данные об использованных источниках. Так, например, под 1197 г. (т. II, стр. 327) специальным примечанием (№ 562 на стр. 504) указывается: «Сим годом кончился манускрипт раскольничей № 2, которого конец утрачен». По поводу отдельных вопросов делаются уже и попытки дать известную сводку исторических высказываний и свидетельств — то, что мы условно назвали выше историографией вопроса. Так, в связи с известием об основании Москвы Юрием Долгоруким (стр. 300) специальное примечание № 418 (стр. 478) передает рассказы польских историков, Синопсиса, Стралленберга о происхождении Москвы и сопровождает их разоблачением «баснословья», выводившего Москву и русских — «московитов» — от легендарного Мосоха. Но и здесь нельзя не отметить упрощения в попытках перехода к непосредственному истолкованию исторического события, исходя из начала «здравого смысла». Так, приведя рассказ о тысяцком Блуде, предавшем своего князя Ярополка в борьбе с Владимиром Святославичем, Татищев считает невозможным для боярина носить такое унизительное и простонародное имя и строит свою гипотезу о появлении этого имени в летописи.

Распределение материала по томам «Истории Российской» не совпадает с той периодизацией истории России, которая дважды была дана Татищевым. Первый том «Истории», начинающийся «Летосказанием Нестора, черноризца Феодосиева монастыря Печерского от чего начало русские земли, и кто в ней начал сперва владеть», доведен до 1149 г. — княжения Юрия Долгорукого в Киеве[1]. Второй том доводил историю до нашествия Батыя и смерти Юрия Всеволодовича в битве на реке Сити (1238), и эта дата надолго стала определяющей в периодизации русской истории[2]. Этим томом закончена публикация примечаний Татищева.

Третий том содержит историю России до Ивана III. Здесь основное внимание привлекает последовательность исторического изложения, в основу которого Татищев положил летопись, а не Степенную книгу, в которой он уже во «Введении» отметил нарушение исторической последовательности изложения, и отдавал предпочтение летописи как первоисточнику:

[1] Отметим, однако, что и здесь Татищев не идет за Степенной книгой, начинавшей новый период с Андрея Боголюбского (1157), перенесшего столицу во Владимир.

[2] На этом основании впоследствии Соловьев именно с Татищевым связывал первое выделение «монгольского периода».

Последняя, четвертая, часть «Истории» Татищева, сведения о которой имелись у Миллера, была найдена лишь в XIX в. Погодиным и опубликована Бодянским в 1848 г. в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете». Этот последний том носит на себе, однако, явные следы недоработанности; собственно говоря, он не имеет даже характера «свода». Этот том воспроизводит в основном текст Никоновской летописи. Как и последняя, он обрывается на 1558 г. Как и в последней, летописный текст дополняется приложением «Повести о честном житии» царя Федора Ивановича, составленной патриархом Иовом. Все же отметим и здесь, что 1558 год приобрел в дальнейшей историографии особое значение в периодизации русской истории, определяя грань двух периодов в царствовании Ивана IV, переход от благодетельной, с точки зрения дворянской историографии, политики Избранной Рады к мрачным годам опричнины и боярских казней[1].

Татищев предполагал довести свою историю до начала XVII в. (до воцарения Романовых). В росписи его библиотеки в селе Болдине[2] указан ряд источников периода крестьянской войны и интервенции (исторические повести, сказания иностранцев). Он не собирался излагать дальнейший период, слишком близкий к современности.

Историческое значение работ Татищева

Таков общий итог большой исторической работы Татищева. «История» Татищева подвела итог предшествующему периоду русской историографии, она действительно явилась переходом к исторической науке, давая направление русской исторической науке на целое столетие вперед. «Историей» Татищева в рукописи пользовались Ломоносов и Миллер; Миллер начал с того, на чем кончил свою работу Татищев. На работах Татищева формировались исторические взгляды Болтина. Отражение взглядов Татищева мы найдем и у Карамзина и даже у Шлецера.

«История» Татищева, однако, не стала достоянием сколько-нибудь широкого круга читателей. Ее не «читали», — для этого она была слишком громоздка и сложна, в ней было еще слишком много тяжелой первоначальной собирательской работы, сырого материала. Но иначе и не могло быть. Лично Татищев с полной трезвостью и научной объективностью определил в своем «Введении» значение своего труда:

«Я не новое и не для увеселения читающих красноречивое сло-

---

[1] В упомянутой выше статье в «Москвитянине» Соловьев, характеризуя рукопись последнего тома «Истории» Татищева, писал, что «признаки Татищевской руки [очевидно, Татищевской обработки материала.— *Н. Р.*] прекращаются... с известия о кончине Василия Ивановича». «Москвитянин» № 10, стр. 176.

[2] Значительную часть своей библиотеки Татищев пожертвовал во время своей службы в Екатеринбурге при организации горнозаводских училищ.

жение сочиняю, но от старых писателей самым их порядком и наречием собирал, как они положили...»[1]

«Заслуга Татищева состоит в том, — писал С. М. Соловьев в «Истории России», — что он начал дело, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России, — одним словом, указал путь и средства своим соотечественникам заниматься русской историей»[2].

ГЛАВА 5

ЛОМОНОСОВ. ДВА НАПРАВЛЕНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Основные исторические сочинения: *Ломоносов, М. В.*, Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года, сочиненная Михаилом Ломоносовым, Спб. (при имп. Акад. наук) 1766. —*Эмин, Ф.*, Российская история жизни всех древних от самого начала России государей... сочиненная Федором Эминым, т. I—III, Спб. 1767—1769. — *Елагин, И.*, Опыт повествования о России, кн. 1, М. 1805.

Основная историографическая литература: *Греков, Б.*, Ломоносов-историк, «Историк-марксист», кн. 11, 1940, стр. 18—34. — *Соловьев, С. М.*, Писатели русской истории XVIII века; в Собр. соч. С. М. Соловьева, изд. «Обществ. польза», Спб. (б. г.), ст. 1317—1388. — *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, Спб. 1897. Русские историки XVIII столетия, гл. II. Историки XVIII столетия. Ломоносов, стр. 23—25. — Ломоносов, М. В.; в кн.: *Пекарский, П.*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. II, Спб. 1813, стр. 259—892. — Тредьяковский, В. К.; в кн.: *Пекарский, П.*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. II, Спб. 1873, стр. 1—232. — Байер, Г.-З.; в кн.: *Пекарский, П.*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. I, Спб. 1870, стр. 180—196. — Фишер, И. Э.; в кн.: *Пекарский, П.*, История имп. Акад. наук в Петербурге, т. I, Спб. 1870, стр. 617—636. — Шгрубе де Пирмонт Ф.-Г.; в кн.: *Пекарский, П.*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. I, Спб. 1870, стр. 671—689.

Ломоносов М. В. Задачу осуществления исторического синтеза и создания доступной книги по русской истории, неудавшуюся Татищеву, попытался выполнить после него

[1] *Татищев*, История Российская, кн. 1, ч. 1, стр. XIV.
[2] *Соловьев*, История России, изд. «Обществ. пользы», т. IV, ст. 1483.

его младший современник Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) [1]. Он знал и высоко ценил исторический труд Татищева и в своей работе развил дальше многие положения «Истории Российской». Не будучи историком-специалистом, он был крупнейшим ученым энциклопедистом, оставившим яркий след не только в русской, но и в мировой науке. Сын зажиточного крестьянина-помора, он добился образования, сделался академиком, был создателем Московского университета, блестяще представлял русскую культуру XVIII в. Вся жизнь Ломоносова прошла в борьбе за прогрессивные идеи в науке и общественной жизни. Пушкин писал о Ломоносове: «Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». Эти слова Пушкина отмечали разносторонний талант, многообразие научных интересов и литературной деятельности Ломоносова. Он был прежде всего крупнейшим ученым в области естествознания; его работы по физике, химии, геологии, минералогии ставят его в ряд крупнейших европейских ученых. Не менее значительна его роль в деле создания русского литературного языка и в истории русской поэзии.

Среди этих многообразных научных занятий Ломоносов в 50-е годы пришел и к занятию русской историей, но последняя никогда не была основным предметом его научно-исследовательской работы.

Что привело Ломоносова к занятиям русской историей? Ответ на этот вопрос дают практическая деятельность и теоретические работы Ломоносова, которые он ставил на службу укрепления и всемерного развития экономической мощи и культуры России.

История русского языка, памятники древнерусской письменности вводили Ломоносова в круг вопросов истории русской культуры, и это та область русской истории, где Ломоносов поднимает новые вопросы, в частности вопрос о возникновении русской письменности до крещения при Владимире.

Научно-общественная деятельность Ломоносова дала, повидимому, личный импульс его историческим занятиям. Ломоносов был страстным поборником русского просвещения, созданного трудами русских ученых, и вел напряженную борьбу с иноземным засильем немцев-карьеристов типа Шумахера или Тауберта, заправлявших в это время в Академии наук и закрывавших путь к развитию подлинной науки. Он, правда, без достаточного основания распространил это свое отношение и на подлинных представителей русской науки из иностранцев, как Миллер. Но его национальное чувство, его глубокая любовь к родине были задеты тем, что академическая историческая наука так или иначе оказалась действительно в руках иностранцев — Байера, Миллера, Шлецера, Фишера, Штрубе де Пирмонта, — и он хотел, чтобы русские

[1] Дата рождения Ломоносова точно не установлена.

историки взялись за ее разработку. Оскорбление национального чувства и даже сознательное унижение русского народа — «занозливые речи» — видел он в отдельных теориях и изысканиях этих ученых, например, в теории норманского происхождения руси, в повествованиях Миллера о периоде так называемой «смуты» [1]. Началом научной деятельности Ломоносова в области русской истории и явилась его полемика с Миллером в 1749 г. о происхождении руси.

Наконец, Ломоносов имел официальное задание написать русскую историю. Ломоносову, известному писателю, было поручено написать русскую историю в художественном стиле, т. е. придать ей характер литературного произведения.

Национальная идея и ее литературное оформление в основном определили работу Ломоносова над русской историей. «Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет, но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности», — так писал Ломоносов в своей «Истории» [2].

Вместе с тем вступала в свои права характерная для исторической науки XVIII в. литературно-повествовательная и политико-назидательная тенденция. История «дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам—мужества, судиям— правосудия, младым — старых разум, престарелым — сугубую твердость в советах, каждому — незлобивое увеселение, с несказанною пользою соединенное» [3].

Естественно, в этих условиях работа над историческим источником, источниковедческая задача, отступала на второй план.

Работа была начата Ломоносовым в 1751 г. В отчете за этот год Ломоносов сообщал: «Читал книги для собрания материи к сочинению российской истории: Нестора, законы Ярославли, большой летописец, Татищева первой том, Кромера, Вейсаля, Гелмолда, Арнолда и др., из которых брал нужные эксцерпты, или выписки и примечания, всех числом 653 статьи на 15 листах»[4]. В 1752 г. работа продолжалась: «Для собрания материалов по российской истории читал Кранца, Претория, Муратория, Иорнанда, Прокопия, Павла Дьякона, Зонара, Феофана исповедника и Леона грамматика, и иных эксцерптов нужных на трех листах в 161 статье» [5]. Таким образом, второй год прошел в ознакомлении с западными и византийскими источниками, но показателен при этом незначительный объем сделанных выписок. Между тем Ломоно-

[1] *Пекарский*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. I, стр. 380.
[2] *Ломоносов*, Древняя Российская история, стр. 3.
[3] Там же, стр. 4.
[4] *Пекарский*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. II, стр. 466.
[5] Там же, стр. 487—488.

сов считал, очевидно, основное собирание материалов законченным сделанными 18 листами выписок. Уже в 1753 г. он ограничивается указанием: «Читал российские академические летописцы без записок, чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях российских» [1]. А вслед за этим, в 1754 г., он уже приступил к писанию своей «Истории», печатание которой началось в 1758 г.

Из записи 1763 г. мы узнаем, что история России по плану Ломоносова должна была распадаться на четыре части. Первые две части охватывали «Российские деяния от самой древности даже до кончины великого князя Ярослава I, т. е. до первого главного разделения самодержавия Российского». Часть третья должна была содержать события «до Батыева нашествия, т. е. до порабощения Российского татарами». Часть четвертая доводила историю России «до великого князя Московского Ивана Васильевича, когда Россия вовсе освободилась от татарского насильства» [2]. В этой схеме, намеченной Ломоносовым, имеются два отступления от схемы Татищева при сохранении общей идеи — истории русского самодержавия. Во-первых, «разделение самодержавства» начиналось не со смерти Мстислава Владимировича (1132), а с 1054 г., т. е. с «ряда» Ярослава, разделившего землю между своими сыновьями. Во-вторых, в дальнейшей периодизации решающее значение получало татарское нашествие и последующее свержение татарского ига. Этот момент, хотя и отмеченный уже у Татищева, не получил у последнего принципиального утверждения.

Эта общая периодизация дополнена у Ломоносова в опубликованном тексте своеобразным уподоблением основным периодам римской истории, принятой автором за образец: «Сие уравнение предлагаю по причине некоторого общего подобия в порядке деяний российских с римскими, где нахожу владение первых королей соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских»[3].

«Определения Ломоносова, — писал в связи с этим Соловьев в неопубликованном отрывке из «Предисловия» к I тому своей «Истории России», — кажутся нам странными, но не должно забывать, что это был первый опыт, сделанный при малом знакомстве с подробностями русской истории, при бо́льшем знакомстве с историей народов чуждых, преимущественно классических»[4].

---

[1] *Пекарский*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. II, стр. 508

[2] *Ломоносов*, Соч., т. V, стр. 174.

[3] *Ломоносов*, Древняя Российская история, Спб. 1766, стр. 3.

[4] Цитирую по тексту, хранящемуся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Ленина под шифром: «Соловьев 3368», стр. I.

«Древняя российская история»

Из общего намеченного плана Ломоносов успел написать лишь первый том, вышедший в 1766 г.: «Древняя Российская история от начала российского народа до кончины вел. кн. Ярослава Первого или до 1054 г., сочиненная Михаилом Ломоносовым, статским советником, профессором химии и членом Санктпетербургской и Королевской Шведской Академии Наук».

Повидимому, по образцу татищевской «Истории» Ломоносов собирался снабдить основной текст примечаниями, которые должны были содержать научные соображения автора, его комментарии. Но том вышел уже после смерти Ломоносова, и судьба примечаний неизвестна.

Самое изложение Ломоносова показывает, насколько он был далек в своей «Истории» от критического духа «Истории Российской» Татищева. Он осторожно останавливается перед легендой о происхождении славян-«московитов» от «Мосоха, внука Ноева»: «Ни положить ни отрещи не нахожу основания. Для того оставляю всякому на волю собственное мнение, опасаясь дабы священного писания не употребить во лжесвидетельство, к чему и светских писателей приводить не намерен». Он готов принять с известными поправками и легенду о родстве Рюрика с римским императором: «вероятности отрещись не могу; достоверности не вижу»[1].

Основной текст «Истории» Ломоносова представлял лишь литературный пересказ летописи, своеобразную риторическую амплификацию ее текста с некоторыми попытками его драматизации. Для примера можно привести хотя бы отрывок из описания борьбы Ольги с древлянами после гибели Игоря.

«Веселящимся и даже до отягощения упившимся древлянам казалось, что уже в Киеве повелевают всем странам российским; и в буйстве поносили Игоря перед супругой его всякими хульными словами. Внезапно избранные проводники Ольгины, по данному знаку, с обнаженным оружьем ударили на пьяных; надежду и наглость их пресекли смертью...»

В таком риторическом стиле пересказывалась Ломоносовым вся летопись.

Истории русских князей, в которой Ломоносов следовал в основном за Летописью, автор предпослал «Часть I. О России прежде Рюрика». И здесь он оставался в рамках проблем, поставленных исторической наукой XVIII в.: его тема — вопросы этногенеза, происхождения славянских народов. При этом по своим теоретическим позициям Ломоносов в общем примыкал к Татищеву, отрицая вместе с ним представление о чистых расах и об исконности расовых делений; современные народы — результат пере-

[1] *Ломоносов*, Древняя Российская история, Спб., стр. 13 и 56. Впрочем, эта осторожность Ломоносова могла быть обусловлена официальным характером его «Истории».

селений и смешений между собой древних племен: «Ибо ни о едином языке утвердить невозможно, чтобы он с начала стоял сам собой, без всякого примешения. Большую часть оных видим военными неспокойствами, преселениями и странствованиями в таком между собою сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящшее преимущество»[1]. Но при этом два вопроса он попытался поставить и решить по-своему, опираясь на историко-языковой и историко-культурный материал.

Первым был вопрос о происхождении руси и о составе славянского народа. В своей полемике против речи Миллера «Происхождение народа по имени российского» в 1749 г. он отдавал «на рассуждение знающим политику, не предосудительно ли славе российского народа будет» признать скандинавское происхождение руси [2]. Он отвергал этнический характер имени варягов и первый высказал мысль, что варяг значит дружинник: «Неправедно рассуждает, кто варяжское имя приписывает одному народу. Многие сильные доказательства уверяют, что они от разных племен и языков состояли, и только одним соединялись обыкновенным тогда по морям разбоем»[3]. Ломоносов, вслед за Синопсисом, отстаивал славянское происхождение руси, связывая варягов-россов с Вагрией, городом поморских славян, а руссов — с пруссами, или, по его толкованию, поруссами, которых он считает также славянским, а не литовским племенем. При этом, полемизируя против произвольного толкования отдельных княжеских имен норманистами (у Миллера Владимир от Вольдемара, Ольга от Аллогии и т. д.), Ломоносов со своей стороны дает весьма сомнительное славянское истолкование «русских» имен порогов, приведенных Константином Багрянородным. Славян он считает исконными поселенцами (автохтонами) Поднепровья и Восточной Европы, относя их, в отличие от Татищева, к сарматам. Конкретная аргументация Ломоносова в пользу выдвинутой им гипотезы была мало убедительной. Но ему принадлежит ряд интересных наблюдений над историей расселения славян и над постепенным смешением с ними соседних мелких племен.

Важнее была вторая группа вопросов, связанных с историей русской культуры. Правда, в специальном описании славянской мифологии, обрядов, празднеств Ломоносов также следовал в известной мере за Синопсисом. Ломоносов выдвигал далее вопрос о древности письменности в России и занимался историей русского языка. Он обратил внимание и на историческую ценность древней русской живописи: в 1760 г. им был представлен проект о снятии копий с памятников древнего русского искусства.

---

[1] *Ломоносов*, Древняя Российская история, Спб., стр. 6—7.
[2] *Пекарский*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. II, стр. 906.
[3] *Ломоносов*, Древняя Российская история, стр. 41.

Необходимо отметить также участие Ломоносова в занятиях русской географией и картографией. С 1759 г. он заведовал Географическим департаментом Академии наук, участвовал в составлении академической анкеты. В 1763 и 1764 гг. Ломоносов участвовал в подготовке очередной морской экспедиции по Ледовитому океану, вдоль берегов Сибири, и в связи с этим составил «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показания возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».

К числу исторических занятий Ломоносова относится еще его «Краткий Российский летописец», изданный в 1760 г., представлявший своего рода хронологическую канву к его «Истории», его «Похвальное слово Петру I» и составление им выписок по истории Петра I для Вольтера [1]. Ломоносов представил впоследствии и свои «примечания» — критику на книгу Вольтера.

Литературное (риторическое) направление

«Древнейшая Российская история» Ломоносова еще раз со всей убедительностью показала, что без предварительной большой источниковедческой работы невозможен подлинно научный исторический синтез. За эту работу и принялись лучшие представители исторической науки XVIII в. в России в лице Байера, Миллера, позже Новикова, Щербатова и др.

Возобновляющиеся отдельные попытки исторического повествования переходят в чисто литературные упражнения. Их авторы — журналисты, как Эмин, любители, как Елагин, но не ученые, и их труды лишены научного значения. От Ломоносова они заимствовали лишь литературную форму, стиль. Соловьев назвал это направление «литературным»; точнее было бы назвать его риторическим: риторическим украшением исторического повествования исчерпывалась обработка материала у писателей этого направления.

От русской литературы и стилистики пришел к занятиям русской историей Василий Кириллович *Тредьяковский* (1703—1769), профессор «латинские и российские элоквенции» (красноречия), а затем и академик. Тредьяковский получил неплохую общую и литературную подготовку, проведя около 5 лет за границей (1726—1730); в русской литературе он сыграл заметную роль в создании тонического стиха. В развитии русской исторической науки более почетное место ему следовало бы отвести как переводчику. Ему принадлежит перевод ряда многотомных сочинений по древней истории: Роллена — «Древняя история», Роллена и Кревье — «Римская история», Кревье — «История римских императоров»; все вместе составило около 30 томов. Эти переводы имеют значение как показатель дальнейшего роста исторических интересов.

---

[1] *Voltaire*, Histoire de Pierre le Grand, empereur de Russie.

Тредьяковский принял участие в обсуждении упоминавшейся речи Миллера о происхождении руси в 1749 г., выступив в полемике более сдержанно, чем Ломоносов. Он проявил неплохое знакомство с наличной литературой по этому вопросу.

К историческим произведениям Тредьяковского относятся «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских, а именно: 1) о первенстве языка словен перед тевтоническим, 2) о первоначалии россов, 3) о варягах-руссах». В отличие от «Мнения о диссертации [1] г-на Миллера» (1750), где автор как бы готов даже принять основные выводы Миллера, Тредьяковский, возвращаясь к этой излюбленной теме писателей XVIII в., стал теперь на еще более крайнюю позицию, чем Ломоносов. По варяго-русскому вопросу Тредьяковский представил очередной вариант теории славянского происхождения руси, отожествляя варягов с поморскими славянами, а Рюрика выводя с острова Рюгена. Доказывая «первенство славянского языка» и «первоначалие россов», он пользуется исключительно своеобразной «филологией» — словопроизводством, по которому все древнейшие племенные и географические названия получают свое истолкование из славянского, русского языка, оказываются славянского происхождения. Несколько примеров могут наглядно проиллюстрировать характер этих филологических изысканий: скифы происходят от скитаться, сарматы значит «цармет», т. е. человек, умеющий превосходно метать стрелы, аллеманы — от Холмании, Скандинавия — Шкодынавия, варяги — от предваряю, козары (хазары) — от косить, Борисфен, греческое название Днепра, производится от славянского Бористень — «поборает стены», «река, свергающаяся быстро и низвергающая берега», Волга — Валоги, многовлажная. Число этих примеров можно было бы умножить до бесконечности.

Надо, впрочем, сказать, что эти своеобразные упражнения в области словообразования вообще имели широкое распространение в писаниях XVIII в.

Филипп Александрович *Эмин* (1735—1770) — представитель радикальной журналистики, провел ряд лет за границей (1753—1761), по возвращении был близок с Новиковым, в 1769 г. организовал журнал «Адская почта», в котором отражал свое отношение к действительности в переписке «беса кривого» и «беса хромого». В период 1767—1769 гг. он издал 3 тома «Истории России», которую довел до 1213 г.: «Российская история — жизни всех древних от самого начала России государей, все великие и вечной достойные памяти имп. Петра Великого действия, его наследниц и наследников ему последования, и описание в Севере златого века во время царствования Екатерины В. в себе заключающая».

[1] Слово «диссертация» означает здесь просто «рассуждение» и еще не получило своего позднейшего специального значения.

«История» Эмина была отражением стремления сделать русскую историю подобной истории древней. У древних авторов черпает Эмин и основной литературный прием — драматизацию изложения, внесение речей, которые произносят действующие лица его «Истории». «Должен я всех уведомить, — пишет он в предисловии, — что многие речи, которые в сей истории разные говорят лица, выдуманы; напр.: речь, которую говорит Гостомысл к мятущемуся народу... Но есть ли Гостомысл оной не говорил, то по малой мере должен был говорить что-нибудь тому подобное...» Эта дальнейшая психологизация событий, проводившаяся в духе представлений человека XVIII в., дополнялась такой же модернизацией самого языка древности.

Наконец, подобно всем писателям XVIII в., Эмин придает истории преимущественно политико-назидательный характер: «свойство [истории] состоит в том, дабы не только человеческое любопытство уведомлять о прошедших делах, но и важностию речей и разными полезными рассуждениями научать тех, кои довольного просвещения не имеют. Когда ж бы только просто безо всяких поучительных рассуждений исторические действия были описаны, то многие, есть ли бы им в подобные обстоятельства впасть случилось, не знали бы, как себе или другому помочь и от оных или освободиться, когда они вредные, или оным следовать, когда полезные»[1].

Так же смотрел на историю и Елагин: «Повествователь занимает краткостью наше соображение и остротою рассудок. Он учит нас любомудрию и политике, но не вводит в скучное училищь преподаяние»[2].

Иван Перфильевич *Елагин* (1725—1794) был близок к литературным кругам второй половины XVIII в.; он был связан с ними прежде всего через своего секретаря, известного русского писателя Д. И. Фонвизина. Интерес Елагина к истории был обусловлен и тем обстоятельством, что, будучи управляющим театрами (1766—1779), он обязан был снабжать Екатерину II историческими сюжетами для ее драматических сочинений. Результатом его литературно-исторических занятий и явился его «Опыт любопытного и политического о государстве российском повествования».

Характер обоих произведений сводится непосредственно к дальнейшему риторическому изукрашиванию летописного рассказа, литературным упражнениям на заданную летописцем тему. Таковы «образы» Эмина: «Яко разъяренные львы, которые, долгое время не имея пищи, нашед какого-либо зверя, в малые оного терзают частицы; так киевцы, долгое время слушая древлян, поносящих их государя имя и за то отмстить времени ожидая, с чрезмерною на них бросились яростию и в мельчайшие

[1] «Российская история жизни всех древних от самого начала России государей... сочиненная Федором Эминым», т. I, стр. XLIX—L.

[2] *Елагин*, Опыт повествования о России, кн. 1, стр. IX.

мечами своими их рассекали частицы»[1]. В таком же стиле пересказывал летопись и Елагин: «Святослав подобно юному льву, первое стадо овец гонящему, летает по рядам вражиим и лютая смерть пред пенящимся в ярости конем его парит. Все падает от мышц его размахов. Кони и всадники супостат пораженных бугристый творят за ним помост; а противостоящих ему ни броня, ни отважность, ни самый бег от смертоносных его ударов не спасают» [2]. И все это описание относится к малолетнему Святославу: «Бе бо детеск», — говорит о нем летопись.

Эти исторические повествования — лишь отражение ложноклассического направления, господствовавшего в то время и в литературе (Сумароков) и в живописи (Лосенко). Во всем этом направлении было так же мало подлинной истории, как и в исторических писаниях названных авторов.

Академия наук и русская историческая наука

Дворянская и буржуазная историография обычно разделяла всех историков XVIII в. по национальному признаку. По этому признаку Эмин и Елагин включались в один ряд с Татищевым, Щербатовым, Болтиным, а Байер и Миллер были сброшены в общую кучу с разными немцами-карьеристами, псевдоучеными заправилами Академии наук. П. Н. Милюков так определяет соотношение двух направлений: «Со столбовой дороги русского просвещения мы должны перейти теперь в один темный, захолустный уголок его, с довольно спертою и затхлою атмосферой» [3]. Тредьяковский, Эмин, Елагин оказались на столбовой дороге русской истории, ведущей от Татищева к Щербатову и Болтину. Между тем совершенно ясно, что именно литературные упражнения Эмина и Елагина представляли захолустный и затхлый тупичок, из которого никуда не было выхода. Первый опыт исторического синтеза, сделанный Татищевым, кончился неудачей из-за отсутствия необходимой базы. Нужна была подготовительная, частично, может быть, черная работа по собиранию источников, по выработке научного метода, прежде всего метода работы с источником. Не вина тех историков, которые взялись за разрешение этой задачи, что таково было состояние исторических знаний в России; их заслуга, что они правильно определили свою научную задачу. Именно здесь и лежала на данном этапе столбовая дорога русской истории; между Татищевым и Щербатовым стоит как необходимое связующее их звено Миллер, а не Эмин или Елагин.

И самый вопрос национальной принадлежности ученого ставился Милюковым совершенно формально. Дело не в национальном происхождении ученого, а в формировании его научной мы-

[1] *Эмин*, Российская история, т. I, Спб. 1767, стр. 189.
[2] *Елагин*, Опыт повествования о России, Спб. 1803, стр. 256.
[3] *Милюков*, Главные течения русской исторической мысли, т. I, М. 1898, стр. 69—70.

сли, в содержании и направлении его исследовательской работы. Миллер-историк принадлежит не немецкой, а русской исторической науке, в России сложился Миллер-ученый, и развитию русской истории посвящены его научные труды. Если же на первых порах это направление связано с иностранцами, то причина этого лежит в том, что история, как и другие науки, в этот период использует опыт западноевропейской науки. Академия наук в это время служила именно связующим звеном между западноевропейской и русской наукой; на это ее назначение указывал Татищев в «Разговоре о пользе наук и училищ».

Круг иностранцев, привлеченных Академией наук к исторической работе, немногочислен. При ее учреждении в 1725 г. были приглашены Байер, Миллер, тогда еще недоучившийся студент, и Крамер, первоначально зачисленный в студенты и умерший в самом начале своей научной карьеры в 1734 г.; в 1730 г. приехал И. Фишер, и с 1738 г. был зачислен профессором по юриспруденции Ф.-Г. Штрубе де Пирмонт.

Готлиб-Зигфрид *Байер* (1694—1738) приехал в Россию сложившимся ученым. Он уже с 1717 г. читал лекции в Кенигсбергском университете. Крупный лингвист, филолог, знаток древних и восточных языков — греческого, латинского, семитических, санскритского и китайского, а также языков скандинавских, он привез в Россию метод филологической критики, приобретенный им в школе классической и библейской герменевтики[1] Михаэлиса старшего и Гейне. Прекрасное знание византийских и скандинавских источников бросило новый свет на ряд вопросов древнерусской истории, с которыми он впервые познакомил русского читателя.

Этим определялось направление и круг вопросов, разрабатывавшихся Байером. Строгость научной критики, точность научного доказательства, настойчиво проводимые Байером в его исследованиях, выражены им в яркой формуле, резко подчеркивавшей разрыв с баснословием предшествующих историков, с вольным перекраиванием прошедшего: ignorare malim — quam decipi, — лучше признать свое незнание, чем заблуждаться, говорит Байер. Работы Байера — небольшие экскурсы по специальным темам нашей древней истории, основанные на тщательном изучении иностранных источников. Они печатались на латинском языке[2] в специальном академическом издании «Commentarii», а затем стали появляться и в русском переводе в Записках Академии наук, начавших выходить с 1728 г. Здесь появились: «История грекобактрийского царства» (Historia regni graecorum bactriani), «О происхождении и древних поселениях скифов» (De origine et prescis sedibus scythorum), «О местоположении Скифии

[1] Толкование текста.

[2] Латинский язык считался тогда международным научным языком.

во время Геродота» (De Scythiae situ, qualis fuit sub aetate Herodoti), «О киммерийцах» (De Cymmeriis), «О варягах» (De varagis»), «О первом походе руссов против Константинополя» (De Russorum prima expeditione Constantinopolitana), «О происхождении руси» (Origines Russicae), «Русская география по Константину Багрянородному» (Geographia Russica ex Constantino Porphyrogeneto), «География Руси по данным северных писателей» (Geographia Russiae ex scriptoribus septentrionalibus), «О гипербореях» (De Hyperboreis).

Лингвистические знания Байера определили состав его источников, односторонность их отбора, — прежде всего полное отсутствие русских источников. Замкнутый круг источников определил и замкнутый круг его научной тематики и хронологические рамки его исследований, ограниченных древнейшим периодом, главным образом, вопросами источников и этногенеза в тогдашнем его понимании. Лишь два-три раза выходит он за рамки этой тематики в последние годы своей работы. Таковы его «Краткое описание случаев, касающихся Азова...» [1] и «История о жизни и делах кн. Константина Кантемира»; ему же приписывают биографию Феофана Прокоповича на латинском языке — «Vita Theophani Prokopovici».

Среди тщательных исследований Байера необходимо выделить постановку варяго-русского вопроса на основе непосредственного изучения скандинавских материалов, а также первые разработки исторической географии Киевской Руси.

Труды Байера высоко ценились историками XVIII в. Как указано, у него заимствовал Татищев норманскую теорию происхождения варягов-руси, которую он в своей истории излагает по Байеру. По Байеру излагал он и свидетельство о руси Константина Багрянородного. Байер оказал, повидимому, непосредственное влияние на формирование Миллера как историка. Материалами Байера в конце века пользовался и Шлецер.

С 1734 г., после отъезда Миллера в Сибирскую экспедицию и смерти его заместителя по редакции Крамера, Байер редактировал «Sammlung Russischer Geschichte». Чувствуя невозможность ужиться с заправилами Академии наук, Байер собирался уехать за границу, но в 1738 г. умер, едва достигнув 44 лет.

Значительно меньший след в исторической науке XVIII в. оставил Иоган *Фишер* (1697—1771). Он приехал в Россию в 1730 г. с ученой степенью магистра и выступал здесь в качестве специалиста-востоковеда. В 1733 г. он редактировал перевод «Хивинской истории» Абулгази, в 1739 г. он был послан в Сибирь сменить

[1] Опубликовано в организованном Миллером издании «Sammlung Russischer Geschichte», т. VI, ч. 2, 1737.

заболевшего Миллера и вернулся оттуда в 1747 г. Впоследствии, в 1768 г., он издал на немецком языке «Историю Сибири» (Sibirische Geschichte), вышедшую в 1774 г. на русском языке и представлявшую фактически сокращение «Истории Сибири» Миллера. По свидетельству Миллера, он уклонялся от большой самостоятельной работы, по крайней мере от работы по собиранию материалов. Он не отличался, повидимому, добросовестностью в литературных делах: ряд научных работ, приписывавшихся одно время Фишеру, считаются теперь принадлежащими его современникам Татищеву, Кантемиру, Байеру. Самому Фишеру, помимо краткой истории Сибири, принадлежит несколько специальных экскурсов, частично изданных сперва в журнале «Ежемесячные сочинения» в 1755 и 1756 гг., затем собранных и изданных на латинском языке Шлецером в 1770 г. под общим заголовком «Questiones petropolitanae». Состав сборника: 1. De origine Ungrorum. 2. De origine Tartarorum. 3. De diversis shinarum imperatoris nominibus titulisque. 4. De Hyperboreis [1].

Ф. Г. *Штрубе-де-Пирмонт* (1704—1790), по специальности юрист, начал свою деятельность в качестве дипломата, к научной работе в системе Академии был привлечен в 1738 г. и оставил ряд юридических сочинений в духе господствовавшего в то время учения естественного права. В русской историографии он выступил первым представителем специальной науки истории русского права, оформившейся в XIX в. В 1749 г. ему было поручено составить курс русского права — Compendium juris ruthenici. Дело не пошло дальше Русской Правды. В 1756 г. он произнес речь в торжественном собрании Академии наук: «Sur l'origine et les changements des lois russiennes»[2].

Здесь впервые было проведено сравнение Русской Правды с германскими правдами и высказана мысль об однородном характере этих памятников. В 1767 г. Штрубе отослал Миллеру еще одну рукопись о Русской Правде («Les lois de Jaroslav»). Штрубе принял участие в дискуссии о происхождении руси, выступив на стороне норманистов. В 1785 г. он издал свою «Dissertation sur les anciens Russes», над которой работал с 1750 г.; в 1791 г. эта его работа вышла в русском переводе — «Рассуждение о древних россиянах».

Названные выше ученые в той или иной мере идут от западноевропейской науки, связывают науку в России с западноевропейской, содействуя освоению ее достижений. Миллер уже непосредственно принадлежит русской исторической науке, твердо стоит на русской почве.

---

[1] 1. О происхождении угров. 2. О происхождении татар. 3. О разных именах и титулах императора китайцев. 4. О гипербореях.

[2] «Слово о начале и перемене российских законов».

ГЛАВА 6
МИЛЛЕР

Основные сочинения: Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его российской державе по сии времена. Сочинено Г.-Ф. Миллером... кн. 1, Спб., при имп. Академии наук, 1750. Новое издание того же труда: История Сибири, т. I, Академия наук, М.—Л. 1937. — Статьи о древностях сибирских; в кн.: *Миллер, Г.-Ф.*, История Сибири, т. I, Академия наук, М.—Л. 1937, стр. 511—540.— Sammlung Russischer Geschichte, Bd. 1—9, Академия наук, Спб. 1733—1764.— Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие, Спб. 1755—1757; с 1758 по 1762: Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие; с 1763 по 1764: Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах (при имп. Академии наук). В этом издании опубликованы в частности: Опыт новой истории России, в журнале «Ежемесячные сочинения», т. VI, вып. I—IV, 1760 г.; История Новгорода до XVII в.; там же, вып. I—IV. —Журнал «Опыт трудов Вольного Росс. собрания при имп. Моск. ун-те», ч. 4, 1778; ч. 5, 1780.

Основная историографическая литература: Миллер, Г.-Ф. (Биографическая статья); в кн.: *Пекарский, П.*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. I, Спб. 1870, стр. 308—430. — *Бахрушин, С. В.*, Г.-Ф. Миллер как историк Сибири; в кн.: *Миллер, Г.-Ф.*, История Сибири, т. I, Академия наук, М.—Л. 1937, стр. 5—55.— *Андреев, А. И.*, Труды Г.-Ф. Миллера о Сибири; в кн.: *Миллер, Г.-Ф.*, История Сибири, т. I, Академия наук, М.—Л. 1937, стр. 59—144.— *Пыпин, А. Н.*, История русской этнографии, т. IV, Белоруссия и Сибирь, Спб. 1892.

Библиография: См. Миллер, Г.-Ф.; в кн.: *Пекарский, П.*, История имп. Академии наук в Петербурге, т. I, Спб. 1870, стр. 403—430.—*Бакланова, Н.* и *Андреев, А.*, Обзор рукописей Г.-Ф. Миллера по истории, географии, этнографии и языкам народов Сибири, хранящихся в Московских и Ленинградских архивах и библиотеках; в кн.: *Миллер, Г.-Ф.*, История Сибири, т. I, Академия наук, М.—Л. 1937, стр. 543—569.

Начало деятельности Миллера в России

Герард-Фридрих Миллер (1705—1783) приехал в Россию в 1725 г., когда ему было всего 20 лет, после одного года пребывания в Лейпцигском университете. Гимназическая подготовка и год студенческих занятий дали Миллеру знание латинского языка, знание древности и основы исторической науки, так что с самого начала Миллер был использован для преподавания древних языков, географии и истории в академической гимназии. Миллер не был еще сложившимся историком и, уезжая в Россию, мечтал просто о служебной карьере. Он занял вскоре должность библиотекаря при Академии наук и был вначале близок к влиятельным академическим сферам. Как будто ему предстояло даже жениться на дочери Шумахера, секретаря и фактического вершителя дел Академии наук в те-

чение первых 30 лет ее существования. В 1731 г., ликвидировав свои заграничные дела, Миллер окончательно переселился в Россию. Но в это время его отношения с администрацией Академии наук испортились, и его «семейная» карьера не удалась.

В это же время Миллер окончательно обратился к серьезным историческим занятиям и сблизился с Байером, единственным возможным руководителем его в этих занятиях.

В первые годы пребывания в России Миллер создал при «Санкт-Петербургских Ведомостях» приложение, выходившее с 1728 г. под названием «Примечаний»; это был первый зародыш научно-литературного журнала в России; Миллер редактировал его до 1730 г. Теперь, деятельный и неизменно требующий практического приложения для своих знаний, он приступил к созданию первого исторического журнала в России, пока на немецком языке, — «Sammlung Russischer Geschichte» («Собрание российской истории»). Сборники начали выходить в 1732 г. и должны были выходить по 6 выпусков в год, составляющих один том. Но Миллер подготовил лишь 2 или 3 тома; после его отъезда в Сибирь в 1733 г. издание скоро остановилось (в 1737 г.) и было возобновлено лишь в 1758 г. лично Миллером.

В журнале печатались памятники по русской истории и научные статьи. Здесь было положено начало печатанию Начальной русской летописи, хотя не обошлось без грубой ошибки. Авторство летописи было приписано Феодосию, игумену Киево-Печерского монастыря, и эта ошибка долго держалась в западноевропейской литературе. Миллер исправил ее по возобновлении журнала, указав, что плохое знание русского языка заставило его довериться рекомендованному ему переводчику. Миллер печатал и иностранные работы, касавшиеся истории России. В «Sammlung» появились части описания Сибири Витзена и выдержки из книги Стурлесона «Historie der nordischen Könige». Распространение немецкого языка в русском ученом мире определило научное значение этих публикаций, непосредственно подводивших к научной разработке истории России. Обстоятельный справочный аппарат — указатели имен, предметов, географических названий — свидетельствовал о тщательности работы Миллера и облегчал пользование публикациями.

Новый этап в биографии Миллера — участие в Сибирской экспедиции Беринга, продолжавшееся 10 лет (1733—1743), — был завершением той практической школы, в которой он окончательно сложился как историк и ученый.

Сибирская экспедиция и разработка истории Сибири

Экспедиция намечала всестороннее изучение Сибири, ее географических, природных, материальных условий для перехода к систематической эксплоатации этой обширной страны. Она включала специалистов-ученых и по другим областям знания, например, видного естество-

испытателя-ботаника Гмелина. Часть экспедиции с самим Берингом отправилась прямо на Камчатку. Миллер, имея другие задачи (изучение истории Сибири), начал с городов Западной Сибири для мобилизации источников по истории ее завоевания и начального освоения. Тема определила направление работы. Он отправился в административные центры Западной Сибири, где должны были быть сосредоточены соответствующие исторические документы, — в Тобольск, Тюмень, Туринск и др.

Впервые историк России приступал к непосредственной работе в местных архивах и открывал ценность хранящихся в них фондов. Одной из первых находок Миллера была известная «Сибирская летопись» Ремезова. Но при всем своем значении для истории Сибири летопись Ремезова принадлежала к уже известному типу исторических источников. Летописи были основным, если не единственным, источником предшественников Миллера; летопись определила направление исторических работ Татищева. Работа в архиве поставила Миллера лицом к лицу с новым источником — актовым материалом. Новый материал открывал и новый период русской истории, выводил исследование из рамок ее «летописного» периода, обращал историка к изучению XV—XVII вв.

Миллер с радостью извещал Академию о сделанном открытии, о своих архивных занятиях. Он деятельно принялся за работу в архивах, лично производил выписку материалов, потребовал себе переписчиков. Сначала все делалось неуверенно, неточно; отбор, иногда предоставленный переписчику, оказывался случайным, передача текста вольной[1]. Но постепенно работа уточнялась. Миллер начал отбирать материал; он сидел в архиве и, читая документы, отмечал на полях нужное ему для будущей истории Сибири, а затем дело переходило к переписчику.

Два года ушло на обследование архивов Западной Сибири — Тобольска, Тюмени, Тары, Туринска, Омска, крепостей по Иртышу.

С 1735 г. началось обследование архивов по городам Восточной Сибири; Миллер объездил территорию тунгусов, Бурятию, Приамурье, а с 1738 г. возобновил обследование Западной Сибири, распространив свою работу на север (Березов, Мангазея) и в Приуралье. По сообщению самого Миллера, он детально обследовал свыше двадцати архивов. Непосредственная работа на местах раздвинула и в другом отношении кругозор историка, расширила круг используемых им источников. Он впервые в России приступил к разработке археологических памятников и оставил первые описания древних курганных погребений в Сибири и других остатков старины. Он занялся изучением жизни и быта народов Сибири, собиранием их устных преданий и письменных памятников на местных языках; поль-

[1] На это указал Н. Н. Оглоблин, в статье «Герард Миллер и его отношение к первоисточникам», «Библиограф» № 1 и 8—9, 1889.

зуясь услугами местных жителей, он собирал и готовил переводы летописей татарских и среднеазиатских [1].

В процессе этой работы самое собирание материала начинало приобретать научные формы, научную организацию. Вслед за Татищевым Миллер разработал анкету для собирания этнографических, экономических и исторических материалов о сибирских народах.

И в архивной работе первичное собирательство, простое накапливание материала начало сменяться планомерным изысканием архивных источников. Так, когда сибирские архивы не дали материалов ранее конца XVI в., Миллер теоретически, из анализа исторических фактов, вывел заключение, что поиски материалов по истории первого периода завоевания Сибири должны быть перенесены на территорию бывших строгановских владений, и через Верхотурье, Далматов монастырь, Челябинск работа была распространена до Чердыни и Соликамска. Дело при этом даже не в объеме практических результатов, а в самом принципе подчинения архивной работы определенному научному плану, определенной задаче. Собственно говоря, здесь начало археографической работы в России, и неслучайно глава русской археографии XIX в. П. М. Строев указывал на Миллера, как на ее родоначальника.

После года болезни, в 1739 г., Миллер получил от Академии наук разрешение вернуться, и на смену ему был прислан Фишер. Но еще около трех лет оставался Миллер в Сибири, заканчивая собирание необходимых документов для своей истории Сибири, и лишь в 1743 г. вернулся в Петербург.

Результатом десятилетней работы в Сибири были прежде всего 38 фолиантов копий актового материала. Эти «портфели» Миллера представляют богатейший фонд для изучения Сибири, тем более что многие подлинные документы с тех пор навсегда утрачены вследствие плохого хранения и многочисленных пожаров.

Но материалы Миллера далеко выходили за рамки местной сибирской истории, они примыкали к общей истории России XVI—XVII вв., составившей вторую значительную тему его исторических занятий. Миллер получил возможность познакомить историков России с новым типом источников и с новой тематикой новейшей (для того времени) политической истории. Многочисленные акты периода так называемой «смуты», извлеченные Миллером из сибирских архивов (грамоты Бориса Годунова, Василия Шуйского, Михаила Романова и др.) положили начало его «Опыту новой истории России», опубликованному в 1760 г. «Что было бы с временами Лже-Дмитриев и смутного правления бояр в Междоцарствии... если б Миллер, один Миллер не восстановил их

[1] «Один человек духовного чина, бухарец по происхождению, перевел мне в Тобольске родословную Чингис-хана из татарской рукописи труда Абулгази...» (*Миллер*, История Сибири, т. I, § 71, стр. 197).

актами, кои он отрыл в пыли городовых архивов Сибирских?» [1] — писал археограф П. М. Строев.

Развертывание научной работы. Журналы. Архивы. Публикации

Миллер сложился на этой практической работе как ученый и в Петербург вернулся с развернутой программой научной исторической работы. В 1744 г. он подал свой известный проект учреждения «Исторического департамента для сочинения истории и географии Российской империи». Проект выделения специального департамента мог быть вызван натянутыми отношениями Миллера с академическим начальством. Но за этим стояло, с другой стороны, и понимание огромности предстоящей исторической работы. А в определении конкретного плана последней Миллер сразу указал на самое больное место выделением основного для его времени вопроса об источниках. Миллер здесь сам выступал против иностранных историков, которые «разумный свет толикими неправдами ослепили, между которыми малое число правдивых известиев чуть познать можно» [2].

Развернутый план работы над источниками отражал итоги сибирской работы Миллера и показал, как далеко шагнула мысль историка. Этот план наметил следующий круг источников: 1) Степенные книги, летописи, хронографы — общие и местные; 2) рукописи татарские и персидские; 3) архивные дела из столичных и местных архивов; 4) жития святых; 5) рукописные известия о построении церквей и монастырей; 6) надгробные надписи; 7) родословные книги; 8) разные русские древности; 9) устные предания; 10) иностранные исторические сочинения о России и подлинные документы международных отношений. В этой связи Миллер впервые выдвинул и программу организации специальных экспедиций для сбора источников на местах.

План Миллера был отклонен, а в 1748 г. исторический департамент был учрежден, но на иных основаниях. Миллеру было предложено заняться окончанием истории Сибири, а в 1747 г. ему было присвоено звание историографа. Но Миллер уже прочно ушел в практическую работу по собиранию и организации документального материала. В 1748 г. он подал докладную записку в Академию о необходимости приобрести или снять копии для Академии со всего огромного исторического материала, накопленного Татищевым для его «Истории». И надо сказать в похвалу Миллеру, а не в укор, как говорил Шлецер, что он не боялся быть чернорабочим в истории. Уже будучи академиком, он готов был поехать к Татищеву в его подмосковную деревню для снятия копий с этих материалов, чтобы сохранить их для научной исторической работы. В 1749 г. он занялся разбором архива Меншикова, привел его в систему и описал. Тогда же он поднял вопрос об обследовании других петербургских архивов,

[1] *Барсуков, Н.*, Жизнь и труды П. М. Строева, стр. 69.
[2] *Пекарский*, История Академии наук в Петербурге, т. I, стр. 339.

в частности о бумагах Петра Великого. Но это предложение было реализовано только при Екатерине II.

Одновременно Миллер интенсивно работал над своей «Историей Сибири». Он попрежнему писал по-немецки, а затем его работа переводилась на русский язык в Академии наук. В 1750 г. вышел первый том «Описания Сибирского царства» в пяти главах, доведенный до 1617 г. К 1753 г. были написаны 23 главы, которые должны были составить 4 тома и доводили «Историю Сибири» в отдельных частях до начала XVIII в. Второй том был уже вполне готов к печати, но так и не был издан. Работа печаталась отдельными главами после возобновления Миллером издания журнала. Вместо этого, как отмечено выше, Академией была издана сокращенная история Сибири продолжателя работы Миллера в Сибири Фишера, составленная в сущности по Миллеру.

С окончанием работы над историей Сибири Миллер снова вернулся к издательской журнальной работе. В 1754—1755 гг. он состоял редактором академического издания «Novi Commentarii». В 1755 г. он приступил к изданию первого русского большого журнала «Ежемесячные Сочинения», а в 1758 г. возобновил и немецкий исторический журнал «Sammlung Russischer Geschichte»; работа в обоих журналах велась в исторической части параллельно: те же статьи выходили на немецком и русском языках. Журнальная работа велась без перерыва по 1764 г., и Миллер нес всю тяжесть работы по этому изданию, редакторской и даже технической. Когда Миллер уехал в Москву, заместителя ему не нашлось, и журналы закрылись. В журнале вышли многочисленные работы Миллера по истории Сибири, его «Опыт новейшей русской истории», очерки истории Новгорода и Пскова. Журналы Миллера сделались в известной мере общим центром научной исторической мысли: здесь печатался также Фишер, начали свою литературную деятельность Рычков, Федор Соймонов и др. В эти годы, по приглашению Миллера, прибыл в Россию и Шлецер, с именем которого связан следующий крупный этап в развитии исторической науки в России. В миллеровских журналах итоги исторической работы действительно становились достоянием образованного русского общества.

Шлецер оставил характеристику Миллера этого периода. В Миллере он увидел значительную отсталость от современного состояния исторической науки на Западе — отсталость на 30 лет, он назвал его «чернорабочим» в исторической науке. Но в то же время Миллер поражал его «неисчерпаемым богатством сведений о России»[1]. «Сведения этого человека и огромное собрание до сих пор нетронутых рукописей, касающихся всех возможных отделов этих наук, приводили меня в истинное удивление, — писал Шлецер

[1] «Общественная и частная жизнь Августа-Людвига Шлецера, им самим описанная», перев. с нем. В. Кеневича, Спб. 1875, стр. 31.

в своей автобиографии. — Часто, когда за чаем или за столом шел разговор о Бухарии, о ловле белуги, об Амуре, о горном промысле, *он вел меня наверх*, в свой кабинет, вытаскивал одно за другим— тетрадь, свиток, квартант, все еще в виде рукописей, отчасти русских, отчасти немецких, и давал их мне перелистывать. «Тут работа для вас, для меня и для десятерых других на всю жизнь», — сказал он мне однажды, указывая на целую стену, заваленную такими сокровищами»[1].

Может быть, Миллер и сам чувствовал, что не годится в историографы, что его сфера — архив, специальная археографическая работа. Может быть, сказались и внутренние академические дрязги, из которых ему хотелось вырваться. В 1765 г. он перешел на работу в Москву «главным надзирателем» Московского воспитательного дома, а в 1766 г. был назначен уже в Московский архив иностранной коллегии и положил начало научному историческому архиву — зародышу нашего Древлехранилища (ныне ГАФКЭ), «управляя сие дело не токмо, как до того учинилося, приказным порядком, но имея всегда предметом и ту пользу, которую история российская и благосостояние государства из архивы получить должны»[2]. В дальнейшем, в его ведение поступили также архивы Разрядного и Сибирского приказов. В последние годы жизни (1782—1783) он совершил первую экспедицию для розыска архивных материалов по городам и монастырям Московской области, примерно за 40 лет до начала деятельности Строева, за 50 лет до начала Археографической экспедиции[3]. Здесь под руководством Миллера сформировались и первые кадры русских архивных и археографических работников, продолжателей работы Миллера по Московскому архиву — Н. Н. Бантыш-Каменский, М. Ф. Малиновский и др.

В процессе собирания и организации архивных материалов Миллер не останавливал деятельную научную работу над разнообразными научными вопросами, то и дело возникавшими перед ним. Одно за другим сыплются на него разные поручения из Петербурга. Он пишет по специальному заданию историю российского дворянства, пишет очерк истории Преображенского полка, историю Потешного полка Петра I, большую статью о молодых годах Петра. Ему было поручено написать историю Сибирской экспедиции, членом которой он был; ему же, как старейшему члену Академии наук, работавшему в ней с момента ее открытия, поручено написать историю Академии наук, и значительная часть этой истории также была написана и осталась

[1] «Общественная и частная жизнь Августа-Людвига Шлецера, им самим описанная», перев. с нем. В. Кеневича, Спб. 1875, стр. 45.

[2] *Миллер*, Описание моих служб, напечатано в новом издании «Истории Сибири», стр. 153.

[3] Описание путешествия появилось в «Peterburgische Journal», 1782 и 1783 гг. (*Пекарский*, История Академии наук в Петербурге, т. I, стр. 418).

в рукописи (на немецком языке) в бумагах Академии наук, так же как и описание Сибирской экспедиции.

Подготовлялась по инициативе Ломоносова экспедиция на Ледовитый океан, и снова Миллер, как участник Сибирской экспедиции и историк Сибири, получил задание написать историю морских плаваний, совершенных русскими путешественниками по Ледовитому и Восточному морям, т. е. по Ледовитому и Тихому океанам.

Наконец, Миллеру мы обязаны изданием целого ряда важнейших исторических памятников. Он был издателем «Истории Российской» Татищева (1768—1784), значение которого он высоко ставил в развитии русской исторической науки. Он же впервые издал царский Судебник с комментариями Татищева (1768). Им же изданы Ядро российской истории Манкиева (ошибочно под именем Хилкова) в 1768 г., Степенная книга царского родословия — в 1775 г., Географический лексикон российского государства Ф. Полунина — в 1773 г., Письма Петра Великого к Шереметеву—в 1774 г., наконец, в 1785 г., вторым изданием, «Описание земли Камчатки» Крашенинникова, когда-то студентом отправившегося с Миллером в Сибирь и посланного им на Камчатку[1].

Неудивительно, что эта огромная работа, проделанная Миллером, превратившая его в исключительного знатока истории России, поставила его в центре всей научной исторической работы во второй половине XVIII в. в России; кажется, нет такого исторического начинания, которое не было бы так или иначе связано с его именем.

Щербатов в I томе своей «Истории России» отмечает роль Миллера, которому он был обязан своим превращением в «историографы» России: «он не токмо вложил мне охоту к познанию отечества моего; но, увидя мое прилежание, и побудил меня к сочинению оной». Новиков в «Древней Российской Вивлиофике» пишет «об отличном усердии покойного г-на Миллера в ревностном споспешествовании сему изданию» публикацией архивных материалов. Голиков приступил к изданию «Деяний Петра Великого», и до 500 архивных бумаг Петра для X тома были доставлены Миллером. Наконец, из материалов миллеровских «портфелей» составились публикации по истории Сибири во II томе «Собрания государственных грамот и договоров», в Актах Археографической экспедиции, в X томе «Дополнений к Актам историческим», а основная часть миллеровских портфелей ждет опубликования до настоящего времени[2].

Итоги работы

Наиболее крупным научным итогом собственной исторической работы Миллера являются, с одной стороны, ряд статей из сибирской истории и общая «История Сибири» (на русском языке опубликована лишь неболь-

---

[1] Первое издание книги Крашенинникова вышло в 1755 г.

[2] *Пекарский*, История Академии наук в Петербурге, т. I, стр. 332—335.

шая часть этого труда), с другой — общие работы по истории России, прежде всего «Опыт новейшей истории России», и ряд статей, кончая Петровской эпохой. В своем «Опыте» Миллер выступал и называл себя продолжателем Татищева:

«Труды покойного господина тайного советника Татищева не токмо в России, но и в иностранных государствах известны. Сочиненная им Российская история еще в свет не издана, но кто не пожелает, чтобы оное учинить? Тридцатилетнее его прилежание не может быть признано сего недостойным. Г-ну Татищеву соизволилось сочиненную им историю прекратить кончиною царя Федора Ивановича, яко последнего из варяжского колена. Того ради почел я за справедливое зачать с того времени, где он свой труд окончил, для приведения в некоторое совершенство всей Российской истории»[1].

В истории Сибири Миллер начинал, собственно говоря, на нетронутой почве, поднимал целину, строил с самого основания. Но и в истории России Миллер, конечно, представлял нечто большее, чем простое продолжение Татищева. Его исторические труды представляют совершенно новый этап в развитии русской исторической науки. Огромная работа над историческими источниками не могла остаться лишь внешним фактом по отношению к развитию исторической науки. Она шла по линии разрешения одной из двух основных проблем, поставленных исторической наукой XVIII в., и ее результатом была не сразу, может быть, заметная, но тем не менее существенная перестройка исторического знания.

Проблема источника. Начало археологии. Источниковедение

В упорной и длительной работе по собиранию источников, по изучению исторического материала выявлялся обширный круг разнообразных источников. Практическая работа развила метод собирания материала, принципы его фиксации и воспроизведения.

Мы говорили выше о переходе Миллера от первичного собирательства более или менее случайно попадающихся памятников к их организованному и систематическому подбору, и этот принцип определяет всю работу Миллера в любой специальной области исторического изучения.

Определив значение археологических памятников в изучении древнейшей жизни народа, его быта и этнографических особенностей, его первоначальных внешних связей, он первый в России подверг эти памятники систематическому исследованию во время Сибирской экспедиции. Он начал с систематического обследования встречающихся археологических памятников. В статье «О древних памятниках в уездах Селенгинском и Нерчинском» Миллер рассказал, как, обратив внимание на обилие курганов в крае,

[1] *Миллер*, Опыт новейшей истории о России. Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие, кн. 1, 1861, стр. 5.

он отправил специального работника для их раскопок, когда же эти раскопки не дали результатов, он отправился лично для проверочных раскопок. Поиски под землей дополнялись розыском и приобретением предметов старины у населения. Сведения об остатках старины, древних городищах, укреплениях, могильниках, собранные в письменных памятниках или путем опроса местного населения, были положены в основу дальнейшего планомерного, систематического объезда и описания этих памятников. Личный осмотр, проверка свидетельств на месте, описание становятся основными требованиями, предъявляемыми к исследователю: «Путешествующим простой народ нередко имеет обыкновение навязывать небылицы, коль скоро они не хотят сами воочию осматривать все: ведь издали глаза могут ошибаться и принимать что-нибудь за укрепление, что на самом деле не что иное, как скала необычной формы»[1].

Такая же проверка записей его предшественников, Витзена и Страленберга, привела Миллера к обследованию на месте так называемых «писанных камней», которым он посвятил специальную статью. Опровергая взгляд на эти наскальные изображения, как на иероглифические письмена, он видел в них, однако, важный памятник древнего быта и потому, не ограничиваясь простым описанием, организовал точную копировку этих изображений специалистом художником[2]. Так, принцип точной документировки, точного воспроизведения памятника становился основным принципом археологического изучения. Четыре статьи по археологии Сибири, опубликованные Миллером и воспроизведенные теперь в приложении к I тому «Истории Сибири», являются первым опытом описания и систематизации материала по археологии Сибири, если не ошибаемся, первым археологическим исследованием в России.

Тот же принцип точной документации Миллер распространял и на этнографический, фольклорный материал. В период рационалистической борьбы с «баснословьем», которой требовал и Миллер, сквозь критическое отношение к легенде, к устному преданию пробивается, однако, взгляд и на этот материал, как на исторический источник, требующий столь же внимательного и тщательного подхода. Миллер указал на необходимость точной записи преданий, и, отмечая их неизбежное видоизменение в последовательной устной передаче, он в сличении отдельных вариантов искал путь к восстановлению древней легенды, лежащей в основе современной передачи.

С наибольшей полнотой этот принцип фиксации и воспроизведения памятника применен Миллером к письменному памятнику. Татищев в своей «Истории» еще не провел последовательного

---

[1] *Миллер*, История Сибири, изд. 1937 г., стр. 517.

[2] Снимки этих копий воспроизведены в последнем издании.

выделения источника и в конечной редакции свода летописного материала не только слил воедино материал из разных источников, но и переложил его на современный язык, дал его в собственном изложении. Миллер впервые потребовал точного воспроизведения исторического документа в неизмененном виде. По этому вопросу он вступил в полемику с Академией наук, требуя при печатании памятников письменности сохранения всех особенностей печатаемого списка, его орфографии, грамматических особенностей. Он указывал, что язык памятника служит свидетельством места и времени его возникновения. Эти требования, таким образом, были направлены на создание реальной основы для научного изучения текста, для той критики источника, которая должна была стать основой научного исторического изучения.

Этим определилось и место, отводимое источнику, его подлинному тексту, в трудах Миллера. В этом отношении показателен первый том «Истории Сибири», подготовленный к изданию Миллером. Документ выведен из основного изложения истории, которое освобождается от первичного смешения авторского текста с источником; он получает теперь принадлежащее ему значение научного обоснования авторского описания событий. В книге появляется раздел примечаний, страница текста делится на две соподчиненные части: в нижней части, нередко занимающей больше половины страницы, воспроизводятся документы, обосновывающие содержание текста[1]. Помимо актового материала Миллер предполагал дать в «Приложениях» перевод собранных им татарских летописей.

В написанном им предисловии Миллер дал и принципиальное обоснование принятого им порядка изложения.

«Рассуждая вообще о том, как я в сочинении сей истории поступал, то я прекословить не намерен, что она в описании приключений с принятым от славнейших древних историков обыкновением много не сходствует. Однакож не думаю, чтоб я тем учинил хуже. Их сочинение приятно, потому что они приключения ведут одним порядком, не упоминая о свидетельствах, по которым они сочинение свое составляли. Но мое расположение есть полезнее, потому что я стараюсь предлагаемое мною утверждать везде доводами и рассуждаю об известиях и о сочинителях оных по правилам вероятности и якобы с читателем совокупно, который здесь также рассуждать может и тому, что я пишу, просто верить не обязан»[2]. Автор не просто рассказывает, он доказывает свои положения и хочет, чтобы читатель его истории мог вместе с ним проверить его доводы и доказательства. Он хочет вместе с тем, чтобы

[1] Нельзя не пожалеть, что в новом издании «Истории Сибири» эти документальные примечания автора перенесены в конец текста, что значительно ослабило показательность, наглядность этой характерной черты работы Миллера.

[2] *Миллер*, История Сибири, т. I, изд. 1937 г., стр. 164.

его читатель сам продолжил начатую им, Миллером, работу, используя урок его «Истории»: «Ежели угодно будет последовать сему примеру, то я таких старинных писем довольное число собрал, которые не только до одной Сибири, но и до всей России касаются... при будущем сочинении общей Российской истории основанием служить должны. А сколько я ни старался во время моего в Сибири путешествия о собирании письменных известий к способствованию сей истории, однако всех источников, которые к тому служили, вычерпать не мог»[1].

Но того, что понимал Миллер, не поняла администрация Академии наук. Татарские летописи, составлявшие «Приложения», были сняты, также было снято и предисловие Миллера, которое его противники изобразили как пустое самохвальство; самому Миллеру был объявлен выговор за расходование бумаги на печатание никому не нужных, по мнению академического начальства, документов, направленное якобы лишь на внешнее увеличение объема издания, и запрещено было сопровождать дальнейший текст истории публикацией подлинных документов. Но то, что в 50-х годах не дано было сделать Миллеру, то в 70-х и 80-х годах сделал его продолжатель в русской исторической науке Щербатов.

Миллеру известен и другой порядок, другой путь введения источника, документального, научного обоснования своего изложения: это — обзор источников, которым начинаются обычно его исторические очерки. Так, своему «Опыту новейшей русской истории» он предпослал общий очерк основных источников по излагаемому им периоду. То же восстановление документального свидетельства дается им и в ходе его изложения: когда свидетельства разных источников расходятся, Миллер уже не считает возможным ограничиться сообщением того свидетельства, которое ему представляется более вероятным, а воспроизводит параллельно и другие взгляды и факты, оставляя возможность их сопоставления и дальнейшей проверки высказанного им суждения.

Проблема научной критики

В ряду источниковедческих исследований Миллера нельзя не отметить данный им разбор Ремезовской летописи, попытку выяснить ее источники, попытку, которая, с одной стороны, позволила Миллеру выявить позднейшие интерполяции в самом тексте Ремезовской летописи, с другой стороны, подвела Миллера к восстановлению истории всего Сибирского летописания. Один из лучших современных знатоков сибирской истории, проф. С. В. Бахрушин, считает, что основные выводы Миллера по этому вопросу остались в силе до наших дней.

В этом последовательном проведении миллеровский принцип документации и работы над источником вырастает в общий принцип научного мышления, исторического знания. «Быть вер-

[1] *Миллер*, История Сибири, изд. 1937 г., стр. 163.

ным истине, беспристрастным и скромным, —требует Миллер от историка, — все, что историк говорит, должно быть строго истинно, и никогда не должен он давать повод к возбуждению к себе подозрения в лести»[1].

Принцип «истинности» поставлен Миллером во главу научного исследования. Тем самым историк от работы над текстом источника переходил уже к работе над его содержанием, к внутренней критике источника, и здесь выявлялась определенная ограниченность его материалов. Критика факта в духе идей XVIII в. сводилась к критике «здравого смысла» как единственного «разумного» критерия. Миллер стоял здесь на почве общих принципов рационализма, из которого он мог почерпать лишь одну позитивную задачу — задачу борьбы с баснословьем.

Но при всей слабости теоретических основ этой критики, в работе Миллера не мог не сказаться большой запас практических знаний, явившихся результатом непосредственного десятилетнего изучения страны, народов, их быта и культуры, конкретных знаний, складывающихся в комплекс реальных представлений о предмете своего исследования, в котором уже практически не оставалось места для легенд и баснословья. Этот реальный жизненный материал становился прекрасной поверкой баснословья предания, устного или письменного. Если в дальнейшем смешение истории с этнографией не раз приводило к искажению непосредственных задач исторического изучения, то в этот младенческий период исторической науки связь истории с конкретным этнографическим материалом, установленная Миллером, была несомненно благотворна.

Этнографическая проблема у Миллера

С вопросов о происхождении народа, его этнической принадлежности, начиналась во времена Миллера каждая работа по истории. Но эта проблема превращалась в своеобразные этногенетические построения, в которых, правда, наука постепенно освобождалась от первоначального легендарного производства племен от древних героев-эпонимов, но создавала новую легенду непосредственного выведения современных народов от соответствующих народов-предков древней истории, греческих авторов и летописного предания. И в этом направлении одна произвольная конструкция сменяла другую. Миллер абстрактным конструкциям, основанным на «древних российских сказках», противопоставил реальный материал конкретных этнографических наблюдений. Современные этногенетические построения он отбрасывал как произвольные и потому ненаучные, баснословные. В «Истории Сибири», иронически указывая на писателей, «которые для исторических доказательств довольствуются только сходством имен» (например, Сибирь — от геродотовых тибаренов или Тобольск — от библейских тубалов), Миллер заявлял: «Предоставим подобные предпо-

[1] *Пекарский*, История Академии наук в Петербурге, т. I, стр. 381

ложения их создателям, не разделяя их мнения»[1]. «Может ли быть что-либо бессмысленнее того, — писал он в другом месте, — когда какой-то неизвестный писатель сообщает, будто некоторые думают, что самоеды — те древние скифы, которые отправляли своих послов к Александру Великому»[2]. Отсутствие достоверного научного материала заставляет Миллера отказаться от этой бесплодной при данном состоянии науки задачи. «Правильнее будет, если события древних времен из жизни отдельных народов, за неимением основательных доказательств, оставлять попрежнему неразъясненными, чем давать им неправильное освещение»[3].

Он избрал иную задачу — изучить современные народы, их отношения между собой, восстанавливая их прошлое лишь в соответствии с достоверными, проверенными историческими свидетельствами. В основу изучения сибирских народов и научного восстановления их прошлого Миллер положил, с одной стороны, филологический метод — сравнительное изучение их языков, согласно принципам, выдвинутым еще Лейбницем, с другой — собственно этнографическое изучение, описание быта народов, их обычаев и частично фольклорного материала. Эта последняя задача в таком конкретном плане впервые в России поставлена именно Миллером; она выделяет его работу и в ряду западноевропейских исследований его времени. Миллер в специальных статьях дал по собственным наблюдениям описание быта и нравов отдельных сибирских народов. Продолжая работу, начатую Татищевым, он собирал словарный материал для сравнительного изучения их языков.

Результатом этих исследований явилась первая глава «Истории Сибири», в которой Миллер дал общую картину этнического состава сибирского населения, сохраненную в своих основных чертах и нашей исторической наукой. На этой научной основе Миллеру удалось в ряде случаев подойти и к разрешению вопросов прошлой истории отдельных народов, их древнейших судеб. Миллер поставил вопрос об этнической связи якутов с алтайскими народами, связав их переселение на Лену с наступлением монголов, — предположение, которое с определенными коррективами принимается и современной наукой. Им же впервые был поднят вопрос об этнических связях тунгусов и манчжуров — древних джурдженей китайских источников. Детальное изучение западносибирских народов привело Миллера также к пересмотру вопроса об этнической принадлежности вогулов и остяков, которых он связал с сибирскими народами, а не с пермяками и удмуртами Восточной Европы, как это делалось до него. Наряду с этнографическим изучением Миллер по историческим памятникам внимательно прослеживал также пути расселения и географические перемещения отдельных племен; в частности он первый обратил внимание на после-

[1] *Миллер*, История Сибири, т. I, изд. 1937 г., гл. I, § 2, стр. 169.
[2] Там же, § 46, стр. 187.
[3] Там же, § 44, стр. 187.

довательные перемещения киргизских племен. Так, отказавшись от широких общих построений, Миллер давал нередко правильное освещение историко-этнографических вопросов.

Восстановление исторического факта и проблема исторического синтеза

Тот же принцип достоверности и «истинности» распространялся Миллером и на исторические свидетельства письменных источников. И в этой части для Миллера на первом плане стояла проверка действительности исторического факта. Если для древнейшей эпохи он находил здесь опору в этнографическом материале, то и в последующих периодах он уделял особое внимание конкретным вспомогательным дисциплинам. Подобно Татищеву, он уделял большое внимание вопросам исторической географии (в том числе этногеографии), в частности картографическим занятиям. Миллер же приступил к разработке «генеалогии» как специальной практической дисциплины, необходимой прежде всего для ориентировки в сложных княжеских счетах русских летописей. И здесь, как и в вопросе документации изложения, он натолкнулся на непонимание действительного значения этой «черновой» работы со стороны академического начальства, усмотревшего в этих занятиях ненужное отвлечение от прямых задач «историографа» и даже запретившего ему продолжение этих занятий. Между тем и в этом вопросе прямыми продолжателями Миллера явились многочисленные русские историки, начиная со Щербатова и кончая Погодиным.

Но опередив, таким образом, свое время в части изучения источника, восстановления фактического материала, Миллер оставался целиком представителем своего времени в вопросах исторического синтеза, в деле осмысления исторического процесса. Историк-эмпирик, практик прежде всего, он выработал в практической работе свои приемы критики и анализа фактов, но не приобрел целостного научного миросозерцания. В общей трактовке исторических явлений, в установлении связи между событиями, Миллер шел обычным путем историка того времени, путем прагматического изложения, установления внешней последовательности, частной связи исторического повествования. Подобно всем писателям XVIII в., основой обобщения и для Миллера в конечном счете служит политическая идея российского самодержавия. С. В. Бахрушин указывает, что Миллер «выступает в своем произведении идеологом феодальной экспансии и горячим апологетом тех методов эксплоатации коренного населения, какие применялись в Сибири в XVI—XVIII вв.»[1] Но тем более неудачно данное им определение Миллера как «представителя буржуазной интеллигенции». Миллер в постановке вопроса критики источников и критики фактов расчищал путь к буржуазной науке XIX в.,

[1] *Бахрушин*, Г.-Ф. Миллер как историк Сибири; кн.: *Миллер, Г.-Ф.*, История Сибири, т. I, М.—Л. 1937, стр. 47.

но по своему историческому миросозерцанию он принадлежал еще XVIII в. Преодоление его ограниченности лежало в разрешении вопроса о самом содержании исторического процесса. Но перед этим вопросом остановилась научная мысль Миллера и оставила его без разрешения.

Значение Миллера в русской историографии

Историческое значение Миллера состоит в том, что он впервые показал значение источника во всей широте и во всем объеме; он впервые сделал научную попытку анализа этого источника, положил начало научной критике источника, в полном объеме развернутой уже Шлецером, через которого лежал дальнейший путь к исторической науке XIX в. Без Миллера не могло быть и Шлецера, так как не было бы той реальной базы, на которой Шлецер смог развернуть свою критическую деятельность.

С другой стороны, значение работы Миллера состояло в мобилизации огромного фактического материала, в том внимании к историческим документам, которое он вызвал или по крайней мере развил у своих современников. Щербатов на базе нового документального материала, введенного Миллером в исторический оборот, следуя его приемам использования источников[1], смог подойти с новой попыткой обобщения материала, смог возобновить попытку Татищева создать общий труд по «Истории России». И если с Миллером связана сильная сторона Щербатовской «Истории», то и слабая сторона обоих авторов тоже оказалась общей: неразрешенность проблемы исторического процесса в его внутренней закономерности.

Значение Миллера вполне определяется состоянием исторической науки при начале его деятельности и тем, что̀ он оставил после себя. В 1817 г., приступая к своей многолетней археографической работе, П. М. Строев писал: «При имени Миллера, сего знаменитого изыскателя древностей, чувство признательности невольно наполняет душу русского историка. Если сей ученый мало занимался сочинениями прагматическими, то одно извлечение из недоступных хранилищ и сбережение великого числа материалов ставят его заслуги выше хвалы и несравненно важнее той, какую он оказал бы, написав десятки томов истории»[2].

Рост исторического знания, связанный с именем Миллера, нашел отражение в общем направлении русского просвещения и русской письменности XVIII в. Деятельность Миллера должна была сыграть свою роль в деле воспитания историче-

---

[1] Нельзя не отметить прямой зависимости Щербатова от Миллера даже в самом изложении последнего тома — в истории царствования Бориса Годунова и первого Лжедимитрия, где Щербатов, правда, значительно расширив фактическое содержание, все же в ряде случаев непосредственно примыкает к тексту «Опыта новейшей истории России».

[2] *Барсуков*, Жизнь и труды П. М. Строева, Спб. 1878, стр. 57.

ского интереса и прежде всего в деле внимания к историческому источнику.

Расширение работы с источником. «Древняя Российская Вивлиофика»

Щербатов и его современник и антагонист в области русской истории Болтин не были единичными, изолированными явлениями. Болтин принадлежал к сравнительно обширному кружку любителей русской истории при дворе Екатерины II, в который входили такие собиратели русской древности, как граф Мусин-Пушкин, известный владелец древнего списка «Слова о полку Игореве» и одного из первых списков пространной Русской Правды (так называемый «Пушкинский список»), как граф Н. П. Румянцев, один из виднейших организаторов археографической работы в России в начале XIX в., как граф Воронцов и другие.

Но круг «любителей» и читателей русских древностей уже вышел далеко за рамки этой дворянской знати. Об этом свидетельствует прежде всего рост журнальной исторической деятельности, начало которой было положено все тем же Миллером. Вольное российское собрание при Московском университете, организованное в 1771 г., издавало в период 1774—1783 гг. «Опыты трудов», в которых деятельное участие принимал и Миллер и в которых печатались отдельные научные статьи и источники.

Самым крупным явлением в этой области является, несомненно, «Древняя Российская Вивлиофика», издававшаяся Новиковым в период 1773—1775 гг. Если Миллер создал первый общий исторический журнал, то Новиков организовал первый ежемесячный архивный журнал, состоящий исключительно из архивных публикаций и памятников древней письменности: «Древняя Российская Вивлиофика или собрание разных древних сочинений, яко то Российские посольства в другие государства, редкие грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей и многие сочинения древних Российских стихотворцев».

В сообщении документов для публикации принимали непосредственное участие Миллер и Щербатов. В общем преобладали памятники XVII и XVIII вв., но здесь же были опубликованы впервые и духовные и договорные грамоты московских князей XIV в., использованные Щербатовым в его «Истории России».

И это, казалось бы, совершенно специальное издание получило столь широкое распространение, что Новиков не только приступил вскоре к выпуску «Продолжения Древней Российской Вивлиофики», но должен был в 1788—1790 гг. полностью переиздать все тома «Вивлиофики» — событие исключительное в истории издательского дела в России XVIII в.

Историческая наука росла вместе с историческими знаниями и запросами русского общества.

ГЛАВА 7

ЩЕРБАТОВ

Основные сочинения Щербатова: История Российская от древнейших времен, сочиненная кн. Михаилом Щербатовым, т. I—VII, Спб. 1770—1791.—Краткая повесть о бывших в России самозванцах, Спб. 1774.—Письмо кн. Щербатова, сочинителя Российской истории, к одному его приятелю в оправдание на некоторые сокрытыя и явныя охуления, учиненныя его истории от г-на ген.-майора Болтина, творца «Примечаний на Историю древния и нынешния России г. Леклерка», М. 1789.—Примечания на ответ г-на ген.-майора Болтина на письмо кн. Щербатова, сочинителя Российской истории, содержащия в себе любопытныя и полезныя сведения для любителей российской истории, також истинныя оправдания и прямые доказательства против его возражений, критики и охулений, М. 1792. — О древних чинах бывших в России и о должности каждого из них. См.: Опыт трудов Вольного Росс. собрания при имп. Моск. ун-те, ч. 3, (М). 1776, стр. 43—57. — Сочинения, т. I—II, изд. Б. С. Щербатова, 1896—1898; т. I, Политические сочинения (особенно: Статистика в рассуждении России, стр. 457—619; Путешествие в землю Офирскую господина С... шведского дворянина, стр. 749—1060); т. II, Статьи историко-политические и философские (особенно: I. О древних чинах, бывших в России, и о должности каждого из них, стр. 1—13; II. О повреждении нравов в России, стр. 133—247). — Неизданные сочинения, Огиз—Соцэкгиз, М. 1935 (Труды Государственного Исторического музея).

Основная историографическая литература: Щербатов, М., см. «Русский биографический словарь», том: «Щапов — Юшневский», стр. 104—124, изд. Русск. историч. об-ва, Спб. 1912, статья Фурсенко (здесь же основные библиографические данные). — *Соловьев, С.*, Писатели русской истории XVIII в.; в Собр. соч., изд. «Обществ. польза», Спб. (б. г.).— *Бестужев-Рюмин, К.*, Биографии и характеристики, Спб. 1882.—*Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, т. I, Спб. 1897; гл. II, Историки XVIII столетия. 2. Русские историки XVIII столетия. Щербатов и Болтин, стр. 27—53. — *Плеханов, Г. В.*, История русской общественной мысли, кн. 3, гл. X, Гиз, М.—Л. 1925.— *Любомиров, П.*, Князь Щербатов и его сочинения; в кн.: *Щербатов, М.*, Неизданные сочинения, Соцэкгиз, М. 1935, стр. VI—XXXI.—*Пыпин, А. Н.*, Русская наука и национальный вопрос в XVIII в., «Вестник Европы», т. III, 1884, стр. 212—256.

Библиография: *Чечулин*, Хронология и список сочинений кн. М. М. Щербатова. По поводу издания его сочинений, «Журн. мин-ва народн. просв.», кн. 8, 1900, стр. 337—364.

Общественно-политические истоки исторических взглядов Щербатова

Во второй половине XVIII в. делается новая попытка синтеза русской истории, восстановления целостного представления о русском историческом процессе на основе нового исторического документального материала, поднятого в связи с деятельностью Миллера. Щербатов и Болтин представляют два разных направления в решении этой задачи, н

их сближает то, что они, как в свое время и Татищев, пришли к историческим занятиям в связи с практической политической деятельностью.

Князь Михаил Михайлович Щербатов (1733—1790) выступил как политический деятель в начале царствования Екатерины II; его мировоззрение и политические взгляды сложились в середине XVIII в.

Вторая половина XVIII в. в истории России характеризуется назреванием кризиса феодально-крепостнической системы. Середина века — период складывания капиталистического уклада: образования капиталистической мануфактуры, купеческой и крестьянской, оформления всероссийского рынка и обострения внутреннего положения помещичьего крепостного хозяйства, вынужденного обратиться к рынку, пытающегося войти в систему товарно-денежных отношений. Это ведет к обострению социальных противоречий между дворянством и превращающимся в его экономического, а затем и политического конкурента купечеством; из недр феодального вотчинного хозяйства выдвигается и своеобразная крестьянская крепостная буржуазия в лице «капита́листого» крестьянина, держателя торга или мануфактуры. Купечество сформулировало свои притязания в Комиссии об Уложении 1767 г., а крестьянство — в массовой борьбе против крепостничества, завершившейся крестьянской войной под руководством Емельяна Пугачева.

Эти внутренние сдвиги и создали почву для проникновения в Россию просветительных идей кануна французской революции 1789 г. Условия, породившие эту революцию, имели свое, пусть ослабленное, отражение и в России. Они нашли выражение в выступлениях таких людей, как Радищев, Кречетов, Пнин и многие другие. Борьба русского царизма с французской революцией диктовалась не только международными, но прежде всего внутренними противоречиями. Усилением крепостнического гнета, дальнейшим развитием крепостного права при Екатерине II дворянское государство пыталось справиться с ростом новых отношений.

Один из наиболее ярких и талантливых представителей русского дворянства, Щербатов, остро ощущал существовавшие противоречия. Он внимательно изучал экономические, социальные и политические проблемы современной России в поисках выхода из тупика и укрепления дворянских позиций. В 1762 г., воспользовавшись манифестом Петра III «о вольности дворянства», он вышел в отставку и занялся литературной деятельностью, начавшейся еще в конце 50-х годов изданием переводов в «Ежемесячных Сочинениях». В это же время он обратился к историческим занятиям. Проблемы современности побуждали его обращаться к прошлому для исторического обоснования своих политических притязаний.

Внутренняя связь историко-политических воззрений Щербатова нашла яркое выражение в его выступлениях в Комиссии об Уложении 1767—1768 гг. Щербатов явился здесь ярким поборником социальных и политических привилегий дворянства против притязаний купечества и крестьянства. Он выступал с историческим и политическим обоснованием исконности крепостнических прав дворянства. Острота социальной проблемы заострила и политическую позицию Щербатова. Более дальновидный представитель своего класса, Щербатов глубоко ощущает внутренние противоречия и назревшие трудности. Но далекий еще от понимания внутренней закономерности социально-экономического развития общества, он склонен искать конечного разрешения вопроса в политической деятельности власти, требуя от нее разрешения противоречий и укрепления позиций дворянства. В непоследовательности политики правительства готов он искать и конечную причину угрожающего кризиса. Отсюда его требование более решительной дворянской политики правительства и притязание на более непосредственное участие самого дворянства в управлении, подкрепляемое историческим обоснованием совместного управления царя с его боярами. Отсюда известная оппозиция «просвещенному абсолютизму» Екатерининского царствования, в котором он видит прежде всего его внешнюю сторону, метко охарактеризованную Энгельсом в его работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства»: «...когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам как кажущаяся посредница между ними»[1]. Эта оппозиция Щербатова была оппозицией «справа», консервативной оппозицией.

Политические взгляды Щербатова нашли отражение в его исторической концепции, исходившей из дворянской политической программы, из осуществления определенного государственного начала: в исторической концепции Щербатова монархическое начало осложнялось вопросом дворянских прерогатив, и это внесло неизбежное противоречие в исходную схему истории русского единодержавия, сформулированную Татищевым, породило противоречивость оценок в ряде отдельных исторических вопросов.

Эта позиция Щербатова определила и его дальнейшую личную судьбу. Человек больших знаний и одаренности, яркий поборник дворянской крепостнической монархии, Щербатов после ликвидации Комиссии об Уложении оказался фактически не у дел. Очевидно, слишком беспокойный человек, слишком активный и деятельный, настойчиво проводящий в жизнь свою политическую линию, он оказался неудобным на активных политических ролях. В своей служебной деятельности он остается на практической, далекой от большой политики, хозяйственной работе — сперва

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 147.

членом коммерц-коллегии, потом председателем камер-коллегии. Он с горечью отмечал, что лишь в 1779 г. получил звание сенатора. Это положение в свою очередь повлияло на оппозиционность Щербатова в отношении Екатерининского правительства и дало повод к его желчным и ярким характеристикам самой Екатерины, ее фаворитов — Потемкина, Зубова, Екатерининской администрации.

Свой темперамент политического деятеля Щербатов перенес в свою публицистику, в литературную деятельность. В этой публицистике нашли свое отражение все наиболее яркие вопросы современности. В связи с Комиссией об Уложении Щербатов составил тщательный критический разбор Екатерининского «Большого Наказа». Такому же разбору подверглась позже и «Жалованная грамота дворянству». Постановка крестьянского вопроса в Вольном экономическом обществе вызвала записку Щербатова по крестьянскому вопросу — историческое обоснование крепостнических прав дворянства[1]. Такие же отклики вызывает и русско-турецкая война 1787 г., и война со Швецией 1788 г., и другие события. Освещение злободневных вопросов приводит и к более широкому и всестороннему изучению современности, частично облегчавшемуся условиями служебной деятельности Щербатова. К 1776—1777 гг. относится его работа «Статистика в рассуждении России». В XVIII в. статистика понималась несколько иначе, чем теперь. Производное от Staat — государство, статистика содержала описание всех вопросов внутренней жизни и строя государства: вопросы населения, хозяйства, нравов, управления. Надо оговорить, что первый опыт статистического описания России был сделан еще Шлецером в 60-е годы, но нельзя сказать, был ли он известен Щербатову. Постепенно в публицистической деятельности Щербатов переходит и к истолкованию событий, что неизбежно вело к расширению хронологических рамок его тематики. Такие произведения, как «О повреждении нравов в России», «Путешествие в землю Офирскую», касаются уже всей Петровской России, всего XVIII в., дают историческую оценку Петровских реформ, которые находятся в тесной связи с этой современностью. От публицистики Щербатов переходит к истории.

Щербатов был известен своим современникам больше как историк. Щербатов понимал, что его публицистические произведения не могли быть изданы при Екатерине II. В них автор отводил свою душу, давал выход своему темпераменту. «Побужден любовию к отечеству, предпринял я мысли мои предать бумаге, дабы, хотя по смерти моей, при благополучных временах, видимо было, что верный сын отечества, добрый гражданин и утесненного первого правительства государства [Сената. — *Н. Р.*] член о сей причине размышлял»[2]. Они увидели свет лишь в XIX в.

[1] См. кн.: Неизданные сочинения М. М. Щербатова.

[2] Цит. по статье *Любомирова* в кн.: Неизданные сочинения М. М. Щербатова, стр. XXI.

Научная основа воззрений Щербатова. Западное влияние

Щербатов принадлежал к числу наиболее просвещенных людей своего времени. В его собственных литературных произведениях отражается широта его научных интересов. Наряду с вопросами истории, политики, экономики Щербатова интересуют этико-философские вопросы, по которым он пишет специальные статьи: «Разговор о бессмертии души», «Рассмотрение о жизни человеческой», «О выгодах недостатка» и др. Он не чужд был и чисто литературным занятиям и оставил ряд поэтических опытов.

Мировоззрение Щербатова вырабатывалось под воздействием западноевропейской мысли. Щербатов обладал широкой начитанностью и сообщает о специальных корреспондентах, или агентах, доставлявших ему новинки европейского книжного рынка. Его библиотека насчитывала до 15 000 томов. Сочинения Щербатова, начиная с политической публицистики и кончая его «Историей», отражают его начитанность в обильных литературных ссылках.

Общее мировоззрение Щербатова принадлежит рационализму XVIII в. с типичными элементами практицизма. В вопросах религии Щербатов проводит идеи деизма. С рационалистических позиций он выступает в своей «Истории» против официальной церкви, против освящаемых церковной традицией суеверий и баснословья; в средневековой церкви он видит источник невежества и политического разложения. В его нападках на церковь звучат отголоски памфлетов Вольтера. В этических вопросах он сторонник утилитарной, практической морали, принципы которой идут еще от Локка.

Политические идеи, его учение о государстве имеют логическую связь с западноевропейской политической литературой. Разбор Большого Наказа показывает детальное знакомство с двумя крупнейшими представителями современной политической теории — Монтескье и Беккариа. Щербатов, подобно Екатерине II, использовал учение Монтескье для обоснования своей дворянской политической концепции. Из политических писателей эпохи просвещения Монтескье представлял наиболее умеренное крыло; в своей политической теории он пытался примирить идеи просветительной философии с программой дворянства, хотя и либерального. Два основных положения лежат в основе его учения о государстве. С одной стороны, утверждение соответствия государственной организации естественным условиям страны, идущее еще от юриста и социолога XVI в. Жана Бодена. Из этого принципа Екатерина II в Большом Наказе выводила необходимость монархического строя для обширного Российского государства. Но, с другой стороны, само государство превращалось в ведущее рациональное начало в жизни общества; ему присваивалась функция организации и воспитания народа; государственные законы создают народ и его историю, от них зависят исторические судьбы народа.

Так утверждается всесилие законодателя и примат политики в истории. «Путешествие в землю Офирскую» раскрывает и чисто литературные связи Щербатова с современной политической литературой, перенося впервые на русскую почву новый жанр политической утопии.

Статьи Щербатова свидетельствуют и о его знакомстве с новейшей экономической литературой. Мы видели уже, что ему, наряду со Шлецером, принадлежит один из первых опытов «статистического» описания России. В его экономических высказываниях чувствуются отзвуки физиократических идей, с которыми русское общество могло познакомиться и непосредственно через приезжавшего в Россию Мерсье де ла Ривьера, одного из видных представителей этой школы. Щербатов для обоснования дворянской программы пытается использовать не только учения просветительной философии, но и учение физиократов, их утверждение о преимуществе сельского хозяйства перед торговой и промышленной деятельностью.

То же консервативное начало сказалось и в исторических симпатиях Щербатова, в его научно-исторических взглядах.

Источники исторических взглядов Щербатова

В развитии научно-исторической мысли Западной Европы к середине XVIII в. наметилось определенное раздвоение: ее движение идет в двух различных направлениях. Исторические воззрения рационализма, как было показано, заключали в себе несводимое внутреннее противоречие психологического прагматизма и абстрактной схемы, хотя оба направления и сохраняли в основе общий рационалистический взгляд на руководящую роль выдающихся личностей, героев,— в лице крупных правителей, реформаторов. Это противоречие начинает осознаваться, их механическая связь постепенно разрывается. Передовая мысль французских просветителей, обращенная к приближающейся буржуазной революции, все решительнее выдвигает проблему исторического синтеза, вопрос единства и закономерности исторического развития. Не в силах преодолеть дуализм фактического содержания и схемы в органическом единстве, она пошла по пути философского обобщения, подчинения факта идее, создания особого философского направления в истории. Первым представителем этого направления был Вольтер; первым ярким памятником этого направления является его знаменитый в свое время «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations». Принципы «философии истории» Вольтер приложил и к двум конкретным историческим темам, из которых одна относилась к русской истории: это его «Siècle de Louis XIV» («Век Людовика XIV») и «Histoire de Pierre le Grand» («История Петра Великого»). Последняя была написана по заданию русского правительства, снабжавшего Вольтера историческим материалом (материал этот подготовляли Миллер и Ломоносов). В ответ на обвинения со стороны русского правительства

в произвольном распоряжении материалом Вольтер впервые сформулировал новый принцип, предоставляющий историку право отбора фактов, которые важны не сами по себе, а в меру раскрытия исторической идеи. Это было реакцией на крайности летописного направления и, как всякая реакция, породило на первых порах определенную крайность полного авторского произвола. Но за этим стояла научная проблема раскрытия внутреннего единства исторического развития. Новая проблематика вела к определенному изменению тематики: неспособное овладеть конкретным фактическим содержанием старой политической истории, философское направление ищет в своей собственной логической схеме принцип единства общественного процесса. Идея единства исторического развития превращается в теорию прогресса, получившую законченное выражение уже у одного из деятелей французской революции 1789 г., у представителя жирондистов Кондорсе (1743—1794), в его «Esquisse des progrès de l'esprit humain» («Очерк успехов человеческого разума», 1794) и у одного из ближайших предшественников немецкой классической идеалистической философии, Гердера И. Г. (1744—1803), автора «Ideen zur Philosophie der Menschengeschichte der Menschheit». Оба стоят уже на рубеже новой науки XIX в.

Отмеченное направление проникнуто еще глубоким интеллектуализмом, оно видит в разуме, в просвещении основную творческую, движущую силу исторического развития. Всемирную историю историки этого направления рассматривают, как историю культуры, — историю «успехов человеческого разума», тем самым являясь представителями рационализма, развивающими дальше его теоретические основы.

Рядом с ними выступают французские материалисты XVIII в., прямые предшественники буржуазной революции 1789 г., представители передовой революционной мысли, отражающие вместе с тем влияние развития точных эмпирических наук, которые впервые достигают крупных успехов в XVIII в. Французские материалисты — Гольбах, Гельвеций и др. — делают попытки подчинить рационалистическое построение всемирно-исторического процесса законам природы, воздействию географической среды.

Но как раз в вопросах исторического развития человечества французские материалисты не умели быть последовательными, преодолеть рационалистическую позицию: «...они забывали свой сенсуалистический взгляд на «человека» вообще, — указывает Г. В. Плеханов, — и, подобно всем «просветителям» того времени, твердили, что *мир* (т. е. общественные отношения людей) *управляется мнениями* (c'est l'opinion qui gouverne le monde)»[1].

---

[1] *Плеханов*, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, М. 1933, стр. 4.

На другом полюсе в это же время происходит дальнейшее заострение чисто прагматического направления, чуждого философскому обобщению, опирающегося на единичный факт в его конкретной и индивидуальной обусловленности. Психологический прагматизм, возникший в XVII в. как прогрессивное явление, шедшее на смену провиденциализму средневековья, приобретал теперь консервативный характер по отношению к революционным идеям нового времени. В то время как новое философское направление в истории создавалось во Франции, прагматическое направление закреплялось в Англии и нашло свое наиболее полное выражение в XVIII в. в трудах прямого продолжателя локковского эмпиризма в области философии и в то же время автора истории Англии—Давида Юма. «Наука притчин есть приключающая наиболее удовольствия разуму», — цитирует Щербатов «труды г-на Гюма о связи воображений» в предисловии к своей «Истории Российской». «Летописатель или историк, — цитирует он дальше Юма, — который предприемлет предложить потомству бывшие приключения в Европе в течение единного веку, подвергнется к главности сопряженности приключений»[1]. Карамзин писал впоследствии о «благоразумном Юме, иногда весьма плодовитом в изъяснении причин, но до скудости умеренном в размышлении».

К прагматизму Юма обратился идеолог дворянской России Щербатов. «Но обыкновеннейшая связь в повествованиях есть та, которая происходит от причин и действий. С сею помощию наш историк изображает последствие деяний в их естественном порядке, восходит до тайных пружин и до притчин сокровенных и выводит наиотдаленнейшие следствия»[2]. Эти причины заключаются в психологии действующего лица, понимаемой при этом рационалистически, а не исторически, как «естественная» психология каждого человека. Некоторым, но очень слабым отражением идей новой «философской» истории являются, может быть, те небольшие главы, характеризующие внутренний строй, законодательство, просвещение и нравы, которые впервые ввел в общее историческое повествование Щербатов.

Щербатов-историк выступал в то же время продолжателем Миллера. От Миллера он взял непосредственное обращение к источнику и прежде всего к актовому материалу. Но Щербатову нехватало при этом той большой практической подготовки, которую в работе над источником получил Миллер; едва занявшись изучением истории, Щербатов уже перешел к ее писанию и в 1767 г. закончил, а в 1770 г. выпустил I том «Истории Российской». На недостаточность своей подготовки он ссылался в ответе Болтину, но получил жесткую отповедь от последнего. Чем слабее была

[1] *Щербатов*, История Российская, т. I, Предисловие, стр. XV.
[2] Там же.

практическая подготовка, тем сильнее было определяющее влияние рационализма в произведениях Щербатова.

С «Историей Российской» Татищева Щербатов смог познакомиться уже тогда, когда были написаны первые два тома его собственной «Истории», доводившие изложение до татарского нашествия, и поэтому он не сумел воспользоваться работой Татищева, на которую опирался его антагонист Болтин. Таким образом, он был оторван даже от той единственной попытки научного синтеза, какую представлял в русской исторической литературе труд Татищева, хотя и на первоначальной рационалистической основе.

Исторические работы Щербатова

Основным памятником исторических занятий Щербатова является его «История Российская от древнейших времен». В 1764 г. Щербатов был представлен Екатерине II Миллером, собиравшимся в Москву на архивную работу, как его заместитель в должности историографа. В 1767 г. он закончил первый том своей истории. После упразднения Комиссии об Уложении отдельные части его труда стали следовать одна за другой: в 1770 г. — т. I; в 1771 г. — т. II; в 1774 г. — т. III; в 1781 г. — т. IV, ч. 1; в 1783 г.—т. IV, ч. 2; в 1784 г. — т. IV, ч. 3; в 1786 г. — т. V, ч. 1; в 1789 г. — т. V, ч. 2; в 1790 г. — т. VI, ч. 1 и 2, т. VII, ч. 1 и 2; в 1791 г. — т. VII, ч. 3. Последняя часть VII тома вышла уже после смерти автора. Его «История» оборвалась на 1610 г., но из текста третьей части V тома мы узнаем, что Щербатов рассчитывал довести свою «Историю» до царствования Петра I: он сообщает, что характеристика новых учреждений, складывающихся с XVI в., будет дана при подведении итогов XVII в. Таким образом, автор собирался довести свое изложение до современной эпохи, к которой принадлежал Петр I и которая являлась для него объектом уже не истории, а исторической публицистики. На этом должны были сомкнуться две линии в его научно-литературной деятельности.

Среди современных исторических событий особенно остро затронула дворянского историка мощная крестьянская война в 1773—1775 гг. под руководством Пугачева. На эти события Щербатов откликнулся «Краткой повестью о бывших в России самозванцах», изданной в Петербурге в 1774 г. История первого Лжедимитрия-«Гришки Расстриги», Лжепетра, Тушинского царика, Тимофея Акундинова, Степана Разина должна была показать, что такие явления бывали всегда и значит не вызваны какими-либо особенными причинами современности. «Такая есть слабость народная, что... часто быв увлекаемы легкомыслием и новостью, в злейшие себя несчастия ввергает»; «...внутренность человека есть всегда одинакова», — заявляет автор в духе рационалистического психологизма. Всегда случавшиеся, эти бедствия — такова мораль «повести» — всегда преходящи: «...прельщенные и увлеченные в преступления народы вины свои признали, и спокойствие России возвратилось; с печальным только напоминанием всех

злоключений, опасных, но неизбежных иногда случаев, к коим подвержены все царства и державы света». Книга, видимо, отвечала социальному заказу: она была переиздана в 1778 г. и снова — в 1791 г.

Такой же по сути дела политической теме отвечала и работа Щербатова «О древних чинах, бывших в России, и о должности каждого из оных», исторически обосновывавшая политические права российского дворянства; нельзя сказать, была ли эта работа откликом непосредственно на изданное в 1785 г. «Учреждение о губерниях» или связана она с еще более широкой полемикой в Комиссии об Уложении.

Щербатовым была проведена большая работа и в деле научной публикации исторических источников. С его именем связан ряд значительнейших изданий XVIII в.: «Царственный летописец» (продолжение Начальной летописи—от 1114 г. до покорения Новгорода Иваном III), «Царственная книга, то-есть летописец царствования царя Иоанна Васильевича от 7042 до 7061 г.», «Летопись о многих мятежах», «История свейской войны», «Журнал или поденная записка... Петра Великого с 1698 г.», ч. 1 и 2 (результат разбора Щербатовым бумаг кабинета Петра Великого, намечавшегося в свое время Миллером). Выше упоминались публикации Щербатова в «Древней Российской Вивлиофике». Наконец, основные публикации актового материала вошли в состав «Истории Российской» частью в виде обширных приложений, частью отдельными книгами. Из 15 частей его «Истории» 3 части (т. IV, ч. 3; т. V, ч. 4; т. VII, ч. 3) полностью заняты актовым материалом.

Работа Щербатова над источником

В своей работе с источником Щербатов явился прямым и ближайшим продолжателем Миллера как собиратель и издатель новых исторических памятников. Продолжая работу Татищева, Щербатов собрал ряд новых текстов и списков летописей. В предисловии к «Истории Российской» он ссылался на использование им около 15 различных списков летописи. В ряду последних надо особо отметить «Воскресенский свод», впервые использованный именно Щербатовым. Но вслед за Миллером Щербатов перенес центр тяжести на актовый материал; в составе последнего главную роль играют княжеские договоры и духовные грамоты и памятники дипломатических сношений из Московского архива коллегии иностранных дел. Таким образом, Миллер не только указал новый источник, но и практически подготовил для Щербатова его архивный материал. Для XVI в. этот материал был дополнен еще актами иностранных архивов — римскими делами по XVI в., выписанными и присланными для Щербатова по распоряжению Екатерины II.

В начале третьего тома, подходя к истории Московской Руси, Щербатов в специальном обзоре источников указывает: «Довольно каждому известно, колико древние грамоты и договоры служат

ко утверждению деяний, описанных в летописцах, то я старался колико возможно сими сочиняемую мною историю снабдить»[1].

Вслед за Миллером и Щербатов становится на путь непосредственной документации своего изложения. Приложения исторических источников, запрещенные когда-то Миллеру, восстанавливаются в своих правах у Щербатова. При этом самый порядок публикации дает элементы дальнейшего развития. Копия Миллера допускала лишь случайную поверку; самое состояние использованных им архивов исключало в значительной мере точную ссылку. Щербатов каждый приведенный документ снабжает точной ссылкой на архивное дело, внося тем самым дальнейшее уточнение в систему документации, последовательно проводя принцип подконтрольности исследователя. При этом если в первых частях своей «Истории» автор еще переходит иногда к замене подлинного текста свободным пересказом (т. IV, ч. 3), то в последующих томах он уже твердо держится точного воспроизведения подлинного текста.

Тот же принцип соблюдается им в отношении летописей. Новый шаг по сравнению с Татищевым отмечен и у него, как и в «Опыте» Миллера, отказом от обезлички источника: каждая летопись выступает как самостоятельный источник, и расхождения фиксируются с точной ссылкой.

Щербатов придерживается также твердого правила предварительной характеристики своих источников, причем соответствующие очерки повторяются и в начале отдельных разделов по мере вовлечения новых источников. Впрочем, такие повторные очерки отчасти связаны с порядком работы самого Щербатова над своей «Историей»: он и сам лишь постепенно, переходя к новому разделу, начинал знакомиться с источниками, за этим не было предварительной длительной работы. Приемы описания и критика источника получали лишь постепенное уточнение. Как было указано, Щербатов начал работу без специальной практической подготовки, поэтому и его первоначальные источниковедческие суждения поражают своей упрощенностью: так, доказательством большей достоверности Царственного летописца служат его внешние достоинства — качество иллюстраций, тщательность письма, изобличающие как раз позднее происхождение списка. Та же внешняя оценка обусловила предпочтение Щербатовым Степенной книги; впрочем, для Щербатова Степенная книга была привлекательна еще наличием той готовой исторической схемы, которой нехватало самому Щербатову. Но позже, в полемике с Болтиным, опиравшимся на Никоновскую летопись, он проявил уже более правильное понимание источника и степени его достоверности, доказывая ее позднее происхождение и отсюда ее полную ненадежность, как позднейшего свода.

---

[1] *Щербатов*, История Российская, т. III, Предисловие.

Уточнение приемов критики дано Щербатовым по вопросу о Иоакимовской летописи в письме Болтину, где он выдвигает ряд конкретных правил: 1) установление местонахождения текста, его истории; 2) древность письма; 3) древность языка; 4) проверка по другим источникам или современные ссылки на данный памятник у других авторов.

Критика источника

Значительно слабее Щербатов в вопросах внутренней критики источников. Главная тема внутренней критики — борьба с баснословием на основе здравого смысла. В своем «Введении» Щербатов жалуется на «суеверие писателей, которые... чудесами летописи свои наполнили». Но он не умеет подвергнуть их критическому анализу и не имеет другого материала, чтобы отбросить легенду и ее заменить. Поэтому у него и нет реального анализа фактов. Он либо пытается сократить изложение легенды, чтобы скорее миновать трудное для изъяснения место (так поступил он со всей первой частью «Истории», посвященной происхождению древнейших племен), либо пытается подыскать для предания разумное с его точки зрения объяснение, принимая легенду за поэтическую метафору или аллегорию. Так, Щербатов, рассказав легенду о новгородском князе Волхве Всеславиче, умевшем оборачиваться змеем, тут же предлагает «разумное» объяснение: «Истолкование сей басне можно такое дать, что он по сей реке разбойничал, а может быть, имея на своем судне изображение змея, подал притчину к баснословному повествованию, якобы сам в змея претворялся»[1]. Пересказав легенду о сватовстве византийского императора за княгиню Ольгу, приехавшую в Византию креститься, автор и это воспринимает не как легенду, а как исторический факт, требующий истолкования; он серьезно задается вопросом о том, как мог император влюбиться в Ольгу, которая была уже старухой, и находит этому наиболее понятное для него объяснение в политических расчетах: брак должен был обеспечить Византии власть над Киевской Русью[2]. Если летописное сказание темно, повреждено и объяснить и исправить его нельзя, то, казалось бы, лучше умолчать вовсе о таком обстоятельстве, указывал Щербатову Болтин.

Впрочем, интерпретация источника приводит автора и к более серьезным недоразумениям — результат слабой специальной подготовки, незнакомства с основными вспомогательными и смежными дисциплинами.

Это сказалось прежде всего в самом чтении источника. Щербатов на первых порах иногда путается в самом тексте. В рассказе летописи о прозвании Олега «вещим» он прочел сообщение о «вещах», вывезенных Олегом в качестве добычи из Византии; торки превратились у него в Торпею и т. п.

[1] *Щербатов*, История Российская, т. I, стр. 190, Примечания.
[2] Там же, стр. 223.

Другим пробелом у Щербатова было слабое знание исторической географии. Владимир Волынский то и дело превращается во Владимир-на-Клязьме, русское войско из Киева в Польшу идет через Суздальскую Русь и попадает во Владимир-на-Клязьме до его основания. Таким же образом Юрьев день превращается в город Юрьев, а племенное название земигола в личное имя; река Быстрая Сосна становится урочищем и т. д. Эти ошибки особенно внимательно подмечал и остро высмеивал Болтин. «Если слепец слепца ведет, то без сомнения в первую встретившуюся яму низвергнутся»; «описано у Щербатова обыкновенным бестолковым его слогом», — то и дело замечает он.

Но надо признать, что указания авторов на эти ошибки, очень часто воспроизводимые для разоблачения научной беспомощности Щербатова, все же значительно преувеличивают действительные недостатки «Истории» Щербатова в этом отношении. Эти ошибки обильнее у Щербатова в отношении древнейшего периода и чаще встречаются в начале его исторической деятельности. В процессе работы сведения у Щербатова накапливались и уточнялись; в полемике с Болтиным нередко ближе к истине был Щербатов. Так было в споре о Тмутаракани, которую Болтин искал сначала на месте Рязани, а затем на Ворскле, Щербатов же помещал ее в Приазовье, хотя не на действительном ее месте, а на месте Ростова-на-Дону. Верно, конечно, и то, что в актах он разбирался лучше, чем в летописи, и в вопросах политики лучше, чем в исторической географии.

Из числа специальных смежных дисциплин Щербатову остаются чужды и вопросы этнографии. Он, собственно говоря, и не делал попыток реально разобраться в возникавших вопросах, довольно произвольно оказывая предпочтение одной легенде перед другой, тому или другому толкованию. В своей «Истории» он спешил поскорее миновать эти темные страницы прошлого, и вопросу о происхождении славян, или руси, предмету пространной полемики своих современников, он отвел 2 или 3 страницы текста.

Этим малоплодотворным в условиях состояния науки его времени спорам он предпочитает надежный и твердый конкретный факт. Опираясь на широкое знание иностранной литературы, он впервые внес в свое изложение обстоятельный рассказ о событиях нашей древнейшей истории, заимствованный из древних и византийских авторов, известных ему в переводах на европейские (главным образом французский) языки. Несколько позже свод византийских источников издал на латинском языке один из продолжателей Миллера, Стриттер. Но это составляет в известной мере даже заслугу Щербатова, так что едва ли можно полностью согласиться с отрицательной оценкой этой части труда Щербатова со стороны Болтина, отстаивавшего принципиальные позиции сравнительной этнографии.

В ряду практических вспомогательных дисциплин Щербатов занялся дальнейшей разработкой только генеалогии и хронологии, и здесь продолжая то, что начал, но не доделал Миллер. Генеалогические и хронологические таблицы, в которые он включил и сведения западноевропейской истории, впервые подходя, таким образом, к созданию синхронистических таблиц, были продуктом длительного, кропотливого труда и принесли свою пользу в процессе освоения и систематизации конкретного материала нашей политической истории.

Трактовка русского исторического процесса

При всей ограниченности критики источника самое пользование источником в построении «Истории Российской» Щербатова является безусловно новым по сравнению с Татищевым, единственным историком, который до Щербатова пытался дать действительно целостную схему русской истории. Как отмечал и Щербатов и его критик Болтин, между Щербатовым и Татищевым есть огромная разница: Татищев дал только «летопись в Татищевском своде», а не историю; Щербатов же дает не летопись, а историю, не сведе́ние погодных летописных записей, а единый исторический рассказ на основе авторской переработки материала, выявленного и выбранного из конкретных исторических источников. Умело или нет, но Щербатов делал первый опыт дать единую историю России на конкретном материале, тогда как Татищев давал исторический процесс только в виде общей схемы, как внешнюю рамку, внутри которой сохранялась все та же летопись.

Но при этом, следуя Юмовской методологии, Щербатов центр тяжести перенес на конкретный материал, в историческом изложении следовал той связи, которая устанавливалась непосредственно между отдельными фактами. В истории Щербатова господствует и довлеет над всем прагматический рассказ, конкретная причина, данная в действии отдельного человека, и в основе исторического объяснения причинной связи исторических событий лежит психология действующего лица, понимаемая Щербатовым рационалистически, как тожественная для всех народов и для всех эпох: «внутренность человека всегда одинакова...»[1]

Излагая события, Щербатов прежде всего задает вопрос, почему данное лицо действовало так, какие личные интересы, какие причины побудили его к этим действиям. Если Щербатов почему-либо не находит объяснения факта, он считает нужным это особо оговорить. Так, рассказав, что Святополк Изяславич перевел с одного княжения на другое своего племянника Ярополка, и не найдя для этого удовлетворяющей его причины, он оговаривает: «неизвестно, какие ради причины...»

[1] *Щербатов*, Краткая повесть о бывших в России самозванцах, Спб. 1774, стр. 5.

Субъективно-идеалистическое понимание принципа причинного истолкования в применении к более общим историческим вопросам приводит автора к упрощенно-рационалистическому толкованию истории. Так, поражение, понесенное Русью от татар, автор объясняет влиянием христианства, распространением монашества, ослабившим воинский дух народа своей проповедью отречения от мира, и стремлением церкви держать народ в невежестве. Но та же задача причинного объяснения нередко подводила автора и к более серьезной постановке вопросов и к более правильному их истолкованию. Так, причинное объяснение, идею целесообразного действия он пытается внести в вопрос о порядке княжеского наследования в Киевской Руси, когда наследует не сын, а брат. Щербатов находит, что причиной такого порядка наследования являлась напряженная междоусобная борьба того времени, когда юному сыну, не имеющему ни военного опыта, ни своей сплоченной дружины, должны были предпочесть его более зрелого и опытного в делах войны и правления дядю. Отсюда Щербатов выводил ту систему наследования, которая после Соловьева и Ключевского стала известна как теория лествичного восхождения князей. Фактическим родоначальником этой лествичной теории является Щербатов.

Но за частными причинами и связями исчезали более общие связи, попытки осмысления исторического процесса как целого. В этом отношении Щербатов даже делал известный шаг назад по сравнению с Татищевым. Может быть, здесь сказалась и бóльшая сложность политической позиции самого Щербатова, не укладывавшейся в ту законченную политико-историческую схему, которую дал Татищев. Татищев исходил из одной идеи самодержавия, и схема русского исторического процесса раскрывалась в переходе от полного «единовластительства», нарушенного удельной системой, к его восстановлению Иваном III и конечному закреплению при Петре I. Для Щербатова, как указано, рядом с историей русского самодержавия вставала история русского дворянства, и сочетание этих двух элементов делало значительно более сложной оценку отдельных исторических деятелей и общие исторические итоги.

Поэтому общая схема превратилась у Щербатова в бледный контур. В ее построении он больше следовал за материалом,—вернее, за тем источником, из которого он этот материал черпал. Схема Татищева дополнялась из схемы Ломоносова, а из-за той и другой проступала схема Степенной книги с ее более эмпирической и внешней, но поэтому менее обобщенной и самодовлеющей системой изложения исторического материала. Может быть, эта слитность материала и схемы была настоящей причиной, по которой Щербатов предпочел Степенную книгу летописи, делая в этом смысле шаг назад по сравнению с Татищевым. Но и в этом эмпиризме, как и в эмпиризме Миллера, была своя положительная сторона.

Если Щербатов не внес в историю нового философского направления, то по крайней мере у него уже нет настойчивого морализирования в истории для назидания современникам и потомству. Это подметил Соловьев, который говорил, что Щербатов уже занимается историей «для истории»[1].

Периодизация русской истории

Периодизация русской истории у Щербатова была условной и не имела принципиальной обоснованности. Тем не менее, не будучи сведена в единую формулу, незаметная на первый взгляд, она постепенно выступала в самой внешней структуре текста «Истории», которая сперва может показаться чем-то случайным и формальным.

«История Российская» Щербатова имеет очень сложное деление материала. Она делится прежде всего на семь томов. Том делится дальше на части и на книги. Но часть — это то, что мы обычно называем книгой, а книгой Щербатов называет то, что мы зовем разделом; книга распадается на главы.

Глава как первичная единица соответствует первичному делению материала Степенной книги на великие княжения. До XVI в., когда объем материала значительно вырастал, «История» Щербатова и делится на главы по княжениям. Автор допускает при этом одно отступление от Степенной книги: в последней определение княжеской степени иногда отступает от действительного преемства великих княжений; так, с появлением княжеской династии в Москве Степенная книга, вопреки летописи, присваивает ей старейшинство, великое княжение. Щербатов строго соблюдает преемственность власти, и для него московский период наступает не с Даниила Александровича, а с Ивана Калиты. Но, как и в Степенной книге, вся история отдельных княжеств искусственно включается в единую историю одного великого княжения.

Это же распространяется и на историю западных и южных русских земель, будущей Украины и Белоруссии. У Татищева с момента распада древней Руси излагаются два параллельных процесса. Щербатов возвращается к схеме Степенной книги: история русских земель под властью Литвы и Польши механически укладывается в историю великого княжения Владимирского или Московского.

Отзвуком внутренней схемы Степенной книги являются и те характеристики князей, которые систематически появляются у Щербатова как заключение каждой главы, как подведение итога деятельности каждого отдельного князя. Степенная книга строилась по принципу биографии-жития, и в характеристиках Щербатова чувствуются заметные черты «похвального слова».

---

[1] *Соловьев*, Собр. соч., изд. «Обществ. польза», Спб. (б. г.), ст. 1361.

Фактическая история Руси начинается у Щербатова со второй книги. В ней содержится история Киевской Руси от Рюрика до крещения Владимира Святославича. Татищев начинал историю России с призвания Рюрика и образования государства, Степенная книга — с Владимира Святославича, первого христианского князя. Щербатов дал оба рубежа и оставил два счета княжений; со смертью Федора Ивановича, отмечает он, «пресекся корень великого князя Владимира, который еще прежде его, считая от вел. князя Рюрика, в течение 736 лет сидел на Российском престоле».

Книга третья возвращает нас к общей схеме истории русского «единовластительства». Книга заканчивается разделением русских земель между сыновьями Ярослава. Начало нового периода с 1054 г., заимствованное Щербатовым у Ломоносова, в дальнейшем надолго упрочилось в русской исторической литературе. Книга четвертая особо выделила Владимира Мономаха; вслед за схемой Степенной книги ему принадлежит особое место в истории русского самодержавия, и автор рассказывает о получении царских регалий из Византии.

Конец пятой книги снова возвращает нас к схеме Степенной книги. Юрием Долгоруким заканчивается целый период русской истории — Киевская Русь; автор подводит этому периоду определенный итог в специальной главе, посвященной политическому строю, законам и просвещению в Киевской Руси, здесь же дает и свое объяснение «лествичного восхождения». «Кончина вел. князя Георгия великие премены в России приключила, и так можно сказать совсем ей новый вид дала», — указывает Щербатов в начале шестой книги. Новый период начинается с Андрея Боголюбского, т. е. с перенесения столицы из Киева во Владимир. Он доходит до татарского нашествия:

«От покорения России татарами» начинается новый крупный раздел русской истории, которому отвечает и более крупное деление «Истории Российской»: с него начинается новый, III том (седьмая книга). Борьба с татарами и восстановление самодержавия становятся двойной темой нового периода. Внутри этого периода переход от III к IV тому выделил в качестве особого момента великое княжение Дмитрия Донского, т. е. первую победу Руси над татарами. Но внутри этого основного деления сохранилось и деление Степенной книги по столицам. Восьмая книга начинается «От пренесения престола великого княжения в Москву»: «Москва час от часу более стала увеличиваться, даже как наконец главою России учинилася» [1],— так определяет автор ее тему.

В новом, видоизмененном варианте выступает у Щербатова тема восстановления самодержавия. В отличие от схемы Татищева новый период начинается не с Ивана III, а с Ивана IV, и с Ивана IV начинается новый, пятый том его «Истории». Лишь

[1] *Щербатов*, История Российская, т. III, стр. 331.

в конце десятой книги, которой заканчивается княжение Ивана III, в заключительной характеристике этого князя звучат отголоски первоначальной схемы: Щербатов говорит, что Иван III «был великий государь» и «первый положил основание величеству России»[1]. Но только Василий III, по его мнению, действительно завершил предыдущий период: «Сей государь, освободясь уже от ига татарского в последние годы своего царствования, начал царем Российским писаться»[2].

С Ивана IV начинается «царский период» русской истории. В V томе Щербатов соответственно излагает историю венчания, как восстановление древнего единодержавия: «великий князь изъяснил, каким образом праотец его вел. кн. Владимир Мономах получил в дар от греческого императора царские украшения, коими и венчан был, не оставя притом показать, каких ради причин обряд сей был долгое время отменен, и что ныне, видя Россию возрастающую в силе и благополучии, он имеет намерение для чести России оный возобновить, прося митрополита, да приложит свои старания о соискании древнего обряда, по коему намерен исполнить». Эпоха Ивана IV выделялась как особый этап в дальнейшем в исторической литературе XIX в.

Царствование Ивана IV разделено Щербатовым на две половины, составляющие самостоятельные части V тома (ч. 1 и ч. 2); это — период Избранной Рады и период опричнины. И это деление надолго определит в историографии трактовку Ивана IV, повторяясь и у Карамзина, и у Погодина, и позже у Иловайского, и многих других.

Дальнейшее деление проще. V томом закончилось изложение истории царствования Ивана IV; VI томом закончилась история династии Рюриковичей; VII том — «от кончины царя Федора Иоанновича до избрания царя Михаила Федоровича, дому Романовых» — должен был охватить весь период так называемой «смуты». Как указано, он не был закончен.

Лишенная полного единства во всех своих частях, щербатовская схема тем не менее в своей конкретной периодизации оказала определенное влияние на последующих историков; ряд исторических дат, «эпох», впервые введен в изложение русской истории именно Щербатовым.

Политическая идеология в «Истории» Щербатова

Политическая идеология Щербатова исходила из союза самодержавия и дворянства; это и определяло его отношение к отдельным эпохам русской истории. Он видит их единство в начальной истории московского княжения и внимательно прослеживает историю политического роста Москвы. В истории великого князя Дмитрия Донского он с удовлетворе-

[1] *Щербатов*, История Российская, т. IV, ч. 2 (кн. X), стр. 367.
[2] Там же, стр. 542.

нием отмечает как большие внешнеполитические успехи, так и единение князя с боярством.

Особое место принадлежит в «Истории» Щербатова изложению царствования Ивана IV. Первоначальным политическим успехам — восстановлению самодержавия — противостоял конфликт с боярством, опричнина и казни Грозного. Это историческое противоречие получило свое внешнее разрешение в разделении истории царствования Грозного на два периода. Здесь Щербатов столкнулся с острой проблемой современности, так ярко отраженной в его публицистике, доказывавшей историческую роль крупного боярства, обосновывая его социально-политические права не на узурпации или царском пожаловании, а на личных заслугах и пролитой крови. Отзвуки современной полемики в этом конфликте царя с боярством вынуждали Щербатова к осторожности. Отсюда известная недоговоренность в самом изложении вопроса: ведь и свою полемику против Екатерины II автор опубликовать воздержался. Поэтому автор дает внешнее и, казалось бы, далекое от этой жгучей политической темы определение раздела — «от покорения Астрахани до начала завоевания царства Сибирского»; даже самый термин опричнина отсутствует в изложении и глухо говорится о казнях боярских; изложение перенесено целиком в сферу внешней политики. Но в заключительной характеристике Ивана IV тема внезапно получает свое полное раскрытие: в первый период Иван IV окружен добрыми советниками и царствует мудро, умеряя свои страсти, а во второй период, поддавшись своим страстям и погубив своих советников, он привел государство к разорению. Отсюда и его оговорки: «Несть прилично истории писателю собирать все слухи охулительные, которые о государях разглашают»[1]; он даже говорит о пристрастии и злобе Курбского на Ивана IV. Но об опальных боярах Щербатов говорит не иначе, как «сии святые мужи», Вассиана Патрикеева и Максима Грека называет мудрыми и богобоязненными, сетует о вынужденном побеге Курбского в Литву и т. д. Словом, сила Грозного — в совете боярском, разрыв с боярством и нарушение их прав — вина Грозного и причина московского разорения. Эта тема позже была развернута Карамзиным.

Крестьянская война под руководством Пугачева, остро воспринятая Щербатовым и отразившаяся уже в 70-е годы в его публицистике, определила его трактовку другой исторической темы — крестьянской войны и интервенции начала XVII в. Может быть, именно отсюда сравнительно острое восприятие Щербатовым социального значения событий так называемой «смуты». «Можно сказать, — пишет Щербатов, — что духом возмущения и буйства весь народ российский так был заражен, что каждый особливо искал токмо случая новые неустройства и смущения

[1] *Щербатов*, История Российская, т. V, ч. 1, стр. 215.

соделывать»[1]. Он как будто близко подходит к определению социальной причины, останавливаясь на вопросе крестьянского закрепощения. Но при этом в закрепощении крестьян он видит причину не крестьянских волнений: представитель крупного крепостнического дворянства, Щербатов считает, что закрепощение было не только в интересах помещиков, но и в интересах крестьян, что крестьянам стало лучше, когда они были прикреплены к земле и получили хорошего, заботливого хозяина-вотчинника. Согласно Щербатову, это прикрепление вызвало недовольство не у крестьян, а у мелкого служилого люда; мелкий служилый человек, с которым ведет борьбу Щербатов в своей публицистике и в котором он видит непосредственного конкурента родовитой знати, оказывается, по Щербатову, главным и фактическим виновником смуты начала XVII в. По Щербатову, мелкий служилый люд вел борьбу и создавал смуту потому, что он лишился возможности легко и дешево приобретать крестьянскую рабочую силу путем своза и утаивания беглых. В трактовке этих событий резко сказывается определенная политическая тенденция Щербатова.

Все эти вопросы еще раз встали со всей остротой перед Щербатовым на последнем крупном этапе русской истории, связанном с деятельностью Петра I. «История Российская» Щербатова не дошла до этого периода, но эти проблемы нашли широкое отражение в его публицистике и в многочисленных публикациях документов Петровской эпохи. В общей трактовке Петровской эпохи Щербатов отражает своеобразную эволюцию дворянской историографии.

Для Татищева Петровская эпоха отражала только политические успехи России и вместе с тем политические успехи русского дворянства. Ко времени Щербатова в развитии внутренних сил, послуживших основой самих Петровских реформ, все больше выявлялись внутренние противоречия. Неспособный разобраться в истинных причинах, в природе совершавшегося на его глазах исторического процесса, идеолог дворянства готов был видеть причину этих явлений в политике правительства. Так, у Щербатова появляются два перекрещивающихся мотива в его отношении к Петру I. С одной стороны, для него еще сохранилось обаяние славы Петровских дел, успехов, достигнутых при нем Россией. В «Рассмотрении о пороках и самовластии Петра Великого» (1782) он даже сделал расчет, по которому политика Петра на 200 лет ускорила историческое развитие России. Но, с другой стороны, от Петра I и его реформы идет разрыв с исторической традицией, введение новых порядков, «повреждение нравов в России»; прежде всего от Петра I идет падение роли знатных боярских родов и выдвижение новой служилой знати, того служилого лю-

[1] *Щербатов*, История Российская, т. VII, ч. 3, стр. 148.

да, который в начале XVII в. создал «смуту» и сейчас, при Екатерине II, захватил в свои руки власть, оттеснив старую знать и в том числе самого автора. В конце жизни Щербатова критическая тема усиливается; она особенно остро звучит в «Путешествии в землю Офирскую» и в «Прошении Москвы о забвении ее» (1788—1789). Эта двойственность окончательно исчезла у Карамзина, в котором дворянская историография завершила свою эволюцию.

Полемика с Болтиным. Значение Щербатова

«История Российская» Щербатова не получила признания у современников. Громоздкая и тяжеловесная, она, как и «История Российская» Татищева, была недоступна для широкого круга читателей. Скучной считала ее Екатерина II, к тому же малоблагосклонная к ее автору. С резкой критикой Щербатова выступил человек, непосредственно принадлежавший к кружку любителей русской истории, создавшемуся около Екатерины II, Иван Болтин. Последователь Татищева, внимательно искавший древние исторические памятники, тщательно разбиравшийся в тех специальных отраслях знания, изучения которых требовали от историка и Татищев и Миллер, он последовательно отмечал все фактические ошибки Щербатова. С другой стороны, усвоив более широкий философский взгляд на историю от новейших французских писателей, он не удовлетворялся прагматизмом Щербатова, а искал более широких обобщений.

В 1788 г. вышли «Примечания» Болтина на «Историю России» французского писателя Леклерка и, поскольку последний пользовался материалами Щербатова, критике подвергся и он. Ответом на эту критику явилось «Письмо кн. Щербатова, сочинителя российской истории к одному его приятелю в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его истории от г-на ген.-майора Болтина», напечатанное в Москве в 1789 г. Болтин не замедлил напечатать в том же 1789 г. «Ответ ген.-майора Болтина на письмо кн. Щербатова», за которым последовало «Уведомление» к читателю в очередном томе «Истории Российской» (т. V, ч. 4). Итогом этой полемики явились «Критические примечания» Болтина на первые два тома «Истории Российской» Щербатова. Когда они были напечатаны (1793 и 1794 гг.), ни Щербатова, ни Болтина уже не было в живых.

Щербатов многие замечания своего противника принял; в отдельных случаях вступил в полемику, показавшую и начитанность и приобретенные автором научные навыки. В этой полемике Щербатов попытался дать и некоторую самооценку собственному труду. «Украшена она справедливостью, точным последованием летописцев и редчайших писем из архивов, повсюду видимым беспристрастием и довольною смелостью; а по самому сему естьли кто после меня вздумает Российскую историю писать, то уповаю... во многих случаях История моя ему будет вспомоще-

ствовать для сочинения изящнейшего труда и для сыскания нужных припасов»[1].

Прямым подтверждением этих слов Щербатова явилась примерно через 30 лет «История государства Российского» Карамзина.

Может быть, неблагодарный, невыигрышный по своим внешним качествам, но большой и упорный труд Щербатова, собравшего воедино огромные «припасы» исторических знаний о России и связавшего их в одно целое, был, однако, серьезной и необходимой ступенью в формировании исторической науки в России. Его значение еще более сознавалось писателями начала XIX в. Соловьев указывал, что «Истории Щербатова принадлежит почетное место в нашей исторической литературе». Хотя, продолжает Соловьев, «собственный ход русской истории остается для него тайною; но... он останавливается на явлении, думает над ним, старается объяснить его, а известно, какую услугу науке оказывает тот, кто первый обращает внимание на известное явление, первый начинает объяснять его, хотя бы его объяснения были и неудовлетворительны»[2]. Если Щербатов еще не может быть признан ученым, то он уже «предчувствует в истории науку», и этим значительно превосходит своих предшественников и современников.

ГЛАВА 8

БОЛТИН

Основные сочинения Болтина: Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным, т. I—II (б. м.), 1788.— Критические примечания генерал-майора Болтина на первый том Истории князя Щербатова, Спб. 1793. — Критические примечания генерал-майора Болтина на вторый том Истории князя Щербатова,Спб. 1794. — Ответ генерал-майора Болтина на письмо кн. Щербатова, сочинителя Российской Истории, Спб. 1789.—Правда Русская или законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха. С прелож. древнего оных наречия и слога на употребительные ныне и с объяснением слов и названий, из употребления вышедших. Изданы любителями отечественной истории, Спб. 1792; то же, 1799.

Основная историографическая литература: *Соловьев, С. М.*, Писатели русской истории XVIII в.; в Собр. соч., изд. «Обществ. польза», Спб. (б. г.). — *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, т. I, Спб. 1897, гл. II, Историки XVIII столетия. Русские историки XVIII столетия. Щербатов и Болтин, стр. 27—53. — *Ключевский, В. О.*, И. Н. Болтин (ум. 6 октября 1792 г.); в кн.: *Ключевский, В. О.*, Очерки и речи. Второй сборник статей, М. 1913, стр. 163—198.—

[1] «Письмо кн. Щербатова, Сочинителя Российской истории к одному его приятелю», Университетская типография, М. 1789, стр. 141—142.

[2] *Соловьев*, Собр. соч., ст. 1360—1361.

Болтин, И. Н., «Русский биографический словарь», т. III, «Бетанкур — Бякстер», Спб. 1908, стр. 186—204 (ст. Иконникова, В.). — *Пыпин, А. Н.*, Русская наука и национальный вопрос в XVIII в., «Вестник Европы», т. III, 1884.

Формирование исторических взглядов Болтина

Иван Никитич Болтин (1735—1792) в полном смысле слова современник Щербатова; всего на два года расходятся даты их жизни. Много общего и в условиях их научной подготовки: оба пришли к науке от политической деятельности, оба принадлежали к наиболее просвещенным людям своего времени, стоявшим на уровне современной европейской науки. Но между ними была и значительная разница.

Щербатов — политический деятель и публицист. Болтин — работник-практик, из самой своей практической работы черпавший те конкретные практические знания, которые характеризуют впоследствии и его научные занятия, всегда связанные с внимательным отношением ко всякому конкретному частному явлению и факту. Практическая работа подготовила его к занятию русской историей прежде всего прекрасным знанием страны. В качестве начальника Васильковской таможни Болтин 10 лет провел на Украине и в постоянных разъездах хорошо ознакомился с той территорией, на которой развернулись основные события нашей начальной истории. Позже, будучи прикомандирован к Потемкину, он побывал в Степной Украине (так называемой Новороссии) и в Крыму. «Родясь и большую часть века прожив в России, — пишет сам Болтин в своих «Примечаниях» на первый том «Истории» Щербатова, — почти ни одной провинции не оставил, в которой бы я не был... я в редкой области не бывал. В Малороссии прожил без мала десять лет... а во всех тех местах, где живут татары, неоднократно бывал, и о их нравах, обычаях, образе жития достаточно сведом»[1]. Здесь, на практической работе, сложились его знания и интерес к вопросам исторической географии и этнографии, которым он придает такое же большое значение, как в свое время Татищев.

В дальнейшей работе в Петербурге он сблизился с кружком любителей русской истории, подобно другим его членам занимался собиранием старых рукописей, благодаря близости с графом Мусиным-Пушкиным имел возможность пользоваться его обширной и ценной коллекцией. Он скоро приобрел значительный авторитет в своем кругу как знаток русской истории. К нему обращалась за историческими консультациями и Екатерина II.

Немногие уцелевшие свидетельства и рукописи (бо́льшая часть погибла в библиотеке Мусина-Пушкина) говорят о дли-

[1] *Болтин*, Примечания на... Щербатова, т. I, стр. 160—168, т. II, стр. 409—415.

тельной и систематической работе. Но к оформлению своих знаний, к подведению известных итогов проделанной работы и передуманным мыслям он подошел лишь в конце своей жизни, в 1788 г., выведенный из своего длительного молчания невежественной книгой о России французского писателя Леклерка[1].

Развернувшаяся по этому поводу полемика с Щербатовым явилась источником его второй большой работы.

Болтин выступил уже зрелым историком, со сложившимися в целостную систему взглядами. Сказалось, несомненно, и то, что между первыми литературными выступлениями Щербатова и «Примечаниями» Болтина прошло свыше 20 лет. За это время вышли четыре тома «Российской истории» Татищева, и Болтин выступает во многих отношениях его продолжателем. У Татищева нашел он подкрепление своим интересам к исторической географии и этнографии; вслед за ним занялся он составлением историко-географического словаря, сохранившегося в рукописи, доведенной до слова «Скови»; вслед за ним подбирал он и словарный материал для решения этногенетических вопросов. В решении исторических вопросов, особенно в «Примечаниях» на Леклерка, Болтин примыкает к Татищеву, и там, где у Татищева есть определенный, законченный вывод, он часто непосредственно следует за ним и воспроизводит его высказывания. За Болтиным была уже и работа самого Щербатова и с ее обильным фактическим материалом и с ее ошибками, был и ряд документальных публикаций, начиная с «Древней Российской Вивлиофики». Наконец, в 1768 г. вышла первая крупная работа Шлецера «Probe russischer Annalen» — первый набросок к его «Нестору». Конкретная материальная база ко времени выступления Болтина успела значительно расшириться.

Подобно Щербатову, Болтин обнаруживает прекрасное знакомство с западноевропейской литературой и прежде всего с западноевропейской исторической литературой. В его «Примечаниях» сказывается знание всеобщей истории в целом ряде обстоятельных экскурсов, посвященных истории западноевропейских государств для сравнения их с русской историей (можно указать для примера на яркий очерк истории папства). Но и здесь наряду со сходством снова бросается в глаза глубокое различие между ним и Щербатовым. Щербатов в этой исторической литературе ищет только дополнительные сведения о России, ее дипломатии и войнах, или частные аналогии и объяснения фактов. Болтина интересует осмысление внутреннего развития европейских народов, его интересует прежде всего общая проблема развития исторического процесса.

Если Щербатов был последователем Юма, то Болтин больше опирается непосредственно на французских просветителей —

[1] *Leclerc*, Histoire physique, morale et politique de la Russie ancienne et moderne, 6 vv., Paris 1783—1794.

на Монтескье, Вольтера, Рейналя; он представляет в России «философскую историю». Его излюбленный образец, к примеру и к авторитету которого он неоднократно возвращается, ссылкой на которого он подкрепляет свои высказывания, — «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations» Вольтера. Отсюда и его новый подход к фактам: требование их научного отбора, подчинения общей концепции. Отсюда и принцип сравнительно-исторического изучения жизни народов и первая в России попытка определить внутреннюю закономерность, общие законы исторического развития. Увлекшись занятиями историей, Болтин ведет серьезную работу, делает многочисленные выписки, систематизирует для себя материал, постепенно становится специалистом. Но историком-профессионалом, каким в конечном счете сделался Щербатов, Болтин так и не сделался. Он работал для себя, исторические занятия сохраняли личный интерес, играли в какой-то мере дополнительную роль по отношению к его служебной работе. Это сказалось и на характере его работ, на их содержании и структуре.

Постановка вопросов истории у Болтина

«Остается поблагодарить «дерзкого клеветника и сущего враля», как не совсем учтиво величает сердитый генерал-майор своего противника (Леклерка. — *Н. Р.*), — пишет Ключевский. — Своею легкомысленною болтовней заносный историограф заставил туземного знатока выйти из его любительского молчания и выступить с готовым цельным и стройным взглядом на прошедшее и настоящее России... Но этому взгляду, по самому характеру своего труда, критик не мог придать цельного изложения, высказывал его по частям, осколками, когда разбираемая книга давала к тому повод. Только собирая и склеивая эти разбросанные в разных местах осколки, можно восстановить цельность и стройность исторических воззрений Болтина, впрочем, со значительными недомолвками и пробелами, которые можно восполнить только догадками»[1].

Болтин не дает своего последовательного, систематического рассказа общей истории России, чтобы противопоставить его Леклерку или Щербатову. Он пишет как бы замечания на полях читаемой книги. Беря то или иное положение критикуемого историка, он начинает разбирать его и уже в связи с этим излагает свой взгляд на вопрос и дает анализ источников.

В то же время Болтин попытался дать общую концепцию русской истории, и в этом его неоспоримая заслуга. Но эта концепция не была реализована им в последовательном конкретном изложении русской истории, он не дал такой фактической «Истории России», как Щербатов, и в этом его слабая сторона, придающая

[1] *Ключевский*, Очерки и речи, стр. 170; то же, Курс русской истории, т. V, стр. 466.

неизбежно абстрактный, в какой-то мере социологический характер его построениям, так же как и историческим работам Вольтера, которому он следовал. Однако, не дав конкретной истории в едином повествовании, он отнюдь не пренебрегает фактами и их конкретным изучением. Но и в этом конкретном материале нельзя видеть ни полного превосходства над Щербатовым, ошибки которого он неоднократно подвергает уничтожающей критике, ни полностью пренебрегать его критикой, даже когда оказывается, что в ряде положений истина на стороне Щербатова. Время, когда писал Болтин, обусловило и сильные и слабые стороны его взглядов, подлежащие рассмотрению в их взаимной связи.

Болтин широко понимал задачи и обязанности историка и неоднократно определял их во всей их сложной многосторонности. «Весьма те ошибаются, — писал он в «Примечаниях» на Леклерка, — кои думают, что всякий тот, кто по случаю мог достать несколько древних летописей и собрать довольное количество исторических припасов, может зделаться историком; многого еще ему недостает, если кроме сих ничего не имеет. Припасы необходимы, но необходимо также и уменье располагать онымы, которое вкупе с ними не приобретается» [1].

Вопросы подготовки историка

«Приуготовление к истории не менее есть важно и трудно, сколь и самое ее сочинение», — замечал Болтин Щербатову, указывая на пример Татищева [2]. «Всякую историю вновь зделать, а особливо зделать хорошо, очень трудно, и едва ли возможно одному человеку, сколь бы век его ни был долог, достичь до исполнения намерения такового при всех дарованиях и способностях, к тому потребных. Ибо прежде нежели начато будет здание истории, надлежит потребные к тому припасы приискать, разобрать, очистить, образовать, а для сего требуется несравненно более трудов и времени, нежели на совершение целого здания» [3].

Ссылаясь при этом на авторитет Шлецера — «сочинителя предисловия к Несторовой летописи» [4], он формулирует основные требования к историку в этой части:

1. Сличение списков и очищение текста летописи.

2. Объяснение летописи, т. е. истолкование терминов, слов, вышедших из употребления.

3. «Собрание известий, относительных до географии; ибо история с географией столь тесно связаны, что не зная одной, писать о другой никак не можно».

4. Собирание исчерпывающих свидетельств для сличения и дополнения свидетельств своих источников [5].

---

[1] *Болтин*, Примечания на... Леклерка, т. I, стр. 268.
[2] *Болтин*, Примечания на... Щербатова, т. I, стр. 17—18.
[3] Там же, стр. 16.
[4] Очевидно, имеется в виду «Probe russischer Annalen».
[5] *Болтин*, Примечания на... Щербатова, т. I, стр. 16—17.

Болтин, таким образом, стоит в этом вопросе на уровне передовых идей своего времени, пожалуй даже первый формулирует их для русского читателя, который со взглядами Шлецера познакомился лишь 20 лет спустя, с выходом русского перевода его «Нестора». В постановке этих конкретных, практических вопросов исторической работы, может быть, всего полнее выявляются как сильные, так и слабые стороны исторического мышления Болтина.

Источник и его критика

Подобно своим современникам, Болтин, как указано, очень тщательно подходит к самому собиранию древних памятников и сообщает о старинных рукописях своего собственного собрания. Он выступает и как издатель текстов. Ему принадлежит первое издание пространной редакции Русской Правды с переводом и комментарием (1792)[1]. Иконников склонен принять его участие и в первом издании «Поучения Владимира Мономаха».

Болтин подвергал также сравнительной оценке источники и первый показал недостоверность польских хроник, широко использовавшихся его современником Щербатовым. Правда, Щербатов был прав, возражая против попытки Болтина доказать бóльшую древность и доброкачественность Никоновского свода и предпочтительное использование его перед другими летописными текстами. Прав был Щербатов и в вопросе об Иоакимовской летописи, существование которой Болтин отстаивал вслед за Татищевым. Но существо вопроса — в той новой и более широкой его постановке, которую дает Болтин. Для Болтина вопрос об Иоакимовской летописи связан с утверждением большой древности всего русского летописания, равно русской письменности, и с предположением о существовании предшественников у Нестора. Эта новая и смелая мысль, которая проникает в литературу в XIX в. (Шлецер говорит еще только об «очищенном Несторе»), — результат нового метода в работе Болтина, метода текстологического изучения. Милюков подчеркивает, что Болтин в ряде случаев располагал меньшим количеством источников, чем Щербатов, а поэтому его выводы оказывались менее обоснованными, но при этом он упускает основную принципиальную сторону подхода к материалу у Болтина: самый принцип пользования источниками у Болтина, несомненно, выше в теоретической своей установке, чем у Щербатова.

Можно взять тот же пример, который берет Милюков: это — вопрос о деятельности епископа Ефрема в Переяславском княжестве. Болтин нападает на Щербатова за то, что он назвал Ефрема митрополитом, а не епископом, доказывая, что митрополит появляется в Киеве, и то не сразу, а на местах были епископы. Милюков на основании позднейшей литературы хочет оправдать

[1] Первое издание самого текста принадлежит Крестинину.

Щербатова, признавая, что Переяславль одно время был митрополией и Ефрем носил титул митрополита. Но дело не в этом частном выводе, а в том, как подошел Болтин к рассмотрению вопроса. Он прежде всего сличает летописи, чтобы установить расхождение летописных свидетельств; затем он старается установить, какой летописный текст надо признать более древним. Но отсюда он переходит уже к совершенно новой и принципиально важнейшей задаче: он хочет проверить, как образовалась данная летописная редакция, пытается показать, как в процессе переписки должны были появиться искажения первоначального текста. Усмотрев противоречие в том, что Ефрему Переяславскому приписывается строительство городских стен, он приводит другой летописный текст, где указывается, что Ефрем занимался строительством церквей. Он приходит к выводу, что благодаря выпадению нескольких промежуточных слов из текста получилось сообщение об его участии в городском строительстве, которое в круг церковной деятельности входить не могло[1]. Здесь дан уже опыт конкретного приложения к тексту летописи метода текстологического изучения источника, — метода, который в дальнейшем развернул Шлецер. И этот принцип мы впервые встречаем у Болтина, дающего, несомненно, интересное и новое в этом вопросе.

Историческая география

Второй вопрос — подготовка географического материала, историко-географическое изучение источника. Эту работу начал Татищев, ее продолжил применительно к Сибири Миллер. Болтин не только развил ее дальше, но и дал ей широкую принципиальную установку. Мы видели выше, как остро и едко критиковал он в этом отношении Щербатова: «При всяком, так сказать, шаге историка, не имеющего в руках географии, встречается претыкание»[2]. Принцип систематического восстановления всей обстановки, чтобы можно было отчетливо понять военные события, передвижение князей, место расположения сторон, пунктов, упоминаемых в летописи, последовательно проводится Болтиным и дается со всей возможной конкретностью. И в этом вопросе он также может допустить очень грубую ошибку за недостатком материала, он делает иногда бóльшие ошибки, чем сделал Щербатов, как в упоминавшемся вопросе о Тмутаракани. Но если взять «Примечания» на Леклерка и Щербатова, то в этих четырех томах, приведя их в систему, можно получить полный обзор исторической географии Начальной русской летописи, данный в виде законченной системы только в 60-х годах XIX в. в работе Барсова. Но к тому времени историческая география существовала уже как самостоя-

[1] *Болтин*, Критические примечания на II том Истории кн. Щербатова, Спб. 1794, стр. 43—55; *Милюков*, Главные течения русской исторической мысли, М. 1898, стр. 65—66.

[2] *Болтин*, Критические примечания на II том Истории кн. Щербатова, Спб. 1794, стр. 20.

тельная дисциплина и имела таких представителей, как Надеждин, Замысловский, Неволин и др.

Проблемы этнографии и этногенеза

В плане той же подготовительной работы Болтин вслед за Татищевым и Миллером выдвигает вопрос об этнографическом изучении народов как пути к восстановлению их первоначальной истории. При этом положению Щербатова, который занялся русской историей, чтобы понять современную Россию, Болтин противопоставлял обратное положение: надо знать ту страну и тот народ, о котором пишешь, чтобы понять его историю. И знание народов, связи между ними, их истории выделяется Болтиным как специальный вопрос.

Подобно Татищеву и Миллеру, он тоже исходит при этом из сравнительного изучения языка и народного быта. Он продолжает собирание языкового материала. Конкретные выводы Болтина и в этом вопросе часто очень слабы. Подобно Щербатову и другим современникам, Болтин в этой сложной проблеме этногенеза, в выведении современных народов, населяющих Россию, от древних народов, за отсутствием настоящего научного фундамента много путает и в конце концов заявляет, что реальную историю надо начинать с образования государства, т. е. с Рюрика. По острому замечанию Ключевского, Болтин «поступил с этим этнографическим столпотворением больше по-военному, чем по-ученому. Он разделил эти народы на 4 дивизии, на скифов — татар, гуннов — калмыков, сарматов — финнов и славян, и между ними распределил прочие племена сомнительного происхождения: литву, ятвягов и самих варягов поверстал в сарматы, киргизов зачислил в скифы, даже хазар нашел возможным произвести в славян. Только перед русскими он остановился было в раздумье, но потом и их откомандировал к кимрам, т. е. к тем же сарматам»[1]. Так сложилась, может быть, одна из самых фантастических гипотез XVIII в. о происхождении славян и руси. Болтин считает руссов древнейшим населением Восточно-европейской равнины, исконным населением Новгородской области. Славян он считает позднейшими завоевателями, которые, завоевав руссов, смешались с ними. Поэтому и русский древний язык не походил на славянский язык, говорит Болтин, пытаясь объяснить свидетельство Константина Багрянородного, и нагромождает за этим целый ряд таких же произвольных и недоказанных гипотез[2].

Но и это лишь дань, которую Болтин платит современности, и это не дает права игнорировать другие сильные стороны его воззрений также по этому вопросу. Болтин проводит дальше, чем Татищев, принцип историзма. Он неизменно подчеркивает, что все развитие совершается исторически, складывается посте-

---

[1] *Ключевский*, Очерки и речи, 1918, стр. 188.
[2] *Болтин*, Примечания на... Щербатова, т. I, стр. 5—12.

пенно, и теоретически всегда возражает против упрощенного отождествления отдельных народов. Так, указывает Болтин, совершенно неверно задавать вопрос, говорили ли древние руссы на славянском языке. Отношение руссов к современному русскому народу такое же, как отношение галлов к современным французам. Было бы дико спрашивать, говорили ли галлы на французском языке, так как всякий современный язык фактически представляет смешение нескольких языков в результате прямого смешения или языковых и этнических влияний соседних народов; язык проходит длительную эволюцию, такие исторические изменения, которые надо проследить на конкретном материале и которые исключают простое отождествление начального и конечного этапов: «языки, так же как и народы, создаются веками». Правда, практика оказалась не увязанной с теорией. И здесь, как и в других вопросах, у Болтина элементы старого встречались и сталкивались с началами новой науки.

Понимание исторического процесса

Но основное у Болтина — это постановка вопроса исторического развития, характер понимания исторического процесса.

Здесь прежде всего коренное изменение отношения к историческому факту: впервые исторический факт теряет свое самодовлеющее значение. Согласно Болтину, дело не в том, чтобы приводить все, какие ни на есть, исторические детали, все конкретные сведения, которые имеются в источниках, — не в этом задача историка. «В числе прочих способностей, для историка нужных, и сия не из последних есть, чтоб уметь делать разбор веществам и дабы не отметать и не пропущать нужных и не вводить в состав исторический ненужных, посторонних, непотребных»[1].

Болтин подчеркивает, что история — не летопись, и поэтому историк не должен просто регистрировать факты. «Не все то пристойно для истории, что прилично для летописи, и не все то нужно ведать в настоящем веке, о чем Нестор уведомляет своих современных»[2]. «История не имеет... нужды в таких мелочах, кои в летописях были помещены»[3], — повторяет он снова в другом месте.

Историк должен установить, какие факты важны и существенны с точки зрения общего понимания развития исторического процесса. Болтин выдвигает впервые задачу подчинения конкретного фактического материала целостной исторической концепции, пониманию исторического процесса в целом. Он в данном случае возражает Щербатову и Леклерку с тех же позиций, с которых Вольтер возражал нападавшим на его «Историю Петра Великого» и «Опыт о нравах».

[1] *Болтин*, Примечания на... Щербатова, т. II, стр. 36.
[2] *Болтин*, Примечания на... Щербатова, т. I, стр. 308—309.
[3] *Болтин*, Примечания на... Щербатова, т. II, стр. 296.

Правда, в каждом конкретном решении отдельного вопроса он следует тому же рационалистическому принципу. Он выдвигает утверждение, что во все эпохи люди движимы одинаковыми мотивами и одинаково действуют. «Повсюду, — пишет Болтин, — человеки были и ныне суть во всем один другому подобны, кроме некоторых легких черт, составляющих особенность образования в их характере»[1]. В силу того же рационалистического обобщения Болтин заявляет, что «все государства начались правлением монархическим или самодержавным, которое есть естественнейшее и удобнейшее из всех других правлений, а особливо для государств новых и тесные пределы имеющих»[2]. Конечной основой для исторических заключений остается «здравый смысл» — «здравый рассудок», по терминологии Болтина.

Но хотя и на основе этой рационалистической трактовки, Болтин впервые пытается вскрыть внутреннюю закономерность исторического процесса.

Для Щербатова и всех прагматических историков предшествующего периода причинность понималась в смысле индивидуальной причинности, в основу клалось действие отдельного лица. Болтин ищет общую причину, общую закономерность, от которой зависит исторический процесс в его целом: «Союз деяний и произшествий, причины и их следствия ведать нужно»[3].

Разрешение этого единства современная Болтину наука искала в государстве и его истории.

Рационалистическая философия XVIII в., идя в сущности от Локка, выдвигала творческую роль государства, определяющее влияние его законов, формирующих человеческое общество и воспитывающих человека. Жизнь общества определялась государственным устройством; последнее превращалось в действующую силу истории. Неслучайно «век просвещения» был и веком просвещенного абсолютизма. Но этому противостояла уже другая концепция, возрождавшая учение французского государствоведа XVI в. Жана Бодена, развившего в своей книге «Метод легкого изучения истории» теорию об определяющем влиянии географических условий на развитие общества. Эту теорию в XVIII в. развили дальше французские материалисты, а в середине XIX в. развернул в Англии Бокль. Географическую теорию принимает и Болтин. Он говорит, что природа влияет на флору страны, на животный мир, который должен к ней применяться, влияет и на людей, населяющих эту страну. Поэтому должен был по-иному стать и вопрос об отношении общества к государству.

Общество, получив твердую и независимую базу для своего существования и развития, должно было само подчинить себе развитие государства. И Болтин уже говорит, что не законы форми-

[1] *Болтин*, Примечания на... Леклерка, т. II, § I, 1788.
[2] *Болтин*, Примечания на... Щербатова, т. I, § I, стр. 3.
[3] Там же, т. II, стр. 375.

руют нравы, а, наоборот, нравы людей определяют те законы, которыми они управляются, что законы устанавливаются применительно к нравам народа, к общественному развитию: «удобнее законы сообразить нравам, нежели нравы законам; последнего без насилия сделать не можно»[1].

Эта мысль Болтина есть уже в известной мере выход за рамки рационалистической концепции. Она стоит на пороге новой эпохи XIX в. И опору этому своему утверждению Болтин ищет прежде всего в сравнительно-историческом изучении народной жизни.

Ключевский, говоря о Болтине, указал, что затронутое чувство национальной гордости породило его полемику с Леклерком и уподобил ее детской перебранке, «когда один маленький забияка угостит другого известным словом, на которое, по словам Гоголя, так щедр русский человек, а обиженный ответит ему: ты сам такой же»[2].

Но если момент национальной гордости и играл тут известную роль, то результат получился далеко выходящий за рамки простой перебранки. Дело было в том, чтобы научно осмыслить, действительно ли мы жили и развивались не так, как другие народы. В результате получился новый серьезный вывод исторической концепции Болтина: все народы развиваются по одним и тем же законам.

Периодизация русской истории. Проблема феодализма в России

«Правила природы повсюду суть единообразны». «Во всех временах и во всех местах человеки, находяся в одинаких обстоятельствах, имели одинакие нравы...»[3] Отсюда открывалось и параллельное рассмотрение внутреннего развития народной жизни в последовательных этапах ее развития. «Прочтите первобытные веки всех царств и всех республик, найдете во всех нравы, поведения и деяния их сходными»[4]. Автор не идеализирует древнюю Русь, как пытались иногда приписывать ему писатели XIX в. Он полемизирует лишь против увлечений и крайностей, против буквального понимания слов летописца: «звериный обычай имяхут». Русские не хуже, но и не лучше других: «Образ жизни, правления, чиностояния, воспитания, судопроизводства тогдашнего века русских таков точно был, каков первобытных германцев, британцев, франков и всех вообще народов при первоначальном их совокуплении в общества»[5].

Продолжая далее линию сравнения исторического развития России и западноевропейских государств, Болтин и дальше обнаруживает то же тожество общественных форм: в удельном раздроблении России он видит не что иное, как западноевропейский фео-

[1] *Болтин*, Примечания на... Леклерка, т. I, стр. 316.
[2] *Ключевский*, Очерки и речи, стр. 181.
[3] *Болтин*, Примечания на... Леклерка, т. II, стр. 423.
[4] Там же, стр. 1.
[5] Там же, стр. 308.

дализм. Последний он понимает как дробление власти, связанной с землевладением, подобно позднейшей юридической интерпретации буржуазной историографии XIX в.

«Итак, народ русский от 865 г. до 1620 г. был наинесчастнейшим из всех народов на земле», — приводит Болтин слова Леклерка и тут же ему отвечает: «Не лучшим жребием благоденствия пользовалися и все вообще европейские народы от завоевания римлян до XIV в.»[1] «Феодальное право, — поясняет он, — не иное что в первоначалии было, как право помещика в деревне своей над его подданными. Fief не другое что было там, что у нас поместье...» Далее, поместье становится вотчиной, а вотчинники «учинилися самовластными и независимыми». «С того времени право феодальное стало быть самовластным, самодержавным, ни от кого не зависимым. При падении рода Карла Великого все государства европейские... управляемы были сим правом, т. е. точно так, как ныне управляется Германия». Это положение закончилось во Франции через пять столетий, при Людовике XI, и примерно тогда же и в Англии. И тут же Болтин еще раз возвращает читателя к России. «Наши древние удельные князья полным феодальным правом пользовались»[2].

Это не случайное сравнение, а продуманная мысль. Он возвращается к ней и в критике Щербатова: «Признание верховной власти великого князя над местными состояло токмо на словах, а не на самом деле, в единой токмо почести названия главою, яко императора Германского над имперскими князьями. История представляет нам бесчисленные примеры малого уважения оных голдовников[3] к своей главе *в правлении феодальном, какое тогда в России существовало в полной силе*»[4].

Это общее сравнение он углубляет уподоблением общественных отношений. В иерархии княжат, боярства и дворян он находит параллель феодальной иерархии, феодальному вассалитету, а в русском крепостном полную параллель виллану, даже единство в понятии —glebae adscripti[5].

Наконец, Болтин отмечает параллелизм и в последнем этапе. Он сближает Ивана IV с Людовиком XI[6], тем самым сообщая новый смысл поворотному значению его царствования, как кладущему конец удельному периоду — феодальной раздробленности. Намечая историю русского дворянства, он видит роль Ивана IV в упразднении удельных князей: «ныне князь и дворянин по рождению считаются равными»[7].

[1] *Болтин*, Примечания на... Леклерка, стр. 291.
[2] Там же, стр. 288—300.
[3] Старинный русский термин, обозначающий вассала.
[4] *Болтин*, Примечания на... Щербатова, т. II, стр. 252—253. (Курсив мой. — *Н. Р.*)
[5] *Болтин*, Примечания на... Леклерка, т. II, стр. 239.
[6] *Болтин*, Примечание на... Леклерка, т. I, стр. 309—310.
[7] *Болтин*, Примечание на... Леклерка, т. II, стр. 439.

По поводу плана истории законодательства в России, набросанного Щербатовым для Леклерка и вкратце воспроизведенного у последнего, Болтин получил возможность еще раз развить свою схему. На этот раз она превратилась в историю Русского государства. Единство древней Руси при первых Рюриковичах привело к созданию единого закона — Русской Правды.

Второй этап определен Болтиным следующими признаками: 1) «разделение государства на многие уделы», 2) смешение с пограничными племенами, 3) «последовавшие потом завоевания татарские». Отсюда произошла «перемена древнего образа жизни, обычаев и поверьев» и «ослабление законов, и расстроение или уничтожение прежнего единообразного управления». Таким же образом, упразднение феодальной раздробленности, свержение татарского ига и восстановление единства народной жизни и государственного управления привели к восстановлению единства законодательства изданием царского Судебника[1].

Значение Болтина в историографии

Так замыкалась на новой основе общая схема истории России. При относительном тожестве периодизации с прежними авторами ее новизна заключается в том, что история государства теперь подчинена истории народа.

Но напрасно Милюков, заостряя отдельные намеки Ключевского, ищет в этом сближение Болтина с славянофилами, перенося в споры XVIII в. позднейшую полемику славянофилов и западников. Концепция Болтина нигде не проводит идеи национальной самобытности и национальной исключительности. Элементы критики крайностей Петровской политики значительно бледнее аналогичных высказываний Щербатова. «Век Екатерины II» для Болтина — время близкого торжества просвещения в России. Не национальная исключительность, а единство исторического развития всех народов лежит в основе его исторических взглядов. Он предваряет не национальную концепцию славянофильства, а идеи органического развития и научной критики XIX в. Эту сторону отметил уже Шлецер в своем «Несторе»: «Ни один еще русский не писал своей отечественной истории с такими познаниями, остротою и вкусом... г. Болтин осмеливается отвергать бредни, бывшие священными для всех его предшественников... он побуждает к сличению летописей, желает, чтобы открыли государственную архиву, и сожалеет, что Миллер был определен к той уже в старости»[2].

Своей философской мыслью, своим научным методом Болтин по праву стоит на рубеже новой эпохи, новой русской исторической науки.

И все же перейти этот рубеж ему не удалось. Синтетические попытки Болтина так же не достигли конечного результата, как

[1] *Болтин*, Примечания на... Леклерка, т. I, § CXX, стр. 313—320.
[2] *Шлецер*, Нестор, т. I, стр. 381.

и такие же попытки его современника и антагониста Щербатова. Последний поднял и собрал большой конкретно-исторический материал, но не сумел подчинить его единой внутренней основе и в конечном счете пошел за материалом. Болтин подошел к пониманию внутренней исторической связи,нащупывал путь, но у него идея внутренней исторической связи осталась все же вне действительного исторического процесса, факты лишь попутно привлекались к освещению отдельных вопросов, они не были связаны внутренним единством.

Может быть, именно поэтому писания Болтина, высоко оцененные крупнейшим историком его времени — Шлецером, остались в сущности без влияния на последующую историографию, даже уступили в этом отношении Щербатову, к которому на первых порах обращались за фактическим материалом. Слова Болтина, что одному человеку еще не по силам создать цельное здание русской истории, оправдались на нем самом. Нужна была дальнейшая работа по подготовке прочного фундамента. И еще раз, как в свое время после Татищева, исторические задачи разделяются. Шлецер и Карамзин на исходе XVIII в. представляют два направления в развитии русской исторической науки на пороге нового этапа — буржуазной исторической науки XIX в.

ГЛАВА 9

ШЛЕЦЕР

Основные сочинения Шлецера: Neuverändertes Russland, oder Leben Catharina d. II aus authentischen Nachrichten beschrieben, 1767.— Probe russischer Annalen, Bremen u. Göttingen 1768. — Geschichte von Russland, T. I, 1768. — Tableau de l'histoire de Russie, 1769. —Allgemeine nordische Geschichte, Halle 1771[1]. — Nestor. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache verglichen, übersetzt und erklärt von Aug.-Ludw. Schlözer, T. 1—4, Göttingen 1802—1805. Русский перевод: Нестор. Русские летописи на древле-славянском языке. Сличенные, переведенные и объясн. А.-Л. Шлецером, ч. 1—3, Спб. 1809—1819, перев. с нем. Д. Языкова. — Общественная и частная жизнь Августа-Людвига Шлецера, им самим описанная, перев. с нем. с примеч. и прилож. В. Кеневича, Спб. 1875.

Основная историографическая литература: *Соловьев, С. М.*, Август-Людвиг Шлецер; в Собр. соч., изд. «Обществ. польза» (б. г.), Спб., ст. 1539—1576. — *Соловьев, С. М.*, Шлецер и анти-историческое направление; в Собр. соч., изд. «Обществ. польза», Спб. (б. г.), ст. 1577—1616. — *Бестужев-Рюмин, К.*, Август-Людвиг Шлецер; в кн.: *Бестужев-Рюмин, К.*, Биографии и характеристики, Спб. 1882, стр. 177—203. — *Иконников, В. С.*, Август-Людвиг Шлецер. Историко-биографический очерк, Киев 1911.— *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, Спб. 1897, гл. 2.III. Историки XVIII столетия. Немецкие исследователи русской истории в XVIII в. Шлецер, стр. 63—73.

[1] Русского перевода указанных работ Шлецера нет.

Биографические сведения. Научная подготовка Шлецера

Неудача Татищева выдвинула Миллера и определила его задачи — расширение документальной базы, мобилизацию источников, которые сделали возможным выступление Щербатова. Работа Щербатова показала, что одних только «припасов» недостаточно, что необходимы научные приемы их использования и изучения, разработка научного метода в источниковедении, основ научной критики источника. Необходимость этого прекрасно сознавал уже Болтин. За разрешение этой задачи взялся Август-Людвиг Шлецер (1735—1809).

Шлецер, Щербатов и Болтин жили в основном в один период. Все-таки их нельзя назвать в полном смысле слова современниками. Прежде всего Шлецер пережил их на 17—19 лет. Зрелые работы Шлецера опираются на новый и более широкий опыт; его «Нестор» написан уже в XIX в. Есть между ними и другое различие. Шлецер учился за границей, ближе был знаком с достижениями европейской науки. Щербатов и Болтин не имели той школы, той теоретической и практической подготовки, которую прошел Шлецер. Если Шлецер мог сказать о Миллере, что он на 30 лет отстал от европейской науки, то в известной мере эти слова могли быть отнесены и к другим историкам России его времени.

Выйдя из небогатой пасторской семьи в Германии, Шлецер окончил богословский факультет в Виттенберге, а затем в 1754 г. переехал в Геттинген, один из крупнейших центров германской науки того времени. Рано обнаружив большие лингвистические способности, Шлецер прошел в Геттингене серьезную филологическую школу по изучению и критике библейского текста у крупнейшего представителя библейской экзегетики Михаэлиса и филолога Гесснера. Приобретение обширных знаний в области древних и восточных языков и прежде всего знания византийской письменности явилось в дальнейшем существенным элементом в его подготовке к последующей работе над русской летописью. На изучение русской летописи Шлецер и перенес впервые тот критический метод, который до него применялся лишь к памятникам древней письменности, а теперь распространялся на изучение памятников феодализма. В дальнейшем Шлецер неоднократно ссылался на школу, полученную им у Михаэлиса. Уже в одной из своих первых работ — «Probe russischer Annalen» — он писал, что к изучению летописи он подходил «с тем вниманием, тщательностью и добросовестностью, к которым приучил его в библейской критике его великий учитель Михаэлис»[1]. С еще большей четкостью вернулся он к этому вопросу в своем «Несторе»;

[1] «Ich habe solche mit derjenigen Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit geprüft, zu der mich mein grosser Lehrer... Michaelis in der biblischen Kritik gewöhnet hat». *Schlözer, A.-L.*, Probe russischer Annalen, Bremen u. Gött., 1768, S. 179.

назвав крупнейших представителей классической и библейской критики — Гейне, Грисбаха, Михаэлиса, Семлера, — он писал о своей работе: «Это начертание принадлежит не мне; не я изобрел его, но научился от других, и приноровил только к русской истории»[1].

Шлецер первоначально рассчитывал посвятить себя библейской экзегетике и мечтал о поездке на Восток, но необходимость заработка привела его к службе домашним учителем в шведском семействе в Стокгольме.

Верный принципу пополнения своих знаний и использования каждой возможности для расширения своего научного кругозора, он использовал это пребывание, чтобы изучить местные языки и познакомиться с местной литературой и историческими памятниками. Результатом этого изучения были специальные работы Шлецера по истории шведской торговли и по истории просвещения в Швеции. Знание истории северных народов, изучение исландских и скандинавских саг, все это — другой круг источников, знание которых было приложено им к изучению русских летописей.

Когда подготовительная работа Шлецера была уже в значительной степени проделана, он получил в 1761 г. через Михаэлиса приглашение Миллера приехать в Россию. Он приехал в Россию совершенно иным, чем Миллер, — уже сложившимся зрелым ученым, имеющим печатные научные труды и претендующим не на подчиненное Миллеру положение, а на самостоятельную работу.

Приехав в Россию, Шлецер первоначально смотрел на свое пребывание в России, как на этап к будущей поездке на Восток. Но дело сложилось иначе: он настолько втянулся в работу над русской историей, что в дальнейшем, уже получив приглашение в Геттингенский университет для занятий средневековой и новой историей западных стран, он все же не бросил занятий русской историей и под конец своей жизни написал своего знаменитого «Нестора».

Начало изучения России

Отправляясь в Россию, Шлецер прежде всего постарался изучить Россию в меру того, что̀ можно было получить за границей по русской истории. Он познакомился с западноевропейскими историческими сочинениями, касавшимися России, начиная с записок Герберштейна и Петрея, чьи путешествия в Россию послужили начальным пособием для ознакомления его с Россией. Позднее, в России, занявшись русской историей как исследователь, он подверг всю эту литературу уничтожающей критике. Но во всяком случае, по собственному его выражению, «я знал то, чего я *не* знал, и умел спрашивать (особенное искусство), чем давал Миллеру повод изливать во всех наших разговорах свое

[1] *Шлецер*, Нестор, т. I, стр. XXXIX.

неисчерпаемое богатство сведений о России; он этому радовался, а я удивлялся»[1].

По приезде в Россию он скоро установил, что здесь разработка русской истории не отвечала новым научным требованиям. В одной из первых своих работ[2], через 6 лет после своего приезда в Россию, он дал характеристику этого положения. В сущности было два крупных историка-исследователя в России, — это Татищев и Байер. Но Татищеву, хотя он своим критическим умом близко подошел к современному пониманию исторической науки, недоставало знания истории соседних народов, всего того смежного материала, без которого нельзя заниматься русской историей,— знания истории Византии и северных народов. Ему недоставало и настоящего научного метода, филологического метода, метода критики текстов, который сам Шлецер усвоил под руководством Михаэлиса. Поэтому его история не могла быть той критической историей, какую требует от историка Шлецер.

Говоря о Байере, он отмечает другую сторону: Байер хорошо знал метод научной работы, хорошо знал византийские и северные источники, но он не знал русских источников и русского языка.

Что касается Миллера, то Шлецер и в последующих работах отмечал его заслуги в области мобилизации средств для изучения русской истории, но и Миллер отстал в научном отношении и, по отзыву Шлецера, не лишенному, впрочем, пристрастности, был лишь чернорабочим в истории. Мы видели, что эта черновая работа была нужна и в ней большая заслуга Миллера, но известная доля правды в указании на ограниченность средств и возможностей Миллера действительно имелась.

Остальное, по отзыву Шлецера, едва ли и заслуживало научного внимания. Автор Синопсиса, учебной книги по истории России в XVIII в., по его едкому замечанию, был только «историческим проказником». Литературно-риторическое направление Шлецер называет «ненаучным и опасным». Позже, в «Несторе», Шлецер отметил большое трудолюбие Щербатова и широту исторических воззрений Болтина.

По приезде в Россию он планомерно, последовательно продолжает свою подготовку к серьезной научной работе над новым историческим материалом. Прежде всего надо было знать русский язык, язык самих источников. Шлецер взялся основательно за изучение русского языка, применив в самом подходе к его изучению всю широту своих языковедческих, филологических познаний. В результате он довольно быстро научился читать и переводить русские исторические памятники и в 1764 г. подготовил даже свою грамматику русского языка, построенную на базе сравнительного языкознания. Эти филологические занятия Шлецера имели для

[1] Автобиография А.-Л. Шлецера, Сб. Отд. русск. яз. и слов. Акад. наук, т. XIII, Спб. 1875, стр. 31.

[2] *Schlözer*, Probe russischer Annalen.

него большое значение и составили существенную подготовку к его позднейшим источниковедческим работам.

Новый метод Шлецера в изучении русского языка и русской грамматики состоял в изучении корневого строения слов и выявления, с одной стороны, законов словообразования внутри данного языка, с другой стороны, установления родства или связи языков между собой на основе тожества корневого состава и значения слов в разных языках — греческом, германском, латинском и т. д. Это позволило ему значительно глубже вникнуть в самый строй языка и, таким образом, протянуть некоторую нить от современного русского языка к славянскому и древнерусскому. Это изучение легло в основу языковой критики памятников, истолкования слов древнерусского языка, исчезнувших в современном русском языке, и выявления заимствований из иностранных языков.

Это вело Шлецера и к другой, более широкой и значительной, теме — родства европейских языков, имеющих в своей основе значительное число общих корней и общие принципы словообразования. Ломоносов, крупнейший представитель русского языкознания XVIII в., встретил враждебно эти построения Шлецера; ему казалось, что Шлецер готов все русские слова объявить немецкими или латинскими по их происхождению, и он восстал против его построений во имя национальной гордости. Общая теория Шлецера содержала, конечно, много спорных и неверных с точки зрения нашей современной науки положений. Но 150 лет тому назад высказывания Шлецера были все же крупным успехом историзма в языкознании, показателем значительного роста научной методологии.

Шлецер поставил себе и вторую задачу в подготовке будущего историка — знать страну, историю которой он изучает, познакомиться с ее территорией, с ее природными ресурсами, с народами, ее населяющими, с ее хозяйством и внутренним строем. В этой задаче ему помогло его положение преподавателя в небольшой специальной группе детей нескольких высокопоставленных лиц — президента Академии Кирилла Разумовского, ближайшего его помощника Григория Теплова и еще кое-кого из светской молодежи. Результатом собирания этих материалов явилось изданное потом Шлецером в Германии в 1769—1772 гг. описание современной России под названием «Das neuveränderte Russland» — «Преображенная Россия».

Начало научной работы над летописью

Наряду с подготовкой к историческому изучению Шлецер в это же время приступил непосредственно к работе над летописью, работе, которая проходит красной нитью через всю его научную деятельность. Вместе со своим помощником Башиловым Шлецер начал издание летописи по Никоновскому своду, первому тексту летописи, которым он пользовался. В эти же

годы он положил начало научной критической работе над летописями. Первым опытом приложения к летописи метода филологического и сравнительно-исторического изучения явилась его латинская работа «Periculum antiquitatis russicae, graecis collustratae luminibus» — «Обзор русских древностей в свете греческих материалов» (1764). Здесь он дал объяснение нескольких непонятных слов Начальной летописи и пример восстановления текста русской летописи путем сопоставления с византийскими хрониками. Так, он дал опыт своего объяснения слова «суд» в рассказе о походе Олега на Византию и анализ всего описания этого похода, восстанавливая некоторые искажения летописи путем сравнения соответствующих мест с отрывками из хроники Кедрина, которой пользовался, очевидно, Нестор при составлении своей летописи. Это было конкретной проверкой и доказательством его положения что только на широкой базе сравнения исторического материала и источников можно дать правильное критическое истолкование летописи Нестора.

В это же время вышла и другая аналогичная работа Шлецера — небольшой экскурс с разбором и интерпретацией летописного рассказа об Аскольде и Дире путем сравнения с иностранными историческими источниками.

И, наконец, завершением этого первого этапа работы над летописью и первым наброском к его «Нестору» явилось изданное в 1768 г. в Германии исследование о русской летописи «Probe russischer Annalen» — «Опыт изучения русской летописи», в котором автор развернул уже полный план и основные принципы дальнейшего изучения летописи.

По его собственному выражению, он пытался здесь дать уже свое учение о русских летописях — «meine Theorie von den russischen Annalen»[1], а содержание и цель своей научной работы определил как задачу «приобрести достоверное знание русской истории путем критического ее изучения»[2].

Первое общее требование, предъявляемое им историку, заключалось в точности научного исторического метода, в точности доказательства каждого своего положения. Байер поставил девизом своей научной работы «ignorare malim quam decipi» — «лучше признать свое незнание, чем заблуждаться». Эту же мысль повторяет и Шлецер: «Prima lex historiae ne quid falsi dicat» — «Первый закон истории—не говорить ничего ложного»[3]. Воспроизводя слова Байера, он их конкретизирует, заявляя: «Лучше 600 лет подлинной истории, чем 3 000 лет сказок и басен». Точное обоснование, научное доказательство должны заменить простой пересказ исторических свидетельств.

[1] *Schlözer*, Probe russischer Annalen, Bl. 3 (оборот).

[2] «Ich suchte sie dadurch zuverlässiger kennen zu lernen, dass ich sie mit Kritik behandelte». Ibidem, S. 2—3.

[3] *Schlözer*, Probe russischer Annalen, S. 51.

В последовательном проведении требования научности исторического изучения Шлецер стоял впереди не только русской, но и западноевропейской науки и отстаивал его поэтому со всей присущей ему страстностью: «Сочиняйте, выдумывайте, мечтайте, пишите романы, — восклицал он, — но и называйте это романами: имя истории священно, не оскверняйте его»[1].

Разоблачая с этих позиций историческую литературу о России, особенно западноевропейскую, и показав ее баснословный, ненаучный характер, он пришел к выводу о необходимости большой научной работы по изучению источников русской истории, прежде чем браться за написание самой истории. Дав общий перечень различных видов источников, в основном близкий к тому, который был указан уже Миллером, Шлецер сосредоточил главное внимание на летописи и ее изучении как основном источнике для древнего периода русской истории.

Уже в своем очерке «Probe russischer Annalen» Шлецер формулирует свою высокую оценку начальной русской летописи, значительно более скупой на баснословье, чем современные ему западноевропейские хроники. Позже он неоднократно говорил об «умном старике Несторе», выгодно отличающемся «от всех сих северных грешников» — падких на баснословье польских и скандинавских писателей. Польские хроники получили значительное распространение в России еще с XVII в.; они широко использовались и Щербатовым, которого привлекали, видимо, именно своим осовремениванием летописного материала. Шлецер доказывает, что самые древние из известных польских источников (Кадлубек и др.) возникли не ранее XIII в. и, будучи по крайней мере на столетие моложе Нестора, сами пользовались его летописью как источником. «Нестор есть первый, древнейший и единственный отечественный источник сей древней истории до 1054 г.» [2]

Установив, таким образом, значение летописи как первоисточника, Шлецер наметил и основные вопросы ее изучения. Первым стоял вопрос о самом составе летописи и времени ее возникновения. Шлецер, пока еще без полной категоричности, полагает все же первоначальной редакцией текст 1113 г., приписываемый им Нестору. Вопрос о Несторе и Сильвестре разрешен им на широкой основе исторического анализа текста: Шлецер показывает, что по самому содержанию и по ссылкам, сохранившимся в тексте, Начальный свод составлялся до этого времени в Киево-Печерском монастыре и лишь с вокняжением Владимира Мономаха мог быть передан для новой редакции Сильвестру в Выдубицкий монастырь, принадлежавший к Переяславскому княжеству. Авторство самого Нестора он устанавливал во всяком случае

[1] *Schlözer*, Probe russischer Annalen, S. 51: «Dichtet, erfindet, träumet, schreibt Romane, aber nennt es auch Romane; der Name der Geschichte ist heilig, entweihet ihn nicht».

[2] *Шлецер*, Нестор, т. I, стр. 425.

еще для 1096 г. и на этом основании отвергал отнесение конца Несторовой летописи к 1093 г. Мы знаем, что эти выводы Шлецера, явившиеся первым результатом научного анализа летописного текста, прочно вошли в нашу историческую науку. Шлецер попытался определить и дальнейшие авторские отрезки: под 1116 г. он поставил редакцию Сильвестра, в качестве последующих граней указал 1157 г., 1203 г. — для южного летописания, 1226 г. — для Суздальского, 1230 г. — для Новгородского (Иоанн Новгородский). Конец летописания он относил к 1630 г.[1]

История летописания выдвинула перед Шлецером и второй принципиальный вопрос. Шлецер располагал к этому времени десятью тщательно изученными летописными сводами, включавшими начальную летопись в разных ее редакциях. Все эти своды были позднейшего происхождения, и разница редакций начального текста привела Шлецера к выводу, что мы не имеем уже подлинного первоначального текста, а только его позднейшую «испорченную» переработку, причем едва ли можно рассчитывать найти подлинную летопись Нестора. Отсюда Шлецер и пришел к своему определению основной задачи изучения Начального свода — на основе критического сличения уцелевших текстов летописи дать «очищенного», или подлинного, Нестора.

Но сама эта задача требовала в свою очередь большой предварительной работы, план которой, общие контуры намечены Шлецером в этой его работе, но были подробно изложены им еще в его докладной записке, поданной в Академию наук в 1764 г.

Этот план сводился к следующим элементам. Прежде всего надо было собрать все уцелевшие списки летописей, чтобы на основе их сличения установить первоначальный, подлинный текст летописного рассказа. Во-вторых, для правильного изучения этого летописного рассказа, для того чтобы, с одной стороны, вскрыть внешние влияния и заимствования, с другой — проверить и дополнить сведения, сообщаемые летописью, нужно было изучить весь современный летописному рассказу круг источников соседних с Русью народов, которые могли знать и сообщали сведения по истории древней Руси. Таковы византийские, скандинавские источники, свидетельства восточных писателей, арабских и других. Весь этот свод материалов должен был составить необходимый этап в подготовке к изучению русских летописей.

Не без участия Шлецера и не без его инициативы эта работа и была начата вызванным вместо него в помощь Миллеру Стриттером, издавшим на латинском языке четырехтомный свод византийских свидетельств о России — «Memoriae populorum olim ad Danubium, Pontem Euxinum, paludem Beotidis, Caucasum, marem Caspium et inde magis ad septentrionis incolentium a scriptori-

[1] В «Несторе» Шлецер внес некоторые изменения в эту периодизацию, считая текст Нестора до 1116 г., а текст Сильвестра — для 1116—1123 гг.

bus historiae byzantinae erutae et digestae a J. G. Strittero. I—IV. 1771—1779». Выполнение всего плана Шлецера падает в основном уже на XIX и XX вв.; оно не закончено и до настоящего времени. Итогом критической работы должен был явиться «Corpus historiae russicae» — проверенный, критически очищенный летописный свод.

Возвращение в Геттинген и последующие занятия русской историей

В середине 60-х годов Шлецеру, казалось, предстояло занять исключительное положение среди русских историков. В 1765 г. умер Ломоносов, едва начав свою историю России; Миллер переехал в Москву и занялся архивом; Щербатов издал первый том своей «Истории Российской» только в 1770 г. Но отношения Шлецера с Академией наук не наладились, а в это время Шлецер получил профессуру в Геттингенском университете, где он когда-то окончил свою научную подготовку. В 1769 г. Шлецер уехал в Германию и занялся всеобщей историей.

За последующие 40 лет своей жизни Шлецер выпустил огромное количество работ, посвященных самым различным вопросам всемирной истории. Геттинген становился крупнейшим центром исторической науки; рядом с Шлецером здесь выступал Гаттерер, а несколько позже Геерен, представитель следующего поколения историков, уже непосредственно примыкавший к исторической науке XIX в. Отражением новых исторических тенденций, сказавшимся уже на первых работах Шлецера, был его интерес к вопросам экономической истории и истории культуры, непосредственно связывающий его с историками второй половины XVIII в., с французскими просветителями — Вольтером, Рейналем, Мабли. Ему принадлежит предисловие к немецкому переводу Мабли. В этом же плане выступил он с рядом очерков по всемирной истории. Как и французские просветители, Шлецер выступал противником суеверия и баснословья, поддерживаемых средневековою церковью.

«Историк должен быть рационалистом, — писал Шлецер. — Он должен строго разграничивать религию и церковь. Нередко ложные показания, вымышленные чудеса выдаются и вызывают общее поклонение. Историк должен смело стоять за правду, разоблачать выдумки, обличать суеверия». Типична его характеристика Нестора-летописца как монаха XI в.: «Нестор есть монах XI ст., подобный всем монахам своего времени; неучен, как и тогдашние византийские его учителя... наполнен предрассудками и монастырским легковерием, противным здравому смыслу XVIII ст.»[1]

Вместе с тем Шлецер полностью воспринял и типичный рационализм XVIII в., принцип «здравого смысла» XVIII в., как

[1] *Шлецер*, Нестор, т. I, стр. 397.

основной критерий в отношении существа исторических событий. Его исторические сочинения уже по многообразию тематики не могли быть плодом большой критической исследовательской работы; они представляли лишь прагматическое повествование, мало отходя от обычного исторического стиля XVIII в.

Еще в одном отношении Шлецер платит дань взглядам XVIII в. В научной работе Шлецера история связывается с политикой, с публицистикой. С 1774 г. Шлецер издавал политический журнал под названием «Briefwechsel» — «Переписка»: в форме переписки с разными корреспондентами Шлецер давал оценку современным политическим событиям. Журнал пользовался широким влиянием и авторитетом в тогдашнем европейском обществе.

Но и в этот период вопросы истории России не переставали занимать Шлецера, показывая, как прочно вошел он в русскую историю. Еще в 1769 г. вышли на французском и немецком языках его общие очерки начального периода русской истории, примыкавшие к общим замечаниям, набросанным еще в его «Probe russischer Annalen». Вопросы русской истории занимают большое место в его общих работах, типа «Allgemeine nordische Geschichte» или «Kritisch-Historische Nebenstudien» (1797) и в отдельных специальных этюдах. Его «Nestor. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Ursprache, verglichen, gereinigt und erklärt» (T. 1—3, 1802—1809) был фактическим итогом его работ по русской истории и, пожалуй, лучшим итогом всей его научной работы. В этой работе дано то новое и лучшее, что внес Шлецер в историческую науку и что определяет его значение и в русской и в западноевропейской историографии.

Шлецер-историк. Общие вопросы истории России

В предисловии к Мабли Шлецер говорил о четырех различных типах историков: Geschichtssammler — историк-собиратель, Geschichtsforscher — историк-исследователь, Gechischtsschreiber — составитель истории, Geschichtsmaler — историк-художник. Собирателями были в основном предшественники Шлецера; собирателем, «чернорабочим» считал он, впрочем, не вполне основательно, и Миллера. Но и сам он прошел лишь вторую ступень непосредственного исследования источников; он еще не способен был справиться с задачей исторического синтеза, он не дошел до составления истории. Только как критик источников стоял он на уровне новых требований оформлявшейся исторической науки. В своей разработке критического метода он подготовил, расчистил почву для новой исторической науки. Но там, где он писал историю, он еще опирался на то, что было сделано в его время.

Поэтому и его общая схема русской истории, набросанная им в «Probe russischer Annalen» и в «Tableaux de l'histoire de Russie», лишь вариант общей периодизации русской истории в литературе XVIII в. Это все та же внешнеописательная схема, даже менее

последовательная, чем у Татищева, и заметно отстающая от новых идей, сформулированных Болтиным.

Конкретная история России в духе XVIII в. начинается с образования Русского государства, т. е. с «призвания» Рюрика. Предшествующий период — предистория, историческая этнография. Первый период Шлецер обозначает термином «Russia nascens — «рождающаяся Россия»; это период 862—1015 гг., до смерти Владимира. Здесь известный вариант датировки — по Татищеву 1132 г., по Ломоносову и Щербатову 1054 г.; но смысл один — разделение Руси на уделы, которое Шлецер начинает с преемников Владимира Святославича. Второй период — «Russia divisa» — «разделенная Россия». Он охватывает 1015—1216 гг. На первый взгляд конечная дата вызывает недоумение. Но третий период Шлецер назвал «Russia oppressa» — «угнетенная Россия»; это — период татарского ига. 1216 г. — начало княжения Юрия Всеволодовича, при котором произошло татарское завоевание. Третий период заканчивается княжением Ивана III, свергнувшего татарское иго; и здесь периодизация Шлецера сошлась с общепринятой периодизацией его времени. Новый период от Ивана III до Петра I — период «побеждающей России» — «Russia victrix». Наконец, с Петра I начинается история современной России — «Russia in flor» — «цветущая Россия», или еще: «преображенная Россия» — «neuverändertes Russland»[1].

Периодизация русской истории, таким образом, дана Шлецером сугубо формально, она чужда попытки внутреннего осмысления событий, раскрытия внутренней связи исторического процесса. Проблема закономерности, поставленная XVIII в., остается неразрешимой и для Шлецера, ее разрешает историческая наука в XIX в.

Изучение источника и его критика — тема «Нестора» и вместе с тем основная тема всей научной работы Шлецера.

Вопросы критики источника

В «Несторе», завершающем его критическую работу по изучению русской Начальной летописи, Шлецер сформулировал также общие принципы и описал технические приемы проведенной им критики текста.

Он различает три вида критики, три этапа критического изучения.

Первый вопрос, говорит Шлецер: «Что Нестор *писал* действительно? Ему ли принадлежит такое-то *слово* (иногда такая-то *буква*), такая-то *строка*, такое-то *целое место*?.. Вот *малая* критика или критика *слов*».

Второй вопрос: «Что́ он под сим *разумел*? Как понимать такое-то его выражение?» Шлецер указывает, что смысл слов, представления людей изменялись на протяжении веков, и потому необходимо восстанавливать подлинный смысл, вкладываемый древним

[1] *Schlözer*, Probe russischer Annalen, Abh. 2, S. 10.

автором в его слова. «Вот грамматическое и историческое *толкование*».

По сути дела эти две задачи тесно связаны между собой: без истолкования слов и их значения невозможно восстановление подлинного текста, что и является настоящей задачей первых двух этапов критики.

Лишь когда эти два этапа закончены и подлинный текст восстановлен, возникает третий вопрос: «*Правильна* ли его мысль? Историческое ли происшествие он повествует или сказку?» Неученому монаху XI в., по словам Шлецера, «*теперь* можно сказать: «ты обманываешься, ты слишком прост, ты рассказываешь сказку». Вот *высшая* критика или критика *дел* (Sachkritik)» [1].

Третья, «высшая критика» была уже переходом от критики текста к интерпретации исторического факта, т. е. самого исторического процесса. Именно поэтому сам Шлецер остановился на пороге этого третьего этапа. «Высшая критика» связана с пониманием процесса в его целом, и поэтому ее реализация принадлежит уже XIX в.

Дело Шлецера — критика текста. Применительно к этой задаче он дает и чрезвычайно четкое и ясное описание самих технических приемов критики, примененных им к летописи Нестора.

«Я разделил текст на большие и малые *сегменты*,—пишет Шлецер в «Предуведомлении» к первому тому. — Мои списки так были мне известны, что я знал, которые из них *походили* или очень отличались один от другого. Каждый сегмент переписал я три раза из трех по большей части различных списков слово в слово; потом в каждый сегмент внес я разночтения из двух похожих на них списков, из одного чернилами, а из другого киноварью. Таким образом, на трех страницах поместил я 9 списков, и все важные и неважные разности мог осмотреть вдруг, почти одним взором. Вернее ли сличали библейские рукописи Кенникотовы работники?» [2] — так заключает свое описание Шлецер [3].

Здесь дан уже современный принцип сличения и систематизации списков по так называемым фамилиям списков и путь к установлению их взаимоотношения, их генеалогии, дающей необходимую научную основу для их сличения и внутренней критики.

В этой связи нельзя не отметить и дальнейшее уточнение основных критериев для суждения о списках, степени их древности и достоверности. Поскольку для древней летописи мы имеем не подлинник, а позднейшие списки, Шлецер подробно характеризует сложный комплекс этих признаков: бумага и внеш-

[1] *Шлецер*, Нестор, т. I, стр. 395—397. (Везде курсив подлинника.—*Н. Р.*)

[2] Кенникот — английский богослов XVIII в., известный работой по составлению критически очищенного текста библии; к работе над текстом Кенникот привлек ряд сотрудников, на которых и указывает выражение Шлецера «Кенникотовы работники».

[3] *Шлецер*, Нестор, т. I, стр. IX—X.

нее оформление, письмо и приемы написания, иллюстрация, язык. Из этого комплекса данных может быть выведено место и время возникновения не только изучаемого списка, но и того исчезнувшего текста, от которого данный список происходит. Уже понимая сложный процесс возникновения известного позднего списка, Шлецер выставляет совершенно правильный принцип: древность списка не тожественна древности его редакции и сама по себе не решает вопроса о степени достоверности даваемого им чтения.

Вопросы русского летописания

На основе этих принципов Шлецер и подошел к изучению русского летописания. В его распоряжении было 20 текстов русских летописей, из которых, однако, лишь 13 (в том числе один список Степенной книги) допускали научное изучение и критическую проверку.

Шлецер в соответствии с изложенными им принципами дал тщательное описание своих списков и по возможности восстановил их историю. Хотя ряд предлагаемых им новых выводов (например, перенесение авторства Сильвестра на 1116—1123 гг.) оказывается ошибочным, но самый принцип определения авторского единства текста установлен им правильно. Он же дал и первую попытку установить основные биографические данные о Несторе для решения вопроса о его авторстве. Шлецер дал близкую к действительности историю летописных сводов, в частности установил позднее происхождение Никоновского и Воскресенского сводов и Степенной книги и подверг их критической оценке, в то время как в XVIII в. они нередко привлекали писателей русской истории обширностью своего материала. В частности составление Степенной книги вслед за Татищевым еще Миллер и Щербатов относили к XIV в., связывая ее с митрополитом Киприаном; Шлецер, исходя из ее состава и стиля, правильно признал ее памятником XVI в. Рассмотрение этих позднейших сводов и привело Шлецера к его основному выводу об искажении первоначального текста позднейшими измышлениями. Он увидел их прежде всего в той политической концепции московских книжников XVI в., которая вводится в летопись, начиная генеалогией русских князей от Пруса.

«До сих пор все повествуемое было хотя кратко, несвязно и неполно, однако, в нем не было ничего *безрассудного*. Но после сего является какой-то *монах*, может быть, из XV или даже XVI ст., которому попались в руки польские времянники... Этот монах, прельстясь примером поляков, начал с простоты *выдумывать* свою историю и следующим безумием обезобразил умного старика Нестора» [1]. Отсюда и его задача восстановить первоначальный текст Начальной летописи Нестора.

[1] *Шлецер*, Нестор, т. I, стр. 276—277.

Самый анализ летописного текста он провел в соответствии с изложенными им принципами и приемами. В этой работе выделяются три основных элемента:

Прежде всего Шлецер дает по главам и «сегментам» параллельные тексты разных летописных сводов и, подвергнув в примечаниях критическому анализу их разночтения («разнословия», по его терминологии), старается установить наиболее близкий к первоначальному смыслу текст или, на основе их сличения, восстановить первоначальный текст, подвергшийся потом искажению [1]. В качестве результата этого сличения Шлецер в заключение каждой главы дал свою сводную, «очищенную», редакцию данного отрывка.

Вторым элементом в очистке текста было установление тех обширных интерполяций, когда в летописный текст вводились целые самостоятельные повествования. Шлецер первый отметил наличие непосредственных формальных указаний на такие интерполяции в самом изложении летописи, где вставка прямо прерывает единство повествования, восстанавливая его стереотипной формулой: «а се на прежнее возвратимся». Он устанавливает литературную самостоятельность ряда легенд и «повестей», позже включенных в летопись. Все эти положения Шлецера прочно вошли в нашу современную науку и получили свое дальнейшее развитие уже у исследователя XX в., академика Шахматова.

Наконец, Шлецер поставил вопрос о значении иностранных памятников, прежде всего византийских хроник, как источника нашей Начальной летописи. При несколько формальной постановке этого вопроса у Шлецера он отвечал его основной общей задаче — восстановить подлинные свидетельства самого Нестора, непосредственное «свое» содержание русских хроник. Эти заимствования должны были относиться к событиям всемирной истории, к космографии Нестора, имеющей чисто книжное происхождение, и, наконец, к тем событиям русской истории, которые имели непосредственное отношение к истории Византии. Обращение именно к византийским источникам определялось зависимостью русской книжности XI в. от Византии; в самом комментарии Шлецер широко использовал также западные хроники и скандинавские источники.

Шлецер и к этой задаче подошел со всей тщательностью и методичностью. Параллельно восстанавливаемому им тексту летописи Нестора он воспроизводит соответствующие свидетельства византийских хроник, устанавливая тожество их содержания. Шлецер подошел вплотную к современному разрешению и этого вопроса об источнике летописи. Четкость и последовательность научного метода Шлецера сказалась в том, что, остановившись на Георгии

[1] Например, истолкование слова «суд» в рассказе о походе Олега на Царьград.

Кедрине, как на известном ему греческом хронисте, который всего ближе стоял к тексту Нестора и на которого, казалось, указывал сам летописец своей ссылкой на «Георгия мниха» (имя Кедрина — Георгий), он, однако, не признал его окончательно прямым источником Нестора: «Но, может быть, кому-нибудь удастся отыскать еще четвертого или пятого византийского историка, с которым Нестор более согласуется, нежели с Кедрином» [1]. Разыскания XIX в. оправдали это предположение Шлецера: Строев нашел текст хроники Георгия Амартола, которая и была основным византийским источником для первой части Начальной летописи.

Разбор русской летописи доведен Шлецером до начала княжения Владимира Святославича, т. е. до 980 г. В конце II главы, разобрав космографию и географию Начальной летописи, Шлецер так определил итог своей работы: «После сего критического очищения, кажется мне, что Нестор в двух своих первых главах сделался *настоящим Нестором*; по крайней мере теперь можно его читать, и он не кажется не только глупым, но для своего века и земли, в которой жил, довольно сведущим в географии» [2].

«Высшая критика». Проблемы этнографии и общественного строя

Хотя, таким образом, задачи «высшей критики» оказались в основном за рамками работы Шлецера, истолкование летописи привело его все же к научному пересмотру основных вопросов, занимавших современную Шлецеру историческую науку.

Прежде всего это — вопрос об исторической этнографии и происхождении современных народов. Отказавшись от гипотез, распространенных в современной ему литературе, Шлецер все свои выводы пытался строить только на проработанном и проверенном им документальном материале. Поэтому он отбрасывает всякие попытки связать летописные племена и народы с названиями древних авторов, показывая условность самих этих обозначений. Так, при анализе источников Шлецер впервые указал на условное употребление имени скифов у греческих авторов, получившего в то время географическое, а не этнографическое значение, указал на многоплеменность населения древней Скифии. Критика источников вела непосредственно к критике фактов.

Вслед за Татищевым и Миллером Шлецер принял норманскую теорию происхождения руси и дал ей дальнейшее систематическое обоснование [3]. Но и в этом вопросе Шлецер, идя от конкретного материала, вводил вопрос о норманском элементе в соответствующие конкретные рамки. Он указывал на основе летописного

---

[1] *Шлецер*, Нестор, т. I, стр. 15.

[2] Там же, стр. 106—107.

[3] В «Probe russischer Annalen» Шлецер еще связывал русь с хазарами, как это сделал и Щербатов в первом томе своей «Истории», но в «Несторе» он от этого предположения отказался.

материала, что через 200 лет не осталось ни одного скандинавского термина в русском языке, ни одного имени или названия города на русской территории: все названия были славянские и сама русь стала славянскою. Это доказывало, что варяги-скандинавы пришли в славянскую землю в небольшом числе, небольшой дружиной и быстро растворились в местном населении.

К этому вопросу примыкает и другой вопрос — об общественном строе славян в IX—X вв., также вызвавший очень острую полемику в исторической литературе XVIII в. В литературе выдвинулись два крайних утверждения: одни доказывали примитивность общественного строя древних славян, еще не вышедших из состояния варварства; другие, движимые чувством национальной гордости, хотели доказать высокое развитие общественного строя, наличие развитого государства уже в IX — начале X в.

Шлецер стал целиком на первую точку зрения. Анализируя летопись, он подчеркивал летописные свидетельства о примитивности общественного строя славян — «звериный обычай имяхут» — и другие указания летописей. Он говорил о примитивности политического строя, указывая, что летописец нигде не говорит о государстве, а только о племенных вождях, о дружинах.

Эти выводы Шлецера встретили затем резко враждебную, отрицательную оценку в славянофильской литературе XIX в., обвинявшей Шлецера в немецком национализме, в стремлении доказать, что именно немцы принесли в Россию и культуру и государственный строй, что все это плод немецкого завоевания. Но такая трактовка является навязанной Шлецеру без каких-либо оснований. Наоборот, Шлецер подчеркивал все время, что русская летопись возникла раньше германской и стоит выше ее по своим внутренним достоинствам. Он говорил, что общественный строй древней Руси ничем не отличался от общественного строя западных народов того времени, что пришедшие скандинавы шли не торговать, а грабить, так как широкой торговлей они не занимались, а городов не было тогда ни у русских, ни у скандинавов, городом назывался просто укрепленный пункт.

Шлецер ставил, таким образом, вопрос не о национальных влияниях, а о постепенности и последовательности развития общественного строя, народной жизни. От изучения источника Шлецер пришел к тем самым положениям, к которым путем философско-исторического рассмотрения русской истории пришел и Болтин, столь же искусственно обращаемый в славянофила. И именно эта проблема, к которой Шлецер шел от исторической критики источника, стала достоянием науки XIX в.

Значение работ Шлецера

Основное значение Шлецера заключается в его источниковедческой работе, в том научном методе, которым он вооружал русского историка. В этой области работы Шлецера уже непосредственно принадлежат науке XIX в. Его влияние проходит через всю русскую

науку по изучению летописей. От него отправляются, на него указывают, как на своего основного предшественника, и Погодин, и Бестужев-Рюмин, и Шахматов.

Не без влияния Шлецера началось и научное издание русских летописей. В 1809 г. Шлецер был избран почетным членом Общества истории и древностей российских. В 1813 г. Румянцев внес 25 тысяч рублей в Академию наук как фонд издания русских летописей и в своем обращении в Академию наук ссылался на Шлецера. Его «Нестор» сразу получил широкое признание в науке и был тотчас же переведен и издан на русском языке.

Конечно, и в этом вопросе Шлецер платил дань своему веку; до конца последовательного исторического рассмотрения летописей Шлецер еще не дал. Он мыслит себе Нестора каким-то идеальным, абстрактным летописцем, до которого ничего нет в русском летописании и после которого есть только искажения. Шахматов доказал, что сама летопись Нестора была лишь одним из промежуточных звеньев в общей истории русского летописания. Но этот вывод Шахматова был возможен только на основе развития исторической науки в целом, совершившегося в XIX в. Этого вывода Шлецер при состоянии научной мысли конца XVIII в. дать не мог. Его заслуга состоит в том, что своим методом, направлением, которое он дал историческому исследованию, он подготовил развитие исторической науки XIX в. Неслучайно первый представитель нового направления исторической науки в России Эверс вышел непосредственно из школы Шлецера и продолжал работу Шлецера по восстановлению древней истории Руси.

ГЛАВА 10

КАРАМЗИН

Основные сочинения Карамзина: История государства Российского, т. I—XII, Спб. 1818 — 1829. — Записка о древней и новой России, изд. Н. М. Толстой, Спб. 1914. — Письма русского путешественника, ч. 1—6, в Универс. типографии, М. 1797—1801. — Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому и письма Грибоедова к Степану Никитичу Бегичеву, изд. О-ва любит. российск. словесности при Моск. ун-те, М. 1860.

Основная историографическая литература: *Соловьев, С. М.*, Н. М. Карамзин и его «История государства Российского», в Собр. соч. С. М. Соловьева, изд. «Обществ. польза», Спб. (б. г.), ст. 1389/1390—1539/1540. — *К-й (Каченовский)*, История государства Российского, т. XII, «Вестник Европы», 1829, сентябрь (№ 17), стр. 3—5 и 94—121. — *Полевой, Н.*, История государства Российского (сочинение Н. М. Карамзина), т. I—VIII, «Московский Телеграф», Спб. 1829, ч. 27, стр. 467—500. — *Погодин, М.*, Николай Михайлович Карамзин, по его сочи-

нениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина, ч. 1—2, М. 1866.— Речи, произнесенные в торжественном собрании имп. Моск. ун-та 1 декабря 1866 г. в день Карамзинского юбилея, М. 1867 (оттиск № 3 «Моск. универс. извест.», 1866) (Речь С. Соловьева). — *Бестужев-Рюмин, К. Н.*, Карамзин как историк; в кн.: *Бестужев-Рюмин, К.*, Биографии и характеристики, Спб. 1882, стр. 205—230. — Карамзин, Н. М. (биографич. статья), «Русский биографический словарь», том: «Ибак — Ключарев», Спб. 1897 (ст. К. Н. Бестужева-Рюмина). — *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, т. I, Спб. 1897, гл. IV. Карамзин и его современники, стр. 114—200. — *Готье, Ю. В.*, Памяти Карамзина, как историка, «Исторические известия», кн. 1, М. 1917, стр. 5—13.

Библиография: *Бестужев-Рюмин, К.*, Библиография о Н. М. Карамзине; в его статье: Карамзин, Николай Михайлович, «Русский биографический словарь», том: «Ибак — Ключарев», Спб. 1908, стр. 514. Список сочинений Карамзина. — *Венгеров, С. А.*, Библиография о Н. М. Карамзине; в его кн.: Источники словаря русских писателей, т. II, Спб. 1910, стр. 586—598.

Основы формирования мировоззрения Карамзина

Если уже в отношении Шлецера ставился вопрос о его месте в историографии между XVIII и XIX вв., то, казалось бы, с еще бо́льшим основанием этот вопрос должен стать в отношении Карамзина.

Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) по самым годам своей жизни почти наполовину принадлежит XIX в.; XIX в. хронологически принадлежит его «История государства Российского», написанная в период 1804—1826 гг. Идеология Карамзина формируется в связи с литературой XVIII в. Но приступая к своей «Истории», он мог использовать все итоги XVIII в. Первые тома «Истории государства Российского» были сданы в печать в 1816 г. В это время Карамзин уже читал «Нестора» Шлецера и работы его ученика и продолжателя Геерена. В этот период появилась первая большая работа Эверса, началась широкая археографическая работа.

Карамзин родился в 1766 г. под Симбирском; образование получил в Москве, где окончательно поселился в 80-е годы XVIII в. В эти годы Карамзин — член новиковского кружка, «Дружеского общества»; среди его друзей этого времени — члены этого же кружка, видные представители московского дворянства, масоны Лопухин и Кутузов. Наряду с чисто литературными интересами — участием в издаваемой Новиковым библиотеке для детей — Карамзина с этим кружком связывает, несомненно, и известная идейная близость.

Новиковский кружок представлял своеобразное сочетание либерализма и масонства. Масонство XVIII в. в какой-то мере, хотя и противоречиво, отражало гуманитарные тенденции эпохи

просвещения. Оно включало нравственную идею о человеке, и его утверждение морального начала предполагало общие права человеческой личности. Поэтому в России с масонством оказалась связана и просветительная деятельность Новикова и другие прогрессивные течения этого периода.

Но, примыкая к просветительству XVIII в., масонство представляло правое крыло западноевропейской общественной мысли. Своим мистицизмом, своей аполитичностью масонство шло навстречу консервативным тенденциям дворянства, а когда развернулась революционная борьба, оно оказалось враждебным революционной борьбе, прикрываясь морализирующими рассуждениями. Так масонство совершало переход от гуманитарных принципов просветительства XVIII в. к дворянской политической реакции, последовавшей за французской буржуазной революцией. Аналогичную эволюцию политических взглядов проделал и Карамзин, неслучайно воспринявший идейные влияния своего времени именно через новиковский кружок.

Отношение Карамзина к самому масонству сложное. Собственно говоря, Карамзин никогда не разделял масонских взглядов. Идеология Карамзина была проникнута рационализмом XVIII в. и решительно отвергала мистику масонства. Но в то же время нельзя не заметить, что морализирующая и филантропическая тенденции масонства внутренне соответствовали «чувствительности» его натуры, на которую неоднократно указывал он сам впоследствии. Чувствительность натуры и морализирующая тенденция у Карамзина могли создать своеобразную связь между его первоначальной близостью к масонскому кружку Новикова и последующим влиянием на него западноевропейского сентиментализма. Но и отношение Карамзина к сентиментализму в свою очередь двойственно. Сентиментализм на Западе имел определенную социальную направленность, он отражал начало буржуазного направления в литературе, вводя в литературу на место героизации и идеализации привилегированной общественной верхушки личную жизнь и душевные переживания обыкновенного среднего человека. Карамзин как представитель русского сентиментализма взял и от этого направления только морализирующее чувствительное начало, но извратил его социальную значимость; сентиментальная повесть Карамзина превратилась в идиллическую картину крепостного быта.

Между масонскими увлечениями и сентиментализмом стоит кратковременное увлечение Руссо в период путешествия Карамзина по Европе в 1789—1790 гг., отраженное в «Письмах русского путешественника». Но и от Руссо Карамзин взял не остроту его социального протеста, а сентиментальную повесть «Новая Элоиза», по образцу которой он написал свою «Бедную Лизу».

Так, в западноевропейских идейных направлениях Карамзин брал не их социально-политическое и философское содержание,

а ту внешнегуманитарную, морализирующую тенденцию, которая характеризует его и как писателя и как историка.

И в своих политических воззрениях Карамзин, несмотря на литературное влияние Руссо, несмотря на непосредственные впечатления от первых шагов французской революции 1789 г., отражая определенную реакцию русского дворянства на события французской революции, обратился к умеренной политической программе Вольтера, к политическому идеалу просвещенного абсолютизма. Парижские впечатления вызывают у Карамзина определенную консервативную реакцию. «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку, — пишет Карамзин. — Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот», — продолжает он в том же «письме»[1].

Наконец, в «Письмах» нашли отражение и философско-исторические идейные связи Карамзина этого раннего периода. Здесь он в какой-то мере прикоснулся к передовым идеям своего времени. Среди «великих» писателей и мыслителей, попавших на страницы его «Писем», почетное место отведено Гердеру, автору «Ideen zur Philosophie der Menschengeschichte». Гердер — представитель философского направления в истории, начало которому положил Вольтер своим «Essai sur les moeurs»; он ищет внутреннего смысла и единства мирового исторического процесса в развитии всего человечества. Отсюда следы известного космополитизма в идеологии Карамзина этого периода, единственная более яркая дань эпохе. «Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских; и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо я человек!» [2] На этой идее строится и восхваление Петра I и его деятельности в «Письмах»: «Как Спарта без Ликурга, так Россия без Петра не могла бы прославиться» [3]. Но именно эти положения, в которых Карамзин уже примыкал к наиболее передовой по содержанию философско-исторической концепции своего времени, подверглись в дальнейшем полному пересмотру и прямому отрицанию в конечной исторической концепции Карамзина.

Впрочем, уже в «Письмах» эти философско-исторические мотивы звучат обще и имеют скорее внешний характер. Куда отчетливее формулируются иные идеи, более органически присущие XVIII в., и они-то и дают конечную устойчивую характеристику Карамзина-историка.

Здесь, во-первых, отмеченная выше чисто рационалистическая трактовка процесса исторического развития, в котором решающая

[1] *Карамзин*, Соч., т. II, изд. М. Смирдина, Спб. 1848, стр. 462.
[2] Там же, стр. 515. (Курсив автора. — *Н. Р.*)
[3] Там же, стр. 516.

роль отводится выдающейся исторической личности. Мудрый законодатель творит историю своей страны: такова роль Ликурга для Спарты или Петра I для России; позже место Петра I занял Иван III. Здесь и противопоставление исторической традиции событиям французской революции. Наконец, намечены уже и основные методологические принципы и приемы его трактовки истории. В письме из Парижа по поводу «Русской истории» Левека Карамзин разразился пространной тирадой, в которой изложил свое историческое кредо:

«Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей Российской истории, т. е. писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон — вот образцы! Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю; *нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить*; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и пр. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев... Что неважно, то сократить, *как сделал Юм* в английской истории; все черты, которые означают свойство народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные описать живо, разительно». Все яркие эпохи «надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микель-Анджело» [1]

Итак, прагматический рассказ Юма, за которым следовал уже Щербатов, красноречие Тацита, литературно-живописующий стиль риторического направления, — «вот образцы» этого первого наброска программы деятельности Карамзина-историка, которая устойчиво и последовательно развивается дальше именно в этом направлении.

Необходимо добавить, что, как устанавливают исследователи, «Письма русского путешественника» были настоящим литературным памятником, плодом позднейшей литературной обработки, и в печати они появились уже в начале XIX в. Это придает еще большее принципиальное значение отразившимся в них положениям.

Непосредственно по возвращении в Россию в 1790 г. Карамзин предался интенсивной литературной и журнальной деятельности. Он издавал «Московский журнал» (1791—1792), потом два литературных сборника «Аглая» (1793 и 1794), наконец, участвовал в «Московских ведомостях» (1795). В этот период небольшим свидетельством сохранившегося интереса к тематике русской истории был опыт русской «сказки» «Илья Муромец», «смесь былей с небылицами», опубликованный небольшим отрывком во втором сборнике «Аглая».

[1] *Карамзин*, Соч., т. II, изд. М. Смирдина, Спб. 1848, стр. 511—512. (Курсив мой — *Н. Р.*)

Начало исторических занятий Карамзина

Реакция Павловского царствования ограничила литературную деятельность Карамзина. Но в это время, повидимому, Карамзин энергично занимался русской историей. От 1800 г. сохранилось указание самого Карамзина в письме к Дмитриеву: «Я по-уши влез в русскую историю; сплю и вижу Никона с Нестором»[1]. От 1798 г. сохранились его заметки к похвальному слову Петру I.

Очевидно, эти занятия и определили дальнейшее направление литературной деятельности Карамзина. После воцарения Александра I и смягчения цензурного режима Карамзин в 1802 г. приступил к изданию литературного журнала «Вестник Европы», в котором появляется ряд его исторических статей. Среди них известная «Марфа Посадница», «Исторические воспоминания и замечания по пути к Троице», «О случаях и характерах в российской истории, которые могут служить предметом художества», «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» и другие. Еще до того, в 1801 г., было написано его похвальное слово Екатерине II.

Что́ представляли собой исторические воззрения Карамзина на этом этапе, накануне его обращения к писанию «Истории государства Российского»?

Карамзин остался верен политико-назидательной и художественно-литературной тенденции. Усиление первой было непосредственным отражением реакции Карамзина на политические события пережитой эпохи: с одной стороны, события французской буржуазной революции, вскрывшие глубокие социальные противоречия в общем процессе исторического развития, с другой — их отражение в России, осложненное дальнейшими политическими противоречиями Павловского царствования с его конфликтами между властью и дворянством, грозившими поколебать дворянский идеал просвещенного абсолютизма. История выступала в тесной, непосредственной связи с политикой и публицистикой. Похвальное слово Екатерине II, написанное Карамзиным, было не столько исторической оценкой ее деятельности, сколько примером и материалом для поучительных наставлений Александру I. Та же политико-публицистическая тенденция звучит в описании Московского восстания 1648 г.: «Историк строгим саном своим обязан казаться иногда жестокосердым, и должен осуждать то, что ему как человеку любезно... Отирая сладкие слезы свои, он скажет, что здравая политика, основанная на опытах и знании человечества, предписывала царю Алексею Михайловичу совсем иные способы утушить мятеж»[2]. При этом с полной определенностью выступил теперь его политический консерватизм в соединении с национализмом.

[1] *Погодин*, Н. М. Карамзин, ч. 2, Спб. 1866, стр. 4.
[2] Цит. по *Погодину*, Н. М. Карамзин, ч. 2, стр. 14.

Карамзин пытается показать, что история России «может быть предметом вдохновений артиста и сильных действий искусства на сердце» [1]. В статье о Марфе Посаднице он требует, «чтобы когда-нибудь искусное перо изобразило нам галлерею россиянок, знаменитых в истории или достойных сей чести»; «ум внимательный, одаренный *исторической догадкою*, может дополнить недостатки соображением»; «умный живописец-автор может в легких чертах представить их личные характеры с хорошей стороны и без лести» [2].

Так определялись интересы и задача, с которыми Карамзин обращался к созданию русской истории, которую он рассчитывал в какие-нибудь пять лет довести до XVII в., до воцарения Романовых. Чтобы обеспечить себе материальную возможность для этой работы, Карамзин обратился к Александру I с просьбой о назначении его историографом (подобно Миллеру и Щербатову) с соответствующим жалованьем и официальным правом на получение необходимых исторических источников. Указом 31 октября 1803 г. эта просьба Карамзина была удовлетворена, и началась его работа над «Историей государства Российского». Она продолжалась до смерти Карамзина. Он умер в 1826 г., не успев докончить XII том. Его первоначальный план был шире: он собирался довести историю до конца XVII в.: такой план был когда-то и у Щербатова. По мере того как работа затягивалась, эти планы были ограничены, и он хотел уже довести «Историю» только до начала дома Романовых, — это был конечный план Щербатова, его «История» оборвалась несколько раньше, на 1612 г.

Работа над «Историей государства Российского» шла очень интенсивно и в отношении подбора источников и в части писания самого текста. Уже к 1811 г. было написано около 8 томов, но события 1812—1813 гг. временно оборвали работу Карамзина над «Историей государства Российского», и лишь в 1816 г. он смог поехать в Петербург, имея уже 9 томов, и приступил к изданию первых 8 томов, как законченной цельной части своей «Истории».

В это время Карамзин подвел итоги своим взглядам на историю, ее метод и задачи в предисловии к первому тому. Но и на новом этапе, в 1816 г., после того как Карамзин сделался специалистом-историком, — по выражению Вяземского, «постригся в историки», — после того как он вплотную, практически занялся работой над историей, познакомился с новейшими историческими работами вплоть до Шлецера, сам прошел через работу над обширным кругом исторических источников, — эти взгляды представляли лишь дальнейшее развитие его первоначальных исходных позиций.

---

[1] *Карамзин*, Соч., т. III, изд. М. Смирдина, Спб. 1848, стр. 551.

[2] *Погодин*, Н. М. Карамзин, ч. 2, стр. 10—11. (Курсив автора. — *Н. Р.*)

Исторические взгляды Карамзина

Предисловие к «Истории государства Российского» возвращает нас к историческим взглядам «Писем русского путешественника», к типичной исторической концепции XVIII в.:

«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству... — так начинает Карамзин свою «Историю». — Правители, законодатели действуют по указаниям истории... Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество, и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление... Но и простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей... утешает в государственных бедствиях... она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества. — Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума» [1].

Итак, на первом месте поставлена политико-назидательная задача; история для Карамзина служит нравоучению, политическому наставлению, а не научному познанию. Самому нравоучению придано при этом резко реакционное содержание в соответствии с окончательно оформившимися политическими воззрениями автора: это — утверждение сильной монархической власти и борьба с революционным движением; это — реакция против французской буржуазной революции и в политике и в науке.

Живописность, искусство — таков второй элемент, характеризующий исторические взгляды Карамзина. Несмотря на ряд оговорок, в которых он платит дань новому времени, автор отстаивает свою основную мысль: история России богата героическими яркими образами, она — благодарный материал для художника. Показать ее в красочном, живописном стиле — основная задача историка; его средства — «порядок, ясность, сила, живопись»; в истории искусство должно «ознаменовать себя приятным для ума образом» [2].

Более откровенный в своей переписке, Карамзин в ней с еще большей определенностью применяет художественную мерку к историческим явлениям. В 1811 г., заканчивая XV век, он писал Дмитриеву: «Работаю усердно, и готовлюсь описывать времена Ивана Васильевича! Вот прямо исторический предмет! Доселе я только хитрил и мудрил, выпутываясь из трудностей. Вижу за собой песчаную степь Африканскую, а перед собою величественные дубравы, красивые луга, богатые поля и пр.» [3] Как художник

[1] *Карамзин*, История государства Российского, т. I, изд. Евдокимова, Спб. 1892, стр. IX.

[2] Там же, стр. XII.

[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, т. II, Спб. 1866, стр. 154.

мечтает он об истории Ивана Грозного: «Какой славный характер для исторической живописи! жаль если выдам историю без сего любопытного царствования. Тогда она будет как павлин без хвоста» [1].

Это не высокая художественная образность конкретного восприятия, а литературно-живописующая манера риторического направления в истории, созданная XVIII в.

Так определенной задаче историка соответствует и понимание самых исторических явлений. И если влияние передовой европейской мысли конца XVIII в. еще находило в то время известный отзвук у Карамзина в требовании «философского ума» в рассмотрении истории, то теперь торжество реакции против идей французской революции возвращает Карамзина к чистому прагматизму. Подобно Щербатову, Карамзин избирает своим образцом Юма: «Англичане славятся Юмом... и справедливо». Прагматика в противопоставлении философскому размышлению, — так обосновывает свой выбор сам Карамзин. «Историк рассуждает только в объяснении дел, там, где мысли его как бы дополняют описание... Искусное повествование есть *долг* бытописателя, а хорошая отдельная мысль *дар*... Не так ли думал и благоразумный Юм, иногда весьма плодовитый в изъяснении причин, но до скупости умеренный в размышлениях? Историк, коего мы назвали бы совершеннейшим из новых...» [2]

Этот прагматизм Юма был лишь выражением того же рационализма XVIII в. в трактовке исторического процесса, ставившего во главу угла историческую личность как двигателя исторического развития, выводившего это развитие из воззрений отдельного человека и его действий, но решительно чуждого самой идеи закономерности исторического развития, принесенной в историю наукой XIX в.

Итак, все основные элементы в понимании истории взяты Карамзиным из XVIII в., отражают предшествующий этап в развитии истории. Но историческая наука прошла уже значительный путь, и, конечно, нельзя было вовсе обойти две основные проблемы исторической науки, к разрешению которых через наследие прошлого настойчиво пробивалась историческая мысль, — проблему источника и проблему исторического синтеза; XVIII век уже дал Шлецера и Болтина.

Карамзин не мог полностью пройти и мимо того нового воззрения на историю, как на подлинную науку, которая полностью утверждается в исторической науке XIX в. Отсюда, столь далекое от действительного содержания его «Истории», от всего духа его «Введения» утверждение, что «история не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действитель-

---

[1] *Погодин*, Н. М. Карамзин, ч. 2, стр. 119.
[2] *Карамзин*, История, т. I, стр. XII—XIII.

ный мир». «Как естественная, так и гражданская история не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть могло» [1], — повторяет он и дальше. Практическую связь с новой наукой отражает расширение конкретного содержания на весь «состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусства, обычаи, законы, промышленность» [2]. Впрочем, и здесь более всего посчастливилось истории культуры в тесном смысле слова.

Другое конкретное отражение новые течения в науке получили у Карамзина в его отношении к источнику.

«История» и ее источники

Критика источника и требование обоснования своего изложения документальным материалом,— таково было основное завоевание исторической науки в России от Миллера до Шлецера. Плодом этой деятельности было создание Московского архива, положившего начало широкому собиранию и публикации исторических памятников, а с начала XIX в. быстрое развитие научной археографической работы, связанной с такими именами, как Бантыш-Каменский, Калайдович, Строев и др. Карамзин признал этот факт в развитии исторической науки. «Третий род (истории) есть самый ограниченный для таланта: нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя вопрошать мертвых; говорим, что передали нам современники; молчим, если они умолчали, — или справедливая критика заградит уста легкомысленному историку, обязанному представлять единственно то, что сохранилось от веков в летописях и архивах» [3].

Но здесь наступало противоречие между требованием научной документации и литературно-художественным направлением. Карамзин нашел этому противоречию своеобразное разрешение, разделив свою историю на две самостоятельные части. Основной текст — литературное повествование — сопровождался в приложениях самостоятельным текстом документальных примечаний.

С именем Карамзина и его «Историей» связана публикация, введение в научный оборот значительного числа исторических памятников. Следуя духу времени, Карамзин использует свои личные связи, сносится с московским и другими архивами, обращается к крупным библиотечным фондам, прежде всего в Синодальную библиотеку, прибегает и к частным хранилищам, например к фондам Мусина-Пушкина, и выписывает, точнее извлекает оттуда те новые документы, о которых впервые читатель узнавал от Карамзина. Среди этих документов и новые летописные списки, например Ипатьевский свод (по терминологии Карамзина — Киевская и Волынская летописи), впервые использованный Карамзиным; многочисленные юридические памятники — «Кормчая

[1] *Карамзин*, История, т. I, стр. X и XII.
[2] Там же, стр. XIII.
[3] Там же, стр. XII.

книга» и церковные уставы, Новгородская Судная грамота, Судебник Ивана III (Татищев и Миллер знали только царский Судебник), «Стоглав»; используются литературные памятники — на первом месте «Слово о полку Игореве», «Вопросы Кирика» и др. Расширяя, вслед за Щербатовым, использование записок иностранцев, Карамзин и в этой области привлек впервые много новых текстов, начиная с Плано-Карпини, Рубрука, Барбаро, Контарини, Герберштейна и кончая сказаниями иностранцев о смутном времени. Результатом этой работы и явились те обширные примечания, которыми Карамзин снабдил свою «Историю». Они особенно обширны в первых томах, где примечания по объему обширнее самого текста «Истории». Первый том содержит 172 страницы, а примечания к нему составили 125 страниц петита, во втором томе на 189 страниц текста приходится 160 страниц примечаний, также петитом и т. д.

Эти примечания состоят, главным образом, из выдержек из источников, изображающих те события, о которых рассказывает Карамзин в своей «Истории». Обычно даются параллельные тексты из нескольких источников, прежде всего и главным образом разные списки летописей. Это огромное количество документального материала сохранило свою свежесть в ряде случаев до конца XIX в., тем более, что некоторые списки и памятники, которыми пользовался Карамзин, погибли во время московского пожара 1812 г. или от других стихийных бедствий. К примечаниям Карамзина долго продолжал обращаться историк, уже перестав читать его «Историю»; ценность этих примечаний совершенно бесспорна.

Надо оговорить, что в самой работе по розыску и обработке этих документов значительную роль сыграли выдающиеся деятели русской археографии начала XIX в. Им и принадлежит значительная доля указанной заслуги «Истории» Карамзина. Из переписки Карамзина с Калайдовичем, с директором архива Малиновским, со Строевым видно, что новооткрытые памятники, использованные в Карамзинской «Истории», в значительной части — их находки. Они не только высылают ему дела, представляющие ценность и важность для этого периода, но и сами, по его поручению, делают подбор документов, выборку и систематизацию чернового подготовительного материала к заданной теме или вопросу.

Но Карамзин не ограничивается в своих примечаниях одним формальным воспроизведением источника. Примечания Карамзина свидетельствуют о том, что его длительная и углубленная работа над документальным материалом, его обширные, исторические познания поставили его в известной мере в уровень с требованиями критического метода, принесенного Шлецером в историческую науку. Историк русского летописания Приселков отметил тонкое критическое чутье Карамзина в отборе использованных им летописных текстов — Ипатьевской, Лаврентьевской,

Троицкой [1]. Его примечания о составе Русской Правды, о церковных уставах Владимира и Всеволода, частое сопоставление разных исторических источников для разрешения отдельных научных контроверз сообщают примечаниям Карамзина не только археографическое, но и историческое значение. Не случайно к мнению Карамзина прислушивались в спорных вопросах специалисты-археографы.

И все же в общей системе исторических взглядов Карамзина, в общем построении его «Истории» весь этот источниковедческий, критический аппарат сохраняет чисто формальный, отсылочный характер.

Карамзин в примечаниях дает выписки из источников, изображающих те события, которые он описывает в своей истории. Но при этом тот самый критический материал, который содержится в примечаниях, остается неотраженным в самой «Истории», остается за рамками повествования. В плане последнего Карамзину важны не критика источников и раскрытие внутреннего содержания явлений. Он берет из источника только факт, явление само по себе. Этот разрыв между примечаниями и текстом переходит иногда и в прямое противоречие, так как эти две части работы Карамзина подчинены двум разным принципам или требованиям. Так, в самом начале своей «Истории», обойдя этногенетические вопросы в кратком очерке, как это сделал уже Щербатов, он подошел к объяснению имени славян: «...под сим именем, достойным людей воинственных и храбрых, ибо его можно производить от славы» [2], — таково положение Карамзина. А в примечании 42-м к этому тексту дается научная контроверза и фактическое опровержение этого толкования. Но, опровергнутое критикой, оно утверждается повествованием, как согласное с художественным образом, создаваемым писателем. Так же дан и вопрос о призвании варягов. Если в примечании намечена критика легенды о Гостомысле, то художественные задачи повествования вводят его в текст, как «достойного бессмертия и славы в нашей истории». Критика текста вообще не переходит у Карамзина в критику легенды; легенда, напротив, — самый благодарный материал для художественного украшения рассказа и для психологических рассуждений.

Трактовка исторического факта

Исторический факт — элемент прагматического повествования. И если примечания имеют целью в известной мере научное установление факта, то историческое повествование занято только его психологическим объяснением. В духе прагматизма XVIII в. Карамзин заменяет размышление над внутренней природой явлений, к которому подошел уже Болтин, «плодовитостью в изъяснении при-

[1] В частности «История» Карамзина остается одним из важных источников для восстановления этого ценнейшего, но, к сожалению, утраченного свода.

[2] *Карамзин*, История, т. I, стр. 11.

чин», за которую он, как и Щербатов, хвалит Юма. Вернее даже, для Карамзина вопрос не в самой причине данного события. Само событие служит ему лишь отправной точкой, внешним поводом, идя от которого он развивает свои психологические характеристики и морализирующие и сентиментальные рассуждения; люди и события — тема для литературного поучения. И при этом, также в духе психологического прагматизма XVIII в., эти рассуждения ведутся, конечно, в соответствии с представлениями и воззрениями самого автора и его эпохи.

Так, изложив в современной литературно-риторической передаче летописный рассказ об убийстве Аскольда и Дира Олегом, автор снабжает его в тексте своим политико-морализирующим комментарием: «Простота, свойственная нравам IX века, дозволяет верить, что мнимые купцы могли призвать к себе таким образом владетелей Киевских; но самое общее варварство сих времен не извиняет убийства жестокого и коварного» [1].

С той же обстоятельностью воспроизводится и весь летописный рассказ о пребывании Ольги в Византии. И здесь автору потребовалось лишь психологическое объяснение ничтожности денежного подарка, полученного русской княгиней: «Хотя тогдашние государи российские не могли еще быть весьма богаты металлами драгоценными; но *одна учтивость*, без сомнения, заставила великую княгиню принять в дар шестнадцать червонцев» [2].

Психологизм для Карамзина не только средство объяснения фактов, но и самостоятельная литературная тема, характер литературного стиля. Исторический факт превращается в психологический сюжет для литературного творчества, уже нисколько не связанного документальным обоснованием. Для примера можно привести рассказ о смерти Всеволода: «Всеволод, огорчаемый бедствиями народными и властолюбием своих племянников, — которые, желая господствовать, не давали ему покоя и беспрестанно требовали уделов, — с завистию вспоминал то счастливое время, когда он жил в Переяславле, довольный жребием удельного князя и спокойный сердцем» [3]. Описание превращается в сентиментальную повесть в духе буколических идиллий, в мечты о личном счастье в скромной доле. Психологическая характеристика становится чисто механическим литературным приемом, так что иногда сама вступает в противоречие с основной психологической темой. Так, Святополк Изяславич, подготовляющий предательское ослепление Василька, называется «ласковым» Святополком [4].

С другой стороны, психологизм исторической науки XVIII в., как указано, связан с рационализмом, с ее основной концепцией, которая делает историческую личность ведущей действующей си-

[1] *Карамзин*, История, т. 1, стр. 83.
[2] Там же, стр. 113. (Курсив мой. — *Н. Р.*).
[3] Там же, стр. 67.
[4] Там же, стр. 81.

лой истории, а в самой исторической деятельности видит осуществление своего политического идеала.

Психологическое повествование определяет основную связь между событиями; политическая схема определяет общее содержание исторического процесса. Как у Татищева или потом у Щербатова, его содержание дано не развитием самих исторических событий, а внешним раскрытием политической идеи самого автора.

Общая концепция русской истории

Политическая концепция самого Карамзина в своем законченном виде формулируется им уже как политический итог двадцати лет бурных событий европейской истории, отмеченных на Западе французской буржуазной революцией и наполеоновскими войнами, а в России — демократической проповедью Радищева, Павловским режимом, наконец, политикой Тильзита и реформами Сперанского. Это было двадцать лет борьбы между старым, феодальным, и новым, буржуазным, порядком. Отражая идеалы старой, дворянской, России, Карамзин защищает традицию XVIII в., идущую от Татищева и Щербатова.

Свою историко-политическую программу Карамзин изложил во всей полноте в «Записке о древней и новой России», поданной в 1811 г. Александру I в качестве дворянской программы и направленной против реформ Сперанского. Эта программа, вместе с тем, подводила в какой-то мере итог и его историческим занятиям, в которых Карамзин достиг уже до конца XV в.

Российское единодержавие — таков первый элемент историко-политической концепции Карамзина. «Самодержавие основало и воскресило Россию». «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием»[1]. Это—Татищевская схема «совершенного единовластительства» от Рюрика до Мстислава, которое сменяет «аристократия или паче расчлененное тело», и, наконец, восстановление «совершенной монархии» при Иване III. Эту идею Карамзин развил и в своей «Истории», подводя итог истории древней Руси перед княжением Ивана III. «Было время, когда она (Россия), рожденная, возвеличенная единовластием, не уступала в силе и в гражданском образовании первейшим Европейским державам». Но за этим последовало «разделение нашего отечества и междоусобные войны». «Нашествие Батыево ниспровергло Россию»[2]. Наконец, Иван III восстановил единовластие: «Отселе история наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяния царства, приобретающего независимость и величие»[3].

Но на протяжении столетия эта монархическая схема осложнилась новым элементом. За это время согласие между монархией

[1] *Карамзин*, Записка о древней и новой России, Спб. 1914, стр. 10 и 47.
[2] *Карамзин*, История, т. V, стр. 213—215.
[3] Там же, т. VI, стр. 5.

и дворянством временами нарушалось. Пошатнулись и социальные позиции дворянства, напряженно отстаивавшего свои привилегии. Историческое обоснование монархии дополняется историческим обоснованием дворянских прав и привилегий, притом именно родовой знати, аристократии. Это превращение татищевской схемы начато уже Щербатовым в условиях социально-политического кризиса, пережитого дворянством во второй половине XVIII в., накануне французской буржуазной революции. В этом переработанном виде, через Щербатова, принял и развил ее Карамзин в условиях обострения кризиса, обозначившегося французской революцией на Западе, реформами Сперанского и назреванием движения декабристов в России.

«Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья; из сего не следует, чтобы государь, единственный источник власти, имел право унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия»[1]. И Карамзин ссылается на положение Монтескье: «Без монарха — нет дворянства, без дворянства — нет монарха»[2]. «Дворянство и духовенство, Сенат и Синод, как хранилище законов, над всеми — государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание Российской монархии»[3], — таков итог политической программы Карамзина. Рядом с политическим правом дворянства как участника власти монарха стоит неотъемлемость его земельных прав (земля «есть собственность дворянская») и его крепостнические права. Монархия Щербатова и Карамзина — это дворянская монархия. Дворянство и крепостничество — опора самодержавия: «безопаснее поработить людей, нежели дать им не во-время свободу» [4].

Отсюда исторический национализм, идеал консервативной традиции, противопоставляемый и Щербатовым и Карамзиным буржуазной революционности Западной Европы; это было противопоставлением российского самодержавия «ужасной французской революции», которая «погребена», и современной конституционной монархии, представляющей, по Карамзину, «право без власти», тем самым обращенное в «ничто» [5]. Здесь политические корни отказа от философского направления и его космополитизма, который представляется теперь в сугубо конкретных и осязаемых явлениях европейской жизни. Татищев еще требовал полного приобщения к западной культуре. «Все народное ничто перед человеческим», — писал Карамзин в 1790 г. Теперь он боится уже этого европейского влияния. Петр, насаждая просвещение, «захотел сделать Россию — Голландиею». «Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами Рос-

[1] *Карамзин*, Записка, стр. 126.
[2] Там же, стр. 127.
[3] Там же, стр. 131.
[4] Там же, стр. 83.
[5] Там же, стр. 47 и 49.

сии. Виною Петр»[1]. Эта схема в целом являлась утверждением консерватизма, отрицанием всякой реформы, всего нового, т. е. самого принципа исторического развития, теории прогресса, утверждаемой передовой, исторической мыслью уже с конца XVIII в.

Эта осложненная дворянской идеей монархическая концепция приводит к пересмотру ряда конкретных моментов новейшей истории России и их оценки. Переоценке прежде всего подвергся Петр I. Петр I исказил ход русской истории, изменил национальному началу, подорвал моральное влияние русского духовенства. Идеолог дворянства начала XIX в. полностью сошелся с своим предшественником Щербатовым, начавшим с Петра I историю «повреждения нравов в России». Одинаково для обоих это противоречие старого и нового воплотилось в противопоставление Москвы, представляющей национальную традицию, и Петербурга, носителя насильственной европеизации. Это гениальное дело Петра для Карамзина лишь «блестящая ошибка», обреченная на неудачу — «человек не одолеет натуры». И здесь Карамзин непосредственно примыкает к «Путешествию в землю Офирскую» Щербатова.

Вслед за дворянским публицистом Екатерининского царствования Карамзин подвергает критике и Екатерину II, хотя и более сдержанно, имея за собой определенную историческую перспективу. Но основная тема та же: фаворитизм, нарушивший право дворянства на соучастие во власти. «Нравы более развратились»,— говорит Карамзин, как и Щербатов. Поэтому он говорит, что в государственных учреждениях Екатерины мы видим «более блеска, нежели основательности», а хваля ее достоинства, «невольно вспоминаем ее слабости и краснеем за человечество» [2].

Наконец, перенося этот дворянско-монархический принцип на события более отдаленного прошлого, Карамзин в свете конфликта царя с дворянством рассматривает царствование Ивана Грозного, повторяя Щербатова в своей отрицательной оценке его деятельности.

Периодизация истории России

Развивая в общей историко-политической концепции дворянскую концепцию Щербатова, Карамзин следует за ним в основном и в конкретном развитии общей исторической схемы своей «Истории государства Российского».

Как историко-политическая концепция Карамзина представляла скрещение монархической концепции Татищева и дворянской Щербатова, так в известной мере и в конкретной периодизации, данной Карамзиным, сохранились отзвуки отдельных положений исторической литературы XVIII в. Но, в конечном счете, все это были лишь варианты одной концепции, а «История» Карамзина лишь суммировала и объединила эти варианты.

---

[1] *Карамзин*, Записка, стр. 28.
[2] Там же, стр. 40.

При этом самое усложнение темы и материала практически затрудняло его подчинение более жесткому единству схемы. Это привело уже Щербатова к принятию в качестве основы условного и внешнего разделения материала по схеме Степенной книги. И в этом отношении Карамзин последовал за ним.

В своем «Введении» к «Истории» Карамзин начал с критики шлецеровской периодизации, предложив взамен свою, более обобщенную. Он предлагает разделить историю России на три периода: древний—от Рюрика до Ивана III, средний — до Петра I и новый — послепетровский [1]. Это деление как будто звучит более современно, как перенесение на нашу историю периодизации всеобщей истории. Но эта связь с всемирной историей только кажущаяся. Достаточно вспомнить, что древний период — это период от Рюрика до Ивана III, т. е. так называемый удельный период, чтобы понять, что с древним периодом всеобщей истории он ничего общего не имеет.

Это деление Карамзина сугубо условное, и идет оно, как все периодизации XVIII в., от истории русского единодержавия. Периодизация Карамзина начинается с Рюрика, т. е. с образования государства, как предлагал и Шлецер. В истории государства — это, по Карамзину, удельный период, так как разделение на уделы началось уже с Рюрика, когда русская земля разделилась между тремя братьями — Рюриком, Синеусом и Трувором; так же раздавались земли и города боярам и князьям «под Ольгом сущим». С Ивана III для Карамзина, как и для других историков XVIII в., начинается история единодержавия в России. Наконец, с Петра начинается новейший период — история «преображенной России», по Шлецеру.

Новым и несколько неожиданным в этой периодизации является определение первого периода, в котором слиты два периода первоначальной схемы, вернее, выпал ее первый период, обозначавшийся как начальный период единодержавия в Киевской Руси. Но надо сказать, что эта мысль, отраженная в «Предисловии», не нашла последовательной реализации в «Истории» Карамзина. Частичное развитие она получила только в общей характеристике этого периода, как начального периода с господством примитивных, варварских отношений. Это была одна из проблем, вызвавших оживленную полемику уже в исторической литературе XVIII в. Щербатов, Шлецер, за ними, уже в XIX в., Эверс давали картину последовательного развития древней Руси, история которой начинается варварским периодом и лишь в XV в. осуществляет их политический идеал в Московском государстве Ивана III. К этой схеме примкнула и указанная характеристика Карамзина. Но, примкнув к ней, Карамзин далеко не остался последовательным в ее проведении, и глубоко заблужда-

[1] *Карамзин*, История, т. I, стр. XIII—XIV.

ются те историки, которые безоговорочно относят Карамзина к указанному направлению. Приведенной схеме в XVIII в. противостояла схема Татищева, объявившего единодержавие исконным началом русской истории и видевшего уже в Киевской Руси воплощение «совершенного единовластительства», нарушенного лишь вторым, удельным, периодом, временно разорвавшим единство Российского государства. Эту идею подхватил и распространил, во имя национальной гордости, Ломоносов. Схему Татищева принял и Карамзин и с этой схемой принял положение, что «Россия основалась... единоначалием».

Отсюда попытка Карамзина эклектически примирить получившееся противоречие. Да, говорит он, мы застаем нашу страну в состоянии младенчества «и не должны его стыдиться», но «отечество наше, слабое, разделенное на малые области... обязано величием своим счастливому введению монархической власти»[1]. «Основанная, возвеличенная единовластием», «Русь Владимира и Ярослава «шагнула», так сказать, в один век от колыбели своей до величия»[2].

Преодолев, таким образом, основную принципиальную трудность, порожденную совмещением двух исторических концепций, Карамзин в непосредственном конкретном расчленении материала, в детализации своей периодизации уже не сталкивался с такими принципиальными трудностями и мог спокойно последовать за Щербатовым, давшим ему наиболее полную и систематизированную сводку по истории России и историческую схему, всего лучше согласуемую с общей им обоим прагматичностью исторического повествования.

Правда, следуя принципу, сформулированному еще во «Введении» к первому тому, — быть «весьма плодовитым в изложении причин, но до скупости умеренным в размышлениях»[3], — Карамзин не дает отчетливо более дробной периодизации. Но если мы подойдем к «Истории государства Российского» так, как в своем месте подошли к «Истории» Щербатова, и посмотрим, как практически делится материал на книги и главы, то легко восстановим всю конкретную периодизацию, которая окажется весьма близкой к Щербатовской.

Это совпадение выступает прежде всего в первичном делении на главы: как и у Щербатова, главы отвечают великим княжениям; взятое из Степенной книги, это деление перешло целиком к Карамзину и впоследствии сохранило значительную устойчивость в исторической литературе.

Показательнее в своем совпадении деление по томам. В первом томе Карамзин, после краткой характеристики источников и беглого очерка древнейшего периода (как и у Щербатова), историю

[1] *Карамзин*, История, т. I, стр. 67.
[2] *Карамзин*, История, т. II, стр. 39.
[3] *Карамзин*, История, т. I, стр. XIII.

начал с образования государства, т. е. с Рюрика, и закончил расцветом Киевской Руси при Владимире Святославиче — крещением Руси, т. е. тем же княжением Владимира, которое составляло грань I и II томов «Истории» Щербатова.

Разгромом Киева в 1169 г. и перенесением столицы во Владимир закончил Карамзин свой II том; этой же датой закончил Щербатов 5-ю книгу II тома. Новой столицей обозначается и новый период русской истории. Только промежуточная дата удельного раздробления после Ярослава, хотя и отмеченная в тексте 4-й главы II тома, так и осталась затерянной в общем рассказе и не введенной в основное деление материала.

Как и Щербатов, даже больше, чем он, подчеркнул Карамзин роль татар в истории России; это сказалось на дальнейшей периодизации у обоих. Завоевание Батыя—третья определяющая дата русской истории: 1238 годом кончается III том «Истории» Карамзина и II том Щербатова. 1362 годом кончается IV том, и великим княжением Дмитрия Донского начинается V том «Истории» Карамзина; княжением Дмитрия Донского начинается и IV том Щербатова.

Схемы отчасти разошлись на Иване III. Щербатов передвинул грань к Ивану IV; Ивана IV выделяла Степенная книга, с ним русский князь получил титул царя и утвердил свое международное значение. Карамзин вернулся здесь к схеме Татищева и Ломоносова и, связав восстановление единодержавия со свержением татарского ига, отнес его к Ивану III. Торжественным хвалебным словом Ивану III начинается VI том «Истории» Карамзина. Близкий по времени к «Записке», он уже противопоставляет Ивана III Петру I, восхваляя национальный характер политики первого.

Впрочем, дальше, на Иване IV, схемы Карамзина и Щербатова опять сошлись; их объединила дворянская симпатия к боярской оппозиции самовластию Ивана Грозного. Основное положение Щербатова — правление Ивана IV было благодетельным, пока он слушался боярского совета; его ненормальная жестокость и беспочвенная подозрительность привели к устранению добрых советников и к гибельным для России последствиям опричнины. Это положение полностью принято Карамзиным: как и у Щербатова, история царствования Ивана IV разделена у Карамзина на две половины 1558 годом; две части V тома Щербатова превратились у Карамзина даже в два самостоятельных тома (VIII и IX); у обоих царствование Федора и конец династии определяют рамки следующего тома. Последние два тома должны были составить историю «смуты».

Отражение идей XIX в. в исторической схеме Карамзина

Как в вопросах источниковедения, так и в трактовке исторических явлений Карамзин не мог, однако, полностью уйти от новых явлений в исторической науке XIX в., сказывающихся в последовательном обращении от внешней схемы к попыткам раскрытия реальной внутренней связи исторических событий.

К постановке этой проблемы подошел современник Карамзина Эверс. Но, как и к другим вопросам своего времени, Карамзин подошел и к этой проблеме внешне, скорее отрицательно, стремясь подвести ее под старую схему XVIII в. и подчинить последней.

Новым является при этом то, что Карамзин не довольствуется простым воспроизведением схемы, заимствованной у Татищева, а ищет объяснения устанавливаемой смены политических форм, пытается установить те исторические силы, те конкретные условия, которые определяли эти изменения. Но при этом самый характер принятой схемы закрывает путь к решению поставленной задачи. Внутренняя связь берется из самой схемы, характеристика исторического процесса превращается в его объяснение, история народа с предельной последовательностью превращается в историю государства. «Мы хотим обозреть весь путь государства российского от начала до нынешней степени оного», — такова тема русской истории по Карамзину. Отсюда смена политических форм превращалась в разрыв внутренней связи между историческими явлениями, а самый разрыв заполнялся внешними явлениями и фактами, которые обращались в объяснение явлений.

Так, факт призвания варягов превратился по сути дела в идею варяжского происхождения Киевского государства, несмотря на противоречие этой идеи всему националистическому направлению «Истории» Карамзина.

Таким же образом татарское завоевание превратилось в источник возрождения русского единодержавия, в спасительную силу русской истории. «Нашествие Батыево ниспровергло Россию... Дальнейшее наблюдение открывает и в самом зле причину блага, и в самом разрушении пользу целости» [1]. Внутреннее развитие страны вело ее к политической гибели: «Могло пройти еще сто лет и более в княжеских междоусобиях: чем заключились бы оные? вероятно, погибелию нашего отечества... Москва же обязана своим величием ханам»[2].

Поиски внутренней закономерности завершились ее фактическим отрицанием, потому что проблема XIX в. решалась с идеологических позиций XVIII в.

Отражение нового понимания истории исследователи пытались увидеть иногда в высказываниях Карамзина о феодализме, в его сопоставлении феодального и поместного строя. Но и в этих случайных упоминаниях не было даже того содержания, которое вложил в это сопоставление еще Болтин. Карамзин и здесь пошел не за Болтиным, предварявшим уже в известной мере научную мысль XIX в., а за Щербатовым. И если можно говорить в какой-то мере о сопоставлении исторического развития России и Западной

[1] *Карамзин*, История, т. V, стр. 227.
[2] Там же, стр. 235.

Европы, то оно превращалось скорее в противопоставление, притом такое же внешнее, как и вся историческая схема Карамзина.

Единственным реальным отражением нового направления в общем строе Карамзинской истории остается выделение специальных глав, посвященных «состоянию России» за каждый отдельный период ее истории. В этих главах читатель выходил за рамки чисто политической истории и знакомился с внутренним строем, экономикой, культурой и бытом. С начала XIX в. выделение таких глав становится обязательным в общих работах по истории России, появляющихся в XIX в. Впрочем, и это в зародыше отражено уже у Щербатова, а с другой стороны, у самого Карамзина занимает более чем скромное место в общем содержании его «Истории».

Карамзин и современники. Историографические итоги

В чем же было реальное значение «Истории» Карамзина, почему она вызвала такие оживленные отклики у современников, отразивших тем самым ее несомненную популярность? И откуда, наконец, то противоречие в оценках, которое неизбежно бросается в глаза? Сопоставление этих оценок позволит нам ответить на поставленный вопрос.

Прежде всего обращает на себя внимание самый факт чрезвычайной популярности «Истории» Карамзина, ее исключительно быстрое распространение. Первое издание Карамзинской «Истории», выпущенной значительным по тому времени тиражом в 3 000 экземпляров, было распродано в 25 дней [1].

«Все, даже светские женщины, — писал по этому поводу Пушкин, — бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную... Древняя Русь, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».

«Карамзин — наш Кутузов 12-го года, — писал и его друг, поэт Вяземский, — он спас Россию от нашествия забвения, возвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в 12-м годе».

Об этом же писал и Жуковский: «Историю Карамзина можно назвать воскрешением прошедших веков нашего народа. По сию пору они были для нас только мертвыми мумиями... Теперь все они оживятся, подымутся, получат величественный привлекательный образ».

Но рядом с этими восхвалениями громко раздаются критические отзывы. Эти отзывы исходят от специалистов-историков, младших современников Карамзина, представителей новой исторической науки XIX в. Каченовский, один из первых представителей научного направления XIX в., прямо говорил об отста-

---

[1] *Готье*, Памяти Карамзина, как историка, «Исторические известия», изд. Исторического общества при Московском ун-те, № 1, М. 1917, стр. 11. Здесь же собраны отклики на появление «Истории» (стр. 12—13).

лости методологических позиций Карамзина уже в статье, посвященной предисловию к первому тому «Истории Государства Российского»[1]. В 1829 г. в разборе ее двенадцатого тома, хотя и написанном в стиле панегирика, он метко указал основу порочности «Истории», которая давала даже не историю государства, а «историю государей», в которой «деяния государей» заменили «ход происшествий государственных». Так, по замечанию Каченовского, похождения Марины Мнишек «могут быть чрезвычайно занимательны в романе, казаться сносными в биографии», но едва ли «годятся для Истории *Государства* Российского»[2]. Еще определеннее высказался Полевой: «Карамзин есть писатель не нашего времени...» «Историю его мы не можем назвать творением нашего времени»[3]. От этой оценки Карамзина не мог уйти даже Погодин, из историков первой половины XIX в. ближе всех стоявший к карамзинскому направлению в истории и к политическому консерватизму «Истории» Карамзина. «Карамзин велик как художник, живописец... Как критик, Карамзин только мог воспользоваться тем, что до него было сделано... Как философ он имеет меньшее достоинство, и ни на один философский вопрос не ответят мне из его истории»[4].

Таковы две точки зрения на Карамзина. Но не так глубоко противоречие этих двух оценок, как иногда это представляется. Думается, что здесь не две точки зрения на один и тот же предмет, а что, высказывая столь различные суждения, люди, собственно, говорили о разных вещах, о разных сторонах деятельности Карамзина.

Это со всей наглядностью сказалось в высказываниях Пушкина, который наряду с приведенным признанием крупного значения «Истории» Карамзина в общей истории русской культуры дал ей еще другую, совсем иного характера оценку в своих известных эпиграммах. Одна из них дала оценку реакционности его политической идеологии:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Другая эпиграмма содержит оценку ее научно-исторического значения и вполне созвучна высказываниям Каченовского и Полевого:

Послушайте, я сказку вам скажу
Про Игоря да про его жену,

---

[1] *Каченовский*, От Киевского жителя к его другу, в журн. «Вестник Европы», ч. C, CIII и CIV.

[2] *Каченовский*, История Государства Российского, т. XII, в журн. «Вестник Европы», сентябрь—октябрь 1829 г., № 17—20, стр. 104 и 111.

[3] «Московский телеграф», 1829, ч. XXVII.

[4] «Московский вестник», ч. XII.

Про Новгород, про время золотое,
И, наконец, —про Грозного царя...
— И, бабушка, затеяла пустое!
Докончи нам «Илью Богатыря» [1].

Таким образом, заостряя несколько формулировку в стиле, свойственном эпиграмме, Пушкин, однако, вполне отчетливо осознавал ненаучность «Истории Государства Российского», ее литературный и зачастую даже, более того, — баснословный характер, связывающий «Историю» с былинным сказом об Илье Муромце.

Карамзинская «История» сыграла свою роль в развитии русской историографии. Он не только подвел итог исторической работе XVIII в., но впервые донес ее до читателя, который ни Татищева, ни Щербатова читать не мог. Карамзин написал свою «Историю» так, что ее стали читать все, даже «светские женщины», по словам Пушкина. Итоги исторических знаний XVIII в. были доведены до читающей публики, вошли в живой обиход; «ударяя на чувство», они воспитывали интерес к истории. Не одно поколение русских историков начало с Карамзина свое обращение к занятиям русской историей; с чтения его «Истории» начали и Погодин и Соловьев. Но вместе с тем историческая мысль успела уже уйти дальше, а Карамзин все еще смотрел в прошлое, в XVIII в. В этом смысле исторической науке XIX в. нечего было взять у него, ничего своего он в историческую науку не внес. Для науки его «История» уже устарела, когда вышла в свет.

Новая историческая наука требовала философского, критического изучения прошлого, она опиралась уже на философскую мысль XIX в., на критический метод новой буржуазной науки.

[1] Речь идет об упоминавшейся выше «сказке» об Илье Муромце, начало которой было напечатано во втором сборнике «Аглая».

Раздел III
ПЕРИОД БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ XIX в.

ГЛАВА 11
ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Классики марксизма-ленинизма: *Маркс*, Из критики философии права Гегеля. Критика философии государственного права Гегеля; в кн.: *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. I, стр. 513—626.—*Энгельс*, Философские памфлеты; в кн.: *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. II, стр. 105—187.—*Маркс* и *Энгельс*, Немецкая идеология, ч. 1—2; в кн.: *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. IV, стр. 1—540.—*Маркс* и *Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, в кн.: *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. V, стр. 483—513.—*Энгельс*, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, с прил.: *Маркс*, Тезисы о Фейербахе, Политиздат, М. 1940.—*Энгельс*, Развитие социализма от утопии к науке; в кн.: *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XV, стр. 503—547. — *Ленин*, Философские тетради. — *Его же*, К характеристике экономического романтизма, Соч., т. II, стр. 5—115. — *Его же*, Памяти Герцена, Соч., т. XV, стр. 464—469. — *Его же*, Три источника и три составных части марксизма, Соч., т. XVI, стр. 349—353.

Основная историографическая литература. *Плеханов, Г. В. (Бельтов)*, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, Гос. изд-во полит. лит-ры, М. 1938.—*Его же*, Очерки по истории материализма, Гос. изд-во полит. лит-ры, М. 1938.— *Горохов, Ф. А.*, Предисловие к «Философии истории» Гегеля; в кн.: *Гегель*, Соч., т. VIII, Соцэкгиз, М.—Л. 1935, стр. V—LXX.—О диалектическом и историческом материализме. Сборник статей, Гос. изд-во полит. лит-ры, М. 1939.— *Александров*, Г., Философские предшественники марксизма, изд. 2-е, доп., Госполитиздат, М. 1940. — *Вайнштейн, О. Л.*, Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней, Соцэкгиз, М.—Л. 1940. — *Fueter, Ed.*, Geschichte der neueren Historiographie, 3-te verm. Aufl., München—Berlin, Oldenburg 1936 (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, Abt. I).—*Виппер, Р.*, Общественные учения и исторические теории XVIII—XIX вв., «Основа», Иваново-Вознесенск 1925. Гл. IX. Органические теории (о Сен-Симоне). Гл. X. Социальная и историческая философия позитивизма (о Конте). — *Плеханов, Г. В.*,

Соч., т. X, XXIII, Гос. изд-во М.—Птг. (б. г.).— *Иконников, В. С.*, Опыт русской историографии, т. I, кн. 1 и 2, Киев 1891. — *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, изд. 3-е, Аверьянова, Спб., 1913. — *Пыпин, А. Н.*, Общественное движение в России при Александре I, изд. 5-е, «Огни», Птг. 1918 (Исследования и статьи по эпохе Александра I .— *Герцен, А. И.*, Письма об изучении природы; в кн.: Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной, в семи томах, т. IV, изд. Павленкова, Спб. 1905, стр. 163—316. — *Его же*, Дилетантизм в науке; там же, стр. 67—135. — *Чешихин-Ветринский*, Грановский и его время, изд. 2-е, Спб. 1905. — *Чернышевский, Н. Г.*, Очерки Гоголевского периода русской литературы; в кн.: *Чернышевский*, Полн. собр. соч., в 10 томах, т. II, Спб; 1906, стр. 1—277; то же, отдельным изданием: *Чернышевский, Н. Г.*, Очерки Гоголевского периода русской литературы, «Современник», 1855—1856, изд. 2-е, М. Н. Чернышевского, Спб. 1893.

Проблемы исторического развития в науке XIX в.

Французская буржуазная революция XVIII в. определила торжество новой капиталистической системы в Европе и тем самым дала новое направление развитию научной мысли.

Как указывалось выше, историческая мысль XVIII в., все настойчивее подходя к проблеме синтеза исторического процесса, искала, однако, ее разрешения в установлении общих начал, лежащих вне самих исторических явлений. Последние рассматривались как область индивидуальных человеческих действий, как непосредственный продукт индивидуальной деятельности. У рационалистов начиная с «Essai sur les moeurs» Вольтера и кончая «Esquisse des progrès de l'esprit humain» Кондорсе и работой Гердера «Ideen zur Philosophie der Menschengeschichte» утверждалась идея «развития разума», просвещения. Материалисты XVIII в. добавляли к этому внешнюю силу географической среды, механически соединявшуюся с рационалистическим по сути положением — «мир управляется мнениями». Как бы то ни было, исторический синтез лежал вне конкретной исторической действительности, вне исторического процесса; конкретное развитие последнего оставалось необъясненным.

В постановке проблемы развития и прогресса философское направление, получившее свое начало в исторических работах Вольтера, отражало в известной мере тот революционный кризис, который и получил свое завершение в буржуазной французской революции 1789 г. Неслучайно развитие философского направления связано с французским просветительством кануна революции. Но возникнув до революции, когда содержание классовых антагонизмов оставалось еще полностью нераскрытым, философское направление не было способно раскрыть сущность прогресса в действительном содержании исторического процесса. Теория прогресса XVIII в. создавала условную, логическую

схему развития, она давала объединение фактов в одном логическом ряду, в рамках данной системы отношений, но не могла объяснить изменения самой системы отношений, т. е. внутренний органический процесс развития в истории.

Ту проблему, к разрешению которой подходила историческая мысль, французская буржуазная революция поставила практически, фактом разрыва с прошлым и утверждения новой системы общественных отношений. Буржуазия, завоевавшая себе политическую власть, должна была обратиться к историческому обоснованию своих прав. Но это обоснование требовало уже иного понимания самой связи исторических явлений. Прежде всего надо было показать, что революция не была простым разрывом с прошлым, что она была необходимым следствием внутреннего развития, что новое гражданское общество органически выросло через революцию из прошлого в процессе исторического развития. Проблема закономерности развития, проблема истории утверждения буржуазного общества становилась центральной проблемой буржуазной науки.

«...Бурные революции, которыми сопровождалось падение феодализма, крепостничества, везде в Европе и особенно во Франции, все нагляднее вскрывали, как основу всего развития и его движущую силу, *борьбу классов*»[1], — писал Ленин в статье «Три источника и три составных части марксизма».

Историзм — такова основная черта новой буржуазной науки в период ее подъема. Историзм характеризует лучшее, что создала буржуазная научная мысль начала XIX в. «...в лице немецкой философии, английской политической экономии, французского социализма»[2], — то, что выделил в буржуазной науке XIX в. Ленин.

Английская политическая экономия в лице Адама Смита была самым зрелым плодом буржуазной экономической мысли, отражением в буржуазной науке нового сложившегося экономического порядка вещей. Смит в труде «Богатство народов», по характеристике Маркса, изучал «физиологию буржуазной системы»[3]. При этом сáмая теория политической экономии рассматривалась в связи с историей буржуазных экономических институтов (книга 3) и с историей экономических учений (книга 4).

Французские социалисты перед лицом назревавших новых классовых противоречий в условиях утвердившихся буржуазных отношений непосредственно подошли к проблеме социального развития. «Так как развитие классовых противоречий идет рука об руку с развитием промышленности, — писали Маркс и

---

[1] *Ленин*, Соч., т. XVI, стр. 352.
[2] Там же, стр. 349.
[3] *Маркс*, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. I, изд. 1936 г., стр. 8.

Энгельс, — то они, не находя в действительности материальных условий освобождения пролетариата, стараются найти социальную науку, социальные законы, чтобы создать эти условия» [1].

Немецкая классическая философия была первым философским обоснованием идеи исторического развития. Основу гегелевской философии Энгельс видит в стремлении в каждой области «...найти и указать проходящую через нее нить развития» [2]. Величайшая заслуга Гегеля, по словам Энгельса, «...состоит в том, что он впервые представил весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и пытался раскрыть взаимную внутреннюю связь этого движения и развития»[3].

Идея внутренней обусловленности и закономерности исторического развития становилась органическим элементом нового научного мировоззрения, созданного эпохой французской революции. Отсюда и борьба с идеями французской революции становилась возможной уже только на базе основного принципа исторической закономерности. В период наполеоновских войн, вызвавших против себя широкую волну национальных движений в Европе, историческое обоснование этих движений искали в том же принципе органичности исторического развития каждого народа. И хотя этот принцип получал истолкование в консервативном и даже реакционном смысле в борьбе с принципами буржуазного строя, распространявшимися из Франции, однако он опирался уже на новое понимание исторического процесса, на теорию закономерности внутренней жизни каждого народа.

Эта противоречивость в конкретном раскрытии проблемы исторического развития, это двойственное решение конкретных исторических вопросов свидетельствовали о методологической порочности буржуазной исторической науки, обусловленной идеалистическим пониманием самого исторического процесса.

Но независимо от того или иного решения этой проблемы, самый факт ее постановки является определяющим признаком науки XIX в. Постановка проблемы закономерности составляла несомненную заслугу буржуазной исторической науки эпохи ее подъема. При этом, именно в силу незавершенности внутреннего обоснования, новая философско-историческая мысль с самого начала раскрывалась в антагонизме двух исторических концепций, двух противоположных направлений в исторической науке XIX в.: одно стремится утвердить принцип развития, движения вперед, и потому прогрессивно, а другое делает ударение на зависимость от прошлого, т. е. смотрит назад, и потому реакционно. Нельзя, однако, рассматривать лишь первое направление как принад-

---

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. V, стр. 510.
[2] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XIV, стр. 639.
[3] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XV, изд. 1935, стр. 523—524.

лежащее науке XIX в., а во втором видеть не только по содержанию, но и по научному методу возврат к прошлому. Эти два различных направления развивались в рамках одной по существу системы буржуазной науки XIX в. И в том и в другом случае решается одна общая проблема — раскрытие закономерности исторического развития, понимание истории как единого внутренне обусловленного процесса. Вместе с тем, именно переход к прямому отрицанию всякой закономерности, отказ от всякого исторического синтеза, от самого понятия единства исторического процесса становится свидетельством внутреннего кризиса буржуазной исторической мысли. Буржуазная историческая наука во второй половине XIX в. отражает уже назревающий общий кризис буржуазной системы. В то же время проблема исторической закономерности получает законченное, подлинно научное обоснование в марксизме.

Основные элементы проблемы и их решение

Идея внутренне обусловленного развития является сложным понятием, которое может быть сведено к трем основным вопросам.

Проблема закономерности в понимании историка XIX в. означает прежде всего проблему внутренней связи исторических явлений между собой, их внутреннюю взаимообусловленность. Но понимание взаимообусловленности развивается буржуазной наукой в двух различных направлениях. С одной стороны, оно ведет к причинному объяснению исторического развития, к пониманию настоящего как естественного и необходимого результата прошлого. Утверждение объективной закономерности на место психологического, субъективного метода XVIII в. является тем прогрессивным, позитивным началом, которое превращает историю в точную науку. Но, вместе с тем, в формальном понимании самой объективности, на что указывал впоследствии Ленин, состоит внутренняя ограниченность буржуазной концепции, формально понимающей и самую причинную связь, сводящей ее в конечном итоге к причинной зависимости между отдельными элементами, а не к целостному и органическому процессу развития.

Причинному разрешению проблемы закономерности противостоит телеологическая интерпретация: причина, обусловливающая историческую деятельность, заменяется целью, подлежащей осуществлению в результате этой деятельности. Но отсюда получается, что цель предшествует самому развитию; она его определяет как идеал, неизбежно получающий субъективный, произвольный характер. Эта телеологическая интерпретация подчиняет реальный исторический процесс абстрактной идее. Крайнее выражение эта концепция получает в идее народного духа романтической историографии.

Попытку преодоления этого дуализма представляла гегелевская философия истории с ее утверждением единства и внутрен-

ней закономерности диалектического характера исторического процесса развития.

Рассмотрение исторического процесса в единстве органического развития выдвигало вторую проблему — проблему субъекта исторического процесса. В XVIII в. историю сводили к ряду отдельных деяний, и отдельные действующие лица — политические деятели, герои — были основными субъектами исторического процесса. Вопрос о внутренней обусловленности и закономерности исторического процесса исключал непосредственную зависимость истории от действия и воли отдельного, единичного лица, оно само рассматривалось как часть более сложного целого.

Таким субъектом должен был явиться сложный общественный коллектив, в котором отдельная личность оказывалась подчиненной необходимой связи отношений. Наиболее полное и последовательное разрешение этот вопрос получил в учении об обществе, в понимании истории как истории общественного развития. Учение об обществе как носителе исторического развития стоит в тесной связи с причинным объяснением истории. Общая закономерность исторического развития получает свое объяснение в закономерности внутренних связей общественных явлений между собой. Изучение общества и анализ его внутренней структуры раскрывали реально действующие отношения. XIX век создает специальную науку об обществе — социологию.

Развитие социологии как особой науки связано с именем Огюста Конта, родоначальника философии позитивизма. Действительным создателем социологии был учитель Конта Сен-Симон; впрочем, здесь случилось то же, что, по словам Маркса и Энгельса, характеризует всех учеников выдающихся представителей утопического социализма: «...если основатели этих систем были во многих отношениях революционерами, то их ученики образуют всегда реакционные секты» [1].

Буржуазная социология не дает подлинно научного разрешения вопроса исторической закономерности, она его искажает, отрывая социологию от истории, противопоставляя одну другой. Буржуазная социология рассматривает общество статически, т. е. в неподвижности, вне исторического развития. Марксизм показал ненаучность такого отрыва, необходимость изучения закономерности в самом процессе общественного развития. При всем том самая постановка науки об обществе явилась тем новым, что дала буржуазная наука XIX в.

Понятию общества представители телеологического направления противопоставляют абстрактную идею народности. При этом народ понимается как внеисторическая категория в отличие от исторически развивающегося общества. Народ рас-

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. V, стр. 511.

сматривается как носитель идеи, которая дана уже до начала исторического процесса и в которой воплощается высшая цель, получающая осуществление в историческом процессе.

Жизнь каждого народа изображается, таким образом, как осуществление одной идеи, тожественной и неизменной на всем протяжении его исторического развития. Конкретные исторические явления оказываются лишь несовершенным отражением этой идеи, не раскрывающей в конечном итоге их реальной внутренней связи. Она объединяет их лишь телеологически, как конечная идеальная цель. Наиболее полное философское выражение этой концепции дали поздние работы Шеллинга. В исторической науке на Западе она отражена в романтической историографии, особенно немецкой. Русское шеллингианство нашло свое выражение в учении славянофилов, в его трактовке народного начала в истории.

Гегельянство ищет разрешение этого противоречия в проблеме государства. Как буржуазно-идеалистическое учение оно не может раскрыть в самих общественных отношениях внутреннюю диалектику классовой борьбы как движущую силу истории; оно обращается к истории государства, к развитию внешней политической организации как к проявлению исторического развития жизни народа.

Из разрешения двух первых проблем вытекала третья задача — определение непосредственно действующей силы исторического развития. Учение об обществе в причинном объяснении закономерности исторического процесса должно было привести к признанию классовой борьбы основной действующей силой в истории. Неслучайно буржуазная наука в период подъема, в период своей борьбы с дворянско-феодальными представлениями в начале XIX в. формулирует впервые идею классовой борьбы. Ее последовательное развитие ведет, однако, уже к иному, по существу материалистическому пониманию всего исторического развития, реализующемуся в марксизме. На другом полюсе стоит консервативный принцип традиции как основного начала, действующего в истории, последовательно идеалистическая интерпретация исторического процесса как реализации первичной, изначала данной национальной идеи.

Немецкая классическая философия. Распространение шеллингианства и гегельянства

Немецкая классическая философия была наиболее полным выражением научных идей первой половины XIX в., выросших на почве французской буржуазной революции. По выражению Маркса, «немцы *размышляли* в политике о том, что другие народы *делали*» [1]. «...В Германии XIX столетия философская революция служила введением к политическому перевороту»[2], — писал Энгельс.

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. I, стр. 392.
[2] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XIV, стр. 635.

На эту сторону немецкой классической философии у нас в России указал еще Чернышевский. «Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше: он не боится и террористических средств. Шеллинг— представитель партии, запуганной революцией, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель—умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выгодах[1], но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы»[2]. В этой характеристике ярко отражена и конечная внутренняя противоречивость этого философского направления. Принцип развития нашел свое утверждение уже у Канта: «Человечество развивается если не в беспрерывном, то в постоянном прогрессе». В системах Шеллинга и Гегеля отразились те два направления в развитии исторической мысли, общая характеристика которых дана была выше.

«Немцы *размышляли* в политике о том, что другие народы *делали*». Проблема развития и закономерности переносилась тем самым из мира фактов в мир идей и должна была искать разрешение в определении отношений того и другого. Но начав с утверждения тожества того и другого, немецкая философия в системе Шеллинга последовательно пришла к конечной подмене мира действительности миром идей. Тем самым оторванный от реального мира и его развития, мир идей сам утрачивал внутреннее развитие, превращался в абсолютную неизменяющуюся идею, объявляемую абсолютной реальностью. Конкретный ход истории превращался тем самым в простое проявление идеи, являющейся ее источником и ее целью. Так история народа превращалась в раскрытие «народного духа», а история человечества— в раскрытие «абсолютного духа».

При этом история народа в ее последовательных этапах, в представлении Шеллинга, есть только неполное и потому искаженное проявление духа, который на ранних этапах не осознает себя и поэтому наиболее слабо проявляется, тогда как конечный этап исторического развития должен привести к тому, что существующие отношения становятся выражением абсолютного духа, а строй жизни данного народа — выражением той национальной идеи, которая заложена в его жизни с самого начала. Историческое развитие идет к этой цели раскрытия «потустороннего» духа, «потусторонней» идеи, лежащей вне исторической действительности. Трансцендентальный идеализм кантовской философии пре-

[1] Так в тексте.

[2] *Чернышевский*, Антропологический принцип в философии, Полн. собр. соч., т. VI, Спб. 1906, стр. 180.

вращался у Шеллинга в конечном счете в философию трансцендентного духа.

Философия Шеллинга хотя и исходит из понятия закономерности, но разрешает его чисто идеалистически, как реализацию абсолютной идеи. Последняя уже в самом начале обладала всей полнотой своего содержания и не нуждалась в развитии. Поэтому и раскрывалась она не в деятельности, а в познании. У Шеллинга здесь происходит разрыв между принципом созерцания и принципом созидающей деятельности. Реальные факты только заслоняют от нас идею в исторической смене фактов; ее постепенное выявление через познание — путь к ее полной реализации. Тем самым познания идеи достаточно, чтобы она стала реальностью. Философия истории превращается в философию «откровения» духа, мир — это «вечная поэма божественного разума», а самое познание — лишь чистое «созерцание» абсолютной идеи. Философия превращалась в мистику, а история в искусство.

В исторической науке философия Шеллинга служила философским обоснованием романтизма. Романтическая историография искала в народной жизни лишь проявления народного духа, изучая обычаи и быт народа, его фольклор и представления. Изучение народной жизни привлекло внимание к прежней истории народа, к его прошлому, но в то же время превратило это прошлое в идеал, в закон для будущего. Такова была позиция Сисмонди в политической экономии, Савиньи — в истории права и всего этнографического направления в исторической науке.

Значение философии Гегеля заключалось в том, что он впервые последовательно пытается преодолеть разрыв в историческом понимании взаимоотношения между миром идей и реальными фактами, показать развитие идей в развитии конкретной исторической действительности. В этом и заключалось историческое значение гегелевской диалектики. «...Именно в том и состояли истинное значение и революционный характер гегелевской философии... что она раз навсегда показала, как нелепо приписывать вечное и неизменное значение каким бы то ни было результатам человеческого мышления и действия. Истина, которую должна была познать философия, представлялась Гегелю уже не в виде собрания готовых догматических положений, которые остается только зазубрить, раз они открыты; для него истина заключалась в самом процессе познавания, в длинном историческом развитии науки, поднимающейся с низших ступеней знания на высшие...» [1]

Содержание мира и закономерность его развития и для Гегеля лежали в развитии идей: в этом заключался идеализм гегелевской философии, которая ставила на голову действительную связь идей и фактов. Но при этом идея у Гегеля не дается сразу в

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XIV, стр. 637.

готовом и сложившемся виде, она сама лишь в процессе развития постепенно обогащается новым содержанием, она сама развивается. И это развитие идеи совершается не вне исторической действительности, а через конкретную историческую действительность, закономерность ее развития превращается в закономерность развития реальной исторической действительности. «...«к идее», как совпадению понятия с объектом, к идее, как *истине*, — пишет Ленин, — Гегель подходит *через* практическую, целесообразную деятельность человека»; это путь «от субъективного понятия и субъективной цели к *объективной* истине»[1]. В этом диалектическом подходе к проблеме исторического развития заключалось и разрешение конечной проблемы XVIII в. об отношении общей закономерности исторического процесса (=необходимости) к свободной деятельности одного человека: «На деле цели человека порождены объективным миром и предполагают его, — находят его, как данное, наличное. Но *кажется* человеку, что его цели вне мира взяты, от мира независимы («свобода»)»[2]. Гегелевская диалектика, теория исторического развития как «самодвижения», была первой попыткой дать философский синтез конкретного исторического развития, единство закономерности исторического процесса. «Гегель, — по выражению Ленина, — гениально *угадал* диалектику вещей... в диалектике понятий»[3].

Но поскольку его философия оставалась все же «диалектикой понятий», поскольку содержание исторического процесса и его закономерность понимались Гегелем чисто идеалистически, они получали свое разрешение не в основном материальном содержании исторического процесса, а в его «идеологических» надстроечных элементах. История народа получает свое разрешение в истории государства. И хотя в исходном положении само государство рассматривается исторически, как продукт и проявление всего исторического процесса в его целом, в конечном итоге, как цель всего исторического процесса, оно само приобретает самодовлеющее и определяющее историческое значение. Так философия Гегеля сочетала революционный диалектический метод с реакционной апологетикой государственной власти, с фактической идеализацией прусской монархии.

Историческая наука в Западной Европе

Методологические принципы, развитые в немецкой философии, получили отображение и в исторической литературе этого периода. Принцип историзма, рассмотрение исторических явлений в процессе их возникновения и развития, сменяет прагматическое повествование и психологизм, сложившиеся на базе рационализма; он лежит в основе «исторической школы» буржуазной историографии. Буржуазная исто-

[1] *Ленин*, Философские тетради, стр. 184.
[2] Там же, стр. 182.
[3] Там же, стр. 189.

риография связана с переходом от направления, «которое ограничивалось шумихой государственных мероприятий», к изучению самого общества, его внутреннего развития.

Гизо, как наиболее характерный представитель буржуазной исторической науки, так определяет тему своего исследования: «Общество, его состав, образ жизни отдельных лиц, в зависимости от их социального положения, отношения различных классов лиц,—словом, *гражданский быт людей* (l'état des personnes),— таков, без сомнения, первый вопрос, который привлекает к себе внимание историка, желающего знать, как жили народы, и публициста, желающего знать, как они управлялись». «Прежде, чем стать причиной, учреждения являются следствием; общество создает их прежде, чем начинает изменяться под их влиянием; и вместо того, чтобы о состоянии народа судить по формам его правительства, надо, прежде всего, исследовать состояние народа, чтобы судить, каково должно было быть, каково могло быть его правительство»[1].

В плане этого изучения впервые разрабатывается история западноевропейского феодализма. Изучение этих вопросов подводит ближайшим образом к пониманию «диалектики вещей» в постановке вопроса о классовой борьбе. Правда, как и буржуазная философия в вопросах диалектики, это историческое направление оказалось неспособным понять подлинные корни и действительное значение классовой борьбы в закономерном развитии исторического процесса; отсюда выведение классовой борьбы и самого классового деления общества из факта завоевания, как исходного момента всей западноевропейской истории на переходе к средним векам. Тем не менее это направление дало, хотя бы в одном определенном разрезе, первый опыт истории развития общественных форм.

Неслучайно при этом свое наиболее полное развитие это направление получило во Франции, в условиях торжества буржуазных отношений, осуществленного революцией 1789 г. Но в буржуазной классовой основе лежали и корни внутренней ограниченности всего этого исторического направления. Выросшее на почве буржуазной революции конца XVIII в., оно оказалось неспособным порвать с началами рационализма XVIII в., непосредственно примыкая к рационалистической историографии эпохи просвещения. Правда, это было лучшее, что дал рационализм, поднявшийся здесь до задачи философского понимания исторического процесса и создавший первую наукообразную теорию исторического прогресса. Но ее абстрактное понимание закономерности в последовательной смене определенных исторических этапов присуще в иной форме и исторической школе. С рационалистиче-

[1] *Guizot*, Essais sur l'histoire de France. 10-ème ed., Paris 1860, p. 73—74. Русского перевода нет; цит. по книге *Плеханова*, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, М. 1933, стр. 11.

ской историографией роднит ее и политическая тенденция, которую тщетно пыталась преодолеть историческая мысль французских просветителей. В конечном итоге внутренние социальные процессы воспринимаются исторической школой только через призму правовых, государственных форм. Отсюда конечное превращение истории общества в историю юридических институтов, в историю государства, повторяющее в исторической науке путь развития гегелевской философии. Постепенно «государственное направление» в истории сползало на путь внешней политической истории. Эта эволюция характерна и для Гизо, для Тьера, и для ряда других историков, быстро свернувших со столбовой дороги развития исторической мысли перед лицом полностью определившихся к середине века новых классовых противоречий.

На значительно более суженной теоретической базе развивалась историческая школа в Германии. Она требовала знания конкретного хода исторического развития, познания исторических событий «так, как они действительно происходили». Но в силу особенностей исторического развития Германии буржуазные отношения осуществлялись в ней медленнее, ее общественная и историческая мысль развивалась в оппозиции и к французской революции и к идеям просветительной философии.

На этой основе возник разрыв между исторической школой в Германии и философским направлением, шедшим от Гегеля и проникнутым духом буржуазной революционности. Историческая школа в Германии фактически примкнула к тому критическому направлению, которое оказалось плодотворным в развитии источниковедения и положило начало историческим исследованиям XIX в. в «высшей критике», блестяще развернутой Нибуром для древней истории. Она создала определенную эпоху в национальной историографии публикацией исторических документов, среди которых на первом месте стоит издание «Monumenta Germaniae Historica», начатое под руководством Г. Пертца в 1824 г. и послужившее образцом для ряда аналогичных монументальных публикаций документов национальной истории. Однако это направление критического метода очень быстро превратилось в формальный культ отдельного документа, отдельного исторического факта. В общем развитии исторической науки это направление еще быстрее перешло к повествовательной политической истории — в либерально-буржуазном духе, как у Раумера, или с резко выраженным консервативным, формально-объективистским направлением, как у наиболее характерного представителя немецкой буржуазно-консервативной историографии XIX в. Л. Ранке. В этом развитии исторической школы приобретала консервативный, даже реакционный смысл выставленная ею и принадлежащая Ранке формула воспроизведения события так, «как оно действительно происходило» («wie

es eigentlich gewesen»), в конечном счете ограничивавшая задачу историка формально провозглашаемой точностью исторического рассказа.

С дворянско-реакционной позиции трактовала те же исторические проблемы романтическая историография. С рассмотренной выше исторической школой в тесном смысле слова ее объединяло признание развития современного общества из общества феодального, стремление представить внутреннюю историю отдельного народа как одно органическое целое. Возникшее в условиях подъема национального движения первой половины XIX в., романтическое направление наиболее остро выявило свои реакционные черты с самого начала в Германии. Учение о средневековье как источнике современного исторического развития превращалось в идеализацию средневековья, противопоставленную исторической концепции эпохи просвещения, рассматривавшей новое время как возрождение античной культуры и отрицавшей средневековье как эпоху невежества и суеверия. Понятие народного развития превращалось в мистическую идею в духе шеллингианства, в котором исторический процесс закономерного развития фактически утрачивал свое реальное содержание. Ярким идеологом этого направления в Германии был Шлегель, в самой исторической науке Лео; во Франции аналогичную роль сыграл Шатобриан.

Реакционную сущность романтизма в своеобразном сочетании с «государственным» направлением последовательно развила историческая школа права в Германии, идущая от Савиньи, сложившаяся в тех же условиях борьбы за национальное начало. «Школа, узаконяющая подлость сегодняшнего дня подлостью вчерашнего, школа, объявляющая мятежным всякий крик крепостных против кнута, если только этот кнут — старый и прирожденный исторический кнут...» — так характеризовал ее Маркс. «Она, этот Шейлок, но Шейлок лакей, клянется в каждом фунте мяса, вырезанном из народного сердца, ее векселем, ее историческим векселем, ее христианско-германским векселем»[1].

Но романтическая историография имела и свою буржуазную, в какой-то мере прогрессивную струю, полнее выявившуюся во Франции и сказавшуюся прежде всего в ярко выраженном интересе к народу, к народной жизни и быту, к народным движениям. Как бы то ни было, но именно в романтической историографии эти вопросы впервые получали конкретно-историческую разработку. В этом заключалось непосредственное историографическое значение ранних исторических работ Тьерри или работ Мишле. В этом позитивная роль романтизма в развитии исторической науки. На этой основе выросли в европейской науке такие дисциплины как историческое языкознание или фольк-

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. I, стр. 387.

лористика, имевшие в свою очередь немалое значение для дальнейшей разработки исторической науки.

Однако и здесь начинающийся упадок буржуазной мысли вел к последовательному выхолащиванию социальных демократических тенденций, в какой-то мере проникавших в романтическую науку. Так, изучение подлинного народного быта сменялось воспроизведением своего рода местного колорита (couleur locale), восстановление действительной народной жизни подменивалось внешней картинностью описания, живописным стилем (style pittoresque). В конце концов и романтическая школа переходила к простому повествованию о событиях, и само направление получило название «нарративной (т. е. повествовательной) школы». Эту эволюцию пережил лично и один из лучших представителей французской романтической школы — Тьерри.

Внутреннюю двойственность и вместе с тем определенное позитивное историческое значение исторических направлений начала XIX в. отчетливо определил Ленин, отмечая «...с одной стороны, «дух XVIII века» в его борьбе с феодальной и поповской силой средневековья, а, с другой стороны, экономизм и историзм (а также диалектику) философов и историков начала XIX века... науку, — писал он, — двигали вперед, несмотря на свои реакционные взгляды, историки и философы начала XIX века, разъясняя еще дальше вопрос о классовой борьбе, развивая диалектический метод и применяя или начиная применять его к общественной жизни...»[1]

В условиях внутреннего кризиса, отчетливо выступившего к середине XIX в., буржуазная историческая мысль в поисках новой базы пытается связать науку об обществе с науками о природе, сделавшими значительные успехи в Западной Европе этого времени. Такова природа Контовской социологии и его философии позитивизма. Самое сближение с естествознанием сохраняло при этом чисто внешний характер, переходило в формальную аналогию. Это была последняя форма, в которой идея закономерности проникала в буржуазную историческую науку.

Таковы философские и историографические влияния, шедшие с Запада и получившие отражение в развитии русской исторической науки рассматриваемого периода.

Экономические и социальные сдвиги в России

Формирование научной мысли на Западе совершалось под непосредственным влиянием утверждения там буржуазного строя, буржуазных общественных отношений. Россия отставала от Запада, и для нее новый, буржуазный период ее истории начался, как указывал Ленин, с реформ 60-х годов XIX в. Но указанная Лениным сложность русского исторического процесса, сложность внутренней структуры общества, вытекающая из его много-

[1] *Ленин*, Соч., т. XVII, стр. 275.

составности, из объединения разнородных частей и элементов и приводящая к длительному сосуществованию в нашей истории различных социально-экономических укладов, характеризует не только период империализма, но и переход от феодализма к капитализму. Это отметил Ленин еще своим указанием, что в России создание связей буржуазных начинается «примерно с 17 века»[1].

Действительно, уже эпоха Петра I характеризуется явлениями первоначального накопления. С 40-х годов XVIII в. оформляется в России капиталистическая мануфактура и зарождаются элементы новых производственных отношений. Отмена внутренних таможен в 1753 г., оформление системы банковского кредита, таможенная политика и ряд других мероприятий уже наглядно отражали процесс действительного оформления «всероссийского рынка». Одновременно, особенно с 70-х годов XVIII в., налицо яркие признаки начинающегося разложения дворянского крепостнического хозяйства.

Противоречие складывающегося буржуазного общества с господствующей феодально-крепостнической системой, разрешившееся на Западе революцией 1789 г., было известно и России второй половины XVIII в. Эти внутренние противоречия получили в XVIII в. идеологическое отражение, с одной стороны, в проникновении идей французского просветительства, в радикально-демократической идеологии Радищева, Кречетова и других представителей передовой общественной мысли. Начало разложения системы по-своему отразили, с другой стороны, и дворянские идеологи, как Щербатов или Карамзин. Борьба царизма с французской революцией диктовалась прежде всего обострением внутренних политических противоречий.

Товарно-капиталистические отношения все больше и больше развивались, приобретая значительный удельный вес, особенно в центральной части страны, в районах старой хозяйственной культуры. Известное своеобразие истории России заключается не только в более позднем развитии товарно-рыночных отношений по сравнению с развитием этих отношений на Западе, но и в более длительном развитии капиталистического уклада в недрах крепостнического, феодального общества, раскрываясь в обостренном противоречии этих двух длительно сосуществующих общественных систем.

Особенности экономического развития определили сложность классовых противоречий в России в первой половине XIX в. «Освободительное движение в России, — пишет Ленин, — прошло три главные этапа, соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский

[1] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 73.

или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время»[1].

В статье «Памяти Герцена» Ленин писал: «...мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году»[2].

Социальные силы складывавшегося буржуазного общества оставались в начале XIX в. еще слабо развитыми, распыленными, политически неорганизованными. Носителями освободительной борьбы, буржуазной по своему содержанию, неслучайно оказались на первом этапе «дворянские революционеры», выходцы из дворянского класса. В числе лучших представителей дворянской среды, которые будили народ, были декабристы, Чаадаев, Пушкин, Грибоедов. Во второй четверти XIX в. появляются первые представители разночинной интеллигенции. «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении, — писал Ленин, — был еще при крепостном праве В. Г. Белинский»[3].

Характерно, что именно в этой разночинной среде росла и крепла русская наука первой половины XIX в.; из нее вышли наиболее выдающиеся представители естествознания и точных наук в России, как Лобачевский, Струве, Зинин и др. В самом своем развитии естествознание оказывалось нередко тесно связанным с развитием новой экономики. С запросами русской текстильной промышленности связаны выдающиеся работы Н. Н. Зинина в области химии. В живом знакомстве с фабрично-заводским предприятием складывались несколько позже интересы к химии у Д. И. Менделеева.

Те же социальные сдвиги своеобразно отразились на составе представителей исторической науки первой половины XVIII в. Историки XVIII в. принадлежали к дворянскому классу и отражали его идеологию. Историки XIX в. представляли новую среду формирующейся буржуазной интеллигенции: Эверс — сын

[1] *Ленин*, Соч., т. XVII, стр. 341.
[2] *Ленин*, Соч., т. XV, стр. 468—469.
[3] *Ленин*, Соч., т. XVII, стр. 341.

зажиточного фермера; Каченовский — сын грека, натурализовавшегося в России, харьковский мещанин; Полевой — сын среднего торговца; отец Погодина — крепостной, отпущенный на свободу; отец Соловьева — священник Московского коммерческого училища. Это положение, влияние среды, к которой они принадлежали, делали их, конечно, особенно восприимчивыми к идеям нового времени.

Развитие русской научной мысли. Естественные науки

Общность исторического пути развития определила тожество в развитии общественной и научной мысли. В литературе и искусстве — это путь от сентиментализма через романтизм к реализму. В области политической мысли — это идеи французской буржуазной революции у декабристов, а потом буржуазный либерализм в духе Бентама, которому противостоит уже в 40-е годы социальная проблематика утопического социализма. Русская философская мысль проходит вслед за Западной Европой путь от Канта и Шеллинга, через гегелевскую диалектику к фейербахианству. В области исторической науки эта эпоха характеризуется кризисом дворянской исторической мысли у Карамзина и утверждением буржуазной исторической науки, завершающейся Соловьевым. Наконец, и в области точных знаний Россия дала математике — Лобачевского, астрономии — Струве, физике — Петрова, химии — Зинина. Таковы итоги первой половины века.

Но сказывалось и отставание в историческом развитии России, в которой господство феодально-крепостнического режима все-таки закончилось на 70 лет позже, чем во Франции. Отсюда и определенная зависимость в развитии русской научной мысли, определенное воздействие на нее общественной и научной мысли Западной Европы. Но это было не механическое и чисто внешнее заимствование, а творческое и действенное освоение основных достижений передовой мысли, подготовленное и обусловленное своей собственной действительностью. Отсюда та же закономерность в развитии, смене и борьбе идей.

И еще один момент необходимо отметить. Сохранявшееся господство феодально-крепостного строя не только тормозило развитие культуры, оно задерживало самый рост культурных кадров. В этой относительной бедности кадров, с одной стороны, в недостаточности материальной базы, с другой, наконец, в сосредоточении лучших сил на общественной, социально-политической проблематике в условиях затянувшейся и обостренной борьбы между крепнущими буржуазными отношениями и господствующей крепостнической системой, — во всем этом надо видеть причину относительной слабости развития точных знаний, разработки естественных наук. Представленная отдельными крупными именами, точная наука в России в сущности не превратилась в цельную систему знаний, способную определить общее

направление развития научной мысли. Русские современники не поняли открытий Лобачевского в математике, и его мысли получили дальнейшее развитие в западноевропейской науке. Близкую к этому судьбу пережили и открытия Зинина в области химии; его ученик Марковников в 1880 г. говорил о разрыве между теоретическими и прикладными работами, который не дал возможности русским химикам довести открытия Зинина до их технического применения. Аналогична была судьба Петрова и Лодыгина в области электротехнической науки.

В общем развитии естественных наук в России в первой половине XIX в. одно из характернейших явлений — отсутствие серьезного изучения жизненных явлений, развития живого организма, изучения самого человека прежде всего. Здесь сказывалась, несомненно, и реакционно-поповская политика русского самодержавия в вопросах науки и просвещения. Развитие русской биологической науки начинается лишь во второй половине XIX в.; то же относится и к физиологии. Первый крупный успех русской медицины связан с работами Пирогова, появляющимися лишь в 50-х годах. Наконец, изучение психологии сохраняет сугубо абстрактный, метафизический характер в духе шеллингианской философии, характерной для Велланского, для Одоевского. Единичные специальные работы по психологии, пытавшиеся перевести ее в план конкретного изучения (Любовский, Галич), лишь показывали беспомощность естествознания.

Разрыв между теоретической мыслью и опытом ярко охарактеризован Герценом в его «Письмах о природе»: в своем первом письме он противопоставляет «мнимый эмпиризм», который хочет замкнуться в простом «наращении фактов», и «натуралистов, последователей Шеллинга», которые «взяли две-три общие формулы, сухие и отвлеченные, и на них прикидывали все явления, всю вселенную»[1].

Отсюда возникал неизбежный глубокий разрыв между точным знанием и общественными науками. Идея единства наук, их внутренней связи выступает лишь в абстрактной философской формулировке, как у Герцена: «Наука одна: двух наук нет, как нет двух вселенных», «природа и история... представляют живой организм», «жизнь есть сохраняющееся единство многоразличия, единство целого и частей», — таково и единство научного знания, по определению первого из «Писем о природе»; «История мышления — продолжение истории природы: ни человечества, ни природы нельзя понять мимо исторического развития»[2],—возвращался он к тому же вопросу во втором письме. На практике это сближение естественных и общественных наук не шло дальше внешних аналогий — естественнонаучная терми-

[1] *Герцен*, Соч., т. IV, Спб. 1905, стр. 184.
[2] Там же, стр. 170 и 194.

нология у Погодина, сравнение общества с живым организмом у Соловьева. Как и точные знания, это позитивистское течение в исторической науке оформляется в России лишь во второй половине века.

Общественные науки в России в первой половине XIX в.

Передовая мысль эпохи сосредоточивается на вопросах общественных наук, привлеченная остротой растущих противоречий социально-экономического и политического развития.

Именно социальная направленность, историческая заостренность философской мысли начала XIX в. определила ее общественную значимость в развитии русской науки, в формировании научной и общественной идеологии. «К концу XVIII в., в тиши кабинетов, в головах мыслителей готовился такой же грозный и сильный переворот, как в мире политическом», — писал Герцен и сопоставлял Канта, Фихте, Шеллинга с деятелями французской буржуазной революции: с Мирабо, Робеспьером, Наполеоном. Материализм энциклопедистов XVIII в. сохранял влияние в отношении поколения декабристов. Шеллингианство определило идеологию 20—30-х годов XIX в. Кружок Одоевского, литературная деятельность Велланского, университетское преподавание Галича в 20-е годы представляли основные пути проникновения западной научной мысли. Дань шеллингианству уплатил Погодин в конце 20-х годов, входя в кружок Одоевского; шеллингианскую философию в передаче Кузена воспринял Полевой; шеллингианство лежит в основе славянофильства, как и романтической школы на Западе. В то же время с середины 30-х годов передовая научная мысль переходила уже к Гегелю и в его диалектике получала урок глубокого историзма. То, что кружок Одоевского представлял для второй половины 20-х годов, то для 30-х годов представлял кружок Станкевича. Именно на этой основе оформилось западничество 40—50-х годов: гегельянство явилось той школой, в которой сложился историзм его исходной научной концепции; здесь философская основа исторической концепции Кавелина, Соловьева, Чичерина.

В 40-е годы радикальное крыло западников сделало еще один шаг вперед. За сильными сторонами гегелевской диалектики оно различило уже порочность его идеалистических позиций; Герцен писал, что гегелевская философия — «это было последнее, самое мощное усилие чистого мышления», т. е. мышления, оторванного от конкретного эмпирического знания. В лице Герцена, Белинского, отдельных членов кружка петрашевцев революционная мысль 40-х годов делала первые попытки соединить диалектику Гегеля с материализмом Фейербаха. В конкретной науке это новое течение реализуется лишь на следующем этапе, в период 50—60-х годов; его проникновение в историю связано с деятельностью Чернышевского и Добролюбова, оно получило отражение у Щапова.

В философских учениях русское общество искало решения вопросов человеческого знания и развития человеческого общества в всемирно-историческом масштабе. Но в то же время научная, критическая мысль обращалась к конкретным, практическим вопросам общественного знания.

Здесь необходимо указать прежде всего на широкое развитие экономической науки. Продолжая в какой-то мере (через Шторха, Арсеньева) «статистику» XVIII в., эти экономические изучения опираются непосредственно на историческую школу в политической экономии, которой положил начало Адам Смит и которую Ленин рассматривал как одну из основ передовой буржуазной науки начала XIX в. Уже в начале XIX в. идеи классической политэкономии распространяют в России иностранцы, последователи Смита — Якоб, Шад. Эти идеи получают развитие в трудах Вольного экономического общества. Именно на этой основе выросла буржуазная экономическая программа декабристов, ярко отразившаяся в экономическом трактате Пестеля, в экономическом трактате А. Бестужева, в сочинениях Н. И. Тургенева, у Никиты Муравьева, у Штейнгеля и ряда других. И далее, быстро наверстывая первоначальное отставание, русская общественная мысль отразила и экономический романтизм Сисмонди в «Русской Правде» Пестеля и утопический социализм Сен-Симона и Фурье в социальных взглядах Герцена, Белинского, петрашевцев в 40-е годы. А в это же время славянофилы воспринимают и развивают в своих писаниях идеи «поповского социализма» в духе Ламеннэ, в своеобразной системе патриархально-помещичьего романтизма.

Развитие экономической теории опирается на изучение конкретной исторической действительности. «Начертание статистики Российского государства» К. Арсеньева, работы Тенгоборского по истории хлебной торговли России, сочинения Небольсина, «Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности» Семенова и ряд других работ конкретно раскрывали процесс развития буржуазных отношений в России. В работе Семенова воспроизведение определенных данных отношений переходило уже в опыт изучения их исторического развития. Обращение к конкретному экономическому явлению, взятому в системе общественного развития, и его историческое рассмотрение — таков был итог эволюции экономической науки.

Те же моменты характеризуют эволюцию, совершающуюся в области политики и права. Наука права развивается в России в первой половине XIX в. в борьбе за утверждение нового, буржуазного правопорядка. Свое первое выражение она нашла в России с самого начала XIX в. в «Плане государственного преобразования» Сперанского, составленном под влиянием новых политических идей Западной Европы и отразившем основные принципы нового исторического мировоззрения, идею истори-

ческой обусловленности политических институтов и единства исторической закономерности развития общественных форм.

«Итак, время есть первое начало и источник всех политических обновлений, — пишет М. М. Сперанский, ссылаясь на высказывание Бэкона. — Никакое правительство, с духом времени не сообразное, против всемощного его действия устоять не может»[1].

Сперанский устанавливал три основных этапа исторического развития политических форм, пройденных государствами Западной Европы: феодальная раздробленность (самый термин у него не дан) в результате крестовых походов сменяется «второй феодальной системой» — «феодальным самодержавием». Наконец, «время, просвещение и промышленность предприняли воздвигнуть новый вещей порядок» — «переход от феодального порядка вещей к республиканскому». Установив эту последовательность развития, Сперанский, пожалуй впервые в нашей литературе, попытался конкретно показать тожество развития нашей истории и западноевропейской, назревание у нас нового, буржуазного порядка вещей.

«Удельные владения князей образуют у нас первую эпоху феодального правления и, что весьма замечательно, переход от сей первой эпохи во вторую, то-есть к самодержавию, точно подобные имел причины. Вместо крестовых походов были у нас походы татарские, и хотя предмет их был не одинаков, но последствия равные[2]. Ослабление удельных князей и победы царя Ивана Васильевича, действуя соединенно с духом сего сильного государя, испровергли удельный образ правления и утвердили самодержавие». Как на Западе, у нас новый порядок вещей подготовляют возрастающие «семена свободы, в промышленности и торговле сокровенные». «В общем движении человеческого разума, — заключает Сперанский, — государство наше стоит ныне во второй эпохе феодальной системы, то-есть в эпохе самодержавия, и, без сомнения, имеет прямое направление к свободе»[3].

Политические программы декабристов были дальнейшим опытом практической разработки основных начал буржуазной идеологии. Из того же осознания общественного и политического значения правового строя исходила политическая программа петрашевцев. В своем развитии наука права прошла путь от начал естественного права, отраженных еще в лекциях и работах Куницына, до исторического рассмотрения эволюции права в трудах Кавелина, Неволина, несколько позже Градовского, создающих историю права как специальную дисциплину.

В этом развитии общественных наук создавалась та база, та многообразная система знаний об обществе, на которую опи-

[1] *Сперанский*, План государственного преобразования, изд. 1905 г., стр. 16.

[2] Эту мысль впоследствии повторил Погодин.

[3] *Сперанский*, План государственного преобразования, изд. 1905 г., стр. 20—25.

ралась новая, буржуазная историческая наука и которая сама развивалась в тесной связи с последней.

Путь русской исторической науки

Конечно, и в русской исторической науке сказывалась сложность и внутренняя противоречивость существовавшего в России строя. Новая буржуазная историческая наука лишь постепенно освобождалась от влияния прежних воззрений и все же уже к середине века пришла к созданию своей законченной исторической концепции.

Уже в начале века, в работах Эверса, впервые историк обращается к изучению общественных отношений в закономерности их исторического развития, хотя и неспособен еще преодолеть условность чисто логической абстрактной схемы. В лице Каченовского и скептической школы русская научная мысль знакомится непосредственно с началами «высшей критики», хотя это критическое направление в условиях недостаточной подготовки материальной базы новой науки выступает еще в искаженной, гипертрофированной форме, неспособное развить позитивный смысл той критики, которую в Западной Европе принес в историческую науку Нибур. Таким же условным, незавершенным, хотя и многозначительным для своего времени явилось первое отражение исторической школы в «Истории русского народа» Полевого. Он впервые показал на конкретном материале в применении к русской истории действительное единство в закономерности исторического развития, однако эта многозначительная историческая мысль выступала еще в чисто романтическом оформлении, и бедность научного фундамента еще раз не дала историку до конца сбросить с себя зависимость от наследия старой исторической науки. Может быть, наиболее яркое отражение внутренних противоречий в развитии дореформенной России дают работы Погодина: в принципиальных методологических установках, в стремлении связать историю с точными науками Погодин также представлял новую буржуазную науку XIX в., но подчинял ее идеологии николаевской крепостнической монархии.

В 40-е годы это внутреннее противоречие из скрытого становится явным и осознанным. На основе осознания этого противоречия и завершается оформление новой, буржуазной исторической науки. Если в исторической концепции славянофилов находит свое выражение реакционная сущность романтизма, то в «Истории России» Соловьева получают наиболее полное раскрытие положения исторической школы, опирающиеся на глубокий историзм философско-исторической концепции Гегеля.

Россия и Запад

В этом развитии общественных наук рост конкретного знания последовательно превращался в реальное познание общества в закономерности его исторического развития. Как и на Западе, оно осуществлялось через осознание внутреннего противоречия и пути его исторического

разрешения. Если на Западе это противоречие вскрывалось в реальной смене двух социальных систем — буржуазного и феодального строя, осуществленной буржуазной революции, то в России эта же антитеза, еще не доведенная до своего исторического конца, конкретно раскрывалась в сопоставлении крепостнической России и буржуазной Европы. Именно в этом смысле проблема России и Запада становилась стержнем, узловой проблемой в развитии общественных наук и прежде всего в развитии исторической науки; в ней раскрывалось одно из основных противоречий, органически присущее и западноевропейской исторической науке,—антитеза идеи единства исторической закономерности и идеи самобытности, переходящей в абстрактный национализм. Самое освоение западной науки было вместе с тем основой теоретического осознания именно этого исторического противоречия. В общественном движении в России первой четверти XIX в. это противоречие получало свое конкретное выражение. «План государственного преобразования» Сперанского, политическая борьба декабристов были практическим утверждением западничества. В свою очередь деятельность Карамзина противопоставляла этому западничеству начало консерватизма в националистической теории самобытности. Неудача реформаторских попыток Сперанского и революционной борьбы декабристов не остановила движения общественной и научной мысли; в условиях обострения внутренних противоречий она поднимается, напротив, на большую высоту теоретической мысли.

Свое первое принципиальное утверждение она получила в знаменитых «Философических письмах» Чаадаева, из которых первое было написано уже в 1829 г. и впервые опубликовано в 1836 г. В «Письмах» Чаадаева противопоставление Запада России было прежде всего отрицанием николаевской крепостнической России и обращением к буржуазной системе общественных отношений. Именно в этом заключалось огромное общественное значение «Писем» Чаадаева, высоко оцененное такими его младшими современниками, как Герцен.

Но у Чаадаева эта антитеза еще не раскрыта в своих исторических корнях, в своем действительном историческом значении и дана поэтому глубоко противоречиво. Обращенная против союза самодержавия с православием, решительно провозглашенного Уваровым в классической формуле «самодержавие, православие, народность», критика Чаадаева превращается в своеобразную идеализацию католицизма, якобы воплощающего рационалистическое начало в религии. В то же время будущее России оказывается оторванным от его прошлого, т. е. фактически лишенным своего закономерного исторического основания: отрицание господствующего политического начала превратилось в отрицание самой истории, а вера в великое будущее русского народа, так блестяще провозглашенная в «Апологии сумасшед-

шего», в конечном итоге превращалась в абстрактную идею русского народного духа.

Как бы то ни было, «Письма» Чаадаева были первой принципиальной постановкой вопроса; с них начинается широкая идеологическая борьба 30—40-х годов, оказавшаяся безусловно плодотворной для развития русской общественной и научной мысли. В развернувшейся борьбе славянофилов и западников смысл этой антитезы получил свое настоящее раскрытие. И если славянофилы, подобно помещичье-дворянским романтикам Запада, выступили в истории против буржуазной перестройки России под лозунгом национальной самобытности, то западники, хотя далеко не вполне последовательно, пришли в 40—50-е годы к утверждению единства закономерности исторического развития: тожество конечного развития России и Запада означало в итоге тожество перехода от феодального строя к строю буржуазному. То, что Погодин отвергал со своих классовых позиций, а Белинский утверждал как необходимую предпосылку социального прогресса, получало историческое утверждение в концепции Соловьева. Именно поэтому в Соловьеве завершалась восходящая линия буржуазной исторической науки; историческая концепция Соловьева содержала наиболее полное и последовательное с буржуазных позиций признание закономерности исторического развития в его внутренней причинной обусловленности.

Таковы были социальные и идеологические предпосылки развития исторической науки на новом этапе. В расширении круга используемых источников, в углублении исследовательского метода, в непосредственном росте исторического знания, характеризующем первую половину XIX в., заключалась конкретная база развития исторической науки.

ГЛАВА 12

СОБИРАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ РУССКОЙ ИСТОРИИ. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература: *Иконников, В. С.*, Опыт русской историографии, т. I, кн. 1, Киев 1891 (Приложение к «Универс. извест.», 1884—1891). — *Барсуков, Н.*, Жизнь и труды П. М. Строева, Спб. 1878. — *Попов, Н.*, История имп. Московского общества ист. и древн. росс., ч. I (1804—1812), изд. Об-ва ист. и древн. росс. при Моск. ун-те, М. 1884.—*Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, т. I, гл. III, Спб. 1897. Итоги исторической работы XVIII столетия, стр. 74—113. — *Пыпин, А. Н.*, История русской этнографии, т. I, Спб. 1890.

Состояние изучения источников к началу XIX в.

XVIII век поставил вопрос об историческом источнике и его изучении, положил начало собиранию источников. Реальные итоги в этой области были еще незначительны. От XVIII в. историческая наука получила в конечном счете, по части публикации источников, издание «Древней Российской Вивлиофики» Новикова с ее «Продолжением», около 4 томов документальных приложений к «Истории Российской» Щербатова, документальные приложения к «Истории Сибири» Миллера, срезанные Академической цензурой, наконец, несколько изданий отдельных исторических памятников, связанных с деятельностью Миллера и Щербатова, в их числе Русскую Правду, Судебник Ивана IV, Царственный летописец, Степенную книгу, Летопись о многих мятежах и некоторые другие. Даже основной летописный текст был издан лишь один раз, по одному списку и без необходимого научного аппарата. Лишь в начале XIX в. закончилась работа Шлецера над Начальной летописью, и его «Нестор» был первым опытом ее научного критического издания.

Публикация, а равно и собирание источников оставались в основном делом частной инициативы. В качестве собирателей выступали частные лица, прежде всего из русской придворной знати, как граф Мусин-Пушкин, граф Румянцев, граф Толстой, Болтин и др. Эта работа не имела и определенного организационного центра. Названные выше деятели составляли кружок любителей русской истории при дворе Екатерины II. Академия наук стояла фактически в стороне от этой работы. С 1771 по 1783 г. существовало Вольное российское собрание при Московском университете, в котором участвовали Десницкий, Чеботарев и др.; из лиц, занимавшихся русской историей, — Миллер, Рычков. Общество имело и свой журнал — «Опыты трудов Вольного российского собрания», но сообщения Миллера были, пожалуй, единственным отражением вопросов русской истории в этом издании.

Только Миллер созданием Архива коллегии иностранных дел подготовлял практическую историческую работу XIX в. Здесь было положено первое начало концентрации архивных фондов; отсюда еще сам Миллер начал обследование ближайших архивохранилищ. Здесь сформировались и первые кадры архивных работников и археографов, начиная с Н. Н. Бантыша-Каменского, А. М. Малиновского, К. Ф. Калайдовича; через работу в архиве вступил в археографию и П. М. Строев.

Организация научных обществ и исторических изданий

С начала XIX в. идет развертывание большой организационной работы, подготовляющей материальную научную базу, без которой не могла бы развернуться большая историческая работа этого периода.

Первым в порядке хронологической последовательности возникло в 1804 г. Московское общество истории и древностей

российских[1]. В состав общества уже в первые годы его существования, наряду с работниками Московского университета, вошли виднейшие исторические работники, как Карамзин, Бантыш-Каменский, митрополит Евгений, Малиновский, Калайдович; здесь и последние представители XVIII в., как Мусин-Пушкин; в дальнейшем оно пополняется постепенно и представителями подрастающего молодого поколения археографов и историков. В числе его первых членов значился и Шлецер.

Впрочем, практическая деятельность Общества на первых порах развивалась слабо. Начав с проекта издания русской летописи по Лаврентьевскому своду, оно поручило это дело своему председателю, проф. Чеботареву, и до 1810 г. было отпечатано лишь 80 страниц; издание так и не состоялось.

В 1811 г. было намечено издание сборников исторических документов, актового материала, под названием «Русские достопамятности», порученное К. Ф. Калайдовичу. События 1812 г. прервали работу Общества, и первый том вышел только в 1815 г. Но затем Калайдович был отвлечен другой работой, и второй том «Русских достопамятностей» увидел свет лишь в 1843 г. На втором томе это издание и прекратилось. Лишь с 1846 г. началось уже издание периодического органа Общества под названием «Чтений в Московском обществе истории и древностей» под редакцией Бодянского; с его временным отстранением, в 1849—1857 гг., издание выходило под новым названием «Временника», под редакцией И. Беляева, но в 1857 г. Бодянский был возвращен, и одновременно было восстановлено первоначальное название «Чтений». В промежутке выходили непериодически также «Ученые записки» Московского университета, в которых печатались в частности работы Каченовского и его учеников.

К этому времени относится также создание аналогичных научных обществ и при других университетах — Харьковском и Казанском. В 1805 г. открылось Казанское общество любителей отечественной словесности, а в 1817 г. — Харьковское общество наук; оба общества издавали свои «Труды».

В Петербурге основание для создания аналогичного общества устранялось, повидимому, наличием Академии наук. Академии наук передал Румянцев в 1813 г. денежный фонд в размере 25 тысяч рублей на издание русских летописей. Сюда же в конце 20-х годов обратился Строев со своим проектом Археографической экспедиции. Однако реальной активности Академия наук в этой области не проявила.

Значительно позже, в 1839 г., организовалось Общество истории и древностей в Одессе.

В связи с общей разработкой исторической проблематики и с расширением круга исторических источников необходимо

[1] Общество просуществовало до 1929 г.

отметить издание больших научно-литературных журналов, начиная с «Вестника Европы». Особенно усилилось издание журналов в 20-х и начале 30-х годов с участием Надеждина, Полевого, Погодина, бывших одновременно видными представителями русской исторической науки.

Кружок Румянцева

Вначале развитие археографической, источниковедческой работы оказалось все-таки связанным больше с частной инициативой одного из представителей кружка любителей русской истории Екатерининской эпохи — графа Н. П. Румянцева (1754—1826).

Любитель русской истории, Румянцев был обладателем одного из ценнейших исторических собраний, насчитывавшего до 28 000 книг, до 200 рукописей, многочисленные карты, монеты и медали. Пожертвованное Румянцевым, это собрание образовало Румянцевский музей, открытый в 1831 г. в Петербурге, а в 1861 г. переведенный в Москву. Книжный фонд Румянцевского музея явился ядром нынешней Ленинской библиотеки.

Плодом исторических занятий Румянцева явился «Краткий очерк русской истории», изданный в 1793 г. на французском языке.

Начав деятельность при Екатерине II в качестве дипломата, Румянцев в 1809 г., при Александре I, был назначен канцлером и министром иностранных дел, и в его ведении оказался тем самым Московский архив иностранных дел. Архив располагал важными фондами; его научные работники обладали знаниями и инициативой; Румянцев принес в дело серьезный интерес к вопросам русской истории и значительные личные денежные средства.

Уже в 1810 г. был разработан Н. Н. Бантышем-Каменским план издания государственных грамот и договоров по образцу «Corps universel du droit des gens», изданного Дюмоном, в 1811 г. была организована Комиссия печатания государственных грамот и договоров, а в 1813 г., уже после смерти Бантыша-Каменского, был издан подготовленный им первый том «Собрания государственных грамот и договоров».

К этому времени личная деятельность Румянцева уже всецело сосредоточивается на вопросах русской истории. Вокруг Румянцева складывается обширный кружок из виднейших специалистов русской истории.

Эта связь не переходит в формальную организацию, но осуществляется на практике путем постоянного личного общения или переписки. Она создает известную координацию в работе. Румянцев выполняет при этом роль посредствующего, связующего звена; с другой стороны, при его непосредственной материальной поддержке или даже прямо на его средства издается значительное число работ, посвященных разработке памятников русской истории.

В кружок Румянцева входят виднейшие археографы и источниковеды, как митрополит Евгений, Востоков, Строев, Калайдович, Кеппен, Берх, Аделунг, ученые историки—Круг, Лерберг, Френ, Арцыбашев, Гаммель, специалист по истории русского права Розенкампф и многие другие.

Кругу и отчасти Лербергу принадлежат исследования в области византийских источников русской истории (в частности издание Георгия Амартола), Френу — исследования и первые научные издания восточных памятников (Ибн-Фадлан, Абулгази и др.), Аделунгу — изучение западных писателей о России [1], Востокову принадлежат ценные исследования в области славянского языкознания и истории русской литературы. Митрополит Евгений, ревностный собиратель всех материалов по русской истории, издал ценные справочники — «Словари русских писателей светских и духовных».

Ряд работ, как указано, издан самим Румянцевым и на его средства, среди них ряд работ Аделунга, «Geschichte der Russen» Эверса, «Исследования, служащие к объяснению древней русской истории» Лерберга, «Словарь писателей духовного чина греко-российской церкви» митрополита Евгения Болховитинова и др.

Но среди румянцевских изданий главное значение принадлежит изданию источников. На первом месте стоит «Собрание государственных грамот и договоров» в четырех томах, основанное в первую очередь на материалах Архива министерства иностранных дел, но включившее и многочисленные новые находки — плод предпринятых на средства Румянцева археографических изысканий [2]. Сюда примыкает ряд отдельных публикаций важнейших памятников, открытых в процессе этих археографических изысканий Строевым и Калайдовичем. Среди них необходимо выделить издание П. М. Строевым «Софийского временника» в двух частях (1826—1834) — первое издание летописи, отвечающее научным принципам XIX в.

Связи Румянцева не ограничивались Петербургом и Москвой. Увлеченный археографической работой, он имел также корреспондентов на местах. В Киеве его корреспондентом был М. Ф. Берлинский, которым начаты разыскания в Вышгороде; впоследствии сюда переехал по службе митрополит Евгений. До того он был в Новгороде и там выполнял функции корреспондента Румянцева. В Белоруссии (в Гомеле) корреспондентом Румянцева был Григорович И. И., и плодом его корреспонденции был том «Белорусского архива», изданный Румянцевым в 1824 г. Наконец, корреспондентом в Перми был Берх.

---

[1] В 1846 г. было издано его сочинение «Uebersicht der Reisenden in Russland».

[2] Том I вышел в 1813 г., том II — в 1819 г., том III — в 1822 г., том IV — в 1828 г.

Румянцев пытался получать материалы и из заграничных архивов и в частности использовал графа С. Р. Воронцова для получения из Лондона документов, относящихся к истории России. Специальное «Собрание словенских памятников, находящихся вне России», было составлено членом Румянцевского кружка Кеппеном и вышло в 1827 г.

И все же во всей многообразной деятельности Румянцева и его кружка центральное место принадлежит той археографической работе, которая связана с именами П. М. Строева и К. Ф. Калайдовича и прежде всего с первым. П. М. Строев по праву может считаться создателем русской археографии XIX в.

П. М. Строев. Начало археографических работ

Павел Михайлович Строев (1796—1876) выступил на литературно-историческом поприще еще будучи студентом и уже в это время проявил свою склонность к источниковедческой работе, напечатав в «Сыне отечества» несколько статей «О родословии владетельных князей русских». Он обратил на себя внимание Румянцева и в 1816 г. был привлечен им на работу в Комиссию печатания государственных грамот и договоров. С этого времени и начинается огромная непрерывная археографическая работа Строева, непрекращавшаяся до его смерти.

В 1817 г. началась первая экспедиция Строева, в которой принял участие и Калайдович, имевшая целью изучение ближайших к Москве книгохранилищ и архивохранилищ больших старинных монастырей, которые в качестве древних центров письменности располагали большими рукописными фондами. Строев обследовал в первую очередь Волоколамский, Воскресенский (Никоновский) и Савва-Сторожевский монастыри. Эта работа продолжалась около двух лет. Результаты превзошли всякие ожидания. Строев и Калайдович обнаружили впервые ценнейшие памятники древнерусской истории и древней письменности, в числе их такие памятники, как Судебник Ивана III, совершенно не известный до этого времени, Софийский временник, изданный самим же Строевым, славянский текст хроники Георгия Амартола, разрешавший, наконец, вопрос об основном византийском источнике Повести временных лет, поставленный Шлецером[1]; найден был и ряд историко-литературных памятников, как Святославов Изборник 1073 г., «Память и похвала князю русскому Володимеру» Иакова мниха и многие другие, изданные затем Калайдовичем.

Наиболее ценные памятники тут же копировались Строевым полностью. Для остальных составлялись подробные описания по фондам с соблюдением известных правил археографии; часть

[1] Строев показал это в статье, которая должна была выйти в «Приложении» к подготовленному им изданию Софийского временника; он только ошибочно принял этот текст за перевод хроники Георгия Кедрина.

этих описаний Строева впоследствии была издана. Строев и Калайдович вслед за этим приступили к печатанию наиболее ценных из найденных источников. Судебник вошел во второй том «Собрания государственных грамот и договоров», вышедший в 1819 г. В это же время Строев работал над изданием Софийского временника, законченного в 1823 г.; его большая источниковедческого характера статья о Временнике была крупным явлением в изучении русского летописания. В то же время Калайдович издал в 1821 г. «Памятники российской словесности XII в.» («Проповеди Кирилла Туровского», «Слово Даниила Заточника», «Вопрошания Кирика», «Послание Симона Поликарпу» и др.).

Но сам Строев сделал из этих первых разысканий значительно более широкие программные выводы, в которых были определены дальнейшие пути наших исторических изучений, — пути, по которым сам Строев и повел эту работу. Он твердо усвоил один практический вывод науки XVIII в.: полнота наших исторических знаний зависит от полноты и доброкачественности исторических источников, критическое изучение каждого источника зависит от качества и числа списков, которыми располагает исследователь. Первые обследования местных хранилищ показали Строеву, какие груды ценностей лежат нетронутыми на местах; они показали также, что самые условия хранения грозят скорой гибелью значительной части архивов, если учеными не будут приняты соответствующие меры.

Когда в 1823 г. Строев был избран членом Московского общества истории и древностей (он к этому времени ушел из архива), то он изложил уже весь обширный план предстоящей археографической работы в речи, обращенной к собранию общества: «О средствах удобнейших и скорейших к открытию памятников отечественной истории и об успешнейшем способе обрабатывать оные».

Первой задачей было извлечение и приведение в известный порядок огромного числа письменных памятников истории и литературы, «рассеянных на обширном пространстве от Белого моря до степей украинских и от границ Литвы до хребта Уральского». Для этого впервые Строевым выдвигался конкретный план научной экспедиции, которая должна была последовательно, в три этапа, объехать все важнейшие хранилища этой огромной территории; первая охватывала северные области, вторая — средние, третья — западные; на все три требовалось пять лет. Автор ссылался при этом на пример и значение Сибирской экспедиции Миллера.

Он видел уже и дальнейшую задачу — задачу, прежде всего, описания всех этих огромных фондов, по образцу тех описаний, которые были составлены им для уже обследованных хранилищ. Но теперь в интересах систематизации материала представля-

лась еще другая, более ответственная задача, — составление единой «Общей росписи, систематически расположенной».

«Общая систематическая Роспись (по издании ее в свет) будет надежным руководством всех, занимающихся Русскою Историею: она соделается необходимым зерцалом историков, критиков, библиотекарей, и доставит собою ключ к обширному книгохранилищу целой России». Результатом этой работы будет составление «Пособий для древней Литературы, Дипломатики, Истории политической и церковной, Законоведения и проч. Тогда (а не прежде) составится и Славяно-Русская Палеография, еще не существующая.

Итогом этой критической работы явится и издание того критически проверенного летописного свода, о котором мечтал когда-то Шлецер» [1].

Предложение Строева не встретило поддержки со стороны членов Общества, и еще несколько лет прошло в отдельных случайных работах, среди которых необходимо все же выделить начало описания Строевым собраний старых печатных книг по типу описания старинных рукописей. Описание библиотеки Толстого, изданное Строевым в 1825 г., было первым образцом появляющегося вслед за этим ряда аналогичных работ.

Но в 1828 г. Строев вернулся к своему основному плану археографической экспедиции и снова изложил его в обращении к президенту Академии наук С. С. Уварову, еще далее конкретизировав план ее работы. На этот раз экспедиция была утверждена, и ее деятельность началась в феврале 1829 г.

Археографическая экспедиция и Археографическая комиссия

Работа Археографической экспедиции продолжалась около 6 лет (1829—1834). За эти годы Строев объехал все основные архивохранилища России, впервые обследовал такие крупнейшие хранилища, как Троице-Сергиевской лавры, Соловецкого монастыря, Софийского собора в Новгороде и многие другие. Работа велась часто в тяжелых условиях, и Строеву самому приходилось на месте составлять описания рукописей, а с наиболее ценных снимать полные копии. В 1830 г. он получил ценного помощника в лице начинавшего археографическую работу Якова Бередникова, помогавшего Строеву в течение всей работы экспедиции; впоследствии он был первым редактором «Полного собрания русских летописей». И в дальнейшем ряд выдающихся работников нашей археографии проходил практическую школу под руководством П. М. Строева.

В 1834 г., уже по прекращении работы экспедиции (намеченный план работы не был доведен до конца), Строев представил Академии наук отчет о работе. «Археографическая Экспе-

[1] Изложение и цитаты по книге *Н. Барсукова*, Жизнь и труды П. М. Строева, Спб. 1878, стр. 64—74.

диция, — сообщал он прежде всего, — успела собрать (в десяти фолиантах) списки до трех тысяч актов историко-юридических (с 1340 по 1700 год)»[1]. Огромная масса других источников, объединенных Строевым под общим термином «писания» и включавшая летописи, повести и сказания, послания, переписки и пр., была отражена в специальных описаниях, составлявших не менее обширные портфели.

Строев выдвигал теперь частично намеченные им уже раньше конкретные задачи дальнейшей работы. Он предлагал, прежде всего, для спасения от гибели огромных богатств, разбросанных по разным уголкам страны, собрать их в единое «Государственное хранилище». Он полагал необходимым вслед за этим приступить к изданию «Полного собрания источников и пособий Отечественной Истории»[2]. Наконец, он намечал уже и план собственной дальнейшей работы по составлению «Хронологического указателя домашних материалов отечественной истории, литературы, филологии».

Обширность проделанной работы наглядно сказалась в том, что почти ни одна публикация памятников русского прошлого не могла теперь миновать Строева. Еще в период работы экспедиции к Строеву обращались за материалами и Сперанский, составлявший Полное собрание законов, и Гамель, составлявший «Описание отечественных фабрик», и другие. И в дальнейшем ни одно крупное издание источников не обходилось без его научной консультации.

В 1834 г. для реализации собранных материалов и развития дальнейшей систематической работы в области археографии Археографическая экспедиция была превращена в Археографическую комиссию, но по соображениям личного характера не при Академии наук, а при министерстве народного просвещения; председателем комиссии был назначен Ширинский-Шихматов, никакого отношения к делу не имевший. Археографическая комиссия просуществовала до нашего времени и уже при советской власти вошла в состав Академии наук.

Практическая работа Археографической комиссии началась с 1837 г. и развернулась в двух направлениях: по изданию русских летописей и по изданию актов. Лишь в итоге работы, поднятой Строевым, начиналось выполнение большой задачи по изданию «Полного собрания русских летописей», поставленной еще Шлецером, но руководство этой работой было поручено не Строеву, а Бередникову. Публикация подвигалась сравнительно медленно. Первый том вышел лишь в 1841 г.; в дальнейшем тома следовали также с значительными опозданиями — к 1847 г. были подготовлены лишь 4 тома, к 1863 г. — 15 томов, всего

[1] *Барсуков*, Жизнь и труды П. М. Строева, стр. 277.
[2] Там же, стр. 278.

вышел 21 том; издание в целом осталось незаконченным; самая подготовка текста не всегда соответствовала новым научным требованиям.

Значительна была работа по публикации актового материала. Она началась публикацией четырех томов «Актов Археографической экспедиции» с 1838 г. Вслед за тем в 1841—1842 гг. были изданы «Акты исторические» в числе 5 томов, за которыми с 1842 г. последовали 12 томов «Дополнений к Актам историческим» и, наконец, «Акты юридические», в издании которых деятельное участие принял в дальнейшем историк русского права Калачев.

Деятельность Комиссии получила особенно значительное развитие с 50-х годов в связи с общим подъемом исторической науки, которая в свою очередь опиралась на предшествующее развитие археографической работы.

Строев, не принимая в дальнейшем прямого участия в работе Археографической комиссии, продолжал вести большую археографическую работу и деятельно участвовал в публикациях Комиссии. Ему обязана Комиссия сообщением и подготовкой значительного количества актовых материалов. Его указаниями пользовалась Комиссия при привлечении списков летописей для их издания, и ему же неоднократно поручалась подготовка вспомогательных материалов, указателей и пр. Строев за последующие годы провел разработку ряда новых архивных фондов и подготовил и частью издал ряд работ справочного и словарного характера.

Развитие смежных и вспомогательных дисциплин

Уже в 1830 г. Строев отмечал: «К составлению славяно-русской дипломатики, палеографии, археологии имею достаточные материалы»[1]. На первом месте в ряду смежных дисциплин необходимо, однако, поставить разработку вопросов языкознания и древней русской литературы в ее увязке с общими вопросами истории.

Среди работников в этой области надо назвать прежде всего уже упоминавшегося выше К. Ф. Калайдовича (1792—1832). Его археографическая работа была обращена в первую очередь на издание памятников древней русской литературы. Это отразилось уже в первом томе «Русских достопамятностей». В 1821 г. он выпустил специальный том «Памятников российской словесности XII в.» Изданием «Древних российских стихотворений Кирши Данилова» Калайдович положил начало публикации и изучению материалов по вопросам этнографии и фольклора. Своим сочинением «Иоанн, экзарх болгарский. Исследование, объясняющее историю славянского языка и литературы

[1] *Барсуков*, Жизнь и труды П. М. Строева, стр. 211. В XIX в. археология включала то, что мы в настоящее время называем археографией.

в IX и X столетиях» Калайдович обращался к разработке вопросов славянской филологии. Болезнь и ранняя смерть оборвали его широкую и серьезную научную работу.

Действительным основателем русского языкознания считают обычно А. Х. Востокова (1781—1864). В 1820 г. им было опубликовано «Рассуждение о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка», получившее высокую оценку со стороны западных славистов и вполне стоявшее на уровне современных филологических изучений на Западе. Исследование Востокова должно быть поставлено в ряд с трудами крупнейших славистов, в то время работавших в Праге, как Домбровский, Шафарик и др. В 1852 г. им было опубликовано «Описание областного великорусского языка». Наряду с этим, как и Калайдовичу, ему принадлежит ряд археографических работ и изданий старинных рукописей.

Вопросы этнографии и фольклора, начатки которых были отмечены выше в связи с деятельностью Калайдовича, получили самостоятельную разработку уже с 30-х годов XIX в. в лице собирателей фольклорного, этнографического материала, как Снегирев, издавший в 1831—1834 гг. работу «Русские в своих пословицах» в четырех томах, или Терещенко, автор сочинения «Быт русского народа», вышедшего в свет уже в 1848 г. Теоретическую разработку этих вопросов начал Надеждин, но его работы в этой области и вся научная разработка этих вопросов относятся в основном уже к середине XIX в.

То же надо сказать и об исторической географии, изучение которой лишь начинается в специальных статьях того же Надеждина или в работе Ходаковского «О путях сообщения в древней Руси».

И археологические изыскания, начинающиеся с 30-х годов XIX в. (раскопки Дюбрюкса в Куль-Обе, работа В. Пассека «О городищах и курганах южной России»), приобретают более организованный характер лишь со второй половины века.

Настоящий беглый обзор, скорее даже перечень, отдельных достижений в разных смежных областях исторического знания имел своей целью показать общий подъем исторического знания в первой половине XIX в. и определенную внутреннюю связь этих явлений.

Расширение объема и круга исторического знания, наконец, самое осознание реального научного значения отдельных его элементов становится прочной материальной базой подъема, роста исторической науки на протяжении рассматриваемого периода. Без этой практической подготовки было бы немыслимо появление к середине века такого историка, как Соловьев.

ГЛАВА 13

НАЧАЛО НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ. ЭВЕРС

Основные сочинения Эверса: Kritische Vorarbeiten zur Geschichte der Russen, Erstes u. Zweites Buch, Dorpat 1814. Русский перевод: *Эверс*, Предварительные критические исследования Густава Эверса для российской истории (перев. с нем.), изд. Моск. об-вом любит. ист. и древн. росс., М. 1825—1826. — Geschichte der Russen, Dorpat 1816. — Das älteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwickelung, Dorpat u. Hamburg 1826. — Древнейшее русское право в историческом его раскрытии (перев. с нем. Ив. Платонова), Спб. 1835 (есть также перевод Д. Языкова).

Основная историографическая литература: *Нечкина, М. В.*, Густав Эверс; в сб.: «Русская историческая литература в классовом освещении». Сб. статей под ред. и с предисл. М. Н. Покровского, Труды Ин-та красной профессуры, т. I, Комакадемия, М. 1927, стр. 19—51.

Эверс. Начало научной работы

Первым представителем нового исторического направления был Иоганн-Филипп-Густав Эверс (1781—1830). Младший современник Карамзина, он работал над историей России в одни годы с ним, но работа их пошла в двух различных направлениях: Карамзин смотрит назад, в XVIII в., Эверс принадлежит науке XIX в. «...У Карамзина я набирал только факты; Карамзин ударял только на мои чувства; Эверс ударил на мысль; он заставил меня думать над русскою историею»[1], — писал впоследствии Соловьев.

Сын лифляндского фермера, Эверс получил неплохое образование за границей и закончил его в Геттингенском университете, одном из лучших научных центров Западной Европы. Он был учеником Шлецера. От Шлецера он взял принципы научной исторической критики; его влияние определило, очевидно, и направление научных интересов Эверса, обратившегося к изучению и анализу памятников древней русской истории — договоров с греками и Русской Правды. Геерен, ученик и продолжатель Шлецера, намечал уже для Западной Европы непосредственный переход к науке XIX в.; он первый от описания внешнеполитических событий перешел к конкретному изучению народной жизни, к экономической истории. Эта новая тематическая направленность также нашла свое отражение в работе Эверса.

По окончании университета в 1803 г. Эверс поступил домашним учителем в семью местного ландрата, поселился под Дерптом и приступил к научным занятиям русской историей. В 1808 г. вышла его первая научная работа «Ueber den Ursprung d. russischen Staats». Уже в этой работе им поднимаются новые исторические проблемы

[1] *Соловьев*, Записки, стр. 60.

и подвергаются пересмотру принятые исторические воззрения; здесь им поставлен вопрос о южном происхождении руси (черноморская русь) и об истории древней Руси до Рюрика.

В том же году Эверс побывал в Петербурге для своих научных занятий и здесь познакомился с Карамзиным. Около этого времени он был избран членом-корреспондентом Академии наук и членом Московского общества истории и древностей, а в 1810 г. получил профессуру в Дерптском университете сперва по русской истории, а затем по истории права. В 1818 г. он был назначен на должность ректора Дерптского университета.

Во время своего пребывания в Петербурге Эверс был занят подготовкой большой работы по истории России. В 1814 г. как первый результат этой работы вышли его «Kritische Vorarbeiten zur Geschichte d. Russen» в двух частях, изданные в 1825 г. в русском переводе в Москве. Эта первая работа по своему методу ясно показывает в Эверсе ученика Шлецера. Посвященная одному основному вопросу о происхождении славян и варягов-руси, она строится на систематическом критическом разборе летописного рассказа с привлечением других письменных источников. Каждая небольшая глава строится на тщательном критическом сличении и разборе какого-нибудь небольшого отрывка текста, дословно воспроизводящегося в начале главы; за каждой главой следуют обширные примечания, содержащие, главным образом, ссылки и дословное воспроизведение подлинных текстов иностранных авторов, привлекаемых для критического разрешения поставленных в «Исследованиях» вопросов. В этих исследованиях он еще раз доказывал свою теорию причерноморского происхождения руси.

Вслед за этим, в 1816 г., вышло его первое большое исследование — «Geschichte der Russen»[1].

Новая тематика

Эверс писал в предисловии, что задерживал издание своей работы в ожидании выхода в свет «Истории государства Российского» Карамзина, не желая опередить своим изданием официального русского историографа. Задержка с печатением «Истории» Карамзина побудила его выпустить первый том, доведенный до конца XVII в., с тем чтобы определить отношение своей «Истории» к «Истории» Карамзина при выходе второго тома. Однако второй том его «Истории» так и не появился, и отношение Эверса к работе Карамзина осталось невысказанным.

Эта первая работа Эверса — «История руссов» — еще в значительной мере связана рядом нитей с наукой XVIII в. Эверс фактически нигде принципиально не противопоставил себя своим предшественникам, для него еще не стоит вопрос о борьбе со старыми историческими представлениями, об утверждении новой

[1] Русского перевода не было.

исторической концепции. Он ее не формулирует теоретически; она вырастает практически из самого изменения круга интересов историка XIX в., из воспринятого, но не сформулированного влияния новых исторических идей. Надо помнить, что собственные научные мысли Эверса формируются еще в конце XVIII в., что он выступает со своими работами в самом начале XIX в., когда на Западе новые идеи и направления только еще складываются, только оформляются. Но поэтому особенно важно проследить, как в работе самого Эверса сказались объективные изменения условий, порождающие перестройку, пусть не всегда осознанную, его исторических взглядов.

Перестройка совершается постепенно. В «Истории руссов» Эверс не создает еще реальной новой концепции русской истории. Он не дает новой схемы, нового понимания процесса в целом, не дает вообще процесса, как такового. Периодизация, которую дает Эверс, — это в основном периодизация, идущая от XVIII в., точнее, периодизация Шлецера, непосредственного учителя Эверса. Он так же делит русскую историю на пять периодов, как делил ее Шлецер. Как и Шлецер, он заканчивает первый период 1015 г., т. е. разделом княжения Владимиром Святославичем между его сыновьями. Второй период охватывает время до 1224 г.; это — некоторая вариация общей темы монгольского завоевания. Только в одном случае брался 1237 г. — нашествие Батыя, в другом случае 1212 г. — начало княжения Юрия, при котором происходит нашествие Батыя; у Эверса же взята дата битвы на Калке, первого столкновения русских с татарами. Третий период заканчивается 1533 годом, т. е. годом начала княжения Ивана IV; и эта дата нам известна из других периодизаций XVIII в., в частности из Щербатова. Наконец, четвертый период заканчивается 1689 г., т. е. началом правления Петра I после устранения Софьи. Царствованием Петра I начинается пятый, новый период русской истории, который должен был войти во второй том «Истории» Эверса.

Таким образом, схема исторического процесса фактически заимствована Эверсом без изменений. Но он и воспроизводит ее как нечто второстепенное и внешнее. Характерно, что он даже не задается целью обозначить каким-либо термином каждый период. Он дает традиционное деление русской истории постольку, поскольку речь идет об общем курсе русской истории, которого он научно не переработал в цельную систему, и довольствуется воспроизведением обычного построения.

Но если схема им повторена, то эта схема не является для него чем-то принципиально основным. Не выработав еще новой концепции, он уже в этой работе делает значительный поворот в смысле круга своих интересов.

Он так определяет в предисловии свое понимание задач историка: «Иные историки весьма пространно описывают государей

и их походы. Я не хотел бы им подражать»[1]. Он уже отбрасывает старую традицию сведения всей истории к описанию походов и отдельных политических событий.

«Я должен был для моей цели, — продолжает он, — подолгу задерживаться на законах и договорах, — на первых, ибо они являются первыми источниками знания о внутреннем состоянии народа, на вторых, ибо они внешним образом свидетельствуют о внутренних основаниях народной деятельности»[2].

Таким образом, Эверсом уже сделан принципиальный поворот от фактов политической истории, от «шумихи политических событий», как говорил Маркс, к изучению внутреннего состояния народа, народной жизни; это — еще не до конца оформленное обращение к истории развития общества.

С этой точки зрения одно характерное изменение в общую схему периодизации русской истории Эверс все-таки внес. Если для его непосредственных предшественников, для Щербатова, Шлецера, Болтина и Карамзина, русская история начиналась с момента образования Русского государства, то для Эверса русская история начинается с первых сведений о жизни славян, с истории народа. Поэтому русскую историю он начинает с первого известного ему свидетельства о славянах под 532 г. Вместе с тем, рядом с политической историей — историей государства, впервые намечается и проблема происхождения самого государства.

Основное изменение, которое дается в соответствии с этим принципиальным положением, выдвинутым Эверсом в предисловии к его «Истории», касается уже ее содержания, тематики. Правда, с внешней стороны все стоит как будто на прежнем месте, как оно стояло у историков XVIII в. Подобно предшествующим и современным ему историкам, Эверс дает историю прежде всего по княжениям. Каждое княжение составляет отдельную маленькую главу. Но описание внешнеполитических событий уже не является действительно основным содержанием его «Истории». Эта сторона передана у Эверса чрезвычайно кратко; каждое княжение укладывается в несколько страниц, представляя суммарную сводку основных фактических данных, собранных в летописях и других источниках русской истории. Основные факты отмечены, но не окружены всем тем комплексом общих описаний, той литературно-психологической шелухой, которой окружали летописный рассказ предшественники Эверса. Это скорее краткая справка.

---

[1] «Andere haben gar weitläufig von den Fürsten und deren Feldzügen geschrieben. Ihnen möchte ich nicht folgen». «Geschichte der Russen», I, Dorpat 1816, Vorrede.

[2] «Für meinen Zweck musste ich länger bei den Gesetzen und Bündnissen weilen; bei jenen, weil sie die Hauptquelle der Kenntniss des inneren Zustandes der Völker sind; bei diesen, weil sie die Grundsätze ihrer Wirksamkeit nach aussen beurkunden» (ibidem).

Зато широко развернуты разделы, посвященные внутренней жизни народа, едва намеченные у Щербатова, чрезвычайно краткие у Карамзина. И здесь характерно уже внешнее соотношение. Если подсчитать размер текста, который отводится Эверсом на эти две части его «Истории», то окажется, что из 528 страниц первого тома главам о внутреннем строе посвящено 216 страниц. Последний период очень насыщен материалом, — занимает значительную часть тома и, начиная с Ивана IV, охватывает различные периоды от середины XVI до конца XVII в.; поэтому общие главы в конце этого периода посвящены только XVII в., а соответствующая характеристика XVI в. не выделена и представляет собой введение в главу об Иване IV, в связи с разбором Судебника, Стоглава и других памятников этого периода. Если учесть и этот текст, то фактически надо будет сказать, что половина всего текста отведена истории внутреннего строя страны.

С первого же раздела появляются главы, неизменно следующие в конце каждого периода: глава о государственном строе, следующая глава — о государственном управлении, т. е. об органах власти — учреждениях и должностных лицах, третья глава — о занятиях и гражданском состоянии (Gewerbe und bürgerliche Zustände), четвертая глава — нравы и религия, наконец, с четвертого периода появляются еще специальные главы: пятая — о законах, шестая — о международном положении и седьмая — об искусстве и науках. Таким образом, в то время как Карамзин ограничился четырьмя небольшими главами на 12 книг своей «Истории», Эверс половину своей «Истории» отвел изучению внутреннего развития общества, внутреннему строю его жизни, в частности впервые введя в общий исторический курс подробный анализ социальных отношений, характеристику тех социальных категорий, которые обозначены нашими источниками, начиная с Русской Правды и Начальной летописи.

Еще не оформляя отчетливо новых проблем исторического изучения, нового понимания исторического процесса, Эверс уже здесь отражает значительное перемещение внимания и интересов историка. Окончательным оформлением нового подхода к истории является вторая крупная работа Эверса — «Das älteste Recht der Russen» — «Древнейшее право руссов», изданная на немецком языке в 1826 г. (вышла на русском языке в двух переводах — Языкова и Платонова [1]). Она представляет уже не общий свод сведений о Руси, а исследовательскую монографию в нашем современном понимании, подвергающую изучению один более ранний период русской истории. В этой второй работе Эверса мы имеем уже не просто свод материалов, а постановку новой исторической проблемы.

[1] Дальше цитируется по переводу Ив. Платонова «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии», Спб. 1835.

Древнейшее право руссов. Новые научные принципы

Эверс неоднократно возвращается к вопросу о том, что «природа везде идет постепенно». «Все является в строгой взаимосвязи; одно происшествие естественно связывается с другим». Все в истории «проистекает из естественного хода развития рода человеческого» [1].

Отсюда по-иному определяется и деятельность отдельного человека в истории как источник отдельных исторических событий. Если наука XVIII в. исходным своим положением выставляла тезис о том, что психология человека есть нечто однородное и тожественное на различных этапах исторического развития, что каждый человек всегда определенным образом реагирует на определенные явления, на определенные возбуждения, — основная мысль Эверса заключается в том, что каждой эпохе соответствуют определенные отношения, определенные представления человека, что они сами изменяются и эти изменения являются результатом внутренних исторических процессов.

Данный человек не потому мыслит так, что всякий человек так мыслит, а потому что так мыслит человек данной эпохи. К этому положению Эверс возвращается неоднократно. Он, впрочем, не избежал при этом известного влияния рационализма XVIII в. с его верой во всесилие человеческого разума. «Только в последствии времени горестные события показали гибельные последствия от разделения областей... Как скоро люди постигли всю справедливость сего коренного начала, то разделы исчезли и явилось наследие престола, основанное на первородстве» [2].

Изучение исторического развития изменений, обусловленных не единичными действиями, а внутренней связью исторических явлений, — вот что становится основной темой историка. Поэтому и задача историка — не простое описание того или иного ряда событий в их внешнем восприятии, а раскрытие развития в его исторической закономерности.

В заключении своего введения к «Древнейшему русскому праву» Эверс пишет:

«Я хочу собрать и изложить здесь сказания Истории о состоянии права в древнейшем быту Российского Государства, и думаю, что мой труд может содействовать к раскрытию древнего права вообще». «Я намерен показать, на основании истории России, постепенный ход права, возникавшего из так называемого патриархального состояния гражданского общества» [3].

Здесь сформулирована уже и вторая идея XIX в.; проблема исторического развития превращается в проблему развития общества, причем формулируется идея гражданского общества, т. е.

[1] *Эверс*, Древнейшее русское право, стр. 95.
[2] Там же, стр. 98—99.
[3] Там же, стр. 12 и 14.

именно та проблема, которая, по высказыванию Маркса и Энгельса в «Немецкой идеологии», отделяет буржуазную науку от предшествующей научной мысли. Проблема гражданского общества — это проблема внутренних отношений общественной жизни и закономерности их исторического развития. Это единство закономерности Эверс и имеет в виду, когда в «древнейшем быту Российского государства» ищет «раскрытие древнего права вообще». Мы не знаем отношения Эверса к немецкой идеалистической философии и в частности к Гегелю, но в одном месте он уже подходит к принципам гегелевской диалектики. «Посему новообразовавшиеся Державы, как и все, производимое натурою, носили в недре своем при начале явления своего зародыш разрушения»[1].

Здесь, правда, лишь одна сторона разрешения задачи, поставленной XIX в. Эверс стоял еще только на пороге XIX в., и поэтому у него с полной отчетливостью выступает и влияние предшествующего периода. Он ставит проблему изучения процесса развития общества, но само развитие раскрывается, дается им в рационалистической схеме определенного логического развития понятий. Поэтому его основная схема развития чисто условна; развитие общества в его постепенном росте воспринимается как логическая схема. Но эта схема общественного развития, впервые сформулированная Эверсом и характерная для данного периода, получила исходное значение для последующей буржуазной исторической науки в России первой половины XIX в.

Схема развития Эверса. Родовая теория

«Первоначально существует каждое семейство само по себе... Род объемлет собою многие семейства; в каждом из них отец есть господин (глава рода — старший сын первого родоначальника. — *Н. Р.*)... Из родов образуются племена, и главою племени становится тот же, кто был родоначальником... Начальник племени... делается мало-помалу ...могущественным Князем. Но первоначальное семейственное отношение, основанное на самой природе, долго еще сохраняет свою силу...»[2] Такова общая схема Эверса.

Итак, основное развитие идет от наиболее узкого союза к наиболее широкому: развивающаяся семья превращается в род, растущий род превращается в государство; родовой старейшина, патриарх, становится постепенно князем и приобретает политические функции.

Эта схема не соответствовала реальному ходу вещей; в реальном развитии род стоит впереди семьи. Семья есть результат распада родового быта, как это окончательно доказывают марксистские исследования. Поэтому здесь дан не реальный ход развития, а только логическая схема развития общественных форм.

---

[1] *Эверс*, Древнейшее русское право, стр. 98.
[2] Там же, стр. 95—96.

Но при всей условности схемы работа Эверса выдвинула два исторических вопроса, которые занимали всю последующую науку XIX в.; во-первых, проблему родового строя и родовых отношений, которую дальше разрабатывает Соловьев; во-вторых, проблему государства как высшей формы общественного развития, как выражения этого общественного развития, и эта проблема развития государства стала центральной исторической проблемой государственной или юридической школы русской истории. И здесь от Эверса путь идет к Соловьеву. При этом в своем конечном общем положении, в своей постановке вопроса об обществе и государстве, концепция Эверса непосредственно примыкала к философскому учению Гегеля, от которого исходила государственная школа.

В постановке проблемы развития от семьи к государству — глубокий отход Эверса от всей проблематики XVIII в. Для XVIII в. государство есть то, с чего начинается история. Только с момента государственного образования мы получаем, в представлении историка XVIII в., сколько-нибудь достоверные сведения о жизни народов, достоверные исторические факты. Поэтому и Болтин, и Шлецер, и Карамзин считают, что нужно начинать историю с образования государства, с призвания варягов. Иной подход к вопросу сказался уже в первой работе Эверса. В новой работе содержание проблемы полностью раскрыто как вопрос исторически обусловленного развития самого государства.

Продуктом исторического развития и отражением общественных отношений является и законодательство. Настойчиво проводя исторический подход, изучая исторические явления в их развитии, Эверс подчеркивает, что самый термин «закон» вообще не существовал в древности. Государственных законов в древности нет. «Закон... есть искусственное понятие, для выражения коего древние языки и не имеют слова»[1]. Самые законы «основаны на здравом смысле, соглашении или воле главы». Закон есть последующий продукт государственной деятельности; ему предшествует обычай, вытекающий из самой общественной жизни.

Проблема родового строя взята Эверсом условно, в разрезе политических отношений. Взяв родовой строй в плане развития государства и связанный ограниченным характером летописи, Эверс вскрывает родовые отношения прежде всего как систему междукняжеских отношений. Но при всей условности и ограниченности такой постановки вопроса он находит в раскрытии системы родовых отношений путь к новой трактовке исторического процесса. Если мы говорим о проблеме развития и проблеме общественных отношений у Эверса, то применение к историческому развитию этих двух проблем ведет к конкретному решению

[1] *Эверс*, Древнейшее русское право, стр. 5 и сл.

третьей проблемы — внутренней закономерности исторического развития. Явления исторические, по высказываниям Эверса, должны не оцениваться и не служить материалом для какой-то морализирующей трактовки; они должны получить историческое объяснение из внутреннего развития общества.

Поэтому когда Эверс подошел, например, в ходе изучения русской истории к разделению земли между князьями, проведенному Владимиром Святославичем, то, обращаясь к своим предшественникам, Эверс говорит, что напрасно оплакивать действия Владимира Святославича, якобы погубившего этим разделом крупную русскую монархию, напрасно предаваться сожалениям. Это — не случайные действия, дурные или хорошие, Владимира Святославича; это — действия, соответствующие данному уровню общественного развития, данной культуре, данной политической организации, существующим политическим представлениям. Князь в Киевской Руси того времени это прежде всего глава рода; но в родовых представлениях все имущество есть не частная, а родовая собственность, оно принадлежит всем членам данного рода и должно делиться между членами рода. Владимир разделил свое княжение между сыновьями, поступая сообразно с понятиями своего времени, и иначе он поступить не мог [1]. Таким образом, вместо оценки здесь дается причинное объяснение явления.

Можно привести и другой яркий пример нового подхода к историческим событиям — анализ известного рассказа летописи о Святополке, прозванном Окаянным, который убил своих братьев, чтобы захватить киевский стол. И к этому факту Эверс подходит не с точки зрения морально-нравоучительного вывода о божьей каре за совершенное преступление. Он не согласен с самим прозвищем Святополка, данным ему летописцем, представляющим, как указывает Эверс, новые понятия православной морали, вносящей новые представления в быт русского общества, а может быть, и определенные политические тенденции сторонника Ярославовой княжеской ветви, враждебной Святополку. Он и здесь говорит, что дело не во внешней оценке, а в том, чтобы, исходя из существующих общественных отношений, понять, почему так поступал Святополк. И верный своему объяснению русской действительности данного периода из господства системы родовых отношений, он исходит из того, что Святополк был сыном Ярополка, убитого Владимиром, который взял себе после в жены вдову Ярополка; Святополк был сыном Ярополка, но родился уже после того, как его мать стала женой Владимира, и в своей расправе осуществлял обычный для того времени принцип кровной мести. Его действия выводятся из представлений родового строя, существовавшего в то время, и Эверс считает, что с точки зрения этих

[1] *Эверс*, Древнейшее русское право, стр. 238—241.

родовых представлений Святополк был прав и должен был так действовать [1].

И здесь важен не конкретный вопрос о Святополке и оценка его действий, а принцип исторического подхода Эверса, его решительный разрыв с историографией XVIII в., кончая Карамзиным, для которого такой факт был прежде всего темой для нравоучительного, морализирующего рассуждения.

К этому нужно добавить, что к самим юридическим памятникам, прежде всего к Русской Правде, Эверс также подошел с точки зрения истории внутреннего формирования текста, с той же исторической меркой, возражая против распространенного в то время в литературе взгляда, далеко расширявшего круг законодательных постановлений Ярослава Мудрого. Эверс противопоставляет этому мнению исторический взгляд, согласно которому первые законы, связанные с деятельностью Ярослава, не могли охватить всего круга вопросов, должны были быть отрывочными, неполными, случайными по своему составу.

«Думали, что все статьи, кои в сей новейшей Правде (Пространной. — *Н. Р.*) не указывают именно на другого какого-нибудь Законодателя, должны принадлежать древнейшему Законодателю, Ярославу... Так думать, говорят, заставляет чрезвычайная краткость и неполнота Правды, предложенной в Новгородском летописце. «Вероятно ли» — говорит Карамзин (в Истории государства Российского, т. II, 347, прим. 65) — «чтобы Ярослав не предписал еще никаких правил для наследства, столь важных и необходимых в гражданском обществе? И в Игорево время были уже на то законы в России». Но то, что сими словами обращается в опровержение древней Правды, не может ли с большою справедливостью служить доказательством ее подлинности, если только взять во внимание то, что здесь идет дело о *первом* письменном законе народа»[2]. Эверс ставит вопрос о том, что сама Русская Правда, по крайней мере в позднейшей ее редакции — Пространной Правде, является не законодательным памятником, не официальным законодательным сводом, а продуктом работы частных переписчиков. Эта мысль сформулирована впервые именно Эверсом.

Общие итоги

Таким образом, Эверс своей работой действительно отразил переход к новой исторической науке XIX в. В его работах дается первая попытка реального разрешения проблемы исторического процесса, он первый в русской историографии подошел к раскрытию закономерности исторического развития.

В его понимании русского исторического процесса уже содержатся основные элементы той исторической концепции, которая разрабатывается в процессе дальнейшего развития буржуаз-

---

[1] *Эверс*, Древнейшее русское право, стр. 265—277.
[2] Там же. стр. 302.

ной исторической науки в России. Таково учение о родовом строе как первой, начальной форме общественного строя. Такова проблема развития государственных отношений как основная тема исторического развития. Эти положения делают Эверса родоначальником государственной школы в русской историографии и в более тесном смысле слова родоначальником русской юридической школы.

Изучение исторических явлений в их правовом выражении, в системе действующих правовых норм и в первую очередь на основе юридических источников — делает его фактическим основателем науки истории русского права, существовавшей до тех пор едва в зародыше в упоминавшихся выше первых работах Штрубе де Пирмонта.

ГЛАВА 14

СКЕПТИЧЕСКАЯ ШКОЛА В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ. КАЧЕНОВСКИЙ

Основные сочинения Каченовского: Параллельные места в русской летописи; в журн.: «Вестник Европы», ч. XLVII, 1809, № 17—20. — «Письма к другу от Киевского жителя» (разбор I тома «Ист. гос. Росс.» Карамзина), «Вестник Европы», 1818 и 1819, ч. CI, CIII и CIV.— «История государства Российского, т. XII»; рецензия в журн.: «Вестник Европы», 1829, № 17. — О баснословном времени в Российской истории, Ученые записки Моск. ун-та, т. I. — Два рассуждения: о кожаных деньгах и о Русской Правде, «Вестник Европы», 1827—1829; то же в Ученых записках Моск. ун-та; также отдельным изданием, М. 1849.

Основная историографическая литература: *Соловьев, С. М.*, Статья о Каченовском в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Московского ун-та». — *Иконников, В. С.*, Скептическая школа в русской историографии и ее противники, в Унив. типогр., Киев 1871. — *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли. изд. 3-е, Спб. 1905.

Каченовский

Эверс реально отразил начало нового направления в русской исторической науке, но он не дал еще принципиального утверждения ее позиций. Для этого необходимо было прежде всего преодолеть ограниченность старого подхода к историческим вопросам, порвать с исторической традицией XVIII в. Эту задачу критического пересмотра наличного исторического знания и поставила перед русской исторической наукой школа, получившая от современников название скептической и сохранившая это название в нашей историографической науке. Первые шаги на новом пути часто ведут к крайним выводам; вначале все в нашей древней истории было поставлено под сомнение. В процессе дальнейшей работы крайности и углы стерлись, а основная задача — расчистка пути для новой науки — была выполнена.

Михаил Трофимович Каченовский (1775—1842), создатель скептической школы, начал свою литературно-научную деятельность в качестве журналиста и сделался в 1804 г. редактором крупнейшего русского журнала того времени — «Вестника Европы». В своей длительной работе редактора и журналиста, продолжавшейся до 1830 г., когда «Вестник Европы» закрылся, Каченовский выполнял большую и серьезную историческую работу, систематически знакомя своих читателей в журнальных статьях и рецензиях с новейшими научными работами и прежде всего с новостями западноевропейской науки. В перенесении на русскую почву основных достижений западноевропейской науки и заключается первая заслуга Каченовского. Он первый, в 1826 г., познакомил русского читателя с идеями нибуровской критики, ставшими принципиальной основой всего скептического направления. Он первый, еще в 1818 г., начал в своем журнале критику «Истории государства Российского» Карамзина, борьбу с историческими воззрениями XVIII в.

Свою научную университетскую деятельность он начал в 1805 г. как магистр, а с 1806 г. — как доктор философии. На кафедру истории Московского университета он перешел в 1821 г., а с 1835 г. он занимал кафедру истории и литературы славянских народов. В университете в числе его учеников и слушателей были Погодин, Станкевич и в самые последние годы Соловьев.

Основные научные работы Каченовского относятся к концу 20-х — началу 30-х годов, когда под влиянием Нибура окончательно оформилось его научное направление.

Однако уже первые работы Каченовского говорят об определенном единстве направления его научной мысли; путь его научной работы — это путь от Шлецера к Нибуру. Представители научной критики — Байер, Миллер, Стриттер, а особенно «знаменитый А. Шлецер», — таковы те имена, на которые определенно указывает сам Каченовский. В ряду русских писателей XVIII в. на него ближайшее влияние имел Болтин. Продолжением работ Шлецера является первая специальная статья Каченовского — «Параллельные места в русской летописи», напечатанная в «Вестнике Европы» в 1809 г.

«Прошло уже более сорока лет, как трудолюбивый профессор Август Шлецер показал, с чего начинать должно, приступая к сочинению Российской истории». Статья Каченовского и является продолжением работ Шлецера по раскрытию исторических заимствований летописи Нестора, ходячих легенд, занесенных в ее текст. Но уже в этой работе Каченовский выдвигает в качестве основной задачи — переход к «высшей критике», к критике фактов, сообщаемых летописью: «Доныне у нас мало о том заботились»[1]. «Надобно более верить истории учености, происше-

[1] «Вестник Европы», т. XLVII, № 17—20, 1809, стр. 133 и 134.

ствий политических и гражданских, нежели показаниям рукописей, когда последние противоречат первой», — так сформулировал он положение «высшей критики» в одной из последующих статей[1]. В этой связи автор уже впервые высказывает мысль о «баснословном периоде» русской истории, лежащую в основе нибуровской критики и получившую свою первоначальную характеристику в «философии истории» Гегеля. Проблема «баснословного периода русской истории» становится в дальнейшем исходным положением всего скептического направления Каченовского.

В 1818—1819 гг., в «Письмах к другу от киевского жителя»[2], он высказал впервые и свое отношение к старому историческому направлению, нашедшему свое выражение в первых томах «Истории государства Российского» Карамзина. Вернее, его критика не пошла пока дальше «Предисловия» Карамзина и высказанных в нем методологических принципов. Его основное положение — противопоставление критического метода прагматизму Юма, противопоставление истории Фукидида, «первого образца критической истории», красноречию Ливия. Художественности и морализирующим задачам он противопоставляет научное требование достоверности, выдвинутое XIX в.: «Требую от историка, чтобы он показывал мне людей такими точно, какими они действительно были».

Теория скептической школы

Знакомство с работами Нибура завершило оформление критического направления Каченовского в скептическую школу. «Римская история» Нибура реализовала переход от «низшей критики» Шлецера к «высшей критике». Критика Нибура не останавливается на установлении подлинности текста источника, а переходит к анализу содержания исторических событий с точки зрения их соответствия реальным отношениям данной эпохи. Это та проблема, которая частично намечена уже у Эверса в установлении соответствия человеческих представлений и человеческой деятельности общей системе общественных отношений каждого данного исторического этапа. Исследование Нибура подвергло полному пересмотру первые века римской истории, ее баснословный период. «Таковы ли ныне первые веки Рима, какими представлялись они взорам ученых до Нибура?» — восклицал Каченовский[3]. Перевод из статьи французского журнала о Нибуре, напечатанный Каченовским в 1830 г., познакомил русского читателя со значением работ Нибура и отразил его собственные принципиальные взгляды на нибуровский метод.

«Для науки нет ничего приличнее, как скептицизм, — не по-

---

[1] *Каченовский*, Исторические справки об Иоанне экзархе Болгарском, «Вестник Европы» № 21—24, 1826, стр. 255.

[2] «Вестник Европы», 1818, ч. CI; 1819, ч. CIII и CIV.

[3] *Каченовский*, О белых лобках и куньих мордках, «Вестник Европы» № 13—16, 1828, стр. 48.

верхностный и легкомысленный, но основанный на сравнении текстов, на критике свидетельств. Исследывайте, сомневайтесь, изъясняйте сами, если имеете довольно мужества; ибо нет необходимой надобности верить всему, даже в истории Ромула».

Но и здесь есть один важный момент, который необходимо учесть и который не всегда учитывают, говоря о скептической школе. Предполагают, что она ставит себе задачу только критики, только разрушения достижений прежней науки. Для Нибура, как указывается в статье, критика лишь подготовка к позитивной задаче построения действительного знания. «Автор не для того трудился, чтобы только разрушать, нет, он отличается от своих предшественников смелостию воссоздания храма истории, старанием заменить поэтические или аллегорические лжи истинными (по своему разумению) событиями, извлекая из басен некоторую существенность» [1].

Таким образом, для Каченовского важна не критика сама по себе, не она является конечной целью; эта критика — только путь к действительному пониманию исторического процесса.

В связи с этим Каченовский после выхода в свет последнего (XII) тома «Истории» Карамзина в 1829 г. подвел итоги своего отношения к предшествующей науке XVIII в., представителем которой он считает и Карамзина. «Несмотря на расстояние времени между окончанием одного труда и началом другого, несмотря на различие в средствах, в силах ума, в учености Карамзина и князя Щербатова, оба писателя имеют много общего между собою: первый весьма часто следовал системе второго; имея в распоряжении своем пособия новейшие, последовал источникам кн. Щербатова...»[2]

Основная задача состояла теперь в том, чтобы критикой прежних работ расчистить путь для новой науки, которая должна показать своеобразие каждой эпохи в последовательности и закономерности исторического развития. Сам Каченовский не развернул полностью этой работы. Он лишь кладет начало критическому направлению, он дает только критику без ее позитивных созидательных результатов. В этом одна из причин тех крайностей, к которым пришла критика Каченовского.

Баснословный период русской истории

Основные его работы в этом направлении: «Рассуждение о баснословном времени в российской истории» и «Два рассуждения о кожаных деньгах и о Русской Правде», напечатанные сперва отдельно в «Вестнике Европы» и затем в несколько расширенном виде в «Ученых записках Московского университета»,

---

[1] «О римской истории Нибура» (из «Journal des Débats». В. Р.), «Вестник Европы» № 17—20, 1830, стр. 75 и 91.

[2] *Каченовский*, История государства Российского, т. XII, «Вестник Европы», 1829, сентябрь, стр. 10.

впоследствии выпущенные отдельным изданием. Эти важнейшие статьи Каченовского посвящены древнему периоду русской истории и объединены одной общей идеей.

Исходным положением для Каченовского служит учение о баснословном периоде в истории народа, т. е. о том начальном периоде, когда он живет еще в условиях совершенно примитивного строя, без оформленных институтов, без письменности, так что и представления об этом периоде сохраняют баснословный, легендарный характер, живут лишь в неясных преданиях старины. Таким периодом представляется Каченовскому Киевский период нашей истории.

В исторической литературе XVIII в. развернулась научная полемика вокруг характеристики этого периода: одно направление утверждало примитивность общественного и политического строя Киевской Руси, другое, напротив, видело уже в этом периоде черты высокого политического развития, лишь нарушенного в дальнейшем княжескими междоусобиями и татарским завоеванием. Внутренне противоречивая характеристика этого периода у Карамзина, построенная на формальном сочетании обеих концепций, в конечном счете ближе подходила ко второй точке зрения. Против нее и направляет Каченовский свою критику, идущую, однако, значительно дальше, чем шли представители противной школы, последним и наиболее крупным представителем которой в начале XIX в. был Эверс.

Разрешение этого вопроса Каченовский ставит в зависимость от оценки подлинности тех источников, на которых строится наше знание об эпохе Киевской Руси, от определения условий, времени и места их возникновения. При этом, если Шлецер ставил вопрос о восстановлении «подлинного Нестора», признавая достоверность источника в его первоначальном виде, Каченовский идет дальше и ставит вопрос о подлинности самой летописи, самой Русской Правды XI—XII вв. Исходя из того факта, что все известные нам списки этих памятников относятся к концу XIII в. или к XIV в., Каченовский ставит вопрос о том, какие мы имеем данные, чтобы признать, что за этими известными нам списками стоит какой-то другой, более древний текст. Какие у нас данные, чтобы допустить существование более древних письменных источников у летописца XII в.? Каченовский на эти вопросы отвечает отрицательно.

Но при этом для решения вопроса он выходит за рамки простого разбора текстов, сличения списков и их очистки текстового порядка, а переходит к изучению их внутреннего содержания, к разбору общих взглядов, в них изложенных, к анализу исторических институтов и выяснению условий их возникновения. Разбор материального содержания источника, его отношения к реальным условиям развития общественного строя и должен явиться реальным основанием для оценки характера, историче-

ского значения источника, который сам рассматривается как продукт исторического развития. В этом, независимо от практических результатов, состоит первый принципиальный методологический смысл работ Каченовского.

Далее, разрешение этого исходного вопроса, основной критерий в характеристике общественного строя рассматриваемой эпохи и народа Каченовский ищет в применении сравнительно-исторического метода, в сопоставлении с историей соседних народов в тот же период. В основе этого взгляда лежит представление о том, что жизнь народов, расположенных в соседстве один от другого и состоящих в постоянном общении между собой, протекает в однородных условиях, в формах общей закономерности развития, а кроме того, в условиях постоянного взаимодействия, создающего реальную связь в развитии однородных институтов у этих народов. До Каченовского общее представление о тожестве процесса исторического развития существовало уже у Болтина. Как общую теоретическую идею, его применил в своем исследовании Эверс. Но только Каченовский выдвинул его принципиально как основной методологический принцип и положил в основу научного исследования, хотя и здесь в силу односторонности его применения пришел к неправильным конкретным выводам.

В своем конкретном построении он исходит при этом, во-первых, из того, что высокий уровень культуры, предполагаемый появлением таких памятников, как Начальная летопись и Русская Правда, не отвечал примитивности отношений, возможных на том этапе, и заставил бы признать значительное превосходство древней Руси над современными ей западноевропейскими, прежде всего германскими, народами. Уже в этом положении было значительное преувеличение совершенства названных памятников.

Значительное распространение дано Каченовским и другому методологическому принципу его исследования. Исходя из идеи взаимодействия народов в их историческом развитии и явно перенося на прошлую историю идею отставания культурного развития России от Западной Европы, Каченовский утверждает для древнего периода зависимость внутреннего развития Руси от западноевропейских влияний.

Исходя из того, что древнейшие списки письменных памятников древней Руси новгородского происхождения, что именно в Новгороде русские люди пришли в непосредственное соприкосновение с Западной Европой, отраженное в письменных памятниках — договорах Новгорода и Смоленска с немцами, что, наконец, сами эти памятники якобы усиленно подчеркивают роль германцев в лице варягов-руси в политическом развитии древней Руси, — Каченовский этими положениями определяет исходные факты нашей древней истории. Он приходит

к утверждению, что весь предшествующий период русской истории — период Киевской Руси — не более как баснословный период истории, остающийся для нас покрытым мраком неизвестности; что наша история начинается вместе с появлением указанных исторических памятников XII—XIII вв., и что свидетельства памятников относятся именно к этому позднейшему периоду.

Два специальных «рассуждения» Каченовского — о кожаных деньгах и о Русской Правде — должны были конкретно обосновать этот общий тезис Каченовского, являясь его конкретным приложением к отдельным вопросам истории этого периода.

В рассуждении о кожаных деньгах Каченовский выступает против мысли об их позднем появлении и длительном существовании, а отсюда приходит к отрицанию давнего существования металлических денег в России. На раннем этапе Каченовский допускал существование меховых денег как реальной расчетной единицы, применявшейся в примитивных условиях хозяйства и обмена, когда расплачивались или целыми меховыми шкурами, или их частями — мордками, соответственно малоценными.

Металлические деньги явились на смену этим деньгам, причем в денежном счете Русской Правды и летописи Каченовский видит уже только последние. В связи с этим и кунную систему Русской Правды он рассматривает как чисто металлическую и ищет истолкования ее основным терминам. Куны-монеты заменили куний мех, причем термин «куньи мордки» он и отождествляет с этой монетой. Наиболее детально он разбирает названия белок и лобок. В белке он видит испорченное слово «бель», а не название пушного зверя; слово «бель» обозначает белый металл, т. е. мелкую серебряную монету. В доказательство этого истолкования Каченовский ссылается на аналогичные термины на Западе, как «asperioli», «blancs». Он ссылается и на летописный текст — «бель ова же сребренники». В «беличьх ушках» он ищет шведскую монету «ore». Наиболее своеобразно его истолкование «белых лобок». Он объясняет термин «лобки» как последующее искажение слова «любки», и видит в этом указание на Любек, т. е. обозначение мелкой серебряной монеты, пришедшей из Любека с немецкими купцами, и сопоставляет эту монету с немецкими ортугами и московскими грошами. Другое указание на заимствование серебряных денег с Запада он видит в летописном упоминании «шеляга» в описании хазарской дани, сближаемого с шиллингом. Эти оба сближения вместе с тем должны подтвердить позднее происхождение соответствующих текстов, в которые они могли попасть лишь с XIII в.

В том же плане строится и анализ Русской Правды. Каченовский приступает к последовательному анализу терминов, институтов Русской Правды, проводимому на базе широкого сопоставления с аналогичными явлениями у других народов. В ряде случаев он сопровождает это попыткой восстановления истории

самого термина. Но при этом однородность явлений служит для него основанием для утверждения заимствования. Так, в «гриди» он видит слово, производное от «Hirdh», — очаг, в «тиуне», примыкая к Эверсу, — Thunginus'a западных источников, в «ябеднике» — aembed'a и т. д. Слово «мечник» на основании однородности явлений он готов рассматривать как перевод латинского gladifer — меченосец или сближает с латинским lictor, а в «метельнике» видит другой вариант к термину «мечник». Все эти сопоставления, законные по существу, он подводит, однако, под неверную общую посылку и потому приходит к ложному выводу о заимствовании самых институтов. Еще резче абстрактность рассуждений выступает в истолковании статей о купце: сопоставляя их с положениями ганзейского права, он ставит вопрос: «неужели новгородцы были учителями Ганзы?»— и тем самым обосновывает свой обратный вывод, что эта статья могла попасть в Русскую Правду только из договоров Новгорода с Ганзой.

В этот поздний период установления сношений с Ганзой на основе понятий, занесенных через Новгород ганзейскими купцами, и возникла, по Каченовскому, Русская Правда в целом.

Таково конечное обоснование общего тезиса Каченовского о баснословном характере Киевской Руси и вместе с тем результат приложения этого тезиса к конкретным историческим проблемам.

Таким образом, вопреки развернутой самим Каченовским программе, примененная им историческая критика оказалась в позитивной части бесплодной. В своем конкретном выводе, вместо восстановления общественного строя древней Руси, он возвращался к абстрактной схеме историков-иностранцев XVIII в., изображавших Киевскую Русь в состоянии полного варварства, которому противостояло высокое культурное развитие Западной Европы. Это было результатом недостаточности его конкретных исторических знаний. Поэтому дальнейшее научное исследование опровергло крайние выводы Каченовского в оценке нашей древней истории. Но за крайностью этих выводов стояли новые и в основном правильные методологические принципы. Подход к источнику и его истолкованию ставился на новую научную базу применением исторического анализа, использованием сравнительно-исторического и филологического метода. В установлении этих новых методов исследования заключалась большая заслуга Каченовского. Историк отказывался от простого воспроизведения источника, переставал принимать на веру его содержание.

Значение критики Каченовского. Его школа

Принцип критической расчистки пути новым научным взглядам, преодоления антинаучной традиции XVIII в. и утверждения исторических воззрений на твердом научном фундаменте отвечал требованиям научной мысли XIX в. И это сказалось в том, что Каченовский был первым русским историком, в связи

с которым можно говорить в какой-то мере о школе. В «Ученых записках Московского университета» в 1835 г.[1] появляется ряд работ учеников Каченовского — статья Стрекалова о Болтине (май — июнь), статья И. Сазонова «Об исторических трудах и научных заслугах Миллера» (июль — август), Станкевича «О причинах постепенного возвышения Москвы». Учеником Каченовского был рано умерший талантливый молодой историк Сергей Строев, брат археографа, писавший под фамилией Скромненко (1815—1840), автор работы «О недостоверности древней истории и ложности мнения касательно древности русских летописей» и ряда журнальных статей. К школе Каченовского примкнул и Арцыбашев своим критическим исследованием о сочинениях Курбского как историческом источнике. Наконец, и первые крупные археографы XIX в. стояли близко к школе Каченовского, применяя в своей работе критические принципы его «скептического» направления; редактор «Полного собрания русских летописей» Я. И. Бередников причислял себя к его прямым последователям.

Если крайние выводы Каченовского были опровергнуты выступившим против него М. П. Погодиным, а также автором «Обороны русской летописи» П. Бутковым, то это еще не давало основания говорить о полном разгроме скептиков и игнорировать их историческое значение, как это сделал в своей книге Милюков, отождествивший при этом методологические принципы Каченовского и Полевого.

Значительно правильнее охарактеризовал историческое значение Каченовского Кавелин: «Каченовский восстал против ...преувеличений (Карамзина. — *Н. Р.*) и старался привести русскую историю к ее естественным размерам, снять с глаз повязку, которая показывала многое в превратном виде, и возвратить или правильнее привести нас к воззрению, равному времени, в которое совершались события. Эту цель Каченовский преследовал с жаром, достойным всякого уважения, и впал в крайность, которая существенно повредила его делу». В споре с Погодиным Каченовский в своих принципиальных позициях был «вполне прав, гораздо правее г. Погодина... Но время не прошло, оно только настает: Каченовский найдет себе защитников и продолжателей»[2]. Кавелин писал это в 1847 г.

Влияние Каченовского нельзя ограничивать его непосредственными учениками, выступившими в 30-х годах. Время шло быстро, наука двигалась вперед и выдвигала новые задачи. Но ее путь шел через скептическое направление Каченовского, и неверно отрывать скептическую школу Каченовского от критического направления в русской историографии, как пытался это сделать Милюков.

[1] Еще раньше работы учеников Каченовского печатались и в «Вестнике Европы».

[2] *Кавелин*, Соч., т. I, ст. 100—102.

ГЛАВА 15

ПОЛЕВОЙ

Основные сочинения Полевого: История русского народа, т. I—VI, М. 1829—1833. — Обозрение русской истории до единодержавия Петра Великого, Спб. 1846. — История государства Российского, Соч. Н. М. Карамзина, т. I—VIII, Спб. 1816; IX, 1821; X, XI, 1824; XII, 1829 (первые восемь томов напечатаны вторым изданием в 1818 и 1819 гг.), критическая статья в журн. «Московский телеграф», издаваемом Николаем Полевым, т. XXVII, М. 1829.

Основная историографическая литература: *Белинский, В. Г.*, Николай Алексеевич Полевой, Спб. 1846. — *Чернышевский, Н. Г.*, Очерки Гоголевского периода русской литературы («Современник» 1855—1856, или отдельно: Спб., изд. М. Н. Чернышевского, 1892, о Н. А. Полевом, стр. 23—49). —*Иконников, В. С.*, Скептическая школа в русской историографии, Киев 1871. — *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, т. I, Спб. 1897. Период 2-й, гл. III: Проповедники философских идей в 20-х годах, стр. 239—240; гл. V: Первые опыты философской конструкции русской истории, стр. 264—277.—*Козьмин, Н. К.*, Очерки из истории русского романтизма, Спб. 1903.

Библиография: См. указанную книгу Н. К. Козьмина, стр. 543—563. — *Геннади, Гр.*, Справочный словарь о русских писателях и ученых, т. III, Н — Р, М. 1908, стр. 161—163.

Полевой и его время

Каченовский отразил одну сторону исторических задач XIX в. в развитии новой исторической науки — ее критическую задачу, проблему отмежевания, пересмотра исторических взглядов предыдущей эпохи, XVIII в., поверки документальной базы русской исторической науки. Полевой отражал в этом отношении уже следующий этап — попытку перенести на русскую почву не только критическую мысль западной исторической науки, но и достигнутые ею позитивные результаты. Он делает первую попытку дать новое синтетическое рассмотрение русского исторического процесса на основе этих новых исторических воззрений. В этом смысле он полнее и шире отражает новое историческое направление XIX в., чем Каченовский, который стоял именно на перевале, у самого «порога» новой эпохи, как сам он об этом говорил. Поэтому ошибочно просто отожествлять Полевого со скептической школой, как делают некоторые историки, например Иконников, на том основании, что сам Полевой называл себя учеником Нибура и посвятил ему свою «Историю русского народа». Полевой значительно шире и полнее определил свои научные связи, в частности в исторической науке, и все эти связи принадлежат безраздельно XIX в.

Здесь, несомненно, сказалось то, что Полевой принадлежал уже к другому, новому поколению по сравнению с Эверсом и

Каченовским. Их научное мировоззрение оформилось еще на рубеже XVIII и XIX вв. На науке и литературе XVIII в. воспитывался еще Каченовский, для него Шлецер представлял последнее слово этой науки. От Шлецера Каченовский и шел в своих первых работах и лишь постепенно прошел путь от Шлецера к Нибуру.

Научное мировоззрение Полевого формируется в 20-е годы XIX в., и в этом, несомненно, значительные преимущества и сила Полевого, который, собственно говоря, начинает с Нибура; поэтому Полевой значительно полнее отразил идеи XIX в. Но, с другой стороны, необходимо учесть и те особые условия, в которых происходило формирование научного мировоззрения Полевого, в которых шло его сближение с западноевропейской наукой.

Николай Алексеевич Полевой (1796—1846) был сыном небогатого курского купца, родился в Иркутске, но большую часть детства и юности провел в Курске. Его литературные и исторические вкусы определились рано. Одной из первых исторических книг, прочитанных им еще в детстве, когда ему было всего около 10 лет, были «Деяния Петра Великого» Голикова, тоже курского купца. Согласно его воспоминаниям, он тогда уже мечтал об исторических занятиях и о продолжении истории Петра I. С неменьшим увлечением читал он всех русских писателей XVIII в. и начала нового столетия. Но настоящего образования ему получить не удалось. Отец готовил его к практической коммерческой деятельности; он сделался приказчиком в деле отца и над своим образованием вынужден был работать урывками, часто ночами, и без всякой системы. Поездки по торговым поручениям отца, начавшиеся с 1811 г., привели его в соприкосновение с русским культурным обществом того времени; в Москве он впервые слушал лекции Каченовского. К 1817 г. относятся первые литературные опыты Полевого, обнаружившие его недюжинный талант и создавшие ему первые знакомства в литературном мире. Но лишь после смерти отца в 1822 г. Полевой смог окончательно освободиться от торговых дел и полностью отдаться любимой литературной работе. Переселившись в Москву, он уже в 1825 г. создал один из блестящих журналов эпохи — «Московский телеграф» (1825—1834), объединивший на время самые крупные литературные силы того времени, отражавший передовое направление литературной критики и научной мысли России.

В своей критической работе Полевой проявил большую самостоятельность и независимость. По отзыву Белинского, Полевой «один из замечательных деятелей русской литературы», «нет возможности перечислить все авторитеты, уничтоженные им». Критика Карамзина оттолкнула от Полевого влиятельный литературный кружок, в который входили Вяземский, Жуковский и другие друзья историографа, ставшие на защиту его научной

славы; с ними ушел из журнала и Пушкин. Критика гоголевского реализма, его «Ревизора», первой части «Мертвых душ» должна была оттолкнуть передовых представителей нового молодого поколения. В то же время его независимый тон делал его подозрительным и неприемлемым для николаевского правительства. Острая критика ультрапатриотической драмы Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», заслужившей «высочайшее» одобрение Николая I, привела к закрытию «Телеграфа». Трагедия Полевого состояла при этом в том, что к этому времени уже были порваны в основном его общественные связи, что в кругу русского общества конца 30-х — начала 40-х годов он стоял в общем одинокий, чуждый тем новым вопросам, которыми в это время жило русское общество. Отсюда его метание, поиски нового литературного дела; отсюда его невольное короткое сближение на чисто деловой почве с такими людьми, как Булгарин, Греч, с которыми у него не могло быть ничего общего и с которыми он, естественно, скоро порвал. Его кипучая деятельность не прекращается и в это время, он издает томы исторических писаний («Историю Петра Великого», «Историю Суворова», «Историю Наполеона»), многочисленные исторические романы и драматические произведения, из которых некоторые даже попали на сцену тогдашнего театра, для чего приходилось, однако, изменять собственным убеждениям и принимать тон, угодный властям. Эти работы стояли в стороне от развития русской мысли и не оставили никакого следа в исторической науке. Силы писателя были подорваны, и в 1846 г. он умер совершенно одиноким. «Замолчать во-время — дело великое; мне надлежало замолчать в 1834 году», — писал сам Полевой своему брату.

Научные воззрения Полевого

Войдя в литературную и научную жизнь накануне 20-х годов XIX в., Полевой вполне воспринял влияния этого периода, мысли этого времени. Но отсутствие систематической подготовки, серьезной научной базы определило ограниченность возможностей Полевого. Он все-таки оставался в известной мере любителем, а не специалистом в тех областях, которыми он занимался. Без прочного фундамента восприняв определенный круг идей, которые он не всегда мог логически продумать и превратить в законченную систему, Полевой именно поэтому не мог расти и развиваться вместе со своим временем. Он остался представителем идей и взглядов 20-х годов, когда в 30-е и 40-е годы научная философская мысль в России уже переходила от увлечения шеллингианскими идеями к философии Гегеля, когда наша литературная критика в лице Белинского переходила от романтических идеалов к реализму, а в исторической науке, на той же основе гегельянской философии, в борьбе западников с славянофилами вырабатывалась органическая концепция русской истории.

Полевой был и остался в значительной мере эклектиком, восприняв определенную сумму идей, но не сумел, за отсутствием теоретической базы и научной подготовленности, прийти к цельной продуманной системе ни в одном из тех направлений, в которых шла его работа.

Именно эту сторону идейного отставания, научного разрыва с обществом, быстро двигавшимся вперед, отчетливо показал уже Чернышевский в главе о Полевом в «Очерках Гоголевского периода русской литературы».

К идеям своего времени Полевой подошел с разных сторон, отражая в разных областях основное направление научной, философской, исторической мысли эпохи 20-х годов. Эти различные идейные связи Полевого с его эпохой получили по-своему своеобразное отражение в его исторических взглядах.

В области философии Полевой, как указано, воспринял идеи Шеллинга, получившие широкое распространение в кружках 20-х годов в России. Отражение шеллингианских идей в этот период мы находим и у другого русского историка — Погодина, заплатившего дань шеллингианству в своих «Афоризмах». Впрочем, сам Полевой, хотя и связанный с одним из наиболее видных русских шеллингианцев, с В. Ф. Одоевским, в этих кружках активно не участвовал. Идеи Шеллинга он воспринял не из работ последнего, а в их более доступной, но зато и более эклектической переработке у популяризатора новых идей, французского писателя-философа Кузена.

Философское направление Полевого, поскольку можно вообще о нем говорить, получило отражение в системе его исторических воззрений. Основную идею исторической науки XIX в., идею исторического развития, он пытается философски осмыслить именно в духе шеллингианской философии с ее сугубой абстрактностью, типичным идеалистическим трансцендентализмом, с значительной примесью религиозно-мистических идей, может быть, идущих еще от Гердера.

Эту «философскую» концепцию истории Полевой сделал попытку определить в своей позднейшей работе — «Обозрение русской истории до единодержавия Петра Великого» (1846) — в условиях философско-исторических споров того времени, но не смог пойти дальше эклектических и туманных рассуждений, разрешающихся в мистической идее божественного разума, действующего в истории. «Так мысль о судьбах бога в прошедшем, о том, что все представляемое нам в минувших событиях было развитием воли и судьбы божественной, доказательством бесконечной мудрости, все ведущей ко благу, одушевляет нам Историю и разрешается в стройную, таинственную *жизнь человечества*...»[1]

---

[1] *Полевой*, Обозрение русской истории, стр. XIX—XX. (Курсив автора. — *Н. Р.*).

В свете этой идеи сама история человечества выступает в смене истории народов, где каждый народ становится носителем определенной «идеи» и выполняет определенную миссию в истории. Смена народов на исторической арене составляет основную схему истории человечества. «Человечество живет в народах, народы в представителях, двигающих грубый материал и образующих из него отдельные нравственные миры»[1],— писал Полевой в своей критической статье о Карамзине. Борьба народов — это тоже борьба идей. Так ставится здесь проблема Запада и Востока, Азии и Европы, из которой, впрочем, Полевой первый выводит идею об особом месте России, как бы сочетающей и примиряющей в себе эти два начала.

За этим остается, однако, основное живое представление о единстве исторического процесса, об органичности его развития. И это вполне реальное представление о внутренней связи и обусловленности действительного исторического развития, почерпнутое им непосредственно из французской послереволюционной исторической литературы, даже ведет его за рамки шеллингианской философии истории, не давая ему, однако, теоретической основы для ее преодоления. «...Жизнь есть не что иное, как борение двух начал: возрождения и разрушения, света и тьмы, стремления частей к самобытности и стремления целого совместить в себе самобытность частей. Окончание одной борьбы есть начало другой, могила прошедшего бытия колыбель нового, переход от конца к началу, от одного развития к другому, всегда более полному, и совершенствование сею борьбою частного общим, общего частным»[2].

Другое отражение западных идей сказалось в романтическом направлении литературной и критико-литературной деятельности Полевого, отмеченном в указанной выше работе Чернышевского. Это романтическое направление и на Западе получило отражение не только в литературе, но и в истории, в задаче исторического раскрытия духа народного в народном быту, в памятниках литературы и искусства, в народных представлениях и легендах; это вопрос «исторического колорита», нашедший такое яркое выражение уже в «Рассказах из эпохи Меровингов» Тьерри. Романтическому направлению непосредственно принадлежит литературная деятельность Полевого, его исторические романы и драматические произведения. Но сказалось оно и в его исторических работах — хотя бы в его отношении к исторической легенде, идущем скорее от романтической, чем от скептической школы. Эту мысль он высказал и обобщил в «Истории русского народа»: «Я старался узнавать дух, мнения, понятия, нравы и поверия каждого века».

---

[1] «Московский телеграф», ч. XXVII, 1829, стр. 467—500.
[2] *Полевой*, Обозрение русской истории, стр. XXI.

Впрочем, непосредственные влияния исторической литературы шли в ином направлении, имели другой источник. Поэтому и нельзя сводить исторические взгляды Полевого к одному историческому направлению; он и здесь оставался эклектиком. При этом на первых порах, пытаясь дать конкретную историю, он ближе держался своих исторических образцов; под их влиянием создавалось и его основное историческое произведение, непосредственно определяющее его место в русской историографии, — «История русского народа».

Источники исторических взглядов Полевого

Круг научно-исторических связей Полевого нашел отражение уже в «Московском телеграфе», где он знакомил русского читателя с исторической мыслью Запада. Рядом со статьями о Макиавелли, Вико, Гердере, Геерене здесь впервые были даны извлечения из новейших историков — Кине, Мишле, Жирардена, Баранта. Здесь же в 1829 г. была помещена большая статья об исторических взглядах Нибура. В предисловии к первому тому «Истории русского народа» Полевой подвел известный итог этим влияниям и со всей возможной полнотой отразил свой собственный взгляд на истоки и направление современной исторической науки.

На первом месте он ставит Нибура (это было в 1829 г., когда русская наука впервые широко познакомилась с его взглядами), и Нибуру — «первому историку нашего века» — посвящает свою «Историю». Но круг историков, на которых он указывает, значительно шире: «Знаменитые сочинения наших учителей: Нибуров, Гизо, Геренов, Тьерри, Гердеров, должны быть упомянуты в числе важнейших предметов, предварительного изучения коих требует всякая история, следственно, и история русского народа»[1]. Связь с западной исторической наукой выступает дальше со всей наглядностью в самом изложении истории у Полевого. Наряду с этим в русской исторической науке Полевой также выделил именно представителей нового направления, материальную базу исторического изучения, созданную археографами, палеографами и «критиками истории», называя Калайдовича, Востокова, Кеппена, Строева, митрополита Евгения, а в качестве критиков — Шлецера, Миллера, Лерберга, Френа, Круга.

Отсюда определяется и отношение Полевого к предшествующей историографии. Он устанавливает три направления в предшествующей историографии — поэтическое, героическое и нравственное — и приходит к выводу о «ничтожности всех ложных направлений истории»: «изменялись века, изменялась и история»[2].

Свою критику прошлого он развил уже в критике Карамзина. «Время летит быстро; дела и люди быстро сменяются. Мы едва

[1] *Полевой*, История русского народа, т. I, М. 1830, стр. LXXXII.
[2] Там же, стр. XIV—XIX.

можем уверить себя, что почитаемое нами настоящим, сделалось уже прошедшим, современное историческим. Так и Карамзин». Идя отсюда, он и приходит к выводу, что «хронологический взгляд на литературное поприще Карамзина показывает нам, что он был литератор, философ, историк прошедшего века, прежнего, не нашего поколения»; и он сравнивает его с Ломоносовым. Этим определяется и его отношение к «Истории» Карамзина. «История, в высшем значении, не есть складно написанная летопись времен минувших, не есть простое средство удовлетворять любопытство наше»[1].

«Цели частной нет и не должно быть у историка, ибо история, как жизнь, есть сама себе цель», — развивает он свою мысль в «Истории русского народа». — Несносно и звание учителя нравственности, заставляющее историка говорить апофегмами и сентенциями, как будто нравоучения, им подсказываемые, могут научать современников и потомство, если дела и события не могли научить их»[2]. В этой критике он идет одним путем с Каченовским, предъявляя историку требование «разуверить себя в понятиях застарелых и освободиться от авторитета наших благонамеренных, умных, но ошибавшихся предшественников»[3].

Он противопоставляет Карамзину свое, иное понимание истории, научный принцип исторической закономерности: «...Уроки истории заключаются не в частных событиях, которые можем мы толковать и преображать по произволу, но в общности, целости истории, в созерцании народов и государств, как необходимых явлений каждого периода, каждого века»[4].

С этим изменением задачи, естественно, менялась и тема изучения, получившая свое выражение в заглавии труда Полевого. «Название книги «*История русского народа*» показывает существенную разницу моего взгляда на историю отечества от всех доныне известных... Я полагаю, что в словах: *Русское государство*, заключалась главная ошибка моих предшественников. Государство русское начало существовать только со времени свержения ига монгольского. Рюрик, Синеус, Трувор, Аскольд, Дир, Рогволод основали не одно, но отдельные, разные государства... При таком взгляде изменяется совершенно вся древняя история России, и может быть только *История Русского народа*, а не История *Русского государства*»[5].

Наконец, он требует и нового научного метода, называя историю «дщерию философии и опыта». Как и Каченовский, он требует исторической критики в духе Нибура. А в соответствии с требованиями научной достоверности, сформулированными истори-

[1] «Московский телеграф», ч. XXVII, 1829, стр. 467—500.
[2] *Полевой*, История русского народа, т. I, стр. XX—XXI.
[3] *Полевой*, История русского народа, т. II, М. 1830, стр. 139, прим. 138.
[4] *Полевой*, История русского народа, т. I, стр. XIX.
[5] Там же, стр. XLI—XLII. (Курсив мой. — *Н. Р.*)

ческой наукой XIX в., указывает, что «историк обязан... показать нам прошедшее так, как оно было»[1].

«История русского народа»

В этой общей методологической установке содержится одновременно существенно новое определение и самого содержания русского исторического процесса. Здесь он снова примыкает непосредственно к идее постепенности и органичности исторического развития от начальных элементарных форм к развитым и совершенным формам единой государственной организации. Последовательно отвергая политико-историческую схему XVIII в., исходившую из исконного существования единого Русского государства, Полевой ищет первоначальное единство не в государстве, а в народе, значительно отодвигая во времени образование самого государства. Соответственно и политический строй начального периода представляется ему не в виде единого государства, а как множество государственных образований — уделов или феодальных владений. Это — то, что мы теперь обозначаем термином феодальная раздробленность; только Полевой понимает это явление по-своему. Самое противопоставление идеи народа государству отделяет Полевого от государственной школы, ведущей свое начало от Эверса, и связывает с романтической школой.

Но Полевой не может последовательно провести свою мысль в конкретном изложении. Здесь, в конкретно-исторической работе, наглядно выявляется та общая противоречивость, которая характеризует всю научно-литературную деятельность Полевого. Он поставил перед собою широкую и новую задачу, но у него нехватает средств, конкретной научной подготовки для ее последовательной практической реализации. Он может реализовать ее лишь постольку, поскольку может следовать за определенными научными образцами. Поэтому, выдвинув серьезный общий принцип понимания русского исторического процесса, он уже в общем вопросе периодизации пошел в основном за старой схемой политической истории, за историей государства.

В конкретной периодизации и он начинает с основания державы Рюрика в 862 г., обозначая первый период, с 862 по 1054 г., как период «нордманской феодальной истории». Второй период охватывает 1055—1224 гг., до завоевания монголов; следуя за Эверсом, он берет за грань битву на Калке; это, по его определению, «период уделов». Впрочем, этот период разбивается и у него еще традиционным делением на две части: II том содержит историю России «от разделения России на уделы до перенесения великого княжества из Киева во Владимир Залесский (с 1055-го до 1157-го года): первая половина периода уделов».

[1] *Полевой;* История русского народа, т. I, стр. XXI.

Третий период — период татарского ига, завершающийся 1505 г., княжением Ивана III, свергшего иго Золотой Орды; он также разбивается на два тома (IV и V), и гранью между ними служит княжение Ивана Калиты и возвышение при нем Москвы (1341). С 1505 г. начинается период единодержавия, продолжающийся до Петра I; Полевой в VI томе дал только его первую часть — «От образования политической самобытности русского государства, или от кончины великого князя Иоанна III до прекращения династии древних русских князей, или восшествия на престол русский Бориса Годунова (1505—1598). Первый период государственной самобытности России».

С Петра I должен был начаться последний, новый период русской истории.

Так, в конечном счете схема давала не историю русского народа, а историю Русского государства. Новое в этой схеме прозвучало лишь в теме феодализма, появившейся в определении первого периода. Идея феодализма в свое время в общей форме отмечалась Болтиным, а потом как-то случайно и неубедительно промелькнула у Карамзина для того же древнейшего периода. В этом определении выражалась прежде всего одна принципиальная идея — связь русского исторического процесса с западноевропейским; это было конкретной реализацией идеи всемирно-исторического процесса. Вместе с тем эта постановка вопроса выступала прямой антитезой характеристике позднейшего, четвертого периода, —«периода государственной *самобытности* России». В самом изложении понятие феодализма распространялось еще и на последующий, второй период русской истории, с различением «феодализма нордманского» и «феодализма семейного». Необычность терминологии вытекала из понимания Полевым феодализма. Под феодализмом он понимает политическое дробление, оформленное в системе междукняжеских отношений. Как указывалось в приведенной выше цитате, Полевой видел в норманском завоевании источник образования не одного, а многих государств. Как и Болтин, он усматривает феодализм уже в первых раздачах земель отдельным князьям и боярам. Отличие второго периода заключается в том, что это разделение производится между членами одного княжеского рода; начало этому положил Ярослав разделением земель между своими сыновьями; отсюда и термин — «феодализм семейный».

Но основное реальное значение этого утверждения, как указывалось выше, в установлении связи русской истории с западноевропейской. Полевой и начинает поэтому с установления параллельного развития той и другой истории. Этим его привлекает и варяжский вопрос. Здесь для него не столько вопрос о возникновении государства и не этнографический вопрос о происхождении русского народа, а вопрос однородности процесса у нас и на Западе. На Западе норманны, вышедшие из Сканди-

навии, совершали захваты и набеги, но, осев в захваченных землях, подготовили образование отдельных государств. И у нас норманны появились, как и на Западе, и выполнили ту же историческую роль.

Вопрос о роли норманнов в происхождении Русского государства, о месте норманского завоевания в общем вопросе об отношении западноевропейского и русского исторического процесса стал вслед за тем, начиная с Погодина, предметом особой дискуссии в нашей исторической литературе.

Начав с признания примитивности политического строя древнего периода, Полевой продолжает работу Эверса, идя по пути довольно удачного раскрытия исторического смысла ряда летописных легенд. При этом в стремлении восстановить подлинные внутренние отношения он иначе, чем Каченовский, подошел и к использованию нибуровского метода. Он не пошел по линии отбрасывания вообще русских летописей и признания их недействительными, так как в них есть баснословный материал. Следуя за Нибуром, он в баснословном материале ищет отражение реально происходивших фактов, которые и пытается восстановить, а средства для этого восстановления он находит в исторической параллели, в сравнении с Западной Европой, которого нехватало у Каченовского. Так, совершенно по-новому подошел он к легенде о мщении Ольги. Для него это не вопрос о ходячей легенде, а вопрос о том, что реально скрывается за ней, и он удачно подходит к разрешению задачи, указывая, что за легендой о мщении Ольги стоит исторический факт завоевания киевскими князьями Древлянской земли. Он таким же путем подошел к переоценке ряда исторических деятелей. Если Эверс в определенном смысле дал переоценку деятельности Святополка «Окаянного», то Полевой в другом направлении подверг переоценке Владимира Мономаха, показав на конкретных фактах, что Владимир Мономах такой же феодальный князь, как и его противники, ведущий борьбу в своих корыстных интересах, движимый общим для данной эпохи стремлением к расширению своей феодальной власти.

Эта попытка пересмотра всего материала с точки зрения определенного целостного понимания эпохи и ее духа характеризует первый том Полевого и составляет его положительную сторону; в этом первом томе много внимания уделено культуре и быту, литературе, освещению общего мировоззрения и религии, — вопросам, которые в исторической литературе предшествующего периода, сосредоточившейся на вопросах политической истории, в значительной мере оставались в тени, без достаточного освещения и понимания.

Наряду с этим уже здесь выявилась вся научная беспомощность Полевого, лишь только он подходил к задачам прямой научной критики текста. Так, у него в летописном тексте *уличи*

превратились в с*уличей* (искажение летописного текста, «а с уличи и тиверцы...» — *Н. Р.*) и переехали на реку Сулу.

Основной интерес представляет второй том, где Полевой впервые конкретно развернул идею тожества исторического процесса на Западе и у нас и попытался в конкретном анализе общественных отношений древней Руси показать действительное развитие русского феодализма. Полевой при этом исходил из принципиального положения об однородности явлений у нас и на Западе, давая этому вопросу совершенно четкую формулировку: «Здесь не было подражания, — заявляет он в характеристике Новгорода, — но только одинакие обстоятельства произвели одинакие следствия»[1]. Это положение звучит прямой полемикой против Каченовского с его теорией сплошного заимствования.

Но откуда пришел Полевой к этим выводам?

В самой структуре второго тома «Истории русского народа» бросается в глаза одна своеобразная черта. У Полевого очень много примечаний. В тексте он характеризует весь строй тогдашней Руси, разбирая при этом главные исторические памятники — законодательные, юридические, летописные свидетельства. Но при этом весь текст сопровождается обширными примечаниями, в которых приводятся параллельно тексту выдержки из исторических исследований западных историков, дающие характеристику феодальных институтов на Западе, выдержки из Тьерри, из Баранта. Основная их цель — показать, что соответствующие явления нашей и западной истории тожественны, что мы имеем, таким образом, тожественный исторический процесс, явления общей закономерности.

Второй том начинается общей характеристикой процесса феодализации на Западе и в России и сопровождается обширными примечаниями. «Будем поступать, как Барант, но не последуем Карамзину, ибо этим он затемнил истину» [2], — заключал он примечание 6.

Излагая в первой главе второго тома «Картину России до XIII в.» и охарактеризовав переход к «семейному феодализму», он тут же сопровождает это положение примечанием: «Сообразите историю феодализма, и вы изумитесь сходству ее с историей уделов русских. Узнав права великих и удельных князей русских, обозрите потом основания феодализма»; и дальше он излагает описание разделения монархии Карла Великого в 843 г. по Тьерри [3].

Описывая историю Новгорода, он рассматривает в примечании вопрос о средневековых городских общинах на Западе — commune и conjuration, ссылаясь на Робертсона [4].

[1] *Полевой*, История русского народа, т. II, стр. 65.
[2] Там же, стр. 13.
[3] Там же, стр. 85—86, прим. 76.
[4] Там же, стр. 63—64, прим. 48.

В этом построении раскрывается и характер того пути, по которому развивалась научная мысль Полевого. В исторических идеях Тьерри и Баранта он нашел ключ к истолкованию и пониманию русской жизни, он показал, что история Новгорода — это история такого же средневекового города западноевропейского феодализма, как и междоусобная борьба князей, — явление, тожественное феодальным войнам Западной Европы.

Полевой был первым западником в русской исторической науке, пытавшимся показать тожественность западной и русской истории, и, может быть, наиболее последовательным западником в буржуазной историографии.

Но при этом в том, что Полевой к этим выводам пришел не от изучения самих источников русской истории и ее документации, а от образцов западной исторической науки, заключалась и его основная слабость. И когда он перешел от раннего феодализма к следующему этапу и соответствующего пособия в западноевропейской истории у него не нашлось, он оказался неспособным дать дальнейшее самостоятельное развитие этих мыслей, пересмотреть традиционный взгляд на последующую русскую историю.

Чем дальше, тем определеннее сползал он на карамзинскую схему русской истории. Совсем по Карамзину звучит у него теперь общая характеристика явлений, проникнутая одним мотивом, что все направляется рукою провидения «и все во благо». Переходя к Ивану III, он говорит буквально словами Карамзина: «Повествование мое будет отселе увлекательнее для внимания: его начнут освещать сильные характеры...»[1]

IV, V и VI тома «Истории» Полевого содержат лишь пересказ внешней истории, с характеристикой политических деятелей, но без всякой попытки раскрыть внутреннюю сущность народной жизни и внутренний процесс развития.

Значение труда Полевого

Указанная внутренняя противоречивость определила последующую судьбу сочинений Полевого. С одной стороны, с философской своей идеей он несколько запоздал. Современники его уже перешли к новым теоретическим взглядам, к новым проблемам, а Полевой оставался на позициях 20-х годов. В конкретной документации Полевой отстал еще сильнее. Вся большая работа, проделанная русскими историками до него, вошедшая в основной обиход русской исторической науки XIX в., осталась в стороне. Полевой и с этой точки зрения не мог удовлетворить ученых-историков 30—40-х годов. Наконец, сказалось и общее положение Полевого в той борьбе различных группировок, которые сложились в кружках 30—40-х годов. Полевой остался в стороне от них. В то время когда Полевой впервые начал излагать свои

[1] *Полевой*, История русского народа, т. V, М. 1833, стр. 24.

взгляды, они представляли определенный шаг вперед. Это была первая попытка исторического синтеза на новой теоретической основе. При этом, однако, даже плодотворные его идеи не смогли пустить более прочные корни, так как их конкретная реализация лишена была научной доказательности, которая заставила бы ученого считаться с его выводами. Поэтому даже самая интересная мысль Полевого — мысль о русском феодализме — прошла без всякого следа. Полевой так и не занял определенного места в русской исторической науке. Люди 40-х годов прошли уже мимо его идей, так как новые представления, идеи, оформившиеся в эти годы, взгляды западников и славянофилов, столкнувшиеся на более широкой и теоретической и конкретно-исторической основе, были значительным шагом вперед по сравнению с тем запасом знаний и подготовкой, которые отразил в своих работах Полевой.

ГЛАВА 16

ПОГОДИН

Основные сочинения Погодина: Историко-критические отрывки, кн. 1, М. 1846; кн. 2, М. 1867; в частности, кн. 1: 1) Взгляд на русскую историю, стр. 1—18; 2) Параллель русской истории с историей западноевропейских государств относительно начала, стр. 55—82; 3) О Москве, стр. 131—159; 4) Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия, стр. 271—305; 5) Петр Великий, стр. 333—363; кн. 2: Должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостного права, стр. 257—274. — Исследования, замечания и лекции М. Погодина о русской истории, т. I—VII, изд. Моск. об-ва ист. и древн. росс., М. 1846—1854; в частности: т. I. О летописи Нестора; т. II. Происхождение варяго-руси. — Древняя русская история до монгольского ига, т. I—III, М. 1872. — Исторические афоризмы, М. 1836 (Historische Aphorismen aus dem russischen v. Göring, Leipzig 1836). — Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны, 1853—1856, М. 1874.

Основная историографическая литература: *Барсуков, Н.*, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1—22, Спб. 1888—1910.—Погодин М. П., см. «Биографический словарь профессоров и преподавателей Моск. ун-та», ч. 2, М. 1855, стр. 230—274. — *Бестужев-Рюмин, К.*, Михаил Петрович Погодин (1800—1875); в кн.: *Бестужев-Рюмин*, Биографии и характеристики, Спб. 1882, стр. 231—254. — *Милюков, П. Н.*, Главные течения русской исторической мысли, т. I, Спб. 1897. Период 2-й, гл. V. Первые опыты философской конструкции русской истории, стр. 277—286. — *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов. Историографические очерки, критические статьи и заметки, вып. 2, Соцэкгиз, 1933 (Погодин, стр. 44—48). — *Соловьев, С. М.*, Записки Серг. Мих. Соловьева. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других (б. м.), «Прометей»

(б. г.).—*Кавелин, К.*, Собр. соч., т. I, изд. Глаголева, Спб. (б. г.). (2. Исторические труды Погодина, стр. 95—252.) — *Корсаков, Д.*, Погодин; ст. в кн.: «Русский биографический словарь», том: «Плавильщиков — Примо», Спб. 1905, стр. 154—166.

Библиография: *Геннади, Гр.*, Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX ст., т. III, Н—Р, М. 1908, стр. 151—154.

Место Погодина в историографии

Историографическая оценка Погодина, тесно связанная с общей исторической оценкой его деятельности как публициста, до сих пор страдает известной неясностью и даже двойственностью. Своей теорией своеобразия, самобытности русской истории Погодин близок к славянофилам. Плеханов, выясняя отношение Погодина к славянофилам, по существу отожествлял их.

А между тем Погодин в одном из основных своих положений — в оценке исторической роли государства, несомненно, был близок к государственной школе. В вопросах исторической критики он последователь Шлецера, которого западники отстаивали в полемике с славянофилами. Погодин оказал влияние на государственников, в частности на Соловьева, в ряде конкретных вопросов. Между Погодиным и Соловьевым есть элементы преемственности. В резко враждебной оценке Погодина, данной Соловьевым, есть доля личного момента; неслучайно оценка другого западника, Кавелина, оказалась значительно более благоприятной для Погодина. И все-таки в отрицательном отношении Соловьева было больше принципиальности. Чем дальше, тем резче выступало общее расхождение при наличии отдельных совпадений в частностях.

Двойственность оценки Погодина коренится глубже — в двойственности и противоречивости научного и общественного лица самого Погодина, особенно резко отразившего в себе противоречия современной ему русской жизни.

Погодин как историк в разработке исторического метода, в постановке вопроса исторической закономерности, в трактовке отдельных исторических вопросов выступает представителем научной мысли XIX в. Но Погодин не только ученый, историк, он публицист и политический деятель, состоящий на службе у самодержавия, у николаевской крепостнической монархии. Политической идеологии самодержавия он подчиняет свой научный метод и исторический материал. Переплетение и столкновение этих двух начал отразилось на исторических взглядах Погодина.

Биографические данные. Развитие взглядов

Михаил Петрович Погодин (1800—1875) был выходцем из разночинной среды. Он сын крепостного графа Салтыкова, получившего отпускную, обучался в Московской гимназии, затем в Московском университете и здесь, после защиты диссертации в 1830 г., начал

свою преподавательскую деятельность. Сначала он занимал кафедру всеобщей истории, пока кафедра русской истории была занята Каченовским, а в 1835 г. перешел на кафедру русской истории.

Круг влияний, на основе которых формировались научные взгляды Погодина, в значительной мере устанавливается его собственными свидетельствами. Прежде всего он в своих автобиографических записях отмечает влияние Карамзина: «История государства Российского» была первой большой книгой, с которой он начал знакомство с русской историей. Карамзина он ставил высоко, хотя, как представитель науки XIX в., отмечал его слабости и недостатки — недостаток философской мысли и научной критики.

Рядом с Карамзиным большое влияние оказал на него и Шлецер. Портрет Шлецера, полученный Погодиным от сына Шлецера, хранился им с особым почтением. В своих работах Погодин неоднократно ссылался на работы Шлецера и в исследованиях по древней русской истории, по вопросу о происхождении варяговруси и по изучению русских летописей выступал его непосредственным продолжателем. Влияние Шлецера определило место научно-критического метода в работе Погодина.

В ранний период деятельности Погодин испытал и влияние философских идей, распространявшихся в то время в среде молодого поколения; в конце 20-х годов он был членом шеллингианского кружка и даже выпустил книгу философско-исторического содержания — «Афоризмы», с налетом шеллингианства. Это, однако, лишь временное увлечение, не идеология, а стиль: философия едва ли соответствовала умственному складу Погодина.

Погодин был в курсе современной исторической науки. Подобно Полевому, он хорошо знал и французскую историческую литературу: произведения Гизо, Тьерри.

Две поездки за границу еще ближе познакомили его с западноевропейским обществом и с западноевропейской наукой. В 1839 г. Погодин, будучи в Париже, посетил Гизо. К этому времени относится его знакомство с крупными представителями славяноведения — чешскими учеными Шафариком и Домбровским; он выступает потом в роли научного посредника между ними и русскими читателями.

Так определилась связь Погодина с современной ему исторической наукой. Продолжение направления, данного Шлецером, представляли обе его диссертации — «О происхождении Руси» (1824) и «О летописи Нестора» (опубликована в 1834 г. в «Журнале министерства народного просвещения» и в 1839 г. отдельной книгой). Годы его профессорской деятельности (1835—1844) были периодом его наиболее интенсивной научной работы. Отражение этой работы представляли отчасти статьи Погодина в «Москвитянине», создававшиеся из его лекций. Впоследствии материалы его лекций

были собраны в сборнике «Исторические отрывки», первая часть которого вышла в 1846 г., и в семи томах его «Исследований, замечаний и лекций о русской истории», напечатанных в 40—50-е годы. К этому времени относится и деятельность Погодина по собиранию древних памятников, в первую очередь рукописей и старых книг. Погодин, правда, собирал скорее как любитель, чем как ученый-исследователь. В 1852 г. он продал свое «Древлехранилище» Публичной библиотеке в Петербурге (ныне Ленинградская Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина). Погодину принадлежит и издание ряда рукописей. В 1841 г. он был избран академиком. Периодом 30—40-х годов исчерпывается фактически научная деятельность Погодина. Его работы, опубликованные впоследствии, были лишь воспроизведением прежних работ. Его «Древняя русская история до монгольского завоевания» (1871) была лишь литературной обработкой третьего и четвертого томов его «Исследований, замечаний и лекций».

От научного исследования Погодина тянуло к служебной карьере, для которой он не пренебрегал никакими средствами; служба превращалась в политическое прислужничество. Эта его полная аморальность особенно отталкивала от него его современников. С глубокой антипатией отзывается о нем археограф Строев. Еще резче характеризует Погодина Соловьев в своих «Записках»; он называет его лишь удачливым «наездником» в русской истории, а по характеру «мелочным торгашом». «Погодин менее всего был призван быть профессором, ученым; его призвание... — площадная деятельность»[1].

В связи с Польским восстанием 1830—1831 гг. он написал «Исторические размышления об отношениях Польши к России» и послал их начальнику III отделения Бенкендорфу. Статья понравилась, и его спросили, какую денежную награду он хочет. Погодин первоначально обиделся, но потом передумал и попросил награду.

Так было положено начало его фактической службе по министерству народного просвещения сначала в качестве профессора, развивавшего в своей научной работе основную идею уваровской формулы — «самодержавие, православие, народность», выражавшей политическую идеологию николаевской монархии. С 1841 г. он уже числился на службе по министерству, а в 1844 г. отказался от кафедры в Московском университете, чтобы совсем переехать в Петербург и заняться службой и публицистикой (издание журнала «Москвитянин»). Правда, он вскоре пришел к другому решению, когда кандидатом на кафедру явился Соловьев. Понимая, что ему потом кафедры не вернуть, Погодин пытался сохранить кафедру, но было поздно: место его занял Соловьев, и с этого мо-

[1] *Соловьев*, Записки, стр. 53—54.

мента окончательно оборвалась научная деятельность Погодина — он стал публицистом.

Наибольший подъем его публицистической деятельности связан с событиями периода Крымской войны. Его «Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны» впоследствии были выпущены отдельной книгой; в этих статьях его концепция русской истории ставилась уже в прямую и неприкрытую связь с борьбой против революционных идей, за укрепление самодержавия в России. Но и в качестве публициста он карьеры не сделал: для правительства он был слишком беспокоен и криклив, а для передовой общественной мысли его взгляды были явно и грубо реакционны.

Попытки вернуться к научной деятельности в период 60—70-х годов также не увенчались успехом. Погодин мог лишь повторять старые мысли и перепечатывать прежние статьи; но все это безнадежно устарело. Если в начале 40-х годов здесь еще была доля новизны, то после монументального труда Соловьева, после 20 лет наиболее интенсивного развития буржуазной исторической науки эти работы Погодина звучали полнейшим анахронизмом, а самое имя Погодина давно стало символом реакционности и беспринципности.

Таким образом, научная деятельность Погодина связана реально с совершенно определенным и хронологически ограниченным периодом: он представляет в русской историографии период 30—40-х годов. Он стоит между Каченовским и Полевым, с одной стороны, Кавелиным, Соловьевым, с другой. Его преимущество перед Каченовским и Полевым заключалось в том, что для своего времени он был все-таки историком-специалистом, который шел так или иначе от конкретного исторического материала; отсюда значение его отдельных исследований. Но идеологическая реакционность его научной мысли в конечном итоге лишила эти выводы принципиальной обоснованности, исключила возможность синтеза, единства системы. Отдельные выводы оказывались висящими в воздухе.

В свете этого внутреннего противоречия вскрывается реальное содержание основных элементов научной работы Погодина.

Научный метод Погодина

Идя от критического метода Шлецера к научному обоснованию исторической достоверности против «наветов скептиков», Погодин начал с принципиального сближения истории с точными науками. Стремление подводить исторические явления под законы мира физического, сопоставление тех и других явлений — один из излюбленных приемов Погодина.

Так, доказывая различие в развитии России и Западной Европы, Погодин поясняет это следующими сравнениями: «Взгляните на два зерна: они почти одинаковы... но дайте время этим семенам развиться, вырасти, и вы увидите, что из одного возник-

нет дуб, а из другого пальма... Вот два шара, употреблю другое сравнение, совершенно равные. Положите их на одно место рядом, ударьте их с одинаковою силою, — но случись одной линии, какому-нибудь легкому, неприметному склонению, разделить толчок, — шары понеслись в разные стороны, и чрез несколько времени вы видите их в беспредельном между собою расстоянии»[1].

Погодин особенно любит употребление терминов из области естественных наук — «punctum saliens, по выражению анатомиков», «микроскоп исторических соображений», «неприметный атом» [2] и т. п.

Конечно, все это — сравнения внешнего, формального свойства; однако характерна тенденция сближения с естественными, точными науками; это та идея XIX в., которую развили дальше позитивисты — Конт, Спенсер.

Эта тенденция находит свое отражение у Погодина в формуле «математической мето́ды» в истории[3]. Погодин неоднократно возвращается к своей идее «математической мето́ды» — доказательства исторической достоверности по образцу математических теорем.

Примеры такого математического доказательства можно привести из исследования Погодина о летописи Нестора. Каченовский и его ученики доказывали баснословность летописных сведений об истории Киевской Руси X—XII вв. Погодин опровергает это утверждение доказательством «от обратного».

«Дайте мне точку, с которой думал бы кто-либо начинать несомненную русскую историю, — пишет он. — Представьте себе, что кто-нибудь хочет начать ее с XII столетия. Очень хорошо. Слушайте. В XII столетии являются на сцену следующие действующие лица (следует перечисление князей.— *Н. Р.*) ...Все они — двоюродные братья и дяди между собою, как замечаю я при первых их взаимных отношениях, допускаемых вами. Следовательно, рассуждаю я далее (по образцу геометрической пропорции, в коей тремя известными членами отыскивается четвертый неизвестный), сторона наша искони принадлежала одному роду. Следовательно, она не была завоевана, ибо, если б была завоевана, то была б роздана, как везде, между завоевателями. Следовательно, она была занята, мало-помалу, по мере размножения своего рода». Точно так же из наличия неславянских имен князей выводится роль варяжского элемента в происхождении этого княжеского рода [4].

Математический метод, превращаясь в формальное уподобление, однако, вел к предельной формализации исторического метода

[1] *Погодин*, Древняя русская история, т. I, М. 1871, стр. 87.
[2] Там же, стр. 73, 74.
[3] В XIX в. слово «метод», будучи заимствовано из французского языка, употреблялось первоначально в женском роде — «мето́да».
[4] *Погодин*, Исследования, замечания и лекции, т. I, М. 1846, стр. 11—13.

и всего исторического мышления Погодина. Историк ничего не вносит от себя, он лишь суммирует то, что дано в источнике, — таково конечное положение Погодина, для которого исторический вывод превращается в своеобразный количественный итог. Этот прием особенно наглядно отражен в VII томе «Исследований, замечаний и лекций», где автор дает характеристику органов власти и их функций в XI—XIII вв. Изучение строится на выборке соответствующих выписок из текстов; из них в порядке систематизации и определенного подытоживания выбирается то общее, что характеризует, скажем, функции князя — право суда, право сбора даней и т. д. Таким же путем может быть рассмотрена в свою очередь функция суда в целях конкретизации тех случаев, при которых упоминается княжий суд. В определенных пределах этот метод был, несомненно, верен, создавая проверенную документальную базу для исторического исследования. Впоследствии этим же путем пошел Соловьев, пошли историки юридической школы — Чичерин, Сергеевич, Дьяконов и др. Но для них это было лишь первым этапом, за которым следовал анализ сведенного материала. Для Погодина суммирование свидетельств текста, количественный итог был концом исследования, снимавшим задачу анализа фактов и раскрытия действительного исторического содержания рассматриваемого явления путем взаимной проверки, из самой системы их внутренних взаимоотношений. На это утомительное зачитывание выписок текстов без всякого анализа, без попыток обобщения горько жаловались слушатели лекций Погодина. В конечном счете все решалось самим источником; роль историка и его «высшей критики» в результате упразднялась.

Но даже при таком ограниченном, формальном понимании проблемы Погодин не мог остаться последовательно, до конца верен требованиям точной науки. Начав с математического анализа, Погодин кончает признанием полной иррациональности исторического процесса, в котором все направляется волею провидения.

С одной стороны, все связано и взаимно обусловлено с математической точностью, а с другой стороны, автор то и дело восклицает: «Как все зыбко!» «Младенец Рюриков Игорь с его дружиною есть единственный плод Норманского призвания в Новгород». Но вот со смертью Рюрика Олег пускается с Игорем в странствие на юг: «Минута неизвестности. Семя предано произволу ветров!» «Успокоимся! Благопромыслительной десницею несется оно именно в Киев, где ему приготовлено лоно, где государству поставлена цель»[1].

«Ни одна история не заключает в себе столько чудесного, если можно так выразиться, как Российская», «перст божий ведет нас»,— пишет Погодин в статье «Взгляд на русскую историю».

[1] *Погодин*, Древняя русская история, т. I, стр. 77, 74.

Все «во благо», даже смерть царевича Дмитрия в Угличе: «не пресекись род Московских Князей: не было бы Романовых, не было бы Петра»[1], — значит не было бы и Петровских реформ.

Так от научного принципа XIX в. Погодин переходит непосредственно к идее провиденциализма, взятой даже не от XVIII в., а от предшествующего ему периода. Идея провиденциализма, иррациональности развития вступала в непосредственное противоречие с идеей закономерности, органичности исторического развития, выдвинутой наукой XIX в.

Вопрос исторического развития России и Запада

Первый вывод из принципа органического развития состоит в признании единства закономерности исторического развития у разных народов, в установлении тожества переживаемого ими исторического процесса.

Погодин отмечает ряд однородных явлений, тожественных этапов. Варяги, пришедшие на Русь к IX в., это те же норманны, чьи завоевания создали западноевропейские государства; феодализму на Западе соответствует удельная система в России; крестовые походы на Западе ослабили феодалов и усилили королевскую власть, у нас это сделали монголы. Наконец, на Западе — реформация, у нас — Петр. Но эта параллель у Погодина тут же переходила в прямую антитезу. В статье «Параллель русской истории с историей западных европейских государств, относительно начала (1845)»[2]. Погодин утверждает, что у нас не только нет сходства с Западом, а напротив, все диаметрально противоположно.

Если первое положение вытекало из принципов новой науки, то второе положение диктовалось требованием политической идеологии. Признание закономерности западноевропейского развития вело к признанию революции, уничтожения феодальной монархии, борьбы классов. И Погодин спешит уверить, что у нас все должно быть иначе; у нас не будет ни борьбы классов, ни революции, ни буржуазного государства, как на Западе, потому что у нас самодержавие имеет народный характер и опирается на силу церковную; таков был смысл уваровской формулы: «самодержавие, православие, народность».

Со своей обычной непосредственностью — «что другой только подумает, — Погодин скажет» — Погодин начинает свое сопоставление яркой характеристикой современного состояния Западной Европы, характеристикой, не лишенной известной наблюдательности.

«В наше время низшие классы, вслед за средним, являются на сцену, и точно как в революции среднее сословие боролось с

[1] *Погодин*, Историко-критические отрывки, т. I, М. 1846, стр. 10—12.
[2] Там же, стр. 55—82. Положения этой статьи довольно точно повторены в ряде других статей, а затем вошли и в его последнюю работу «Древняя русская история до монгольского завоевания».

высшим, так теперь низшее готовится на Западе к борьбе с средним и высшим вместе. Предтечей этой борьбы уже мы видим: сенсимонисты, социалисты, коммунисты соответствуют энциклопедистам, предшествовавшим героям «Французской революции».

Корни этой борьбы он видит в прошлой истории Западной Европы:

«Завоевание, разделение, феодализм, города с средним сословием, ненависть, борьба, освобождение городов, — это первая трагедия Европейской трилогии.

Единодержавие, аристократия, борьба среднего сословия, революция, — это вторая.

Уложения (т. е. конституция. — *Н. Р.*), борьба низших классов... будущее в руце божией».

Этой характеристике Западной Европы Погодин противопоставляет историческое развитие в России, в которой с самого начала «нет ни разделения, ни феодализма, ни убежищных городов, ни среднего сословия, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы...»

Отчего такое различие? — спрашивает Погодин. Оттого, что «наше государство началось не вследствие завоевания, а вследствие призвания».

Это противопоставление, которое получило затем широкое хождение в нашей литературе, особенно у славянофилов, отразило известные влияния современной западноевропейской историографии[1]. Оно связано с теорией французских буржуазных историков, как Гизо, Тьерри, в упрощенной интерпретации которых классы и их борьба оказались продуктом завоевания. Франки завоевали галлов: франки стали господствующим классом, а галлы подчиненным; так создались классы во Франции. Так было и в Англии.

Значит, развивает свою схему Погодин, раз у нас не было завоевания, то не может быть ни классов, ни классовой борьбы: «у нас не было ни победы, ни покорения, и не началось никакого различия в правах... не началось ни дворянства, ни рабства, в европейском смысле». Отсюда и единение царя с народом, хотя несколько своеобразно понятое: «Наш народ был посажен на легкий оброк, а западный осужден на тяжелую барщину». Наконец, в России не получилось и феодального дробления: «у нас было *одно* какое ни есть государство»[2].

Правда, в более детальной конкретной характеристике эта антитеза не совсем удалась: противоречие двух методологических принципов дало себя знать. Неслучайно один из теоретиков славянофильства, Петр Киреевский, подвергнув статью Пого-

[1] Хотя у нас и нет прямых данных для установления зависимости славянофилов от Погодина в этом вопросе, но характерно, что эта тема формулирована Погодиным уже в 1832 г. и проходит в его лекциях с самого начала.

[2] Цит. по «Древне-русской истории», т. I, стр. 86—89.

дина критическому разбору в «Москвитянине»[1], довольно метко подчеркнул фактическое сочетание двух противоположных схем, в силу чего и самое призвание оказывалось в конечном итоге весьма сходным с завоеванием. Погодин отвечал ссылкой на то, что все начинается с малого и что неприметные в начале различия постепенно возросли в дальнейшем.

Его самого интересовало именно это позднейшее различие. Поэтому и самая тема получает свое полное развитие в его «Историко-политических письмах и записках в продолжение Крымской войны».

В период развязывания Крымской войны Погодин развивал мысль о мировом могуществе николаевской монархии: «Что есть невозможного для русского государя?» — «Пол-экватора, четверть меридиана!» Эта сила до сих пор не нашла «центра своей тяжести», по выражению Погодина. Она находится в движении, подобно качанию маятника; последняя остановка маятника была в Петербурге. «Из Петербурга размах не может остановиться нигде, кроме Константинополя»[2].

Правительственные круги в России пытались использовать Крымскую войну как средство укрепления монархии. Но оказалось обратное: Крымская война вскрыла слабость николаевской монархии; результатом была революционная ситуация, создавшаяся в стране в конце 50-х годов.

Погодин винил в этом исходе внешнюю политику правительства. Выход из тупика, из позорного положения, к которому привела Россию война, он видел в организации славянского национального движения на Балканах и в Австро-Венгрии, чтобы национальное движение отвлекло силы европейских государств от России. Но правительство Николая I твердо стояло на охранительных принципах Священного союза, оставалось верным своей роли жандарма Европы: оно боялось, чтобы национальное движение не превратилось в революцию на Западе, где еще свежа была память о 1848 г., и чтобы тогда не создалась угроза распространения революционного движения и в России.

Погодин спешит уверить правительство на основании своей исторической теории, что нам революция европейского типа нестрашна. «Смотря беспрестанно на Запад, мы и себя почли Западом. Принимая к сердцу разные его несчастия, например Французскую революцию и следовавшее за нею повсеместное потрясение законного порядка, мы испугались и сочли себя обязанными, среди неусыпных попечений о благе подданных, принимать деятельные меры, чтоб и у нас этот законный порядок не был потрясен, и у нас не произошло французской революции[3]. Погодин уверяет, что этот страх напрасен.

[1] «О древней русской истории». Письмо к Погодину П. В. Киреевского, «Москвитянин», 1845, кн. 3; там же ответ Погодина.

[2] *Погодин*, Историко-политические письма, стр. 10, 2, 187.

[3] Там же, стр. 250.

«Россия представляет совершенно противоположное государство западным. Восток есть Восток, а Запад есть Запад... Семян западной революции в России не было, следовательно, мы не должны были бояться западных революций»[1].

Это превращается у Погодина и в своеобразную «философию» русского народного движения, также совершенно непохожего на западные революции: «Мирабо для нас не страшен, но для нас страшен Емелька Пугачев. Ледрю-Роллены со всеми коммунистами не найдут у нас себе приверженцев, а перед Никитой Пустосвятом разинет рот любая деревня»[2].

Процесс исторического развития. Народ и государство

Самую особенность исторического развития России Погодин при этом пытается дать в духе идей XIX в., как закономерность исторического развития России, вытекающую из его внутренних условий. «Революции не перенимаются, — пишет Погодин, — а происходят каждая на своем месте, из своих причин»[3]. Особенности русской истории он видит уже в начальных элементах древнерусской жизни. Погодин ищет эти особенности в свойствах русского народа и в отношениях народа к государству.

Здесь Погодин подходит к другому принципиальному вопросу русской исторической и общественной мысли 40-х годов. Уже Полевой противопоставил историю народа истории государства. По вопросу об отношении народа и государства развернулась полемика между славянофилами и западниками.

Погодин начинает с утверждения, что основа различия между Россией и Западом лежит в разнице народного характера. Самый принцип призвания, противопоставленный завоеванию, должен определить иное отношение народа к государству, чем на Западе. Там народ подчинен государству, здесь народ сам призывает себе царя и дает ему всю власть. Эти исходные положения как будто связывают Погодина с славянофилами.

Но, начав с народа, который сам призывает князя и потому сохраняет свои основные права, Погодин приходит к обратному результату: государство приобретает всю полноту власти и фактически устраняет дальнейшую роль народа. Историческая схема Погодина принадлежала не славянофильству, а теории официальной народности с ее фактическим подчинением народности государству. Отсюда и характеристика русского народа, данная Погодиным. Основное свойство русского народа, по Погодину, «безусловная покорность, равнодушие». Отсюда выводит Погодин в качестве его основных свойств монархизм и консервативность. В «Историко-политических письмах» эта характеристика «народного духа» дана с предельным цинизмом, типичным для Погодина.

[1] *Погодин*, Историко-политические письма, стр. 202.
[2] Там же, стр. 262
[3] Там же, стр. 202.

«А на что не способен русский человек?» И эта способность для Погодина воплощена в чудесном превращении рекрута в николаевской армии. Взятый от сохи, он изображается Погодиным как «увалень, настоящий медведь, национальный зверь наш»; но через год «его уже узнать нельзя: он марширует в первом гвардейском взводе и выкидывает ружьем не хуже иного тамбур-мажора...» Глубоким презрением к народу пропитаны его слова о том, «какие успехи оказывает всякий сброд (!) в Московском художественном классе»[1].

В сущности и здесь все достоинства народа оказываются продуктом государственной деятельности. И в истории России народ выступает на сцену лишь один раз, чтобы призвать князя; передачей функций власти государству исчерпывается его историческая роль. «Покорность» народа служит основанием всесилия государства. Но это уже положение крайних государственников типа Чичерина.

Самая аргументация этого последнего тезиса в значительной мере совпадает у Погодина и у историков государственной школы, частично, может быть, в последующей разработке даже заимствуется им у последних.

Погодин в объяснение особенностей исторического процесса развития России немало уделяет внимания роли географического фактора: равнинный характер русской степи, рассеянность населения среди лесов и болот, суровые природные условия — причина особых свойств русского народа, слабости народной организации. Теории «бродяжничества» по русской равнине соответствует у Погодина идея «зыбкости» всех общественных отношений, картина всеобщего «брожения»: князья переходили из удела в удел; за ними тянулись «бояре и отроки»; это движение распространялось, далее, на «низших воев, людей, жителей городов». «А глядя на них, приучались переходить с места на место и сами поселяне».

В этом общем движении государство становилось единственной действующей, организующей силой, и вся история России превращалась в историю государства. В этой схеме легко была воспринята и теория Чичерина о «закрепощении и раскрепощении сословий». Ярким отражением этой схемы была и трактовка Петровских реформ: «Переворот государственный, революцию... начинает у нас первый император... а консерватизм выражается народом» [2].

Но призванное объяснить своеобразие русского исторического процесса и закономерность его развития, такое понимание отношения народа и государства не могло дать ему реальное объяснение, так как все действие народа ограничивалось одним единственным актом первоначального создания государства. Поэтому

---

[1] *Погодин*, Историко-политические письма, стр. 5 и 6.
[2] Там же, стр. 254.

в конечном итоге все историческое развитие снова должно было быть сведено к действию внешних сил, направленных волей провидения: норманнами создан первый период русской истории, монголы определили переход к единодержавию Ивана III, реформы Петра I и влияние европейских идей определили последний, новый период русской истории.

На этой внутренне противоречивой основе строится Погодиным общая картина русской истории.

Общая схема русского исторического процесса

Принципиально обоснованной периодизации русской истории, как ее в известной мере пытались дать даже историки XVIII в., Погодин не дает, так как в его понимании русской истории отсутствовал самый принцип ее разделения на периоды. Единственной реальной гранью осталось самое возникновение государства. Поэтому история государства дается Погодиным даже не в духе государственной школы с попыткой включить ее в общую систему органического развития: историю Русского государства Погодин дает скорее по Карамзину, чем по Соловьеву.

Возвращаясь к концепции XVIII в., Погодин историю России начинает с образования Русского государства; таким образом, у него сразу же выпадает та тема, с которой начинает русская историография XIX в., — проблема происхождения государства из развития общественных отношений, поставленная Эверсом. Русское государство Погодин рассматривает как единовременный продукт «призвания» варягов.

И уже в этом первом вопросе кроется целый клубок противоречий. Призвание вместо завоевания — акт народной самодеятельности, сохраняющий самобытность русского народа. Но в то же время все остальное развитие Погодин выводит от варягов, и самый период Киевской Руси, по Погодину, — норманский период. В ответе на критику из славянофильского лагеря, данную Киреевским, Погодин попытался несколько смягчить это утверждение заявлением, что и без варягов все развитие шло бы тем же путем. Но это лишь общая декларация. На самом деле даже культура Киевской Руси подчиняется норманскому влиянию: Нестор писал свою летопись на основании свидетельств норманнов, посещавших Киев в XI в., русские сказания, былевой эпос превращаются в отражение скандинавских саг. Утверждение славянской самобытности и национальных основ русской истории с первых же шагов сменяется крайностью норманской теории.

Погодин, правда, говорит о двухсотлетнем процессе постепенного развития древнего государственного строя, но в его изображении это лишь чисто механическое, автоматическое расширение деятельности князей, а не процесс внутреннего развития. На тех же внешних моментах строится характеристика удельного периода, как перехода к единодержавию Ивана III: «сцена истории

переносится на северо-восток». Здесь в характеристику схемы внедряются монголы. Правда, сперва это внедрение получает внешний характер: татары делят период на две почти равные части по старому счету степеней княжений — 10 великих князей до татарского нашествия и 11 после них; около двух столетий до них, и около двух столетий после. В «Очерке русской истории»[1] Погодин сделал попытку показать, что развитие Московского государства совершалось независимо от татар и даже в борьбе с ними. Кавелин даже поставил ему это в заслугу как первую попытку органического рассмотрения Московского периода русской истории и в частности вопроса возвышения Москвы. Но и здесь наряду с первым положением формулируется тотчас и обратное: возвышение великого князя Московского оказывается связанным с монгольским завоеванием, якобы ослабившим враждебных государственному объединению удельных князей. Поэтому в схеме Погодина нет места также Ивану IV и его политике, которую он расценивает совершенно по-карамзински.

В то же время оказывается, что и татарское иго пало чуть ли не само собой, по счастливому стечению обстоятельств, так что укрепление Московского государства совершается почти без борьбы.

Укрепление русского самодержавия завершается при Петре I; он начинает новый, европейский период русской истории: «Во всей Истории не было революции обширнее, продолжительнее, радикальнее»[2]. Наконец, с Александра I начинается период «первенства России в Европе» и кончается «европейский период русской истории». Здесь Погодин пытается примирить еще одно противоречие своей схемы: Петра с проведенной им европеизацией России и начало национальной самобытности.

Отдельные вопросы русской истории. Летопись Нестора

Так попытка дать общую концепцию, построенная на внутренне противоречивом основании, свелась к длинному ряду несводимых воедино противоречий. Концепция Погодина давала в зародыше уже основные элементы противоречий между славянофилами и западниками.

Но в постановке отдельных конкретных вопросов, там, где на первом плане стоят вопросы документального обоснования, Погодин делает определенный шаг вперед.

На первом месте здесь надо поставить вопрос о летописи Нестора, которой была посвящена вторая диссертация Погодина, вошедшая в первый том его «Исследований, замечаний и лекций». Исследование, как указывалось, было направлено против скептической школы и сводило воедино все обоснование подлинности Начальной летописи как памятника XI в. и достоверности со-

[1] *Погодин*, Историко-критические отрывки, т. I, М. 1846, стр. 19—34.
[2] Там же, стр. 32.

общаемых ею сведений о древнейшем периоде русской истории. Он разбирает условия возникновения летописи, в частности на сопоставлении биографических данных о Несторе как ее авторе; затем формальные элементы летописного текста — язык летописи, ее хронологию. Но главное внимание он сосредоточивает на ее фактическом содержании, подтверждая достоверность летописи сличением ее со свидетельствами одновременных с летописью иностранных источников.

При этом, идя от Шлецера, Погодин в известной мере делает определенный шаг вперед, представляет новый этап в развитии изучения летописи.

Задачей Шлецера было установление очищенного, или подлинного, Нестора, наличный текст которого представлялся критику продуктом чисто механического объединения совершенно чужеродных материалов. Погодин на основе анализа текста пришел к выводу, что известный нам текст Начальной летописи явился в свою очередь вполне законченным и целостным литературным памятником. Задача дать «очищенного Нестора» сменялась иной проблемой — установить источники летописи Нестора. Это было переходом к исследованию Бестужева-Рюмина «О составе русских летописей».

В той же плоскости выяснения эволюции текста и его содержания рассматривает Погодин и Русскую Правду. Он пытается также, расходясь не только с Каченовским, но и с Карамзиным, пересмотреть вопрос о церковных уставах, доказать их подлинность.

Но, отметив эти положительные стороны источниковедческого исследования Погодина, надо указать в них и другую, отрицательную сторону, связанную с ограниченностью его метода. Установив подлинность летописи, Погодин подходит затем чисто формально к использованию ее в историческом изучении. Раз летопись подлинна, раз летописец пишет ее в конце XI в., значит мы можем брать события, как они есть, и излагать так, как они изложены Нестором. Поэтому в подтверждение своих выводов, в раскрытии исторического содержания он идет не от анализа исторических фактов в их преломлении у Нестора; для него в изложении Нестора заключается подлинный факт. Он идет от слов летописи, а не от ее существа. Так, летописный рассказ об обращении новгородского посольства к варяжским князьям: «Земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет; приходите княжить и владеть нами», — даются Погодиным как непосредственное объяснение призвания варягов.

Это формальное использование летописи является обратной стороной погодинского анализа источников и результатом того, что, используя в некоторых частях новый научный метод, Погодин не объединяет материала творчески новой идеей, что в основе остается старое понимание исторических явлений.

Во второй том «Исследований» вошла первая диссертация Погодина «О происхождении варягов-руси», в которой он еще раз подытожил основные доводы норманистов, примыкая и в этом вопросе к Шлецеру, а также к Карамзину.

О возвышении Москвы

Из дальнейших конкретных вопросов надо выделить вопрос о возвышении Москвы. Карамзин связал его с татарским игом: «Москва обязана своим величием ханам». В 30-е годы ученик Каченовского Н. Станкевич изложил в своей статье географические условия возвышения Москвы. Погодин в статье «О Москве» показывает другую сторону в этом процессе — политический рост Москвы. «Княжество, поместье стало государством, удельный город столицею, Москва Россией», — так определяет Погодин содержание этого процесса[1]. В этом определении содержания процесса естественно отодвигалась на второй план роль Золотой Орды. Этому политическому росту подчинил Погодин вопрос «территориальных приращений Москвы»; отметив конкурирующие княжеские центры, Погодин говорит, что Москва «возвысилась над ними, снискала первенство, избавила от власти иноплеменников и потом приняла их в свои пределы»[2]. Эта мысль о «собирании власти», противопоставленная схеме «собирания земли», была впоследствии развита Пресняковым в полемике против схемы Соловьева—Ключевского. Сам Погодин не оставался последовательно на этой позиции, резко отходя от этой своей мысли в других статьях.

Борис Годунов и крепостное право

В статье о Борисе Годунове Погодин подверг пересмотру весь вопрос о его виновности в смерти царевича Дмитрия. Критический анализ всего комплекса источников приводит его к выводу о недоказанности этого обвинения. Впоследствии эту точку зрения развил Платонов и за ним Покровский. Но и здесь важен не вывод Погодина, оставляющий все же серьезные сомнения, а методологические принципы проделанной им критики источников—«высшей критики», по терминологии Шлецера. Можно сказать, что в примененной им критике источников он фактически стал на позиции той самой скептической школы, с которой столько полемизировал. Такова обычная непоследовательность Погодина.

Значительно существеннее другая статья Погодина, посвященная Борису Годунову: «Должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостного права?»[3] В связи с этой статьей развернулась полемика между Погодиным и Костомаровым. Статья Погодина поднимала серьезный вопрос о происхождении крепостного права, она направлена против Карамзина, который на основе указа 1597 г. о пятилетнем сыске искал указ 1592 г.

---

[1] *Погодин*, Историко-критические отрывки, кн. 1, стр. 151.
[2] Там же, стр. 154.
[3] *Погодин*, Историко-критические отрывки, кн. 2, М. 1867, стр. 197—257.

о крестьянском закрепощении. Погодин первый ввел правильное ограничение в понимание указа 1597 г., лишь регулировавшего порядок сыска, и на этом основании отвергал самое предположение об указе 1592 г. Идее единовременного, указного введения крепостного права он противопоставляет мысль о постепенности процесса закрепощения. Но эта правильная основная мысль сплетается с целым рядом произвольных утверждений: он ставит под сомнение подлинность указа 1607 г., сомнительно толкует указ 1601 г., наконец, самое закрепощение отодвигает в XVII или даже начало XVIII в., как и авторы-славянофилы, например Беляев. И в то же время он сочетает эти рассуждения с заимствованием у государственной школы теории закрепощения и раскрепощения сословий.

Как и всюду, позитивная, синтетическая часть у Погодина слабее всего. Но самая постановка вопроса была новой. В последующей литературе этот вопрос, поднятый Погодиным, получил дальнейшую разработку и разрешен уже нашей, марксистской историографией.

Роль Петра I

Последний значительный вопрос, выделенный Погодиным, — это вопрос о Петре I. Ему посвящена статья в первом томе «Историко-критических отрывков» — «Петр Великий» — и две отдельные книги: «Семнадцать первых лет царствования Петра Великого» и «Суд над царевичем Алексеем».

Погодин выступает решительным панегиристом Петра I и его реформы. Эта оценка Петра снова связывает Погодина с западниками и противопоставляет его славянофилам, связывает его с идеологией XIX в. и противопоставляет дворянским идеологам — Щербатову и Карамзину. В конечном итоге все в современной России — создание Петра I:

«Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1 января 1841 г. — Петр Великий велел считать годы от Рождества Христова, Петр Великий велел считать месяцы от января.

Пора одеваться — наше платье сшито по фасону, данному Петром Первым, мундир по его форме. Сукно вытканo на фабрике, которую завел он, шерсть настрижена с овец, которых развел он.

Попадается на глаза книга — Петр Великий ввел в употребление этот шрифт, и сам вырезал буквы...

Приносят газеты — Петр Великий их начал...»[1] и т. д.

Здесь опять разрывается самая идея исторической обусловленности, исторической закономерности.

Мы уже отмечали выше противоречивость общей концепции Погодина по вопросу о деятельности Петра I. Здесь и крайняя степень противопоставления государства народу, царя-реформатора — народному консерватизму. Здесь и столкновение пет-

[1] *Погодин*, Историко-критические отрывки, кн. 1, стр. 341.

ровской европеизации с началом национальной самобытности, разрешаемое восстановлением последней в XIX в.

Издание исторических памятников

К научным заслугам Погодина относится и его обширная деятельность по изданию исторических памятников. Он нашел и опубликовал IV часть (V том) «Истории Российской» Татищева. Ему же обязана историческая наука первым изданием сочинений Посошкова, которому он посвятил специальную статью. Им же была представлена к печати «Летопись» Величко. Из числа изданных им сочинений выделяются: «Цветущее состояние Российского государства» Кириллова, «Псковская летопись», «Образцы славянского древлеписания» и многие другие. Научные достоинства самих изданий не отличаются, впрочем, высоким качеством.

Общие итоги

Этими основными данными определяется значение Погодина в русской историографии. Его общая историческая концепция, обращенная в прошлое и полная противоречий, была исторически бесплодна и лишала самого Погодина определяющего влияния на русскую историческую науку, на общий ход ее развития. Она связана с последним лишь отдельными конкретными вопросами и некоторым дальнейшим развитием научно-критического метода. Однако, не определяя органически дальнейшего развития исторической науки в силу собственной теоретической беспомощности, Погодин сам отражал еще один небольшой момент в ее поступательном движении, в приближении к тем новым научным проблемам, которые во всем объеме встали уже в исторической науке конца 40-х и 50-х годов.

ГЛАВА 17

СЛАВЯНОФИЛЫ

Основные сочинения славянофилов по вопросам истории: *Киреевский, И. В.*, О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России; в кн.: «Московский сборник», т. III, М. 1852, стр. 1—68. — *Киреевский, П. В.*, О древней русской истории (Письмо к М. П. Погодину); в журн.: «Москвитянин» № 3, 1845, стр. 11—46. — *Самарин, Ю.* (*М. З.-К.*), О мнениях «Современника» исторических и литературных, «Москвитянин», ч. 2, 1847, стр. 133—174. — *Аксаков, К.*, О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности; в кн.: «Московский сборник», т. I, М. 1852, стр. 51—139. — *Его же*, Сочинения исторические, изд. 2-е, М. 1889 (Соч. Аксакова, т. I). Особенно статьи: Об основных началах русской истории, стр. 11—16; О том же, стр. 16—25; О русской истории, стр. 25—33; Родовое или общественное явление был изгой?, стр. 33—44; По поводу I тома «Истории России» г. Соловьева, стр. 44—63; О древнем быте славян вообще и русских в особенности, стр. 63—124; Замечания на

статью г. Соловьева «Шлецер и антиисторическое направление», стр. 169—208. — *Хомяков, А. С.*, Поли. собр. соч., т. I, изд. 3-е доп., М. 1900; особенно статьи: О возможности Русской художественной школы, стр. 73—105; По поводу статьи И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», стр. 197—263. — *Его же*, Полн. собр. соч., т. III; особенно статьи: О старом и новом стр. 11—29 (1839); Вместо введения к собранию исторических и статистических сведений о России и о народах, ей единоверных и единоплеменных, стр. 130—140; Замечания на статью Соловьева «Шлецер и антиисторическое направление», стр. 266—285. — *Его же*, Записки о всемирной истории ч. 1—3, Полн. собр. соч., т. V, VI и VII. — *Попов, А.*, История возмущения Стеньки Разина, М. 1857. — *Беляев, И. Д.*, Крестьяне на Руси. Исследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе, М. 1860 (был ряд последующих изданий). — *Его же*, Русская земля перед прибытием Рюрика в Новгород; в журн.: «Временник Моск. об-ва ист. и древн. росс.», кн. 7—8, М. 1850, стр. 1—102. — *Его же*, Рассказы из русской истории, т. I—IV, М. 1861. — *Его же*, О сельской общине; в журн.: «Русская беседа», 1856, кн. 1.

Основная историографическая литература: *Чернышевский, Н. Г.*, Очерки Гоголевского периода русской литературы («Современник», 1855—1856), изд. М. Н. Чернышевского, Спб. 1892 (гл. III — Погодин, Киреевский, Шевырев, кн. Вяземский, Плетнев, стр. 91—163). — *Соловьев, С. М.*, Шлецер и антиисторическое направление, Собр. соч., изд. «Обществ. польза» (б. г.), Спб., ст. 1577—1616. — *Бестужев-Рюмин, К. Н.*, Славянофильское учение и его судьбы в русской литературе. Статья 1: «Отечеств. записки», кн. 2, 1862, стр. 679—719; статья 2: «Отечеств. записки», кн. 3, 1862, стр. 26—58; статья 3: «Отечеств. записки», кн. 5, 1862, стр. 1—23. — *Пыпин, А. Н.*, Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов, Спб. 1873 (исторические очерки), гл. V, Славянофильство, стр. 233—343. — *Его же*, История русской этнографии, т. I, Спб. 1890. — *Максимович, Г. А.*, Учение первых славянофилов, Киев 1907. — *Рубинштейн, Н.*[1], Историческая теория славянофилов и ее классовые корни; в сб. статей: «Русская историческая лит-ра в классовом освещении», с пред. и под ред. М. Н. Покровского, т. I, Комакадемия, М. 1927, стр. 51—119. — *Дмитриев, С.*, Славянофилы и славянофильство (Из истории русской общественной мысли середины XIX века); в журн.: «Историк-марксист» № 1, 1941, стр. 85—97; там же, Изложение обсуждения этой статьи в Институте истории, стр. 97—100. — *Костомаров, Н.*, О значении критических трудов Константина Аксакова по русской истории, Спб. 1861. — *Венгеров, С. А.*, Передовой боец славянофильства Константин Аксаков, Спб. 1912. — *Завитневич, В. З.*, Алексей Степанович Хомяков, т. I и II, Киев 1902. — *Гершензон, М.*, Исторические записки, М. 1908. Содержание: гл. I. И. В. Киреевский, стр. 7—43; гл. II. П. В. Киреевский, стр. 44—118; гл. III. Ю. Ф. Самарин, стр. 119—162; гл. V. Заключение, стр. 201—224.

[1] Не смешивать с автором настоящей работы.

Славянофилы в историографии. Славянофилы и западники

Проблема закономерности исторического развития, единства исторического развития России и Европы, проблема народа и государства — представляет одно целое, разные стороны единой исторической проблемы. Эта тема, поставленная уже общественной и исторической мыслью 30-х годов, получает свое дальнейшее конкретное развитие в 40-е годы в столкновении славянофильства и западничества.

В нашей исторической литературе славянофильство не получило еще своей полной научной оценки. Одностороннее понимание славянофильства привело к двум крайним, взаимно исключающим истолкованиям.

Одна оценка в значительной мере связана с Плехановым, который отожествлял славянофильство с теорией «официальной народности», а историческую концепцию славянофилов в сущности отожествил с концепцией Погодина. Плеханов взял их за одну скобку и для характеристики концепции славянофилов взял Погодина и его взгляды. Корни этой постановки вопроса у Плеханова лежат в отсутствии исторического подхода к самому славянофильству. В своей характеристике славянофилов он идет в сущности от славянофильства 70—80-х годов, от Леонтьева и Данилевского, забывая, что они явились уже перерождением славянофильства в новых условиях пореформенной России и действительно представляли переход славянофильства на позиции официальной народности. Между ними и Погодиным действительно можно проводить знак равенства. Но нельзя просто отожествлять Леонтьева и Данилевского с Константином Аксаковым, с Киреевскими или Хомяковым, славянофильство семидесятых годов и славянофильство сороковых годов.

Славянофильство 30—40-х годов отличается от его преемников 70-х годов и отличается от Погодина тем, что оно противопоставляет народ государству и стоит в оппозиции государству, хотя и в форме своеобразной дворянской оппозиционности. Это не та глубокая оппозиция, какую представляют левые западники, Белинский, Герцен и др. Но это была оппозиция самодержавию, и в их общественной и исторической идеологии она получила своеобразное выражение в решительном противопоставлении народа государству, в их последовательном размежевании друг от друга. Тогда как у Погодина государство покрывает и заменяет собой народ, и народ все свои права передает государству, славянофилы 40-х годов противопоставляют народ государству, утверждая определенные права народа, не подлежащие нарушению со стороны государства.

Но было бы обратной крайностью на основании противопоставления народа и государства у славянофилов, на основании оппозиционности славянофильства и даже признания ими необходимости определенных экономических перемен, рассматривать

славянофилов как представителей не дворянства, а буржуазии, и их оппозицию правительству — как буржуазную оппозицию в России. Эту оценку славянофилов дает Н. Рубинштейн[1] в статье об исторических взглядах славянофилов в сборнике «Русская историческая литература в классовом освещении» (под ред. М. Н. Покровского). Еще более крайнюю формулировку дал в своей статье Н. Державин, прямо утверждающий, что «Московские славянофилы... представляли собой группу националистически настроенной либеральной буржуазии...»[2]

В действительности оппозиция славянофилов правительству может быть исторически объяснена только в своих дворянских, помещичьих истоках. Это была оппозиция известной части помещиков, главным образом, мелкого и среднего дворянства, особенно тяжело испытавших обострение кризиса крепостной системы и требовавших какого-то выхода, виня прежде всего государство в создавшемся положении. Но они не могли найти реального выхода, так как они оставались все же оппозицией дворянства. Поэтому мысль о том, что Россия должна притти к западной буржуазной монархии, о чем говорили западники, была социально неприемлема для славянофилов. Выступая против полицейского режима Николая I, они искали выход лишь в формальном размежевании народа и государства, но тем самым не затрагивали самых основ существующего строя. Разрешение вопроса они искали не в будущем, а в прошлом, не в закономерном развитии будущего из настоящего, а в идеализации русского прошлого. Они идеализировали «самобытные устои» русской жизни: сельскую общину, патриархальные нравы, обычаи и т. д. Здесь и сказывалась классовая сущность, отражение классовой позиции славянофильства. Именно поэтому оппозиция славянофильства была преходящей. Когда исторические события показали, что предстоит крушение дворянско-крепостнической монархии, славянофилы повернули вправо и прямо объединились с самодержавием.

Неудивительно поэтому, что революционный демократ — западник Белинский, первый со всей последовательностью вскрыл глубокое противоречие в социальной сущности славянофильства и западничества и ускорил их решительный разрыв. Их первоначальная близость опиралась на общность их оппозиционности николаевскому режиму. Но разрыв с славянофилами был лишь первым этапом в эволюции западничества, за которым следовал второй этап — разрыв в самом западничестве между левыми и правыми западниками, в основе которого лежало то же начало классового противоречия. Отсюда и конечное сближение в новых условиях буржуазных реформ 60-х годов уже между правыми западниками и славянофилами, когда между теми и другими,

[1] Однофамилец автора настоящей работы.
[2] «Историк-марксист» № 1, 1939, стр. 126.

между Кавелиным и Кошелевым, как указывал Ленин, никакой принципиальной разницы не оказалось[1].

Эта социальная и политическая направленность определяла их идейно-философские связи и в свою очередь закреплялась ими. Западничество уже в конце 30-х годов перешло на гегельянские позиции, с тем чтобы в передовой своей части, в лице Белинского, Герцена, уже с начала 40-х годов через левое гегельянство перейти к фейербахианству. Славянофильство в основном осталось на шеллингианских позициях. Его основная тема — идея народного духа как основного начала, осуществляющегося в истории. При этом оно воспринимало философию Шеллинга в ее конечном, наиболее реакционно-мистическом оформлении, которое всю задачу исторического развития сводило к мистическому созерцанию абсолютного духа, лежащего уже у самого начала исторического процесса и лишь заслоненного и искаженного внешним ходом исторических событий. Возврат к первоначальному состоянию, как ближе всего стоящему к первоначальному осуществлению народного духа в конкретной истории, — такова основа философии истории славянофильства. С. М. Соловьев, крупнейший представитель западнического направления в исторической науке, окрестил его метким названием «буддизма» в исторической науке. Даже более яркие представители этого направления, как Хомяков, у которого замечается известное отражение новой гегельянской философии, воспринимают ее в приближении к правому гегельянству, т. е. в реакционном аспекте. В этом отношении тоже намечается известный путь к сближению между славянофилами и правыми западниками.

Идеи славянофильства имеют связь с немецким романтизмом, с утверждением «народного духа» в культуре и в истории народа, с идеализацией принципов традиционализма, наиболее последовательно развитого школой Савиньи в Германии[2].

Наконец, тема русского национального духа и национальной культуры связывает славянофильство и с расцветом славистики в Западной Европе в первой половине XIX в. Для западного славянства, как и для других народов Западной Европы, — это период подъема национального движения, период национального возрождения. Работы чешских ученых Домбровского, Палацкого, Шафарика создали славянскую филологию и историю славянства и дали толчок русской науке 40-х годов в этой области, получив отражение и у Погодина и у Соловьева. Но идейными продолжателями западноевропейского славяноведения в России были именно славянофилы.

[1] См. *Ленин*, Гонители земства и Аннибалы либерализма, Соч., т. IV, стр. 127—128.

[2] Об этом в частности писал уже Н. Г. Чернышевский в «Очерках Гоголевского периода русской литературы», изд. 2-е, Спб. 1893; см. главу III, особенно стр. 103—104.

Таковы идейные истоки славянофильства. В этом внешнем разрыве между народом и государством, в их формальном противопоставлении заключается источник другого противоречия славянофильской концепции. Тема народа в истории в этой формальной антитезе превращается практически в проблему отношения народа и государства, т. е. в проблему политической истории.

Проблема народа и государства. Константин Аксаков

Основную принципиальную идею славянофильства — антитезу народа государству — последовательно развернул один из наиболее ярких теоретиков раннего славянофильства — Константин Аксаков (1817—1860).

Противопоставление народа и государства как основное начало русской истории настойчиво обосновывается Аксаковым в его первых статьях 1849—1850 гг.: «Об основных началах русской истории», «О том же», «О русской истории». Народ и государство — это два разных начала, с разными функциями. «Народу — сила мнения, государству — сила власти». Народная жизнь — «путь внутренней правды», «нравственное дело»; содержание государственной деятельности — «устройство, порядок (наряд)», «путь не внутренней, а внешней правды, не совести, а принудительного закона»[1]. Взгляды Аксакова еще резче выражены в статье о Земских соборах: «Внешняя правда — Государству, внутренняя правда — Земле; неограниченная власть — царю, полная свобода жизни и духа — народу; свобода действия и закона — царю, свобода мнения и слова — народу»[2].

Исходя из этого положения Аксаков определяет все содержание русской истории: «Две силы в ее основании, два двигателя и условия во всей Русской истории: Земля и Государство»[3]. В этом и отличие России от Запада. Порочность последнего в незаконном смешении этих двух начал, в стремлении народа захватить в свои руки функции государственной власти; на этом смешении построен конституционный строй Западной Европы. Русская история не знала конституций — «уложения», по терминологии Погодина. «Гарантия не нужна, гарантия есть зло!» — восклицает Аксаков[4]. Гарантия должна заменяться добровольным согласием между народом и государством.

Но при этом для Погодина первое призвание князей было уже совершившимся самоупразднением народа в истории, передачей всех прав государству. У славянофилов народ продолжает жить в своей обособленной сфере, не связанный с государством какими-либо обязательствами или договорами. Самый акт призвания власти — акт, повторяющийся в истории. «Сила мнения народа» тоже осуществляется последовательно в организации схода, веча,

[1] *Аксаков*, Сочинения исторические, т. I, изд. 2-е, М. 1889, стр. 12.
[2] Там же, стр. 284.
[3] Там же, стр. 14.
[4] Там же, стр. 18.

думы, земского собора, и это лишь повторение одного и того же начала в истории. Но тем самым, сама история оказывается не развитием народной жизни, а лишь тожеством повторяющихся явлений.

Подтверждение своей мысли Аксаков ищет прежде всего в самих источниках, в представлениях, отразившихся в последних, и находит его в расчленении двух понятий: «Земли» и «Государства», «государева дела» и «земского дела», прикрывая анализ реальных отношений формальным воспроизведением этой повторяющейся терминологии источников.

Понятие «Земли» отожествляется им при этом с понятием «общины», в котором славянофилы видят второй элемент самобытности русской истории и ее отличия от истории западноевропейской. Теория общины как основного начала русской народной жизни, как формы народной организации древней Руси была выдвинута славянофилами в конце 30-х годов (Хомяков, И. Киреевский) и развернута затем Аксаковым, Беляевым, Самариным, Хомяковым в полемике против родовой теории государственной школы, теории представителей западников — Соловьева, Кавелина, Чичерина, своими корнями уходящей к Эверсу. В полемике с Соловьевым Аксаков и выдвинул идею общинного начала. Эта полемика между славянофилами и западниками развернулась уже в 50-е годы, когда славянофильскую точку зрения в «Русской беседе» развивал особенно Беляев, а западническую представляли Соловьев и Чичерин в «Русском вестнике».

Возражая против родовой теории Соловьева, славянофилы указывали, во-первых, что родовой строй не специфичен для России и что не на нем основывается русский исторический процесс; во-вторых, что западники говорят о родовых отношениях тогда, когда эти отношения в действительности уже перестали быть основой общественных отношений, и что они прослеживают их в междукняжеских отношениях, а не в жизни самого народа. Они выдвинули положение, что в народной жизни уже господствует не родовое, а общинное начало. И в этих пределах славянофилы были правы.

Но поставив вопрос об общине как основной форме славянской жизни, они сами превратили общину в абстрактное и внеисторическое явление. Община для славянофилов является в конечном счете не специфической формой общественной организации определенного периода и не организацией крестьянского быта, а превращается в абстрактную идею общинной связи: община у Аксакова — «нравственный союз» людей, «братство», «торжество духа человеческого»[1].

Отсюда и происходит отожествление понятий «община» и «земля»: вся Русская земля есть одна большая «Община» (Аксаков и пишет ее с большой буквы). Но в этом отрыве от своего реаль-

[1] *Аксаков*, Сочинения исторические, стр. 280

ного, конкретно-исторического содержания община сама из явления исторического превращалась в абстрактную идею, в характеристику народного духа, лишенную тем самым исторического развития. Община, неизменная в своем конкретном содержании, не давала опоры славянофилам для построения хотя бы в этом плане истории России как реального процесса исторического развития. В исторической концепции Аксакова русский народ является носителем общинности, и эта идея живет в народе от начала до конца.

Но отсюда возникал вопрос, в чем же заключается история народа, если содержание, которое народ вносит в собственную историю, дано в одной идее, с которой он начинает свою историю. Идея оказывалась изначальной и неизменной; это значило, что истории этой идеи дать нельзя. Изменяются внешние отношения, но в таком случае история оказывается историей внешних сил, историей государства.

Соловьев в своей статье «Шлецер и антиисторическое направление в истории», выступая против славянофилов, доказывал, что славянофилы не могут создать историю, что они стоят вне истории и фактически ведут к отрицанию исторического развития. Ответ Аксакова был лишь подтверждением слов Соловьева об антиисторизме славянофильства. Ссылаясь на частые изменения политического строя, Аксаков отказывается следовать за историческим ходом явлений: «истина — не временщик и от времени не зависит, — восклицает он патетически. — Основанием для понимания истории должны быть, с одной стороны, идея общей истины, ибо всякая история представляет такое или иное к ней отношение, с другой, начало (принцип) народное, проникающее всю историю, а не преемство исторических явлений или форм»[1].

Это означало, что развитие исторических событий как предмет истории фактически снималось, за историческими явлениями историк ищет только проявления все той же единой идеи, которая живет вне этих событий, независимо от них.

Все это и привело к тому, что славянофилы не дали ни одной общей работы по истории России в целом, не могли создать конкретной истории России. Они дают лишь ряд философских размышлений по вопросам истории или ряд критических статей, где часто остро и удачно раскрывают ограниченность и условность отдельных построений своих противников, как в критике родовой теории Соловьева или теории государственного происхождения общины Чичерина.

Историческая схема К. Аксакова

Поэтому, как только Аксаков подходит к построению конкретной исторической концепции, он берет принцип ее построения у своих же противников. Так было в полемике Аксакова с Соловьевым.

[1] *Аксаков*, Сочинения исторические, стр. 170.

«Думаем, — пишет Аксаков, — что Русскую Историю лучше разделить, как она сама себя разделила, т. е. по столицам».

Таким образом, фактически он предлагает дать историю государства, а не народа. «В русской истории такое преемство столиц, нигде не виданное, — пишет он дальше. — От этого и история России может делиться по столицам, как по эпохам. Каждая эпоха имела свою столицу, и, наконец, когда Россия разделилась на две стороны, Земскую и Государственную, явились и две современные столицы»[1] (Петербург и Москва).

Основание столицы в Киеве было началом Киевского периода русской истории и, вместе с тем, началом всей русской истории. «Северные славяне, призвавшие Рюрика с братьями, *призвали в его лице Государство к Земле*,— и Русская история началась»[2]. Здесь Аксаков прямо возвращается к воззрениям русских историков XVIII в.

Конечный признак первого периода взят из области политической истории: «Государственный элемент еще не силен». Новый период Владимирской Руси определяется исходя из тех же политических категорий. «Государственный элемент, при ослаблении родственной связи, на основании материального могущества княжения, усиливается». Московский период характеризуется тем, что «Москва первая задумала единство государственное и начала уничтожение отдельных княжеств», что «Государство... стремясь к единству Государственному, содействовало единству Земскому».

Лишь в последний, Петербургский, период проблема народа снова возникает перед автором как специальная тема, противопоставленная государству, но именно потому, что в действительности в итоге деятельности Петра I «Государство совершает переворот, разрывает союз с Землей и подчиняет ее себе», в результате «Россия разделилась надвое и на две столицы»[3].

В этой схеме славянофильская идеология остается чисто внешним привеском, совершенно заслоненным до крайности упрощенной традиционной государственной схемой.

Оставалось спасти противопоставление народа и государства формальным выделением народа из этой общей схемы; народ ставился вне этой схемы, рядом с ней, но при этом сама история уже окончательно превращалась в историю государства, становившегося единственной реально действующей силой в истории.

Так, начальным моментом схемы ставилось возникновение государства. Здесь на помощь приходил Погодин со своей теорией призвания. Славянофилы воспроизводят данное им противопоставление России и Европы: на Западе государство основано на завоевании, у нас — на призвании. Завоевание ведет к подчинению

[1] *Аксаков*, Сочинения исторические, стр. 48—49.
[2] Там же, стр. 289.
[3] Там же, стр. 50—53.

народа государству, т. е. внешней правде, закону; призвание означает добровольное соглашение, размежевание функций между народом и государством. Это положение повторяется еще раз после окончания «смуты» начала XVII в.: снова встал вопрос о власти и снова был разрешен путем избрания, т. е. того же призвания. Аксаков усматривает в этом прямой отказ народа от власти, сохранение принципиального размежевания между «Государством» и «Землей»: принятие власти народом было бы искажением чистоты народного начала. «Земля строго оставалась в своих Земских пределах, не желая *государствовать*»[1], — заявляет Аксаков; они (славяне) «не могли и не хотели обратиться сами из общины в Государство», — пишет он в другом месте, — и потому приняли решение «*призвать* Государство»[2].

Вне этих острых моментов, когда нормальная деятельность государства прерывается, народ присутствует в исторических событиях лишь пассивно как советчик власти на вече, на Земском соборе. Пассивной остается роль народа и на последнем этапе. Если историческое развитие началось размежеванием функций и прав между государством и народом, то в Петровской реформе оно закончилось нарушением этого разделения. Петровская политика была утверждением власти государства над народом, подчинением внешнему закону «внутренней правды» самой народной жизни, нарушив тем самым основное начало русской истории. Это была политика европеизации, т. е. подчинения чужой культуре, и значит она вела к искажению самого народного начала, народной культуры. Так, в вопросе Петровских реформ славянофилы вступали в решительное противоречие с представителями русской передовой общественной мысли, видевшей в них один из крупных этапов на пути прогрессивного развития феодальной России.

Народная культура сохранялась теперь лишь в недрах народной жизни. Заштатная столица, Москва, обеспечивала ей формальное представительство при изложении истории по столицам. Но теперь это было уже не размежеванием народа и государства, а противопоставлением двух систем, двух различных порядков вещей. Так разрешалось славянофилами внутреннее противоречие народной жизни послепетровской России, так определялся их политический идеал, обращенный в далекое, превращенное в легенду прошлое и чуждый понимания реального хода исторического развития. Все историческое развитие сводилось на-нет.

Петр Киреевский

Историческая концепция славянофилов, последовательно развитая Аксаковым, была сформулирована в 1845 г. в статье Петра Васильевича Киреевского (1808—1856), в письме к Погодину по поводу его статьи

[1] *Аксаков*, Сочинения исторические, стр. 288.
[2] Там же, стр. 59.

«Параллели русской истории». Статья Киреевского «О древней русской истории» была напечатана в третьей книжке «Москвитянина» за 1845 г.[1] Киреевский развил в ней только одну сторону — противопоставление завоевания и призвания как источника различий в истории Западной Европы и России. В призвании он видел основу единения князя с народом, господство начала добровольного соглашения над внешней принудительной властью закона. С этой точки зрения он и указывал на противоречивость схемы Погодина, на то, что его исходное положение о народном начале фактически переплетается с противоположным утверждением реального господства государственного начала. С этой точки зрения Киреевский выступает против характеристики народного начала, данной Погодиным. Чувству покорности как началу самоуправления народа Киреевский противопоставляет «большое взаимное сочувствие, выходящее из единства быта» и лежащее в основе «единства земли».

Помимо своей принципиальной стороны, статья Киреевского характерна как определенное отмежевание от концепции Погодина.

Россия и Европа. Иван Киреевский

В трактовке вопроса народа и государства и в начале общинности раскрывалась одна из основ самобытности русской истории в ее противопоставлении Западной Европе, согласно учению славянофилов. Одновременно славянофилы пытались обосновать свою теорию самобытности в рассмотрении культурно-идеологических явлений.

Первое систематическое развитие эта идея получила у старшего из братьев Киреевских, Ивана Васильевича (1806—1856), в его статье «О характере просвещения Европы и о его отношении к России», опубликованной в «Московском сборнике» за 1852 г.

Иван Киреевский начал в 1832 г. с издания журнала «Европеец» и со статьи «Девятнадцатый век», посвященной развитию европейской философской и общественной мысли XVIII—XIX вв. Лишь с 1839 г. начинается его превращение в идеолога славянофильства, но еще в 1845 г., в статье «Обозрение современного состояния литературы», он объявлял бесплодными «все споры о превосходстве Запада или России, о достоинстве истории европейской или нашей и т. п...»

Его статья 1852 г. построена уже на последовательном противопоставлении России Западу. При этом Киреевский в своем рассуждении исходит из того же противопоставления завоевания и призвания в истории России и Западной Европы. Завоевание привело на Западе к искусственному единству и внутренним противоречиям. «Начавшись насилием, государства европейские должны были развиваться переворотами»[2]; там — феодализм, замки, рыцари. Напротив, в русском обществе господствует вну-

[1] *Киреевский, П. В.*, О древней русской истории, стр. 11—46. Статья осталась неоконченной.

[2] «Московский сборник», т. IV, М. 1852, стр. 28.

треннее убеждение, единство, община. Но основное различие коренится в духовном народном начале.

Противоположность России-славянства и Запада, это, по Киреевскому, противоположность мистически созерцательного начала, основанного на чувстве, и рассудочного начала, построенного на анализе, на разложении целостного явления, на расчете. Эта разница народного духа закреплена разницей идейных влияний. На востоке Европы — греческий мир с его художественно-созерцательной культурой и Восток с его мистикой, на западе Европы — рассудочная и расчетливая римская культура; на Востоке — Византия и православие, на Западе — христианство римско-католического толка, отравленное и извращенное рационализмом римской культуры. Мистическое созерцание, чувство единения с богом, целостность религиозного восприятия присущи православию и восприняты славянством; рассудочность и внутренняя раздвоенность присущи народам Западной Европы. Эта противоположность закреплена дальнейшим историческим развитием, охарактеризованным выше.

Отсюда автор выводит признак рассудочной культуры Западной Европы, рисующейся ему в борьбе философии и научных систем, тогда как «особенность России заключалась в самой полноте и чистоте того выражения, которое христианское учение получило в ней»[1]. В этом внутреннем единстве — преимущество славянства перед Западом, его бо́льшая близость к единству познания в непосредственном созерцании божественной идеи.

Эта близость к чистоте первоначального состояния означает в новом разрезе то же конечное отрицание исторического развития и его прогрессивного значения. Киреевский договаривается до признания положительной исторической роли монгольского завоевания: монголы задержали наше развитие по пути Западной Европы, помешали нашему сближению с Западом. Без монгольского ига мы подчинились бы его влиянию, восприняли бы его рассудочность и утратили бы чистоту и непосредственность своей национальной духовной культуры. Теперь же это сближение с Западом наступило тогда, когда рассудочность его культуры завершилась глубоким кризисом. И свидетели его распада, наблюдатели результатов его внутренней порочности, мы сами отстранимся от его влияния и не последуем за ним по его гибельному пути.

Таким образом, и эта вторая линия теоретического обоснования славянофильского учения приходит к сплошной идеализации русского прошлого и последовательному отрицанию истории и исторического развития.

На этой противоречивой основе пытается развить цельную и законченную философию истории А. С. Хомяков.

---

[1] «Московский сборник», т. III, М. 1852, стр. 64.

Философия истории А. С. Хомякова

Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) был одним из наиболее ярких и внешне блестящих представителей славянофильского лагеря. Чрезвычайно начитанный, с большой эрудицией в различных областях знания, он писал по крестьянскому вопросу, по вопросам богословия, по философии, по русской и всеобщей истории. Обладая очень большими знаниями, Хомяков, однако, по своему характеру был прежде всего полемистом и публицистом. Публицистический характер писаний Хомякова в значительной мере отразился и на самих его высказываниях, на их известной непоследовательности. Он острее видит недостатки у других писателей даже своего славянофильского лагеря. В полемике с Киреевским[1], почувствовав крайность позиций своего соратника по славянофильскому лагерю, он отмечает его слабые стороны и возражает против полного отрицания западной культуры. Обращаясь к основным идеям западной философии, он готов признать западную культуру, и западное искусство, и философию, создавшие замечательные памятники и произведения, сохраняющие свое значение до сих пор. Поэтому он не отвергает совершенно Запада, а говорит, что Запад идет к тому же концу, к тем же целям, что и славянский мир, но более сложным, извилистым и длинным путем.

В полемике с Киреевским он готов признать и значение отдельных моментов русской истории, выдвигаемых «западниками». Вместе с историками-государственниками он отмечает значение московских князей — собирателей Руси и создателей ее политического могущества[2]. Он высоко оценивает роль Петра, признавая за ним большое историческое значение. Это была «страшная, но благодетельная гроза». «Много ошибок помрачает славу преобразователя России, но ему остается честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы»[3].

В полемике с западниками он остро подметил слабые стороны государственной школы: переоценку родового строя и признание его в период существования уже городового быта, игнорирование общины, игнорирование поместной системы, выпадение «живых сил» народа в исторической схеме[4]. В то же время он не раз подхватывает идеи своих же противников и пытается их приноровить к своей схеме. Он берет у государственной школы идею закрепощения сословий как известный элемент в организации внутренних сил страны, повторяя эту концепцию за западниками. Он заим-

---

[1] См. *Хомяков*, По поводу статьи И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», Полн. собр. соч., т. I, изд. 2-е, М. 1878, стр. 197—262.

[2] См. *Хомяков*, О старом и новом, Полн. собр. соч., т. I, стр. 373.

[3] Там же, стр. 375.

[4] См. *Хомяков*, Замечания на статью Соловьева «Шлецер и антиисторическое направление», Полн. собр. соч., т. I, стр. 614—632.

ствует у Соловьева теорию различия северных и южных городов, впрочем, лишь с тем, чтобы признать в результате именно своеобразие Москвы как нового города, носителя объединения различных племен, населявших Восточную Европу, кладущего начало общерусской жизни. Вслед за Аксаковым он противопоставляет Москву Петербургу, Москву — как город, в котором выражается народная жизнь, Петербургу—как представителю новой системы власти, основанной на подчинении народной жизни внешней силе государственного закона.

Но это — внешние моменты, непоследовательность полемической мысли. В основном работа Хомякова направлена на то, чтобы соединить славянофильские идеи, определяющие самобытность русского народа, — идею общинности и идею православия как особенного духовного начала русского народа, и на их основе дать законченную философско-историческую концепцию.

В статьях об общине Хомяков подчеркивал, что из нашей общины может развиться целый гражданский мир, что сельская община является основой нашей самобытности. Но в основу своей концепции Хомяков кладет различие духовного начала славянского народа и западного мира, и именно в духовном начале он ищет своеобразие истории русского народа. Повторяя идею Киреевского и разрабатывая ее дальше, он видит это различие в противоречии православия и католичества и, так же как и Киреевский, выводит это различие — рассудочность католичества — из раздвоения христианского духа, порожденного столкновением христианской идеи с римским законом. Отсюда «двустихийность» в идейном содержании Запада, которому соответствует «двустихийность» его общественной жизни, результат германского завоевания и господства военного начала: автор повторяет противопоставление завоевания и призвания. Отсюда культурное противоречие завоевателей и римской культуры, ими усвоенной; противоречие жизни самих завоевателей и завоеванных. Это противоречие является основой всей жизни Западной Европы. От него свободен славянский мир, который воспринял православие через Византию, который вобрал в себя и лучшие идеи православия и лучшие стороны древней культуры через греческую философию с ее непосредственным и полноценным созерцанием мира.

Славяне, «нетронутые Римом... никогда не выселявшиеся в чуждую область и не развращавшие своей внутренней жизни соблазнительным преступлением завоеваний...[1] сохраняли неприкосновенно обычаи и нравы незапамятной старины»[2].

Противопоставляя славянский мир западному, Хомяков, правда, не согласен с утверждением Киреевского, что идея первоначального православия в древней Руси была такой высокой и чи-

[1] Погодинская идея о духе покорности в славянском народе.

[2] *Хомяков*, Вместо введения к сборнику исторических и статистических сведений о России, Полн. собр. соч., т. I, стр. 482.

стой и уже содержала в себе конечное раскрытие абсолютной идеи в славянстве. Останавливаясь перед крайностью схемы, Хомяков указывает на примитивность ее первоначального восприятия древней Русью. Он видит у Киреевского переоценку Византии и говорит, что Византия отнюдь не сохранила чистоты первоначального православия, что она подверглась тлетворному влиянию римских законов и восприняла римскую рассудочность. Это, впрочем, лишь возврат в другой формулировке к представлениям Московской Руси XVI в. о неполноценности византийского православия, впавшего в ересь Флорентийской унии. Полноценно только русское православие, но в своем первоначальном виде оно дает только зародыш будущего. Это еще неосознанная чистая идея; надо, чтобы эта идея достигла полного осознания в народной жизни. Она должна получить его в истории славянства. Славяне должны притти к сознанию этой идеи, и тогда они разрешат задачу как своей, так и мировой истории.

В «Записках о всемирной истории» абстрактно-историческая схема, возводимая славянофилами на основе философии Шеллинга, доведена Хомяковым до ее логического конца. Речь идет уже не об истории народа, а о всемирной истории, об истории человечества. В этом плане должна быть, по Хомякову, взята вся проблема исторического развития. Противопоставление православия и католичества — лишь проявление иного, более общего противоречия идеи свободы и идеи необходимости, или внешнего закона, основного противоречия всей мировой истории. Хомяков называет идею необходимости кушитским началом, идущим из Эфиопии, а идею свободы — иранским началом. В античной Европе это противоречие повторено в истории Греции и Рима, в истории христианства оно повторено в православии и католичестве. И свое конечное разрешение оно получает в противопоставлении славянства миру Западной Европы, германо-римскому миру. Сведя все к одной идее и к одному народу, носителю этой идеи, Хомяков все положительное связывает в истории со славянским началом, а все отрицательное — с разложением Западной Европы.

Достаточно нескольких примеров, чтобы показать, какую конкретную историю можно построить на таком основании, до каких фантастических построений приводит автора его идея. Носители высшего начала, славяне, должны быть очень древними; продолжатели иранского начала, они выводятся из Передней Азии. Славяне не были завоевателями и не были завоеванными; поэтому народы, распространившиеся по Восточной Европе, должны быть причислены к славянам, и для решения этого вопроса он готов использовать даже весьма произвольные филологические построения в стиле тех сопоставлений и отожествлений племенных названий и имен, в которых так охотно изощрялись писатели XVIII в. Хомяков роднит гуннов со славянами, превратив их в своеобразное древнерусское казачество, предваряющее

на целое тысячелетие явления из истории Московской Руси. Так, самые реальные исторические явления терчют свой исторический характер и превращаются в абстрактные схемы, в логические категории, стоящие вне исторического развития, которое само утрачивает всякое реальное содержание.

В развитии этой же общей схемы Хомяков намечает и путь осуществления своей «абсолютной идеи» в мировой истории.

В Западной Европе, которую он хорошо знал, Англия произвела на него впечатление своей религиозностью и устойчивостью традиций в быту. В этих чертах он увидел родство с тем, что идеализируется им в русском народе и во всем славянстве, — и Хомяков признал англичан славянами; название англичан признано несомненным искажением племенного названия угличей. От этого славянского начала и идут положительные качества английского народа, искаженные, однако, смешением с западным, германским, началом. И в своей программе будущего развития человечества, объявив славянство как этнографического и религиозного носителя абсолютной идеи тем рычагом, который повернет человечество к осуществлению этой идеи, а центром этого движения объявив Москву, он опорную точку действия рычага указывает в Лондоне. Так философско-историческая схема Хомякова получает свое завершение в самой фантастической исторической утопии. И эта попытка славянофильства создать свою историческую концепцию закончилась, таким образом, упразднением всякого научного понимания исторического развития.

Историки славянофильской школы

Если философско-исторические построения показали историческую бесплодность их теоретической концепции, то об этом же свидетельствуют и конкретно-исторические опыты историков-специалистов, идейно связанных со славянофильством.

Можно указать двух таких историков, работы которых идут от конкретно-исторического материала, а не от общей идеи, но которым также не удастся свести воедино конкретную историю и абстрактную идею славянофильского учения. Это известные в свое время историки А. Н. Попов и И. Д. Беляев.

Александр Николаевич *Попов* (1821—1877) оставил многочисленные научные труды и был членом-корреспондентом Академии наук. Его первая работа «Шлецер. Рассуждение о русской историографии» была опубликована в первом «Московском сборнике» за 1847 г. и была последовательным выражением славянофильских позиций. Она была обращена против «отрицательного» направления в исторической науке, идущего от Шлецера к Каченовскому, которому противопоставлялся Карамзин. Она обращена и против «отрицательного направления» в самой истории, внесенного петровским переворотом, и противопоставляет петровской европеизации национальную традицию Московской Руси. Но собственно исторические работы Попова крайне

далеки от этих проблем. Все это конкретно описательные работы, освещающие не дух народный, а деятельность государства и прежде всего его внешнюю политику. У него есть, однако, работы о народном движении. Это — «Материалы для истории возмущения Степана Разина» и очерк по истории самого восстания — «Бунт Стеньки Разина». Но в его изложении конкретного материала напрасно было бы искать проблему народного движения и духа народного. История народного восстания превращается в чистое повествование, в пересказ основных исторических фактов, давая лишь внешнюю историю восстания под руководством Разина на основе документального материала.Там, где народ реально выступил против государственной власти, славянофилы, противопоставлявшие в своей философии идею народа идее государства, спешат этот народ, реально выступивший против государства, вернуть под власть закона. Для историка-славянофила Попова, как и для историков-государственников, для Соловьева, крестьянское восстание под руководством Разина, это — «Бунт Стеньки Разина», движение, нарушающее установленный государством порядок.

Иван Дмитриевич *Беляев* (1810—1873) является последовательным представителем славянофильского направления в исторической литературе. Однако отражение его идеологии связано, главным образом, с одной темой — историей крестьянства. Его обширная деятельность по изданию исторических источников стоит в стороне от общей славянофильской проблематики и более связана с его научной специальностью как историка русского права. С историей государственного устройства, т. е. с историей права, связаны его работы по истории Московского государства («Служилые люди в Московском государстве», «О русском войске в царствование Михаила Федоровича и после него до преобразований Петра Великого», «О поземельном владении в Московском государстве»). Его опыты общеисторического повествования — «Рассказы из русской истории» (вышли четыре тома) — также не выходят за рамки формального повествования.

Единственная попытка перенести теорию в конкретную историю была сделана Беляевым в статье о русской общине в «Русской беседе» и в той его работе, которая благодаря богатству фактического материала получила наибольшее распространение, — «Крестьяне на Руси».

Однако и в этой работе идеология славянофильства столкнулась в известной мере с методологией истории права; она по-своему отражает все же характерные черты юридической школы.

Тема народности положительно сказалась на работе Беляева в его внимании к освещению внутреннего положения самого крестьянства, бытовой стороны процесса, практического развития отношений между помещиками и крестьянством. Это позволяет ему проследить и в значительной мере показать постепенность реального процесса развития крепостного права в России. Но вместе

с тем самый подход к проблеме закрепощения остается у Беляева историко-юридическим, тем самым показывая еще раз, что славянофильство никакого нового начала в конкретно-историческое рассмотрение вопроса внести не могло. Поэтому и у Беляева получается разрыв между процессом развития самих крепостнических отношений и юридическим оформлением крепостного права. Идя от формального разрыва между народом и государством, данного славянофильским учением, он в конечном итоге оставляет государство единственной действующей силой и творцом крепостного права, лишь передвигая хронологические грани и считая подлинным творцом крепостной системы Петра I.

Это вторая конкретная тема, взятая Беляевым у славянофилов. В их исторической схеме, намеченной в основных чертах Константином Аксаковым, до конца XVII в. сохраняется благодетельное разделение функций и прав между народом и государством, нарушенное Петром I его политикой подчинения народной жизни государственному закону. До конца XVII в., по схеме Беляева, крестьяне сохраняли свои личные права, право располагать своей личностью и своим трудом. Сохранялось вместе с тем и подобие взаимного согласия между крестьянином и помещиком. Только государство, сначала в Уложении 1649 г. и окончательно в Петровском законодательстве, изменило это первоначальное согласие в интересах новой государственной системы, разорвало союз между отдельными сословиями русского народа и лишило одну его часть, крестьян, всех личных прав, превратив крепостное право в то личное холопство, каким оно сделалось по закону Петра, упразднившему ту резкую границу, которую проводила между этими двумя системами отношений допетровская Русь.

Но, таким образом, в конкретную историю концепция славянофильства смогла быть перенесена лишь там, где давался не исторический процесс в его целом, а выделялась отдельная проблема. При этом в своем конечном результате она и здесь пришла к внутреннему противоречию самого основного принципа, когда противопоставление народа и государства вновь привело к сведению истории от развития народных отношений к деятельности государства, идя другим путем, но к тому же государственному пониманию исторического процесса, что и гегельянцы-западники.

Таков итог славянофильского учения в конкретной русской истории. Не в области истории развернулась реальная научная деятельность славянофилов, не в области изучения процесса исторического развития, а в изучении духовной культуры русского народа, его быта, его нравов, его художественного творчества. Она нашла свое выражение не в собственно исторических работах, а в первую очередь в развитии этнографии и фольклористики. В этой области славянофилам принадлежит определенная историческая заслуга. Работы Киреевского или Гильфердинга

по собиранию русских былин и народных песен, аналогичные работы Максимовича по изучению украинского народного творчества сыграли крупную роль в этой области.

Но и здесь общая концепция славянофилов помешала им связать этнографию с историей и значительно ограничила сферу самого этнографического изучения у славянофилов.

ГЛАВА 18

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА. КАВЕЛИН. ЧИЧЕРИН

Классики марксизма-ленинизма: *Ленин*, Гонители земства и Аннибалы либерализма, Соч., т. IV, стр. 119—157. — *Ленин*, Памяти Герцена, Соч., т. XV, стр. 464—469.

Основные исторические сочинения Кавелина и Чичерина: *Кавелин, К. Д.*, Собр. соч, т. I. Монографии по русской истории, изд. Н. Глаголева, Спб. 1897; особенно: Взгляды на юридический быт России, ст. 5—66; Исторические труды Погодина, ст. 95—252; Исследования С. М. Соловьева, ст. 253—270; Краткий взгляд на русскую историю, ст. 569—584; Мысли и заметки о русской истории, ст. 583—676. — Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену, изд. М. Драгоманова, Женева 1892. — *Чичерин, Б.*, Областные учреждения России в XVII веке, М. 1856. — *Его же*, Опыты по истории русского права, изд. Солдатенкова и Щепкина, М. 1858; содержание: 1) Обзор исторического развития сельской общины в России, стр. 1—58; 2) Еще о сельской общине, стр. 59—142; 3) Холопы и крестьяне в России до XVI в., стр. 143—231; 4) Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей, стр. 232—375; 5) О развитии древнерусской администрации, стр. 376—389. — *Его же*, О народном представительстве, М. 1866, кн. 3, гл. V, Земские соборы в России, стр. 355—385.

Основная историографическая литература: *Чернышевский, Н. Г.*, Очерки Гоголевского периода русской литературы, изд. М. Н. Чернышевского, Спб. 1893; изд. 2-е (упоминания о Кавелине на стр. 215, 225, 279, 374). — *Его же*, Полн. собр. соч., т. I—X, изд. М. Н. Чернышевского, Спб. 1906 (ряд рецензий на сочинения Кавелина и Чичерина). — *Щапов, А. П.*, Естествознание и народная экономия, Соч., т. II, изд. М. В. Пирожкова, Спб. 1906, стр.154—172. — *Милюков, П. Н.*, Юридическая школа в русской историографии (Соловьев, Кавелин, Чичерин, Сергеевич), «Русская мысль», кн. 6, 1886, стр. 80—92. — *Коялович, М. О.*, История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, Спб. 1884. — *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов (Историографические очерки, критические статьи и заметки), вып. 1 и 2, Соцэкгиз, М.—Л. 1933; особенно статьи в т. I: Борьба классов и русская историческая литература, стр. 7—100; Откуда взялась внеклассовая

теория развития русского самодержавия, стр. 167—205. — *Корсаков, Д. А.*, Жизнь и деятельность Кавелина; в кн.: *Кавелин*, Собр. соч., т. I, Спб. 1897, стр. IX — XXX. — *Его же*, Константин Дмитриевич Кавелин. Материалы для биографии. Из семейной переписки и воспоминаний, «Вестник Европы», 1886, кн. 5, стр. 5—30; кн. 6, стр. 445—491; кн. 7, стр. 21—38; кн. 8, стр. 539—564; кн. 10, стр. 731—758; кн. 11, стр. 163—194; то же, 1887, кн. 2, стр. 608—645; кн. 4, стр. 457—488; кн. 5, стр. 5—32; кн. 8, стр. 765—776; то же за 1888, кн. 5, стр. 5—51.

Государственная школа русской истории

«Около 1835 г. мы, после безусловного поклонения Карамзину, встречаем, с одной стороны, скептическую школу, заслуживающую великого уважения за то, что первая стала хлопотать о разрешении вопросов внутреннего быта, но разрешавшую их без надлежащей основательности; с другой — «высшие взгляды» Полевого на русскую историю. Через десять лет ни о высших взглядах, ни о скептицизме нет уже и речи: вместо этих слабых и поверхностных попыток, мы встречаем строго ученый взгляд новой исторической школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин: тут в первый раз нам объясняется смысл событий и развитие нашей государственной жизни», — так определил значение новой исторической школы Чернышевский[1].

Это новое направление связано с «западничеством».

В основе западничества лежала прогрессивная идея сближения России с Западной Европой; западничество утверждало принцип буржуазного развития России и искало его исторического обоснования в понимании общей закономерности исторического развития. Но при этом само западничество страдало внутренним противоречием, в его составе отчетливо выступали левое и правое крыло. В левом крыле дворяне-революционеры А. И. Герцен, Н. П. Огарев непосредственно объединялись с революционным демократом В. Г. Белинским. Они отстаивали революционный путь развития России, и именно Белинский до конца последовательно развил идею закономерности исторического развития, а самую необходимость и неизбежность буржуазного развития России понял как определенный исторический этап. Исторический путь от левого западничества шел к революционерам-разночинцам, к просветителям 60-х годов.

Правое крыло западников — К. Д. Кавелин, П. З. Анненков, С. Ф. Корш, И. С. Тургенев, впоследствии Б. Н. Чичерин — были представителями переживавшей процесс обуржуазивания части помещичьего класса, и идею буржуазного развития они принимали в меру своих помещичьих интересов. Полемика со славянофилами

[1] *Чернышевский*, Очерки Гоголевского периода русской литературы, Спб. 1893, стр. 224—225.

объединила их вначале, на короткое время, с левыми западниками и сообщила западничеству некоторое внешнее единство. Но правое крыло боялось революции, боялось решительной ломки старого и радикальных преобразований России. Перед лицом роста нового порядка вещей оно постепенно поворачивало вспять. Историческое развитие России в 60-е годы последовательно сближало его с позднейшим славянофильством.

Отражая процесс развития буржуазных отношений в России, западничество связано и с более передовой идеологией Западной Европы. В своих философских основах оно идет прежде всего от Гегеля, тогда как славянофилы шли от Шеллинга. Но на Западе это идеологическое направление в 40-е годы, в условиях растущих новых противоречий буржуазного строя, раскалывается и развивается в двух различных направлениях: левое крыло через фейербахианство приходит к марксизму; правое гегельянство выступает апологетом монархического строя, а историческую теорию сводит к вопросам документальной достоверности и формального объективизма.

Революционно-демократическое западничество в России в лице своих идеологов, Герцена и Белинского, в 40-е годы уже пережило период гегельянства; они уже перешли к Фейербаху и к идеям утопического социализма; оба рассматривали вопросы исторического развития в разрезе социальной проблематики.

Представители новой исторической школы в России принадлежали к правому крылу западничества: они следовали гегелевской философии, видевшей в государстве высшую форму общественной жизни, и постепенно переходили к идеям правого гегельянства. Следовали они также западной исторической школе с ее идеей закономерности развития. Но при этом в развитии русской государственной школы сказались и противоречия новейшей эволюции этих направлений на Западе. Западников, как и славянофилов, надо рассматривать исторически. Необходимо помнить также и о двойственном характере исходных его принципов: неслучайно в самом обозначении школы сталкиваются два понятия — исторической и государственной школ. Эти два названия отражают те два исторических начала, которые сочетаются в системе взглядов ее представителей, — начала внутренне обусловленного развития и принципов государственной теории.

На первом этапе своей деятельности школа имеет трех крупнейших представителей — Кавелина, Чичерина, Соловьева. В историографической трактовке этого направления порой выявляется упрощение и схематизация вопроса. Исходя из общего названия государственной или юридической школы, исследователи не всегда делают различие между тремя ее родоначальниками, подводя всех их под единую схему. Самая проблема государства рассматривается не так упрощенно всеми западниками, как это обычно изображается, когда государственную теорию западников без

долгих размышлений объединяют с пониманием государства в «Истории» Карамзина и рассматривают ее как продолжение «Истории государства Российского». Соловьев определенно выразил свою оценку «Истории» Карамзина, из которой он брал только факты. Государство в понимании западников, как и в понимании того философского направления, от которого они идут, берется не как самодовлеющий факт, не оторванно от истории народа. В отличие от Погодина, который взаимоотношения народа и государства разрешал искусственным скачком, когда народ все передает государству, чтобы сразу отстраниться; в отличие от славянофилов, которые идут по линии простого противопоставления народа и государства, западники, выдвигая идею государства, на первых этапах пытались разрешить его историю в связи с историей народа, как проблему исторического развития народа, как этап в его истории. Другой вопрос, как историкам-западникам удается реализовать эту теоретическую исходную позицию, представить государство как стержень синтетического понимания исторического процесса в целом, сочетая общую государственную схему с принципом органического развития. Здесь и выступает существенное различие между указанными выше авторами.

Если брать их в последовательности их выступлений, то первым, старшим из трех, является Кавелин (1818—1885); Соловьев несколько моложе, впрочем, почти ровесник Кавелину (1820—1879), Чичерин — младший из трех (1828—1904). Кавелин первый дал основы теоретической схемы государственной школы, первый наметил ее основные вопросы. Правда, в их дальнейшей разработке он часто обращался к Соловьеву и Чичерину, но это уже последующая конкретизация вопросов. Вместе с тем, стоя как бы в начале складывания школы, он не так последовательно и полно раскрывает концепцию западников: в западничестве Кавелина остается место для этнографической концепции, для народного начала славянофилов, его западничество не чуждо внутренних противоречий. Подлинным теоретиком школы был Чичерин, завершающий разработку схемы, начатую Кавелиным. Но младший представитель школы, он вместе с тем раскрывает ее логические итоги и как бы замыкает круг развития государственной теории западников. В свете этого развития теоретической концепции государственной школы яснее определяется место Соловьева, который прежде всего был именно историком, выявляется то, что отличало Соловьева от Чичерина, то, в чем состояло реальное историческое значение его научных трудов.

Кавелин. Формирование его взглядов

Константин Дмитриевич Кавелин (1818—1885) получил образование в конце 30-х годов в Московском университете по юридическому факультету. Уже эти годы, а также первые годы служебной работы в Петербурге Кавелин провел в гуще русской

общественной жизни того времени: сперва через Петра Киреевского и Елагиных он связан с московскими славянофильскими кружками, позже через Белинского, Боткина, Панаева — с западниками. С западничеством, с гегельянством его связывала и школа молодых профессоров Московского университета (Крюков, Редкин и др.), через которых он и познакомился с гегельянством. В начале 1844 г. он защитил магистерскую диссертацию по истории русского права, после чего приступил к чтению лекций по кафедре истории русского права, объединившись с кружком передовой профессуры, который возглавлял Грановский и к которому вскоре присоединился Соловьев. Профессорская деятельность Кавелина оборвалась в 1848 г. Вернувшись на короткое время в университет в Петербурге в 1857 г., он через несколько лет снова оставил кафедру в связи с наступившей политической реакцией и лишь в последние годы жизни смог вернуться к преподавательской деятельности в области гражданского права. Профессорская деятельность сменилась служебной канцелярской работой. Но кроме преподавания и службы, Кавелин выступал и как общественный деятель — в связи с крестьянской реформой, и прежде всего как писатель. В его писательской деятельности бросается в глаза крайнее разнообразие тематики, разносторонность, отчасти граничащая с дилетантизмом. Он писал по вопросам права и философии, этики и психологии, по вопросам политики, по истории и этнографии. Во всех этих вопросах он идет от современной буржуазной мысли Европы, чтобы перенести ее в русскую действительность. Но при этом в развитии русского общественного движения либерализм Кавелина резко противостоит революционной демократической идеологии Чернышевского: «...в отношении либерала Кавелина к демократу Чернышевскому, — указывал Ленин, — ...точнейший прообраз отношения кадетской *партии* либеральных буржуа к русскому демократическому *движению масс*»[1]. В 60-е годы, в период правительственных реформ и подъема народного движения, «либеральный профессор» Кавелин мало чем отличался от славянофила Кошелева: он шел на сближение с правительством Александра II, оправдывал расправу над Чернышевским, составлял, по выражению Герцена, «тощий, нелепый, вредный памфлет», писанный «для негласного руководства либеральничающему правительству»[2].

В этой же связи подошел он к вопросам русской истории. К общим вопросам истории России он пришел от истории права, и притом гражданского права; он подошел к ней и как публицист, от определенных вопросов политической жизни. Специалистом-историком он не был и давал поэтому не конкретную историю, а скорее философские размышления о русской истории: отсюда

[1] *Ленин*, Еще один поход на демократию, Соч., т. XVI, стр. 132.

[2] См. *Ленин*, Гонители земства и Аннибалы либерализма, Соч., т. IV, стр. 127—129 и 133; *Ленин*, Памяти Герцена, Соч., т. XV, стр. 467.

определенная цельность общей схемы, но вместе с тем и некоторая непоследовательность в трактовке отдельных ее элементов. Это сказалось на характере его исторических статей, прежде всего в самых их названиях: «Взгляд на юридический быт древней Руси», «Краткий взгляд на русскую историю», «Мысли и заметки о русской истории». Это сказалось и в самом порядке возникновения основных его статей: большей частью они возникают в порядке обзора или критической рецензии, в которых взгляды автора излагаются по поводу высказываний разбираемого историка, в основном на его же историческом материале, — и в процессе этого рассмотрения, частично из этих же разбираемых им идей пополняется и дорабатывается собственная концепция Кавелина. Таковы его обширные статьи, посвященные Погодину, диссертациям и «Истории» Соловьева, диссертациям Чичерина.

В этих статьях Кавелин пытался определить и свое отношение к предшественникам, свои историографические связи, но эти указания не лишены противоречий. Он, правда, как отмечалось выше, высоко расценивал Каченовского и критическое начало, внесенное им в русскую историческую науку. Но наряду с этим он готов признать и большие заслуги Карамзина перед современной исторической наукой за его схему государственного развития России, проходя мимо ее историографических источников и ее теоретической ограниченности. Он признает также научные заслуги Погодина, выдвигая на первый план проблему органического развития русской истории, но снова обходя ограниченность и искаженность реализации этой идеи Погодиным. Впрочем, у каждого из этих историков Кавелин ищет прежде всего то, что может помочь обоснованию и уточнению его собственной схемы.

Концепция русского исторического процесса

Свою общую концепцию русского исторического процесса Кавелин сформулировал уже в первой своей статье 1847 г. — «Взгляды на юридический быт России», обобщившей содержание его лекционных курсов, читавшихся в 1845—1847 гг. Основным вопросом для Кавелина является показ органического развития русской истории как определенной закономерности. Первый представитель государственной школы, Кавелин при этом примыкает непосредственно к той концепции, которую уже наметил, но еще не развил Эверс в своей работе «Древнейшее право руссов». В ее разработке он опирается на учение Гегеля о государстве как высшей форме народной жизни, как завершающем этапе истории отдельного народа.

Этот процесс исторического развития дается Кавелиным в его трех основных этапах. Первый характеризуется господством родовых или семейных отношений, второй — вотчинными отношениями, третий — государственными. В этой общей схеме определенная недоговоренность сохраняется для первого этапа, в отношениях рода и семьи. Эта невыясненность могла явиться резуль-

татом своеобразного скрещения двух схем — схем Гегеля и Эверса. В основе этих двух однородных схем лежат несколько различные логические основания. Эверс строит свою схему по абстрактному логическому принципу следования общественных форм, идя от более узких общественных союзов к более широким — семья, род, государство. Для Гегеля с расширением общественной организации связано последовательное высвобождение личности от частных связей в системе государственной организации; но отсюда вытекает другая линия развития — род, семья, личность. Кавелин разрешает это противоречие объединением рода и семьи в едином понятии кровного союза[1].

Далее в схему вносится средний член — система вотчинных отношений. Чичерин обозначает этот вотчинный период термином «гражданское общество», взятым у Гегеля, в отличие от Эверса, у которого родовой строй непосредственно переходил в государственную организацию. Кавелин дал основные элементы схемы и периодизации русской истории, развиваемой дальше государственной школой. Эту схему он затем дополняет и уточняет, главным образом, на основе последующих работ Соловьева и Чичерина. С этими позднейшими дополнениями общая схема Кавелина представляется в следующем виде.

Родовой строй в несколько усложненном и расплывчатом его понимании является исходным моментом русской истории. Родовое начало служит для Кавелина разрешением вопроса о значении варяжского завоевания в истории Киевской Руси. Погодин первый период русской истории называл норманским периодом. У Кавелина столкновение родового начала древней русской жизни с дружинным строем (Кавелин называет его также «феодальным порядком»), принесенным варягами, разрешается торжеством первого, определившим в дальнейшем родовой характер междукняжеских отношений. Так утверждается принцип органического развития общественно-политических отношений, устраняющий определяющее значение пришлого варяжского элемента. Варяги были немногочисленны и растворились в славянстве; вместе с тем и дружинное начало было поглощено началом родовым. Эту мысль в дальнейшем развивает и конкретизирует Соловьев.

Из варяжского дружинного начала, из вмешательства внешней силы, разрушившей систему родовых отношений, выводил впоследствии Чичерин вотчинную систему второго периода. Кавелин, верный принципу органического развития, показывает и здесь непосредственное развитие вотчинных отношений в процессе внутреннего разложения родового строя. Родовые отношения разрушаются семейным началом. Кавелин опирается здесь на данную Соловьевым характеристику распада княжеского рода и

[1] О проблеме личности и государства, см. *Кавелин*, Взгляды на юридический быт России, Соч., т. 1, ст. 45.

выделения княжеской семьи. Расчленение родовой организации семейным началом и явилось источником начала вотчинного владения, определившего систему отношений второго этапа. Распад родовых отношений — необходимое условие дальнейшего развития: «Кровный быт, — заявляет Кавелин, — не может развить общественного духа и гражданских добродетелей»[1].

Победа вотчинного начала означает для Кавелина победу территориальных отношений над кровными. Отсюда он выводит общую характеристику второго периода. Она идет в основном параллельно теории Соловьева о роли северных и южных городов. В этом противопоставлении, по замечанию Кавелина, дано лишь одно из частных проявлений того основного изменения, которое заключается в вотчинном землевладельческом и хозяйственном строе. Уже в первом очерке Кавелин рисует образ князя-вотчинника, потом развернутый у Соловьева. Другим продуктом распада кровных и установления территориальных связей было возникновение территориальной общины. В этом плане Кавелин предлагает свое решение вопроса, разделившего западников, в том числе Соловьева, и славянофилов. Но сама территориальная община возникает из родовой общины, патриархальной по своему происхождению, чтобы затем уступить место княжеским отношениям. Вотчинным строем определяется и новый этап в развитии политических отношений.

Кавелин утверждает «естественную преемственность быта юридического после родового»[2]. Схема этого развития представляется ему в следующем виде. «Сначала князья составляют целый род, владеющий сообща всею русскою землею». В процессе оседания князей «территориальные, владельческие интересы должны были одержать верх над личными». «Род княжеский чрез это превратился в множество отдельных, независимых владельцев». В процессе последовательного собирания земель «образовалась огромная вотчина» — Московское государство, а «в начале XVIII в. московское царство действительно преобразовалось в политическое государственное тело и стало державой в настоящем значении слова»[3].

Так изображает Кавелин дальнейшую эволюцию, уточняя ее на основе исследования Соловьева «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». Но и в этом вопросе Кавелин занимает несколько особое положение между Соловьевым и Чичериным. Соловьев считал уже второй период государственным и говорил о борьбе между государственными и родовыми отношениями, а в вотчинном строе видел лишь материальную базу растущего государства. Кавелин отличает вотчинный строй от государственного. Но он не согласен и с Чичериным, который вовсе от-

[1] *Кавелин*, Соч., т. I, Спб. 1897, ст. 22 и 33.
[2] Там же, ст. 285.
[3] Там же, ст. 285—287.

рицал элементы государственности в вотчинном строе, и с своей стороны определяет вотчинный строй как этап в развитии государственного начала, как его первую зародышевую форму: «из-под велико-княжеской вотчины проглядывает государство»[1]. В этой, хотя и лишенной отчетливости и ясности, формулировке Кавелина звучит снова идея постепенности и органичности развития исторического процесса.

Если данная Кавелиным схема перехода родового строя в вотчинный устраняла вмешательство варягов, то схема перехода вотчины в государство устраняла роль монголов в процессе складывания Московского государства. Этот вывод из своей концепции Кавелин делает при разборе сочинений Погодина и Соловьева.

Этот же принцип органического развития государственного начала привел Кавелина и к переоценке исторической роли Ивана IV и политики опричнины. В его определении выступают «два величайших деятеля в русской истории, Иоанн IV и Петр Великий»[2].

Если все предшествующие дворянские историки решительно становились на сторону боярства в борьбе с Иваном IV и всю деятельность Ивана объясняли его психической ненормальностью и личной жестокостью, то Кавелин ставит вопрос о политике Ивана IV, как о планомерной борьбе с вельможами за утверждение самодержавия в России, как о преддверии политики Петра I, как о борьбе «за идею государства». Сопоставляя Ивана IV с Петром I, Кавелин писал:

«Оба равно живо сознавали идею государства и были благороднейшими, достойнейшими ее представителями; но Иоанн сознавал ее как поэт, Петр Великий — как человек, по преимуществу практический»[3].

Кавелин поясняет далее свой метафорический образ: при Иване IV еще не созрели реальные условия для осуществления новой политики; поэтому он мог мечтать о ней, но не мог ее осуществить; осуществить ее смог только Петр I. «Но никто ни прежде, ни после, до самого Петра Великого,—добавляет Кавелин,—не действовал так энергически против вельмож и областных правителей, угнетавших народ, как Иоанн IV»[4]. В этом положении коренилась и другая принципиальная мысль — о последовательной подготовке и исторической обусловленности преобразований Петра I: Петр выступал как завершитель исторического процесса, а не как человек, ломающий ход предшествующего исторического развития.

Так завершается по-своему довольно цельная концепция русской истории, хотя и идущая в основном от проблемы государ-

[1] *Кавелин*, Соч., т. I, Спб. 1897, ст. 46.
[2] Там же.
[3] Там же, ст. 47.
[4] Там же, ст. 51.

ственного развития, но пронизанная идеей органичности исторического развития России.

Народ и государство. Россия и Европа в схеме Кавелина

Общая концепция Кавелина еще не давала конкретного решения вопроса об отношении государства и народа, об отношении русского развития к западноевропейскому, без чего не могла получить завершение основная схема.

Между тем уже в первой статье Кавелина, где дается общая закономерность развития общественных форм, о которой когда-то писал Эверс, намечается в то же время определенное противопоставление: феодальное начало западноевропейской истории, принесенное варягами, уступило место национальному родовому началу, из которого выводится дальнейший процесс развития русской истории. Но в таком случае сближение с Западом возможно для России лишь в отношении конечной цели развития, но пути развития разные.

Кавелин не дал и принципиального ответа на вопрос об отношении между развитием государства и народа. Может быть, потому, что он выступает еще только с первым наброском новой истории, рядом с ведущей темой государственного развития России у него всплывает другая тема — народных особенностей России, народной самобытности, своеобразия русской истории.

В том же «Взгляде на юридический быт древней Руси» Кавелин дает и второе положение о самобытности России в результате народных и местных условий ее развития.

«В истории (России и Запада. — *Н. Р.*) ни одной черты сходной и много противоположных, — заявляет Кавелин. — В Европе дружинное начало создает феодальные государства; у нас дружинное начало создает удельное государство. Отношение между феодальной и удельной системой — как товарищества к семье. В Европе сословия, у нас нет сословий; в Европе аристократия, у нас нет аристократии; там особенное устройство городов и среднее сословие, — у нас одинаковое устройство городов и сел, и нет среднего, как нет и других сословий; в Европе рыцарство, у нас нет рыцарства»[1]; в Европе церковь подчиняет государство, у нас церковь подчинена государству, и т. д. и т. д.

Он возвращается к этой теме при разборе работ Погодина: «Действительно, русская история представляет совершенную противоположность истории западных государств, и даже теперь мы видим то же самое, хотя уже не столько резко, как прежде... Это противоположность предметов разнородных, которые потому только и совершенно различны, что решительно не имеют ничего общего между собой, ни одной точки одинаковой»[2].

Так, рядом с теорией закономерности исторического развития России, выражаемой в истории государства, складывается идея

[1] *Кавелин*, Соч., т. I, ст. 6.
[2] Там же, ст. 220.

самобытности русской народной жизни, порождающая своеобразие русской истории. Кавелин делает попытку примирить это внутреннее противоречие, но самое решение вопроса идет у него в двух различных, вернее противоположных, направлениях. И здесь сказывается вообще некоторая двойственность, известный эклектизм научной концепции Кавелина, еще не доведенной до логической завершенности.

Особенно в позднейший период, в 60—70-е годы, когда бывшие западники все дальше отходят вправо и все ближе сходятся с славянофилами, у Кавелина проявляется тенденция подчинить государство народности, самобытному началу. Свою антитезу России и Запада он формулирует особенно резко в одном высказывании начала 80-х годов, записанном его племянником Корсаковым:

«Этот народ, создавший государство, вынесший на своих плечах все исторические невзгоды и поплатившийся за свою службу отечеству крепостным правом, государственным и частным, есть совершенно своеобразный и новый этнографический и общественный тип. В нем наполовину славянской крови — и в этом задаток его будущности. Европа не знает великоруссов, тип этот для нее новый, она знает южно-руссов и западно-руссов. По ее воззрению, казак является представителем русского народа. Великорусс прежде всего сельчанин, в основу его государственного и общественного быта легла деревня, двор. «Домовладыка»— вот его политический и общественный идеал, воплощение которого он видит в созданной им царской власти. Кроме сильной монархической власти никакой иной власти в России быть не может, все мечтания о представительстве, о конституции — химера. Европа и Россия это два отдельных мира. Европа выработала город; горожанин, буржуа — вот ее типический представитель. Россия — мужицкое царство... Наша интеллигенция... это налет на народной жизни... Народные массы у нас не сформировались еще, не осели; они в периоде формирования. Это какая-то этнографическая протоплазма, калужское тесто»[1].

В «Мыслях и заметках по русской истории» в 1866 г. у Кавелина является попытка дать этнографическое объяснение русской истории, превратить и Русское государство в выражение великорусского народного духа, в явление этнографической самобытности. Он превращает Петра I в представителя великорусского типа с его особой практической хваткой. Борьба Ивана IV за осуществление государственного начала оказывается направленной уже не против политических притязаний вельмож, а против индивидуалистического начала, занесенного в Московскую Русь XVI в. с Украины, выражающего южнорусское, украинское этнографическое начало. Можно предположительно указать и

[1] Из статьи Д. А. Корсакова в журнале «Вестник Европы» № 10, 1886, стр. 745—746.

источник этой своеобразной этнографической конструкции. Она дана в статье Костомарова «Две русские народности», напечатанной в 1863 г. Внешнее влияние дает себя заметно чувствовать во всем этом направлении мыслей Кавелина.

Основная линия, органическое развитие его концепции шло в другом направлении — подчинения народа государству. Ключ к этому решению дан в сущности уже в самой этнографической постановке вопроса, в характеристике бесформенности, расплывчатости народной массы — «калужского теста», «жидкого элемента», по более мягкой формулировке Соловьева. В слабости народа причина силы государства, получающего роль организующего начала. Это положение становится основным тезисом государственной школы. Кавелин намечает при этом и основные элементы, которые должны сомкнуть отдельные части схемы в одно целое.

Кавелин и здесь остается последовательным: слабость народного начала составляет особенность русской истории и должна иметь свое объяснение. Кавелин связывает это с географическими условиями России, отправляясь от их характеристики у Соловьева и Чичерина. Отсюда выводятся «шатания» народа по бескрайной российской равнине и роль колонизации в русской истории. «Заселение азиатской и европейской России русским племенем продолжается беспрерывно и до сих пор и составляет один из главнейших, господствующих интересов внутренней истории» [1]. Эта мысль повторена и Соловьевым, особенно развита Ключевским, определявшим русскую историю как «историю страны, которая колонизуется». У Кавелина нашел Ключевский и другой, этнографический, вывод из этой схемы — о роли финского элемента в образовании великорусской народности.

Расчлененность, неорганизованность народа, слабость его общественной организации получили, таким образом, свое обоснование, стали сами закономерными явлениями и расчистили поле деятельности государству. Но, восстанавливая органическую связь с одного конца, эта схема приходила к ее неизбежному разрыву на другой стороне. Обоснование государственного начала получилось чисто отрицательное, государство выступало как самодовлеющая сила, как действующее начало исторического развития, само создающее свою историю.

Оценка Кавелина

Таков был логический итог исторической схемы Кавелина, наглядно отразивший общую эволюцию либерального западничества. В 50—60-е годы Герцен в «Колоколе» метко охарактеризовал общественно-политическую идеологию Кавелина, его «политико-сентиментальные сентенции», изображавшие «русский народ скотом, а правительство умницей».

[1] *Кавелин*, Соч., т. I, ст. 570—571.

Отсюда и противоречия исторического мировоззрения Кавелина. Начав с идеи органичности исторического развития, с понимания истории как закономерно развивающегося процесса, он остановился перед противоречиями славянофильской и формальной государственной схемы и в конце концов отказался от их разрешения, хотя и не дошел до столь последовательного отрицания исходных теоретических позиций, как Чичерин.

В утверждении исторического, органического начала — основная научная заслуга Кавелина, сближающая его с Соловьевым, — момент, прекрасно подмеченный Чернышевским. Отсюда и те конкретные положительные идеи, с которыми выступает Кавелин в своих работах: в трактовке варяжского и монгольского вопросов, в критическом пересмотре вопроса об Иване Грозном и опричнине.

Вместе с тем историческая судьба Кавелина во многом близка судьбе Полевого. В исторической науке он остается скорее историографическим явлением; он важен для понимания истории науки, но, наметив пути, он сам был заслонен теми, которые по этому пути пошли. Государственную теорию завершил и развернул Чичерин. Органическое понимание русской истории развил Соловьев.

Чичерин

Чичерин был основным теоретиком государственной школы, настоящим родоначальником юридической школы в России. Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) — тамбовский помещик, земский деятель и профессор, был идеологом умеренного помещичье-буржуазного либерализма второй половины XIX в. и решительным противником марксизма, которому противопоставлял государственную теорию и философию правого гегельянства. Чичерину принадлежат многочисленные работы в области философии, теории права и государственного права. Но эта научная деятельность Чичерина, так же как и его общественная деятельность, связанная с земским движением, с деятельностью московского городского головы (1882—1885), относится к более позднему периоду жизни Чичерина. Его исторические занятия связаны с периодом 50—60-х годов. В 1857 г. издана его диссертация «Областные учреждения России в XVII в.», к 50-м годам относятся его исторические этюды, изданные в сборнике «Опыты по истории русского права». В 1866 г. в книге «О народном представительстве» дано его исследование о земских соборах в России. Этим заканчивается участие Чичерина в разработке вопросов истории России.

Указанные хронологические рамки определяют исторические предпосылки, общественную идеологию исторической концепции Чичерина. Она складывается и развивается в условиях общественных противоречий, раскрывшихся в период непосредственной разработки крестьянской реформы, в условиях революционного кризиса конца 50-х годов; она завершается в период обострения

крестьянской борьбы и общественного движения 60-х годов. С реформой 60-х годов тесно связано и историческое мировоззрение Соловьева. Но у Соловьева и Чичерина это влияние отразилось по-разному. У Чичерина оно выросло в прямое противопоставление народа и государства и в последовательную апологетику последнего. В государстве Чичерин ищет защиту интересов своего класса и разрешение социальных противоречий эпохи, — государство превращается им и в основную действующую силу истории. Таким образом, то, что еще только намечалось у Кавелина как итог развития его общей концепции, к тому же не без последующего влияния самого Чичерина,— то для Чичерина было отправной точкой, идя от которой, он доводит государственную теорию до ее логического конца, до конечного разрыва с ее исходными положениями органического понимания исторического развития.

Учение о государстве. Государство и народ

В теоретическом обосновании своей позиции Чичерин исходит от гегельянства, но берет у него лишь формальную часть учения о государстве, лишь формальную сторону его диалектики. Поэтому и философско-историческая концепция Гегеля, принятая русской государственной школой, завершается у Чичерина самоликвидацией.

«Государство,—по определению Чичерина,—есть высшая форма общежития, высшее проявление народности в общественной сфере. В нем неопределенная *народность*, которая выражается преимущественно в единстве *языка*, собирается в единое тело, получает единое отечество, становится *народом*»[1]. Фактически и здесь в сохраняющейся еще идее связи государства и народа действующая роль отводится государству: государство создает народ.

В работе «О народном представительстве» Чичерин уточняет теоретическую, социально-правовую сторону вопроса. Государство представляет и опирается на «средние классы». Но понимание последних у Чичерина далеко от революционного содержания понятия «третьего сословия» времен французской буржуазной революции. «По существу своему средние классы стремятся не столько к власти, сколько к свободе, необходимой для развития труда и промышленности». Они противостоят низшим и высшим классам: «Если низшие классы по своему характеру склонны к подчинению, то высшие, напротив, по своему первенствующему положению непременно стремятся к власти и правам» [2]. Таким образом, «средние классы» Чичерина — это внеисторическая, скорее общественно-психологическая категория, средний имущественный слой населения, как наиболее надежная опора государственного правопорядка. Этим определением подчеркивается имен-

[1] *Чичерин*, Духовные и договорные грамоты. Опыты по истории русского права, стр. 369.

[2] *Чичерин*, О народном представительстве, стр. 615 и 616.

но надклассовый характер государственной власти как основы общественного правопорядка.

Такой же формальный характер приобретает и схема истории государства как истории развития народа. Чичерин и здесь начинает с Гегелевского определения трех этапов исторического развития: «В первую эпоху, на заре истории, мы видим союз кровный, затем является союз гражданский, наконец — союз государственный». В первом господствует кровная связь, родовое начало; во втором — «вотчинное право землевладения», система территориальных частноправовых отношений; и только в третьем, государственном периоде осуществляется переход к публичноправовой общественной организации. В этой схеме каждый этап сведен к одному абстрактному логическому началу, представляющему все его содержание. Формальный разрыв абстрактных логических понятий превращается в такой же формальный разрыв реальных исторических эпох.

Развитие и связь эпох превращается в их логическое противопоставление, формально объединенное чисто внешней диалектической схемой. «Таким образом, крайнее развитие личного начала повело к водворению начала совершенно противоположного — начала государственного. Это диалектический процесс исторических явлений»[1].

В этом отношении концепция Чичерина решительно противостоит как первоначальной схеме Кавелина с ее стремлением раскрыть внутреннюю связь и преемственность эпох, так и последовательному историзму Соловьева. Отсюда и фактический разрыв между государством и народом. Из продукта и выражения развития народа государство превращается в независимую и самодовлеющую силу. В России «государство организовалось сверху, действием правительства, а не самостоятельными усилиями граждан». Государство противостоит обществу и его развитию: «Чем более в обществе было склонности к кочевой жизни, чем более все расплывалось по широкому степному пространству, тем сильнее нужно было государству сдерживать расходящиеся массы, связать их в прочные союзы, заставить их служить общественным целям. Нелегкое было дело при недостатке средств, при скудости народонаселения ловить человека по обширным пустырям и принудить его к исполнению своих обязанностей» [2].

Государство, освободившееся само от исторической зависимости, от социальных предпосылок, превращалось в «демиурга» (творца) истории, создающего общество. Из этого положения Чичерин выводит все построение русской истории, все объясне-

[1] *Чичерин*, Духовные и договорные грамоты. Опыты по истории русского права, стр. 336.

[2] *Чичерин*, О развитии древнерусской администрации. Опыты по истории русского права, стр. 381—382.

ние основных ее явлений и, наконец, особенность русской истории в ее своеобразной «западнической» интерпретации.

Политический смысл этой теории показал Ленин в своей работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма»: «Нас не удивляет такое рассуждение у г. Чичерина, который в записке, поданной графу Милютину после 1-го марта 1881 г., заявлял, что «власти необходимо прежде всего показать свою энергию, доказать, что она не свернула своего знамени пред угрозою», что «монархический порядок совместен с свободными учреждениями лишь тогда, когда они являются плодом мирного развития, спокойной инициативы самой верховной власти»[1].

Государство и народ в истории России

Свое историческое обоснование этого положения Чичерин развил в речи на диспуте по его диссертации «Областные учреждения в России в XVII веке»[2].

Оно заключается в неорганизованности, распыленности и вытекающем отсюда бессилии и пассивности самого народа. Собственно говоря, до государства у нас даже нет народа, а есть лишь «одинокое, блуждающее лицо». «Затерянное в необозримом, едва заселенном пространстве, оно более подлежало влиянию природных стихий, нежели общественных начал». Так, «обширные пустынные пространства способствовали особности родового быта»; так, «степь способствовала кочеванию народонаселения, препятствовала образованию прочных союзов между людьми... Все предавалось разгулу, все расплывалось в этом необъятном просторе»[3]. Это «всеобщее брожение» становится в дальнейшем стержнем всего понимания русской истории. Отсюда вытекал и конкретный вывод: «Образование государства — вот поворотная точка русской истории»[4]. Но само развитие государства, смена политических форм, лишенная, таким образом, внутреннего основания, может быть вызвана лишь внешней силой, завершающей разрыв между отдельными историческими этапами. Кавелин в стремлении к органическому пониманию русской истории устранял роль варягов и монголов в ее развитии. У Чичерина они превращаются в основную действующую силу русской истории, определяющую смену исторических этапов, общественных форм.

Развитию политического строя древней Руси посвящена одна из лучших исторических статей Чичерина «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей». В этой статье полнее, чем в других статьях Чичерина, отражена сильная сторона его юридического метода в непосредственном анализе юридического источника и зафиксированных в нем правовых отношений. С точки

---

[1] *Ленин*, Соч., т. IV, стр. 145.

[2] Статья опубликована в «Опытах» под заглавием: «О развитии древнерусской администрации».

[3] Указ. соч., стр. 379—380.

[4] Там же, стр. 380.

зрения юридического анализа духовных и договорных грамот князей как исторического источника работа Чичерина сохранила свое значение и в настоящее время.

Но у Чичерина выяснение княжеских отношений превращается в целую систему политической истории России. В основе ее лежит уже указанное положение примата государства над народом, превращение государства, власти в творца истории.

«Князья собрали воедино разрозненные славянские племена, князья по частному праву наследования раздробили это приобретенное ими достояние, князья же впоследствии соединили в одно тело разрозненные части» [1] — таков итог философии русской истории по Чичерину.

«У нас княжеская власть сделалась единственным двигателем народной жизни» [2], — говорит он и в статье о сельской общине.

Родовое начало определяет первый период истории русского народа. Но родовое начало есть лишь «элемент гражданской жизни», основа частных и разобщенных кровных союзов. Оно неспособно поэтому создать более широкие общественные связи. Княжеская власть принесена извне варяжским завоеванием, разбивающим родовые союзы. Таким образом, если Кавелин и Соловьев в системе родовых отношений связывают княжескую власть и русское общество, Чичерин с самого начала противопоставляет князя народу, договорный характер княжеских отношений, вышедший из дружинной организации, — родовому строю народной жизни.

Установление княжеской власти явилось источником нового общественного порядка, основанного на вотчинных владельческих правах князя. Частные владельческие отношения князя к окружающему его обществу определяют и всю систему общественных отношений. Отсюда и частноправовой характер политического строя этого второго периода; вотчинный период противопоставляется государственному, начало которого отодвигается к эпохе Петра I: «В словах Ивана III является отец семейства, вотчинник» [3], а не государь. В системе частноправовых отношений договорного и наследственного права совершается развитие самой княжеской власти.

Отношения вотчинного хозяйства и отношения княжой службы, которая также «управлялась... началами частного права», определили и внутренний строй русского общества. Второй этап характеризуется уже переходом от противопоставления к подчинению народа государству. В его объяснении выступает уже и антитеза исторического развития России и Западной Европы, своеобразно и парадоксально переворачивающая основной тезис славянофильской концепции. Славянофилы противопоставляли

[1] *Чичерин*, Опыты по истории русского права, стр. 285.
[2] Там же, стр. 10—11.
[3] Там же, стр. 276.

«общинность» русского, славянского быта индивидуалистическому началу Западной Европы. Чичерин объявляет общинность — «союзное начало», по его терминологии, — основным началом западноевропейской истории. Там люди соединились в прочные союзы, образовали сословия; эти сословия стояли рядом с государством, рядом с князем и представляли общественное начало, ограничивавшее королевскую власть и определявшее ее действия. У нас «одиночные, блуждающие лица», «затерянные... в необозримом пространстве, продолжали выступать изолированно»; «у нас вследствие шаткости всех отношений, вследствие временного характера договоров, сословия не могли получить такой определенности, как на Западе». Если на Западе князь с самого начала встречался с крепким феодальным сословием, то у нас только договорные отношения к князю-сюзерену создают связь между его вассалами, объединяя их в феодальное служилое сословие. Таким же образом, тягло, хозяйственные повинности превратили в сословия наше городское и сельское население. Княжеская власть прикреплением к определенной повинности — тяглу или службе — создала у нас сословия. «Сословья из разряда вольных людей превратились у нас в крепостные союзы» [1].

Закрепощение и раскрепощение сословий. Крестьянство и сельская община

Эта последняя проблема получила свое дальнейшее развитие в статьях Чичерина о крестьянстве: «Холопы и крестьяне в России до XVI в.», «Обзор истории развития сельской общины в России», «Еще о сельской общине». Самое появление этих статей связано непосредственно с постановкой вопроса о крестьянской реформе; они и представляют своеобразное обоснование классовой помещичье-буржуазной позиции.

Статьи отвечали на основной вопрос: является ли реформа возвратом народу его исконных прав или делом самого государства, разрешаемым с точки зрения государственных интересов и государственной необходимости, которая в XVI в. привела к закрепощению, а в XIX в. раскрепощает крестьянство. Обоснованием явилось все то же начало «всеобщего брожения» русского народа, а разрешение связывалось с основной характеристикой политической истории России. «Всеобщее брожение» сказалось и в кочевании крестьянства, переходившего с места на место, лишенного связи с землей. Первая территориальная связь была создана системой вотчинных отношений. Вотчина положила начало оседанию крестьянина с его обязанностью тягла, но не сняла свободы перехода. Крестьянство сохраняет свой «бродячий», «кочевой» характер до конца XVI в. Эта неустойчивость хозяйственных отношений лишала прочной основы политическую организацию, мешала переходу к государственному быту. И так же

[1] *Чичерин*, Опыты по истории русского права, стр. 352 и 354.

как прикреплением к службе государство создало служилое сословие, согласно анализу, данному в «Духовных и договорных грамотах», так теперь из той же государственной деятельности и общественной необходимости выводится процесс крестьянского закрепощения.

«Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности; это было государственное тягло, наложенное на всякого, кто бы он ни был. Все равно должны были всю жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди на поле брани и в делах гражданских; тяглые люди — посадские и крестьяне, отправлением разных служб, податей и повинностей, наконец, вотчинные крестьяне... также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству» [1].

«Князья первые сделались оседлыми, и они-то стали собирателями, а впоследствии и созидателями государства» [2]. Князья — собиратели государства, но не на базе растущих народных связей, а в силу отсутствия народных связей; поэтому они сами создавали эту связь, — вот основная идея, которая проходит красной нитью у Чичерина через его трактовку и государства, и общины — как организации народной жизни, и истории отдельных сословий. Все неоседло, все бродит, и борьба с этим общим брожением привела к закрепощению. Самое закрепощение, по Чичерину, снова оказывается всецело делом государственной власти. Он даже вслед за Карамзиным возвращается к теории «указного» происхождения закрепощения, к признанию утерянного указа о закрепощении 1592 г., а окончательное закрепощение связывает с указом Шуйского 1607 г.

Отсюда перебрасывается мост к современности: рассеянность народных сил породила закрепощение; в результате постепенного создания «союзного», сословного начала через государство может начаться процесс раскрепощения государством: сначала жалованной грамотой раскрепостили дворян, такой же жалованной грамотой раскрепостили город, теперь путем реформы начали раскрепощать крестьянство. Все было проведено государством, все будет проводиться государством и сейчас.

С той же точки зрения подошел Чичерин и к вопросу о сельской общине. Правда, в полемике с славянофилами он начал как будто с правильного методологического принципа. Возражая славянофилам, превращавшим общину в специфическое явление русской жизни и при этом рассматривавшим ее как внеисторическую, этнографическую категорию, он указывает прежде всего, что община есть и в Западной Европе, что германская марка есть та же территориальная община.

[1] *Чичерин*, Опыты по истории русского права, стр. 227—228; то же положение развито в статье о сельской общине, стр. 31.

[2] Там же, стр. 175.

Отсюда вытекало и второе требование — исторического изучения общины как конкретной организации, в ее последовательной исторической эволюции. Чичерин сопоставляет отдельные этапы в развитии общины и указывает, что община древнего периода — IX—XI вв. — не та, что община XIII—XIV вв., и не та, что община XVI—XVII вв.

Но переходя к конкретному выяснению этих различий, он выводит их не из развития и изменения самой общины, он превращает их в формальный продукт, в обособленное проявление того общего начала, которое составляет формальную характеристику соответствующего периода в целом. Разорвав на части весь процесс политического развития, он соответственно разрывает на абстрактные изолированные элементы и отдельные изучаемые им исторические процессы.

Первый этап исторического развития характеризовался господством родового, или кровного, начала, второй этап определялся гражданским, или вотчинным, началом, третий этап — государственным началом. Соответственно община IX—XI вв. — это община, построенная на кровном родовом начале, это разросшийся род. В связи с победой вотчинного начала и распадом родового строя эта община гибнет, а на основе территориальной связи возникает другая община, владельческая, или вотчинная. Наконец, с зарождением государственных задач, в процессе закрепощения сословий, появляется третья, сословная, или фискальная, община, порожденная финансово-хозяйственными нуждами государства.

Здесь, таким образом, речь идет не об эволюции общинной организации, которой в связи с общим развитием общественных отношений сообщаются новые функции, права и содержание, причем изменяется деятельность учреждения, но самые изменения проходят в системе какой-то определенной организации. По Чичерину здесь происходит последовательно полное упразднение одной существующей организации, на место которой совершенно заново создается совсем другая, не зависящая, не связанная с первой организация. Община кровная ничего общего с позднейшей общиной не имеет: она начисто разрушена действиями дружин, которые разбили кровные связи. В новой системе вотчинных владельческих отношений князь-вотчинник создает для нужд этой вотчинной организации новую общину. Либо, чтобы сохранить свою правовую самостоятельность, община сама должна превратиться в коллективного владельца-вотчинника; такими общинами-вотчинниками представляются Чичерину Новгород и Псков. В том и другом случае новая вотчинная община сняла старую родовую организацию.

Совершенно новой, не связанной с вотчиной, а созданной государством для обеспечения тягла, является новая государственная, или фискальная, община; и она опять как бы заново создается

на голом месте. Община остается лишь формальным понятием, обозначающим не реальное единство института в его последовательном развитии, а формальную юридическую категорию, объединяющую реально независимые и не связанные между собой явления. Здесь снова вместо эволюции и связи явлений получился разрыв. Схема из средства и пути к пониманию связи явлений сама превращалась в причину, из себя порождающую эти реальные исторические институты.

Развитие Русского государства

Последняя проблема, рассмотренная Чичериным, — история политической организации Московской Руси, ее административного устройства. И здесь действительная связь ее эволюции с общим развитием общественной организации полностью снимается; государственная власть превращается в прямого творца всей этой организации, порождаемой не развитием материальных ресурсов и общественных сил, а исключительно запросами и нуждами самого государства. Такое объяснение дается Чичериным не только правительственным административным органам, но и органам самоуправления — губным и земским учреждениям. Использование государством, не располагающим еще достаточными собственными средствами и необходимой организацией, местных сил, созданных самим обществом, уступка, сделанная государством существующим «мирским» союзам, изображается автором как очередная повинность, возложенная государством на общество, еще не поднявшееся до понимания начал самоуправления. Вместо стремления власти опереться на усиливающиеся на местах социальные силы получается чисто искусственное распространение и расширение единой государственной административной системы.

В этом же плане взят автором и вопрос о земских соборах в его работе «О народном представительстве». Он рассматривается в противопоставлении России и Запада, в противопоставлении народа и государства. На Западе действием союзного начала, активностью народной массы создано «снизу» народное представительство как форма участия общества в управлении. У нас сословное представительство «установилось позднее, действием сверху, вследствие потребности государства» [1]. Государство, занятое трудным делом организации народа, привлечения его различных элементов к государственному делу, слабое в своей организации и в связях с обществом, собирает земские соборы, чтобы получить необходимые сведения с мест, чтобы использовать их как форму связи с местами. Они выросли не из общественной, а из государственной потребности, отсюда их полная политическая пассивность. Вызванные государством к жизни, они и упраздняются государством по миновении надобности, и ни то ни другое не вызы-

[1] *Чичерин*, О народном представительстве, М. 1899, стр. 528.

вает отзвуков в народной жизни. Впоследствии это построение Чичерина в известной мере продолжил Ключевский.

Упразднение единой закономерности исторического процесса

Таким образом, доводя до предела государственную теорию, Чичерин от начала и до конца превращает политическую власть в прямого творца исторической жизни. Одна эпоха со всеми присущими ей явлениями не вытекает из другой, не является ее развитием, а становится как бы логическим продолжением и развитием определяющего ее содержание политического начала. Но тем самым развитие политического начала, развитие государства уже не находило для себя исторического обоснования, переставало быть продуктом и выражением развития народной жизни. Это означало, что в процессе развития философско-исторической концепции Гегеля упразднялось ее исходное творческое начало — принцип органического развития, для которого государство было лишь формой его осуществления.

Схема Чичерина в своих конечных результатах в новой логической форме возвращалась по существу к Карамзинскому пониманию государства как действующей силы, как субъекта истории.

Поэтому, как и Карамзин, Чичерин объясняет развитие самого государства, его внутренние изменения исключительно действием внешних сил. Как отмечалось выше, переход от родового строя к вотчинному выводится Чичериным из варяжского завоевания. При этом Чичерин, вразрез с теорией Погодина и славянофилов, настаивает именно на факте завоевания, обосновывая этим именно разрыв национальных традиций; к этому положению он возвращается во всех статьях, вошедших в его «Опыты».

Таким же образом, смену вотчинного порядка государственной властью Чичерин связывает с влиянием татарского ига, доводя это положение до крайних парадоксальных формулировок. «Ее установлению значительно содействовало татарское владычество, которое, подчиняя народ внешнему игу, приучило его к покорности... В России образцом служила восточная деспотия»[1]. Это сравнение с восточной деспотией впоследствии повторил Плеханов.

Наконец, и третий этап, связанный с петровскими преобразованиями, также выводится из внешнего влияния западноевропейской культуры. В современном государстве проводится систематическое разделение функций. «Систематическое разделение можно... сделать только теоретически, отправляясь не от того, *что есть*, а от того, что *должно быть*». «Западные народы получили свое теоретическое образование из римского права, на почве которого они возникли; Россия должна была получить его от западных

[1] *Чичерин*, О народном представительстве, стр. 531.

народов»[1]. Сближение России с западными государствами — единственная причина, основа очередного изменения в истории России.

Разрушение органического развития получает здесь и свое философское выражение: идея причинности заменяется категорией долженствования.

Другим выражением этой эволюции, вернее этого кризиса, буржуазной исторической теории является отказ от принципа единства закономерности. Противопоставление России и Запада — таково второе принципиальное положение схемы Чичерина. В работе «О народном представительстве» Чичерин, начав с параллелизма исторических этапов, приводит к последовательной антитезе их внутреннего содержания, выводимой из природы и значения государства. В России все было «совсем другое», чем на Западе. На Западе господствует начало права, в России — начало власти; на Западе общественное устройство создавалось деятельностью общества, в России оно «получило бытие от государства». На Западе все вырастает «снизу», в России все насаждается властью «сверху».

Последовательно разрушая все элементы теории органического закономерного исторического процесса, Чичерин неизбежно должен был притти к конечному отрицанию самого исторического процесса как органического и целостного явления. Теория органического развития заменяется возвратом к теории цикличности, к которой Чичерин приходит в своей работе «О народном представительстве»: «...В силу внутреннего закона история представляет попеременно эпохи либеральные и периоды единовластия». В истории происходит «борьба между старым и новым, между свободой и порядком, до тех пор, пока движение жизни не приведет к новому сочетанию, способному согласить изменившиеся элементы». История — «постоянный процесс созидания и разложения»[2], — таков конечный итог философии истории Чичерина.

Так, на протяжении 20—25 лет гегельянская философия истории, как выражение революционной буржуазной мысли XIX в., завершила свой круг развития в русской буржуазной науке и в работах Чичерина пришла фактически к самоотрицанию. Это было отражением начала кризиса буржуазной идеологии и буржуазной исторической науки, обозначившегося именно в 60-е годы. Неслучайно теория государственной школы была воспринята буржуазной исторической наукой XX в., периода ее упадка, именно в этой конечной, Чичеринской, формулировке. Самое последовательное и яркое воспроизведение и развитие этой Чичеринской схемы принадлежит Милюкову.

Но прежде чем вступить в эту полосу кризиса, буржуазная наука, опирающаяся на лучшие стороны Гегелевской философии

[1] *Чичерин*, Областные учреждения России в XVII веке, М. 1856, стр. 590.
[2] *Чичерин*, О народном представительстве, стр. 284—285.

и новой исторической школы, получила свое наиболее блестящее и законченное выражение в трудах самого выдающегося представителя буржуазной исторической науки в России—С. М. Соловьева.

ГЛАВА 19

СОЛОВЬЕВ

Основные сочинения Соловьева: Об отношениях Новгорода к великим князьям, М. 1845. — История отношений между русскими князьями Рюрикова дома, М. 1847. — История России с древнейших времен, т. I—XXIX, изд. 2-е, М. 1851—1879. — Общедоступные чтения о русской истории, М. 1874; то же, М. 1882. — Лекции по русской истории (литогр. изд.) 1867/68. — Публичные чтения о Петре Великом, изд. «Обществ. польза», Спб.; также в кн.: *Соловьев, С. М.*, Собр. соч., изд. «Обществ. польза», Спб., ст. 969—1116. — Император Александр Первый. Политика. Дипломатия, Спб. 1877; также в кн.: *Соловьев, С. М.*, Собр. соч., изд. «Обществ. польза», Спб., ст. 249—758. — Собрание сочинений, изд. «Обществ. польза» Спб. (б. г.); в частности: Начала Русской земли, ст. 761—792; Исторические письма, ст. 849—902; Восточный вопрос, ст. 903—948; Наблюдения над исторической жизнью народов, ст. 1117—1316; Писатели русской истории XVIII в., ст. 1317—1388; Н. М. Карамзин и его «История государства Российского», ст. 1389—1540; Шлецер и антиисторическое направление в истории, ст. 1577—1615. — Исторические поминки по историке, «Моск. унив. извест.» № 3, 1866—1867; отд. II, стр. 173—184 и в брошюре: «Речи, произнесенные на торжественном собрании имп. Моск. ун-та 1 декабря 1866 г., в день Карамзинского юбилея», М. 1867, стр. 1—12. — Михаил Трофимович Каченовский, «Биографический словарь профессоров и преподавателей Моск. ун-та», ч. 1, стр. 383—403. — Спор о русской общине, «Русский вестник», кн. 2, 1856, ноябрь, стр. 285—304. — Малороссийское казачество до Хмельницкого, «Русский вестник», т. XXVIII, кн. 2, сентябрь 1859, стр. 177—196. — Записки Серг. Мих. Соловьева. Мои записки для детей моих, а если можно и для других (б. м.), «Прометей» (б. г.).

Основная историографическая литература: *Ключевский, В. О.*, Сергей Михайлович Соловьев (некролог, составленный для официального ежегодника Моск. ун-та. Речь и отчет, 1880, стр. 51—73); в кн.: *Ключевский, В. О.*, Очерки и речи. Второй сб. статей, М. 1913, стр. 1—23. — *Его же*, С. М. Соловьев, как преподаватель (читано в заседании Ист. о-ва при Моск. ун-те 4/X 1895, в годовщину смерти Грановского и Соловьева; там же, стр. 24—35. — *Его же*, Памяти С. М. Соловьева; там же, стр. 36—56. — *Бестужев-Рюмин, К.*, Биографии и характеристики, Спб. 1882, стр. 255—272. — *Герье, В.*, Сергей Михайлович Соловьев, «Исторический вестник», кн. I, 1880, стр. 74—111. — *Безобразов, П. В.*, С. М. Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность. Биографический очерк, Спб. 1894 (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова). — *Шмурло, Е.*, Соловьев, С. М., статья в Энциклопедическом словаре

Брокгауз—Ефрон, т. XXX, стр. 798—803. — *Корсаков, Д.*, Соловьев, статья в кн. «Русский биографический словарь», том: «Смеловский — Суворина», Спб. 1909, стр. 82—92. — *Любавский, М. К.*, Соловьев и Ключевский; в сб.: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания, «Научное слово», М. 1912, стр. 45—58. — *Покровский, М. Н.*, Борьба классов и русская историческая литература; в сб.: Историческая наука и борьба классов, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 7—100. — *Кавелин, К. Д.*, Исследования С. М. Соловьева, Соч., т. I, Спб. 1897, ст. 253—508. — *Его же*, Мысли и заметки о русской истории; там же, ст. 583—676.— *Аксаков, К. С.*, Сочинения исторические, Собр. соч., т. I. — *Бестужев-Рюмин, К.*, Рецензии на отдельные тома Соловьева. Библиографические указания см. в кн.: *Шмурло, Е.*, Очерк жизни и научной деятельности К. Н. Бестужева-Рюмина, Юрьев 1899, стр. 354—355.

Библиография: *Соловьев, С. М.*, Собр. соч., Спб. 1882. В приложении «Список сочинений С. М. Соловьева (1842—1879)», стр. 529—536. — *Замысловский, Б.*, Ученые труды С. М. Соловьева. Библиографический список; в журн.: «Мин. нар. просв.» № 11, 1879, стр. 29—37. — *Желоховцева, А. М.*, Библиографическая справка о С. М. Соловьеве, «Историк-марксист» № 3,1940, стр. 114—126.

Оценка Соловьева в историографии

Своей настоящей научной оценки работа Соловьева до сих пор не получила. Со времени смерти Соловьева, после известной поминальной речи его ученика и преемника по кафедре В. О. Ключевского (1879) и последующих его статей (1895 и 1904), о Соловьеве вспоминали и говорили больше в связи и по поводу Ключевского. Современники рассматривали Соловьева с точки зрения своих научно-политических концепций. Представитель западнического лагеря Кавелин искал у Соловьева прежде всего подтверждения государственной концепции русской истории. В свою очередь славянофилы критиковали его и полемизировали с ним, как с представителем государственной школы. Как представителя этой школы восприняла его и последующая историография. Уже Ключевский сводил всю историческую работу Соловьева к концепции государственной школы, к ее условной и абстрактной схеме. В статье Ключевского содержание «Истории России» оказалось сведенным к одной «исторической формуле», в основном заимствованной из статьи Соловьева «Шлецер и антиисторическое направление в истории» [1]: «На нашей равнине до Рюрика живет несколько редко разбросанных народцев славянских и финских. Они живут особыми замкнутыми самостоятельными родами». Призвание князей ведет к объединению племен. «Вместо племен по соединении их являются волости, каждая со своим князем, но эти князья все члены одного нераздельного рода, и эта нераздельность поддерживает единство земли во

[1] *Соловьев*, Собр. соч., ст. 1583.

время государственного младенчества. Потом волости соединяются в государство, их князья исчезают, является единовластье. По окончании медленного, вследствие громадности страны, процесса государственного объединения русское государство получает возможность войти в систему европейских государств с сильным влиянием» [1].

Эта схема государственной школы была изложена Соловьевым наиболее последовательно в известной первой главе XIII тома, написанного в 1863—1864 гг., уже после основных исторических работ Чичерина и, очевидно, не без влияния последнего. Неслучайно эту сторону выделил и заострил Ключевский: он был учеником не только Соловьева, но и Чичерина, оказавшего большое влияние на его теоретические взгляды. Соловьева он рассматривал и интерпретировал в значительной мере сквозь призму концепции Чичерина, отожествляя его с последним. Но в этом отожествлении значительно упрощались и схематизировались исторические воззрения Соловьева.

Конечно, в известных отношениях Соловьев действительно сближался с Чичериным. Это сближение на почве государственной теории вытекало из буржуазно-идеалистической природы его философско-исторических позиций. Этой своей стороной исторические работы Соловьева отражают ограниченность буржуазной исторической науки. Но этим далеко не исчерпывается содержание его исторических воззрений. Правильная оценка исторического значения работ Соловьева требует как раз выяснения особенностей взглядов Соловьева, отделяющих его от государственной школы. Отожествление с последней только заслонило от последующих историков его наиболее прогрессивные и ценные стороны.

Формирование исторических воззрений

Соловьев дал ряд конкретных указаний на теоретические истоки своих научных воззрений. Сын священника, он получил, однако, светское образование в Московской гимназии и рано стал заниматься историей. Сопоставляя первые впечатления, связанные с изучением Карамзина и Эверса, Соловьев писал: «У Карамзина я набирал только факты; Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставил меня думать над русскою историею» [2]. Впоследствии, в биографии Каченовского, он еще резче противопоставил историческим взглядам Карамзина задачи исторической науки XIX в.: «...когда История Государства Российского блестящим образом закончила труды XVIII в., XIX в. выставил новые требования. Главным препятствием к уразумению содержания отечественной истории служило то обстоятельство, что различные эпохи ее изображались одинакими красками, события времен давних представлялись,

[1] *Ключевский*, Очерки и речи, стр. 20.
[2] *Соловьев*, Записки, стр. 60.

характеры действующих лиц в этих событиях оценивались по понятиям времен новых, на историю смотрели преимущественно, как на художественное словесное произведение». «Первое дело, которым должна была теперь заняться наука, — по определению Соловьева, — состояло в том, чтобы уничтожить это смешение эпох, выставить каждую из них с соответствующим ей характером, уяснить, таким образом, постепенный ход истории, преемство явлений, естественный, законный выход одних явлений из других, последующих из предыдущих»[1]. Путь к этой цели лежал через историческую критику. В Московском университете (1838—1842) Соловьев слушал лекции Каченовского и Погодина и подчеркивал впоследствии значение скептицизма Каченовского для историков его поколения в деле развития научно-критического метода. Погодину Соловьев дал в своих «Записках» резко отрицательную оценку, отказав ему в каком-либо значении в русской историографии.

Другая линия идейных влияний связывала Соловьева с философскими учениями XIX в., с гегельянством. В Московском университете распространение этих идей связано с выступлением нового поколения историков, как Грановский, читавший всеобщую историю, Крюков, читавший древнюю историю. Из произведений Гегеля Соловьев познакомился в подлиннике с его «Философией истории» и отметил свое увлечение его идеями. Правда, в своих «Записках» он оговаривал: «Отвлеченности были не по мне, я родился историком»[2]. Однако уже после окончания Соловьевым университета, в 40-е годы, мы находим в его тетрадях выписки из «Философии истории» Гегеля, выделившие именно те положения этого труда, которые в дальнейшем легли в основу исторического мировоззрения Соловьева. Сила влияния «Философии истории» Гегеля на Соловьева наглядно сказалась в первоначальном варианте «Наблюдений над исторической жизнью народов», написанном двадцать с лишним лет спустя и тем не менее составившем как бы непосредственный сколок с «Философии истории»[3].

По окончании университета Соловьев отправился за границу домашним учителем в семье графа Строганова. В Берлине он слушал Ранке, Риттера, Раумера, Неандера, в Париже — лекции Гизо, Мишле и др. и был особенным поклонником Гизо. Непосредственное знакомство с исторической мыслью Западной Европы и конкретное знание всеобщей истории в свою очередь расширяло научный кругозор историка и сказалось в развитии его собственной научной деятельности. Связь с западноевропейской истори-

[1] «Биографический словарь профессоров Московского ун-та», т. I, стр. 401.

[2] *Соловьев*, Записки, стр. 60.

[3] Рукопись хранится в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Ленина в Москве в деле: «Соловьев VI/10». Подготовлена к печати в сборнике «Научное наследство», М. 1941.

ческой мыслью шла, таким образом, прежде всего по линии органической исторической школы, выросшей на идеях французской буржуазной революции. Наряду с этим Риттер, представляя новые позитивистские тенденции, выделял значение природного фактора в истории; Риттера впоследствии дополнил Бокль.

Наконец, в ряду научных предпосылок развертывания исторических исследований Соловьева необходимо отметить и широкий размах источниковедческой и в первую очередь археографической деятельности в России. Интенсивная архивная работа Соловьева тесно связана с общим научным движением его времени.

После возвращения в 1844 г. в Москву Соловьев приступил к сдаче магистерских экзаменов и защите магистерской диссертации. Вначале, как ученик Погодина, он был встречен враждебно представителями молодого научного направления в университете (Грановским, Кавелиным, Крюковым). Но ознакомившись с его диссертацией, они увидели, что в лице Соловьева имеют историка, стоящего на одних с ними научных позициях. А к этому времени произошел и прямой разрыв Соловьева с Погодиным. После блестящей защиты магистерской диссертации ему был передан курс русской истории. В 1847 г. он защитил докторскую диссертацию и сделался профессором. С 1851 г. началась его систематическая работа над «Историей России с древнейших времен».

Тридцать пять лет научной деятельности Соловьева отмечены исключительной по значимости, по широте своего охвата, по продуктивности работой. «В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли», — писал Ключевский в статье о Соловьеве. Впервые все наши знания по истории России с древнейших времен по XVIII в. (до 1775 г.) были сведены в цельную научную систему в 29 томах его монументального труда «История России с древнейших времен», регулярно выходившего с 1851 по 1879 г. по одному тому в год. Этот труд представлял при этом от начала до конца плод большой самостоятельной научной работы, впервые поднимавшей и вводившей в научный оборот обширный новый документальный материал, с которым зачастую и до сих пор историк знакомится только по труду Соловьева. Для многих поколений историков «История России» явилась своего рода энциклопедией русской истории. К «Истории России» примыкает ряд специальных исследовательских работ Соловьева, начиная с его двух диссертаций: магистерской — «Об отношениях Новгорода к великим князьям» (1845), и докторской — «История отношений между князьями Рюрикова дома» (1847). Они завершаются монографиями, уже выходящими за рамки его «Истории» и посвященными внешней политике Екатерины II—«История падения Польши», и Александра I — «Император Александр I. Политика. Дипломатия». Соловьев рядом своих статей положил также начало изучению русской историографии. Его монографические работы ча-

стично вошли в специальный том его «Сочинений», частично до сих пор рассеяны по разным современным журналам.

Соловьев не замыкался в рамки строго «академической» науки, выступая и с публичными чтениями (например «Публичные чтения о Петре Великом») и с популярными статьями на исторические темы. Своими статьями он откликался и на животрепещущие вопросы современности. «Исторические письма» (1858) были откликом на вопросы разработки крестьянской реформы. В 1863 г., в период Польского восстания, была написана «История падения Польши», а в начале балканской войны 1877—1878 гг. — его очерк внешней политики Александра I.

К составлению «Истории России» Соловьев подошел уже сложившимся ученым, с цельной и законченной общей концепцией русской истории. Его две диссертации были последовательными этапами в выработке этой концепции. Первая разрешала вопрос о переходе от периода Киевской Руси к Руси Северо-восточной (вотчинной, или удельной), вторая пыталась дать общую схему истории России с IX по XVI в. В предисловии к первому тому «Истории России» в 1851 г. Соловьев изложил уже общую концепцию всей русской истории.

Политическая идеология

Отражая передовые идеи западноевропейской буржуазной науки, Соловьев представлял в то же время передовую мысль растущей русской буржуазии. Его записные тетради 40-х годов уже отражают и эту направленность его научной мысли. В числе заметок, вызванных изучением работ Тьерри, Гизо и др. по истории третьего сословия в Западной Европе, одна относится к известной брошюре Сьейеса «Qu'est-ce que le tiers-état?» («Что такое третье сословие?»): «И это хорошо написано, — восклицает Соловьев,— а у нас-то какую штуку можно написать». С этой буржуазной позиции Соловьев сумел дать дворянской историографии в лице Карамзина не только общую научную, но и классовую оценку. В той же тетради, характеризуя французского историка XVIII в. Буленвилье, он записал: «Это был дворянин (вроде нашего Карамзина), который отыскивал в истории документы о свободе дворянства против власти королевской и презирал народ»[1].

Окончательное оформление исторических воззрений Соловьева, его концепции русской истории приходится на 50-е годы XIX в. — период краха николаевской крепостнической монархии. После поражения в Крымской кампании решительно встал вопрос о ликвидации крепостнической системы, разрешенный реформой 60-х годов. «Исторические письма», написанные Соло-

[1] Тетради Соловьева 40-х годов сохранились в выписках Н. А. Попова, предназначавшихся для «творческой биографии Соловьева», хранятся в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Ленина: «Соловьев VI/9/6».

вьевым в 1858 г., являлись своего рода историческим обоснованием буржуазных реформ и прежде всего реформы крестьянской: «Жизнь имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни», — писал Соловьев [1]. Проблема буржуазных реформ являлась центральной и определяющей для всей его исторической концепции. В центре его исторических изучений стояла эпоха Петра I, изучение Петровских реформ; вокруг них сосредоточены основные вопросы русской истории, они — основной рубеж в ее развитии. Но для Соловьева реформы Петра I — это прообраз тех реформ, которые должны быть проведены в его время; его деятельность — образец для правительства Александра II; позже, в своих «Записках», он доводит до конца это сравнение и признает банкротство неудачного преемника Петра I. Реформы Петра I — это вместе с тем начало того преобразования России, которое, в представлении Соловьева, призваны завершить буржуазные реформы 60-х годов; их изучение есть вместе с тем изучение истоков новой реформы.

Поклонник петровской монархии и преобразовательной деятельности Петра, Соловьев отнюдь не распространяет этой оценки на российскую монархию конца XVIII в. и первой половины XIX в. Он не дошел до этих вопросов в своей «Истории России». Но в его «Записках» сохранились блестящие по яркости и вдумчивости характеристики московского самодержавия от времени Екатерины II, всех этих «русских благочестивейших и самодержавнейших папаш и мамаш»: «Так, некоторые родители очень довольны просвещением и не жалеют денег для образования детей своих, когда эти дети ловко танцуют и возбуждают удивление родных и знакомых, лепечут на иностранных языках и в день именин подносят папаше и мамаше сочинение в стихах и прозе, где величают их виновниками своего блаженства и прочее. Но вот эти милые дети вырастают, и для пожилых родителей начинается горькое разочарование: милые дети начинают считать себя образованнее, умнее родителей, не хотят сообразоваться с их желаниями и обычаями, которые называют дикими, устарелыми, требуют себе самостоятельности, средств к свободной жизни; тут-то папаша и мамаша начинают горькие жалобы на просвещение, на молодых учителей развратителей». Едва ли в русской буржуазной литературе найдется более острая характеристика либерализма Александра I, который так заботился о своих «неблагодарных детях», что «даже хотел их выпустить на волю — под надзор Аракчеева»[2].

С исключительной остротой изображена Соловьевым мрачная реакция николаевского царствования, полицейский режим «николаевской тюрьмы», в которую была превращена вся Россия. Требование реформы было непосредственным итогом, извлечен-

[1] *Соловьев*, Соч., ст. 887.
[2] *Соловьев*, Записки, стр. 119.

ным из опыта полицейской монархии. «Все, начиная с самого верха, стремились выйти из положения, созданного Николаем»[1].

Политические воззрения Соловьева важны для нас потому, что они вносят существенную поправку в общую характеристику Соловьева-историка. Проблема государственности, подчеркнутая Соловьевым, приводит к тому, что его сближают с Карамзиным в его трактовке русской монархии, делают Соловьева прямым ее идеологом. Как представителя государственной школы его непосредственно связывают с ее охранительно-монархическими тенденциями, присущими правому гегельянству, представленному у нас Чичериным. Соловьев выражал идеологию буржуазии, идущей вверх, подводя итог первой половине XIX в. под знаком борьбы за реформу. Своему мировоззрению, сложившемуся в 50-е годы, он остался верен и после.

Характеризуя период 70-х годов, Ключевский писал: «Еще недавно думали, зачем оглядываться назад, когда впереди так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы? — Но при этом был допущен один немаловажный недосмотр. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу»[2].

Это было начало реакции, подготовка контрреформ. В своих «Записках» Соловьев признал банкротство своих надежд на реформы 60-х годов: «Преобразования производятся успешно Петрами Великими, но беда, если за них принимаются Людовики XVI-ые или Александры II-ые». «Судьба не послала ему Ришелье или Бисмарка; но дело в том, что он не был способен воспользоваться Ришелье или Бисмарком; у него были претензии, страх слабого человека казаться слабым, несамостоятельным; — под внушениями этого страха он в одно прекрасное утро прогнал бы Ришелье или Бисмарка»[3].

Это была одна сторона конкретных выводов, сделанных Соловьевым. Другая сторона отражена в одной из поздних работ Соловьева — в его «Публичных чтениях о Петре Великом» в 1872 г. Соловьев еще раз вернулся к своей излюбленной теме, к центральному вопросу своих исследований — Петровским реформам. В их оценке произошла известная эволюция: XIII—XVI тома «Истории России» писались в период 1863—1866 гг., когда была еще вера в реформу, — и тогда особенно подчеркивалось значение самого Петра I, роль реформатора, пример, которому должен был следовать Александр II. В 70-е годы с верой в Александра II как преобразователя было покончено. Правительство само стало сводить на-нет первые результаты реформы. И тогда ударение

[1] *Соловьев*, Записки, стр. 157.
[2] *Ключевский*, Очерки и речи, стр. 50.
[3] *Соловьев*, Записки, стр. 168—169.

с реформатора было перенесено на самую реформу. Автор особенно подчеркивал историческую обусловленность и неизбежность реформы, созревшей и подготовленной помимо и независимо от самого преобразователя, «носителя и выразителя народной мысли», являющегося «сыном своего времени, своего народа»[1].

Так один вопрос, одна стержневая проблема определили основную историческую позицию и мировоззрение Соловьева, разрешаясь в концепции единого и целостного, органического в своем развитии исторического процесса, связывавшего Россию с современными буржуазными государствами Западной Европы.

Но буржуазная идеология имеет и свою оборотную сторону. «Умудренная опытом» западноевропейских революций, буржуазия боится народных движений, народной революции. В народном движении она видит угрозу буржуазному правопорядку, она изображает его как анархию и бессмысленный бунт. Она мечтает о сильной государственной власти, устанавливающей буржуазный правопорядок. Ее идеал — буржуазная монархия. Соловьев в «Записках» заявлял себя «приверженцем орлеанской династии и министерства Гизо» и «не мог понять, чего еще французам нужно более того, что они имели в этом» [2].

Он и для России желает буржуазной монархии, «сверху» осуществляющей необходимые реформы и устраняющей всякое народное движение «снизу». Такова другая сторона исторической идеализации Петровской реформы. Наконец, сильное государство выступает носителем великодержавных тенденций растущей буржуазии, воплощает буржуазную идею великодержавного национализма, отношение нации господствующей к подчиненным, угнетенным народам.

Историческая теория органического развития

Идея исторического развития составляла основную черту исторического мировоззрения Соловьева, отмеченную великим просветителем Чернышевским. Идею исторического развития выдвигает Соловьев против славянофилов с их шеллингианским учением об «абсолютной идее», существующей вне истории, заключающейся в народном духе и непосредственно раскрывающейся в народной жизни. В статьях «Шлецер и антиисторическое направление в истории» и «Исторические письма» (обе относятся к 50-м годам) Соловьев выступает против славянофильской идеализации прошлого, называя это «буддизмом», философией застоя в истории. Дух народа, заявляет Соловьев, развивается вместе с историей народа — такова по существу своему гегельянская мысль Соловьева: не в средневековой народной легенде, а в творчестве Шиллера и Гете, в философии Канта и Шеллинга получает свое выражение подлинный дух германского народа на современном Соловьеву историческом этапе.

[1] *Соловьев*, Соч., ст. 971.
[2] *Соловьев*, Записки, стр. 75.

Историческое развитие осуществляется в его внутренней, т. е. органической, обусловленности. История есть процесс органического развития, — к этому положению Соловьев возвращается неоднократно, стремясь к раскрытию его закономерности, тех общих законов, которые определяют развитие каждого народа. «Естественно и необходимо» — такова его излюбленная формула закономерного развития. Правда, самое представление о закономерности развития сохраняет у него внешний, абстрактный характер; выливаясь в идеалистическую теорию прогресса как развития цивилизации, оно лишено подлинного научного обоснования в действии материальных и социальных сил самой общественной жизни, которое может дать только марксизм с его учением об общественно-экономических формациях, о решающем значении развития производительных сил и производственных отношений.

Соловьев заменяет это научное объяснение идеалистическим сравнением общественной жизни с жизнью отдельного человеческого организма: «Народы живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты, как отдельные лица, как все живое, все органическое» [1].

Соловьев всегда и везде ставит себе целью установить закономерность развития, показать ее в непрерывной связи и взаимной обусловленности исторических явлений, в сохранении целостности живой ткани исторического процесса во всем его многообразии и конкретности. В третьей главе четвертого тома «Истории России», разбирая отдельные периодизации русского исторического процесса, Соловьев выделяет именно эту сторону — раскрытие связи между периодами — как основную задачу исторической науки: «Наука мужает, и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистекло из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое, является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим» [2].

Поэтому отсутствие связи между периодами и выдвигается им как основной признак порочности существующих схем истории России.

Эта мысль выражена Соловьевым со всей последовательностью уже в его предисловии к первому тому: «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм; не разделять начала, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию, — вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор настоящего труда» [3].

[1] *Соловьев*, Публичные чтения о Петре Великом, Соч., ст. 970.
[2] *Соловьев*, История России, кн. 1, ст. 1339
[3] Там же, ст. 1.

Стремление сохранить единство и связь повествования, представление о нераздельности отдельных частей исторического процесса отразились даже на внешней структуре текста. Если взять «Историю» Щербатова или Карамзина, то у них в самом внешнем делении на тома, части, книги отчетливо выступает внутреннее разделение материала. У Соловьева как бы нарочито стираются грани, «ибо в истории ничто не оканчивается вдруг и ничто не начинается вдруг; новое начинается в то время, когда старое продолжается» [1].

Органичность развития предполагает единство закономерности в историческом развитии отдельных народов. Люди, пишет Соловьев в «Исторических письмах», «давно ... принимали одинаковость законов как для организмов природных, так и для общественных, давно старались обращать внимание людей на эту одинаковость» [2].

Для Соловьева это конкретный вопрос о единстве закономерности истории России и истории народов Западной Европы. «Пора бросить старые толки о различии наших и западных общественных отношений на основании завоевания и незавоевания... — продолжает там же Соловьев. — И у нас было завоевание: этого факта нельзя вычеркнуть из летописей» [3]. В четвертом томе «Истории России» Соловьев проводит определенную аналогию между родовым началом в истории России и феодализмом на Западе. Наконец, и в первой главе тринадцатого тома, где в известной мере Соловьев противопоставляет Россию Западу, это противопоставление в сущности не доходит до прямой антитезы; он скорее склонен говорить об известном запаздывании в историческом развитии России, о некотором отставании ее, но на одном и том же пути.

Соловьев и концепция государственной школы

Но рядом с этой теорией органического развития выступала концепция государственной школы, получившая свою законченную и последовательную формулировку у Чичерина. Основные элементы этой схемы Соловьев наметил уже в статье «Шлецер и антиисторическое направление в истории», воспроизвел в первой главе тринадцатого тома и еще раз повторил в последней статье — «Начала Русской земли». Здесь Соловьев выделяет прежде всего вопрос о роли географических условий. На Западе «камень» — горы — разделили территорию Европы на замкнутые части естественными государственными границами; у нас — огромная равнина без естественных границ, определяющих расселение местного населения, и без естественной защиты от нашествия врагов—«азиатцев», кроме лесов на севере, куда и уходит население из южной степи. На Западе из «камня»

[1] *Соловьев*, История России, кн. 1, ст. 1339.
[2] *Соловьев*, Соч., ст. 850.
[3] Там же, ст. 870.

строятся прочные феодальные замки и городские укрепления, у нас — дерево, лес, непрочные деревянные строения и городские частоколы, где ничто не привязывает к месту, не создает прочной оседлости. «Природа для Западной Европы, для ее народов была мать; для Восточной, для народов, которым суждено было здесь действовать, — мачеха» [1]. Отсюда слабость племенной организации в древней Руси, «жидкое состояние», в котором долго остается народная масса. Отсюда и определение особой роли колонизации в русской истории, и роли государства в организации общественных сил, в прикреплении всех слоев населения к государственной службе или тяглу, — теория закрепощения и раскрепощения сословий, в которой представители государственной школы искали исторического обоснования происхождения крепостного права и в то же время своей программы крестьянской реформы. «Централизация восполняет недостаток внутренней связи, условливается этим недостатком и, разумеется, благодетельна и необходима, ибо без нее все бы распалось и разбрелось: это хирургическая повязка на больном члене» [2].

В концепцию государственной школы Соловьев вносит, однако, два новых элемента, значительно развивая едва намеченные в ней первоначально темы. Это, во-первых, — борьба с «азиатцами», или, по выражению Соловьева, «борьба леса со степью», длительная борьба русского народа с кочевыми народами Востока, вторгавшимися из Азии в русские степи и сменявшими друг друга в этой борьбе вплоть до XVI в. Вторая тема — русская колонизация восточноевропейской равнины.

Государственная школа в своей исторической схеме подчиняла историческое развитие внешнему воздействию географической среды. Соловьев говорит о географических условиях, в которых развивается реальная историческая борьба с наступающими кочевыми народами Востока, и в этой борьбе ищет непосредственную причину задержки исторического развития России, ее отставания от народов Западной Европы. И колонизация в схеме Соловьева — не простое «шатание» народа, вызванное равнинным степным характером Восточной Европы, а обратное наступление леса на степь, Европы на Азию, второй этап борьбы с «азиатцами». Она дает Соловьеву объяснение политического объединения Русского государства из самого процесса исторического развития, от национального единства, созданного этой колонизацией. При всем формально-националистическом характере данной концепции в ней сказывается стремление наполнить условную схему реальным историческим содержанием.

Две исторические концепции, столкнувшиеся в историческом мировоззрении Соловьева, не могли сохраниться в чистом и неиз-

[1] *Соловьев*, История России, кн. 3, ст. 625.
[2] Там же, ст. 645.

менном виде. Переплетаясь, скрещиваясь, они неизбежно должны были видоизменять друг друга. С одной стороны, теория органического развития используется Соловьевым для преодоления ограниченности государственной школы; с другой стороны, учение последней в свою очередь не могло не исказить в известной мере основных положений органической теории.

Так указанное выше внутреннее противоречие общей идеологии переносится в конкретную разработку исторической теории.

Основные вопросы исторического развития

Для Чичерина, главного теоретика государственной школы, географические условия определяют разрыв между обществом и государством, их действие чисто отрицательное: они упраздняют народ как действующую силу, чтобы развязать руки государству. Поэтому они и не объясняют исторического процесса развития. История государства ставится в зависимость от действия случайных внешних явлений: так, варяги создали дружинный строй Киевской Руси, а монголы—московское единодержавие.

Соловьев в передачу этой общей схемы вносит ряд принципиальных оговорок. Прежде всего действие географического фактора не безгранично; Соловьев знает, что наступает такой момент в развитии общественных сил, когда человек уже сам подчиняет себе природу и перестает зависеть от природных условий [1]. Географические условия не упраздняют закономерности развития, они только замедляют его темпы: «В истории распространения европейской цивилизации мы видим постепенное движение от запада к востоку по указанию природы, ибо на Западе сосредоточиваются самые благоприятные условия для ранних успехов цивилизации и постепенно ослабевают, чем далее на восток» [2]. Действие географического фактора не устраняет значения развития народных сил, не определяет непосредственно развитие государства, а само осуществляется через них; в росте народных сил — источник развития государственной организации. Так, отмечая значение географических условий при перемещении центра русской истории на северо-восток, Соловьев видит их действие прежде всего в их влиянии на размещение населения, на накопление экономических ресурсов, и лишь через эти элементы общественного развития определяется им развитие государственности.

Поэтому государство нигде не превращается в совершенно самостоятельную, самодовлеющую силу; здесь нет разрыва между развитием общества и государства, напротив, последнее ставится в тесную связь, в непосредственную зависимость от первого. «Мы должны следить за развитием, ростом государства, вместе с разви-

---

[1] См. *Соловьев*, Наблюдения над исторической жизнью народов, Соч. ст. 1118.

[2] *Соловьев*, История России, кн. 3, ст. 626.

тием, ростом народа, за постепенным уяснением сознания его о себе, как едином целом» [1].

В «Наблюдениях над жизнью народов», говоря о двух типах складывания государства — механическом присоединении территорий и «органическом» объединении народа, Соловьев рассматривал складывание Русского государства как органическое и тожественное в этом смысле развитию всех европейских государств [2].

В полемике с Соловьевым представитель славянофилов Хомяков бросил фразу о том, что Соловьев «рассматривает не историю России, даже не историю государства Российского (намек на Карамзина. — *Н. Р.*), а только историю государственности в русской истории» [3]. Хомяков исходил при этом из того, что понятие государственности беднее содержанием, менее конкретно. Но существо дела в том, что оно шире и потому может охватывать более богатое конкретное содержание. Хомяков отметил здесь не слабую, а именно сильную сторону концепции Соловьева. На место государства как конкретной и поэтому обособленной силы, самостоятельно действующей в истории, ставится государственность как форма общественной организации, как продукт исторического развития. Понятие государственности дает возможность рассматривать историю государства как представляющую и отражающую разные стороны народной жизни. Здесь лежит для Соловьева решение основного вопроса об отношении народа и государства к истории.

У историков-государственников типа Чичерина, так же как до них у Погодина, государство устраняет народ; у славянофилов народ противостоит государству. Соловьев решительно выступает против этого «незаконного развода народа и государства». «Государство есть необходимая форма для народа, который немыслим без государства», — говорит Соловьев, но «правительство в той или другой форме своей есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни» [4]. Так, он требует от историка изучения того, как «складывался внизу фундамент, на котором построилось здание Московского государства» [5].

Конечно, и это положение Соловьева ограничивается идеалистической сущностью его научной теории. Государство рассматривается не как продукт общественного развития, обусловленный внутренними противоречиями самой общественной жизни, а как отражение общественной жизни, взятой в ее условном един-

---

[1] *Соловьев*, Соч., ст. 632.

[2] Об этом см. также *Соловьев*, История России, кн. 1, ст. 1341.

[3] *Хомяков*, Замечания на статью Соловьева «Шлецер и антиисторическое направление в истории», Соч., т. III, ст. 282.

[4] *Соловьев*, Соч., ст. 1126 и 1122.

[5] *Соловьев*, Исторические письма, Соч., ст. 894.

стве. Поэтому в конечном итоге государство оказывается стоящим над внутренними противоречиями общественной жизни и тем самым приобретает в какой-то мере самодовлеющий характер: «шумиха государственных мероприятий» выступает на первый план. «Подробности, анекдоты о государях, о дворах, известия о том, что было сказано одним министром, что думал другой, сохранят навсегда свою важность, потому что от этих слов, от этих мыслей зависит судьба целого народа и очень часто судьба многих народов». Но и здесь автор в конечном счете отсылает читателя к своему общему положению — в деятельности правительственных лиц он ищет отражение народной жизни: историк «должен изучать деятельность правительственных лиц, ибо в ней находится самый лучший, самый богатый материал для изучения народной жизни» [1].

В этой связи получает свое разрешение и второй большой принципиальный вопрос — о роли личности в истории. И он не лишен двойственности у Соловьева; это ярко отразилось в трактовке Петра I. С одной стороны, — он «вождь» своего народа, это — «революционер на троне», повернувший направление развития своего народа. Эта линия ярко проведена в более ранней разработке вопроса, в «Истории России». Но, с другой стороны, автор спешит в дальнейшем выровнять линию. «Великий человек, — говорил Соловьев в «Публичных чтениях о Петре Великом», — является сыном своего времени, своего народа... он высоко поднимается как представитель своего народа в известное время, носитель и выразитель народной мысли» [2]. В этом процессе именно народу, его историческому развитию, хотя и взятому в его условном идеалистическом понимании, принадлежит решающее значение: «Великий человек дает свой труд, но величина, успех труда зависит от народного капитала, от того, что скопил народ от своей предшествовавшей жизни, предшествовавшей работы» [3].

При всех отдельных отклонениях автор последовательно возвращается к утверждению общей закономерности исторического процесса. В стремлении охватить все многообразие его содержания он расширяет круг тех элементов, в которых, в его представлении, эта закономерность заключалась, которые определяют развитие народной жизни. «Три условия имеют особенное влияние на жизнь народа: природа страны, где он живет; природа племени, к которому он принадлежит; ход внешних событий, влияния, идущие от народов, которые его окружают» [4].

Природа страны, географические условия — фактор, хорошо известный современной Соловьеву историографии. В общей схеме

---

[1] *Соловьев*, Наблюдения над исторической жизнью народов, Соч., ст. 1123—1124.

[2] *Соловьев*, Соч., ст. 971.

[3] Там же, ст. 274.

[4] *Соловьев*, Начала Русской земли, Соч., ст. 761.

государственной школы природа страны являлась единственной решающей силой, определяющей все развитие исторического процесса; и именно полная зависимость от этого внеисторического фактора развязывала действие стихийных сил, открывая с другого конца свободу действия государству. Соловьев географический фактор вводит в определенные рамки, указывая пределы его воздействию [1].

Второй элемент — «природа племени». И здесь остается определенная двойственность интерпретации. Соловьеву не чужда мысль об историческом происхождении этнографического начала, о его постепенном развитии и формировании.

В его ранних набросках, вызванных в частности работой над трудом Шафарика «Славянские древности», имеются интересные высказывания относительно длительного процесса исторического формирования современных племен и народов в результате сложного смешения древних племенных групп и скрещения многообразных этнических влияний. Самый «народный дух» рассматривается Соловьевым как продукт исторического развития: «Народ похож на своего родоначальника не вследствие одного физического происхождения от него: народ воспитывается в преданиях, которые идут от этого родоначальника и в которых отразилась его личная природа, его взгляды и отношения... Так составляется народный образ» [2].

Но правильно развить эту мысль и последовательно ее провести Соловьеву также мешают его идеалистические взгляды. В конечном итоге Соловьев пришел к типичному этнографическому пониманию народа, что особенно ярко отразилось в его поздних литографированных курсах лекций, развивавших идею об особой исторической миссии арийской расы.

Третье условие — «ход внешних событий» — представляет самый существенный и решающий элемент в ряду выдвинутых Соловьевым условий. «Ход внешних событий» — это вся живая ткань исторической жизни в ее нераздельной целостности. Именно здесь находит свое наиболее полное выражение принцип органического рассмотрения исторической действительности. Действительное научное познание своеобразия исторического развития в конкретном анализе его содержания дается лишь историческим материализмом и потому недоступно Соловьеву. Но в понимании органической целостности исторической жизни Соловьев находит опорную базу против односторонности подчинения исторического развития воздействию внешних абстрактных причин; конкретная историческая действительность вступает в свои права. За этой внешней и потому неопределенной формулировкой стоит очень важная и положительная принципиальная идея: закономерность надо искать

[1] Ср. выше, стр. 324.
[2] *Соловьев*, Соч., ст. 1119.

не в воздействии абстрактных внешних сил, а в самом историческом процессе, взятом в его органической целостности. Эту мысль Соловьев попытался изложить по-своему в не раз цитированных нами «Исторических письмах»: «Если одно начало усиливается, то это происходит необходимо вследствие слабости других начал... историк не имеет права, бросивши то, что действует и своим действием объясняет нам все в прошедшем и настоящем, обратить внимание преимущественно на то, что находится в бездействии или действует слабо, развивается медленно... обязанность историка показать причины, почему одно начало действует на первом плане, а другие действуют слабо, медленно... здесь обязанность его оканчивается, ибо этим он вполне освещает настоящее, как результат прошедшего... историк, увлекшись каким-нибудь сочувствием, не смеет перемешивать явления по произволу, не смеет выставить на первом плане то, что на нем не находится, ибо настоящее сейчас же обнаружит фальшь: настоящее есть такая же поверка прошедшего, и, наоборот, как в арифметике вычитание поверяется сложением, сложение вычитанием» [1].

Эта система исторических воззрений Соловьева — как с ее сильными, так и с ее слабыми сторонами — нашла свое конкретное выражение в его «Истории России с древнейших времен».

Периодизация русской истории

В первой своей диссертации Соловьев в смене старых городов новыми искал органический принцип перехода от первого периода русской истории ко второму, от Киевской Руси к так называемому удельному периоду.

В своей докторской диссертации «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» Соловьев выступил с принципиальной критикой принятой периодизации русской истории. Он отбрасывает прежде всего термин «монгольский период», употребленный Погодиным в его истории, отрицает определяющую роль монгольского завоевания, принятого в качестве начала нового исторического этапа и у Щербатова, и у Шлецера, и у Карамзина. Соловьев видит в монгольском завоевании лишь внешнее событие, а периодизация должна определяться развитием органического содержания народной жизни. В силу этого он отвергает и другой распространенный термин — удельного периода. Понятие удела, как указывает Соловьев, хронологически выходит за рамки того периода, с которым оно обычно связывается; уделы известны и Киевской Руси еще с X в. С другой стороны, своим содержанием оно далеко не покрывает сложного комплекса отношений того второго периода, с которым его обычно связывают. Таким образом, он отбрасывает чисто юридическое понимание удельного периода и ищет для этого периода более реальной и содержательной характеристики, более общего и всеобъемлю-

[1] *Соловьев*, Соч., ст. 895.

щего принципа. Он находит его в развитии государственных отношений в борьбе родового и государственного начала. Соответственно и намечаются четыре отдельные периода в развитии государственной власти до конца XVI в. Первый период, от Рюрика до Андрея Боголюбского, характеризуется господством родового строя; второй период, от Андрея Боголюбского до Ивана Калиты, — период борьбы родового и государственного начала; в третий период, от Ивана Калиты до Ивана III, происходит объединение Руси вокруг Москвы; четвертый период, «до пресечения Рюрикова дома», завершается окончательным торжеством государственных отношений над родовыми, торжеством, «купленным страшной, кровавой борьбой с подыхающим порядком вещей» [1].

Законченную, систематическую характеристику русского исторического процесса Соловьев дал в Предисловии к первому тому «Истории России».

Развивая характеристику первоначального периода в истории Киевской Руси как периода родового быта, Соловьев отбрасывает идею «норманского периода», как перед этим он отбросил и идею монгольского периода: «При начале русского общества не может быть речи о *господстве* норманнов, о норманском периоде» [2]. Напротив, князья-норманны сами подчинились местному общественному строю, усвоили принципы родовых отношений.

«Через ослабление родовой связи между княжескими линиями, через их отчуждение друг от друга и через видимое нарушение единства Русской Земли приготовляется путь к ее собиранию, сосредоточению, сплочению частей около одного центра, под властью одного государя» [3].

Этот процесс был закреплен перенесением политического центра на север; изменениям, связанным с этим перемещением, была посвящена первая, магистерская диссертация Соловьева. Здесь Соловьев снова подчеркивает основное значение развития государственных отношений и внешнюю второстепенную роль татар в этом процессе. Иван IV завершает этот период русской истории. XVII и половина XVIII в. составляют по существу третий период — период вступления России в систему европейских государств. При этом Соловьев еще раз возвращается к своей основной идее об органичности исторического развития, определившего деятельность Петра, а не определяемого ею: «Преобразователь воспитывается уже в понятиях преобразования, вместе с обществом приготовляется он итти только далее по начертанному пути, докончить начатое, решить нерешенное. Так тесно

[1] *Соловьев*, История отношений между русскими князьями Рюрикова дома, 1847, стр. VI.
[2] *Соловьев*, История России, кн. 1, ст. 2.
[3] Там же, ст. 3.

связан в нашей истории XVII век с первой половиной XVIII; разделять их нельзя» [1].

С середины XVIII в. начинается последний, новый период русской истории; его завершением должны были явиться реформы 60-х годов.

Так в общей схеме отражается двойственность исходной теоретической позиции. В своих внешних проявлениях она остается историей Русского государства, в своем внутреннем содержании она значительно выходит за эти первоначальные внешние рамки.

Киевская Русь. Теория родового быта

В общей исторической схеме первый период русской истории определяется господством родового начала. Раскрытие истории России в последовательном органическом развитии общественных отношений Соловьев начинал с господства примитивных догосударственных отношений, с первобытных форм общежития, устанавливая в истории России последовательное восхождение от низших форм общежития к высшим, отвергая всякую идеализацию нашей древней истории, которую по-своему пытались возродить славянофилы. В родовом быте Соловьев видел единство исторического развития России с Западом.

Понятие родового строя как исходного момента в развитии государственных отношений заимствуется им, с одной стороны, непосредственно у Гегеля и у русских гегельянцев (Грановский, Кавелин), с другой стороны, по своему конкретному содержанию оно примыкает к работе Эверса «Древнейшее право руссов». Поэтому, как и у Эверса, родовой строй выступает прежде всего как система междукняжеских отношений, и в его конкретизации мы снова сталкиваемся с той двойственностью и противоречивостью, которую Соловьеву так и не удается преодолеть. Как система междукняжеских отношений единство княжеского рода сообщает Киевской Руси недостающее его народной жизни политическое единство.

Впрочем, и этому вопросу Соловьев старается придать более реалистическое, конкретно-историческое содержание. Ключевский в теории лествичного восхождения искал законченной юридической формулы, которая должна была определить все отношения князя к земле, твердый порядок замещения каждого княжеского стола отдельными представителями княжеского рода. Соловьев понимал, что историческая действительность не укладывается в эти юридические схемы, что конкретные вопросы княжеского владения решались в конечном счете реальной вооруженной силой, княжескими междоусобицами, в которых активное участие принимали местные силы. Его теория родовых отношений между князьями оставляла место для действия реальных внутренних сил; внимание историка к живой ткани событий и здесь внесло

[1] *Соловьев*, История России, кн. 1, ст. 10.

корректив в общую схему. Переход к реальным отношениям был найден в формуле родовых отношений: власть принадлежала княжескому роду, поэтому каждая земля считала обязательной признание власти представителя этого рода, но не чувствовала себя связанной в выборе этого представителя, в замене одного члена Рюрикова рода другим его членом.

Вместе с тем у Соловьева уже есть тенденция связать родовое начало как систему междукняжеских отношений с общественными отношениями. Отношения родового строя являются для него явлениями общественного быта, который в свою очередь влияет на систему междукняжеских отношений. Они вытеснили здесь то дружинное начало, которое было занесено на Русь князьями-варягами.

Родовые отношения, как явление общественного строя, должны были объяснить и принцип старейшинства городов Киевской Руси и господствующее в них вечевое начало. «Семейные славянские понятия, отразившиеся на отношениях князей, отразились также и на отношениях городов, вследствие чего города новопостроенные вошли к древним в отношение младших к старшим, т. е. должны были находиться в воле последних» [1].

Теория господства родового строя в общественных отношениях Киевской Руси вызвала решительную полемику со стороны славянофилов, противопоставивших роду общину. В своей критической части отдельные возражения славянофилов были правильны.

Но надо иметь в виду, что у Соловьева понятие рода как явления общественного строя далеко не отличается той четкостью, единством содержания, которое обычно приписывали этому понятию историки вслед за его оппонентами из славянофильского лагеря. Прежде всего в его представлении понятие рода, как это справедливо подметил уже К. Аксаков в своей полемике с Соловьевым, в значительной мере сливается с семьей в более широком представлении о кровном союзе. А если вчитаться, например, в его статью «Начала Русской земли», то окажется, что в характеристику родовых отношений Соловьев включил фактически и явления общинного строя.

С другой стороны, в общей концепции Соловьева действие родовых отношений не исчерпывается периодом Киевской Руси. Оно прослеживается и на следующем этапе, переживая определенную историческую эволюцию, пополняясь новым историческим содержанием. В борьбе с остатками родового начала утверждается самодержавие в XVI в., при Иване IV. Из эволюции родовых отношений выводится система местничества как реализация политических притязаний боярства [2].

[1] *Соловьев*, Об отношениях Новгорода к великим князьям, М. 1845, стр. 26.

[2] См. *Соловьев*, О местничестве, «Московский литературный и ученый сборник», М. 1847.

Но при этом понятие родовых отношений фактически отражало уже совсем иные отношения — явления феодальной раздробленности. Это сближение проводится самим Соловьевым в «Истории России». Подводя итоги периоду 1228—1462 гг., Соловьев писал: «Новые европейские государства разделяются на две группы: на группу государств германских и на группу государств славянских; в первых мы видим господство так называемых феодальных отношений, во вторых, и преимущественно в России, — видим господство родовых княжеских отношений». «Феодальная цепь на Западе и родовая связь на Востоке кажутся так слабы, так ничтожны при страшной борьбе материальных сил, и, несмотря на то, благодаря известной экономии человеческих обществ, эти две нравственные связи, нравственные силы так могущественны, что в состоянии охранить государственное единство; несмотря на частные нарушения обязанностей — феодальных на Западе, родовых на Востоке — вообще эти связи признаются безусловно... феодализму на Западе и родовым отношениям на Востоке бесспорно принадлежала опека над новорожденными европейскими обществами в опасный период их младенчества» [1].

Теория родового строя была взята Соловьевым из государственной схемы и противоречила действительному развитию общественных отношений: в рассматриваемый Соловьевым период родовые отношения уже сменились территориально-племенной организацией, русские земли переходили к системе государственных отношений классового феодального общества. Схема заслоняла от него эти явления.

Перед лицом этих противоречий Соловьев попытался раздвинуть рамки схемы и приблизиться к реальной действительности. Это создало крайнюю противоречивость тех понятий, которыми Соловьев характеризует Киевский период русской истории. Но его заслуга состояла в том, что он подметил сложность самых явлений и остановил на них внимание исследователя.

Северо-восточная Русь

И далее Соловьев шел от первоначальной давнишней схемы периодизации русской истории, связывая начало нового периода с внешним фактом политической истории — с перенесением столицы в Северо-восточную Русь, во Владимир. Перемещение исторической арены, изменения географической среды, природных условий должны были объяснить внутренние изменения исторической жизни, определившие новый период истории России. Идеалистическая историческая теория не могла определить действующие силы исторического развития и законы общественной жизни. Но Соловьев наполняет старую схему новым содержанием. За внешним фактом территориального перемещения он ищет конкретные изменения самой народной жизни, внутренней организации.

[1] *Соловьев*, История России, кн. 1, ст. 1342—1343.

В первой диссертации «Об отношениях Новгорода к великим князьям» новый период характеризуется борьбой старых городов с новыми; борьбой вольных вечевых городов Киевской Руси, к которым принадлежал и Новгород, пользующихся «старшинством» в волости независимо от князя и отстаивающих свои собственные права по отношению к князю, — с новыми княжескими городами, представлявшими уже личное владение князя, его собственность. В этой связи проблема новых городов превращалась в частный случай более общего, определяющего начала, характеризующего новый период в целом, — начала собственности, вотчинного (т. е. наследственного) владения. Эта формулировка дана Соловьевым уже в его исследовании «Об отношении Новгорода к великим князьям». Ее основное положение состоит в том, что в Северо-восточной Руси «собственность господствует над родовыми отношениями», «понятия собственности, наследственного владения, начали господствовать над понятиями семейными» [1].

Это же положение дается и во второй диссертации Соловьева: «Понятие... об отдельной собственности явилось на севере вследствие преобладания там городов новых, которые, получив свое бытие от князя, были его собственностью» [2].

«Исход борьбы между старым городом и новыми имел решительное влияние на дальнейший ход событий», — повторяет Соловьев и в тринадцатом томе «Истории России» [3]. И здесь это связывается с торжеством понятий «мое, собственность». Андрей Боголюбский «первый пример привязанности к своему, особому, первый пример оседлости... и отсюда начинается новый порядок вещей» [4].

В этой характеристике необходимо прежде всего остановиться на ее основном элементе — начале собственности, оседлости. При определенной его ограниченности оно все же выводит нас за рамки чисто политических отношений и вводит в систему отношений общественных. Правда, в нем еще заметно преобладают юридические понятия, прежде всего проблема землевладения, но оно включает уже и представление о землевладельческом вотчинном хозяйстве, о складывании нового хозяйственного типа, впоследствии так ярко и образно охарактеризованного Ключевским.

Разойдясь с обоими теоретиками государственной школы в понимании вотчинного владения, Соловьев отделяет понятие вотчинных отношений как отношений землевладельческих от понятия государственных отношений. Вотчинные отношения землевладения не покрывают собой отношений государственных, а лишь составляют материальную основу, условия развития последних:

[1] *Соловьев*, Об отношениях Новгорода к великим князьям, стр. 32, 35.
[2] *Соловьев*, История отношений между русскими князьями Рюрикова дома, стр. V.
[3] *Соловьев*, История России, кн. 3, ст. 642.
[4] Там же, ст. 641.

вотчинное владение князя, его господство в новых городах составляет материальную опору его борьбы за укрепление и расширение его политической власти в условиях одновременного ослабления и упадка старых городов, также связанного с развитием новых общественных отношений. Здесь основа развития государственных отношений, и Соловьев ставит проблему непосредственного перехода от старых родовых, т. е. догосударственных, отношений к отношениям государственным.

Иную периодизацию в разрезе политической истории давали Кавелин и Чичерин. Они различали три этапа: период родового строя, период вотчинного строя и лишь после него переход к государственному строю. Последний, по Чичерину, лишь начинается с Петра I, Кавелин прослеживает элементы его зарождения с Ивана IV, но также относит его утверждение к эпохе Петра. Отожествляя общее понятие государственного строя с понятием современного централизованного государства, Кавелин и Чичерин отодвигали самый переход к государственному строю к очень позднему времени и в то же время превращали вотчинный строй в особый суррогат государственной организации, в систему господства частноправовых отношений в политическом строе.

Соловьев в конкретном изучении исторических событий подходил к пониманию реального процесса постепенной победы новых отношений над старыми, — по его определению, государственных над родовыми. С этой точки зрения и рассматривается им развитие государственного строя в «Истории отношений между князьями Рюрикова дома» как борьба «за собственность и за государственные отношения против родовых», «борьба государственного начала с родовым началом», наконец, «окончательное торжество государственных отношений над родовыми» [1]. «Родовые княжеские отношения должны уступить место единовластью»[2],—так определяется положение Московской Руси XV в. в «Истории России».

Итак, прежде всего отношения предшествующего периода, первоначальные родовые отношения, не исчезают сразу, а лишь постепенно уступают место в борьбе с новыми отношениями на протяжении второго периода. Вместо механического перехода от одного начала к другому Соловьев пытается показать динамику борьбы нового со старым, воспроизвести реальный процесс исторического развития. Именно в этом положительная сторона устранения Соловьевым особого вотчинного периода в его исторической схеме; содержание периода раскрывается, таким образом, не в формальном господстве вотчинного начала, а в борьбе двух политических систем.

---

[1] *Соловьев*, История отношений между русскими князьями Рюрикова дома, стр. IV, VI, X.

[2] *Соловьев*, История России, кн. 3, ст. 1343.

В изложении Соловьевым самой истории образования Московского государства ярко выделяются два момента, наглядно отражающие характер его подхода к историческим явлениям.

Первый вопрос — возвышение Москвы, исходный момент «собирания» Русской земли, конкретного процесса складывания Московского государства. Верный своей основной исторической концепции, Соловьев и здесь начинает с анализа географических условий возвышения Москвы. Понимание реального воздействия географического фактора у Соловьева и здесь значительно полнее и содержательнее, чем это дается в обычной передаче.

Москва — географический центр Северо-восточной Руси и «пограничное место между старою, Южною, и новою, Северною Русью» [1]. Результатом этого явилось то, что население сперва из южных княжеств, а потом из пограничных княжеств Северо-восточной Руси под давлением татарских набегов, внешней угрозы уходило оттуда и находило себе убежище в Московском княжестве. Оно находило себе убежище еще и потому, что политика московского князя была умнее: он умел ладить с Ордой, благодаря чему население Московского княжества меньше страдало от татарского гнета. Отсюда бóльшая густота населения в Московском княжестве, а отсюда и больше богатств, больше реальных сил у московского князя.

Центральное положение Москвы имело и другое значение: оно делало Москву посредницей в торговых отношениях между княжествами, между Востоком и Западом. Эта торговая роль Москвы вела к накоплению средств у московского князя. В результате— рост внутренних ресурсов, рост влияния московского князя и тяготение к нему остальных княжеств.

Сильная сторона концепции Соловьева состояла в том, что источник государственного объединения вокруг Москвы он ищет прежде всего в объединении народа и в ресурсах народной силы, вместо того чтобы сводить все объединение к субъективному моменту счастливых свойств московских князей — «собирателей», как это делал до Соловьева Карамзин, как после него изображали этот процесс многие представители буржуазной историографии.

Наличие материального исторического фактора — возвышения Москвы—явилось реальной основой для снятия внешнего фактора, привлекавшегося для его объяснения, — татарского ига. «Москва обязана своим величием ханам», — писал в свое время Карамзин. С этим положением не сумел разделаться и Погодин, к нему вернулся Чичерин и за Чичериным пошел Ключевский. Отбросив это положение, Соловьев впал, впрочем, в другую крайность: значительно преуменьшая тягость татарского ига, он тем самым

[1] *Соловьев*, История России, кн. 1, ст. 1119.

принижал и роль народной борьбы с господством Золотой Орды [1]. Но Соловьев первый указал на необходимость искать реальную внутреннюю основу возвышения Москвы, совершавшегося помимо и вопреки татарской политике. При этом, вопреки обычной трактовке, Соловьев отнюдь не дает полного отожествления вопроса развития государственного строя Северо-восточной Руси с вопросом возвышения Москвы. В этом смешении, может быть, больше, чем сам Соловьев, повинны его продолжатели, которые шли скорее от самого изложения этого процесса у Соловьева, чем от его общих принципиальных установок.

По-иному поняв процесс складывания Московского государства, Соловьев иначе, чем предшествующие историки, подошел и к оценке его решающего поворотного момента в XVI в. — политики Ивана IV, опричнины. Для дворянской историографии, для Щербатова или Карамзина, опричнина, борьба Ивана IV с боярством лишена вообще какого-либо реального исторического смысла; это продукт патологического психического состояния самого Ивана IV, разрыв царя с его мудрыми советниками, источник неисчислимых бедствий. На этой точке зрения оставался и Погодин. Кавелин первый давал уже иную оценку политики Ивана IV, но при этом Иван IV и в его понимании отражает лишь первые зародыши нового, лишь «мечту» о государстве, — мечту, для осуществления которой еще не созрели реальные условия. Поэтому и в опричнине он видит в конечном счете лишь месть за понесенную неудачу.

У Соловьева опричнина Ивана IV — не начало, а завершение длинного периода борьбы за торжество государственного начала. Смысл опричнины именно в том и состоял, что почва для разгрома боярства была исторически подготовлена. Опричнина была последним решающим ударом. В «Истории России» Соловьева опричнина выступала впервые как акт сознательной и исторически оправданной политической деятельности; в ее оценке существо отделялось от уродливых внешних форм, порожденных условиями эпохи. Эти мысли Соловьева получили свое дальнейшее развитие в буржуазной историографии только у Платонова и еще, пожалуй, косвенно отражены в схеме Павлова-Сильванского. И здесь значительная часть последующих историков, прежде всего Ключевский, делают шаг назад по сравнению с Соловьевым.

Петр I и «эпоха преобразований»

Последним этапом в поступательном движении русской истории, разрабатываемым Соловьевым, является царствование Петра I, «эпоха преобразований». Предисловие к первому тому подчеркивало идею органичности реформы, — «преобразователь воспитывался уже в духе преобразования», — идею «тесной связи в нашей истории XVII в. с первой половиной XVIII». Постепенно место Пет-

[1] Ср. *Соловьев*, История России, кн. 1, ст. 1219.

ровской реформы в концепции Соловьева все возрастает, превращаясь в основной центр, в стержень всего русского исторического процесса, в своеобразный узел и разрешение всего его содержания. Эта тема особенно занимает Соловьева в последних литографированных курсах его лекций по мере все усиливающейся у него социологизации истории.

И в постановке этого вопроса Соловьеву не удалось уйти от известной двойственности. В его концепции то и дело прорывается мысль о великой личности, направляющей ход исторического развития. Эта мысль особенно отчетливо выступает в четырнадцатом томе «Истории России», в сравнении «нашей революции начала XVIII в.» с французской революцией 1789 г.: «В России один человек, одаренный небывалою силою, взял в свои руки направление революционного движения, и этот человек был прирожденный глава государства» [1].

И в «Публичных чтениях», где идея внутренней обусловленности преобразования проведена резче и последовательнее, сохраняются элементы этой оценки Петра I: «Народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; — вождь явился» [2].

В конечном итоге, как уже отмечалось выше, личное начало подчинялось идее общей закономерности развития народной жизни: Петр I «является вождем в деле, а не создателем дела, которое потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру», — пишет Соловьев в четырнадцатом томе «Истории России» [3]. Идея исторической обусловленности Петровской политики, ее внутренней органичности является основной идеей концепции Соловьева: «Последователи исторического направления, — писал он, — тесно связывают обе половины русской истории — допетровскую и послепетровскую; в явлениях последней видят результаты явлений первой» [4].

В этом отношении особенно интересно одно положение схемы Соловьева, в котором эта схема отделяется от всей последующей буржуазной историографии. В период переоценки ценностей, наступающей для буржуазии перед лицом борьбы рабочего класса за пролетарскую революцию, буржуазная литература начинает последовательно снижать историческое значение Петровских преобразований и роль самого Петра как преобразователя. Ключевский и особенно решительно Милюков подчиняют всю политику реформ требованиям, порожденным войной; по Милюкову, вся реформа совершается случайно и по́ходя, без системы и продуманной цели, для нужд одной войны. Соловьев разрешает этот вопрос со всей последовательностью органического понимания

[1] *Соловьев*, История России, кн. 3, ст. 1055.
[2] *Соловьев*, Соч., ст. 1001.
[3] *Соловьев*, История России, кн. 3, ст. 1055.
[4] *Соловьев*, Соч., ст. 1593.

реформы. «Война входила в общий план преобразования, как средство для достижения ясно сознанных, определенных целей этого преобразования, входила в общий план, как школа, дававшая известное приготовление народу, приготовление, необходимое в его новой жизни, новых отношениях к другим народам» [1].

Трактовка Петровских реформ является в известной мере пробным камнем для характеристики идеологических позиций историков; их трактовка Соловьевым характеризует прогрессивность его исторических взглядов.

Вопросы народной борьбы и истории народов

Эта полнота исторической трактовки, однако, была возможна для Соловьева лишь до тех пор, пока развитие государственной деятельности соответствовало поступательному ходу исторического процесса. В этих пределах Соловьев дает более полное освещение исторической действительности, чем это могли сделать предшествующие историки, и даже полнее, пожалуй, чем кто-либо из последующих историков буржуазного лагеря.

Но там, где государство вступало в конфликт с народом, Соловьев уже не может раскрыть закономерность развития в столкновении этих двух начал; он отбрасывает и не хочет видеть всего того, что идет в конфликте с государственным началом. В его понимании исторического развития России находит законное место Петр с его реформами, но нет места для народной борьбы, для народных восстаний. Между тем завершение в XVI в. ликвидации феодальной раздробленности и переход к феодальному абсолютизму сопровождались дальнейшим развитием классовых противоречий в народной жизни, в условиях которой поднималась активная борьба против феодальной системы отношений. Борьба угнетенных классов выливается в ряд народных движений, начиная с крестьянской войны начала XVII в., за которой в XVII в. следуют городские движения и восстание под руководством Разина, раскол как общественное движение, затем крестьянские войны XVIII в.—Булавин и Пугачев. Для всего этого нет надлежащего места в концепции органического развития, последовательного прогресса, который изображается Соловьевым.

В трактовке Соловьева народное движение это — анархия, бунт. Казачество, это — праздная масса, отказывающаяся от всякого труда, «охотники до гулянья». В этой связи история московского периода превращается в историю борьбы государственного начала с антигосударственным, анархическим началом казачества. «Казачество усиливалось на счет государства, вытягивая из последнего служебные и производительные силы. Государство, усиленное при Петре личностью государя и нуждаясь в служебных производительных силах для собственных целей, не могло позво-

[1] *Соловьев*, Соч., ст. 1060.

лить казачеству похищать у себя эти силы» [1]. Уход в казачество означал отказ от тягла. В теории закрепощения и раскрепощения сословий государственной школы тягло есть обязательная повинность, наложенная в равной мере на все сословия русского общества в интересах укрепления государства. Поэтому отказ от тягла становится отказом от общенародной повинности и представляется, таким образом, как простой бунт ленивого человека, направленный против общегосударственных и общенародных интересов.

История народных движений, история народов, входивших в состав Русского государства, не могла получить место в тесных рамках государственной концепции. Буржуазно-националистический подход приводил к торжеству государственной теории в вопросе истории народов, входивших в состав России. История народов лишается всякого самостоятельного содержания и значения, превращается из субъекта в объект исторического процесса. Отдельные народы появляются в изложении историка лишь тогда, когда возбуждается вопрос об их политическом подчинении.

Так, лишь в XVII в. перед автором реально возникает вопрос об украинской истории в связи с борьбой Русского государства за украинские земли. Даже история Литовско-русского государства не получила соответствующего места в «Истории России» Соловьева, остающегося последовательно верным единству своей политико-исторической темы. Верный принципу государственного начала, Соловьев и здесь резко отмежевывается от широкого народного движения украинского казачества. Впрочем, в этих тесных пределах работы Соловьева в силу самой общей основы научного подхода к материалу все же сохраняют свое научное значение. Тщательная обработка нового, ранее нетронутого исторического материала, архивных источников, не охваченных даже последующей публикацией Археографической комиссии, широта подхода к теме, в которой делается попытка вскрыть реальную связь со всем комплексом внешних и внутренних отношений рассматриваемого периода, — все эти характерные черты научной системы Соловьева находят полное отражение в его «Истории».

Еще меньше, чем Украина, отражена в «Истории» Соловьева история других народов России. Их национальная борьба против политики царизма, в плане той же единой государственной темы, воспринимается лишь как антигосударственное начало.

Специальные исследования

Эпохой Петра I фактически заканчивалась основная часть «Истории России», — та часть, в которой Соловьев реализовал принципы своей научной системы, пытаясь раскрыть действительный целостный

[1] *Соловьев*, История России, кн. 3, ст. 1472.

исторический процесс. Дальнейший период Соловьев уже не мог дать в том же целостном законченном рассмотрении. Чем дальше, тем больше усложнялись общественные отношения, тем сложнее становилась и задача раскрытия внутренних связей, которыми определялось их развитие, тем труднее становилось и подведение их под формальное понимание государственного начала. Эту трудность отмечал Ключевский. А между тем именно здесь Соловьеву приходилось уже полностью поднимать целину. По XVIII в. отсутствовали не только научные исследования, но даже серьезные публикации источников; здесь не было и такого сводного источника, как летопись, а Полное собрание законов — этого также не следует забывать — было плодом XIX в.

Здесь Соловьев впервые поднимал нетронутые груды материалов, и неслучайно разделы послепетровской истории, особенно годы царствования Екатерины II, нередко носят характер лишь первоначального свода материалов, так что один том соответствует одному-двум годам царствования Екатерины. В таких условиях обобщить материал было трудно. Но такая работа, как «История падения Польши», показывает умение даже в этом неразработанном еще периоде объединить разнородные элементы и дать их в органическом синтезе.

«История падения Польши» — единственная история внешней политики этого периода, где историку удалось дать понимание внутренней связи явлений, взять западную политику России не в отрыве, а в органической связи с ее восточной политикой, с борьбой на Черном море, взять не только связь этих двух направлений внешней политики, но показать ее связь с внутренней политикой самой Польши; наконец, включить ее в общую связь с внешней политикой Европы того времени. Этот учет всех элементов, понимание целого во всем его многообразии, во всех его частях и является одним из основных свойств научной мысли Соловьева.

В «Истории падения Польши» Соловьев правильно наметил основную линию ее внутреннего развития, процесс разложения шляхетской Польши, определившийся в итоге банкротства ее внутренней и внешней политики XVI—XVII вв.; он правильно отметил и национальные противоречия внутри Речи Посполитой. Но при этом национальной и религиозной идеей он прикрывал реакционную сущность политики русского царизма, смысл второго и особенно третьего раздела Польши как политики создания плацдарма в борьбе против французской революции. Начав с правильной мысли о разрыве между политикой шляхетской Польши и интересами польского народа («народ был нем»), он с полным пренебрежением прошел мимо народного движения, которое поднялось в Варшаве в 1794 г. и в котором получили известный отголосок идеи французской революции.

В общем комплексе научных исследовательских работ Соловьева

особо выделяется группа его историографических исследований. Все основные историографические работы: «Русские писатели XVIII в.», «Н. М. Карамзин и его «История государства Российского», «Август-Людвиг Шлецер», «Шлецер и антиисторическое направление», относятся к середине 50-х годов.

Эти работы Соловьева кладут начало разработке русской историографии. Соловьев подвел итог исторической работе XVIII в., закончив свои историографические очерки рассмотрением «Истории государства Российского» Карамзина. Подводя итоги прошлому, Соловьев искал уяснения направления задач современной ему исторической мысли, историографического обоснования своей научной позиции. Этому вопросу посвящена его статья «Шлецер и антиисторическое направление». В полемике с славянофилами Соловьев отстаивал принцип историзма в историческом исследовании. «Последователи исторического направления с глубоким вниманием и сочувствием следят за строением великого здания; замечают, как участвует в этой постройке каждый век, каждое поколение, что прибавляет к зданию прочного, остающегося; участие к строителям, к передовым людям в деле создания усиливается при виде тех страшных препятствий, с которыми они должны были бороться» [1].

Значение Соловьева в русской историографии

Научная деятельность Соловьева оставила исключительно глубокий след в русской исторической науке. От нее в той или иной мере исходили и современники Соловьева и вся последующая буржуазная историография. Через 25 лет после его смерти, в 1904 г., В. О. Ключевский, превратившийся в руководителя исторической школы, говорил: «29 томов его «Истории» не скоро последуют в могилу за своим автором. Даже при успешном ходе русской исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев: исследователи долго будут их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам» [2].

Ключевский, пытаясь в своем изучении усилить освещение экономики и социальных отношений, шел за государственной теорией Соловьева — Чичерина в общих контурах своей схемы и в трактовке основных ее вопросов: такова яркая характеристика вотчинного строя в «Боярской Думе» и во втором томе «Курса русской истории»; такова в известной мере и трактовка возвышения Москвы; от Соловьева шел Ключевский и в общей трактовке деятельности Петра Великого. В этом смысле продолжением школы Соловьева являлась в известной мере и вся школа Ключев-

[1] *Соловьев*, Соч., ст. 1615.
[2] *Ключевский*, Очерки и речи, М. 1913, стр. 40.

ского. Принцип органического развития, связь истории России с историей Западной Европы выделял как заслугу Соловьева лучший представитель младшего поколения буржуазных историков Н. П. Павлов-Сильванский, в трактовке Петровских реформ он шел от Соловьева. Из шестого тома «Истории России» Соловьева выросла трактовка XVI в. и опричнины Грозного в исследованиях Платонова.

Но в условиях нараставшего кризиса буржуазной исторической науки и победы марксизма в конце XIX в. буржуазные и мелкобуржуазные историки обращаются к наиболее слабым сторонам научной мысли Соловьева.

Игнорируя закономерность исторического развития, обернувшегося против буржуазии, против общественного строя, основанного на капиталистической частной собственности, они используют у Соловьева формальную схему, которая связала его с государственной школой. Эту схему воспроизвел и значительно усилил Милюков. Ее воспроизвел и Плеханов в «Истории русской общественной мысли».

Сила Соловьева была в том, что теория органического развития, историзм, все-таки брали в нем верх над условной схемой государственной теории. Именно поэтому слова Ключевского об историческом значении трудов Соловьева и сейчас, через 35 лет, все еще остаются в силе. Произведения Соловьева сохраняют значение именно своим историзмом. Рассмотрение исторической действительности во всей ее конкретности, основанное на исключительном чувстве живой исторической действительности, «живая жизнь» [1], получает свое полное обоснование и раскрытие на твердом основании научной методологии исторического материализма. В рамках буржуазной исторической науки Соловьев ближе всех подошел к его реализации на всем протяжении изученного им периода. В таких крупнейших исторических вопросах, как история возвышения Москвы, как утверждение самодержавия при Иване IV, как преобразовательная деятельность Петра I, — труд Соловьева является в известной мере последним словом буржуазной исторической науки.

Наконец, «История России» является действительно монументальным сводом огромного, научно проверенного исторического материала. Это тоже было плодом научного историзма Соловьева: нельзя же серьезно противопоставлять в Соловьеве историка-собирателя историку-ученому.

К Соловьеву как нельзя лучше приложимы слова, сказанные им самим в речи на столетнем юбилее Карамзина: «Каждому дню его забота, каждому веку его труд; нашему времени завещано собрать воедино все части русской истории, найти их смысл и примирить все эпохи».

---

[1] *Ленин*, Философские тетради, стр. 91.

ГЛАВА 20

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (60—80-е годы)

Классики марксизма-ленинизма: *Ленин*, Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Соч., т. I, стр. 51 — 222. — *Его же*, Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе), Соч. т. I, стр. 223—362. — *Его же*, К характеристике экономического романтизма, Соч., т. II, стр. 5—115. — *Его же*, От какого наследства мы отказываемся? Соч., т. II, стр. 303—338. — *Его же*, Развитие капитализма в России, Соч., т. III, стр. 1—477. — *Его же*, Рабочая партия и крестьянство, Соч., т. IV, стр. 100—106. — *Его же*, Гонители земства и Аннибалы либерализма, Соч., т. IV, стр. 119—157. — *Его же*, «Крестьянская реформа» и пролетарско-крестьянская революция, Соч., т. XV. стр. 141—148. — История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Под ред. комиссии ЦК ВКП(б), Политиздат при ЦК ВКП(б), 1941.

Основная историографическая литература: *Плеханов, Г. В.*, Наши разногласия; в кн.: Сочинения *Г. В. Плеханова*, т. I, Гос. изд-во, Птг. 1920, стр. 159—381. — *Его же*, Русский рабочий в революционном движении (по личным воспоминаниям), Соч., т. III, стр. 122—207. — *Вайнштейн, О. Л.*, Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней, Соцэкгиз, М.—Л. 1940. — *Fueter, Ed.*, Geschichte der neueren Historiographie, 3-te verm. Aufl., München—Berlin, Oldenburg 1936 (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, Abt. 1). — *Барт, П.*, Философия истории, как социология, пер. с нем. М. С. Моделя, Спб. 1902. — *Тимирязев, К. А.*, Пробуждение естествознания в третьей четверти века; в кн.: История России в XIX веке, т. VII, изд. Гранат, Спб. (б. г.), стр. 1—30. — *Овсянико-Куликовский, Д. Н.*, Литература 70-х гг.; там же, т. VII, стр. 30—71. — *Неведомский, М.*, 80-е и 90-е годы в нашей литературе; там же, т. IX, стр. 1 — 116. — *Омелянский, В. Л.*, Развитие естествознания в России в последнюю четверть века, там же, т. IX, стр. 116—144. — *Кузнецов, Б. Г.*, Очерки истории русской науки, Акад. наук СССР, М.—Л. 1940. — *Кирпотин, В.*, Радикальный разночинец Д. И. Писарев, «Прибой», Л. 1929.

Экономические и социальные сдвиги

С отменой крепостного права происходит довольно быстрое развитие промышленного капитализма. В своих письмах Николаю — ону в 1892 и 1893 гг. Энгельс указывал, что с освобождением крестьян для России наступила капиталистическая эра[1]. «На смену крепостной России шла Россия капита-

[1] См. *Маркс* и *Энгельс*, Письма, изд. 4-е, М.—Л. 1932, стр. 320—327.

листическая»[1], — писал Ленин, оценивая реформы 1861 г. «Если бросить общий взгляд на изменение всего уклада российского государства в 1861 году, — писал он там же, — то необходимо признать, что это изменение было шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную монархию. Это верно не только с экономической, но и с политической точки зрения»[2].

Но особенность «переворота», совершившегося в 1861 г. в России, заключалась в том, что формирование капиталистических отношений в России прошло до этого длительный путь развития в недрах феодального общества, капиталистический уклад сложился уже в середине XVIII в. и успел далеко распространиться вширь и вглубь под оболочкой феодально-крепостнической системы. Отражением этого развития было развитие буржуазной идеологии и в связи с этим буржуазной исторической науки, давшей именно в первой половине XIX в., в период подъема буржуазного движения, своих наиболее выдающихся представителей, как Соловьев, Грановский. Но утверждение буржуазного строя в России осуществлялось в условиях напряженной революционной борьбы, развивавшейся в недрах самого буржуазного общества. Перед лицом раскрывающихся новых классовых противоречий русская буржуазия уже в период реформы переходила на консервативные позиции, шла на соглашение с помещичье-дворянским классом. Это определило в значительной мере половинчатость реформы, крепостнические черты ее содержания. Именно отсюда экономическая отсталость пореформенной России, которую окончательно ликвидировал лишь победивший в России пролетариат.

«...Россия, несмотря на развитие в ней капитализма, была страной аграрной, отсталой в экономическом отношении, страной мелкобуржуазной, то-есть такой, в которой преобладало еще мелко-собственническое, малопроизводительное единоличное крестьянское хозяйство»[3].

Создавшееся положение определило сложность и противоречивость общественного строя. Ленин писал, что народничество явилось отражением «...массовой *мелкобуржуазной* борьбы капитализма демократического против капитализма либерально-помещичьего, капитализма «американского» против капитализма «прусского»[4]. Союз с помещиком, с дворянством, с одной стороны, борьба с «капитализмом демократическим», с другой стороны, определило то на первый взгляд парадоксальное положение, в силу которого русская буржуазия в самый момент отмены крепостничества оказалась фактически на консервативных позициях. Западник Кавелин объединялся с славянофилом Кошелевым,

[1] *Ленин*, Соч., т. XV, стр. 109.
[2] Там же, стр. 96.
[3] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 7.
[4] *Ленин*, Соч., т. XIV, стр. 214.

либерал Катков превращался постепенно в идеолога реакционной политики Александра III. Утверждение буржуазных отношений явилось одновременно и началом кризиса буржуазной идеологии, отказа от творческих и прогрессивных идей периода подъема, что ярко отразилось уже в отмеченной выше эволюции Кавелина и Чичерина.

Передовое революционное движение, определяющее поступательное развитие общественной мысли, связано с другой социальной средой, представлено другими классовыми силами. Это период широкого революционного подъема крестьянского движения сначала в борьбе за реформу, потом в борьбе с крепостнической практикой реформы.

В 60-е годы налицо еще только стихийное движение мелкобуржуазной крестьянской массы — «это не была еще сама буря». Отсюда и революционеры 60-х годов — это прежде всего «...революционеры, стоявшие на стороне крестьянства...» [1]

Крестьянскими революционерами, представителями «мужицкого демократизма», по выражению Ленина, явились в конце 50-х и в начале 60-х годов великие русские просветители — Чернышевский и Добролюбов. В крестьянстве на этом этапе воплощалась сила подлинно народного, демократического революционного начала; это был период «...когда мелкобуржуазный характер крестьянского хозяйства совершенно еще не обнаружился...»[2] Именно в этом представительстве широких народных интересов сила просветителей в отличие от последующего народничества.

Дальнейшее развитие капиталистических отношений вело к разложению крестьянства — процессу, так ярко показанному Лениным в его работе «Развитие капитализма в России». Этот процесс раскалывал крестьянство на две части: через пролетаризацию и революционизирование ее главной массы и последовательное выявление буржуазной сущности ее кулацкой верхушки. Другой стороной этого же процесса было оформление и рост рабочего класса, пролетариата. Его выступление на историческую арену в 70-е годы блестяще охарактеризовал Плеханов в своей работе «Русский рабочий в революционном движении». Народничество игнорировало это растущее противоречие, укрывалось от действительного хода исторического развития старым понятием народа, тем самым затушевывало действительные классовые противоречия и закрепляло свою собственную мелкобуржуазную сущность, чуждую последовательному демократизму и революционности просветителей. С другой стороны, выступала русская социал-демократия, партия рабочего класса, стоявшая на базе этого растущего противоречия, на базе действительного

[1] *Ленин*, «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция, Соч., т. XV, стр. 143.

[2] *Ленин*, Экономическое содержание народничества, Соч., т. I, стр. 272.

хода исторического развития. Группа «Освобождения труда», возглавлявшаяся Г. В. Плехановым, положила начало распространению марксизма в России. Путь развития революционной идеологии в пореформенной России Ленин охарактеризовал в своей работе «От какого наследства мы отказываемся?»

«Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо не замечает свойственных ему противоречий. Народник боится данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия. «Ученик» верит в данное общественное развитие, ибо он видит залоги лучшего будущего лишь в полном развитии этих противоречий» [1].

Период 60—80-х годов и был периодом последовательного раскрытия и осознания этих противоречий. В этих условиях буржуазия фактически теряет свою ведущую роль в процессе общественного развития и переходит на консервативные позиции. Мелкобуржуазная стихия в России, где «...двойственность [мелкой буржуазии] особенно сильна вследствие меньшей развитости антагонизма мелкой и крупной буржуазии» [2], внутренно распадается и выявляет буржуазную идейную основу мелкобуржуазных идеологов-народников. Наконец, формируется рабочий класс как класс, определяющий содержание дальнейшего творческого развития научной и общественной мысли на следующем историческом этапе.

Отсюда назревание идейного кризиса буржуазной общественной и научной мысли на этом этапе, захватывающего и мелкобуржуазную идеологию народничества. Последнее оказалось неспособным развить революционное наследие просветителей; оно отразило попятное движение буржуазной научной мысли в принципиальной идеологической порочности своих теоретических основ. Лишь в просветительстве 60-х годов были заложены действительные творческие элементы, последовательное раскрытие которых становилось возможным только на исходе рассматриваемого периода в развитии марксизма в России. Завершая развитие буржуазной научной мысли, эта эпоха в то же время закладывает фундамент новой, марксистской науки. Историографическое значение эпохи заключается в значительной мере именно в этом раскрытии внутренних противоречий.

Эти внутренние сдвиги закреплялись идеологическими влияниями Западной Европы, опережавшей Россию в своем историческом развитии.

Развитие западноевропейской буржуазной науки

В революционной борьбе 1848 г. пролетариат выступил как самостоятельная революционная сила; Парижская коммуна 1871 г. была первой пролетарской революцией. В учении Маркса и Энгельса революционный пролетариат уже в 40-е годы

[1] *Ленин*, Соч., т. II, стр. 330.
[2] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 184.

получил свою боевую программу и свою научную теорию. Ее важнейшие положения были изложены уже в «Немецкой идеологии» (1846) и получили блестящий синтез в боевой программе революционного пролетариата — в «Коммунистическом манифесте» (1848).

Это означало начало кризиса буржуазной системы — кризиса социального и идейного. Буржуазия окончательно переходила на путь реакции, а вместе с тем заканчивалась и восходящая линия в развитии буржуазной мысли. В 50-е годы в рецензии на книгу Гизо, одного из крупнейших представителей буржуазной исторической науки первой половины XIX в., Маркс писал: «Да, не только les rois s'en vont (короли уходят), но и les capacités de la bourgeoisie s'en vont (таланты буржуазии уходят)»[1].

Лучшее, что создала буржуазная наука начала XIX в., получило теперь свое развитие в марксизме. Диалектический материализм Маркса и Энгельса был творческим итогом развития философской мысли на новой исторической основе. Диалектический материализм — философия пролетариата, и именно поэтому он оформился в середине XIX в., когда пролетариат выступил как самостоятельная политическая сила.

Неудивительно, что это время явилось концом крупных философских систем в истории буржуазной философии. Гегельянство как буржуазная философия переживает полный кризис в правом гегельянстве.

Последней крупной философской системой, созданной буржуазной мыслью, был позитивизм Конта. Философия позитивизма выросла в значительной мере на базе того роста науки, прежде всего так называемых точных наук, который характеризует первую половину XIX в. в Западной Европе. Но как философская система, позитивизм был лишь внешне упорядоченной системой точных наук, приведенных в условную логическую иерархию. Тем самым философия у Конта утрачивала свое самостоятельное познавательное значение, растворяясь в отдельном конкретном опытном знании. В результате опытное знание провозглашалось принципом и пределом философского познания. На этой основе вырос вульгарный материализм как философия радикальной мелкой буржуазии. Работы Бюхнера, Фохта, Молешотта стали знаменем этого направления. Но отсюда был уже один шаг до прямого агностицизма, ярким выражением которого явился в 70-е годы эмпириокритицизм — философское учение, основанное философом Авенариусом и физиком Г. Махом (отсюда второй термин — махизм). Под флагом утверждения эмпирического опытного знания эмпириокритицизм возрождал фактически крайний идеализм философии Беркли и Юма, отрицав-

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. VIII, стр. 280.

ших объективное знание действительного мира, «вещи в себе». Это учение в начале XX в. проникло и в Россию, где его подверг разоблачающей критике Ленин. С другой стороны, к тому же отрицанию действительного объективного знания только на рационалистической основе буржуазная мысль приходит в последней трети XIX в. в неокантианской философии с ее неприкрытым утверждением субъективного идеализма.

Развитие науки осуществлялось, таким образом, вне связи с ростом философской мысли. Это был рост научного знания, который логикою самих вещей мог вылиться в стихийный естественно-научный материализм, но лишь в системе диалектического материализма Маркса и Энгельса получил свое прочное философское обоснование.

Именно в этой связи развитие опытного естественно-научного знания выступает в середине XIX в. на первый план.

В этом развитии точного знания, может быть, два момента заслуживают особого внимания с точки зрения развития общественной мысли. Это, во-первых, то место, которое получает в общем развитии науки познание жизненных процессов и в частности естественно-научное познание самого человека. Эволюционное учение, как одно из высших достижений естественно-научной мысли середины XIX в., приходит к своеобразной связи между физическими и социальными явлениями. В этой эволюции Либих в химии уже во второй четверти XIX в. устанавливал пути перехода от неорганического мира к миру органическому, Дарвин и Пастер раскрывали развитие живого организма от простейших начальных форм до человеческого организма, Гельмгольц в физиологии, Вундт в психологии устанавливали естественно-научные законы, управляющие самим человеческим организмом. Человек включался в общую систему мира природы. Учение Дарвина о «Происхождении видов», о естественном отборе являло своеобразное сплетение и взаимодействие социальных и биологических процессов. Здесь была одна предпосылка воздействия естественных наук на науки общественные.

Другой момент общественно-научного значения развития естествознания заключался в его влиянии на мировоззрение данного периода: естественно-научная мысль брала на себя функцию, с которой не справлялась буржуазная философская мысль эпохи. И это было в известной мере результатом крупных успехов естествознания.

Лишенная своей философской синтетической основы, буржуазная историческая наука прежде всего уходит от самой задачи широкого научного синтеза. Работы обобщающего характера почти вовсе отсутствуют на этом этапе; их вытесняют тщательно выполненные в техническом отношении, но далекие от научных обобщений специальные исследования по отдельным частным вопросам. Немногие работы общего характера вроде «Немецкой

истории» Лампрехта представляют не синтез, не попытку действительного осмысления исторического процесса в целом, а лишь систематический свод конкретных исторических знаний.

Философия позитивизма лишь закрепляла теоретически идейный кризис буржуазной исторической науки. Положение о включении истории в созданную позитивизмом условную систему точных наук не поднимало историю до уровня точной науки путем раскрытия присущих самой истории внутренних закономерностей, а устанавливало чисто внешнее подчинение исторического процесса законам мира, природы. Так, в работах Риттера или Бокля историческое развитие ставилось в непосредственную зависимость от условий природы. Спенсер искал разрешения вопроса в формальном уподоблении исторического процесса процессам биологическим, в подчинении общественного процесса биологическим законам развития организма. Другие ученые, следуя за Фохтом и Молешоттом, искали законы общественного развития в физиологии человека. Создатель экспериментальной психологии Вундт попытался распространить законы психологии на весь процесс исторического развития созданием специальной дисциплины «Völkerpsychologie» (психология народов). На базе этой психологической интерпретации вырастает в дальнейшем целое направление в социологии, наиболее ярким представителем которого является Тард со своим учением о социальной функции подражания — одним из вариантов реакционной теории о «герое» и «толпе». В этом психологическом истолковании позитивизм проник в историческую науку в работах таких историков, как Тэн, Литтре, с их упрощенным истолкованием роли «среды» в историческом процессе.

Известную попытку раскрыть материальный фактор в самом историческом процессе представляло выделение истории экономических явлений и значительный расцвет экономической истории как самостоятельной отрасли исторической науки, связанные с именами Рошера, Шмоллера и ряда других. В этом сказалось и отраженное влияние исторического материализма, получившего блестящее обоснование в работах Маркса и Энгельса. Но для буржуазного экономизма экономическая история оставалась лишь одной частной темой истории в ряду других равнозначных тем. И действительно, в буржуазной исторической науке этого периода рядом с историей хозяйства выступает с таким же самостоятельным значением история права или правовых институтов, история культуры.

В этом расчленении исторической науки были определенные условия для роста специальных знаний, для совершенствования научной техники, и в этом смысле историческая наука делает безусловно крупные успехи в своем развитии. Но вместе с тем пропадало органическое единство подлинного научного познания. Его основы лежат теперь в развитии новой, марксистской науки.

Развитие философской и научной мысли в России

Развитие русской естественно-научной мысли идет одним путем с западноевропейской. Выдающиеся русские исследователи-естествоиспытатели ко второй половине XIX в. по праву становятся в ряды мировых ученых, определяя пути развития мировой науки. Достаточно назвать Менделеева в химии, Столетова, Лебедева, Попова — в области физики, Тимирязева, Мечникова — в биологии, Сеченова, позже Павлова — в физиологии; а к ним примыкает ряд других крупнейших ученых. И здесь ярко выступают успехи в области изучения живых организмов, изучения жизненных процессов.

Но развитие естествознания характеризуется не только относительно замкнутым кругом научного исследования, а и проникновением естественно-научного знания в широкие круги русской интеллигенции. Образ Базарова, данный Тургеневым в романе «Отцы и дети» с определенной критической тенденцией, отражал, однако, реальное увлечение молодежи опытным знанием. В борьбе с поповским идеализмом официальной науки она искала в опытном знании надежной научной опоры своего критического направления. Искание в естествознании основ научного миросозерцания вело к широкому распространению в России таких работ, как «Сила и материя» Бюхнера. Поворот к естественным наукам в русской публицистике провозгласил Писарев и возглавляемый им кружок редакции «Русского слова». На работы Риттера, Либиха, на книги Бюхнера, Фохта, Молешотта указывает Щапов, характеризуя развитие своих исторических взглядов конца 60-х — начала 70-х годов. На итогах развития естественных наук — от изучения неорганической природы до физиологии и психологии — строит Чернышевский свое учение об «Антропологическом принципе в философии».

Эта эволюция научной мысли раскрывается в философии в глубоком кризисе философского идеализма, с одной стороны, и в развитии материалистической философии — с другой.

Крупнейшие корифеи русского естествознания, как Сеченов, Менделеев, позже Павлов, были уже стихийными материалистами, они не могли не быть материалистами. Кризис философского идеализма, начинающийся в разложении гегельянства у Чичерина, завершается открытым поворотом к мистицизму у Владимира Соловьева. Материализм становится философией передовой общественной и научной мысли 60-х годов в лице Чернышевского, Добролюбова. Опираясь на успехи естествознания, Чернышевский противопоставлял, однако, стихийному естественно-научному материализму требование общефилософского материалистического мировоззрения. Он стоял на позициях философского материализма, отталкиваясь от Фейербаха, но при этом пытался дополнить его учение гегелевской диалектикой. От Гегеля Чернышевский взял его глубокий историзм, из ко-

торого вырастал реализм его собственной научной мысли. «Чернышевский, — писал Ленин, — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский, — продолжает тут же свою характеристику Ленин, — не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса»[1].

Указанное выше преобладание мелкобуржуазной стихии в России этого периода нашло свое отражение в распространении позитивизма с его внешним радикализмом. Учение позитивизма определило философские основы народничества. Философским воззрениям Конта, Милля посвящены были публичные лекции по философии П. Лаврова в 60-х годах. От Конта, от Спенсера, хотя и с известными поправками, отправлялся в своих социологических построениях другой идеолог народничества — Н. К. Михайловский. Прямыми последователями Конта в философии и социологии выступили русские позитивисты Вырубов, де Роберти. Но, может быть, именно быстрое развитие внутренних противоречий в русской действительности привело и русский позитивизм к быстрому разложению, к раскрытию неизбежных для него идеалистических выводов. Так, Лавров пришел к противопоставлению наук о природе и наук о духе, в известной мере предваряя крайние идеалистические положения неокантианства, а его младший соратник Михайловский завершил эту антитезу в своей теории «субъективного метода» в общественных науках противопоставлением начала долженствования принципу причинной закономерности, действующей в мире природы.

Развитие общественных наук и истории

В той же связи осуществлялось и развитие общественных наук. Его основные черты выразились прежде всего в установлении связи общественных наук с науками о природе, сказавшейся в возникновении социологии в ее позитивистском понимании. Другая черта — обращение к материальным основам общественной жизни. Здесь стоит, с одной стороны, изучение влияний природного фактора — географической среды, в ее влиянии на общественное развитие. К 60-м годам относятся переводы на русский язык сочинений Риттера и Бокля.

С другой стороны, особенно характерен рост интереса к вопросам политической экономии и истории народного хозяйства. Экономические вопросы, рядом с вопросами естествознания, стоят в центре внимания русской общественной мысли. В русском переводе появляются исследования английской классической школы в политической экономии — Смита, Рикардо, а равно

[1] *Ленин*, Соч., т. XIII, стр. 295.

работы по истории народного хозяйства Рошера, Шмоллера и других. В примечаниях Чернышевского на «Основания политической экономии» Милля русский читатель знакомился с первой глубокой критикой буржуазной политической экономии; Маркс писал о Чернышевском, как о «единственном действительно оригинальном мыслителе» из числа современных экономистов. Несколько позже Н. Зибер впервые познакомил русского читателя в своих научных работах и журнальных статьях с экономическими воззрениями Маркса. В 1872 г. первый том «Капитала» был переведен на русский язык. «Выработка новой методологической и политико-экономической теории означала такой гигантский прогресс общественной науки, такой колоссальный шаг вперед социализма, что для русских социалистов почти тотчас же после появления «Капитала» главным теоретическим вопросом сделался вопрос о «судьбах капитализма в России...»[1]

Но если у Чернышевского и в какой-то мере у Щапова обращение к вопросам экономики уже начинало превращаться в попытку построения целостной науки об обществе, понимания общественного процесса на материалистической, экономической основе, то в буржуазном экономизме оно свелось к простому, формальному выделению экономической тематики. И само это выделение было лишь частью общего процесса специализации научного знания. Так, право, языкознание, литературоведение развиваются каждое своим путем, а вслед за ними идет расчленение и самой исторической науки.

Вторая половина XIX в. явилась началом кризиса для буржуазной исторической науки. В трудах Соловьева она уже завершила путь своего движения по восходящей линии и достигла наивысшего теоретического развития. Неслучайно крупнейший из преемников Соловьева, Ключевский, указывал, что вся последующая, разумеется, буржуазная историческая, наука идет от Соловьева и развивает его взгляды. Концепция Соловьева была наиболее полноценной реализацией в буржуазной историографии исторических начал Гегелевской философии. Создаваемая на рубеже нового этапа историческая схема Чичерина означала уже по сути их самоликвидацию. Теория закономерности органического процесса развития превращалась в юридическую схему, в которой, по словам П. Н. Милюкова, тоже принадлежащего на деле к этой юридической школе, «тем более... единства и тем менее реального содержания». Разрыв внутреннего единства в системе реального знания вел к простому объединению этого знания в какой-то условной внешней схеме. При этом юридическая схема фактически вела к примату государственного, политического начала и тем самым возвращалась

[1] *Ленин*, Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Соч., т. I, стр. 167.

в какой-то мере к политической истории XVIII в. Эта политическая история полностью возрождается в официальной историографии, представленной такими историками, как Устрялов, Иловайский, Шильдер, Дубровин. Другое направление характеризуется обращением к этнографическому или к народно-психологическому материалу, оно возвращается к романтическому направлению первой половины века, а живописным стилем и психологизмом связано с историками не только первой половины XIX в., но, может быть, и XVIII в.; эти черты проступают и у наиболее видных представителей буржуазной науки рассматриваемого периода — у Бестужева-Рюмина, у Костомарова.

Принципы позитивизма не могли спасти буржуазную историческую науку от банкротства. Естественно-научный, точнее географический материализм, с которым русский читатель познакомился особенно в популярной в России «Истории цивилизации в Англии» Бокля, показал свою бесплодность уже в работах Щапова, тщетно пытавшегося разрешить с помощью географического фактора противоречия общественного развития. У Ключевского географический фактор превратился уже в чисто внешний, формальный придаток к основной государственной схеме русской истории. Тот же формальный, внешний характер сохранил в буржуазной исторической схеме экономический фактор. Буржуазный экономизм получил значительное распространение и в русской исторической литературе 70—80-х годов. Но взятая в отрыве от своего социального содержания, история хозяйства точно так же попадает в подчинение основной юридической, государственной схеме; такова судьба экономизма и у Никитского и у Ключевского.

Экономизму буржуазных историков нехватало понимания социального классового содержания противоречий новой эпохи, отразившей «...такой факт русской жизни, который почти еще отсутствовал в ту эпоху, когда складывалось славянофильство и западничество, именно: противоположность интересов труда и *капитала*»[1].

Как бы то ни было, именно в этот период получает начало социальная история, история классов в русской историографии. Народническая историография кладет начало истории крестьянства в трудах Семевского и его школы; одновременно это же направление представлено на Украине кружком Киевской старины. Тот же Семевский в 1898 г. писал: «В числе многих, весьма крупных, пробелов нашей исторической литературы не последнее место занимает почти совершенное отсутствие исследований по истории фабричного и заводского, вообще промышленного труда»[2].

---

[1] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 279.

[2] *Семевский*, Рабочие на Сибирских золотых приисках, т. I, Спб. 1898, стр. XXVI.

Историю вопроса приходится, пожалуй, начать с книги Н. Флеровского (В. В. Берви) «Положение рабочего класса в России», изданной в 1869 г. Правда, под рабочим классом автор имеет еще в виду прежде всего сельскохозяйственного «рабочего» — крестьянина, тем не менее в самой постановке проблемы он явился одним из первых критиков капитализма в России. Маркс писал о его работе: «это — настоящее открытие для Европы»[1]. Работы Плеханова в начале 80-х годов явились уже первой постановкой этого вопроса с марксистских позиций.

Народническая постановка этого вопроса была, как писал Ленин, «уродлива и труслива». Это вытекало из мелкобуржуазной природы самого народничества. Мелкобуржуазная историография могла поставить этот вопрос, но не могла его разрешить. Она могла дать описание фактического материала, внешнюю историю явлений, но не могла найти в них реальную историческую силу действенного преодоления установленных ею же классовых противоречий. Она описывала факты, но их не объясняла. В этом и сказывалась ее, в конечном счете, буржуазная природа. Она разделяла с буржуазной историографией ее основные пороки.

Только историческая мысль просветителей была проникнута действительным революционным духом, духом классовой борьбы, только они искали в этом классовом противоречии действительное объяснение, действительный ключ к пониманию исторического процесса. «Есть только *люди трудящиеся* и *дармоеды*. Уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории»[2], — писал Добролюбов. Путь действительного поступательного движения русской исторической науки лежал именно через просветительство 60-х годов. Но те же социальные условия русской исторической действительности, на которые указывал Ленин, говоря о философском мировоззрении Чернышевского, сказались и здесь; к историческому материализму русская историческая наука пришла лишь на следующем этапе.

ГЛАВА 21

РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ПЕРИОД 60—80-х ГОДОВ

Основная историографическая литература: *Иконников, В. С.*, Опыт русской историографии, т. I, Киев 1908. — *Барсуков, Н.*, Жизнь и труды П. М. Строева, Спб. 1878.—*Коялович, М. О.*, История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям,

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XIII, ч. I, стр. 353.
[2] *Добролюбов*, Поли. собр. соч., т. III, М. 1936, стр. 267.

изд. 3-е, Спб. 1901. — *Жебелев, С. А.*, Введение в археологию, ч. 1—2, «Наука и школа», Птг. 1923. — *Пыпин, А. Н.*, История русской этнографии, т. II, Общий обзор изучений народности и этнография великорусская, Спб. 1891. — *Здобнов, Н. В.*, История русской библиографии, конспект курса, М. 1940.

Развитие исторического знания. Специальные исторические дисциплины

Теряя ведущее значение в развитии исторической мысли, буржуазная историческая наука, в силу классового господства буржуазии, продолжала сохранять свои господствующие позиции. В связи с этим, в общем развитии исторической науки значение данной эпохи, эпохи переходной, не столько в развитии исторической мысли, представляющей подлинное движение науки вперед, а в росте исторических знаний. Развитие буржуазной исторической науки на данном этапе приобретает специальный характер: идейно ограниченное, оно идет не вглубь, а вширь. Оно заключается прежде всего в распространении достижений исторической науки на смежные и вспомогательные дисциплины, получающие самостоятельное значение и развитие. Если их развитие в начале века было существенной предпосылкой в росте буржуазной исторической науки, если без этих успехов невозможно было появление Соловьева, то деятельность самого Соловьева, с ее широким захватом всех разнообразных сторон научно-исторического изучения должна была дать толчок их дальнейшему развитию. Развитие этих специальных дисциплин, начало которым было положено в первой половине века, стало возможным только на базе общего развития исторической науки в период 40—50-х годов. В свою очередь выделение отдельных специальных отраслей исторического знания способствовало совершенствованию техники исторического исследования, накоплению конкретного исторического знания, расширению круга исторических материалов.

Этими чертами определяется и новый тип научного исследования: отказ от философско-исторического обобщения сопровождается развитием исследований типа специальной монографии. Им принадлежит большое значение в создании научной базы для дальнейшего развития исторической науки. Это расширение базы исторической науки имело, конечно, свое значение; оно легло в основу дальнейшего развития науки, на его итогах новый, марксистский метод создал другое, совершенное и полное знание исторической жизни. На данном этапе это знание остается в значительной мере мертвым грузом, лишенное обобщающей, синтетической идеи. Такая специальная монография не становится путем к пониманию целого, она не освещается светом целого, а замкнута в своем собственном содержании, оторванном от общего содержания того исторического процесса, к которому она принадлежит.

Говоря о буржуазной исторической науке этого периода, приходится больше говорить о развитии исторического знания, чем о развитии самой исторической науки. Оно сказалось прежде всего в развитии вспомогательных и специальных исторических дисциплин.

Археография

На первом месте в развитии вспомогательных дисциплин в этот период стоит археография. Работа над изучением огромных архивных фондов к середине века затронула лишь незначительную долю огромных богатств, разбросанных по разным государственным и частным архивам. Только Археографическая экспедиция под руководством Строева и организованная на ее базе Археографическая комиссия положили начало систематической работе в этом направлении. Многотомный труд Соловьева был в значительной своей части огромной архивной работой самого историка, систематически работавшего в Древлехранилище[1]; его работа показала, как мало были изучены к этому времени даже центральные архивохранилища.

Новый период отмечен прежде всего значительным развитием деятельности Археографической комиссии. Наряду с продолжением своих крупных серийных изданий — «Полного собрания русских летописей», доведенного в это время до пятнадцатого тома, Комиссия закончила в 70-х годах свое издание «Дополнений к Актам историческим» (12 томов) и начала издание «Актов, относящихся до юридического быта древней России». Возглавлял Комиссию с 1853 г. Н. В. Калачов, видный археограф (ученик П. М. Строева) и историк русского права. Ему же историческая наука обязана первым изданием писцовых книг.

В эти годы Комиссией было положено начало археографическим изысканиям в области истории народов России. В 1846—1855 гг. Комиссия издала пять томов «Актов, относящихся к истории Западной России», а с 1863 г. приступила к изданию «Актов, относящихся к истории Южной и Западной России». Первые девять томов последнего издания вышли под редакцией Н. И. Костомарова, последующие — под редакцией Ф. Карпова; всего было издано 15 томов, впервые познакомивших историков с богатейшими материалами наших архивов по истории Украины XVII в.[2]

Огромная по своим размерам, эта работа уже не замыкается в деятельности одной организации. В 1866 г. было организовано Русское историческое общество в Петербурге; «Сборники Русского исторического общества», выходившие с 1867 г., содержат богатейший архивный материал с конца XV и до начала XIX в. и впервые включили в публикацию материалы по более позднему периоду—XVIII и начала XIX в., уделяя особое внимание дипломатической истории.

[1] Ныне ГАФКЭ; до сих пор в читальном зале отмечено место, где работал С. М. Соловьев.

[2] Последний том вышел в 1892 г.

В Москве аналогичную работу развернуло Московское общество истории и древностей, с 1846 г. имевшее свой постоянный орган; с конца 50-х годов «Чтения в обществе истории и древностей российских» стали выходить 4 раза в год, и издание продолжалось без перерыва до самой революции.

Необходимо отметить также широкое развитие частной инициативы в археографической работе. Издание исторических журналов в значительной мере опиралось на эту частную инициативу и обращалось к частным архивным фондам. С этой частной археографической инициативой связан и ряд отдельных более или менее крупных археографических документальных публикаций. Таковы издания П. И. Бартенева «Осмнадцатый век» (4 тома) и «Архив гр. Воронцова». В том же направлении идут многочисленные публикации Н. Ф. Дубровина по истории XVIII и XIX вв. (главным образом по военной истории). Сюда же примыкает в дальнейшем литературная деятельность Н. П. Барсукова и А. П. Барсукова, стоящая на грани исторического повествования и простой архивной публикации («Жизнь и труды П. М. Строева», «Жизнь и труды М. П. Погодина» и др.).

Крупным моментом в развитии археографической работы было ее распространение из центра на периферию, перенесение археографической работы на места. Здесь наряду с отмеченными первыми крупными публикациями Археографической комиссии в Петербурге было положено начало археографической разработке истории народов России. В 1846 г. была организована Киевская временная комиссия по разбору древних актов, издавшая несколько томов актового материала, главным образом по периоду XVI—XVII вв. Комиссия положила также начало изданию так называемых казацких летописей (Величко, Самовидец). В связи с 200-летием присоединения Украины к России при Богдане Хмельницком публикации по истории Украины были даны Бодянским и в Чтениях Московского общества истории и древностей российских.

В 1864 г. была образована Виленская археографическая комиссия, а в 1867 г. — Кавказская археографическая комиссия, начавшие разбор и издание документов местных краевых архивов.

Развитие археографической деятельности завершается в 80-х годах созданием губернских Ученых архивных комиссий. Начало их организации было положено созданием комиссий в Рязани, Твери, Тамбове и Орле; к 1890 г. число их утроилось. Публикации («Труды») ряда комиссий, например, Рязанской, Нижегородской, Таврической, представляют серьезный научный интерес.

Рост археографической деятельности вызвал потребность в серьезных, научно подготовленных кадрах специалистов-археографов. По инициативе председателя Археографической комиссии Н. В. Калачова II Археологический съезд в 1871 г. принял постановление об организации в Петербурге Археологического

института[1] для подготовки археографов и архивных работников по образцу парижской Ecole des chartes; институт был открыт в 1877 г.

Археология

Начало археологическим изучениям в России было положено еще в XVIII в. Миллером. Но в это время археологическое изучение в основном не выходило еще из состояния простого «собирательства», коллекционерства, характерного для любителей исторических древностей вроде графа Мусина-Пушкина.

В начале XIX в. археологические раскопки сохраняли случайный, эпизодический характер. В 1831 г. можно отметить раскопки в Куль-Обе (Дюбрюкс). В 1837 г. была напечатана статья В. Пассека «О городищах и курганах южной России».

Только в Одесском обществе истории и древностей, организованном в 1839 г., археологические изыскания получили известный научный центр, первые зачатки организации. Их начало на юге обусловлено тем, что на первых порах археологические интересы обращены, главным образом, на памятники античной археологии, остатки античного искусства и античной культуры, сосредоточенные именно на юге. Сюда и направляются первые археологические изыскания, организуемые Обществом: в 1845 г. были начаты Ольвийские раскопки, а в 1852 г.—раскопки в Крыму.

Только в 1846 г. было организовано в Петербурге Археолого-нумизматическое общество, переименованное в 1866 г. в Русское археологическое общество. Оно объединило ряд крупных исследователей-специалистов: Забелина, Прозоровского, Ровинского, Куника, Тизенгаузена, Савельева, Гаркави и др. Но и работа Русского археологического общества на первых порах сохраняет специфический уклон, ограниченность своей научной тематики. Его деятельность может быть сведена к двум основным темам. С одной стороны, его работа сосредоточивается на изучении нумизматики, которой посвящены работы Прозоровского, ранние работы И. Е. Забелина, Куника, Савельева. Работа П. С. Савельева о кладах арабских монет в России перебрасывает мост к другому комплексу исследований общества — к восточным древностям, изучению которых посвящены работы Тизенгаузена, Савельева, Березина, Гаркави, а по Кавказу — Цагарелли. В обществе был специальный отдел восточной археологии.

В этом смысле в стороне от основных вопросов собственно русских древностей осталась и Императорская Археологическая комиссия, организованная в 1859 г. под председательством графа С. Строганова. Деятельность этой комиссии также была обращена на изучение памятников античной культуры, но в то время как

[1] В XIX в. термином «археология» обозначалось изучение вообще памятников древности, еще не отделяя письменные памятники от вещевых; поэтому современная археография входила в археологию.

Русское археологическое общество изучает восточные влияния, ее деятельность сосредоточивается прежде всего в Крыму и на Северном Кавказе.

Только в 50-е годы в Москве создается кружок археологов, которые впервые поднимают вопрос об изучении собственно русских древностей. С 50-х годов начинаются курганные раскопки в центральных областях России. В 1864 г. организовалось Московское археологическое общество под председательством графа А. С. Уварова (сына николаевского министра); это Общество и стало настоящим центром изучения русских археологических древностей. Членами Общества были крупные русские ученые, как Самоквасов, Анучин, Сизов и др. Самоквасовым, по поручению Общества, были произведены многочисленные курганные раскопки на Украине — в Черниговской, Полтавской и Киевской губерниях. Графу Уварову еще в 1851 г. принадлежит инициатива начала раскопок в Центральной области — Волжско-Окском бассейне. Первые итоги уваровских раскопок подведены им же в работе «Меряне и их быт по курганным раскопкам». Значение всех этих работ, как отмечено, заключалось в том, что впервые история древней Руси выходила за хронологические рамки письменных источников и обращалась к вещевому материалу. Но работы самого А. С. Уварова все еще носят следы прежнего собирательства, кладоискательства и особенно отчетливо выявляют научную слабость этих археологических изучений XIX в. Эта слабость проистекала, во-первых, из того, что археологическая работа носила еще, по существу говоря, любительский характер. За ней не стояла серьезная археологическая подготовка, не было и сознания научной связи археологии с историей. Но и в работах более серьезных своих представителей археология оставалась только наукой вещеведения, причем вещи брались сами по себе, а не как часть сложного исторического комплекса, — положение, реализованное в нашем современном понимании истории материальной культуры.

Археолог XIX в. — прежде всего собиратель вещевых остатков старины. Этот вещевой интерес не случайно привлек внимание археолога в первую очередь именно к памятникам античной культуры. В изучении памятников древней Руси это направление создало формальное смешение всех явлений так называемого «доисторического периода», по определению буржуазной науки, в одно целое, и как одно целое оно рассматривало весь оставшийся от этого периода вещественный материал. Такой подход к археологическому материалу привел к хищнической разработке древних курганов, сопровождавшейся уничтожением очень важных археологических данных, необходимых для определения исторической принадлежности собранного материала. Самое понимание древнейшего периода представителями археологии было связано с общим состоянием буржуазной исторической науки

рассматриваемого периода. Смешение материалов раскопок создало значительные трудности для их исторического изучения современной наукой.

Один из видных русских археологов, А. А. Спицын, писал впоследствии о раскопках в Суздальской области: «Раскопки были производимы с такою поспешностью, что подробные отчеты немыслимо было вести... При поступлении вещей в Румянцевский музей они представляли в полном смысле беспорядочную груду материала, так как при них не было описи с отметками, из какого кургана каждая вещь происходит... Все вещи коллекции смешались в серую одноцветную массу, безразличную для мужчин и женщин, для прадеда, деда и внука, для туземца и пришельца. Грандиозные раскопки 1851—1854 гг. в Суздальской области будут долго оплакиваться наукою и служить грозным предостережением для всех любителей массовых раскопок»[1].

Но при недостаточной теоретической углубленности археологических изучений надо отметить и здесь последовательное распространение вширь археологической работы. В 70-е—80-е годы развивается археологическая деятельность в Киеве историком В. Б. Антоновичем и его школой. В 1873 г. организовалось Общество любителей кавказской археологии, реорганизованное в 1879 г. в Кавказское общество истории и археологии. К 1875 г. относятся раскопки в районе Среднего Поволжья, положившие начало изучению фатьяновской культуры.

К изучению археологии примыкает и изучение древнерусского искусства, также получающее заметное развитие с 60-х годов прошлого столетия.

Собирание древних памятников положило начало широкому развитию музейно-исторической работы в России. В 1883 г. был открыт Исторический музей в Москве. Другой крупный музей был организован Одесским обществом истории и древностей в Одессе.

Для объединения археологической деятельности и установления связи между археологами в 1869 г. был созван I Археологический съезд; с 1874 г. съезды стали собираться периодически, через каждые три года. Съезды объединяли археологов и археографов-историков; «Труды» этих съездов составили много томов, содержащих ценные материалы и исследования по древней истории России.

Этнография

Занятия этнографией, изучение народного быта и творчества, получили заметное развитие уже в предшествующий период русской истории. Обращение к этим вопросам было связано, с одной стороны, с романтическим направлением в русской литературе, с другой — с ростом интереса к национальному, народному началу в русской истории. Еще

[1] «Известия Архивной комиссии», вып. XV, Спб. 1905, стр. 89—90.

к 30-м годам относятся многотомные работы Снегирева «Русские в своих пословицах» и «Русские простонародные праздники и суеверные обряды»; работы Сахарова по изданию русских сказок и песен. В 1848 г. вышла семитомная работа А. Терещенко «Быт русского народа». К этому периоду относятся работы в области собирания фольклорного материала П. Киреевского, Гильфердинга, К. Аксакова — для Великороссии, Максимовича и Костомарова — для Украины.

В 1848 г. был создан и специальный центр этнографических изучений — Отделение этнографии в Русском географическом обществе, основанном в 1846 г. Председателем Отделения был Надеждин, человек одаренный, оставивший крупный след в истории русской журналистики и критики, в исторической географии и этнографии. Надеждиным еще в 1847 г. была составлена для Русского географического общества программа собирания этнографического материала, разосланная Обществом на места. Ему же принадлежит ряд статей по русской этнографии и фольклору.

Но и работы Надеждина или Аксакова с их абстрактным, философским направлением не меняли основного характера всей этнографической работы этого первого периода, который можно было бы определить как этнографический прагматизм. В сущности дело не шло дальше собирания материала и его формального описания. Это положение отчетливо определил Кавелин в своей рецензии на работу Терещенко. То, что он писал о Терещенко, может быть отнесено в большей или меньшей степени ко всей русской этнографии первого периода. Книга Терещенко — «одно из самых полных и богатых собраний материалов для теперешнего и древнейшего быта русского народа», но она не дает изучения, анализа собранного материала: «Самые простые законы исторической критики неизвестны автору». Путь этнографии, по определению Кавелина, — путь тесной связи с исторической наукой; ее задача — «проследить внутреннюю жизнь народа, ее постепенные изменения, влияние различных элементов, привходивших в нее извне или вызванных внутренним последовательным развитием» [1]. По этому пути и пошла русская этнография в 60—70-е годы.

Самое собирание материалов не только не ослабело, но еще заметно усилилось. С одной стороны, оно получило новый толчок в народническом движении, в хождении в народ. Из этого сближения с народной жизнью вышли прекрасные сборники по фольклору—«Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (4 тома), «Русские песни, собранные П. Якушкиным», «Русские народные песни, собранные П. В. Шеиным» и др. Другим источником было сближение этнографии с историей, ярко отразившееся в работах этого периода И. Е. Забелина — «История русской жизни», «Домашний быт русских царей и цариц». Наконец, можно отметить и сближе-

[1] *Кавелин*, Соч., т. IV, стр. 5—7.

ние с этнографией истории русского права, отразившееся в работах Калачова, издавшего в Русском географическом обществе специальный «Этнографический сборник». Плоды этого сближения для истории русского права показали впоследствии работы Н. П. Павлова-Сильванского.

Но главным в развитии этнографии было начало исторического изучения материала. Плодом исторического изучения русского языка на основе фольклорного материала явился известный словарь В. Д. Даля — «Толковый словарь живого великорусского языка» (1861—1868).

Изучению развития народных воззрений в народном творчестве было посвящено специальное исследование известного собирателя русских народных сказок А. И. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», а также работы украинского исследователя А. А. Потебни. Истории самого народного творчества, его литературно-историческому изучению посвящены работы Ф. И. Буслаева и Н. С. Тихонравова. Опираясь на достижения русской исторической науки, эти исследования исходят из принципа исторического и сравнительно-исторического изучения. Если первый значительный толчок этнографическое изучение получило в славянофильстве, то своим научным методом оно обязано западноевропейской науке, прежде всего влиянию школы Якоба Гримма. Последователем Гримма был Буслаев. В изучение народного творчества он внес принципы сравнительного и исторического языкознания и сравнительное изучение народной мифологии. Это новое научное направление получило яркое выражение в его исследовании «Русский богатырский эпос» и в других его работах.

Изучение бытового, этнографического материала приобретает большое значение в восстановлении древнейшей истории народа, его культуры и быта. Яркий образец его использования был дан В. О. Ключевским.

Историческая география

Значение историко-географических изучений понимали уже историки XVIII в. К историко-географическим вопросам обращался Татищев, а после него — Миллер и Болтин. Отдельные историко-географические исследования появляются в первой половине XIX в., как исследование Ходаковского «О путях сообщения в древней Руси» (1837). Первую попытку обобщения и выделения историко-географического материала сделал в 1837 г. Надеждин в статье «Опыт исторической географии русского мира»[1]. Он попытался также связать изучение исторической географии с этнографическим материалом. Но лишь на основе общего развития исторической науки к 60-м годам стало возможно обобщение историко-географического материала, выделение исторической географии,

[1] «Библиотека для чтения».

обособление ее в самостоятельную дисциплину. Наиболее видными ее представителями в этот период были Н. П. Барсов, Л. Н. Майков, Е. Е. Замысловский.

Н. П. Барсовым были изданы в 1865 г. «Материалы для историко-географического словаря древней Руси», а несколько позже «Очерки русской исторической географии. География первоначальной летописи». Это исследование явилось как бы завершением работы, начатой почти столетием раньше И. Болтиным. Е. Е. Замысловскому наряду с специальными историко-географическими исследованиями принадлежит издание первого учебного атласа русской истории в 1865 г. Уже в 1869 г. потребовалось переиздание этого атласа.

И здесь надо одновременно отметить также обратное влияние. Историко-географическое изучение становится одним из элементов, одной из предпосылок исторического изучения вообще. Оно получило заметное место в исследованиях Щапова, Ключевского, но особенно серьезное значение приобрело оно в тех специальных монографиях по местной истории, появление которых относится именно к рассматриваемому периоду.

Выделение специальных исторических дисциплин

Другой стороной в развитии исторических изучений было, как указано, последовательное выделение, обособление отдельных вопросов истории в специальные исторические дисциплины. Это обособление также сопровождалось расширением фактической разработки данной тематики, но вместе с тем отрывом ее от общеисторического рассмотрения вопроса.

Раньше и полнее других обособилась история права.

В первой половине XIX в. разработка истории права либо обособлялась, превращаясь в формальную, внешнюю историю законодательства, как у К. А. Неволина (1806—1855), либо непосредственно соединялась с русской историей и даже с этнографией, как у Кавелина и в известной мере у Калачова (1819—1855). Только последнему принадлежит уже более значительная роль в развитии у нас науки истории русского права, особенно в связи с его научно-издательской деятельностью. Наиболее крупными представителями этой науки в России были Градовский, Леонтович и Сергеевич. Развитие деятельности всех названных исследователей падает на 60-е годы.

А. Д. Градовский (1841—1889) положил начало истории учреждений в России; его основные исследования — «Высшая администрация России XVIII в. и генерал-прокуроры» (1866) и «История местного управления в России» (1866). В истории русского права он был продолжателем западнических идей исторической литературы предшествующего периода; его идеалом было буржуазное государственное устройство Западной Европы.

Ф. И. Леонтович (1833—1911) свои основные исследования посвятил юридическому изучению общественного строя и социаль-

ных отношений. Его исследование «Крестьяне юго-западной Руси по литовско-русскому праву XV—XVI вв.» (1867) положило начало целому ряду исследований самого автора по истории русского крестьянства в свете его правовых отношений. В статье «О значении верви по Русской Правде и Полицкому Статату» автор сформулировал свою теорию задружного быта древних славян [1].

Главным представителем нового направления является Василий Иванович Сергеевич (1835—1911). В работах Сергеевича «Русские юридические древности» и «Лекции и исследования» история русского права впервые превращалась в законченную научную дисциплину, в цельную систему всех историко-юридических сведений по русской истории. История права у Сергеевича превратилась в своеобразную историю России и стала для него источником разрешения всех вопросов общей истории. Юридическая школа, возглавленная Сергеевичем, явилась непосредственной продолжательницей государственной теории Чичерина.

Юридическая трактовка исторических явлений вела к дальнейшему разрыву исторического процесса: разрыв между периодами, произведенный Чичериным, переходил в разрыв явлений внутри самого периода. Явления общественной жизни и общественных отношений брались не в сложном комплексе действительных отношений, а в их правовом содержании. В результате получилась, с одной стороны, законченная и неизменная на значительном протяжении времени юридическая формула, с другой — хаос меняющихся и неупорядоченных, случайных исторических явлений.

Ярким выражением этого направления явилась первая крупная работа Сергеевича «Вече и князь» (1867) [2]. Здесь в основу организации государства в древней Руси положено чисто юридическое начало — договор; древнерусское государство — результат договора между князем и народным представительством — вечем. Не развитие внутренних общественных отношений, а правовая норма становится источником политической организации. Самая норма при этом лишена историчности, она заимствована из современной автору буржуазной юридической науки, из идеологии буржуазного конституционализма.

Юридическая школа Сергеевича была сильна в непосредственной разработке конкретного юридического материала. В этом разрезе исследования Сергеевича не утратили своего значения до сих пор и, с учетом их методологической порочности, могут и сейчас служить неплохой школой конкретно-юридического изучения

---

[1] Ф. И. Леонтович известен также своими общими работами по истории Литовско-Русского государства.

[2] Впоследствии в переработанном виде это исследование вошло во II том «Русских юридических древностей».

источников. Они представляют также ценную систематическую сводку большого историко-юридического материала.

Будучи с 1872 г. профессором Петербургского университета, Сергеевич оказал значительное влияние на представителей не только юридической, но и исторической науки. Элементы этого влияния можно проследить и на А. Е. Преснякове, бывшем в известной мере учеником Сергеевича.

Менее полно и отчетливо обозначились другие направления в этой специализации исторических знаний.

История культуры не выделилась в особую отрасль исторической науки в рассматриваемый период. Может быть первым опытом в этом направлении являются «Очерки по истории русской культуры» П. Н. Милюкова уже в 90-е годы. Но характер истории культуры приобретает в значительной мере направление, утвердившееся в это время в истории русской литературы. Исследования Жданова по XVI в., Тихонравова — по XVII и XVIII вв., многочисленные работы А. Н. Пыпина принадлежат исторической науке в специальном значении этого слова. Четырехтомная «История русской литературы» А. Н. Пыпина является до некоторой степени первой сводной работой по истории русской культуры и русской общественной мысли.

Работами буржуазных историков — Семенова, Аристова, Бережкова и др., работами экономистов-народников—В. В. (Воронцов), Н. Даниельсона (Николай — он) обозначается выделение также экономической истории, истории народного хозяйства. Но связанное с народнической историографией, с одной стороны, с общим развитием буржуазной исторической науки в лице ее наиболее крупных представителей — Ключевского, Никитского, с другой, это направление требует специального и более детального рассмотрения.

Распространение исторических знаний. Журналы

В процессе расширения исторических знаний существенным элементом является и их проникновение, так сказать, в обиход культурной жизни, перенесение научной работы за рамки обширных монографий и исследований, в популярный очерк и журнальную статью. Развитие этого явления намечалось уже с самого начала XIX в., но особенно оно усилилось в 50-е годы. Борьба общественных идей, развернувшаяся в этот период и распространившаяся на исторические вопросы, сразу сделала их достоянием широких слоев читателей. С 60-х годов в так называемых «толстых» ежемесячных журналах систематически печатаются специальные исторические исследования, принадлежащие перу наиболее видных историков этого времени. Такие статьи появляются в «Русской мысли», в «Отечественных записках», в «Русской беседе» и других журналах. Широко обсуждаются все исторические вопросы, все более или менее значительные работы на страницах «Современника» Чернышевским и Добро-

любовым. Журнальная рецензия доводит до широкого читателя и книжную историческую литературу, которая перестает быть достоянием одних специалистов-историков.

К периоду 60—80-х годов относится создание у нас крупных исторических журналов. В 1863 г. П. И. Бартеневым, известным собирателем и издателем исторических документов, был основан журнал «Русский архив». В 1870 г. основан другой крупный исторический журнал—«Русская старина». Его первым редактором и издателем сперва фактически, потом и официально был М. И. Семевский, автор популярных работ по истории Петровской эпохи («Слово и дело», «Царица Прасковья» и др.), не лишенных народнического налета. Наконец, в период 1875—1881 гг. выходила «Древняя и новая Россия», редактор которой С. Н. Шубинский организовал в 1880 г. третий исторический журнал — «Исторический вестник».

В первых двух журналах главное место принадлежит публикации источников, с известным преобладанием мемуаров и материалов частных архивов. При этом, однако, каждый из них получил свое особое направление. В «Русском архиве» преобладала официальная тематика — вопросы политической истории и в частности внешней политики XVIII—XIX вв. В «Русской старине» широкое отражение получили вопросы общественного движения и общественного быта, преимущественно XIX в.; здесь, например, впервые появилась значительная часть мемуаров декабристов. На направлении журнала сказались исторические воззрения его редактора.

Совсем иной характер имел «Исторический вестник» и его редактор С. Н. Шубинский. История выступала здесь своей «анекдотической» стороной, в полубеллетристическом виде. Совершался и непосредственный переход к исторической повести или роману в сочинениях Мордовцева, Данилевского, Салиаса, Костомарова. Из историков, кроме самого Шубинского и Костомарова, в журнале участвовали Иловайский, Корсаков.

Историческая библиография

С ростом публикаторской деятельности наряду с развитием журнальной рецензии создается специальная область научной исторической библиографии. Возникновение у нас исторической библиографии также связано с серединой XIX в.

Ее началом надо, повидимому, считать «Русскую историческую библиографию», издававшуюся с 1855 г. Русским отделением библиотеки Академии наук, видными русскими библиографами братьями П. и Б. Ламбиными. Она выходила ежегодно до 1864 г. по одному номеру в год с систематическим распределением материала по отдельным рубрикам; всего вышло 10 томов. О значении издания говорит и то, что с 1859 г. наблюдение над изданием принял академик Пекарский. Работу продолжал крупнейший представитель русской научной библиографии XIX в. Б. И. Ме-

жов (1831—1894). В период 1882—1890 гг. он выпустил систематическую библиографию русской исторической литературы за 1865—1876 гг. в 6 томах с двумя добавочными томами систематических указателей. Вслед за этим он приступил к библиографическому описанию русской исторической литературы за первую половину XIX в., чтобы восполнить создавшийся пробел с 1800 по 1859 г., но успел издать лишь 3 тома этого труда.

С именем Межова связано в дальнейшем развитие местной библиографии: в 1903 г. вышла подготовленная им «Сибирская библиография» в трех томах. Ему же принадлежит «Библиография Азии» в двух томах (Средняя Азия). В этом же направлении развивают работу и другие библиографы: Д. Смышляев — по Пермскому краю, М. Миансаров — по Кавказу. Эти библиографические работы связаны с общим ростом разработки местной истории.

Развитие тематических монографических разработок приводит к специализации библиографии и в этом направлении. И здесь почин принадлежал В. И. Межову, давшему уже в 1865 г. обстоятельную библиографию по крестьянскому вопросу в России за сто лет (1764—1864). В этот же период С. Р. Минцлов начал библиографическую разработку иностранной литературы по истории России («Rossica») и в 1872 г. издал свою первую крупную работу «Петр Великий в иностранной литературе».

ГЛАВА 22

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ДОБРОЛЮБОВ. ЩАПОВ И НАЧАЛО НАРОДНИЧЕСТВА

Классики марксизма-ленинизма: *Ленин*, Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Соч., т. I, стр. 51—222. — *Его же*, От какого наследства мы отказываемся? Соч., т. II, стр. 303—338. — *Его же*, Материализм и эмпириокритицизм, Соч., т. XIII, стр. 7—295. — *Его же*, «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция, Соч., т. XV, стр. 141—148. — *Его же*, Памяти Герцена, Соч., т. XV, стр. 464—469. — «Ленинский сборник» XXV, Партиздат, М. 1933.

Основные сочинения: *Чернышевский, Н. Г.*, «Пропилеи». Сборник статей по классической древности, кн. 3 и 4, изд. П. Леонтьевым, М. 1853—1854. Рецензия: статья в кн.: *Чернышевский, Н. Г.*, Полн. собр. соч., т. III, Спб. 1906, стр. 363—394. — *Его же*, Славянофилы и вопрос об общине. Заметки о журналах, апрель 1857; там же, т. III, стр. 180—200.— *Его же*, История России с древнейших времен, Соч. Сергея Соловьева, т. IV, М. 1854; там же, т. X, стр. 159—164. — *Его же*, Прадедовские нравы. Записки Гавриила Романовича Державина. 1742—1812, М. 1860;

там же, т. VI, стр. 289—330. — *Его же*, О причинах падения Рима (Подражание Монтескье) (История цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи, Соч. Гизо); там же, т. VIII, стр. 156—178. — *Его же*, Русский реформатор (Жизнь графа Сперанского, Соч. бар. Корфа, 2 т., Спб. 1861); там же, т. VII, стр. 292—320. — *Его же*, Опыт исторического оправдания Петра I против обвинений некоторых современных писателей, изд. К. Задлера, Спб. 1861; в кн.: «Литературное наследство», т. XXV—XXVI, Журн.-газет. объед., М. 1936, стр. 210—217. — *Его же*, Воззвание к барским крестьянам; в кн.: *Чернышевский, Н. Г.*, Избр. соч., т. I, Гос. изд., М.—Л. 1928, стр. 143—152. — *Его же*, Материалы для решения крестьянского вопроса; там же, стр. 80—111. — *Его же*, Письма без адреса; там же, стр. 112—142. — *Его же*, Очерки Гоголевского периода русской литературы («Современник» 1855 — 1856), изд. 2-е, М. Н. Чернышевского, Спб. 1893. — *Добролюбов, Н. А.*, Первые годы царствования Петра Великого (*Н. Устрялов*, История царствования Петра Великого, Спб. 1858, три тома); в кн.: *Добролюбов, Н. А.*, Полн. собр. соч., в 6 томах, т. III, «Худ. лит-ра», М. 1936, стр. 114—212. — *Его же*, Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым (Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie, par Nicolas de Gerebtzoff, Paris 1858, 2 T.); там же, стр. 220—283. — *Его же*, Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича, Соч., т. IV. — *Его же*, От Москвы до Лейпцига, И. Бабста (из «Атенея»), М. 1859; в кн.: *Добролюбов*, Соч., т. III, изд. 6-е, Сойкина, Спб. (б. г.), стр. 170—188.

Основная историографическая литература: *Плеханов, Г. В.*, Н. Г. Чернышевский, Соч., т. V, Гос. изд. (б. г.), стр. 1—363. — *Ярославский, Е.*, Николай Гаврилович Чернышевский, М. 1919. — *Покровский, М. Н.*, Н. Г. Чернышевский, как историк; в кн.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 2, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 176—207. — Н. Г. Чернышевский, Сборник статей к 50-летию со дня смерти великого революционера-демократа, Обл. гос. изд-во, Саратов 1939. — *Шапиро, А. Л.*, Вопросы русской истории в произведениях Чернышевского; в кн.: Н. Г. Чернышевский, Сборник статей, Саратов 1939. — *Бушуев, С.*, Русская история в освещении революционных демократов (В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов); в журн.: «Историк-марксист» № 8, 1940, стр. 87—98.

Основные сочинения Щапова: Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII века; в кн.: *Щапов, А. П.*, Соч., изд. Пирожкова, Спб. 1906, т. I, стр. 173—450. — Земство и раскол; там же, стр. 471—504. — Великорусские области в смутное время (1606—1613); там же, стр. 648—710. — Земство; там же, стр. 753—760. — Сельская община; там же, стр. 760—768. — Естествознание и народная экономия; в кн.: *Щапов, А. П.*, Соч., т. II, изд. Пирожкова, Спб. 1906, стр. 154—173. — О влиянии гор и моря на характер поселений; там же, стр. 173—181. — Общий взгляд на историю интеллектуального развития в России; там же, стр. 481—504. — Социально-педагогические условия умственного развития русского народа; в кн.: *Щапов, А. П.*, Соч., т. III, изд. Пирожкова, Спб. 1908, стр. 121—390. — Новая эра; в кн.: *Щапов, А. П.*,

Собр. соч., дополн. том к изд. 1905—1908 гг., Восточно-Сиб. обл. изд-во, Иркутск 1937, стр. 3—19.— С Новым Годом! там же, стр. 20—24.

Основная историографическая литература: *Лучинский, Г. А.*, Афанасий Прокофьевич Щапов. Биографич. очерк; в кн.: *Щапов, А. П.*, Соч., т. III, изд. Пирожкова, Спб. 1908, стр. I — CIX. — *Аристов, Н. Я.*, Афанасий Прокофьевич Щапов. Жизнь и сочинения (посмертн. изд.), Спб. 1883. — *Плеханов, Г. В.*, Афанасий Прокофьевич Щапов; в кн.: *Плеханов, Г. В.*, Соч., т. II, Гос. изд-во, М.—П. 1923, стр. 10—20. — *Покровский, М. Н.*, Борьба классов и русская историческая литература; в кн.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 1, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 7—100. — *Его же*, А. П. Щапов (к 50-летию со дня его кончины); в кн.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 2, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 165—175.— *Сидоров, А. Л.*, Мелкобуржуазная теория русского исторического процесса (А. П. Щапов); в кн.: Русская историческая литература в классовом освещении. Сб. статей с предисл. и под ред. М. Н. Покровского, Комакадемия, Труды Ин-та красной профессуры, т. I, М., стр. 277—350. — *Гудошников, М.*, А. П. Щапов, вступ. статья в кн.: *Щапов А. П.*, Собр. соч., доп. том к изд. 1905—1906 гг., Восточно-Сибирское обл. изд-во, Иркутск 1937, стр. V—XXXI.

Библиография: [*Н. Н. Козьмин*], Библиографич. указатель сочинений и статей А. П. Щапова (подпись Н. Н. К-а); в журн.: «Книговедение» № 6, 1894, стр. 1—12.

Великие русские просветители. Чернышевский

Историческое значение нового направления, берущего начало в 60-е годы, заключалось в том, что оно впервые выступало на защиту угнетенной народной массы, ставило народный вопрос как социальную, а не как этнографическую проблему. Это было отражением в общественном сознании изменения общественного бытия. Народные массы вступали в историю как сознательная историческая сила и требовали нового исторического осмысления современности. Отсюда принцип историзма, настойчиво провозглашаемый новым направлением.

Чернышевский писал: «Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского языков, химии, можно не знать тысячи наук, и все-таки быть образованным человеком; но не любить истории может только человек, совершенно неразвитый умственно»[1].

У этого историзма были свои особые общественные идеологические корни. Историзм буржуазной науки искал в прошлом лишь обоснования настоящего в принципе его причинной обусловленности. Историзм новой науки включал идею дальнейшего прогрессивного развития, идею будущего; ее критика современности обращается к прошлому для обоснования критики существующего общественного и политического строя.

[1] *Чернышевский*, Соч., т. I, стр. 367 (статья о сборнике «Пропилеи»).

Подход от современности для просветителей был не переходом к субъективности, а раскрывал новые стороны закономерности исторического развития, борьбу настоящего с прошлым и последовательное отмирание этого прошлого. В этой обратной перспективе раскрывалась ограниченность прошлого и получалась мера к переоценке настоящего. В этом духе исторической критики, в этой новой объективности, расширенной известной «партийностью», и заключались сила и значение нового направления, представленного прежде всего просветителями. Ленин говорил о Чернышевском, что «от его сочинений веет духом классовой борьбы» [1].

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) был прежде всего общественным деятелем, политическим борцом. Он стоял «во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров...» и проводил «...идею борьбы масс за свержение всех старых властей» [2]. Именно идею народной борьбы он переносил и в изучение истории.

Чернышевский не являлся профессионалом-историком в узком смысле, он не ставил себе задачи создания законченной концепции русской истории. Поэтому попытка соединения отдельных обособленных высказываний Чернышевского, острых и глубоких по своему содержанию, в условный общий очерк истории России не раскрывает существа его исторических воззрений. Исторические явления в изложении Чернышевского обычно обращены к читателю одной определенной стороной, но этим отнюдь не исчерпывается собственное воззрение Чернышевского на данное явление. Сведение этих отдельных высказываний в искусственное внешнее единство лишь искажает подлинные взгляды Чернышевского и заслоняет от читателя их действительное значение [3].

Роль Чернышевского в развитии русской исторической науки состояла не в создании новой концепции русской истории в целом, а в том, что он подверг критической оценке ряд важнейших проблем русской истории и учил критическому подходу к явлениям исторического прошлого.

Чернышевский по вопросам русской истории выступал не как самостоятельный исследователь, а откликался на вопросы, поднятые перед ним современностью и отраженные в исторической литературе. От критики этой литературы он обыкновенно и исходил. Это создает известную пестроту в тематике его выступлений, в круге рассмотренных им вопросов. Но в то же время эти отдельные высказывания Чернышевского связаны внутренним принципиальным единством — единой целеустремленностью. Это единство лежит прежде всего в основных принципиальных установках общих исторических взглядов Чернышевского.

---

[1] *Ленин*, Из прошлого рабочей печати в России, Соч., т. XVII, стр. 342.

[2] *Ленин*, Соч., т. XV, стр. 143—144.

[3] Указанная неверная постановка вопроса резко отразилась в статье А. Л. Шапиро в «Саратовском сборнике» о Чернышевском.

Первая общая идея, характерная для исторических работ Чернышевского, — это идея исторического прогресса. Наиболее ярко выразил ее Чернышевский в статье «О причинах падения Рима» [1], написанной по поводу книги Гизо «История цивилизации во Франции». Правда, теория прогресса Чернышевского сохраняла идеалистические черты: он видел прежде всего непрерывность развития духовной культуры и ее распространение на все более широкие массы человечества. Чернышевский не мог связать глубокие изменения в мировой истории с внутренней закономерностью развития производственных отношений. «Погибель Римской империи» оказывалась для него только «геологической катастрофой» [2].

И все-таки за этим неверным положением у Чернышевского скрывалось зерно истины, мысль о непрекращающемся развитии исторической жизни самого народа: «Отживает свою жизнь организм отдельного человека... при каждой смене поколений возобновляются силы народа» [3]. «Стареет отдельный человек, в обществе пропорция свежих и усталых сил вечно остается одинакова» [4],— продолжает Чернышевский противопоставление общественного организма физиологическому, к уподоблению которых так склонна была научная мысль XIX в. И за этим скрывалась мысль, что история римского народа не заканчивалась падением Римской империи, что он не сходил с исторической сцены. Мы дадим этому вопросу другое объяснение: кризис античной рабовладельческой системы в римском обществе вызван развитием новых производственных отношений в римском обществе, завоевание варваров сбросило господствующую правящую рабовладельческую верхушку, но не устранило от исторической жизни самого народа. Этой внутренней сущности исторического процесса Чернышевский не сумел раскрыть, так как не дошел до понимания значения производственных отношений в развитии общества.

Но Чернышевский выступал против «обольщения реторикой», против введения «в историю отвергаемых наукою понятий о назначении одного народа на место другого (как на место столоначальника, устаревшего или умирающего, назначается другой столоначальник...)» [5], против деления народов на исторические и неисторические. И этот вопрос подсказан ему современностью. Это вопрос о России и Западной Европе, о закономерности их исторического развития: «разоблачение ошибочного взгляда на вопрос ветхой старины» важно «для очищения самохвальных и, к счастью, пустых мыслей о некоторых живых отношениях» [6]. Он высту-

[1] См. *Чернышевский*, Соч., т. VIII.
[2] *Чернышевский*, Соч., т. VIII, стр. 167.
[3] Там же, стр. 158.
[4] Там же, стр. 159.
[5] Там же, стр. 162.
[6] Там же, стр. 171.

пает против идеи об особой исторической миссии России, которая якобы идет на смену «гнилому Западу», и показывает значительное превосходство Западной Европы того времени перед еще не освободившейся от крепостнических пут Россией.

При этом в подходе к конкретному процессу исторического развития Чернышевский не остается в сфере внешних культурно-исторических вопросов. Проблема прогресса связана для него с проблемой закономерности исторического развития. Он требует, чтобы историк знакомил нас «с ходом развития обществ и народов, а не только с военными событиями и сухими именами, не имеющими существенной важности для нравственной и экономической жизни народов»[1]. Вопросы экономической истории, классообразования являются для него центральными проблемами в истории. Его статья о сборнике «Пропилеи» особенно показательна в этом отношении. Чернышевский в разбираемых статьях сборника особенно тщательно выделяет именно эту сторону, материал, вскрывающий возникновение и сущность классовых противоречий античного и феодального общества. Учению государственной школы о государственном происхождении сословий он противопоставляет экономическое объяснение деления на эксплоататоров и эксплоатируемых. Он глубоко чувствует эти противоречия в современном обществе. В отмеченной уже статье «О причинах падения Рима» Чернышевский писал об огромной массе народа, еще не приобщенного к достижениям современной культуры по условиям существующего общественного строя. В статьях по истории революции 1848 г. во Франции (особенно в работе «Кавеньяк») Чернышевский подходил уже близко к классовому объяснению исторического процесса.

Вопросы русской истории в освещении Чернышевского

Чернышевский, как и Добролюбов, всегда внимательно следил за развитием русской исторической науки. В ряду ее представителей в период 40—50-х годов он выделял ее передовых представителей — Кавелина и Соловьева; в работах последнего он видел первый опыт научного изучения русской истории, попытку раскрыть ее внутреннюю закономерность и установить ее параллелизм с историей Западной Европы. В то же время он совершенно правильно отмечал их основные недостатки: переоценку государственного начала и искусственное выпячивание колонизационной проблемы[2].

Но собственные интересы Чернышевского были обращены к определенным конкретным вопросам русской истории. Это были вопросы, связанные тесными нитями с современностью, и в них и сказалось то новое, что внес в историю Чернышевский.

---

[1] *Чернышевский*, Рецензия на сборник «Пропилеи», Соч., т. I, стр. 369.
[2] *Чернышевский*, Рецензия на IV том «Истории» Соловьева, Соч., т. I, стр. 159—164.

Его основные работы относятся к концу 50-х — к началу 60-х годов, к эпохе «крестьянской» реформы. Если Соловьев отразил буржуазную позицию в подготовке реформы, то Чернышевский подошел к ней как выразитель народных интересов, как революционный демократ. Отсюда шла его оценка реформы, а вместе с тем и оценка основных вопросов русской истории.

В «Письмах без адреса» Чернышевский государству как творцу нашей истории противопоставляет народ как ее действующую силу. Народ был главным действующим лицом во все трудные моменты русской истории: в борьбе с польской интервенцией, с наполеоновским нашествием. Но народ продолжал нести всю тяжесть и несправедливость крепостного права. Поражение в Крымской войне сделало невозможным дальнейшее сохранение старого порядка вещей. Но народ должен и хочет сам решать свою дальнейшую судьбу. «Народ не думает, чтобы из чьих-нибудь забот об нем выходило что-нибудь действительно полезное для него»[1]. Отмена крепостного права — не государственное, а народное дело; равно и возникновение его было результатом не требований общественной пользы, а насильственного захвата. О незаконности помещичьих прав на землю Чернышевский писал, несмотря на цензуру, в своей статье «Труден ли выкуп?»

Взгляд, что народ бесправен и угнетен и только реформа может и должна положить начало новому порядку вещей, этот взгляд был решительным поворотом от буржуазной позиции, от концепции Соловьева, для которого реформа являлась лишь законным завершением всей государственной деятельности, начавшейся с Петра I. Именно этой концепции противопоставлял Чернышевский свою характеристику послепетровской России, показывая, что Петровские реформы отнюдь не произвели такого глубокого переворота, что допетровская Русь продолжала жить и после Петра: «Бороды сбрили, немецкое платье надели, но остались при тех же самых понятиях, какие были при бородах и при старинном платье»[2]. Этой же теме посвящена и статья Чернышевского «Прадедовские нравы» [3]. Положение, что не Петр I, а реформы 60-х годов составляют переломный момент в русской истории, было подсказано Чернышевскому его революционно-демократическим подходом к социальным вопросам. И в этом не было антиисторического отрицания роли Петра I, как готовы некоторые толковать эти замечания Чернышевского [4]. Сам он высоко ставил Петра I и его деятельность: «Бедный Петр, — писал он в «Современнике»

---

[1] *Чернышевский*, Избр. соч., т. I, стр. 113.

[2] «Н. Г. Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи», Саратов 1928, стр. 67.

[3] *Чернышевский*, По поводу «Записок» Державина, Соч., т. VI, стр. 289—330.

[4] См. статью *Шапиро*, Н. Г. Чернышевский, Сборник статей к 50-летию, Саратов 1939, стр. 171—172.

в 1861 г., — когда-то он дождется для себя хотя сколько-нибудь сносного историка, который бы взглянул на него прямо и смело, с исторической точки зрения, и определил бы настоящую цену и достоинство его исторической деятельности» [1].

Чернышевский последовательно развивает эту же мысль и в связи с другим опытом реформ, к которому так охотно обращались буржуазные симпатии русского либерала, — в связи с вопросом о реформе Сперанского. В статье «Русский реформатор» он еще раз дал оценку дореформенной крепостнической России и возможности перехода к новому порядку вещей. Крах реформаторских планов Сперанского объяснялся всей системой, господствовавшей в России, сломить которую один Сперанский — чиновный реформатор — был бессилен; дело было не в частной реформе, а в изменении всей системы. И на примере Сперанского Чернышевский осудил не только дореформенную Россию, но и иллюзию либеральных реформ: «В своей восторженной хлопотливости, на ложном пути они (реформаторы типа Сперанского) как будто добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль итти тем же ложным путем» [2].

Итог исторического опыта приводил, таким образом, к ликвидации крепостной эпохи, к реформам 60-х годов, к необходимости коренной ломки действующей системы. Но и в определении пути будущего Чернышевский оставался верен своему историческому принципу. Он не отрывался от исторической почвы, но и не идеализировал прошедшего. Поэтому и его взгляд на русскую общину не переходил в противопоставление России Западной Европе и в отрицание результатов западноевропейского исторического развития. Он говорил о том, что «для нас самих этот обычай пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее устройство, его введение будет значительно облегчено существованием прежнего обычая» [3]. Но в то же время он понимал, что Запад идет к той же цели своим, другим путем, что наличие общины не освобождает нас от освоения опыта западноевропейского общества и что сама община не является застывшей исторической формой, что она сама будет изменяться с развитием общественных отношений.

Понимание русской истории и понимание современности составляло внутренне связанное целое в мировоззрении Чернышевского — революционного демократа. Этим Чернышевский и положил начало новому пониманию русской истории.

Добролюбов

Николай Александрович Добролюбов (1836—1861) именно в этот период начавшегося кризиса буржуазной исторической науки, подобно Чернышевскому, поднял знамя подлинного научного историзма. Будучи не спе-

[1] «Литературное наследство», т. XXV/XXVI, М. 1936, стр. 210.
[2] *Чернышевский*, Русский реформатор, Соч., т. VIII, стр. 319.
[3] *Чернышевский*, О причинах падения Рима, Соч., т. VIII, стр. 173.

циалистом-историком, а критиком и публицистом, Добролюбов в своих статьях, посвященных историческим вопросам, обнаруживал прекрасное знание истории России и глубокое понимание путей и задач исторической науки. В ряду буржуазных историков и он выделил наиболее прогрессивного представителя современной ему исторической науки — Соловьева, и так же, как Чернышевский, отмечал и его слабые стороны [1].

В период возрождения литературно-художественного, летописно-повествовательного направления в русской исторической науке Добролюбов подверг его жестокой критике в статьях, посвященных Устряловской «Истории царствования Петра Великого», являющихся в сущности самостоятельным исследованием русского критика о Петре Великом.

Добролюбов говорит о «летописности» труда Устрялова: «Автор посмотрел на свой труд более с биографической, нежели с общеисторической точки зрения. Оттого из «истории» его вышла весьма живая картина деяний Петровых, весьма полное собрание фактов... но истинной истории, во всей обширности ее философского и прагматического значения, нельзя видеть в ныне изданных томах «Истории Петра В.» [2] «История не есть набор более или менее элегантных фраз, прикрывающих пустоту содержания», — повторяет он в рецензии на шестой том Устрялова. И отмечая несомненное значение собрания и публикации большого количества источников, археографическое значение его труда, Добролюбов указывает, что от историка требуется истолкование фактов в их внутренней связи и обусловленности: решение дела царевича Алексея будет дано лишь тогда, «когда события из его жизни будут рассмотрены в связи с тем, что происходило в России конца XVII и начала XVIII столетий» [3].

Идея внутренней закономерности исторического развития является и для него направляющей, ведущей идеей. В свете ее разрешает он и проблему Петровских реформ, в частности вопрос о роли самого Петра в реформе, большой вопрос о роли личности в истории. «История занимается людьми, даже и великими, только потому, что они имели важное значение для народа или для человечества. Следовательно, главная задача истории великого человека состоит в том, чтобы показать, как умел он воспользоваться теми средствами, какие представлялись ему в его время; как выразились в нем те элементы живого развития, какие мог он найти в своем народе. Смотреть иначе значило бы придавать гению значение невозможное для человека» [4].

---

[1] См. *Добролюбов*, Полн. собр. соч., М. 1936, т. III. Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым, стр. 220—284, и т. IV, Рецензия на учебник русской истории Соловьева, стр. 328.

[2] *Добролюбов*, Полн. собр. соч., т. III, стр. 121.

[3] *Добролюбов*, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 194.

[4] *Добролюбов*, Полн. собр. соч., т. III, стр. 120.

Среди споров западников и славянофилов о значении насильственной европеизации России, проведенной Петром, Добролюбов определил свою особую точку зрения на Петровские реформы, на совершенный Петром «насильственный переворот»: «Петр, по своему воспитанию и по коренным убеждениям, принадлежал своему времени и народу; он не был в нашей истории явлением внешним и чуждым» [1]. «Петр был сильным двигателем, — возвращается он еще раз к той же мысли, — направление же движения было не от него... оно задавалось, как всегда и везде, ходом истории» [2].

Добролюбов в этих высказываниях подходит уже непосредственно к марксистскому пониманию роли личности в истории. Подчеркивая внутреннюю обусловленность Петровских реформ, Добролюбов не снижает исторической роли Петра. Напротив, в исторической обусловленности Петровских реформ он видит их подлинное значение, а в Петре I — великого исторического деятеля.

Но вместе с тем в исторической обусловленности и для него, как и для Чернышевского, определяется и историческая ограниченность деятельности Петра. В своей рецензии на «Русскую цивилизацию, сочиненную г. Жеребцовым», Добролюбов, подобно Чернышевскому, резко подчеркивает сохраняющуюся связь послепетровской России с прошлым, тем самым снова противопоставляя Петровские реформы задачам современности. «Как ни крут и резок кажется переворот, произведенный в нашей истории реформою Петра, но если всмотреться в него пристальнее, то окажется, что он вовсе не так окончательно порешил с древней Русью, как воображает, с глубоким прискорбьем, большая часть славянофилов... Древняя Русь... вовсе не так далеко от нас... Не стоит убиваться из-за того, ежели в древности бояре в думе «сидели, брады свои уставя», а ныне чиновники в разных местах сидят, вовсе бород не имея... Ведь они и без бород так же точно *думают*, и точно так же *дело делают*, как прежде делали с бородами» [3].

На книге Жеребцова, претенциозной и безграмотной, как пишет Добролюбов, он остановился лишь потому, что в своей трактовке русской истории в духе славянофильства, или, вернее, в духе официальной народности, Жеребцов поставил более общий принципиальный вопрос о закономерности русского исторического процесса и о его отношении к истории Западной Европы.

Добролюбов с ясной последовательностью отделяет внутреннюю закономерность конкретного исторического процесса от ложной теории самобытности, превратившейся в идеализацию про-

[1] *Добролюбов*, Соч., т. III, стр. 137.
[2] Там же, стр. 203.
[3] Там же, стр. 283.

шлого, в идею своеобразного мессианизма в русской истории, идущую от славянофилов.

Другую сторону этого вопроса Добролюбов осветил на разборе сочинения, вышедшего из другого лагеря, — путевых писем И. Бабста «От Москвы до Лейпцига», появившихся в «Атенее» в 1859 г. Основную идею этого направления Добролюбов резюмирует в следующих словах:

«Каждый народ проходит известный путь исторического развития; Запад вступил на этот путь раньше, мы позже; нам остается еще пройти многое, что Западом уже пройдено, и в этом шествии, умудренные чужим опытом, мы должны остеречься от тех падений, которым подверглись народы, шедшие впереди нас» [1].

Добролюбов хотя и готов солидаризироваться с этим выводом, сам смотрит еще дальше вперед, не обольщаясь достижениями Запада: «Того, что сделано у других, все еще слишком мало» [2].

Смысл исторического развития Добролюбов видит в освобождении угнетенного народа от вековой эксплоатации:

«Массы народные всегда чувствовали, хотя смутно и как бы инстинктивно, то, что находится теперь в сознании людей образованных и порядочных. В глазах истинно-образованного человека нет аристократов и демократов, нет бояр и смердов, браминов и парий, а есть только *люди трудящиеся* и *дармоеды*. Уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории» [3].

От имени этих «людей трудящихся», представителем крестьянской народной массы и выступил в русской истории в 60-е годы Щапов, хотя еще, как оговаривал Добролюбов, «смутно и как бы инстинктивно», но с той же последовательностью, которая пронизывает всю деятельность великих русских просветителей.

Щапов. Формирование взглядов

Формирование взглядов Щапова определялось как общим состоянием русского общества, так и личными условиями его жизни. Выходец из бедной бурятской деревни, он прожил тяжелую и трудную жизнь. «Невольник бурсы, семинарии и академии, невольник арестантского отделения Петербургского военного госпиталя, невольный путешественник из Казани в Петербург, из Петербурга в Иркутск, из Иркутска в Омск и обратно, невольный житель Иркутска, медленно убиваемый в нем горем и бедностью в продолжение 12 лет», — так характеризует историк Сибири Шашков жизненный путь Щапова.

Афанасий Прокофьевич Щапов (1830—1876) был сыном сельского священника и крестьянки бурятки села Амги Иркутской губернии. Он получил образование сперва в иркутской бурсе,

[1] *Добролюбов*, Соч., т. IV, стр. 387.
[2] Там же, стр. 402.
[3] *Добролюбов*, Соч., т. III, стр. 267.

потом в духовной семинарии в Иркутске; уровень обучения в бурсах и духовных семинариях вообще стоял низко, а в далекой Сибири тем более. Но большие способности Щапова выделили его уже в эти годы, и по окончании в 1882 г. духовной семинарии он был послан в Духовную академию в Казань для получения высшего духовного образования. Здесь определился окончательно его интерес к истории, он занялся серьезным изучением русской исторической литературы XIX в. и по окончании академии в 1856 г. был оставлен при Академии для чтения лекций по русской истории. К этим первым годам его научной работы относятся его исследования по истории раскола в России, написанные на основе Соловецкого архива, перевезенного в Казань. Переход на работу в Казанский университет открывал перед Щаповым новые, широкие перспективы.

События 1861 г. изменили его дальнейшую судьбу. Его выступление на организованной студентами гражданской панихиде по жертвам расправы в Бездне повлекло за собой арест и высылку в Петербург для следствия. Дело замяли, но профессорская деятельность Щапова оборвалась.

Кратковременный период пребывания Щапова в Петербурге связал его с передовыми кружками периода подъема общественного движения в России. Щапов испытал на себе глубокое влияние Чернышевского и Добролюбова, он был близок к кружку Писарева и вынес оттуда увлечение естественнонаучными вопросами, характерное для поколения 60-х годов. Петербургский период Щапова отмечен оживленной журнально-публицистической деятельностью.

В 1864 г. общая волна правительственных репрессий захватила и Щапова, который был выслан в Иркутск. Из Петербурга он увозил с собой новые идеи и новые книги и на первых порах взялся деятельно за работу. С одной стороны, он занялся конкретным изучением народной жизни, истории Сибири (к 1866 г. относится экспедиция в Туруханский край). С другой стороны, Щапов стремится глубже вдуматься в основные вопросы истории России, разобраться в больших теоретических проблемах, поднятых русской исторической литературой, объяснить смысл русского исторического процесса. К этому периоду и относится формирование материалистических взглядов Щапова на историю.

Но силы Щапова постепенно иссякали, оторванный от центров культурной жизни, без живых культурных связей, в условиях растущего одиночества, обостренного личной драмой—смертью жены, Щапов быстро угасал. Он умер в 1876 г.

Жизненные условия не дали Щапову широкой научной подготовки, полноты исторических знаний, которые могли выработаться у историка, получившего образование в Московском или Петербургском университете под руководством лучших представителей русской исторической науки того времени. Приходилось

все время пополнять свои знания, доучиваться как бы на ходу, а жизнь продолжала бросать из стороны в сторону, не оставляя возможности для систематической работы. Вооруженность научными знаниями и научным методом отставали у Щапова от развития его общих идей, от его общественного мировоззрения, и это накладывало свою печать на его работу. Знания брались часто из вторых рук, из основной исторической литературы, создавая своеобразную зависимость Щапова от последней. Большей частью можно указать источник основных положений, от которых идет Щапов: они взяты из буржуазной историографии, прежде всего у Соловьева. Но эти проблемы он пытается повернуть по-новому, разрешить их с позиций своего нового исторического мировоззрения. В старые схемы он старается внести новое содержание, новое истолкование, идущее от народной жизни, подчиняя их, пусть неверно понятой, отраженной «уродливо», но все-таки новой, социальной трактовке.

Народ представлялся Щапову в образе той широкой массы угнетенного крестьянства России, с которым его связывало происхождение, долгие годы жизни, глубокое сочувствие к его страданиям. Жизнь народной массы, ее история были от начала и до конца основным предметом его общественных интересов и исторических воззрений, основным содержанием всех его исторических работ. В исторической литературе о Щапове есть тенденция представлять себе его деятельность в виде ряда отдельных, противопоставленных друг другу этапов, непрерывного перехода от одной системы взглядов к другой: сперва церковная тематика в расколе, затем под влиянием просветителей проблема народного начала в истории, потом переход к материалистическим воззрениям конца 60-х годов и, наконец, идеалистическая теория «социально-педагогических условий умственного развития русского народа», характеризующая последний период его научной деятельности. Но в этих изменениях, за их внешней разорванностью, была в действительности глубокая внутренняя связь; за этими последовательными переходами его мысли стояло логическое развитие одной идеи, раскрытие разных сторон одной темы — истории народа в ее материальных предпосылках и в искании выхода из того тяжелого угнетения, в который поставила его история.

Раскол как народное движение

Это направление характеризует уже первую большую работу Щапова — «Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII в. и в первой половине XVIII в.», представленную им при окончании Духовной академии. У некоторых биографов есть тенденция обвинять Щапова и за выбор темы и за его официальную, в общем положительную оценку Никоновской реформы. Вспоминают при этом и критический отзыв «Современника» на эту работу. Но при этом забывают, что критика «Совре-

менника» была критикой непоследовательности, допущенной автором, в котором рецензент правильно почувствовал человека своего лагеря, демократа. Неудивительно, что начальство Духовной академии долго колебалось, принимать ли работу Щапова, в которой формально все как будто было на месте, но от которой ясно веяло новым, чуждым церковности духом. Забывают, что Щапов писал свою работу как специальную диссертацию для Духовной академии, что от нее зависела вся его будущая работа.

А между тем, если подойти к работе Щапова с учетом тех условий, в которых она создавалась, то уже самый выбор темы окажется знаменательным. В жизни Духовной академии такая тема выбиралась впервые. Обязанный дать работу из истории русской церкви, Щапов остановился на той единственной теме церковной истории, в которой действующим лицом был сам народ, где тема церковной истории переходила в историю народного движения. Эту задачу своей темы Щапов отразил в самом названии своей работы. Церковная реформа и раскол для него уже не были лишь полемикой об обрядах и догматах. Он увидел в этом движении более глубокое противоречие между обществом и церковью в их внутренней жизни. Он говорит о «церковно-гражданском демократизме раскола», видит в нем «смелый протест против подушных переписей, податей «и даней многих», против рекрутства, крепостного права, областного начальства и т. п.»[1] Он ищет поэтому связи раскола с основными крестьянскими движениями эпохи, прежде всего с крестьянской войной под руководством Разина.

Но отсюда с необходимостью вытекал уже дальнейший вывод: раскол из движения узко церковного превращался в широкое, социальное движение народа — «уже не только против церкви, но и против государства, и не против одних церковных исправлений Никона, но и против гражданских преобразований и нововведений»[2].

Правда, соблюдая официальную трактовку, Щапов дает положительную оценку и реформе Никона и политике царя Алексея Михайловича, направленным на упорядочение существующей системы, преследующим прогрессивные задачи. Но из-за этой общей формулировки выступает незаметно, но настойчиво иное содержание.

Почему нужны были реформы Никона? Потому, что вся русская церковь в это время была в состоянии полного разложения, насквозь прогнила, переживала полный упадок нравственности. Почему это движение направлено против московского правительства, против московской администрации? Потому, что эта администрация была насквозь продажна и строила всю свою деятель-

[1] *Щапов*, Соч., т. I, Спб. 1906, стр. 103.
[2] Там же, стр. 219.

ность на жестокой эксплоатации народных масс. Наконец, почему расколоучители пользовались такой популярностью и таким авторитетом в народе? Потому, что они влияли на массы своим нравственным авторитетом, потому, что они были духовно связаны с народной массой, отвечал Щапов.

Все эти конкретные положения щаповской трактовки уже далеко уходили от официальной трактовки: внутренняя правда оказалась на стороне народа. Критика «Современника» и изменение в положении самого Щапова, освободившегося с переходом в университет от прямой зависимости от церковного начальства, позволили ему сделать из всего этого логический вывод в следующей работе о расколе — «Земство и раскол». Но все элементы этой конечной трактовки были даны уже в первой работе Щапова.

Говоря о работе Щапова по расколу, необходимо напомнить и то значение, которое придавалось расколу в общественном движении 60-х годов. В частности кружок Герцена видел в расколе народную оппозицию против государства и собирался его использовать в борьбе с самодержавием. Интерес к расколу отразился в многочисленных работах Кельсиева. Здесь было, конечно, полное непонимание смысла раскола в XIX в.; все же этим определялась в известной мере общественная значимость и работ Щапова по расколу. Известный Муравьев-Вешатель считал, что «раскол выбран орудием, или, лучше сказать, рычагом, чтобы все поднять для какой-нибудь новой пугачевщины» [1].

В отличие от Костомарова, которого иногда сближают со Щаповым, проблема народа бралась Щаповым не этнографически, а в ее конкретно-историческом социальном содержании, — не в абстрактном противопоставлении, а в конкретном столкновении с государством. Этой теме подчинялся у Щапова и тот обширный этнографический, фольклорный материал, который использовался им не менее полно, чем Костомаровым.

Наряду с основной темой народного движения Щаповым уже в этой первой его работе намечаются и другие вопросы, которыми он занялся в дальнейшем. Пока они еще не обособились, не определились как проблемы, но в самом их выявлении сказывается уже элемент внутренней связи между ними. Перед ним намечается уже проблема внутреннего противоречия русской истории. Народ для него — главное действующее лицо; но оказывается, что народ в XVII в. невежествен, забит, и что поэтому государство, а не народ, — так представляется Щапову, — направляет развитие русской истории. Отсюда и должны были родиться вопросы, разрешением которых Щапов занялся в дальнейшем: откуда возникло это противоречие? и как его преодолеть?

[1] *Щапов*, Соч., т. III стр. LVIII, Биографический очерк.

Значение народа в истории России

В 1859 г., приступая к чтению лекций в Казанском университете, Щапов изложил во вступительной лекции свой взгляд на историю России[1]. «Не с мыслею о государственности, не с идеей централизации, а с идеей народности и областности я вступаю на университетскую кафедру русской истории». И дальше он развил эту мысль, указывая, что основное содержание русской истории должно состоять в местном «саморазвитии», во «внутренней жизни областей», в «своеобразном, территориальном, этнографическом самообразовании областей путем колонизации»: такова первоначальная борьба областей между собой, их последовательное объединение для борьбы с интервентами в смутное время, их борьба с правительственной централизацией в XVII—XVIII вв. «Итак, с мыслею об областности и народности я избираю для своих чтений историю великорусского народа, или великорусских областных общин в связи с Сибирью».

Университетская деятельность Щапова оборвалась, как указывалось, уже в 1861 г. Но проблемы, поставленные им в этом курсе, определили основное содержание его исторических работ следующего, петербургского, периода (1861—1864), отразившееся в его многочисленных журнальных статьях.

Вслед за второй работой по расколу «Земство и раскол» (1862) появились основные статьи Щапова этого периода: «Великорусские области и смутное время», две статьи о «Земских соборах в XVII в.», «Земство», «Сельский мир и мирской сход», «Сельская община», «Городские мирские сходы»[2]. Основная тема этих работ — самодеятельность народа в русской истории, внутренняя организация этой самодеятельности. Ее исходное проявление и ее источник в особом явлении русской истории — в областничестве.

Смысл теории областничества Щапова особенно наглядно выступает при сопоставлении с федерализмом буржуазных историков, покоящимся на формальном этнографическом начале, на принципах буржуазного национализма. Основная мысль Щапова, связывающая проблему народа с проблемой колонизации, заключается в том, что этнографические особенности России сами являются продуктом исторического развития, — областность, а не федерация. В процессе расселения по восточноевропейской равнине народ попадал в разные конкретные исторические условия, материальные и бытовые, и в силу этого создавались областные особенности его отдельных частей. Народности связаны с областями, как продукт исторического развития, и саморазделение страны на отдельные области есть результат исторического развития на данной географической основе. Так по-новому интерпре-

[1] Речь приведена в сборнике «Первый шаг», Казань 1876. Цитирую: *Щапов*, Соч., т. III, Спб. 1908, стр. XXXI—XXXII.

[2] Все эти статьи вошли в первый том сочинений Щапова.

тируется Щаповым и другой элемент буржуазной исторической схемы — проблема колонизации.

Отсюда и другая трактовка русской истории. Не государство организует народ и создает его внутренние связи, а в самом росте народных связей корень второго этапа русской истории. Говоря о «Великорусских областях в смутное время» и начав с показа областей и исторических их особенностей, Щапов перешел к складыванию государства, явившемуся ответом народа на интервенцию. В борьбе с внешним врагом народные массы почувствовали причину своей слабости в разрыве внутренних сил. По мере того как угроза существованию народа становилась острее, области начали вступать в сношения между собой, они договаривались между собой, пересылали грамоты — и на этой народной основе выросло народное ополчение. Это единение сил народа — источник победы его над интервенцией и образования Русского государства.

В этом единстве народа Щапов ищет дальше пути оформления его сил, их складывание в новые политические организации. Поэтому такое явление, как земские соборы, которые для Чичерина и Ключевского были лишь административным органом, продуктом творчества государственной власти, для Щапова были продуктом подъема народного движения, роста народных сил в XVI—XVII вв.

Но подчеркивая характер народного представительства в земских соборах, выясняя явления народной самодеятельности в прошлом и в современной жизни народа, — мирской сход, сельская община, — Щапов видел в них не абстрактный идеал, воплощенный якобы в прошлом Московской Руси, а реальное развитие общественных отношений, конкретное содержание исторического развития русского народа, устраняя прежде всего характерный для славянофилов разрыв между народным духом и конкретной политической историей. В статье «Новая эра», опубликованной в журнале «Современное слово» и вошедшей в дополнительный том его сочинений, Щапов обосновывает свою линию, независимую и от славянофилов и от западников, но прежде всего от первых, хотя и упрощает при этом сущность их идеологических позиций: «Мы выйдем слишком неразумными староверами, если станем желать восстановления самых форм старой, допетровской, хотя и вечевой Руси, которые давным-давно сам народ с *плачем-рыданьем* схоронил, и теперь не помнит» [1]. Он выдвигает идеи «нового — общеевропейски-общечеловечески-мирского духа и стремления»[2], ищет сочетания европейского духа и национального мирского начала.

Таким образом, в его историческом понимании народного начала нет и той исключительности, национальной замкнутости,

[1] *Щапов*, Соч., дополнительный том, Иркутск 1937, стр. 4.
[2] Там же, стр. 3.

которая присуща славянофилам и всему этнографическому направлению. Поэтому в его понимании народного начала есть место и для Петра, для признания большого исторического значения его реформ, что отделяет Щапова уже не только от славянофилов, но и от позднейшего народничества и связывает его с просветителями.

Материализм Щапова. Вопрос о причинах отсталости

Вопросы народной самодеятельности, творческой активности народных масс в русской истории были порождены периодом общественного подъема начала 60-х годов, мечтой о разрешении исторических проблем современности. Правительственная реакция развеяла эти надежды и показала недостаточность общественных сил, неподготовленность народа к борьбе. Не случайно и Щапов, заброшенный в далекий Иркутск, задумывается над этим вопросом, ищет ему объяснения. И в этих поисках он тоже обращается к распространенной мысли об отсталости русского народа, он также готов принять за ее частичное объяснение ссылку на географические условия, с помощью которых он разрешал уже и проблему областничества. Но он не принимает конечного вывода буржуазных историков, которые в идее отсталости видели конечное устранение народа из истории и замену его государством. Щапов в идее отсталости видит ключ к пониманию истории самого народа — результат прошлого и предпосылку для определения пути будущего развития.

Таким образом, проблема народа в русской истории вступает в свою вторую фазу, приводит прежде всего к изучению источников его отсталости. Наиболее характерные статьи Щапова за этот период: «Естествознание и народная экономия», «О влиянии гор и моря на характер населения», «Общий взгляд на историю интеллектуального развития России», а также статья «Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа».

В первой из них, в статье «Естествознание и народная экономия», он прежде всего попытался разобраться в историографии проблемы, в расхождении существующих исторических воззрений. Он обращается против историко-юридической школы, против «ультра-государственного фанатизма Чичерина»: «Государство и народ, по его метафизико-юридической доктрине, — одно и то же, одно целое, государство в народе, народ в государстве»[1]. Он выступает против «метафизической философии права или абстрактной юридической теории»[2], отрекаясь и от собственной мечты изменить судьбу народа по специальному рецепту государственного переустройства. Он отвергает и реакционную идеализацию прошлого: «Защитники славянофильского и так называемого

[1] *Щапов*, Соч., т. II, стр. 157.
[2] Там же, стр. 159.

органического, историко-паутинного плетения народного развития в этом застое старины и пошлины видят жизненную силу и мощь России»[1]. Сам Щапов выдвигает теперь проблему улучшения «умственного и экономического быта народа».

Здесь он обращается прежде всего к теории, которую называет «экономической» и которую связывает с именем Чернышевского. Он обращается к вопросам экономической истории, чтобы установить повсеместность противоречия между бедностью и богатством, чтобы поднять голос на защиту «рабочего люда». Он даже приближается к идее классовой природы неравенства в его первоначальных истоках: «Сила, оружие, война, грабеж, обман, воровство и непосредственно-натуральное расхищение экономии природы... — вот первоначальные источники богатств в обществах...» [2]

Но и ему, как и просветителям, недоставало марксистской теории, учения о производительных силах и производственных отношениях, чтобы в жизни самого общества найти закономерное объяснение развитию этих противоречий. Щапов в конечном итоге обращается к естествознанию и ссылается на Дарвина. Разрешение исторической проблемы в целом он ищет «в области естествознания и естествоиспытующего разума». Социальная и экономическая проблема, сведенная к физиологической проблеме «поддержания своего существования», сама лишалась исторического содержания. Разрешение этой проблемы оказывалось «в естественно-научной экономии и гигиене рабочих физических и умственных сил народа и проч., и следовательно в области естествознания» [3].

Исходя из этих положений, Щапов попытался связать новую физиологическую теорию с риттеровской теорией географического фактора, заимствованной им у буржуазной историографии. Географический фактор вступал в историю через физиологию человека. Щапов развернул сложную теорию об особенном составе крови великоруссов как продукте географических, а также этнологических процессов, т. е. особых процессов складывания русского народа [4]. Эти физиологические особенности породила «вековая колонизация огромных пустынных пространств северо-востока», которая «естественно обусловливала больше физическое, и в частности, в сфере познавательных способностей, сексуальное или чувственное, чем интеллектуальное развитие русского народа» [5]. Отсюда замедленность процессов восприятия у великорусса, медленность реакции на внешние возбуждения, что́ дол-

[1] *Щапов*, Естествознание и народная экономия, Соч., т. II, стр. 162.
[2] Там же, стр. 164.
[3] Там же, стр. 161.
[4] См. *Щапов*, Общий взгляд на историю интеллектуального развития России, Соч., т. II, стр. 481—504.
[5] Там же, стр. 483.

жно объяснить и запаздывание исторического развития русского народа. Географические условия превращаются в биологические и физиологические условия развития человека; отставание русского исторического процесса оказывается результатом физиологических, а отсюда и психологических особенностей русского народа.

При этом самый психический склад является, однако, не абстрактным этнографическим свойством, а продуктом конкретных свойств человеческой природы и вместе с тем явлением исторически развивающимся и изменяющим свое содержание в историческом развитии жизни самого народа.

Поэтому, как ни странно и чуждо звучат в настоящее время эти построения Щапова, они имели известное значение в борьбе с идеалистической и насквозь антиисторической концепцией этнографического направления в истории. Но материализм Щапова оставался все же внешним по отношению к самому историческому процессу. Именно это характеризует всякий вульгарный материализм, в том числе и биологический, который видит факторы, определяющие историческое развитие не в самом историческом процессе, а в условиях жизни человека, входящего в тот коллектив, в ту народную организацию, которая действует в этом историческом процессе. В силу этого в конечном счете разрешить проблему закономерности исторического развития этот материальный фактор не мог.

Отсюда конечный вывод Щапова как будто сближался в этом отношении с выводом государственной школы, которая говорила, что природный фактор замедлял и не давал возможности развиваться народной жизни и потому поставил народ в зависимость от государства, которое само стало определять судьбы народа помимо народа.

Народ и государство. Прогресс и интеллигенция

Но придя к этой интерпретации русской действительности, русского прошлого, Щапов ищет иного разрешения исторического противоречия, чем то, которое давала государственная школа.

Сущность государственной теории Чичерина и Кавелина заключалась в том, что они рассматривали государство в качестве решающей силы в истории; в ней судьба русского народа решается историческим развитием государства и его действиями. Щапов на это отвечает обратным положением: да, народ не имеет необходимой организованности, и поэтому полнота власти сейчас принадлежит государственной организации, оторванной от народа. Но это не значит, что государство может определять историческое развитие народа. Именно потому, что государство оторвано от народа и само держит власть в своих руках, историческое развитие народа в целом невозможно. Для того чтобы это историческое развитие стало возможным, надо, чтобы народ сам

взял в свои руки свои судьбы, а для этого надо ускорить развитие народа, народного просвещения, народной культуры. Тогда только станет возможно дальнейшее историческое развитие России, и это развитие пойдет так, как оно идет у других народов.

Государственная теория отдавала народ во власть государства. Щапов отвечает на это, что народ надо сделать сильным, чтобы он смог через голову государства направить вперед свое развитие.

Но тем самым от материалистического понимания отсталости Щапов логически переходил к идеалистическому решению задачи ее ликвидации через просвещение народа. Такова внутренняя логика всякого вульгарного материализма: подчиненный воздействию внешней силы, исторический процесс и разрешение своих противоречий находит в другом, внешнем воздействии.

Эту мысль Щапов отразил уже в статье «Общий взгляд на историю интеллектуального развития России» и подробно развил в работе «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа».

В этих статьях по-иному ставится вопрос о роли самого государства в русской истории. Роль государства прогрессивна лишь постольку, поскольку оно содействует просвещению народа и подготовляет его к активному участию в исторической жизни. В этой связи Щапов снова возвращается к высокой оценке исторического значения деятельности Петра I, проведенной им европеизации России; он готов признать прогрессивность всего XVIII в. как века просвещения, не замечая той социальной и политической реакции, которая развернулась уже при Екатерине II в борьбе с французской революцией 1789 г.

Для него реакционность русского царизма начинается с периода Священного союза, с 1815 г., и охватывает весь XIX в. Он и здесь в плену у своих «социально-педагогических идей» и от их развития ведет свою периодизацию.

В пределах последних ему принадлежит, впрочем, не лишенное проницательности наблюдение: он подчеркивает стремление правительства закрыть народу доступ к знанию, создать разрыв между царской школой и народными запросами. С этой точки зрения он правильно расценил переход от реальной школы, с преобладанием точных и технических дисциплин, к классической гимназии. Здесь в известной мере сказывалась связь с предшествующим периодом, с убеждением Щапова в силе естествознания.

Здесь было и другое: новая школа создавала разрыв и между интеллигенцией и народом. Но раз государство теперь стало против народа и закрыло народу доступ к просвещению, то обязанность просвещения народа ложится на интеллигенцию. В этих положениях был прямой переход к идее «хождения в народ». Мысль Щапова завершала свой логический круг в тех «бесплодных упованиях на иной путь развития», о которых и писал Ленин.

Общая оценка

Итак, исторические взгляды Щапова как бы обозначают путь от буржуазной исторической науки к новым идеям 60-х годов. Последовательно воспринимая элементы выработанной буржуазной наукой исторической концепции, он показал обратную сторону заключавшихся в ней исторических выводов, разоблачив идеализацию государства Чичериным и идеализацию этнографической народности славянофилами.

В своих исходных теоретических позициях Щапов ближе всего стоял к просветительству 60-х годов. С просветителями его связывала пронизанность всего его исторического мировоззрения социальным, демократическим началом, попытки материалистического истолкования исторического процесса и разрешения на его основе проблемы исторической закономерности развития, познания исторического процесса в его внутреннем единстве.

Но вульгарный материализм Щапова стоял за рамками общественной жизни и был поэтому исторически бесплоден. Поэтому историческая концепция Щапова в своем логическом развитии постепенно подводила в проблематике и в постановке исторических вопросов к народнической историографии.

С народничеством его связывала прежде всего идеализация крестьянства, превращение его в основную движущую силу русской истории: «Крестьянство составляет самый многочисленный, самый здоровый, жизненный, рабочий и производительный элемент всего народонаселения России», — писал Щапов в статье «Гражданская грусть» [1]. С другой стороны, его связывало с народничеством утверждение исторической роли интеллигенции, как той основной силы, которая должна привести в движение народную массу. «Главной революционной силой народники считали крестьянство, руководимое интеллигенцией...»[2]

ГЛАВА 23

НАРОДНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Классики марксизма-ленинизма: *Ленин*, Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Соч., т. I, стр. 51—222. — *Его же*, Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе), Соч., т. I, стр. 223—362.—*Его же*, К характеристике экономического романтизма, Соч., т. II, стр. 5—115. — *Его же*, От какого наследства мы отказываемся? Соч., т. II, стр. 303—338. — «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)». Краткий курс. Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), Госполитиздат, М. 1941.

[1] *Аристов*, Афнасий Прокофьевич Щапов, Спб. 1883, прилож. VI, стр. 163.
[2] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 13.

Основные сочинения народников: *Лавров, П. Л.* (Миртов), Исторические письма, изд. 5-е, без перемен, изд. журн. «Русское богатство», Птг. 1917. — *Михайловский, Н. К.*, Что такое прогресс? Герберт Спенсер, Собр. соч. в 7 т.; в кн.: *Михайловский, Н. К.*, Полн. собр. соч., т. I, изд. 5-е, Спб. 1911, стр. 2—150. — *Его же*, Теория Дарвина и общественная наука; там же, стр. 150—332. — *Его же*, Борьба за индивидуальность (Социологический очерк); там же, стр. 422—594. — *Его же*, Герои и толпа; в кн.: *Михайловский, Н. К.*, Соч., изд. «Русское богатство», т. II, изд. 4-е, Спб. 1906, стр. 97—190.—*Воронцов (В. В.)*, Судьбы капитализма в России, Спб. 1882. — *Его же*, Судьба капиталистической России. Экономические очерки России, Спб. 1907. — *Николай — он (Даниельсон, Н.)*, Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства, Спб. 1893. — *Южаков, С.*, Вопросы экономического развития в России; в журн.: «Русское богатство» № 11, 1893, стр. 202—227; № 12, стр. 186—209.

Историки народнического направления: *Соколовский, П. А.*, Очерк истории сельской общины на севере России, Спб. 1877.— *Ефименко, А.*, Исследования народной жизни, вып. 1. Обычное право, изд. Касперова, М. 1884. — *Ее же*, Южная Русь. Очерки, исследования и заметки, т. I и II, Спб. 1905. — *Семевский, В. И.*, Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в., т. I—II, Спб. 1888—1901. — *Его же*, Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II, т. I и II, Спб. 1901—1903. — *Его же*, Политические и общественные идеи декабристов, Спб. 1909. — *Его же*, М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, под ред. В. Водовозова, ч. 1, «Задруга», М. 1922 (Собр. соч., т. II). — *Его же*, Рабочие на Сибирских золотых промыслах. Историческое исследование: т. I. От начала золотопромышленности в Сибири до 1870 г.; т. II. Положение рабочих после 1870 г., изд. Сибирякова, Спб. 1898. — *Ядринцев, Н. М.*, Сибирь, как колония. К юбилею трехсотлетия. Современное положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее, Спб. 1882. — *Щашков, С. С.*, Исторические этюды, т. I—II, изд. Шигина, Спб. 1872. —*Его же*, Исторические очерки, Спб. 1875.

Основная историографическая литература: *Плеханов, Г. В.*, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, Партиздат, М. 1933. — *Ярославский, Е.*, Разгром народничества марксизмом, 2-е испр. изд., Госполитиздат, М. 1939. — *Его же*, Карл Маркс и революционное народничество, М. 1933.

Исторические корни народничества

«Источник» народничества — преобладание класса мелких производителей в пореформенной капиталистической России»[1].

Социальная природа этой среды определила мировоззрение народников. Мелкая буржуазия испытывает тяжесть двойного рода экономических противоречий, связанных одновременно с пережитками феодальной системы и с ростом ка-

[1] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 272

питалистического гнета. Класс мелкой буржуазии является прогрессивным, «...поскольку выставляет обще-демократические требования, т.-е. борется против каких бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостничества; он является реакционным, поскольку борется за сохранение своего положения, как мелкой буржуазии, стараясь задержать, повернуть назад общее развитие страны в буржуазном направлении». Отсюда отмеченный Лениным «...двойственный характер этого класса (у нас в России эта двойственность особенно сильна вследствие меньшей развитости антагонизма мелкой и крупной буржуазии)» [1].

Это определило и двойственность народнической идеологии. «Народничество отразило такой факт русской жизни, который почти еще отсутствовал в ту эпоху, когда складывалось славянофильство и западничество, именно: противоположность интересов труда и *капитала*. Оно отразило этот *факт* через призму жизненных условий и интересов мелкого производителя, отразило поэтому уродливо, трусливо, создав теорию, выдвигающую не противоречия общественных интересов, а бесплодные упования на иной путь развития...»[2]

Эта внутренняя раздвоенность и обусловила то, что осознание классовых противоречий в системе существующих общественных отношений приводило идеологов мелкой буржуазии в лице народников к специфической оценке современности; но разрешение этих противоречий они искали в старой буржуазной науке, опираясь на ее принципы, пользуясь ее методами. Отсюда внутренне противоречивая эклектичность всей системы народнических взглядов; народники в конечном итоге не сумели пойти по линии развития революционного наследия просветителей, а отразили по-своему общие черты наступавшего в буржуазной науке кризиса. Отсюда и Ленинский тезис: «...*очищение*... лучших традиций [просветительства 60-х годов.—*Н. Р.*] *от народничества*» [3].

Так же как и вся буржуазная наука, народническая идеология в конечном итоге разрывала с лучшими началами науки XIX в., уходила от ее основных принципов, неспособная приложить их к назревшим вопросам. Внутренний разрыв пронизывает все народническое мировоззрение.

Историческое развитие вело к упразднению этой двойственности через полное раскрытие внутренних противоречий. Разложение крестьянства, ярко показанное Лениным, с неумолимой силой разделяло мелкобуржуазную стихию на две части — через пролетаризацию и революционизирование ее главной массы и последовательное выявление буржуазной сущности ее кулацкой верхушки.

---

[1] *Ленин*, Что такое «друзья народа», Соч., т. I, стр. 184.
[2] *Ленин*, Экономическое содержание народничества, Соч., т. I, стр. 279.
[3] *Ленин*, Соч., т. II, стр. 338.

Этот исторический процесс получал отражение и в развитии народничества, завершившего в лице своих эпигонов 90-х годов круг своего буржуазного развития. Но это было лишь последовательным раскрытием действительных противоречий исходных идейных позиций народничества, с самого начала чуждого социализму и объективно отражавшего борьбу за американский путь развития капитализма в сельском хозяйстве. Теоретические рассуждения Лаврова и Михайловского в конце 60-х и в 70-е годы получали лишь свое логическое завершение в исторических рассуждениях В. Воронцова, Н. Даниельсона и всех эпигонов народничества.

При этом именно через Лаврова и Михайловского народническая идеология получает свое непосредственное отражение в развитии исторической науки.

Теоретические основы. Социология Лаврова

Непонимание законов исторического развития было органической определяющей частью народнической теории: «...у народников был ошибочный и вредный взгляд на весь ход истории человечества. Они не знали и не понимали законов экономического и политического развития общества. Они были в этом отношении совершенно отсталыми людьми. По их мнению, историю делают не классы и не борьба классов, а лишь отдельные выдающиеся личности — «герои», за которыми слепо идут масса, «толпа», народ, классы»[1], — так определяет эту сторону народнического учения «Краткий курс истории ВКП(б)».

Свое последовательное выражение эта сторона народнической теории получила в литературной деятельности Лаврова и Михайловского. В 1869 г. вышли «Исторические письма» П. Лаврова [2]. В том же году вышла первая крупная социологическая статья Н. К. Михайловского—«Что такое прогресс».

Философские и социологические основы народнического учения получили наиболее полное выражение у Лаврова. Его «Исторические письма» были первой попыткой перенесения философских начал позитивизма в русскую историческую науку. В своих «Исторических письмах» он исходит из Контовской системы научного знания, в которой обществознание, или социология, представляет лишь одно из последующих и высших звеньев: «Эта важная и самая близкая для человека часть естествознания опирается на законы предшествующих областей его, как на готовые данные»[3]. Поэтому на развитие исторического процесса и его понимание влияют, согласно Лаврову, «законы механики, химии, биологии, психологии, этики и социологии, т. е. *всех* фе-

---

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 13—14.
[2] Под псевдонимом Миртов.
[3] *Лавров*, Исторические письма, изд. 4-е, Спб. 1906, стр. 14.

номенологических наук» [1]. Они лишь дополняются еще специфической законосообразностью данной науки так же, как и для каждой другой науки в последовательном ряду естественно-научных дисциплин. В ходе своего изложения Лавров неоднократно ссылается и на учение Дарвина о борьбе за существование, и на биологические работы Геккеля, и на опыт позитивистской социологии Спенсера.

Выделение социологии как естественной науки об обществе вело, с другой стороны, к обособлению истории от социологии. Последовательное приложение начал позитивизма к исторической науке завершилось у Лаврова в противопоставлении истории и социологии и превратилось в более общую антитезу наук исторических и наук о природе, предваряющую соответствующие выводы неокантианской идеалистической философии на Западе. В этой антитезе неизбежно получали раскрытие внутренние противоречия самих философских основ позитивизма. Историческое знание конкретного процесса развития как единичного и неповторяющегося явления противопоставлялось статическим законам естествознания. Но последние оказывались сами лишь логической абстракцией из ряда единичных, индивидуальных в своей конкретности фактов. Отсюда Лавров приходит уже и непосредственно к выводу об условности и субъективном характере закономерности и в системе естественно-научного знания. «*Для человека важны* общие законы, а не индивидуальные факты, — заявляет Лавров,— потому что он понимает предметы, лишь обобщая их; но наука с ее общими законами явлений присуща лишь человеку, а вне человека существуют *только* одновременные и последовательные сцепления фактов, столь мелких и дробных, что человек едва ли может их и уловить во всей их мелкости и дробности» [2].

Самое установление закона происходит путем выделения самим человеком того, что представляется ему существенным, важным для данной системы знания. Так, самое возникновение знания получает субъективный характер: это — «группировка по генетической связи и по *важности* событий»[3]. Отсюда и конечное понимание «реализма» в его противопоставлении «метафизикам разного толка»: «Знать сущность вещей нам невозможно... и заботиться о ней бесполезно»; истина в конечном счете отожествляется с тем, «что *нам* кажется истиной»[4]. Позитивизм переходит, таким образом, в агностицизм и в крайний субъективизм.

Свое крайнее выражение этот субъективизм получает в применении к науке о человеке, об обществе: «Для всей группы наук, относящихся к человеку, критерий важнейшего должен прила-

[1] *Лавров*, Исторические письма, изд. 4-е, Спб. 1906, стр. 31.
[2] Там же, стр. 40—41. (Здесь и дальше курсив автора. — *Н. Р.*)
[3] Там же, стр. 29.
[4] Там же, стр. 311.

гаться сообразно характеристическим особенностям человека [1], особенности же эти неизбежно определяются по его *субъективной* оценке...» [2]

Таким образом, развитие исторического познания представляет не последовательное приближение историка к познанию действительного процесса исторического развития, а лишь последовательную смену оценок исторических явлений с точки зрения принятого историком общественного идеала: «...факты истории остаются, а понимание изменяет их смысл, и каждый период, приступая к истолкованию прошлого, вносит в него свои современные заботы, свое современное развитие»[3]. Вместе с тем утрачивалась и самая закономерность развития как действительное содержание исторического процесса, который превращался лишь в условную систему разрозненных фактов, объединенных с точки зрения определенного, субъективно принятого идеала. Представление об историческом процессе само оказывалось лишь научной фикцией, продуктом субъективной оценки: «Волей-неволей, приходится прилагать к процессу истории субъективную оценку, т. е. усвоив, по степени своего нравственного развития, тот или другой нравственный идеал, расположить все факты истории в перспективе, по которой они содействовали или противодействовали этому идеалу...» «Неизбежно все минувшее располагается для них (людей.— *Н. Р.*) в перспективу, сообразно тому, что они считают *лучшим*» [4].

Таким образом, марксистскому учению о «действительном движении, которое устраняет теперешнее состояние», в философии истории народничества противостоит абсолютный разрыв между историческим развитием и общественным идеалом.

Лавров, стоящий еще у истоков народничества, пытался прикрыть отрицание исторического развития идеей прогресса: «Для каждого *единственный* смысл истории, единственный *закон* исторической группировки событий, закон *прогресса*...»; «в процессе истории мы неизбежно видим *прогресс*» [5].

Но, таким образом, для Лаврова прогресс составляет не действительное содержание процесса, а лишь то, что мы «видим» в этом процессе с нашей, субъективной точки зрения.

Самая теория прогресса распадается при этом на обособленные, самостоятельные элементы. В письме о теории и практике прогресса Лавров определяет три элемента, из которых слагается понимание прогресса: на основе биологии, психологии и социологии устанавливается, «в чем мог состоять прогресс в человеческом обществе»; на основании исторического изучения — «в чем

[1] Принцип Контовской систематизации наук. — *Н. Р.*
[2] *Лавров*, Исторические письма, изд. 4-е, Спб. 1906, стр. 31.
[3] Там же, стр. 17.
[4] Там же, стр. 37—38.
[5] Там же, стр. 39.

заключались различные фазисы исторического прогресса»; наконец, из анализа современности определяется «возможный для нашего времени общественный прогресс» [1]. Но в самом этом расчленении понятия прогресса фактически уничтожалось действительное единство исторического процесса, как единого и закономерного процесса развития. Именно в силу этого теория и практика прогресса отрывается от фактического развития исторического процесса, оказывается лишь субъективной оценкой этого процесса со стороны «критически мыслящей личности», которая, согласно Лаврову, и является носительницей и творцом всякого прогресса.

«Теоретики» народничества противопоставляли в историческом процессе общество и личность. Противоречия современного классового общества, общества капиталистического, основанного на эксплоатации огромного большинства ничтожным меньшинством, превращались в абсолютную противоположность между личностью и обществом. Общество представлялось непосредственным носителем начала закономерности в истории; вместе с отрицанием подлинной объективной закономерности общественного развития народники отрицают и историческую реальность общества. «...Единственный реальный деятель прогресса: *личность*, определяющая свои силы и дело, ей доступное. Мысль реальна лишь в личности. Культура реальна в общественных формах. Следовательно, *личность* остается со своими силами и со своими требованиями лицом к лицу с *общественными формами*» [2].

Лавров развивает теорию «критически мыслящей личности», учение об избранном меньшинстве, интеллигенции, двигающей историю. «Небольшое меньшинство из этой массы достигает такого развития, что может толково указать, что именно в формах, стеснительных для массы, особенно тяжело, и чем именно желательно его заменить, чтобы путем реформы улучшить состояние общества, не ослабляя государственной связи. Из этой политической интеллигенции лишь небольшое меньшинство достигает положения, при котором оно может провести свои взгляды в дело путем законодательства или хотя бы попробовать сделать это»[3].

Правда, в теории критически мыслящей личности для Лаврова заключался прежде всего протест против современного общественного и политического строя, протест против оправдания действительности с позиций формального объективизма в духе правого гегельянства. В ней заключалась и борьба с философией застоя, противопоставлявшей критике настоящего теорию народного духа и национальной самобытности в учении славянофилов: «Народный дух в данную эпоху есть дух критически мыслящих личностей этой эпохи, понимающих историю народа и желающих

[1] *Лавров*, Исторические письма, изд. 4-е, Спб. 1906, стр. 331—332.
[2] Там же, стр. 125.
[3] Там же, стр. 244.

внести в его настоящее возможно более истины и справедливости»[1]. Но весь этот протест повисал в воздухе вместе с критически мыслящим меньшинством, лишенным материальной базы в самом процессе общественного развития.

Непонятым народниками оставалось действительное отношение между личностью и обществом, то, что «...люди делают историю не так, как им подсказывает какая-нибудь фантазия, не так, как им придет в голову. Каждое новое поколение встречается с определенными условиями, уже имевшимися в готовом виде в момент, когда это поколение народилось. И великие люди стоят чего-нибудь только постольку, поскольку они умеют правильно понять эти условия, понять, как их изменить»[2]. Народники не понимали и непосредственной связи между развитием общества и личности; придавая и здесь абсолютное значение временному историческому противоречию классового общества, они не могли понять, что именно в полном развитии общественных отношений коренится полнота развития самой личности, что «...действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений...»[3],— как указывал Маркс.

Теоретические основы. Социология Михайловского

Субъективно-идеалистическая сущность философских основ и социологического учения народничества получила свое полное раскрытие в работах Н. К. Михайловского.

Хотя появление первой работы Михайловского «Что такое прогресс» хронологически совпало с выходом в свет «Исторических писем» Лаврова, в развитии народнической идеологии Михайловский занимает иное место. «Исторические письма» были итогом идейного развития Лаврова, который включал в себе еще долю влияния периода революционной ситуации; Лавров скорее современник Чернышевского и отражает период расцвета народнических иллюзий. Михайловский принадлежал уже к следующему поколению; его деятельность относилась целиком к последним тридцати годам XIX в. и отражала процесс кризиса и банкротства народнических иллюзий. Публицистическая деятельность Михайловского развернулась уже в период растущего разложения крестьянства, усиления революционной борьбы пролетариата, распространения в России марксизма. Поэтому идеи народничества развиваются Михайловским в борьбе с революционной теорией марксизма. Михайловский не мог и не хотел понять учения Маркса—Энгельса. Подлинно научному пониманию общественно-исторического развития общества Михайловский противопоставлял, по выражению Ленина, «...ребячью мораль, претендующую на наименование социологии» [4].

---

[1] *Лавров*, Исторические письма, изд. 4-е, Спб. 1906, стр. 137.
[2] *Сталин*, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, М. 1938, стр. 4.
[3] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. IV, стр. 27.
[4] *Ленин*, Что такое «друзья народа», Соч., т. I, стр. 59.

Ленин окончательно разоблачил реакционную идеалистическую сущность философского и социально-экономического учения народничества, теоретиком которого выступал «субъективный философ»[1] Михайловский. Борьбе с народничеством посвящены классические работы Ленина: «Что такое «друзья народа», «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве», «К характеристике экономического романтизма», «От какого наследства мы отказываемся?»

Михайловский приходит к окончательному разрыву с исходными посылками позитивизма. Последняя связь между историей и науками о природе в обществознании выпала у Михайловского. Принципу причинной обусловленности он противопоставлял категорию долженствования, силу нравственного начала, которое он находит в так называемом «этическом» направлении экономистов [2] и в учении Сисмонди [3], ссылка на которого особенно показательна в связи с указанием Ленина на тожество теоретических позиций народничества и экономического романтизма Сисмонди [4]. «Нравственно», «справедливо», «разумно и полезно» — таковы те категории, с которыми Михайловский обращается к вопросам исторического развития.

Михайловский отрицает сближение обществознания с науками о природе; он выступает против сближения общества с живым организмом у Спенсера, против сближения с биологическими процессами в духе дарвинизма. Он отрицает это сближение как последний отзвук теории закономерности, причинного объяснения в истории.

Если у Лаврова еще сохранялся известный дуализм общества и отдельной личности, прикрывавшийся теорией прогресса, то Михайловский во имя личности окончательно отбрасывает и отрицает исторический прогресс. Это был конечный теоретический вывод с позиций народнического идеализма из роста классовых противоречий развивающейся капиталистической системы. В его представлении, с точки зрения реальной исторической личности, которой общество противостоит как абстрактная фикция, как «идеальная» личность, все историческое развитие оказывается не прогрессом, а регрессом: «Везде и всегда диференцирование общества, как целого, — возражает он Спенсеру, — сопровождается интеграцией граждан как частей» [5], т. е. утратой полноценности каждой отдельной личностью, превращающейся в простой придаток абстрактного общественного организма. Понятию

---

[1] *Ленин*, Соч.; т. I, стр. 104, 128.

[2] *Михайловский*, Борьба за индивидуальность, Соч., т. I, изд. 5-е, Спб. 1911, стр. 430 и 431;

[3] *Михайловский*, Что такое прогресс, Соч., т. I, стр. 97.

[4] *Ленин*, К характеристике экономического романтизма (*Сисмонди и наши отечественные сисмондисты*), Соч., т. II.

[5] *Михайловский*, Соч., т. I, стр. 42.

общества Михайловский противопоставляет «мыслящую, чувствующую и желающую личность», через которую вводится в историческую науку «телеологическая точка зрения», «некоторая цель, которой желательно достигнуть».

«Борьба за индивидуальность между человеком и обществом»[1],— так в конечном счете определяется для Михайловского самое содержание исторического процесса общественного развития. Под этим заглавием, «Борьба за индивидуальность», была напечатана им специальная статья в 1875 г.

В этой антитезе еще раз вскрывалась противоречивая сущность и теоретическая беспомощность народничества. Михайловский исходил из критики новой формы угнетения личности в условиях капиталистического строя, роста капиталистической эксплоатации. Но при этом он оказывался неспособен ни раскрыть его историческое отношение к феодальным формам эксплоатации, ни вскрыть действительные исторические пути его преодоления в настоящем, потому что он ставил на голову самое отношение между личностью и обществом. Личность отрывалась от своих общественных связей, от исторической обусловленности своих действий. Борьба с существующим гнетом превращалась в дело отдельной личности. Воздействие личности на общество лишалось своей социальной и исторической базы, превращалось из исторической в психологическую проблему гипнотизирующего действия героической личности и социального подражания толпы. Этой теме Михайловский посвятил серию своих статей: «Герои и толпа» (1882), «Научные письма» (1884), «Патологическая магия» (1887), «Еще о героях» (1891), «Еще о толпе» (1892)[2]. И здесь Михайловский примыкал к психологической школе в социологии, сменившей в позитивистской социологии биологические тенденции, и вместе с нею отражал общую тенденцию психологизации общественного процесса в буржуазной идеалистической историографии.

И для Михайловского это было продиктовано стремлением уйти от реального развития общественных отношений, от их марксистского истолкования, уже данного в России в 80-е годы Плехановым, и противопоставить именно этому реальному процессу отдельную личность с ее абстрактными идеалами. Эта «...особая социологическая теория о роли личности или о субъективном методе ставит утопию на место критического материалистического исследования...» — писал Ленин в своей работе «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве»[3].

Изучая общественно-экономические процессы, народник, по определению Ленина, «делает обыкновенно те или другие морализирующие выводы; он не смотрит на различные группы

---

[1] *Михайловский*, Соч., т. I, стр. 573.
[2] Все эти статьи собраны во втором томе его сочинений.
[3] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 280.

участвующих в производстве лиц, как на творцов тех или иных форм жизни; он не задается целью представить всю совокупность общественно-экономических отношений, как результат взаимоотношения между этими группами, имеющими различные интересы и различные исторические роли...»[1]

Завершая теоретическое развитие народничества, Михайловский и в своих выводах об историческом развитии России отстаивал антиисторическую концепцию об особом пути развития России, о ее самобытности.

Утверждение об особом пути развития России заняло центральное место в исторической концепции Михайловского и всего народничества. Признавая капиталистическое развитие Западной Европы, Михайловский отвергает его неизбежность для России. Опыт Западной Европы раскрыл все отрицательные стороны капитализма, а «нам придется повторить процесс, т. е. совершить его сознательно»[2], и поэтому с позиций субъективной философии Михайловского «нравственное чувство» человека должно воспротивиться его осуществлению: капитализм как система эксплоатации и угнетения большинства нежелателен. Следовательно, остается только выбрать другой путь развития. Капиталистическому строю с присущим ему разделением труда он противополагает «простое сотрудничество, т. е. сочетание труда равных людей, преследующих одну и ту же цель. И все будущее принадлежит этой форме кооперации»[3].

Возможность осуществления этого начала Михайловский обнаруживает в исконном русском институте — в общине. «Мы не только не презираем Россию, но видим в ее прошедшем, а покуда и еще в настоящем многое, за что можно ухватиться для предотвращения неправильностей европейской цивилизации»[4].

Народнический романтизм приобретал особые черты экономического романтизма с его специфической социальной окраской, в своих устремлениях обращенного не вперед, а назад, ищущего разрешения современных проблем не в их преодолении, а в их отрицании. «...*Экономическое учение народников*, — писал Ленин, — *есть лишь русская разновидность обще-европейского романтизма*»[5].

Свое конкретное развитие это положение получило у народников-экономистов — Н. Даниельсона (Николай — он), В. Воронцова (В. В.), С. Н. Южакова и др.

Михайловский не был историком. В своей публицистике он дал все же некоторые примеры приложения своего метода к кон-

[1] *Ленин*, Развитие капитализма в России, Соч., т. III, стр. 469.

[2] *Михайловский*, Карл Маркс перед судом г-на Ю. Жуковского, Соч., т. IV, Спб. 1897, стр. 171.

[3] *Михайловский*, Что такое прогресс, Соч., т. I, стр. 61.

[4] *Михайловский*, По поводу русского издания книги К. Маркса, Соч., т. X, Спб. 1913, стр. 9.

[5] *Ленин*, К характеристике экономического романтизма, Соч., т. II, стр. 103.

кретным вопросам истории. Его статья «Иван Грозный в русской литературе» — яркий образец антиисторической сущности субъективного идеализма. Ее основная идея — противопоставление объективно-историческому анализу политики Грозного, данному Соловьевым, этической оценки личности Грозного в духе Карамзина, подмена общественного развития личности ее действиями.

В той же внеисторической, а потому антиисторической формуле ищет Михайловский решение вопроса об историческом значении Петра I: «Действительно, вся частная жизнь Петра и вся его государственная деятельность есть первая фаза осуществления в русской истории начала личности не в смысле того направления, которое она приняла отчасти при нем, а в особенности после него в Европе, а в смысле *человечности*. Вот искомая общая формула деятельности Петра. Петр был выше Европы» [1]. Не из исторической действительности, а из абстрактного идеала выводилась практическая деятельность Петра, его реформы: «Великий царь-работник знал, какие продукты западно-европейской лаборатории подлежали привозу к нам *в его время*» [2]. В своей абстрактной формуле Михайловский искал разрешения полемики между западниками и славянофилами о Петровских реформах и, как это ни парадоксально, хотел превратить народников с их теорией особого пути исторического развития русского народа в прямых продолжателей Петровской традиции.

В работах Лаврова и Михайловского мы проследили эволюцию теоретических взглядов народничества на историческую науку, развитие их социологического учения. То же внутреннее противоречие характеризует основные направления народнической историографии в конкретном историческом изучении.

Экономическая история в народнической историографии

Ленинская характеристика народничества полностью определяет и историографическое значение народнической исторической литературы. Народничество, по определению Ленина, отразило новый факт русской жизни — «противоположность интересов труда и капитала». Отсюда и обращение к новой исторической тематике — к вопросам экономической и социальной истории, впервые получающим широкую конкретную разработку именно в народнической историографии. Но при этом она оказывалась неспособной дать действительное решение поставленных вопросов, раскрыть внутреннюю закономерность самого развития. Вместо того чтобы в противоречиях самого исторического процесса вскрыть «противоречия общественных интересов», показать, «какая общественная группа может явиться действительным представителем интересов непосредственных

[1] *Михайловский*, Соч., т. I, стр. 647.

[2] *Михайловский*, По поводу русского издания книги Карла Маркса, Соч., т. X, стр. 6.

производителей», — народники противопоставляли действительному развитию «бесплодные упования на иной путь развития». Они искали не пути действительного преодоления противоречий настоящего строя в самом историческом процессе, а преодоления действительного пути исторического развития во имя этих «бесплодных упований». Так преломлялось в конкретной истории социологическое учение о противоположности сущего и должного, осуществлялся внутренний разрыв в самом историческом развитии. Отсюда трактовка исторического вопроса в народнической литературе получала чисто описательный характер; историк-народник воспроизводил и описывал явления, но не умел вскрыть их внутреннюю обусловленность и закономерность развития. Таким образом, методологически народническая историческая литература примыкала к описательному, нарративному направлению в буржуазной историографии, повторяла ее методологическую порочность. Отсюда и в своем конечном выводе о самобытности русского исторического процесса она в ином тематическом разрезе, на иной идеологической основе примыкала, однако, к определенным выводам дворянско-буржуазной историографии.

Как бы то ни было, вопрос о буржуазном развитии России в дворянско-буржуазной исторической литературе 30—50-х годов XIX в. ставился в разрезе политической истории, — в народнической литературе он поставлен в разрезе экономической истории. Самая парадоксальность в постановке вопроса заключалась при этом в том, что народники, отрицая в теории капиталистический путь развития России, дают фактическое развитие капиталистических отношений в конкретно-историческом описании. 70—80-е годы были периодом быстрого развития капиталистических отношений в России и присущих им классовых противоречий. По определению Ленина, «народник боится данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия» [1]. В описании этого замеченного растущего противоречия — значение историко-экономических работ народничества.

Уже Михайловский в статье 1872 г. по поводу выхода в свет русского перевода «Капитала» Маркса утверждал, что для России настало время выбора между капиталистическим и некапиталистическим путем развития, — настало и еще не прошло. Его продолжателям пришлось уже считаться с бесспорными фактами действительного развития капитализма в России.

В 1880 г. в журнале «Слово» были первоначально напечатаны Н. Даниельсоном (Ник.—он) его «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства» [2]. Автор был переводчиком «Капитала» Маркса на русский язык и был в переписке с Марксом. В своих «Очерках» он попытался сочетать Маркса с народничеством и

[1] *Ленин*, Соч., т. II, стр. 330.
[2] В 1893 г. вышли отдельным изданием.

нашел разрешение неизбежного противоречия в типичном для народничества разрыве между действительно существующим и желательным или долженствующим быть.

В полемике с Михайловским и народниками Плеханов должен был доказывать, что развитие капитализма в России не возможность, а действительный факт. Н. Даниельсон исходит уже из этого факта и в своих очерках сам показывает процесс «капитализации земледельческих доходов» и «капитализации промыслов», а также вытекающий отсюда процесс разложения крестьянства и растущих классовых противоречий. Но от этого признания капитализма в конкретной действительности Даниельсон переходит к его простому отрицанию. К доводам морализирующей оценки он пытается присоединить доказательство экономической бесплодности и безнадежности капиталистического пути развития для России. Это обоснование было дано им в экономической теории непрерывного сужения внутреннего рынка в условиях развития капитализма, всю порочность которой показал Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России». Автор выводил отсюда зависимость капиталистического развития от захвата внешних рынков сбыта и доказывал безнадежное положение в этой борьбе за рынки России, опоздавшей на дележ мира, отставшей от других империалистических держав. Из этой социальной и экономической оценки русского капитализма делался вывод о необходимости избрать для России иной путь развития. Вместе с тем в общую систему возвращалось основное положение субъективного метода народнической социологии о свободе выбора пути исторического развития критически мыслящей личностью: несчастие капиталистического развития России проистекает из того, что «мы не старались поддержать принцип, освященный веками нашей прошлой хозяйственной жизни, — нахождение средств производства в руках непосредственных производителей, — но внесли и развили элемент, чуждый нашей прежней промышленной жизни, — капитализм» [1]. Причина в неправильно сделанном выборе; налицо был другой путь, если бы только мы, «не производя коренной ломки всего промышленного строя, как это мы делали, — стремились бы развить крупное производство в народно-общественной форме»[2], под которой автор подразумевает общинное, артельное начало. Но и в изменившихся условиях автор не отказывался «мечтать об ином пути развития»: «Русскому обществу предстоит решение великой задачи, крайне трудной, но не невозможной, — развить производительные силы населения в такой форме, чтобы ими могло пользоваться не незначительное меньшинство, а весь народ»[3]. Неизбежная в своем историческом развитии классовая реакционность такой идеалистической конструкции наглядно сказалась в том, что,

[1] *Николай — он*, Очерки, стр. 325.
[2] Там же, стр. 331.
[3] Там же, стр. 343.

в представлении автора, идеальный «освященный великий принцип» исторического развития русского народа получил «правовую санкцию» в Положении 19 февраля 1861 г., крепостническая природа которого так ярко разоблачена марксистско-ленинским анализом.

Еще категоричнее формулирует то же положение народнический публицист В. Воронцов (В. В.) в работах того же периода: «Судьбы капитализма в России» (1882), «Очерки крестьянского хозяйства» (1882—1886) [1], «Очерки кустарной промышленности в России» (1886). Самое заглавие его основной работы—«Судьбы капитализма в России»—показывает, что и Воронцов видел факты капиталистического развития России. Но еще резче, чем Даниельсон, он «доказывал» экономическую бесплодность капитализма в России: «Капитал не пойдет у нас на дело прогрессивного развития промышленности» [2]; «капиталистическое хозяйство гибнет естественной смертью» [3].

И, с другой стороны, еще определеннее, чем Даниельсон, подчеркивал Воронцов исконность, народность и в то же время жизненность и прогрессивность общинного начала. Община представляется ему не только господствующей в сельском хозяйстве, в крестьянском быту, но осваивающей в форме артели и промышленную деятельность. «Есть надежда повернуть весь процесс развития общественной формы труда на народный путь, — на путь артели»[4],—таков вывод автора из критики капитализма. Все дело в осознании этой задачи передовой частью общества. «Указанное преобразование промышленности тогда проявит свои благодетельные последствия, когда изменится все направление нашей общественной жизни, когда сделается общепризнанным,что руководство капитала и связанные с ним привилегии составляют зло русской жизни, и что прогрессивное развитие страны — возможно лишь при отсутствии всяких стеснений для проявления народной деятельности» [5]. Итак, осознание общепризнанного нового начала, как основание, и — по ироническому замечанию Ленина — идея «...товарного хозяйства без капитализма,—капитализма без экспроприации и без эксплуатации, с одним только мещанством...» [6] как итог,—такова несложная философия истории экономического романтизма народников.

Очередным вариантом той же схемы были и очерки С. Южакова [7] — «Вопросы экономического развития России», критика которых дана Лениным в работе «Что такое «друзья народа».

---

[1] Последняя работа вышла отдельным изданием в 1911 г.
[2] *В. В(оронцов)*, Судьбы капитализма в России, Спб. 1882, стр. 67.
[3] Там же, стр. 221.
[4] Там же, стр. 73.
[5] Там же, стр. 68.
[6] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 145.
[7] «Русское богатство» № 11, 12, 1893.

Полная неисторичность всех этих построений с особенной наглядностью сказалась в том, что и тридцать лет дальнейшего развития капитализма в России ничего не изменили в этих социально-экономических и исторических взглядах. В 1907 г. вышла книга Воронцова «Судьба капиталистической России». Только изменение заглавия отразило действительные изменения исторического развития; и в новой действительности автор повторял старые зады, по-старому решал исторические задачи. Таким же образом в 1911 г. были переизданы его «Очерки крестьянского хозяйства». История шла мимо идеологов народничества и лишь углубляла разрыв между их теорией и реальной действительностью.

Социальная история. Крестьянство и крестьянская община

К указанному противоречию труда и капитала народническая историография подошла и с социальной стороны, со стороны разорения народной массы и роста классового угнетения. Когда позже Струве в полемике с народниками доказывал, что капитализм содействует росту благосостояния народных масс, Ленин указывал, что Струве игнорировал основной закон капиталистического развития [1]. В этом вопросе народники оказывались ближе к истине. Но они брали этот вопрос с точки зрения интересов мелкого производителя, исключительно в разрезе истории крестьянства. «Народники, — писал товарищ Сталин в 1906 г., — говорили, что главная сила, которая может взять на себя «освобождение России»,— это бедное крестьянство. Почему? — спрашивали их марксисты. Потому,— говорили они, — что крестьянство многочисленнее всех и в то же время беднее всех в русском обществе». По указанию товарища Сталина важно то, «...что крестьянство, как сословие, изо дня в день разрушается, распадается на пролетариат и буржуазию, тогда как пролетариат, как класс, **изо дня в день** растет и крепнет... Дело лишь в том, кто растет и кто стареет в жизни» [2].

И в историческом разрезе социальная проблематика народничества обращена к крестьянству и его истории. И в освещении исторического развития крестьянства оно отводит решающее значение не действительной эволюции классовых отношений, а исконным, стоящим вне истории формам крестьянской жизни, которые должны преодолеть действительное историческое развитие. Поэтому и в социальной истории народничество дает лишь описательную историю крестьянства, историю крестьянского быта, крестьянского законодательства, крестьянского вопроса, а не историю крестьянства в развитии классовой борьбы.

И все же это было первой историей жизни народных масс. Примыкая к принципам «мужицкого демократизма» просветителей, к Щаповскому утверждению об исторической роли крестьянства,

[1] См. *Ленин*, Соч., т. I, стр. 332—335.

[2] Цит. по книге *Л. Берия*, К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, 1941, стр. 102.

народническая историография в России сосредоточивает свое изучение на истории крестьянства. Один из лучших исследователей крестьянского строя, П. А. Соколовский, в 70-х годах XIX в. писал об «исследовании исторической судьбы многомиллионной массы, служившей базисом истории», «сословия, составляющего основание общества» [1].

При этом в центре истории крестьянства оказывается история крестьянской общины. «Идеализация крестьянина и его общины — одна из необходимых составных частей народничества, и народники всех оттенков, начиная от г-на В. В. и кончая г-ном Михайловским, принесли обильную дань этому стремлению идеализации и подкрашивания...» [2]

Проблема общины становится той темой, через которую народническая идеология проникает в область конкретного изучения социальной истории крестьянства. С этой темой связаны основные работы П. А. Соколовского, А. Я. Ефименко, И. В. Лучицкого, А. А. Кауфмана, В. В. Постникова и ряда других.

В ряду этих работ «Очерк истории сельской общины на севере России» П. А. Соколовского (1877) занимает одно из первых мест. «Очерк» Соколовского сохраняет свое историческое значение как опыт целостного изложения, последовательной истории общинной организации. В частности Соколовским поставлен вопрос о двух типах общинной организации — общине-деревне и общине-волости; своей трактовкой общины-волости Соколовский в известной мере предварял исследование Н. П. Павлова-Сильванского по этому вопросу.

В общине П. А. Соколовский видит «законченную систему социально-экономических отношений, принципиально-отличную от господствующей у нас и на западе», т. е. от системы развивающихся капиталистических отношений, — видит народную систему, «основанную на началах взаимности и общинности» [3]. Он хотел, чтобы община «предупредила развитие пролетариата», и свое исследование он заключает в полном согласии с положениями Воронцова и Даниельсона: «Будем, однако, надеяться, что пример западных стран, сожалеющих теперь, в лице лучших представителей науки, о преждевременном уничтожении общины, и беспристрастное отношение к насущным интересам народа спасут русское крестьянство от новых испытаний, и что, напротив, ему будет предоставлена бо́льшая, против теперешнего возможность развивать далее свои излюбленные формы быта» [4].

Та же тема — «действительная история крестьянства» — определяет в значительной мере историческую тематику А. Я. Ефи-

[1] *Соколовский*, Очерк истории сельской общины на севере России, Спб. 1877, стр. 2.
[2] *Ленин*, Соч., т. II, стр. 317.
[3] *Соколовский*, Очерк, стр. 181.
[4] Там же, стр. 183.

менко. И она в истории крестьянства выделяет вопрос о крестьянской общине, которой специально посвящены ее очерки «Крестьянское землевладение на крайнем Севере»[1] и «Дворищное землевладение в южной Руси»[2]. Проблема общины в конечном счете и для Ефименко означает разрешение противоречий капиталистического общества, причем разрешение, долженствующее изменить фактический ход исторических событий. «Две возможности раскрываются перед разлагающейся деревней,— пишет автор.— Одна из них уже, можно сказать, и не возможность, а осуществляющийся факт: это — распадение деревни на произвольные куски... наступление порядка подворного владения... Другая возможность — общинный порядок землевладения»[3].

Работы Ефименко особенно характерны методологической позицией автора. Они наглядно показывают, как недалеко ушла субъективная идеалистическая социология народников от буржуазной методологии. Идеализация общины в работах Ефименко легко уживается с чисто юридической теорией долевой общины и ее семейного происхождения, подвергшейся резкой критике еще в исследовании Павлова-Сильванского «Феодализм в удельной Руси». Вслед за крайним представителем государственной школы Чичериным, Ефименко признает при этом и позднее происхождение самой общины и первичность частновладельческого собственнического начала.

Мы не останавливаемся на других упомянутых выше исследованиях об общине. Имея большое значение в специальной историографии вопроса об общине, они не вносят чего-либо своего, нового, в общее развитие исторической науки, по сравнению с рассмотренными работами.

В общем развитии исторической науки народничество наиболее полно представлено работами В. И. Семевского и его школы.

В. И. Семевский

Василий Иванович Семевский (1848—1910) начал свою деятельность уже на исходе рассматриваемого периода: его первая большая работа относится к 1881 г. Но самый типичный представитель этого направления, он лучше и полнее других отражает его основные и характерные черты.

В 1881 г. Семевский защищал первый том своей работы «Крестьяне в царствование Екатерины II» как магистерскую диссертацию; отклоненная Бестужевым-Рюминым в Петербургском университете за либеральное направление, за критическое отношение к правительственной политике в крестьянском вопросе, работа была принята к защите в Москве. Второй том этого исследования был издан в 1901 г.

[1] Сб. «Исследования народной жизни», М. 1884.

[2] Сб. «Южная Русь», т. I, Спб. 1905.

[3] *Ефименко*, Дворищное землевладение в южной Руси, сб. «Южная Русь», т. I, Спб. 1905, стр. 374.

В дальнейшем, несмотря на противодействие Бестужева-Рюмина, Семевский добился допущения его к чтению лекций в Петербургском университете в качестве доцента. Очередная полоса правительственных репрессий удалила Семевского из университета. Его последующая деятельность сосредоточивается целиком на научной и журнальной работе. Предприняв по предложению сына крупного сибирского золотопромышленника А. И. Сибирякова поездку по золотым приискам Сибири, он выпустил в 1898 г. двухтомное исследование «Рабочие на Сибирских золотых промыслах»; в 1901 г. вышел второй том его работы «Крестьяне в царствование Екатерины II». Его третья крупная работа — «Крестьянский вопрос в России». К последним годам его жизни относится ряд исследований из истории общественных движений в России. С начала XX в. деятельность Семевского тесно связана с развитием русской народнической печати; он принимал участие в журнале «Былое», где печатались его статьи о декабристах; затем он играл большую роль в редакции «Голоса минувшего», где первоначально печаталось его исследование «Буташевич-Петрашевский и петрашевцы».

В литературной деятельности Семевского социальное направление народнической историографии выражено наиболее полно. Его работы по истории крестьянства по обилию собранного в них материала до сих пор сохраняют крупнейшее место в историографии вопроса. Его книга «Рабочие на Сибирских золотых промыслах» в истории рабочего класса остановилась, правда, на специфической группе, всего менее обособившейся от села и оформившей свою пролетарскую организацию, однако она принадлежит к числу первых исторических монографий по истории рабочего класса в России. Наконец, его работы по истории общественных движений в известной мере положили начало серьезному научному изучению важнейших моментов революционной борьбы в дореформенной России, истории буржуазной революционности в движении декабристов, петрашевцев, Кирилло-мефодиевского братства на Украине.

Но при всем том в самой трактовке поднятых тем наглядно отразились все методологические особенности народнической историографии. Уже в первой его крупной работе «Крестьяне в царствование Екатерины II» весь вопрос рассматривается в двух определенных разрезах. Одна сторона — изучение быта крестьян: домашний быт, занятия, повинности и т. п. Отсюда чисто описательная, статическая трактовка этого материала. С другой стороны, это вопрос о юридическом быте крестьян, о правительственном законодательстве. В этом разрезе социальная история Семевского непосредственно смыкается с историко-правовой трактовкой вопроса юридической школы. Его книга даже не знает истории крестьянства как целого; отдельные категории крестьянства превращаются в резко обособленные по юридическому признаку группы. Так, например, автор даже отрицает крепостной характер

церковных крестьян ввиду некоторого ограничения юридических прав церковных землевладельцев: по Семевскому, «церковные крестьяне не крепостные, а прикрепленные к земле». И дальше, оценка социального положения крестьян идет от правового признака. Поэтому также, собрав и сведя воедино обильный материал по истории крестьянских движений, автор все же не видит исторической роли этого движения в целом, как общей классовой борьбы крестьянства. Изменение в положении крестьянства и для Семевского лежит в плане законодательной инициативы, а не социального действия. Ликвидация церковного землевладения объясняется тем, что «Екатерина II скоро убедилась, что в руках духовенства не может оставаться управление принадлежащими ему имениями»[1]. Несмотря на признание крепостнического характера политики Екатерины II, автор все же видит именно ее заслугу в том, что «она громко поставила вопрос о необходимости улучшения быта помещичьих крестьян» [2].

Вместе с тем внешняя описательность становится принципом исследовательского подхода автора к материалу. Отрывая тему от общей проблемы развития русской истории, автор ищет в самом своем материале разрешение его внутренних противоречий и, естественно, не может его найти. Оторвав крестьянский вопрос от общего социально-экономического развития России в XVIII в., он не мог объяснить отдельных изменений в помещичьем хозяйстве этого периода, в частности и одного из важнейших вопросов его экономики — соотношения барщины и оброка: в развитии оброка он готов усмотреть начало облегчения экономического положения крестьянина, не замечая, что в ряде случаев — это лишь форма обложения новых источников крестьянского дохода (кустарная промышленность, отхожие промыслы и пр.).

В сельской общине он видит, как все представители народнического направления, основное начало, которое на протяжении прошлой истории уберегло крестьянство от крайне гибельных последствий крепостнического гнета и должно явиться основой его развития в будущем.

В том же двойном разрезе взята Семевским и история рабочих золотых приисков. И это исследование Семевского ценно не только новизной темы, но и богатством материала, собранного Семевским не только в центральных, но и в местных (в том числе частных) архивах. Но история рабочего класса для Семевского — это прежде всего история рабочего быта. «Наше историческое исследование быта рабочих на Сибирских золотых промыслах послужит со временем лишь одним из пособий для создания вполне научной истории промышленного труда в России» [3], — так определил сам

[1] *Семевский*, Крестьяне в царствование Екатерины II, т. I, стр. XI.

[2] Имеется в виду задача, поставленная Вольным экономическим обществом.

[3] *Семевский*, Рабочие на Сибирских золотых промыслах, т. I, Спб. 1898, стр. XXVI.

Семевский тему своего исследования. В этом определении фактически выпадает самое существо классовой проблемы: история класса заменяется историей труда. Трактовка вопроса пронизана духом народолюбства, сочувствия к угнетенной народной массе. Но при этом разрешение противоречий автор ищет не в классовой борьбе, а в законодательной политике правительства: «Волнения эти и их усиление в последнее время доказывают, что необходимы серьезные законодательные меры для улучшения быта рабочих на золотых промыслах»[1],—таков вывод Семевского из растущей классовой борьбы пролетариата.

В общей истории социального развития для Семевского как для историка-народника центральный вопрос — вопрос крестьянский. Но при этом в трактовке второй темы — крестьянского вопроса — резко сказалась оборотная сторона его трактовки истории самого крестьянства, в которой выпадал основной вопрос о движущих силах социального развития.

Крестьянский вопрос для Семевского оказывался идеологической проблемой, развивающейся своим, самостоятельным поступательным ходом. Он изучает не историю крестьянского вопроса в конкретном развитии классовых противоречий русского общества XVIII и XIX вв., а историю идеи освобождения крестьян. Полнота этого очерка в значительной части освобождает историка нашего времени от повторения проделанной автором работы, от обращения к использованным им источникам. Но сменяющиеся высказывания и проекты он расценивает не с точки зрения классовых позиций их авторов и того практического содержания, которое в них вкладывается и значение которого меняется с изменением самих реальных отношений, — он рассматривает их с точки зрения отражения какой-то абстрактной идеи освобождения. В этом отношении характерна, например, оценка Семевским закона о вольных хлебопашцах; он не видел, что его породили чисто помещичьи интересы и что реальная проблема освобождения крестьян была совершенно чужда авторам этого закона.

Поэтому и история общественного движения превращается у Семевского в историю общественных идей. Он и здесь изучает лишь историю последовательных идеологических влияний, процесс развития идей и разработки программ. При этом развитие идей рассматривается не как продукт развития социального строя, выступления новых классов и изменения расстановки классовых сил, а как поступательное развитие политической идеи либерализма, которая сама собой растет и распространяется в обществе. Поэтому и история декабристов для Семевского есть история «политических и общественных идей декабристов». Точно так же «Буташевич-Петрашевский и петрашевцы» — это новый этап в

[1] *Семевский*, Рабочие на Сибирских золотых промыслах, т. II, Спб. 1898, стр. 719.

развитии идей,—развитие идеи утопического социализма в России. То же значение имеет и его очерк истории Кирилло-мефодиевского братства для украинской истории середины XIX в. Идея, которая внедряется в общество и реализуется в исторической действительности, — таково завершение в народничестве логического развития идей Щапова и вместе с тем окончательное отрицание его исходных позиций.

В раскрытии исторической закономерности, в трактовке исторического процесса в целом народническая историография проникнута мелкобуржуазной идеологией, она не выходит за пределы того понимания исторического процесса или, вернее, отказа от его понимания, которое заключается в распылении исторического процесса, разрываемого на самостоятельные части, и повторяет общий путь развития буржуазной исторической науки. Она принесла новую тематику и новый круг исторических материалов, но не дала нашей исторической науке ни новых методов, ни нового научного понимания истории.

Местная история. Сибирское областничество

С народнической историографией связано и особое направление в местной истории. От типичных буржуазных работ по местной истории, составляющих сводку внешнего фактического материала в форме повествовательной политической истории, это направление отличается тем, что обращается в местной истории к народной жизни, дает народную историю в краевом разрезе. Связанное со Щаповской теорией, это направление и получило особое название — «областничество». Наиболее яркое выражение оно получило в сибирском областничестве, испытавшем непосредственное влияние Щапова, которому за последний период его жизни в Сибири также принадлежит ряд работ по местной сибирской истории. Представители этого направления и лично связаны со Щаповым. С. С. Шашков был в числе слушателей Щапова в Казанской духовной академии и участвовал в известной панихиде по жертвам Бездненского дела.

Два наиболее крупных представителя этого направления, Николай Михайлович Ядринцев (1842—1894) и Серафим Серафимович Шашков (1841—1882), были близки к народническим кружкам. В начале 60-х годов в Петербурге они участвовали в передовых журналах — в «Искре», в «Русском слове», подверглись общей политике репрессий в 1864—1865 гг., прошли через тюрьму и ссылку и сохранили тесную связь с демократическими течениями русской общественности и журналистики. Связанные с Сибирью своим происхождением, они сосредоточили свое внимание на истории сибирских народов, ярко осветив политику царизма, превращение царской России в «тюрьму народов» для многочисленных народов Сибири. Ядринцев в своих исследованиях соединил историческое и этнографическое изучение и оставил крупные работы по истории Сибири XVIII—XIX вв.: «Сибирь как колония» и

«Сибирские инородцы, их быт и современное положение». В работах Шашкова резче выступают вопросы социальной истории и народных движений; таковы его очерки «Рабство в Сибири», «Иркутский погром в 1758 и 1760 годах». Эти и другие его работы по истории Сибири вошли в его сборники статей — «Исторические этюды» и «Исторические очерки».

Аналогичное изучение местной истории начинается и для других областей России, частично опираясь на этнографические изучения и на работы местных архивных комиссий.

ГЛАВА 24

БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА в 60—80-е годы

Основные сочинения: *Бестужев-Рюмин, К.*, Русская история, т. I, II, вып. I, Спб. 1872—1885.—*Его же*, Биографии и характеристики. Татищев, Шлецер, Карамзин, Погодин, Соловьев, Ешевский, Гильфердинг, Спб. 1882. — *Его же*, О составе русских летописей до конца XIV века. 1. Повесть временных лет. 2. Летописи южно-русские, Спб. 1868.— *Иловайский, Д.*, История России, ч. 1—5, М. 1876—1905. — *Его же*, История Рязанского княжества; в кн.: *Иловайский, Д. И.*, Соч., изд. Васильева, 1884, стр. 1—216. — *Его же*, Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю, М. 1876. — *Забелин, И. Е.*, Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст., Соч. Ив. Забелина, ч. 1, изд. 3-е, с доп., М. 1895. (Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст.). — *Его же*, Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст., изд. 3-е, с доп., М. 1901 (Домашний быт русского народа). — *Его же*, История города Москвы, изд. 2-е, испр. и доп., ч. 1, изд. автора, М. 1905. — *Шильдер, Н. К.*, Император Александр I, его жизнь и царствование, изд 2-е, т. I—III, изд. Суворина, Спб.1904.—*Его же*, Император Павел I. Историко-биогр. очерк, изд. Суворина, Спб. 1901.— *Его же*, Император Николай I. Его жизнь и царствование, т. I—II, изд. Суворина, Спб. 1903.— *Татищев, С. С.*, Император Александр II. Его жизнь и царствование, т. I—II, изд. Суворина, Спб. 1903. — *Его же*, Внешняя политика императора Николая I. Введение в историю внешних сношений России в эпоху Севастопольской войны, Спб. 1887. — *Дубровин, Н. Ф.*, История войны и владычества русских на Кавказе, т. I—V, Спб. 1871—1887.— *Его же*, Пугачев и его сообщники. Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II, 1773—1774 гг. По неизданным источникам, т. I—II, Спб. 1884.

Основная историографическая литература: *Иконников, В. С.*, Опыт русской историографии, т. I, кн. 1—2, Киев 1891. — *Коялович, М. О.*, История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, изд. 3-е, Спб. 1901.— *Барсуков, Н.*, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1—21, изд. Погодиных, Спб. 1888—1907. — *Шмурло, Е.*, Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бестужева-

Рюмина, 1829—1897, Юрьев 1899. — *Платонов, С. Ф.*, Константин Николаевич Бестужев-Рюмин; в кн.: *Платонов, С. Ф.*, Статьи по русской истории (1883—1912), изд. 2-е, Спб. 1912, стр. 163—188. — *Пресняков, А.*, Памяти Ивана Егоровича Забелина; в журн.: «Вестник Европы», 1909, кн. 2, стр. 805—811.

Общие замечания

Идейный кризис буржуазной, точнее дворянско-буржуазной, исторической науки сказался, как указано выше, в отказе от всякой попытки реального научного синтеза на новой исторической базе. Историческая тематика как-то распадается на ряд частных исторических вопросов, получающих совершенно разрозненное, обособленное существование вне общеисторического научного осмысления целого.

Вместе с общефилософскими синтетическими задачами выпадают и принципиальные методологические основы науки, подменяемые развитием технических приемов, совершенствованием непосредственного конкретного знания. Если в качестве одного из результатов этого процесса мы указывали на расчленение исторического знания, на растущее обособление специальных и вспомогательных исторических дисциплин, то другой стороной этого процесса является растущее влияние этих специальных дисциплин на методологию и тематическую направленность самого исторического исследования. Исторический факт в своем внешнем описании в конечном итоге заслоняет действительное осмысление внутренней связи исторического процесса.

«Объективное знание». Бестужев-Рюмин

Этот кризис научной мысли наглядно выступает уже у одного из наиболее видных представителей буржуазной исторической науки этого периода — Бестужева-Рюмина.

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829—1897) в период 70—80-х годов занимал одну из главных кафедр русской истории — кафедру Петербургского университета. Сам он принадлежал к старшему поколению историков этого периода. Родившись в 1829 г., он сформировался как историк в конце 40-х и в 50-е годы и испытал на себе влияние исторической полемики славянофилов и западников. Идеологически он остался до конца близок к славянофильству с его националистическими тенденциями. Но в то же время он испытывал на себе научное влияние Соловьева, внимательно изучая каждый появлявшийся том его «Истории России» и освещая их в обстоятельных журнальных рецензиях. Сам он из Соловьевской концепции заимствовал лишь формальную сторону государственной теории, выделяя вопросы политической истории, решающую роль государственной власти, правительственной политики в историческом развитии. Это своеобразное эклектическое смешение дополнялось положениями современного ему позитивизма. Сохраняя основной принцип исто-

рической науки XIX в. — изучение общества и его развития, противопоставленного индивидуальной деятельности отдельного лица, он ищет разрешение вопроса об отношениях общества и личности в плане физиологии и психологии народной жизни, в духе психологии народов — Völkerpsychologie. Но в своем конкретном приложении у Бестужева-Рюмина это положение выливается, с одной стороны, в теорию культурных типов как своеобразное видоизменение этнографической теории национальной самобытности славянофилов, с другой — возвращается к психологической интерпретации исторических событий, типичной для прагматической историографии XVIII в.

С позитивизмом его связывает и основное требование «объективного» научного знания в его крайней формалистической интерпретации. Если Бестужев-Рюмин и утверждает, что в истории «на первый план выступает сложное явление, называющееся обществом» [1], то изучает он его не во внутренней связи целостного, органического процесса развития, а в сумме отдельных, особо взятых проявлений общественной жизни: формы семейной жизни, общественная власть, управление, сословия, суд, торговля, религия, литература. Объективность знания заключается далее в формальной выверенности конкретного фактического материала. В его представлении задача историка—собирать и проверять основной фактический материал. Его основной большой труд — «Русская история» [2] является простым сводом выверенных фактических сведений по русской истории. Понимания процесса развития в общем курсе Бестужева-Рюмина нет.

Этот формально-объективистский взгляд на задачи исторического исследования выливается у Бестужева-Рюмина в своеобразное источниковедческое направление всего исторического изучения. Осмысление самой истории как исторического процесса подменяется прежде всего вопросами техники исследования, задачами собирания и изучения исторических источников и материалов. Позднейшие воспоминания С. Ф. Платонова [3], а также письма А. Е. Преснякова [4] свидетельствуют об отрицательном отношении Бестужева-Рюмина к постановке больших исторических вопросов, о его стремлении в самой педагогической работе направлять историческое исследование в сторону источниковедческой тематики.

Научная деятельность Бестужева-Рюмина охватывала разные стороны исторического изучения, но в приложении к каждой отражала ту же формально-объективистскую направленность.

---

[1] *Бестужев-Рюмин*, Русская история, т. I, стр. 7.

[2] Вышел первый том и первая часть второго тома, доведенная до XVI в.; из второй части были напечатаны лишь отдельные главы.

[3] «Дела и дни», кн. 2.

[4] С содержанием этих писем я имел возможность частично познакомиться в рукописи.

Неслучайно при этом историографическое значение самого Бестужева-Рюмина связано прежде всего с его источниковедческой работой. Его исследование «О составе русских летописей» явилось важным этапом в истории изучения нашего летописания, представляя переход к непосредственному восстановлению методом исторической критики источников нашей летописи и последовательных этапов формирования ее текста.

Источниковедческое рассмотрение вопроса получило определяющее значение для всего построения «Русской истории» Бестужева-Рюмина. Основная задача историка в его понимании и основное значение всей его работы состояло в сведении воедино всего источниковедческого материала и в подытоживании всей исторической литературы по каждому отдельному вопросу. В его «Русской истории» единственная часть, сохранившая до известной степени свое значение, — это ее «Введение», посвященное источникам русской истории.

В связи с этим в самой истории реальный синтез подменен прагматической связью исторического рассказа. Его «История» приобретает типичные черты нарративного направления, сообщающего историческому произведению литературно-повествовательный характер.

В разработке конкретного материала Бестужев-Рюмин возвращается в конечном счете к досоловьевским методам. Его первое требование — художественное воспроизведение исторического события, историческая живопись, художественно-популярное изложение истории.

С другой стороны, он выдвигает вопросы психологической интерпретации истории, психологии действующих лиц в истории. Такова, например, трактовка Бестужевым-Рюминым Ивана IV и политики опричнины; он снова выдвигает не вопрос о развитии политического строя, не борьбу двух исторических начал, в которой прогрессивная роль принадлежит Ивану IV, как показал это Соловьев, а психологию Ивана IV, который выступает в его искусственной художественно-психологической характеристике как тип Гамлета в русской истории.

Работа Бестужева-Рюмина охватывает также вопросы историографии. Ряд историографических очерков собран в его сборнике статей «Биографии и характеристики». Отдельные статьи, опубликованные в журналах того времени, посвящены историческим взглядам славянофилов, работам Соловьева, разбору книги Кояловича «История русского самосознания» и ряду других вопросов. Но и в историографических работах Бестужева-Рюмина сохраняется тот же внешний подход: это — биографический психологический очерк с сугубо повествовательными чертами, или библиографическая рецензия. Характерны при этом и историографические симпатии автора, особо выделяющего в развитии русской исторической науки значение Карамзина и Погодина. Панегирик

Погодину, написанный Бестужевым-Рюминым в 1875 г., завершает тот поворот, который совершает в его лице буржуазная историческая наука.

Официальное направление. Политическая история

Эта эволюция исторической науки еще полнее и непосредственнее сказалась в возрождении политической истории, которая сводила всю историю к одной «шумихе политических событий», начисто отбрасывая теоретические вопросы исторической науки. Эта тенденция всего полнее отражена тем официальным направлением, в котором с эпигонами дворянской историографии полностью объединились повернувшие вспять представители буржуазной исторической науки.

Начало этому направлению в середине XIX в. положил еще Николай Герасимович *Устрялов* (1805—1870). Автор специального рассуждения о прагматическом направлении в истории, составитель официального учебника русской истории, он издал в 1858—1864 гг. свое основное сочинение — «История царствования Петра I». Как отмечалось выше [1], Добролюбов дал в «Современнике» подробный критический разбор этого сочинения, характеризуя его как торжество «летописного» стиля, как вытеснение научного анализа занимательным повествованием и превращение последнего во внешнее воспроизведение исторического источника. Книга Устрялова, как и все это направление, имеет более археографическое, чем историческое, значение; сырой документальный материал не перерабатывается, а лишь внешне связывается авторским текстом, зачастую лишь дублирующим обширные документальные приложения.

Для рассматриваемого периода наиболее значительным представителем этого направления в русской исторической науке безусловно является Иловайский.

Дмитрий Иванович *Иловайский* (1832—1920) получил, может быть, несколько одностороннюю оценку в исторической литературе своей «Историей России» и своими учебниками русской истории с их резко выраженной охранительной идеологией, в научном отношении представлявшими простую компиляцию. Между тем ряд монографий Иловайского сохраняют свое значение тщательностью обработки документального и фактического материала. Таковы упомянутая «История Рязанского княжества», его «Разыскания о начале Руси» и некоторые другие. В своих специальных монографиях Иловайский стоит на уровне современного исторического знания, следуя за его ростом. Привлечение данных археологии, археографическая работа по привлечению новых письменных источников, фольклорного материала — все это характеризует фактическую, материальную сторону работ Иловайского.

---

[1] Глава 22.

И все же лицо Иловайского как историка характеризуется именно его «Историей России» [1], его подходом к задачам исторического синтеза. Эти задачи так или иначе ставились каждым русским историком первой половины XIX в., всеми предшественниками Иловайского. Но достаточно взять предисловие Иловайского к «Истории России», чтобы увидеть, как на место ярко сформулированной Соловьевым задачи дать связь эпох становится внешняя смена исторических событий, формальная множественность исторической тематики.

«История какого-либо народа, — пишет Иловайский, — есть изображение его прошлой жизни. Постепенное развитие этой жизни, светлые и темные стороны его быта, счастливые и бедственные эпохи, им испытанные, многообразная внешняя и внутренняя борьба, которую он вел, перевороты, которым он подвергался, — все это составляет задачу историка» [2].

Чисто эмоциональная сторона повествования в сопоставлении темных и светлых, бедственных и счастливых моментов заменяет Иловайскому научное изучение развития исторического процесса. Неслучайно упрощена и сама задача: тема государственного развития, взятая Соловьевым в плане раскрытия исторического развития самого народа, снова сведена у Иловайского к воспроизведению чисто внешних отношений. Понимание государственной истории у Иловайского идет не от Соловьева, а представляет возврат к Карамзину. «Народная масса,— по определению Иловайского, — есть не что иное, как этнографическая почва, которая выделяет из себя действующих лиц», и превращенный в «этнографическую почву» народ уже, конечно, не может быть предметом истории. История есть фактически история Русского государства. Историческим является только народ, имеющий государство: «История, по преимуществу, имеет дело с лицами, стоящими во главе народа» [3]. Вся схема русской истории, по Иловайскому, превращается поэтому в историю смены властей, смены столиц. По столицам и дается периодизация русской истории, а деятельность князей составляет ее основную тему.

Иллюстрацией подхода Иловайского к конкретным вопросам русской истории может служить его трактовка вопроса объединения Руси, развития Московского государства и возвышения Москвы, так ярко поставленного у Соловьева. Самый период обозначен у Иловайского термином «собиратели Руси», т. е. не развитие внутренних связей, а князь-собиратель Руси — его тема, князь — основное действующее лицо этого процесса. То же снижение темы происходит и в характеристике причин, к которым сводит Иловайский вопрос о возвышении Москвы.

---

[1] Вышло пять томов, оканчивающихся на царствовании Алексея Михайловича.

[2] *Иловайский*, История России, т. I, Предисловие.

[3] Там же.

«Видна какая-то крепость семьи» у московских князей, —так определяет Иловайский первую причину, которую он ищет прежде всего в личных княжеских отношениях.

Далее указывается выгодность положения Москвы, но взятая в чисто внешней, формальной характеристике. Третье место занимает политическое искусство московского князя; четвертое — отношения московских князей к Золотой Орде.

И лишь на пятом месте появляется народ и его борьба с татарами. Но сам народ взят не в процессе исторического сплочения своих сил, а как этнографический элемент. Это есть действие великорусского начала, особых свойств великоруссов, их склонность к порядку и к организации государства. Этнографический элемент в соединении с государственным и дает основу схемы Иловайского [1].

Оба признака взяты им из исторической мысли более раннего периода: государственное понимание — у Карамзина, этнографическое — только выхолощенная и лишенная основного содержания идея славянофилов.

В связи с этим стоит и отношение Иловайского к истории, как к науке. В определении Иловайского история сближается с искусством; ее задача — «изображать события и обстоятельства такими, какими они представляются воображению историка», он говорит о «благородном стиле», о сочетании художественного чувства и исторической правды. Все это снова связывает его со взглядами Карамзина на историю, как на искусство, отводит от идей XIX в., от проблемы научного изучения и научного анализа.

Характер официального направления сказался со всей резкостью на истории России новейшего периода, XIX в., которая почти полностью переходит в плоскость политической истории, заменяет анализ исторических процессов повествованием об исторических событиях. От истории государства официальное направление переходит прямо к истории государей и государственных деятелей, к жанру исторической биографии. Соответственно и историческая интерпретация не идет обычно дальше психологической характеристики исторического деятеля.

Наиболее крупный представитель этого направления Николай Карлович *Шильдер* (1842—1902). В трактовке Шильдера русская история превращается в историю русских царей. Его работы «Император Павел I», «Император Александр I», «Император Николай I», в общей сложности семь обширных томов, должны были представлять историю России за полвека. К этим основным монографиям примыкала серия более мелких историко-биографических этюдов — об Аракчееве, Кутузове, и большая монография о генерале Тотлебене, адъютантом которого сам Шильдер состоял в Русско-турецкую войну 1877—1878 гг. История воен-

[1] *Иловайский*, История России, т. II, стр. 53—56, 356.

ных операций и дипломатических сношений за тот же период первой половины века представляет непосредственный круг тематических интересов автора, вытекающих из его собственной военной деятельности как генерал-лейтенанта русской армии. При всем том работы Шильдера отличаются тем же формальным объективизмом, который характеризует буржуазную историческую литературу этого периода и сводится к одному основному требованию — документации исторического факта. Историческая документированность занимает значительное место в работах Шильдера, и ею только может определяться историографическое значение его работ.

Другим представителем того же направления является Сергей Сергеевич *Татищев* (1846—1906), как и Шильдер, принадлежавший к официальному служилому кругу. Его основная работа «Император Александр II» представляет как бы прямое продолжение аналогичных работ Шильдера. Подобно последним, основное значение этой работы Татищева, не утраченное и до сих пор, состоит в обширной документации. Дипломат по профессии и службе, Татищев наиболее существенную документацию дает именно в этой области. Фактическая сторона изложения определяет значение его второй основной работы—«Внешняя политика императора Николая I».

Основные события военно-дипломатической истории определяют вообще конкретную тематику всего этого направления. Таково многотомное повествование о войне 1812 г. М. И. Богдановича, история Крымской войны 1853—1856 гг. того же Богдановича или Дубровина, работа кн. Щербатова о Паскевиче и др.

Археографическое направление

Официальная по своему идеологическому направлению, вся эта историческая литература принадлежит исторической науке своей документальной стороной. Если рост исторического знания выразился в выделении археографии как специальной отрасли исторического знания и научно-исторической работы, то явлением обратного воздействия явилось фактическое подчинение самого исторического изучения археографическим задачам. Документация исторического повествования определяет научное содержание и значение рассмотренных выше работ официального направления. И если в работах С. С. Татищева эта документация вводится в самый текст, включается в канву общего повествования, то наряду с этим все чаще документация начинает выделяться в особый раздел — в «приложения», как это имело место еще у Устрялова и потом у Шильдера. Историческое сочинение начинает распадаться на две самостоятельные части — исторический рассказ и архивная публикация, повторяя и в этом отношении методологический прием таких историков XVIII в., как кн. М. М. Щербатов. Но при этом в самом отношении к источнику это направление делает еще один попятный шаг. Здесь отсутствует даже та источниковедческая

проблема, задача критики источника, которая характеризует историческую мысль Бестужева-Рюмина и его школы. Документ берется сам по себе, в своем конкретно-описательном содержании; не критика источника, а его непосредственное воспроизведение составляет задачу историка. Этот археографический подход к источнику является одной из характерных черт всей официальной историографии. Он превращается постепенно в совершенно самостоятельное, самодовлеющее направление, наиболее крупным и характерным представителем которого является Николай Федорович *Дубровин* (1837—1904).

Военный по образованию, Дубровин уже в 1859 г. полностью отдался научно-историческим занятиям. Его исторические труды также связаны в основном с военной историей царской России второй половины XVIII и XIX в. Присоединение Крыма и Кавказа, Отечественная война 1812 г., Крымская война — такова основная тематика его работ. Работы Дубровина выделяются полноценностью документации. Но при этом авторский элемент в работах Дубровина сведен к минимуму: «Присоединение Крыма к России», «Материалы для истории Крымской войны» представляют сборники документов в чистом виде. От официальной историографии Дубровина отделяет, однако, прежде всего бóльшая широта тематики. Документации истории народных движений посвящена его трехтомная работа «Пугачев и его сообщники»; эта публикация оставалась основной документацией по теме до издания Центроархива и не утратила своего значения до сих пор.

Работы Дубровина по Кавказу выходят уже за рамки археографического направления. «История войны и владычества русских на Кавказе» содержит также ценное описание внутреннего строя и быта народов Кавказа. Но и в этом отношении Дубровин лишь примыкал к тому направлению по собиранию этнографического материала, которое в этот период получило более широкое распространение. Привлечение новой категории источников, новой группы исторических данных не меняло основного характера внешнеописательного повествования.

Документированная биография — другое характерное проявление этого археографического направления. Такова многотомная работа Н. Барсукова о Погодине, его же работа о П. Строеве, работа самого Погодина о Карамзине и ряд других работ аналогичного типа.

Археологическое направление. История быта

Развитие археологии, поставив рядом с письменным документом вещевой памятник, превращает и последний в самостоятельный источник исторического описания. Задача воссоздания местного колорита, народного быта, выдвинутая уже романтической историографией, получает в археологических данных, в вещевом материале, самостоятельную материальную базу, выделяется

в особую отрасль, точнее, в особое направление исторического изучения и исторического описания.

Иван Егорович *Забелин* (1820—1908), соединяя в себе историка и археолога, наиболее полно отразил в своих работах превращение истории в описание материального быта. Сотрудник Оружейной палаты, наиболее богатого хранилища памятников старого быта Московской Руси, он сделался в 1859 г. сотрудником Археологической комиссии и производил археологические раскопки на юге России, а впоследствии стал председателем Московского общества истории и древностей (1879) и товарищем председателя Исторического музея в Москве (1883). Историк-самоучка, Забелин сам пришел в историческую науку от археологической и музейной работы, через знакомство с материальными остатками старины.

Попытку восстановить эту старину в ее бытовой повседневной конкретности представляет его основное историческое сочинение «Домашний быт русского народа в XVI—XVIII вв.», состоящее из двух томов, вышедших в 1872 г.: «Домашний быт русских царей» и «Домашний быт русских цариц». Жизнь Московского дворца воспроизводится в ее материальной обстановке, со всем ее церемониалом и обрядностью, с описанием предметов повседневного обихода. «История г. Москвы» представляет опыт исторического описания определенного архитектурного комплекса как особого типа материального памятника старины. История города, его топография, его строения и памятники восстанавливаются в свете письменных свидетельств и фольклорного материала. Наконец, в работах «Кунцево и кунцевский стан» и «Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве» историко-бытовое описание распространяется и на область экономического быта.

Забелин, впрочем, выходил и за рамки историко-бытового описания, обращаясь к общим проблемам общественного строя. Сложившись как историк в период 50-х — начала 60-х годов, он не мог остаться в стороне от полемики славянофилов и западников. Проблеме родового и общинного строя посвящена вводная глава его работы «Домашний быт русских цариц»; другому общему вопросу была посвящена его специальная статья — «Взгляд на развитие Московского единодержавия» [1]. Но эти проблемы оставались у Забелина вне связи с его конкретно-историческими работами, представляли социологические построения на основе эклектического смешения понятий славянофильства и юридической школы. Так, «Домашнему быту русских цариц» предпослано общее рассуждение о положении женщины в древней Руси на основе учения о родовой организации как «естественной форме человеческой жизни» [2] и как своеобразной фикции — «идеи рода,

[1] «Исторический вестник» № 5, 1881.

[2] *Забелин*, Домашний быт русских цариц, стр. 13.

идеи отечества, т. е. идеи принадлежности лица известному отцу или роду, идеи полной зависимости лица от своего родства» [1].

Вслед за Соловьевым он связывает общину с родом, как родовую общину, но вместе с славянофилами и Погодиным он противопоставляет «путь завоевания» как источник образования власти на Западе «пути нарождения» власти, опирающейся в России на идею права или закона [2]. Запоздалый отзвук других споров, эти рассуждения Забелина стоят в стороне от основного содержания его научной работы.

Именно историко-археологическое, историко-бытовое направление связывает Забелина с основными тенденциями русской исторической науки рассматриваемого периода. История быта, в частности история экономического быта, является темой специальных работ Костомарова. Специальное издание «Живописная Россия», организованное при участии И. Е. Забелина, Д. И. Иловайского, Н. И. Костомарова, было прямым отражением этого направления.

История города как определенного архитектурного комплекса становится другой распространенной формой, другим общим типом исторического повествования, особенно распространенным с 80-х годов XIX в., когда появляется целый ряд очерков по истории важнейших старинных русских городов—Ростова, Твери, Суздаля, Нижнего-Новгорода (нынешний Горький).

Местная история

В этих условиях распыления исторического материала, выпадения синтетической основы исторического изучения внешнее объединение в разрезе местной истории превращается в одно из специфических, характерных направлений исторического изучения.

Тематика местной, или областной, истории зарождается именно в 60-е годы XIX в. и получает широкое распространение в период 80—90-х годов. Она представлена с самого начала такими работами, как «История Тверского княжества» ученика К. Н. Бестужева-Рюмина Борзаковского (1876) или «История Рязанского княжества» Д. И. Иловайского (1858). Они построены на тщательном подборе конкретного фактического материала по истории данного княжества. Это—попытки тщательно собрать наличный этнографический, исторический, географический и письменный материал, чтобы дать на его основе исчерпывающую фактическую историю небольшой территории. Но выключенная из общей истории Русской земли, история отдельного княжества остается формальной суммой отдельных описаний, объединенных лишь внешней связью политического повествования, превращающегося в своеобразное возрождение летописной истории.

---

[1] *Забелин*, Домашний быт русских цариц, стр. 10—11.
[2] Там же, стр. 29.

Историческая повесть

Обращение к исторической повести, к историческому роману — другая характерная черта в эволюции буржуазной исторической науки. Историческое повествование, выступившее на первый план, завершает свое развитие в конечном отрыве от научно-исследовательской базы, выдвигая на первый план внешнюю занимательность самого повествования, его сюжетную и литературно-художественную сторону. Историческая повесть и исторический роман—не только литературный жанр, получающий распространение в русской литературе рассматриваемого периода. Характерно, напротив, непосредственное смешение исторического и литературного произведения, переход первого в последнее.

Так, в исторической биографии выступает на первый план анекдотическая сторона повествования, характеризующая многочисленные исторические писания С. П. Шубинского. «Собрание анекдотов о кн. Г. А. Потемкине-Таврическом», «Черты и анекдоты из жизни имп. Александра I» — такова непосредственная тематика его сочинений. Это направление сказалось и на журнале «Исторический вестник», редактором которого Шубинский состоял с 1880 г. Исторической повестью, скорее чем историческим исследованием, являются и популярные в свое время очерки по истории Петровской эпохи М. И. Семевского, писателя с либеральными тенденциями, одно время состоявшего редактором крупного исторического журнала «Русская старина». Его сочинения «Царица Прасковья», «Царица Екатерина и дело Монса», «Слово и дело» проникнуты известной оппозиционностью, но чужды всякого научного анализа, научной исторической оценки эпохи.

На грани между историей и романом стоят и популярные в свое время монографии Д. Л. Мордовцева из истории народных движений — «Гайдамачина», «Самозванцы и понизовая вольница». И сам историк кончает тем, что из историка превращается в романиста.

То же смешение научных и литературных задач и приемов характеризует и одного из наиболее популярных представителей буржуазной исторической науки этого периода — Н. И. Костомарова.

ГЛАВА 25

КОСТОМАРОВ

Основные сочинения Костомарова: Мысли о федеративном начале древней Руси; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. I, изд. 2-е Кожанчикова, Спб. 1872, стр. 1—50.—Две русские народности; там же, стр. 51—108. — Черты народной южно-русской истории; там же, стр. 109—260.—Бунт Стеньки Разина; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. II, изд. 2-е Кожанчи-

кова, Спб. 1872, стр. 195—356. — Об отношении русской истории к географии и этнографии; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. III, изд. Кожанчикова, Спб. 1867, стр. 353—377.— Смутное время Московского государства в начале XVII столетия; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. IV—VI, изд. Кожанчикова, Спб. 1868. — История Новгорода, Пскова и Вятки во время удельно-вечевого уклада (Севернорусские народоправства), т. I—II; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. VII—VIII, изд. Кожанчикова, Спб. 1868. — Богдан Хмельницкий, т. I—III; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. IX—XI, изд. 4-е, Спб. 1884.— Начало единодержавия в древней Руси; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. XII, изд. Кожанчикова, Спб. 1872, стр. 1—152.— Личность царя Ивана Васильевича Грозного; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. XIII, изд. Вольфа, Спб. 1881, стр. 209—317. — Личности смутного времени; там же, стр. 351—397.—«Руина». Историческая монография. 1663—1687. Гетманства Бруховецкого, Многогрешного и Самойловича; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. XV, изд. Вольфа, П.—М. 1882. — Мазепа и мазепинцы; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. XVI, изд. 2-е, Спб. 1885. — Последние годы Речи Посполитой, т. I—II; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. XVII—XVIII, изд, 3-е, Спб. 1886.— Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, вып. 1, X—XVI столетия, Спб. 1873; вып. 2, XVII столетие, Спб. 1874; вып. 3, XVIII столетие, Спб. 1874.—Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях и старинные земские соборы; в кн.: *Костомаров, Н.*, Исторические монографии и исследования, т. XIX, изд. 3-е, Спб. 1887. — Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях, изд. Шиблина, Спб. 1862.— *Костомаров, Н. И.*, Автобиография Н. И. Костомарова, под ред. В. Котельникова, «Задруга», М. 1922.

Основная историографическая литература: *Маркевич, А.*, Костомаров, Николай Иванович; статья в Русском биографическом словаре, т. IX, Спб. 1903, стр. 305—319. — *Семевский, В. И.*, Николай Иванович Костомаров; в журн.: «Русская старина» № 1, 1886; стр. 181—212. — *Пыпин, А. Н.*, История русской этнографии, т. III, Этнография малорусская, Спб. 1891 (О Костомарове, гл. VI, стр. 151—187). *Максимович, М.*, Письма о Богдане Хмельницком; в кн.: *Максимович, М.*, Соч., т. I. — *Багалий, Д.*, Історія України, ч. I (историографич. введение).—*Карпов, Г.*, Костомаров, как историк Малороссии, М. 1871.— *Карпов, Г.*, Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся, за время: 8 января 1654—30 мая 1672 года, М. 1870.

Библиография: *Николайчик, Ф.*, Библиографический указатель сочинений Н. И. Костомарова; в журн.: «Киевская старина», 1885, май, стр. IX—XXV.—Библиографический указатель сочинений Н. И. Костомарова, 1838—1890; в кн.: *Костомаров, Н. И.*, Литературное наследие, Спб. 1890, стр. 493—521.

Место Костомарова в русской историографии

Костомаров в русской историографии занимает несколько особое место. В русской исторической науке он является в известной мере представителем украинской истории, с которой связана значительная часть его научной и литературной деятельности. Однако общее значение его работ далеко выходит за рамки украинской истории. Общим вопросам русской истории посвящен ряд исследований Костомарова. Деятельность Костомарова протекала в основном в Петербурге, в центре русской исторической науки, и тесно переплетается с ее развитием. Поэтому оторвать Костомарова от русской исторической науки нельзя и брать его вне этой связи значило бы сильно сузить его значение и самый подход к его работам.

Но вместе с тем то, что Костомаров к вопросам истории России пришел от истории Украины, сыграло свою роль в общей направленности его исторической мысли. Вопрос об отношении украинского народа к русскому, об отношениях России, Украины, Польши выдвигается на передний план и получает отражение в его общей трактовке русской истории. С вопросом украинского национального движения связано у Костомарова и противопоставление народа государству в историческом развитии и тот налет оппозиционности, который характеризует его литературные выступления. Эта оппозиционность Костомарова в отношении российского самодержавия объясняет, думается, и сочувственные отзывы о нем Чернышевского, стремившегося к объединению всех сил, враждебных самодержавно-крепостническому строю. Но при этом оппозиционность Костомарова оставалась национальной украинской оппозицией, здесь лежат источники и границы его политической оппозиции, которая не определяет еще социально-политических и общеисторических взглядов Костомарова и его мировоззрения. Его оппозиционность имела не народный, классовый, а национальный характер буржуазной оппозиции против национального гнета царизма.

Здесь ключ к пониманию идеи народа в его исторической концепции. Идея народной истории в связи с оппозиционностью самодержавию приводила нередко к сближению Костомарова с народническим течением, к его сопоставлению со Щаповым. Но это сближение оказывалось чисто внешним. Сближали областничество Щапова и федерализм Костомарова, забывая при этом, что о федеративных началах в древней Руси говорили и такие историки, как Бестужев-Рюмин. Указывали, что Костомаров, как и Щапов, противопоставлял историю народа истории государства, забывая, что это же противопоставление проводили и славянофилы в полемике с Соловьевым. Словом, брали внешнее определение общих понятий, не пытаясь выяснить их реальное содержание.

Для понимания этого вопроса решающее значение имеет уже цитировавшееся выше ясное и четкое указание Ленина на на-

личие двух пониманий народа в истории, принадлежащих различным направлениям и периодам в развитии исторической науки [1]. Ленин говорит о славянофильстве и народничестве: для первого народ — этнографическое понятие, во втором он получает впервые социальное содержание. В этом противопоставлении — путь к пониманию Костомарова, его места в русской историографии, его действительного отношения к новым идейным течениям, слагавшимся в России в период 60—70-х годов.

Биографические данные

Сама биография Костомарова дает ряд отправных точек для освещения этого вопроса.

Хотя развитие литературной деятельности Костомарова принадлежит 60—70-м годам и его первая историческая монография «Богдан Хмельницкий» вышла в 1857 г., но само формирование его научной мысли относится еще к периоду 40-х годов.

Николай Иванович Костомаров (1817—1885) — ровесник Соловьева, даже тремя годами старше его. Историческое образование Костомаров получил в 1830—1836 гг. в Харьковском университете. Здесь уже обозначился его интерес к вопросам этнографии и фольклора в его работе у Срезневского. Когда его диссертация на историческую тему «О значении Унии в истории Западной Руси», с которой он выступил в 1842 г., не была пропущена цензурой по политическим соображениям, как посвященная народному украинскому движению, Костомаров заменил ее работой на тему «Об истории и значении русской народной поэзии». Так, исторические интересы у Костомарова все время тесно переплетались с интересами литературными. И в первые годы его деятельность сосредоточивается на литературной работе. Ему принадлежит ряд стихотворных опытов в подражание народной поэзии и другие литературные произведения в романтическом стиле той эпохи, издававшиеся под литературным псевдонимом Иеремии Галки. Так, все больше определялась и закреплялась литературно-этнографическая тенденция в деятельности Костомарова.

К 1845 г. относится переход Костомарова в Киев на работу сперва учителем в женской гимназии, а с осени 1845 г. преподавателем в университете. Одновременно он продолжал и здесь фольклорные и этнографические занятия, собирание местного фольклорного материала.

К киевскому периоду жизни Костомарова относится событие, характеризующее уже политическую биографию Костомарова. Он был участником Кирилло-мефодиевского братства, в котором участвовал и Шевченко. Но Шевченко, Гулак и Савич в Кирилло-мефодиевском братстве представляли радикальное крыло, отражали идеи утопического социализма, а Костомаров и примыкав-

[1] См. *Ленин*, Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве, Соч., т. I, стр. 278—279.

шие к нему Кулиш, Белозерский представляли не линию социальной и политической борьбы, а программу национально-культурной автономии, права на собственный язык и культуру.

Сам Костомаров в своей автобиографии указывал на аполитичность тех стремлений, которые привели его в Кирилло-мефодиевское братство [1]. В его позиции отразилось направление украинской национальной идеологии, украинская буржуазно-либеральная научная мысль, характеризующая общую линию украинской науки этого периода, периода обострения внутренних классовых противоречий, — переход буржуазной науки от острых социальных и политических проблем к вопросам этнографии и фольклора. Поворот к культурно-исторической проблематике характеризует работы Максимовича, работы Срезневского, все направление украинской дворянско-буржуазной исторической мысли конца первой половины XIX в. Именно это направление нашло отражение у Костомарова, стоявшего на буржуазно-либеральных, умеренных позициях, а не на радикальной позиции Шевченко и утопического социализма.

Как бы то ни было, участие в обществе отразилось на дальнейшей судьбе Костомарова. В 1847 г. он вместе с другими членами общества был арестован, попал сначала в Петропавловскую крепость, а затем был выслан на жительство под надзор полиции в Саратов, с запрещением печатать свои работы. Здесь произошло и знакомство Костомарова с Чернышевским.

В Саратове Костомаров продолжал разработку собранных им материалов украинского фольклора и подготовлял работу о Богдане Хмельницком, изданную им в 1857 г., после окончания саратовской ссылки [2]. В то же время его интерес к фольклорному материалу сказался в собирании местного фольклора, связанного с тематикой народных движений. Относящийся к истории движения Разина и Пугачева, этот материал частично был передан им для использования его другу по саратовской ссылке Мордовцеву, частично использован самим Костомаровым во второй его монографии, вышедшей в 1858 г., — «Бунт Стеньки Разина». Наконец, здесь же он начал принимать участие в археологических экспедициях, в частности в Крым, что определило еще одно направление его позднейшей работы, когда он был одним из активных участников археологических съездов.

Изменения, наступившие в 1855 г. со смертью Николая I, открыли ему возможность сначала временных наездов в Петербург, где он стал впервые знакомиться с материалами петербургских

---

[1] Впрочем, составленная значительно позже, автобиография Костомарова, может быть, ретроспективно видоизменяет оценку событий, отражая его позднейшую идеологическую позицию.

[2] Это сочинение подверглось значительной переработке в последующих изданиях.

архивов. В 1859 г. он обосновался в Петербурге и тогда же был избран экстраординарным профессором Петербургского университета по кафедре русской истории.

Его университетская деятельность оказалась, однако, кратковременной в связи с событиями 1862 г., еще раз осветившими политическое лицо Костомарова. Костомаров был участником «Вольного университета», вызванного к жизни подъемом общественного оппозиционного движения 60-х годов. События, последовавшие за изданием манифеста 19 февраля, расправы над крестьянами в Бездне, в Черногай-Кандиевке вызвали волну общественного протеста. Правительство ответило репрессиями, первой жертвой которых был Щапов. За политический характер своей лекции в «Вольном университете» был выслан в сущности далекий от радикализма профессор Павлов. После высылки Павлова радикальная студенческая группа потребовала демонстративного прекращения лекций. Костомаров отказался подчиниться этому требованию и выступил с очередной лекцией. Освистанный студентами, вступив в конфликт с широким общественным движением, Костомаров после этого вынужден был уйти из университета. Хотя он и обосновывал свою позицию стремлением сохранить «Вольный университет», возможность свободной работы, но в его поведении ярко сказался тот разрыв, который существовал между ним и передовой радикальной интеллигенцией, передовым общественным движением 60-х годов.

В период после ухода из университета научно-литературная деятельность Костомарова протекала очень оживленно и дала огромную литературную продукцию. Еще в 1861—1862 гг., одновременно с университетской работой, Костомаровым был организован украинский литературный журнал «Основа», в котором появился ряд статей самого Костомарова, вошедших потом в первые тома его «исторических монографий». Уход из университета, переход на журнальную и публицистическую работу, частично чтение публичных лекций оказали известное влияние на характер и стиль работ Костомарова, придали им литературно-популяризаторский характер, типичный для его изложения, дополнивший те литературные и фольклорные навыки, которые Костомаров принес с самого начала в свои занятия историей.

Параллельно с публикацией целого ряда статей и монографий, составивших в итоге двадцать один том его «Исторических монографий», помимо некоторых отдельных статей, не вошедших в это собрание, он вел большую деятельность по изданию документов. Как член Археографической комиссии он издал двенадцать томов документов, из которых девять томов «Актов, относящихся к истории Южной и Западной России». Он продолжал работу и в области этнографии, результатом чего явилось издание трех томов «Трудов» Географического общества, посвященных этнографическим вопросам. Он являлся, наконец, активным участником архео-

логических съездов. В этом направлении его деятельность протекала особенно интенсивно в последний период его жизни.

Этим конкретным содержанием своей научной деятельности Костомаров в известной мере связан с тем развитием исторической науки вширь, которая характеризует период 60—70-х годов XIX в.

Теоретические позиции. Проблема народа и этнография

Сам Костомаров довольно отчетливо определил свою научную позицию в небольшой лекции, прочитанной им в Петербурге в 1863 г., — «Об отношении русской истории к географии и этнографии»[1]. Он обратился к теоретическому разрешению вопроса об отношении истории к этнографии, определившей его собственный практический путь к истории.

Костомаров начал с историографической постановки вопроса о развитии самой исторической науки. Ее первый этап он определяет «анекдотическим характером изложения. Историк скользил на поверхности прошедшей жизни, складывал в своем сочинении события, возбуждавшие любопытство... события эти брались из мира политического... и из частного быта людей, стоявших на челе управления силы».

Второй этап определялся исканием внутренней связи событий: историки «следили за последовательным развитием и изменением государства». Он также пережил себя и сменился третьим этапом: «Царские дворы, правительственные приемы, законодательства, войны, дипломатические отношения не удовлетворяли желания знать прошедшую жизнь. Кроме политической сферы, оставалась еще нетронутою жизнь народных масс с их общественным и домашним бытом, с их привычками, обычаями, понятиями, воспитанием, сочувствиями, пороками и стремлениями... И вот исторические сочинения стали наполняться описаниями внутреннего быта... И стали думать, что цель достигается, но она не достигалась»[2].

Костомаров восстает против первого направления, формально описательного, характерного для историков XVIII в.; он обрушивается на славянофилов и Соловьева и формулирует свои возражения против сведения истории к истории государства. «Историки изображали признаки жизни, а не самую жизнь, предметы и вещи людские, а не самых людей». Это, по мнению Костомарова, не история, а археология. Историк должен показать «нравственную организацию людей... совокупность людских понятий и взглядов, побуждения, руководившие людскими деяниями, предрассудки, их связывавшие, стремления, их уносившие, физиономии их обществ. На первом плане у историка должна быть деятельная сила души человеческой, а не то, что содеяно человеком»[3].

[1] *Костомаров*, Исторические монографии и исследования, кн. 1, Спб. 1903.

[2] Там же, стр. 719—720.

[3] Там же, стр. 720—721.

Итак, по мнению Костомарова, история должна заниматься не самой исторической жизнью, не ее конкретным выражением. Исторические факты, исторические события не важны для историка. Костомаров в этой статье считает собирание внешних фактов, «сочетание признаков», делом не истории, а археологии. Восстановление живой ткани событий, как требовал Соловьев, перестает быть задачей исторического исследования: «для историка нет нужды рассматривать их самих по себе» [1]. Постепенно уточняя свое понимание «уразумения сил души человеческой», он приходит к формулировке об «уразумении народного духа» [2], в конечном итоге возвращающей к Шеллингу, к романтической историографии первой половины XIX в., к методологическим позициям славянофильства. Эта трактовка конкретной истории характерна для всей методологии Костомарова, вплоть до решения источниковедческих вопросов.

Учение Шеллинга о духе народном, романтическое направление в литературе и в истории, соединенное с этнографическим подходом к конкретному материалу, определило непосредственную трактовку Костомаровым вопроса о народе в истории. Судьба каждого народа выводится не из его исторического развития, а из его духовных свойств. Но и в характеристике последних Костомаров остается в сущности в стороне от новых течений научной мысли, представленных «психологией народов». Последняя рассматривала народную психику в какой-то мере исторически, как продукт практической деятельности. Костомаров выводит характеристику народного духа из той общей идеи, носителем которой является народ, т. е. из его этнографической характеристики. На этом начале построены его статьи «Мысли о федеративном начале древней Руси», «Черты народной южно-русской истории», «Две русские народности» [3].

Национальная позиция Костомарова выдвигала прежде всего вопрос исторических основ отношений между великорусским и украинским народами. Решение вопроса выводится Костомаровым из их психического склада. Украинская народность сильна началом народной свободы, народного самоуправления, началом демократизма. У великорусского народа сильно чувство дисциплины, организованности, сильно государственное начало. В этой характеристике есть и положительный момент — «что-то громадное, созидательное, дух стройности»; есть и отрицательная оценка: великорусс — крепостной, любит своего барина, тогда как «южнорусс» вольнолюбив [4]. Украинская народность выработала вечевой строй, великорусская народность создала у себя единодер-

[1] *Костомаров*, Об отношении русской истории к географии и этнографии, «Исторические монографии и исследования», кн. 1, стр. 723.
[2] Там же, стр. 722.
[3] Там же, стр. 1—158.
[4] Там же, стр. 56.

жавие, или монархический строй. Основная проблема — народ и государство — разрешена в этнографическом плане.

Самое различие не складывается исторически: «В глубокой древности, во времена юности народов, переходы их из края в край порождали своеобразные типы и образовали народности» [1]. «Начало этого отличия, — пишет он дальше, — теряется в глубокой древности, как и вообще распадение славянского племени на отдельные народы» [2]. Исконность обособления южноруссов, по мнению Костомарова, подтверждается сродством с ними новгородских славян.

В этой этнографической основе Костомаров ищет разрешение большинства исторических вопросов.

Прежде всего само подчинение украинского народа великорусскому объясняется тем, что более организованное монархическое начало подчинило себе вечевой строй, который в дальнейшем, по Костомарову, приобрел известный элемент анархичности. Именно поэтому украинский народ и не мог создать своей государственности и должен был войти в другое государство, будь то Польша или Россия.

Исходя из тех же позиций решает Костомаров вопросы истории Новгорода. Сменой южнорусского города севернорусским объяснял Соловьев судьбу государственного строя в связи с передвижением населения в Северную Русь. Костомаров воспроизвел эту тему в этнографическом плане. Новгород — представитель украинской народности. Костомаров доказывает в работе «Севернорусские народоправства», что новгородский язык сохранил в своих языковых формах остатки древней южнорусской, украинской речи как показатель этнографической принадлежности новгородцев к украинской народности. В этом основа и прежнего демократизма Новгорода и его слабости по отношению к Москве, приведшей к его поражению. В статье «О значении Великого Новгорода в русской истории» решение вопроса упрощается еще больше. Поражение Новгорода и победа единодержавия связывается с тем, что «от древней Новгородской народности остались одни развалины» [3]. Целый сложный исторический процесс превращен в чисто этнографическую проблему.

В том же этнографическом разрезе дает Костомаров характеристику третьей славянской народности — поляков.

В работе «Последние годы Речи Посполитой» он и для Польши для определения ее судеб идет от определения народного характера, а не от вопросов развития общественных отношений. «...Корень падения Польши... в тех качествах народа, которые так легко увлекли его к деморализации и вообще

[1] *Костомаров*, Две русские народности, «Исторические монографии и исследования», кн. 1, стр. 33.

[2] Там же, стр. 35.

[3] Там же, стр. 210.

делали поляков неспособными к самостоятельной государственной жизни» [1].

«Конечно, — говорит он, — нет ничего труднее объяснить, отчего образовался такой или иной народный характер, хотя он и высказывается всею историческою жизнью народа. Трудность эта истекает оттого, что начала его обыкновенно восходят к тем отдаленным временам, о которых не дошло до нас сведений... Мы застаем исторические народы в те периоды развития, когда у них уже определились первобытные свойства... Польский народ, как и все славянское племя ...представляет избыток сердечности над умом» [2]. Это историческое суждение не лишено, таким образом, и известного душевного сочувствия, а в самом сочетании «сердечности» с неспособностью к государственной жизни Костомаров временами готов усмотреть даже духовное, этнографическое сродство украинцев с поляками.

Государство и народ

При переходе к изучению конкретного содержания исторического процесса эта теория народности должна была привести Костомарова,— так же как она привела и славянофилов в освещении конкретной, реальной исторической жизни, — к глубоким внутренним противоречиям. Поскольку самая природа народа слагалась вне истории, до исторического развития, она не могла дать никаких вех, никаких отправных точек для понимания конкретного исторического процесса. Раз дух народа искони сложился, есть нечто постоянное и неизменное, то изменение в судьбе народа, в его общественном и политическом строе уже не может быть объяснено из этого народного духа. Отсюда в попытках овладеть конкретным историческим материалом, в трактовке исторических событий Костомаров фактически сползал на позиции государственной школы; исходя из своих теоретических позиций, он выступал против нее, но практически ничего не мог ей противопоставить, потому что его концепция народа была, по сути дела, антиисторична.

История народа разрешается внешним подчинением народа государству. Государство оказывается более сильным дисциплинирующим началом и подчиняет себе народ; история народа превращается в историю государства. И Костомаров, обращаясь к конкретной истории, дает именно историю государства, он идет не от развития внутренних сил народа, а от внешнего хода исторических событий. Отсюда и тот внутренний разрыв исторического процесса у Костомарова, его конечное подчинение действию внешних сил, которое, идя от понятия государства, дал Чичерин.

Этнографическая характеристика великорусской народности,

---

[1] *Костомаров*, Исторические монографии и исследования, т. XVII, Спб. 1886, стр. 20.

[2] Там же, стр. 19—20.

лежащая за рамками исторического развития, не может разрешить конкретный исторический вопрос возникновения Русского государства, утверждения единодержавия в России. Исходная этнографическая концепция оказывается сразу разорванной. Костомаров заимствует конкретную схему у государственников и берет ее в ее самой упрощенной форме. Внешнее событие — завоевание — создало государство, монгольское иго создало русское единодержавие. Этот вывод полностью связывает Костомарова с крайними государственниками — Карамзиным и Чичериным.

Еще более неожиданным может показаться решение вопроса о народном движении и его отношении к государству. В этнографическом понимании народа, от которого идет Костомаров, не было ключа к пониманию народного движения. В конечном итоге он и здесь ищет разрешения вопроса в самом государственном начале. Государство подчинило себе народ, потому что представляло организованное начало. Отсюда народное движение представляется Костомарову, как и Соловьеву, выражением анархического начала, только объясняет он его этнографическими свойствами: казачество, выступающее в движении Хмельницкого, это последний отзвук народно-вечевого уклада Киевской Руси, антигосударственного, анархического духа южноруссов. Но это значит, что государство представляет собой новое, прогрессивное начало, а народное движение — отзвук старого отживающего мира — получает в результате отрицательную оценку в работах Костомарова.

Пользование источником

Этот подход к истории — в плане литературно-исторического произведения, живописного стиля и психологической интерпретации — определил своеобразный подход Костомарова к источнику. Он отразился уже в пренебрежительном отношении к точности воспроизведения фактического материала, свойственной, по Костомарову, «археологии», а не истории. При поражающем зачастую обилии у Костомарова документальных данных, широте и разнообразии использованного им фактического материала самое использование материала носит сугубо литературно-психологический, субъективный характер, при полном отсутствии научной критики. Это отмечали не только противники Костомарова, как Геннадий Карпов, но и его друзья, как Максимович.

Чрезвычайно характерна полемика, возникшая между Костомаровым и Карповым, по вопросу публикации материалов по истории Украины XVII в. и их использования. Великодержавная националистическая позиция Карпова по вопросу присоединения Украины к Москве для нас неприемлема. Но Карпов подверг справедливой критике археографическую работу Костомарова и его пользование источниками, указав на произвольность отбора документов, на его односторонность. В изданном Карповым десятом томе «Актов Южной и Западной Руси» читатель мог познакомиться с рядом документов по московско-украинским отношениям за

период 1648—1864 гг., которые Костомаров оставил неопубликованными, так как они не укладывались в его схему. Костомаров в своем ответе Карпову сам совершенно отчетливо сформулировал субъективность своей источниковедческой позиции. По вопросу о событиях Переяславской рады, вопреки источникам, которых он не мог не знать, но которых он не дал в своих публикациях, Костомаров утверждал, что московские послы принесли на раде присягу о соблюдении украинских вольностей. На опровержения Карпова Костомаров отвечал: «Если бы какой-нибудь факт никогда не совершался, да существовала бы вера и убеждение в том, что он происходил, — он для меня остается так же важным историческим фактом» [1].

Таким образом, по мнению Костомарова, историк может оперировать фактами, которые никогда не существовали, и притом не для характеристики эпохи, создавшей легенду, а для характеристики тех событий, о которых сложена легенда. В этой формулировке свобода авторской интерпретации в подходе к историческим явлениям доведена до своей крайности, фактически исключающей уже всякое научное обоснование исторического вывода.

Эта произвольность в отборе памятников и своеобразный принцип использования источников не только условно формулированы Костомаровым, но и воспроизведены в его работах. Разрыв между общей оценкой источника и его фактическим использованием в непосредственном историческом повествовании, отмеченный у Карамзина, в еще более резкой форме повторяется у Костомарова. Это чрезвычайно ярко сказалось в его монографии о «Богдане Хмельницком». Своему сочинению Костомаров предпослал подробный перечень использованных источников с краткими критическими аннотациями. Характеризуя в этих аннотациях казацкие летописи, Костомаров совершенно правильно указал на исключительную ценность летописи Самовидца, представляющей подлинные записи, составлявшиеся их участником непосредственно по следам исторических событий, и противопоставил ей такие произведения, как летопись Величко и «Повесть о презельной брани» Грабянки, — литературные произведения более позднего периода.

Но в самом тексте «Богдана Хмельницкого» нет никаких следов использования летописи Самовидца и целыми страницами пересказывается, если не переписывается, «Повесть о презельной брани» Грабянки. Осужденная с точки зрения исторической критики, она привлекает Костомарова как художника, в специфическом смысле слова, литературной, красочной стороной своего повествования.

---

[1] Напечатано в журнале «Беседа»; цит. по книге *Карпов*, Н. Костомаров, как историк Малороссии, М. 1871, стр. 23—24.

Общее направление исторического изучения

Эти черты научной методологии Костомарова определяют прежде всего его исторические связи. Своими идейными корнями он связан с романтической историографией, в разрезе ленинского определения он всего ближе к славянофильскому направлению в исторической науке. Взяв у этого романтического направления тему «народного духа», задачу художественного воссоздания местного колорита (couleur locale), он вместе с эпигонами романтизма свел эти вопросы к внешнеописательным задачам этнографического и историко-бытового направления, в которое выродилась романтическая школа. Бытовой фон и этнографическая характеристика народного духа подменяют научное объяснение исторических явлений.

Сами по себе эти стороны исторического изучения составляют лучшую часть научного творчества Костомарова. Охватив многообразие растущих вширь исторических знаний, владея археологией, этнографией, фольклором, Костомаров воспроизводит с большой полнотой бытовую историю в таких работах, как «Очерки великорусского быта» или «Очерки торговли Московского государства». Обращение к фольклорному материалу, народному творчеству, позволяет ему с новой стороны осветить народную жизнь и историю народных движений, выступающих порой в свете собственной народной интерпретации. Именно эти стороны сообщают известную свежесть описания работам Костомарова по украинской истории.

Но художественно-описательная форма заслоняет задачи анализа и критики. События разворачиваются на этом фоне в повествовании, стоящем между наукой и литературой. Исторические монографии Костомарова — уже не исследования, а именно «занимательное повествование о днях минувших». Там, где повествование само по себе имеет научную ценность, прежде всего в области международных отношений, в отношении которых знания Костомарова особенно полны по широте и разнообразию известной ему документации, повествование Костомарова приобретает научный интерес. В силу этого такие работы Костомарова, как «Смутное время в Московском государстве» (3 тома) или «История падения Речи Посполитой» (2 тома), еще сохраняют интерес для историка. Но там, где историк подходит к вопросам гражданской истории, где от него требуется не описание, а объяснение событий, Костомаров от ответа уходит.

И в этом Костомаров остается лишь верным представителем современной буржуазной исторической мысли.

Переходя к попытке синтетического освещения истории России или истории Украины, Костомаров выявляет всю слабость своих научных теоретических позиций. В конечном счете его схема русской истории, в силу внеисторичности принципов, выдвинутых самим Костомаровым, превращается в значительной мере в госу-

дарственную историю вопреки его же собственным требованиям. Утрачивая принцип органичности, он возвращается в ее изложении к идеям Карамзина, так резко осужденным им в их историографической оценке.

Основная схема истории России

История Киевской Руси охарактеризована Костомаровым лишь суммарно, в общей характеристике этнографической природы ее народновечевого строя; он не остановился даже на полемике о родовом и общинном строе. Но и этнографическая характеристика периода сохраняет крайнюю неопределенность. В статье «О федеративном начале в древней Руси» у Костомарова появляется шесть народностей — южнорусская, северская, белорусская, великорусская, псковская и новгородская: понятие народности смешивается с территориально-политическим понятием земли, которая порой выступает уже с чертами городовой волости, усвоенными ей потом у Ключевского. Вместе с тем первоначально внешне сочувственная характеристика демократизма народновечевого строя Киевской Руси сменяется термином «разбивчивости», которым она определяется в более поздней статье — «Начало единодержавия в России». Конечная неопределенность содержания привела Костомарова к погодинскому термину домонгольского периода.

Этапу народновечевого строя, характеризующему Киевскую Русь, Костомаров противопоставил новый исторический этап, начинающийся в Северной Руси. Уже в ранних работах Костомарова этот вопрос разрешался противопоставлением великорусской и украинской народностей, демократического строя Киевской Руси и единодержавия Московской Северо-восточной Руси.

Но условность этнографической характеристики привела к внутреннему противоречию. Положение о том, что понимание государственности было присуще великорусскому народу больше, чем украинскому, не давало достаточного обоснования историческому факту перехода к московскому единодержавию. Поэтому, кроме общих свойств русского народа, потребовалась внешняя сила, решающая этот вопрос. Такой внешней силой оказалось татарское завоевание.

Татарский период положил начало переходу России к единодержавию. Правда, Костомаров вводит здесь переходный период с XIII в. до конца XV в., обозначая его как феодальный. Самое определение феодализма заимствуется, видимо, у Гизо, хотя в сбивчивой и нечеткой передаче. Феодализм, говорит Костомаров, — это «такой политический строй, когда весь край находится в руках владетелей, образующих из себя низшие и высшие ступени с известного рода подчиненностью низших высшим и с верховным главою выше всех» [1]. Это определение феодализма как по-

[1] *Костомаров*, Начало единодержавия в России, «Исторические монографии и исследования», т. XII, Спб. 1872, стр. 87.

литической иерархии, соединенной с иерархией землевладения, остается лишь формальным заимствованием. По сути дела у Костомарова оно не выходит за рамки чисто внешней политической характеристики раздробленности удельной системы, самое возникновение которой также связывалось с внешнеполитическим воздействием того же монгольского завоевания, упразднившего национальное единство власти. «Такой феодальный строй мог существовать и быть крепок до тех пор, пока была крепка и деятельна власть Орды» [1]. Понятие феодализма у Костомарова лишено, таким образом, всякого экономического и социального содержания.

Властью Золотой Орды создается затем и самодержавие: «единодержавие зародилось во время татарского завоевания как неизбежное последствие покорения страны и обращения в собственность завоевателя...» [2] Московский князь оказывался просто преемником ордынского хана. Это положение Костомарова было лишь очередным вариантом схемы, которая вела свое начало от Карамзина и которую одновременно с Костомаровым повторил Чичерин; после Костомарова она вновь отражена у Ключевского и через него у М. Н. Покровского.

Утвержденная внешней силой, единодержавная власть держится «отсутствием сословных интересов», т. е. слабостью общественной организации. «Государство обособилось от народа, составило свой круг»; «Государственность объединила русский народ» — таковы формулировки, определяющие роль Ивана III и Петра I у Костомарова и непосредственно возвращающие нас к государственной школе [3].

В этой интерпретации снимается та проблема борьбы, которой сопровождается торжество самодержавия в России при Иване IV в исторической концепции Соловьева. У Костомарова политика Ивана IV снова оказалась сведенной к личной драме, к психологическому сюжету. Его борьба с боярством лишена реального основания: вокруг нет ни сплоченных сил, ни реальной политической программы. Сам Иван IV — слабовольный человек, который сперва, испугавшись событий 1547 г., попал в подчинение к Сильвестру и Адашеву, а затем начал мстить окружающим за пережитый им страх, за проявленную им трусость.

Не поняв боярской оппозиции XVI в., он не понял и народной оппозиции XVII в.: у нее (народной оппозиции) недоставало идеала, даже такого неопределенного, «какой имел князь Курбский». В случае победы Разина или Булавина «прежнее должно было восстановиться, из народной громады поднялись бы новые бояре, воеводы, дьяки, подьячие с верховным самодержавным

[1] *Костомаров*, Начало единодержавия в России, «Исторические монографии и исследования», т. XII, Спб. 1872, стр. 90.

[2] Там же, стр. 142.

[3] *Костомаров*, О значении Великого Новгорода в русской истории, «Исторические монографии и исследования», т. I, стр. 213.

главою»[1]. Почти в тех же выражениях писал потом Покровский о Болотникове.

Но Костомарову вообще чужда проблема крестьянской войны, выдвинутая радикальной исторической мыслью 60-х годов, учением просветителей. В его характеристике восстание Болотникова подняло «кровавое знамя переворота русской земли вверх дном»[2]. Крестьянская война под руководством Степана Разина для Костомарова только «Бунт Стеньки Разина», как озаглавлена его монография 1858 г. В этой борьбе для Костомарова положительное и прогрессивное начало заключено в московском самодержавии: «Все народные интересы сосредоточиваются в одном лице...», это — «перевес повинности над личною свободою, старейшинства над общинностью, стремление к оседлости, установке и покою»[3]. Казачество было лишь возрождением старой «разбивчивости», восстановлением старого удельно-вечевого начала, «оно было противодействием старого новому». «Оно было не новым началом жизни, а запоздалым, отцветшим... [оно было] бессильно и бессмысленно, чтобы проложить ему новый путь»[4]. Отсюда и конечный вывод Костомарова: удельно-вечевая вольница не могла произвести «ничего, кроме эпохи Стеньки Разина — кровавой, громкой, блестящей... и бесплодной, как метеор...»[5].

Отрицая исторический смысл народной борьбы, Костомаров не видит и прямой созидательной, организующей силы народа в борьбе с внешними врагами.

Истории так называемого «смутного времени» Костомаров посвятил трехтомную монографию и ряд специальных статей. Самый интерес к теме, несомненно, связан с польским восстанием 1863 г. и обозначившимися в этой связи глубокими противоречиями между польским и украинским общественным движением. В связи с этим Костомаров уделяет больше внимания, чем другие историки, занимавшиеся этой эпохой, вопросам польской интервенции. Широкое использование материалов дипломатической истории и мемуарной литературы дало яркую картину польско-шведской интервенции и самозванщины, организованной поляками. Эта сторона работы Костомарова сохраняет значение и до настоящего времени.

Но в то же время, как отмечалось выше в связи с движением Болотникова, у Костомарова на одну доску с поляками-интервентами ставится «тот самый сирота-народ, который И. Забелин возводит в идеал»[6].

[1] *Костомаров*, Исторические монографии и исследования, т. XII, Спб. 1872, стр. 147.

[2] *Костомаров*, Смутное время, «Исторические монографии и исследования», т. V, Спб. 1868, стр. 67.

[3] *Костомаров*, Исторические монографии и исследования, кн. 1, Спб. 1903, стр. 408.

[4] Там же, стр. 411—412.

[5] Там же, стр. 412.

[6] *Костомаров*, Кто виноват в смутном времени, «Исторические монографии и исследования», т. XIII, Спб. 1872, стр. 416.

Главным умеряющим и организующим началом в борьбе с анархией Костомарову представляется духовенство. Рядом с ним он склонен выдвинуть людей торговых и промышленных. Но народу в этой борьбе не нашлось места. В специальной статье «Личности смутного времени» [1] он спешит развенчать деятелей народной борьбы с интервентами. Он доказывает, что Иван Сусанин — не более как официальное творчество, не желая видеть за легендой коллективный образ подлинного народного патриотизма. Он старается доказать корыстолюбие и недобросовестность Минина, бросить тень на его деятельность как казначея ополчения; он доказывает военную неспособность Пожарского, занятого под Ярославлем лишь устройством своих личных дел и внутренней смутой, не думая о спасении страны от поляков.

Здесь не было исторической критики, классовой оценки; это был лишь национальный нигилизм, ошибочно принятый иными историками за социальный радикализм, соблазнивший впоследствии и Покровского. Народная идея, провозглашенная Костомаровым, последовательно приходит к самоотрицанию в его конкретных исторических построениях.

Проблемы украинской истории

Теми же внутренними противоречиями проникнута у Костомарова и трактовка украинской истории.

Киевская Русь как начало украинской истории, с ее удельно-вечевым началом в конечном итоге лишь «пестрая смесь племен», ее свободолюбие — лишь начало «разбивчивости» и анархии. Здесь «не могло образоваться ни прочной княжеской власти, ни родовой аристократии, ни еще менее— народоправления». Эта «разбивчивость» — лишь «зародыш будущего казачества» [2], но казачество — это «та же удельность XII и XIII вв.»

Победа монголов над Северо-восточной Русью создала там феодализм и создала потом единодержавие. В Южной Руси наблюдается лишь дальнейшая картина полной внутренней неурядицы, данная Костомаровым в острой характеристике этого периода в статье «Две русские народности».

«Развитие личного произвола, свобода, неопределительность форм были отличительными чертами южно-русского общества в древние периоды, и так оно явилось впоследствии. С этим вместе соединяются непостоянство, недостаток ясной цели, порывчатость движения, стремление к созданию и какое-то разложение недосозданного, все, что неминуемо вытекало из перевеса личности над общинностью. Южная Русь отнюдь не теряла чувства своего народного единства, но не думала его поддерживать: напротив,

[1] *Костомаров*, Личности смутного времени, «Исторические монографии и исследования», т. XIII, стр. 351—397.

[2] *Костомаров*, Черты народной южно-русской истории, «Исторические монографии и исследования», т. I, Спб. 1903, стр. 116, 117.

сам народ, повидимому, шел к разложению и все-таки не мог разложиться».

Начав как бы с восхваления украинского свободолюбия и федерализма, Костомаров в конечном итоге приходит к противопоставлению ему организующей роли единодержавия и к фактическому признанию политического банкротства украинского народа. «Киев никак не годился быть столицею централизованного государства» [1]. Отсюда вытекало и обращение к внешней политической силе, чтобы внести в эту неопределенность форм какую-то организацию. И когда Костомаров дает характеристику подчинения Украины Литве, он говорит, что «литовское владычество обновило одряхлевший, разложившийся порядок». Он готов распространить эту характеристику даже на подчинение Украины Польше. «Соединение с Польшей собрало живучие элементы Руси и дало им другое направление... соединить с гражданскими понятиями и умерить необузданность личности. Народ, до того времени вращающийся в омуте всеобщего произвола ...теперь подчиняется и порабощается правильно, т. е. с признанием до некоторой степени законности, справедливости такого порабощения».

Напротив, в казачестве, по Костомарову, оказывается «зародыш разрушения». «...Казачество XV—XVII вв. и удельность в XII и XIII вв. гораздо более сходны между собою, чем сколько можно было предполагать ...в нем господствует личный произвол... та же неопределительность, то же непостоянство» [2].

В этом же разрезе берется и вопрос об унии. «Русская вера,— пишет Костомаров, — оставалась по преимуществу верой хлопскою и не могла найти никакой поддержки внутри русского края; ее знамя взяли казаки... оно [православие] не нашло в самой Речи Посполитой других защитников, кроме таких, которые шли на ниспровержение всякой законности, порядка и преданий в той стране, где начали понимать и чувствовать свободу, но не умели сохранить ее» [3].

Порочность основной методологической посылки Костомарова приводила и здесь к внутреннему противоречию общей схемы, к разрыву в самом конкретном материале исторического повествования. В «Богдане Хмельницком» или в «Руине» автор в конечном итоге не мог не показать реальной борьбы украинского народа против панского гнета, широкого народного движения, хотя и заполнил повествование обильными рассказами о казацких зверствах. В известной мере казачество оказывается и у него впереди Богдана Хмельницкого в этой народно-освободительной борьбе. И сам Хмельницкий, хотя его личность и значительно снижена

[1] *Костомаров*, Черты народной южно-русской истории, «Исторические монографии и исследования», т. I, Спб. 1903, стр. 342.

[2] Там же, стр. 44.

[3] *Костомаров*, Южная Русь в конце XVI в., «Исторические монографии и исследования», т. III, стр. 697.

обвинением в двурушничестве, неискренности, узости политических интересов, выступает все же крупным политическим деятелем, получающим высокую оценку у Костомарова.

В отдельных случаях, например в полемике с поляками в 1861 г. [1], Костомаров доходил даже до формулировки о народном характере борьбы украинского народа с гнетом панской Польши и до признания казачества «зерном новой оппозиции», выразителем народных стремлений.

Исходные противоречия самой теории не позволяли свести концы с концами. Абстрактная, оторванная от реальной действительности, идейно бесплодная этнографическая схема и внешне описательное, лишенное единства литературно-художественное повествование так и сохранялись в неразрешенном разрыве.

Современная критика сочинений Костомарова

Неудивительно, что конкретно-исторические сочинения Костомарова вызвали уже в период их появления довольно серьезную критику. Соловьев отвечал Костомарову по вопросу об Иване Сусанине в приложении к девятому тому своей «Истории России», показав всю произвольность и субъективность его исторического метода. По вопросу о Минине и Пожарском продолжалась полемика между Костомаровым и Забелиным. Наиболее острая и длительная полемика развернулась между Карповым и Костомаровым по вопросам истории Украины.

Характерно, однако, что и лица из дружеского Костомарову лагеря украинской буржуазной интеллигенции не могли не заметить и не указать на отсутствие подлинной научности в исторических работах Костомарова. Приветствуя появление «Богдана Хмельницкого», М. А. Максимович, крупный специалист в области украинской истории и этнографии, в то же время выпустил серию «Писем о Богдане Хмельницком», в которых вскрывал обилие исторических ошибок в работе Костомарова и указывал их основу в пренебрежении к историческому факту, к научной достоверности. В «Письме втором» он дал меткую общую характеристику этого сочинения, которая может быть распространена и на всю историческую работу Костомарова.

Указывая на слова самого Костомарова в предисловии к первому изданию, что он писал «не в виде систематической истории, а рассказа; не для ученого круга специалистов, а для публики»,— Максимович видит достоинство книги в ее популярности, достигнутой тем, что автор придал истории занимательность романа. Но именно поэтому она не удовлетворяет его как ученого. Для достижения «исторической живой истины» он требует «точности и верности исторического факта». изображения явления так, «как было оно на самом деле», — и не находит этого у Костомарова.

---

[1] *Костомаров*, Правда полякам о Руси, журн. «Основа» за 1861 г., кн. 2, стр. 100—112.

Согласно красочной характеристике Максимовича, «его «Богдан Хмельницкий» хорош, как широкий днепровский луг в ту пору, когда красуется он длинными рядами свежих травных покосов, после удачной косовицы и благовременной гребовицы. Но за правильною и веселою работою косарей и гребцов настает спешная и тяжелая работа тягальников и кидальников, чтобы уготованное, благоуханное сено сложилось плотно в стройных скирдах». Костомаров остановился на первой части работ, которой Максимович противопоставляет требование подлинной истории Богдана Хмельницкого, «равно удовлетворительной и для публики и для ученого круга специалистов» [1].

Эта характеристика удачно отражает и другую сторону исторической работы Костомарова: трактовку народности с внешней стороны народного колорита, сочетание этнографии с романтизмом, эмоциональность повествования.

Художественный романтизм Костомарова

В русской историографии Костомаров отразил общий кризис романтической школы, в которой трактовка прошлого оказалась сведенной к абстрактно-психологическим характеристикам народного духа, к живописному воспроизведению «колорита» прошлого, к формальному и внешне подражательному обращению к народному творчеству. Поэтому романтизм Костомарова, так же как и его этнографизм, был отражением внутреннего кризиса буржуазной исторической науки, а не ее поступательного движения вперед.

В этом отношении и «художественность» Костомарова особого порядка. О Костомарове часто говорят, как об историке-художнике. Но есть разные методы и формы исторической живописи. Максимович сопоставлял живописание Костомарова с пышным лугом. Это — внешняя декорация, а не то более глубокое внутреннее творчество художественного восприятия, в котором раскрывается внутреннее содержание явления в целостном и законченном художественном синтезе. Подлинная художественность в известной мере превращается в своеобразное интуитивное проникновение в историческую действительность, изнутри освещающее ее действительное содержание. Такая художественность присуща, например, Ключевскому; но это художественность самого мышления. У Костомарова художественность мышления заменяется декоративной живописностью, как внешней формой литературного рассказа, полуромантического повествования с выдуманными разговорами в духе античных писателей и нашего литературно-риторического направления XVIII в. Это — не художественность восприятия и мышления, а внешняя художественность стиля, и в этом отношении Костомаров ближе к Карамзину, чем к Ключевскому. Костомаров связан с прошлым, а не с будущим в развитии исторической науки в России.

[1] *Максимович*, Соч., т. I, Киев 1876, стр. 399—400.

ГЛАВА 26

БУРЖУАЗНЫЙ ЭКОНОМИЗМ. КЛЮЧЕВСКИЙ

Основные сочинения Ключевского: Курс русской истории, ч. I—V, переиздание, Соцэкгиз, М. 1937.—Боярская Дума древней Руси, изд. 4-е, М. 1909 (см. также первоначальный текст первых глав в журн. «Русская мысль», 1880: кн. I, стр. 40—70; кн. 3, стр. 45—75; кн. 4, стр. 1—38). — Происхождение крепостного права в России; в кн.: Опыты и исследования. Первый сборник статей, М. 1912, стр. 212—310. — Подушная подать и отмена холопства в России; там же, стр. 311—416. — Состав представительства на земских соборах древней Руси; там же, стр. 417—551.— Сказания иностранцев о Московском государстве, Птг. 1918. —Древнерусские жития святых, как исторический источник, изд. Солдатенкова, М. 1871. — Письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву (1861—1870). Вступит. статья и прим. С. А. Голубцова, М. 1924 (Труды Российской публичной б-ки им. Ленина и Гос. Румянцевского музея, вып. V).

Аристов, *Н.*, Промышленность древней Руси.

Никитский, *А. И.*, История экономического быта Великого Новгорода (посмертное изд.), М. 1893. — *Его же*, Очерки внутренней жизни Пскова.

Основная историографическая литература: *Покровский, М. Н.*, Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия; в кн.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 1, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 167—205.—*Его же*, Борьба классов и русская историческая литература; там же, стр. 7—100.—Ключевский, В. О., Характеристики и воспоминания, «Научное слово», М. 1912. — Василий Осипович Ключевский. Биографический очерк, речи, произнесенные на торжественном заседании 12 ноября 1911 г., и материалы для его биографии. Чтения Об-ва ист. и древн. росс. при Моск. ун-те, 1914, кн. 1. — *Нечкина, М. В.*, В. О. Ключевский; в сб.: «Русская историческая литература в классовом освещении», т. II, изд. Комакадемии, М. 1930, стр. 217—350. — *Пресняков, А. Е.*, В. О. Ключевский (1911—1921); в журн.: «Русский исторический журнал», кн. 8, Российская академия наук, Птг. 1922, стр. 203—224. — *Голубцов, С. А.*, Теоретические взгляды В. О. Ключевского; в журн.: «Русский исторический журнал», кн. 8, Российская академия наук, Птг. 1922, стр. 178—202. — *Тхоржевский, С. И.*, В. О. Ключевский, как социолог и политический мыслитель; в журн.: «Дела и дни», кн. 2, Птг. 1921, стр. 152—179.

Библиография: *Белокуров, С.*, Список печатных работ В. О. Ключевского (в хронологическом порядке); в кн.: Чтения Об-ва ист. и древн. росс., кн. 1, М. 1914.

Буржуазный экономизм

Формальную позицию буржуазной исторической науки, направленной на чисто внешнее расширение непосредственного фактического знания, — позицию прямого подчинения научной мысли материальному источнику Костомаров пытался преодолеть возрождением романтической традиции. Именно поэтому его попытка

должна была оказаться бесплодной, в значительной мере повторяя путь славянофильской историографии.

В отличие от романтической концепции Костомарова буржуазный экономизм был отражением в истории нового направления буржуазной научной мысли. Он представлял попытку обновить господствующую буржуазную историческую концепцию государственной школы с позиций нового, позитивистского учения. Эта попытка опереться на позитивистскую философию, связать историческую науку с развитием точных знаний являлась, по-своему, новым шагом в развитии исторической науки.

Один из старших и крупных представителей этого направления, Н. Аристов, писал: «Начиная с Карамзина большинство историков русской старины увлекались политической и административной стороной русской истории. Их внимание было обращено на изучение более крупных явлений, которые закрывали собой другие, хотя и не так заметные, но не менее существенные вопросы исторической жизни, как, например, вопрос экономический» [1].

Но, как отмечалось выше, буржуазный экономизм не шел дальше непосредственного установления фактов экономического развития. Методология позитивизма не вела к перестройке самой системы знаний на базе нового материала, новых исторических знаний, а лишь дополняла старую систему новым звеном. Буржуазный экономизм расширил самый круг исторических знаний, но попытка пересмотра старой исторической концепции с новых позиций на деле превратилась в простое подведение нового материала под старую схему. Буржуазная историческая наука оформила свою историческую концепцию в государственной школе, от которой в той или иной мере отправлялись все последующие построения буржуазной исторической мысли. К ней примкнули и представители буржуазного экономизма. Но противоречие между схемой и реальным процессом экономического развития оказалось слишком глубоким и должно было вскрыться. В этих условиях схема взяла верх, а попытки ее обновить и подправить отпали сами собой. Буржуазный экономизм очень скоро завершил круг своего развития, выявил свою теоретическую бесплодность и пришел к своему банкротству при первой же попытке нового синтеза у Ключевского.

Развитие буржуазного экономизма в России

Экономическое направление в исторической литературе по-своему отражало развитие буржуазных отношений. Именно здесь лежат в известной мере корни той тематики, которая в России с середины века все более привлекает внимание историка. Такой специальной темой становится прежде всего история русской торговли, которой посвящен ряд крупных

[1] Цитирую по предисловию к книге *А. И. Никитского*, История экономического быта Великого Новгорода.

работ Семенова, Небольсина, Энгельмана, Бережкова. Отражение этой тематики мы находим и у Костомарова в его «Очерке торговли Московского государства в XVI—XVII вв.» Истории русской промышленности посвящены специальные работы Н. Аристова, А. Корсака. С этим связана и другая специальная тема — история русского города. В период 60—80-х годов появляется ряд статей и монографий по истории города Московской Руси, по истории купечества, среди них серия работ И. Дитятина, статьи Соловьева, Пригары и др. В этой связи ставится и вопрос о Новгороде и Пскове — торговых городах древней Руси, хотя к этой теме обращается, с другой стороны, и политическая мысль русского либерализма. Основные работы по Новгороду — А. И. Никитского, Н. И. Костомарова, И. Е. Андреевского, М. Н. Бережкова — относятся именно к этому периоду. Мы видели выше значение, приобретаемое экономической тематикой в мелкобуржуазной, народнической литературе.

Но значение нового направления заключается не только в обращении к новым материалам, к новой специальной тематике, а в попытке осветить общие моменты истории, отдельные исторические явления, идя от нового экономического материала, в свете общего развития экономических процессов.

Именно это характеризует попытки новой интерпретации исторических явлений, особенно ярко сказавшиеся в работах А. И. Никитского и В. О. Ключевского. Они оказали определенное влияние на направление дальнейших исторических исследований, и в этом их несомненное историографическое значение. Но вместе с тем именно на примере этих исследователей, пытавшихся придать всему направлению более общее, принципиальное значение, со всей отчетливостью выступает теоретическая и методологическая ограниченность буржуазного экономизма.

А. И. Никитский

Александр Иванович Никитский (1842—1886) всю свою научную деятельность посвятил истории Новгорода и Пскова. В ряде монографий и статей Никитский осветил разные стороны организации и внутреннего строя этих городов: экономический быт, войско, управление, церковь. Всего полнее научные результаты трактовки истории древней Руси в историко-экономическом разрезе сказались в главном исследовании Никитского — «Очерк экономического быта Великого Новгорода».

Вся предшествующая историческая литература, вплоть до Соловьева и Костомарова, рассматривала политическую историю Новгорода: Новгород—городская республика, наподобие итальянских городов-коммун, противостоящая великокняжеской Московской Руси. Эта тема отражена и в самом заглавии работы Костомарова: «Севернорусские народоправства», хотя последний и поднимает вопросы экономики и быта. Книга Никитского выдвигает тему экономического строя Новгорода и именно в силу этого

необходимо вводит его историю в общую систему экономических отношений всей Русской земли того периода. Его исследование прежде всего показало действительное состояние новгородской торговли, исторические предпосылки ее развития и вместе с тем ограниченность последнего.

Никитский показал прежде всего условность представления о Новгороде, как чисто торговой купеческой организации: «... мы должны прежде всего заметить, что было бы несправедливо представлять себе новгородское население в целом, как по преимуществу торговое. Напротив, подобно обрабатывающей промышленности, и торговля была в массе населения развита крайне слабо» [1]. Основная заслуга работы Никитского состояла именно в том, что он показал, что Новгород не живет какой-то своей обособленной жизнью, а тесно связан с окружающей территорией, с промысловой и сельскохозяйственной деятельностью основной массы населения Новгородской земли. Он дал, таким образом, характеристику всей Новгородской земли как экономического и политического целого; в частности, он показал зависимость купеческого торга Новгорода от новгородского боярского землевладения, т. е. вскрыл тожество экономической и социальной жизни Новгородской земли и других русских земель того же периода. Из этого общего положения вытекал конкретный вывод Никитского об экономических и политических связях Новгорода со всей Северо-восточной Русью: торговля «делала изолированное положение Великого Новгорода немыслимым, связывала его тесными узами с остальной Русью» [2]. В этих экономических связях искал Никитский объяснение политических судеб древнего Новгорода.

Вместе с тем Никитский пытался также найти причины, определившие местные особенности экономического развития Новгорода, и в решении этого вопроса в духе общей позитивистской теории обращался к географическому, природному фактору.

Но при всей широте своих историко-экономических воззрений, обращаясь к теоретическим вопросам, к общим историческим проблемам, Никитский оказывается последователем все той же историко-юридической школы.

Это выступило особенно отчетливо в трактовке вопроса о начальном общественном строе славян, — одной из центральных тем исторических дискуссий 50—60-х годов XIX в. «Взгляду на родовой быт в древней Руси» посвящено «Введение» к работе Никитского «Очерк внутренней истории Пскова» [3].

От реалистической трактовки конкретного экономического материала Никитский переходит здесь к противоположной по-

[1] *Никитский*, История экономического быта Великого Новгорода, М. 1893, стр. 87.

[2] Там же, стр. 295.

[3] Работа была издана в 1873 г.

зиции юридической интерпретации общественных отношений в ее крайнем формалистическом и идеалистическом виде. В теоретических принципах своей родовой теории Никитский оказывается всего ближе к Чичерину, превратившему всю историческую концепцию Соловьева в известную формально-юридическую схему. Так, теория Соловьева о родовом строе древних славян как основанном на реальных отношениях кровного родства превращается у Никитского в простую «юридическую фикцию» родства, которая сама определяет развитие реальных общественных отношений. «Естественный род» — явление возможное; но, как правило, «родовой союз имел не естественное, кровное значение, а фиктивное» [1].

Эта юридическая фикция создает родовую организацию по образцу семейной. И дальше: «Семья превращается в род естественно лишь тем, что она уже перестает довольствоваться физическими и нравственными отношениями, и вместе с тем приобретает сознание о юридическом или политическом принципе жизни и сообщает этому принципу обязательное или объективное значение. Поэтому получаемая чрез усиление юридического сознания новая общественная единица, род, есть не что иное, как государство...» [2] «Юридическое сознание» становится, таким образом, определяющей и вместе с тем действующей силой в истории. «Поэтому распадение родового быта, — заканчивает свое «Введение» Никитский, — должно обусловливаться какою-либо высшей идеею, совершаться при помощи каких-либо новых механических средств. Определению идеи, сообщившей поступательный ход русской жизни, равно и средств, которыми осуществлялась эта идея в жизни, особенное внимание посвятил г. Чичерин»[3].

Внутренний разрыв исторических позиций достигает здесь своего крайнего выражения. Позитивистский принцип внешнего расчленения предмета изучения вел и к разделению методов трактовки отдельных сторон изучаемой действительности. Никитский, в конечном итоге, и не пытается свести отдельные предметы своего исторического изучения в одно целое. Может быть, поэтому внутренняя противоречивость методологических позиций так и остается у него нераскрытой в своих основаниях.

Историографическое место Ключевского

Попытку исторического синтеза с включением начал буржуазного экономизма сделал Ключевский, но именно поэтому противоречия буржуазного экономизма и юридической схемы должны были стать перед ним со всей остротой и потребовали

[1] *Никитский*, Очерки внутренней истории Пскова, стр. 6, 8.
[2] Там же, стр. 11.
[3] Там же, стр. 48. Конкретные положения Чичерина подвергаются, впрочем, в дальнейшем изложении критике; своей собственной точки зрения по этому вопросу А. И. Никитский в данном очерке не дает.

от него разрешения. Эта острота усиливалась реальным содержанием исторической эпохи — деятельность Ключевского протекала на стыке двух исторических эпох.

Ключевский сложился как ученый под непосредственным воздействием крупнейших представителей буржуазной историографии в России в период ее кратковременного расцвета, выйдя из школы Соловьева — Чичерина. Но годы его научной зрелости пришлись уже на период нарастания новых противоречий, а последний период его деятельности, 90—900-е годы, относится к эпохе империализма, к эпохе борьбы за пролетарскую революцию в России, он отмечен в русской исторической науке трудами Ленина, обозначившими новый этап в ее развитии.

Под влиянием нараставших экономических и социальных противоречий пореформенной России, в условиях временного обострения противоречий между буржуазией и правительством в период контрреформ, последний крупный представитель буржуазной исторической науки Ключевский сделал попытку исторического синтеза с буржуазных позиций. Он попытался подвергнуть пересмотру историческую концепцию Соловьева — Чичерина, внести в нее новое социальное и экономическое содержание, отразить в ней проблемы современности. Но историческое развитие исключало возможность примирения назревших противоречий; отсюда эклектизм исторической концепции Ключевского.

Когда на историческую арену выступил в России революционный пролетариат и когда Ленин указал путь к разрешению противоречий, создав уже в 90-е годы законченную научную концепцию русской истории на основе марксистского учения, Ключевский как представитель буржуазной науки повернул назад к основам буржуазной схемы; он пришел к окончательному отказу от научного синтеза. В этом отношении Ключевский завершает творческий путь буржуазной историографии в России и в то же время отражает конечный кризис буржуазной научной мысли.

Биографические данные. Развитие научной деятельности

Василий Осипович Ключевский (1841—1911) родился в селе Воскресенском (под Пензой) в семье бедного провинциального священника. Этим определилась та среда, в которой прошли первые 20 лет его жизни, дома и в школе — в Пензенской духовной семинарии.

Новые общественные настроения конца 50-х годов захватили Ключевского и наряду с научными интересами потянули его из затхлой семинарской атмосферы в Московский университет.

С 1860 г., с переходом в Московский университет, который он окончил в 1865 г., начинается новый период в жизни Ключевского — период учения, конец которого можно отнести к 1880 г., когда в своей докторской диссертации о «Боярской Думе» Ключевский выступил уже сложившимся ученым.

Начало этого нового периода в жизни Ключевского совпало с крупнейшим событием в жизни страны — с реформой 1861 г. Сохранилась переписка Ключевского с его старым школьным товарищем Гвоздевым, отражающая настроения и мысли молодого Ключевского в период 60-х годов. Так, в письме от 21 апреля 1862 г. мы находим сочувственный отзыв о статьях Чернышевского в «Современнике», а в письме от 27 октября 1861 г. — упоминание о Щапове[1].

Но все это не оказало на него глубокого влияния. Его отношение к студенческому движению сдержанное, он против крайних мер правительства, но он не одобряет и политических выступлений студенчества. Чувствуется, что его мысли на стороне профессорской группы. Решающим для Ключевского остается влияние Соловьева и Чичерина. Все упоминания о них свидетельствуют об этой внутренней идеологической близости. Ключевский в дальнейшем неоднократно подчеркивал исключительное влияние лекций Соловьева на формирование его научного миросозерцания: «Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов, взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет»[2].

Его интерес к Чичерину даже возрастал на протяжении 60-х годов; по окончании университета он ходил на лекции Чичерина и внимательно изучал его сочинения.

Уже в эти годы интересы историка сосредоточились на Московской Руси. Его первое сочинение «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866) было первой разведкой в этом направлении.

Тема его магистерской диссертации, которую он защищал в 1872 г., — «Древнерусские жития святых, как исторический источник», — подвела его к этому же прошлому с другой стороны — от более скрытых внутренних процессов народной жизни и более ранних этапов складывания Московской Руси. Согласно собственному указанию Ключевского, «он обратился к древнерусским житиям, как к самому обильному и свежему источнику для изучения одного факта древнерусской истории, участия монастырей в колонизации с.-в. Руси»[3]. В исторической схеме Соловьева — Чичерина «колонизация» давала основную характеристику русского исторического процесса, и такое же значение сохранила она в данной Ключевским схеме истории России, «как страны колонизующейся». Тема была указана Ключевскому

[1] «Письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву (1861—1870)», М. 1924, стр. 153 и 67.

[2] *Ключевский*, Очерки и речи, Птг. 1918, стр. 33—34.

[3] *Ключевский*, Древнерусские жития святых, как исторический источник, М. 1871, стр. 1.

Соловьевым. Впоследствии Ключевский жаловался, что работа над житиями себя не оправдала, оставила его неудовлетворенным. «Житие — не биография, а назидательный панегирик в рамках биографии, как и образ святого в житии — не портрет, а икона»[1]. «Древнерусские жития святых» явились прежде всего методическим достижением автора, образцом исследовательской источниковедческой работы.

Значительная часть его научных работ за 1867—1878 гг. тематически связана с его кандидатской работой, с вопросами церковной истории: 1867 г. — «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае»; 1869 г. — «Новые исследования по истории древнерусских монастырей» (рецензия); 1870 г. — «Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси» (рецензия на книгу Щапова); 1871 г. — «Древнерусские жития святых»; 1872 г. — «Псковские споры»; 1873—1877 гг. — ряд рецензий на сочинения по вопросам церковной истории; 1878 г. — «Сказание о чудесах Владимирской иконы божьей матери».

Эта тематика непосредственно связывалась и с начавшейся в эти годы (1871) преподавательской деятельностью Ключевского в Московской духовной академии, продолжавшейся до 1906 г.

Но самая тематика взята Ключевским в ином, новом разрезе — не сама по себе, а как часть истории русского общества; его интересует хозяйственная деятельность церкви и духовенство как сословие, с его социальной функцией. Этой своей стороной указанный первый цикл работ Ключевского непосредственно смыкается уже с его последующей исследовательской деятельностью; богатый бытовой, жанровый материал, почерпнутый автором из житийной литературы, вошел органической частью в ту яркую, образную характеристику Северо-восточной, Московской Руси, которую он дал во втором томе своего «Курса».

Работа над «Курсом русской истории» начата уже в этот период, в 70-е годы, в лекциях, читанных в Духовной академии.

В 1879 г. Ключевский был избран доцентом Московского университета, где вскоре занял место умершего в том же году С. М. Соловьева. Новая университетская среда, запросы студенческой аудитории конца 70-х — начала 80-х годо должны были значительно усилить социальные мотивы в научной работе Ключевского. Еще острее ставились эти вопросы за стенами университета в обострившейся классовой борьбе, с одной стороны, и в проводимой правительством реакционной политике «контрреформ» — с другой.

Общественное движение 70—80-х годов ставило перед исследователем-историком новые проблемы и задачи. В речи, посвященной Соловьеву, Ключевский в 1870 г. говорил: «Еще недавно

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. II, стр. 272.

думали: зачем оглядываться назад, когда так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы? Но при этом был допущен один немаловажный недосмотр. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу»[1]. В условиях усиливающейся классовой борьбы не было возможности замыкаться в сфере политической, государственной истории, в государственных указах искать решения всех вопросов истории общества. «Картины древнего русского управления освещены с одной только стороны — с той, которую можно назвать технической», — писал Ключевский в своем введении к «Боярской Думе». И с своей стороны он ставил себе задачей изучение «социального состава управления, «общественных классов и интересов, которые за ними скрывались и через них действовали» [2]. «Опыт истории правительственного учреждения *в связи с историей общества*» стоит в подзаголовке исследования о «Боярской Думе». Так, рядом с пониманием политической истории, господствующей в прежней русской историографии, которое ограничивалось шумихой государственных мероприятий, выступает социальная проблема, ставится вопрос истории классов.

Докторская диссертация Ключевского «Боярская Дума древней Руси» составила в известной мере грань между двумя этапами его научно-исследовательской деятельности. Ее новый этап относится к 80-м годам и ясно показан в самой тематике научного творчества Ключевского в эти годы: 1880—1881 гг. — «Боярская Дума древней Руси»; 1884 г. — «Русский рубль XVI—XVIII вв. в его отношении к нынешнему»; 1885 г. — «Происхождение крепостного права в России»; 1886 г. — «Подушная подать и отмена холопства в России»; 1887 г. — «Евгений Онегин и его предки»; 1890 г. — «Состав представительства на земских соборах древней Руси».

Период 80-х годов был временем высшего расцвета исследовательской деятельности Ключевского. Последние двадцать лет его жизни совпали с периодом утверждения марксизма в России, и творческая работа Ключевского закончилась фактически в 80-е годы. За последние двадцать лет своей жизни Ключевский не дал ни одного специального монографического исследования. Работа над «Курсом русской истории» свелась в значительной мере к литературной обработке литографированных текстов 80-х годов, в которой звучит уже определенная реакция против экономизма 80-х годов, против социальных мотивов «Боярской Думы».

---

[1] *Ключевский*, Очерки и речи, Птг. 1918, стр. 50.
[2] «Русская мысль», 1880, кн. I, стр. 40 и др.

Такова биография Ключевского-ученого. «В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли» [1], — писал Ключевский. Биография Ключевского редко выходит за рамки этих событий и фактов. Его немногочисленные политические выступления мало добавляют к характеристике его социальных позиций как выразителя русской буржуазной идеологии. В 1894 г. «Похвальное слово» Александру III, произнесенное Ключевским как председателем Московского общества истории и древностей и потом опубликованное в печати, глубоко возмутило передовую часть студенчества, вызвало резкий протест в его среде. В 1905 г. на петергофских совещаниях по обсуждению булыгинского проекта Государственной думы его выступления против идеи «сословного царя», при всей их умеренности, были встречены весьма неблагожелательно правящей помещичьей группой, рассчитывавшей в Ключевском найти своего исторического адвоката. Неудачной баллотировкой в I Государственную думу от Троицкого посада по кадетскому списку закончились непосредственные выступления Ключевского в области политики.

Теоретические основы, буржуазный экономизм и юридическая схема

Основное историографическое значение исторической работы Ключевского состоит, таким образом, в попытке пересмотра государственной теории русской истории, методологии юридической школы, что отражено в его исследованиях 80-х годов.

В своих теоретических истоках эти научные положения Ключевского отражают идеологические влияния общественной и научной мысли второй половины XIX в. От позитивизма идет прежде всего выделение природного фактора, значения географических условий в историческом развитии народа. Как и Соловьев, он ссылается при этом на Бокля, как на образец. Но он идет дальше Соловьева в признании географического фактора: это не просто антитеза степи и гор, дерева и камня, как у Соловьева, а последовательное раскрытие природных условий в их воздействии на народную жизнь. Географический очерк остался составной частью «Курса русской истории» Ключевского. В связи с природными условиями раскрывается Ключевским и психология великоросса, художественно очерченная им в его «Курсе». В этом смысле Ключевский сближается со Щаповым. Но Щапов пытался найти органическое решение вопроса хотя бы в физиологическом воздействии географических условий.. У Ключевского географические условия остаются внешним фактором и в конечном итоге разрешаются в проблеме колонизации, которая возвращает Ключевского к исходной исторической схеме Кавелина—Соловьева—Чичерина.

[1] *Ключевский*, Очерки и речи, Птг. 1918, стр. 25.

На той же позитивистской основе оформился и экономизм Ключевского. Как отмечено, принцип экономизма выдвинут Ключевским именно в 80-е годы против исходных позиций государственной школы. Вопросам экономической и социальной истории посвящены исследования Ключевского 80-х годов. Это экономическое направление исследований Ключевского продолжено его школой и определяет историографическое значение последней. Но экономизм Ключевского не доведен до той принципиальной последовательности, которая характеризует материалистическую позицию Чернышевского и частично отражена Щаповым. И экономический материал остается лишь элементом в системе исторических знаний Ключевского, лишь одним из факторов исторического процесса в духе позитивистской методологии.

Экономическая история для Ключевского, как и для всей буржуазной исторической науки, как для Никитского, Аристова и др., остается лишь одной из тем исторического исследования, а не определяющим началом исторического развития. В историографии имеет место определенная переоценка экономизма Ключевского, как попытки преодоления юридической схемы. Между тем юридическая схема продолжает довлеть у Ключевского даже в период расцвета его экономических исследований и окончательно подчиняет себе экономический материал в его «Курсе русской истории».

Экономизм Ключевского переходит в изучение быта, материальных условий народной жизни и ее идеологических проявлений. Это сказалось уже в характере тех источников, к которым он обращается и в которых ищет именно отражение народной жизни. Вместо официальных источников — летописей, актового материала — он обратился сперва к «Сказаниям иностранцев», затем к «Древнерусским житиям святых». Он ищет в них «...быт местного мирка... со своими нуждами и болезнями, семейными непорядками и общественными неурядицами» [1]. Тема народного быта связывается здесь и с другой темой исторического изучения — с вопросами народной психологии. Но и в этой двойной постановке тема народа у Ключевского ближе к Костомарову, чем к Щапову. Народ не становится основной действующей силой в истории, он выступает в своей ограниченной сфере; его быт и нравы — одно из проявлений исторической жизни, в известной мере исторический материал. Содержанием исторического процесса, его стержнем остается государственное начало.

Социология и «культурно-историческая точка зрения»

Развитие научной мысли Ключевского завершается в противопоставлении культурно-исторической и социологической точек зрения, утверждаемых в методологическом введении к «Курсу русской истории». Ключевский называл себя истори-

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. II, стр. 273.

ком-социологом. Но понятие закономерности сохраняется Ключевским лишь в качестве социологического закона — «*общих* законов строения человеческих обществ, приложимых независимо от преходящих местных условий» [1].

Этой абстрактной социологической закономерности противостояла «тайна исторического процесса», которая раскрывалась «в тех многообразных и изменчивых счастливых или неудачных сочетаниях внешних и внутренних условий развития, какие складываются в известных странах для того или другого народа на более или менее продолжительное время» [2]. В конкретной исторической действительности он искал не внутреннюю закономерность, осуществляющуюся в самом развитии исторической действительности, а действующие силы или общие начала, стоящие за этой действительностью. Свое понимание действительности он искал не в единстве ее внутренних противоречий, а в сведении всего многообразия ее содержания к единому действующему началу, к общему логическому понятию. В конкретном историческом процессе он видел лишь его логическое развитие.

Так, Боярская дума оказывалась логическим выражением боярского начала в русской истории до Петра I. Характеристика каждого отдельного периода русской истории становилась выражением одного единого начала, к которому сводилось все его содержание. Впоследствии, в «Курсе русской истории», Ключевский обозначил свои характеристики отдельных периодов характерным термином «формула», из которой логически выводится все содержание периода.

Этот абстрактный социологизм был методологической основой юридической теории. Она органически связывала Ключевского с государственной школой Соловьева — Чичерина, причем у Соловьева он брал именно его абстрактно-социологическую схему, которая связывала последнего с Чичериным.

Общая социологическая формула лишь прикрывала выпадение самого понятия исторической закономерности. Противопоставленная социологическому учению, культурно-историческая точка зрения означала фактический переход на позиции буржуазной идеалистической философии конца XIX в. с ее последовательным, принципиальным отрицанием закономерности исторического развития. В «Курсе русской истории» развитие научной мысли Ключевского повторяет общий путь развития от позитивизма к субъективному идеализму: Ключевский кончает переходом на позиции неокантианства с противопоставлением наук о природе и исторических наук. В «Введении» к «Курсу» Ключевский по-своему воспроизводит учение Виндельбанда — Риккерта с его противопоставлением номотетических и идиогра-

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. I, М. 1937, стр. 8.
[2] Там же, стр. 7.

фических наук, «полагающих законы» точных наук и «описывающих индивидуальные явления» наук исторических. «...Научный интерес истории того или другого народа, — пишет Ключевский, — определяется количеством своеобразных местных сочетаний и вскрываемых ими свойств тех или иных элементов общежития. В этом отношении история страны, которая представляла бы повторение явлений и процессов, уже имевших место в других странах, если только в истории возможен подобный случай, представляла бы для наблюдателя не много научного интереса» [1].

Художественность исторического мышления

Ключевский принадлежал к особой категории историков-художников, среди которых мало найдется равных ему по мастерству. Художественность Ключевского — не внешняя художественность стиля, а художественность мышления. Это не художественно-описательное, литературно-риторическое направление XVIII в., идущее от Ломоносова к Карамзину и воскрешаемое старшими современниками Ключевского — Бестужевым-Рюминым и Костомаровым. Он ищет претворения логического единства в живом единстве конкретного образа. Художественное проникновение в прошлое характеризует и самый стиль Ключевского; живые следы прошедшего ищет он и в языковом наследии: «язык запомнил много старины, свеянной временем с людской памяти» [2].

Непосредственный путь этого художественного познания состоит в воссоздании живых образов прошлого. Можно сказать, что Ключевский в известной мере мыслит образами: «Представительные типические лица, — пишет он, — помогут нам полнее изучить состав жизни, их воспитавшей. В таких лицах цельно собирались и выпукло проступали интересы и свойства их среды...» [3] Целая галлерея портретов, живых образов проходит через весь «Курс русской истории» Ключевского и через ряд блестящих художественных историко-биографических очерков. Такова характеристика московских князей до Ивана III, которые «как две капли воды похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий» [4]; идеализированный Ключевским образ «тишайшего» царя Алексея Михайловича с его сотрудниками, красочные портреты преемников Петра I, портретная галлерея «предков» Евгения Онегина.

В этой художественности известная сила Ключевского-историка, его путь проникновения в конкретную действительность. В живом образе ему иногда удается восстановить единство явле-

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. I, М. 1937, стр. 15.
[2] Там же, стр. 117.
[3] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. II, стр. 344.
[4] Там же, стр. 51.

ния, разрушенное его схемой, почувствовать внутреннюю связь, объединяющую разорванные элементы в органическое целое.

Но в ней и слабость Ключевского, так как этот синтез не опирается на прочную научную базу, не подвергается критической проверке. Ошибка художника ведет к извращению исторического знания: яркий образец этому — трактовка опричнины, которая у Ключевского целиком подчинена его условно-психологическому образу Ивана IV и потому лишена своего реального исторического содержания, правильно вскрытого Соловьевым.

В этой же художественной трактовке коренится и другая общеметодологическая порочность. Воссоздавая отдельный конкретный образ, объединяя разрозненные элементы отдельной эпохи в одно единое целое, она этой замкнутой законченностью отдельной части углубляет и завершает разорванность целого, его внутреннее расчленение. Здесь завершение того процесса, который правильно подметил А. Е. Пресняков: «... вся общая Соловьевская схема распадается в переработке Ключевского на части, теряет свою стройную законченность и внутреннюю связность» [1]. Художественность мышления Ключевского закрепляла итоги его социологического метода. Они достигли своего полного развития в его «Курсе русской истории».

Методологические позиции Ключевского в 80-е годы

Развитием внутренних противоречий методологической позиции Ключевского определяются последовательные этапы его научной деятельности.

Конец 70-х и 80-е годы — период полной научной зрелости Ключевского и вместе с тем наиболее глубокого отражения в буржуазной идеологии новых течений научной мысли, порожденных социальными сдвигами пореформенного периода. Именно в этот период начала буржуазного экономизма обращение к экономической и социальной тематике сказывается всего сильнее в работах Ключевского. В работах этого периода он делает попытку подойти к изучению народной жизни с ее материальной стороны, от ее экономического содержания, определяющего конкретную тематику всех его специальных исследований этого периода, посвященных прежде всего истории хозяйственного быта. От этой материальной основы, от расчленения общества «по роду занятий, по свойству капитала», он как бы подходит и к определению содержания и характера общественной жизни, к вопросу о том, как «определялось политическое значение разных его классов, как распределялись между ними права и обязанности», к самому понятию классов, которые, по выражению Ключевского, «держали в своих руках нити народного труда в известное время» [2]. «В связи с историей общества», в дей-

[1] «Русский исторический журнал» № 8, 1922, стр. 208.
[2] *Ключевский*, Боярская Дума, стр. 10—11 и 386.

ствии «общественных классов и интересов» ищет он объяснения явлениям политической жизни, и в первой и наиболее крупной работе этого периода, «Боярской Думе», делает попытку с этой точки зрения подойти и к общему пересмотру проблемы русского исторического процесса.

Отсюда и возврат к идее общей закономерности исторического развития, в силу которой в «истории наших общественных классов» он готов усмотреть «действие условий, похожих на те, какими создавались общественные классы в других странах Европы» [1]. Но даже в этот наиболее яркий период своей научной деятельности Ключевский в конечном итоге подчинял внесенные им новые элементы исторического изучения первоначальным теоретическим и методологическим основам государственной теории, определившим с первых шагов исходные позиции его научного миросозерцания.

Правда, к изучению исторических явлений, государственных институтов Ключевский идет теперь не от закона, не от юридической нормы, а от материальных явлений исторической действительности; он изучает не законодательные нормы, а фактические отношения. Именно эта сторона работы Ключевского вызвала резкую полемику Сергеевича против «Боярской Думы» [2]. Фактические отношения превращаются Ключевским в норму поведения, получают значение юридической нормы; юридическое начало восстанавливается Ключевским, но только с другого конца.

Противоречие общественных отношений рассматривается им в конечном итоге в разрезе последовательного развития и расчленения правовых понятий и учреждений. Поэтому неслучайно история общественных отношений рассматривается сквозь призму государственного строя, в развитии государственного института — Боярской думы.

Ключевский близко подходил к признанию примата экономики над правом, к утверждению, что «в этом порядке явлений политические факты вытекают из экономических, как их последствия», но он тут же спешил ограничить выдвинутое им новое обоснование исторической закономерности признанием равной правомерности и иного порядка, когда «явления следуют одни за другими в обратном порядке», когда «политические факты [идут] впереди, давая направление хозяйственной жизни народа» [3]: на деле это было восстановлением примата государственного начала. Вместе с тем это противоречие двух возможных путей развития он сводит к старой антитезе, идущей в русской исторической литературе еще от Погодина, — к антитезе завоевания и призвания, «боевого» и мирного пути развития народной жизни.

---

[1] *Ключевский*, Боярская Дума, стр. 7.
[2] См. *Сергеевич*, Русские юридические древности, т. II.
[3] *Ключевский*, Боярская Дума, стр. 7—10.

«Боярская Дума»

Это внутреннее противоречие резко отражено в «Боярской думе» Ключевского. Ключевский, очевидно, чувствовал внутреннюю противоречивость своей позиции, и наиболее заостренные формулировки нового, экономического, социального направления, данного в первоначальной редакции первых глав [1], были сняты им в окончательной редакции, в отдельном издании, официально представленном в качестве докторской диссертации.

История политических институтов принадлежала к основным темам государственной школы.

Целью своего исследования Ключевский объявил изучение социальной природы и деятельности Боярской думы. В этой связи история Думы становится выражением истории самого боярства, истории служилого класса, а экономической основой социального и политического строя объявляется «древнерусская боярская вотчина». Именно эту сторону выделял впоследствии у Ключевского Павлов-Сильванский в введении к очерку «Феодализм в древней Руси», видя в этом приближение к пониманию феодального начала в русской истории.

В изучении истории самого боярства и боярского землевладения исследование Ключевского вскрыло новые моменты, важные в общей истории России, преимущественно XVI—XVII вв. Таков анализ изменений в составе боярства в итоге опричнины и «смуты» на протяжении XVI и XVII вв. Сюда относится далее вопрос об экономическом кризисе конца XVI в., впервые сформулированный именно Ключевским («земледельческий кризис» в его терминологии), развитый далее Рожковым и перешедший от него в последующую историографию. Наконец, здесь же дан Ключевским набросок той схемы истории «смуты», которая затем была развита в «Курсе» Ключевского и в то же время получила непосредственное отражение в «Очерках» Платонова.

Но в то же время у Ключевского боярским характером древнерусской вотчины исчерпывалось в конечном счете ее социальное значение в русской истории; точно так же история служилого класса и его внутренних противоречий исчерпывала социальную базу политического строя допетровской Руси, заслоняя всю сложность нараставших экономических и социальных противоречий. В результате и Боярская дума как орган этого правящего класса постепенно превратилась в самодовлеющее выражение всей ее политической истории. Из продукта исторического развития она превращалась сама в его основную действующую силу. Боярская дума становится «маховым колесом, приводившим в движение весь правительственный механизм; она же большей частью и создавала этот механизм, законодательствовала, регулировала

[1] *Ключевский*, Боярская Дума в журн.: «Русская мысль», кн. 1, 3 и 4, 1880.

все отношения... Это учреждение было творцом сложного и во многих отношениях величественного государственного порядка... который только и сделал возможным смелые внешние и внутренние предприятия Петра, дал необходимые для того средства, людей и самые идеи» [1].

В результате вопрос развития классовых противоречий подменялся вопросом развития самого политического института, и формальная сторона развития правового государственного института лишь заслоняла и прикрывала собой реальные социальные и политические противоречия. Если развитие феодального объединения, рост княжеской власти и расслоение внутри самого феодального служилого класса привели к выделению Ближней, или Комнатной, думы, то Ключевский видит в этом лишь разделение функций дворцового хозяйства и земского управления и тем самым закрепление земского значения Боярской думы, а отношение к ней Ближней думы уподобляется роли современных парламентских комиссий [2]. Точно так же борьба с удельными притязаниями княжат в опричнине представляется Ключевским в виде дальнейшего развития того же размежевания функций, а сама опричнина, с ее казнями, оказывается лишь печальным недоразумением, «высшей полицией по делам государственной измены» [3]. Даже в XVII в., в период растущей изоляции Думы в общей системе царской приказной администрации, когда ее участие в управлении принимает все более формальный характер, Ключевский все еще пытается удержать идею размежевания функций. В преимущественно военном содержании думных заседаний он видит юридическое оформление военно-социальной природы самой Боярской думы. В повторяющихся по традиции стереотипных формулах о боярском докладе и боярском приговоре он видит действенные отношения.

Факт превращается в юридическую норму, и сквозь призму этой юридической нормы воспринимаются затем самые факты.

«Происхождение крепостного права в России»

«Происхождение крепостного права в России» было другой узловой темой русской истории, поставленной Ключевским в 80-е годы [4]. Он начинает с разрыва с теорией государственной школы о «закрепощении и раскрепощении сословий». Закрепощение крестьянина не было делом государственной власти, и напрасно искать пресловутый закон 1592 г. Он ищет экономического объяснения закрепощения в крестьянском разорении XVI в., в необходимости ссуды, приводящей к ссудной записи, к крестьянской кабале. В этой постановке вопроса была своя ценная, положительная сторона. Она подвела исследователя к непосред-

[1] *Ключевский*, Боярская Дума, стр. 3.
[2] Там же, глава XVI.
[3] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. II, стр. 191.
[4] *Ключевский*, Опыты и исследования. Первый сборник статей.

ственному изучению того, как складывались реальные отношения крестьянина и землевладельца-феодала в конкретной исторической действительности. Но она же привела и к обратной односторонности. Свое экономическое объяснение закрепощения Ключевский заимствовал из современного буржуазного общества с его экономическими формами закабаления трудящихся. Экономическими формами зависимости, присущими капиталистическому обществу, автор подменивал внеэкономическую систему принуждения феодального общества. В представлении о внутреннем, естественном процессе развития крепостной зависимости заключалась внешняя соблазнительность новой схемы, кажущаяся внутренняя закономерность предложенного ею объяснения. Но ее порочность лежала не только в ошибочности самого экономического истолкования, а во внутреннем противоречии ее методологических предпосылок. В основе ее лежало прежде всего фактическое смешение крепостного строя как социально-экономической системы отношений с крепостной зависимостью как системой правовых отношений. Поэтому Ключевский, вслед за юридической школой, считал крестьянство до XVI в. свободной, бродячей массой; для него крепостная зависимость возникла в XVI в. вместе с крепостным правом. Снова социальные отношения отожествлялись с юридической нормой.

Ключевский, отбросив закон как источник крепостной зависимости, экономические причины превращает в правовой акт; только место закона занимает частная сделка — ссудная запись, крестьянская кабала. Именно в этом формально-юридическом подходе источник смешения крепостной зависимости с кабальным холопством. Можно сказать, что Ключевский разрешение вопросов об источнике крепостничества лишь перенес из области публичного права в область частноправовых отношений. За развитием частноправовых отношений исчезали и реальные исторические силы и в их числе государство как орган классового господства; выпал в частности и вопрос о заповедных летах, отмеченный еще Беляевым и позже Дьяконовым [1].

Эта юридическая трактовка еще резче сказалась на второй статье Ключевского по крестьянскому вопросу — «Подушная подать и отмена холопства в России» [2].

Автор рассматривает холопство не как социально-экономическую категорию, связанную с особой системой производственных отношений, а в качестве юридической категории. Именно здесь объяснение того, что все явления, обозначаемые в источниках термином холопства на протяжении ряда веков, представляются ему как развитие единой социальной категории. Холопство древней Руси, существующее в феодальном обществе

[1] В новейшей литературе эта проблема правильно выделена Б. Д. Грековым.

[2] *Ключевский*, Опыты и исследования. Первый сборник статей.

как пережиток дофеодального, патриархального рабства, объединяется преемственной связью с кабальным холопством и с положением задворных людей, порожденными системой феодальной эксплоатации XVI—XVII вв. Вся эволюция холопства рисуется им как последовательный процесс отмирания холопства, завершающийся при Петре I. Он не видит, что феодальное перерождение холопства дано уже в Пространной Правде, что первоначальное холопство — рабство — отмерло к XV в. и что кабальное холопство XVI в. было уже продуктом новых отношений (наймитства).

Круг социальных вопросов до некоторой степени обобщается в «Истории сословий в России» [1]. Общая постановка вопроса возвращает к методологическим проблемам «Боярской Думы», в самой трактовке еще резче подчеркнута юридическая «государственная» сторона общественных отношений.

Торжество юридической схемы. «Курс русской истории»

Историографическое значение работ Ключевского первого периода заключается в том, что при всей их связанности исходными позициями старой государственной школы в них отразился общий поворот исторической мысли 60—80-х годов XIX в. к новой тематике, к изучению отдельных сторон народной жизни. Они являлись отражением новых тенденций развития исторической науки в буржуазной историографии, попыткой расширить ее рамки, пересмотреть ее внутреннее содержание с точки зрения новых назревших проблем. Но этот пересмотр осуществлялся в рамках старой схемы, оставляя нетронутыми ее основные положения. И когда от постановки отдельных вопросов Ключевский попытался подойти к сведению их в одно целое, противоречие нового материала старой схеме должно было выступить с особенной отчетливостью. Самое обращение к такому синтезу определяет особое место Ключевского в развитии буржуазного экономизма в России. Но обращение к синтезу привело вместе с тем к отказу от самых принципов экономизма.

«Курс русской истории» явился новым утверждением государственной теории в русской истории, хотя и дополненной новым материалом. Неслучайно этот поворот совершился именно в 90-е годы, когда отчетливо обозначались два направления, два пути в развитии исторической мысли. В то время как последовательное развитие новых начал осуществлялось на основе марксистско-ленинской теории, буржуазная мысль решительно повернула назад.

Теоретическое введение к «Курсу», изложенное в первых лекциях, содержит прежде всего непосредственное утверждение идеалистических принципов буржуазной исторической мысли.

[1] *Ключевский*, История сословий в России. Курс лекций, читанный в 1886 г. (было три издания).

В самой трактовке исторического процесса выдвигалось на первый план своеобразие русской истории, основанное на «своеобразном сочетании действовавших в нашей истории условий народной жизни» [1]. Единству общественной жизни противоставлялась теория факторов, множественность основных условий, определяющих историческое развитие. Если на первом этапе в ряде явлений народной жизни Ключевский выделял экономические явления и в них готов был признать в какой-то мере причину и определяющее начало в истории, то теперь он решительно возвращается к идеалистической схеме и подчиняет материальную жизнь общества действию «идей», как причине. «Идеи становятся историческими факторами, подобно тому, как делаются ими силы природы» [2]. «Умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества, самыми мощными двигателями человеческого развития» [3]. Теперь в качестве основных исторических сил, «которые строят людское общежитие», выступают «человеческая личность, людское общество и природа страны». Эта формула значительно менее конкретна, чем определение Соловьева, из нее выпала прежде всего идея живой ткани конкретного исторического процесса, а идея человеческой личности и людского общества выступает как чисто идеалистическое, абстрактное начало. «Элементы общежития» превращаются в общие «свойства и потребности нашей природы, физической и духовной» [4].

Вместе с тем проблема народной жизни возвращается к исходному противоречию буржуазной историографии — к проблеме народности и государства. С одной стороны, Ключевский повторяет формулировку Чичерина: «Наконец, *народ* становится *государством*, когда чувство национального единства получает выражение в связях политических, в единстве верховной власти и закона. В государстве народ становится не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения»[5]. А рядом с этим положением звучит другое, идущее уже от славянофилов, от романтизма: «Значение народа, как исторической личности, заключается в его историческом призвании... и в той идее, какую он стремится осуществить своею деятельностью» [6].

В схеме «Курса» географический фактор определяет не столько развитие народа (областничество), как у Щапова, сколько колонизационное начало, как у государственников; «переселенческая бродячесть» [7] — основная характеристика русского историче-

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. I, стр. 15.
[2] Там же, стр. 25.
[3] Там же, стр. 30.
[4] Там же, стр. 9—10.
[5] Там же, стр. 11.
[6] Там же, стр. 32.
[7] Там же, стр. 63; см. также лекция XVI.

ского процесса. Территориальное перемещение, т. е. процесс колонизации, определяет основные изменения в русской истории, ее внутреннюю периодизацию на днепровский, верхневолжский, великорусский и всероссийский периоды. «Переселения, колонизация страны, были основным фактом нашей истории, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты» [1].

Еще сильнее, чем у Соловьева, выступает у Ключевского националистический великодержавный момент. Территориально-колонизационный процесс понимается как рост и политическое распространение единого великорусского народа. Процесс исторического развития заключается в росте государства, а последнее опирается на распространение великорусского народа и на национальную ассимиляцию — «поглощение встречных инородцев» [2]. Так определялась и судьба украинского народа: «Главная масса русского народа, отступив перед непосильными внешними опасностями с днепровского юго-запада к Оке и верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах центральной России, спасла свою народность и, вооружив ее силой сплоченного государства, опять пришла на днепровский юго-запад, чтобы спасти оставшуюся там слабейшую часть русского народа от чужеземного ига и влияния»[3].

Общая схема русской истории

На этой основе создалась и конечная периодизация русской истории в «Курсе» Ключевского. Ключевский пытается в своей периодизации соблюсти принцип всесторонней характеристики каждого этапа по территориальному, социально-экономическому и политическому, или государственному, признаку. Но основным в этом определении остается географический признак — в качестве главной предпосылки, государственный строй — в качестве определяющего результативного явления. Поэтому начало русской истории, как в свое время у Карамзина, связывается с призванием варягов и образованием государства. I период — это «Русь Днепровская, городовая, торговая (с VIII до XIII в.)»; II период (XIII—XV вв.) — «Русь верхневолжская, удельнокняжеская, вольноземледельческая»; III период (с половины XV — до второго десятилетия XVII в.) — «Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-земледельческая»; IV период (с начала XVII — до половины XIX в.)— «всероссийский, императорско-дворянский, период крепостного хозяйства, земледельческого и фабрично-заводского»[4].

В определениях данной Ключевским периодизации ярко выступает влияние юридической, государственной школы; экономическая характеристика подменяется на практике юридическим

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. I, стр. 21.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 300.
[4] Там же, стр. 22—23.

признаком «владения», а социальная характеристика сводится к сословной, т. е. также к государственно-правовой.

Периодизация Соловьева — Чичерина подверглась у Ключевского малозаметному, но характерному изменению. Изменению подвергся прежде всего II период старой схемы, разделенный на два самостоятельных периода, что явилось результатом последовательной социологизации исторической схемы Соловьева. Соловьев характеризовал II период, охватывавший XIII—XVI вв., торжеством государственного начала в борьбе с родовым. В социологической схеме Ключевского каждый период определяется только одним началом.

Другое изменение коснулось последнего, IV периода. Формально он совпадает с III периодом схемы Соловьева и начинается XVII в., но в его характеристике отчетливо преобладает государственное начало, а его определение как всероссийского и императорско-дворянского связано с Петровским периодом и едва ли может быть распространено на XVII в. Разрешение этого противоречия Ключевский ищет в оговорке, что «это не просто исторический период, а целая цепь эпох» [1]. Это выделение Петровской эпохи как грани исторического периода принадлежит исторической схеме Чичерина; в направлении последней перерабатывается Ключевским схема Соловьева.

От социологической схемы Чичерина идет Ключевский и в понимании периодов и их взаимной связи. Соловьев искал прежде всего «связи эпох», — «не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды». Ключевский, как бы намеренно подчеркивая, усиливает противопоставление периодов, разрыв процесса на обособленные, замкнутые разделы. Как отмечалось, его художественная интерпретация придает этому разрыву драматическую форму. За этой внешней формой стоит, как и у Чичерина, невозможность объяснить изменения изнутри, действием внутренних причин. Отсюда смена периодов превращается в своеобразную «перестановку исторической сцены» [2]. Новая сцена, новые действующие лица — таковы обычные элементы вступления в новый период. В начале I периода — призвание варягов; переход ко II периоду определен переселением с Днепра на Волгу; между II и III периодом — татарское иго; между III и IV периодом — «Смутная эпоха» в качестве переходного времени.

Что же представляют отдельные периоды и как разрешаются отдельные вопросы русской истории в этой измененной схеме?

Первый период — Киевская Русь

Наиболее резким изменениям подверглась характеристика I периода. Примкнув к летописной традиции в вопросе расселения славян и варяжского происхождения Руси, присоединившись к теории Соловьева о примитивном общественном строе славян в начале

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. III, гл. XLI, стр. 3.
[2] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. I, стр. 279.

истории Киевской Руси, он, однако, подобно Карамзину, совершает неожиданный скачок к развитию городовой, торговой Руси. В основе здесь можно полагать учение Соловьева о старых городах с народно-вечевым строем, но на эти города Соловьевской схемы Ключевский вслед за этим переносит представление о городском строе буржуазного общества с развитым торгом и промыслами и создает своеобразный «военно-промышленный класс» в этих городах. Вслед за этим варяжская дружина превращается в наемную охрану торговых караванов, погостная организация — в систему внутренних торговых связей, договоры с греками — в торговые трактаты, Русская Правда — в кодекс торгового капитала. Эту характеристику городской торговой Руси заимствовал позже у Ключевского Покровский.

За этими городовыми, торговыми отношениями исчезает и княжеско-боярское землевладение, исчезает вся система поземельно-вотчинных феодальных отношений. Торговля изучается не в реальной связи исторических фактов, а как внеисторическое явление. Непомерно выросший в своем значении древнерусский город превращается в центр политической жизни, в непосредственного творца политической организации — городовой волости.

В этой измененной интерпретации Соловьевско-Чичеринская концепция родовых междукняжеских отношений остается висеть в воздухе в качестве трудно объяснимого внешнего придатка. Чтобы связать их с системой городовых волостей, Ключевский и создает свою юридическую теорию лествичного восхождения. Искусственный характер этой схемы, ее противоречие реальным отношениям княжеских междоусобиц, реальному содержанию княжеского права показал еще Сергеевич и потом развил Пресняков.

Перед лицом такого стремительного подъема и высокого культурного расцвета Киевской Руси Ключевский столкнулся с той же трудностью понимания дальнейшего процесса развития, как и Карамзин. И для него вместо процесса последовательного поступательного движения концепции Соловьева наступал по сути дела период упадка. Наступал какой-то провал, после которого история должна была начинаться заново. Согласно художественно-драматизированному изображению Ключевского, «историческая сцена меняется как-то вдруг, неожиданно, без достаточной подготовки зрителя к такой перемене. Под первым впечатлением этой перемены мы не можем дать себе ясного отчета ни в том, куда девалась старая Киевская Русь, ни в том, откуда выросла Русь новая, верхневолжская» [1].

По образному выражению ученика Ключевского Милюкова, «занавес, опущенный в Киеве, поднимается на волжском суглинке» [2].

---

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. I, стр. 279.
[2] *Ключевский*, Характеристики и воспоминания, М. 1912, стр. 194.

Ключевский едва ли не ощущал внутреннюю противоречивость созданной им схемы Киевского периода. Разрыв между Соловьевской схемой и экономической характеристикой периода так и не получил своего разрешения, и все специальные исследования Ключевского неизменно проходят мимо этого периода истории России.

Основные исследования Ключевского сосредоточены на истории Северо-восточной и Московской Руси, представляющей у него наибольший научный интерес.

Русь верхневолжская, удельно-княжеская

В построении своего второго периода Ключевский, вслед за Кавелиным, выдвигает начало колонизации и образование великорусского народа, вслед за Соловьевым и Чичериным — новую форму хозяйства и быта, земледельческий строй и вотчинное начало как основную характеристику нового периода.

Противопоставление двух периодов в плане территориального перемещения, перенесения столицы из Киева во Владимир, имело уже свою долгую историю; от него формально исходила и Соловьевская схема. Но снова формально тожественные элементы получали по существу различную интерпретацию.

Прежде всего колонизация окско-волжского бассейна никогда не получала у Соловьева того абсолютного характера чуть ли не полной эмиграции населения Приднепровья, как у Ключевского. Схема Соловьева говорила скорее о борьбе двух систем общественных и политических отношений и в самой этой борьбе находила элемент связи между двумя периодами. У Ключевского получился полный разрыв и полная смена.

С другой стороны, и вотчинное начало в схеме Ключевского ближе к Чичерину, чем к Соловьеву. В вотчинном начале Ключевский видит только одну сторону: оседание князя и создание его вотчинного землевладельческого хозяйства. «Под влиянием колонизации страны первый князь удела привыкал видеть в своем владении не готовое общество, достаточно устроенное, а пустыню, которую он заселял и устроял в общество» [1]. Отсюда вытекало прежде всего признание князя и его политической власти основным действующим и организующим началом в жизни Северо-восточной Руси, и эта Чичеринская идея получила отсюда свое распространение и на последующие этапы. Во-вторых, как и у Чичерина, эта вотчинная организация с ее частновладельческими княжескими отношениями превращалась в основу политического разобщения удельно-княжеской системы. Ключевский строил на этом органическое противопоставление удельно-вотчинной системы западноевропейскому феодализму, в котором вотчинное начало сочетается с иерархией землевладения и власти с систе-

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. I, стр. 363.

мой вассалитета, наличие которого Ключевский отрицает для удельной Руси [1].

Это создавало новое расхождение с концепцией Соловьева, который в системе вотчинного строя видел основу роста общественных связей и постепенного усиления княжеской власти, источник государственного развития и политического объединения Московской Руси. Поэтому когда Ключевский вслед за этим заимствует у Соловьева его схему возвышения Москвы, то эта схема фактически повисает в воздухе. Рост Москвы происходит у Ключевского в условиях общего политического распада. Ее первоначальное возвышение получает какой-то искусственный, неожиданный характер. Процесс объединения земли превращается действительно в «собирание удельной Руси», ее территории, Москвой и московскими князьями. Отсюда и необходимость для Ключевского, вслед за Карамзиным и за Чичериным, снова прибегнуть к вмешательству внешней силы — татарского ига. Ключевский повторяет мысль Карамзина, что без объединяющей власти золотоордынского хана, которая «давала хотя призрак единства», русские князья «разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно враждующие между собой удельные лоскутья». Власть хана явилась и реальной опорой московских князей в их политическом возвышении: «Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли» [2].

Русь Московская, царско-боярская

Таким образом, национальное объединение вокруг Москвы наступает сразу с середины XV в., с начала нового периода, при Иване III. И вместе с тем, как во всей периодизации у Ключевского, наступление нового периода сразу вводит в действие новое начало и устраняет всякие реальные противоречия. Отсюда и определение нового периода как царско-боярского, снимавшее основной политический конфликт между царем и боярством из-за укрепления самодержавной власти царя. В представлении Ключевского царь и боярство были представителями одного и того же правопорядка и в сущности не имели оснований для принципиальных расхождений: «Разлад обеих сторон имел собственно не политический, а династический источник»[3]. Трижды возникавший на протяжении XV—XVI вв., он был вызван только вопросом о выборе наследника из среды московского великокняжеского рода.

Поэтому политический смысл опричнины, оцененный уже Соловьевым, мысль которого была дальше развита Платоновым, для Ключевского пропадает. Основной причиной возникновения опричнины оказываются личные переживания Ивана IV,

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. I, лекция XX.
[2] *Ключевский*, Курс русской истории, т. II, стр. 44—45.
[3] Там же, стр. 182.

который в результате «потерял нравственное равновесие» [1], а в опричнине искал «политическое убежище от крамольного боярства». Опричнина была поэтому учреждением бесцельным, лишенным всякого политического смысла, «пародией удела» [2]. И хотя под конец Ключевский не может не заметить выступления на сцену новой политической прослойки — дворянства, но сохранение старой терминологии заслоняет от него реальные сдвиги, и оттеснение боярства дворянством отодвигается им до эпохи Петра I.

В силу этих же условий лишалось реальной связи с внутренней эволюцией общественной жизни и другое крупное явление политической жизни XVI в. — земские соборы. Не видя ни реальных противоречий между царем и боярством, ни внутренней эволюции социальных отношений, Ключевский в Земском соборе видел лишь расширение состава Боярской думы, а не противопоставленный ей орган. «Земский собор XVI в. был не народным представительством, а расширением центрального правительства» [3], т. е. продуктом административной деятельности царя и боярства. В этой характеристике, развернутой еще в специальной статье 1890 г. [4], Ключевский непосредственно шел за Чичериным.

Наконец, и в важнейшем вопросе социальной истории XVI в.,— в вопросе о крепостном праве, Ключевский отчасти поворачивает назад к государственной теории закрепощения и раскрепощения сословий. Не снимая своей теории экономического характера закрепощения, связанного с ссудой, Ключевский начинает обращать внимание и на поставленный государственной школой вопрос государственного обеспечения отбывания повинностей служилым человеком. Отсюда устанавливаемая Ключевским связь закрепощения крестьян с развитием поместной системы: поместная система «подготовила радикальную, даже роковую перемену в судьбе этого класса». Поэтому автор думает, что «в заокских помещичьих усадах раньше, чем где-либо, встретились условия, завязавшие первый узел крепостной неволи крестьян» [5].

«С предшествующим», т. е. с XVI в., связана своими признаками и «смутная эпоха». Поэтому совершенно последовательно автор и ее источником считает династический вопрос. Дворцовая борьба становится началом «смуты», которая отсюда, из дворца, начинает последовательно спускаться вниз, вовлекая все новые слои населения в «смуту» [6]. Дворцовая династическая смута

---

[1] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. II, стр. 184.
[2] Там же, стр. 190.
[3] Там же, стр. 415.
[4] *Ключевский*, Состав представительства на Земском соборе; см. «Опыты и исследования. Первый сборник статей».
[5] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. II, стр. 256—259.
[6] Любопытно отметить в порядке сопоставления аналогичную схему происхождения французской революции 1789 г. у И. Тэна, изображающего, как

заслонила от Ключевского оба основных вопроса этого сложного периода: у Ключевского не получила соответствующего места ни польско-шведская интервенция, ни крестьянская война.

Период IV — императорско-дворянский

Как указывает самая характеристика этого периода, его содержание определяется для Ключевского ролью Петра и его реформы: развитие административной деятельности правительства и развитие идей в обществе. Однако и здесь уже назревает противоречие во взглядах Ключевского. У него сильна симпатия к Московской Руси, ярко отразившаяся в идеализированных образах Алексея Михайловича, Ртищева.

Эта раздвоенность в отношении к Московской и Петровской Руси постепенно нарастает у Ключевского. В развитии буржуазной историографии о Петре I Ключевский представляет как бы переход от высокой оценки исторической роли Петра у Соловьева к его развенчанию в период полного кризиса буржуазной исторической науки у Милюкова: первый был учителем, второй — учеником Ключевского. Ключевский высоко ценит Петра I как историческую личность и как реформатора. Но в самой реформе все резче подчеркивается элемент стихийности, бесплановости. Именно у Ключевского война из составной части реформы превращается в основную движущую силу, в главную пружину реформ. И даже в характеристике личности Петра как бы сталкиваются два начала, — и мелкое, личное, постепенно заслоняет характеристику Петра I как исторической личности.

Эта двойственность со всей остротой сказалась уже в подходе к результатам реформ в дальнейшей истории России. Для представителя буржуазной историографии основное значение Петровских реформ состояло в сближении России с Западной Европой, в европеизации России — культурной, бытовой, политической. Но именно ценность этой европеизации как бы берется Ключевским под вопрос. Она в его освещении оказывается только внешней, и ее непосредственным следствием оказывается культурный, нравственный разрыв между верхушкой русского общества, его интеллигенцией, и народом. Эту мысль Ключевский особенно резко сформулировал в статье «Евгений Онегин и его предки» [1]. Эта внутренняя раздвоенность новой России как бы противостоит единству и гармоничности Московской Руси в изображении Ключевского.

Перед этими противоречиями и остановилось в сущности исследование Ключевского. Эта трудность осложняется тем, что здесь «чем дальше, тем больше входишь в область автобиографии» [2].

революционные идеи постепенно спускаются с верхних этажей общественного здания в низшие.

[1] *Ключевский*, Очерки и речи. Второй сборник статей, или: Курс русской истории, изд. 1937 г., т. V, Приложения.

[2] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. III, стр. 4.

«Наш XVIII в. гораздо труднее своих предшественников для изучения. Главная причина тому — большая сложность жизни, — писал сам Ключевский. — Общество заметно пестреет. Вместе с социальным разделением увеличивается в нем и разнообразие культурных слоев, типов. С половины века выступают рядом образчики типов разнохарактерного и разновременного происхождения... Часто недоумеваешь, к какой эпохе приурочить зарождение того или другого из них, в каком порядке разложить их по историческим витринам» [1].

В работе Ключевского этот период отражен лишь отдельными художественными образами, иногда тонкими, проникновенными характеристиками, среди которых одна из лучших — характеристика Екатерины II и ее деятельности.

Проблема народа в «Курсе» Ключевского

В «Курсе» Ключевского русская история превращалась в историю государства и в историю идей. Народа как действующей социальной силы в его истории снова не оказалось. У Соловьева это вело к оценке народного движения как борьбы анархии против государства; но верный принципам историзма, требованию строгого следования за исторической действительностью, Соловьев сохранил конкретному содержанию народных движений его место в своем историческом повествовании. У Ключевского не оказалось места и для этого. Из всех народных движений в его «Курсе» осталось лишь крестьянское движение «смутного времени», но в его изображении «настоящим царем этого люда был вор тушинский, олицетворение всякого непорядка и беззакония в глазах благонамеренных граждан» [2]. Городские движения, крестьянские восстания под руководством Разина и Пугачева вовсе отсутствуют в «Курсе». Декабристы же оказались только «одним дворянским поколением», их движение — только последним военно-дворянским движением.

Нет места у Ключевского и для истории отдельных народов России. Вся история России подчинена у него великодержавной националистической идее господствующего великорусского народа. Даже главы об Украине в III части его «Курса» входят лишь как тема «воссоединения Руси», а не как вопрос истории украинского народа.

Значение Ключевского

Как бы то ни было, историографическое значение Ключевского определяется прежде всего тем, что новые течения исторической мысли через него вошли в буржуазную историческую концепцию, получили в ней известное место. По-своему, его «Курс» явился очередным итогом состояния исторических знаний в последние десятилетия XIX в. Но научно-познавательное значение имели прежде

[1] *Ключевский*, Речь на открытии памятника Пушкину. Очерки и речи, стр. 59—60.

[2] *Ключевский*, Курс русской истории, ч. III, стр. 50.

всего его специальные монографии, продукт лучшего периода в исторической деятельности Ключевского, обращенные более непосредственно к изучению народной жизни, к вопросам экономической истории. Неслучайно экономическое направление заняло видное место в дальнейшем в школе Ключевского, наиболее полно отразившей линию буржуазного экономизма в русской историографии. Индивидуальное значение Ключевского определилось и личными свойствами его таланта, творческим характером его научной мысли, выразившимися в яркости передачи идей и фактов, в особой запечатлеваемости образов, в которые облекалась у него трактовка прошлого. Оно сказалось в том художественном чутье народной жизни, которое прорывается в его «Курсе» сквозь социологическую схему. Школа Ключевского оказалась в центре буржуазной исторической мысли конца XIX и начала XX в. Из школы Ключевского вышли многие наиболее видные представители последней.

Но вместе с тем,или именно в силу этого, банкротство буржуазной исторической мысли, бесплодность ее конечных итогов выступили у Ключевского с особенной остротой. Вскрывшиеся внутренние противоречия придали общей концепции сугубо формальный и внешний характер, подменили реальный синтез условной формулой. Подмена научного синтеза внешней схемой, фактический уход от самой задачи синтеза становился в свою очередь принципом буржуазной науки, спешившей укрыться за формальную схему государственной теории. И в этом представители буржуазной науки могли пойти именно за Ключевским.

Своими теоретическими взглядами и своей схемой Ключевский лишь подводил итоги прошлому. Идущее отсюда влияние Ключевского на следующее поколение историков устанавливало не связь Ключевского с будущим, а связь его преемников с прошедшим.

Раздел IV

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА

ГЛАВА 27

ОБЩЕСТВЕННАЯ И НАУЧНАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА

Классики марксизма-ленинизма: *Ленин*, Рабочая партия и крестьянство, Соч., т. IV, стр. 100—106. — *Его же*, Гонители земства и Аннибалы либерализма, Соч., т. IV, стр. 119—157. — *Его же*, Что делать? Соч., т. IV, стр. 359—508. — *Его же*, Почему социал-демократия должна объявить решительную и беспощадную войну социалистам-революционерам? Соч., т. V, стр. 131—134.—*Его же*, Революционный авантюризм, Соч., т. V, стр. 143—161. — *Его же*, Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти, Соч., т. VIII, стр. 128—135. — *Его же*, Предисловие к сборнику «За 12 лет», Соч., т. XII, стр. 57—70. — *Его же*, Материализм и эмпириокритицизм, Соч., т. XIII, стр. 7—295. — *Его же*, О либеральном и марксистском понятии классовой борьбы. Заметка, Соч., т. XVI, стр. 397—401. — *Его же*, Еще одно уничтожение социализма, Соч., т. XVII, стр. 261—279. — *Его же*, О «Вехах», Соч., т. XIV, стр. 217—223. — *Сталин*, Об основах ленинизма (Лекции, читанные в Свердловском университете в начале апреля 1924 г.); в кн. *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, Госполитиздат, М. 1940, стр. 1—77.— *Его же*, О диалектическом и историческом материализме; в кн.: *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, Госполитиздат М. 1940, стр. 535—563. — История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), Госполитиздат, 1941.

Основная историографическая литература: *Радлов, Э.*, Очерк истории русской философии, 2-е дополн. изд., «Наука и школа», Птг. 1920. — *Вайнштейн, О. Л.*, Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней, Соцэкгиз, М.—Л. 1940. — «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве, С. Л. Франка, изд. 2-е, М. 1910. — *Гершензон, М.*, Исторические записки (О русском обществе), М. 1910. — *Лаппо-Данилевский, А. С.*, Методология истории, ч. I. Теория исторического знания. Пособие к лекциям, читанным студентам Санктпе-

тербургского ун-та в 1909/10 учеб. году, изд. Студенческого издательского комитета при ист.-филолог. факт-те Спб. ун-та, Спб. 1910. — *Покровский, М. Н.*, О книге академика Лаппо-Данилевского (*А. С. Лаппо-Данилевский*, Методология истории, вып. 1, посмертн. изд., П. 1923); в кн.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 2, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 97—104.

Изменение социальных отношений. Пролетариат и буржуазия

В девяностые годы XIX в. начинается переход к новому периоду в истории России, — к эпохе империализма, эпохе загнивающего капитализма и революционной борьбы за пролетарскую революцию. В этой характеристике заключено основное внутреннее противоречие эпохи империализма, завершающейся Великой Октябрьской социалистической революцией. При всех элементах отсталости, сохранившихся в многосоставной Российской империи в условиях неравномерного развития отдельных ее частей, капиталистическая система хозяйства на исходе XIX в. достигала уже предельных форм своего развития, в которых раскрывались полностью внутренние противоречия, обрекавшие самую систему на загнивание. Это положение обострялось неразрывной связью царизма и западноевропейского империализма. По определению товарища Сталина, «царская Россия была величайшим резервом западного империализма... сторожевым псом империализма на востоке Европы... агентурой западного империализма...» «Революция против царизма, — писал товарищ Сталин, — сближалась, таким образом, и должна была перерасти в революцию против империализма, в революцию пролетарскую» [1].

Революционной силой русской истории и гегемоном революционного движения в России становился с этого времени пролетариат, оформляющийся как класс «для себя», создающий свою партию, большевистскую партию Ленина — Сталина и получающий в марксистско-ленинском учении свою теорию — руководство к действию, свою политическую программу.

Оформление рабочего движения в России начинается в период 70—80-х годов; Морозовская стачка была одной из первых крупных вех в его развитии. В 1883 г. группа «Освобождение труда» «теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению». По определению Ленина, это был еще период «утробного развития» социал-демократии в России. Задачу соединения марксизма с рабочим движением разрешил Ленин в 90-е годы, организуя рабочий класс на борьбу за свое освобождение. В 1908 г., подводя итог первому этапу борьбы за пролетарскую революцию, Ленин писал, что знаменитые Петер-

[1] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 5.

бургские стачки 1896 г. «...открыли эру неуклонно поднимавшегося затем рабочего движения» [1].

В революции 1905—1907 гг. окончательно определилась роль пролетариата как гегемона революционного движения в России, возглавившего борьбу против самодержавия в союзе с крестьянством. Уроки революции 1905—1907 гг. подготовили Октябрьскую пролетарскую революцию. «Еще в 1905 году Ленин говорил в своей брошюре «Две тактики социал-демократии в демократической революции», что после свержения царизма пролетариат перейдет к осуществлению социалистической революции» [2].

Пролетариат являлся единственной прогрессивной и творческой силой общественного развития России, единственной силой, способной ликвидировать и ее экономическую и ее культурную отсталость.

В этих условиях на протяжении рассматриваемого периода буржуазия последовательно превращалась в силу открыто консервативную, переходила на реакционные позиции, лишь внешне прикрываясь либеральной фразой. На деле, в то время как народ ведет революционную борьбу, буржуазия «только крадется к власти за спиной революционного народа». Буржуазия стремилась к соглашению с помещиками, к сделке с самодержавием. Ленин со всей четкостью определил действительную классовую позицию либеральной буржуазии в революции 1905—1907 гг.: «...она боится революционного народа и идет к нему не как представительница его интересов, не как новый пламенный боевой товарищ, а как торгаш, маклер, бегающий от одной воюющей стороны к другой. Сегодня — она у царя и просит у него, от имени «народа», монархической конституции, трусливо отрекаясь в то же время от народа, от «смуты», от «крамолы», от революции. Завтра—она грозит царю со своего съезда, грозит монархической конституцией и мирным сопротивлением против штыка» [3]. Либерализм буржуазии, по меткому замечанию Ленина, был лишь «конституционным зигзагом». Революция 1905 г. оказалась и для буржуазии решающим этапом, полностью разоблачив внутреннюю контрреволюционность либеральной буржуазной оппозиции.

Последовательное завершение буржуазного развития и обострение основных классовых противоречий должны были сказаться и на судьбе мелкобуржуазной стихии. Если в предисловии ко второму изданию брошюры «Задачи русских социал-демократов» Ленин отмечал еще ее многочисленность, то вместе с тем он предвидел, что она должна неизбежно и быстро «...измалываться жерновами... двух растущих и усиливающихся «антиподов» [4]. В этом

---

[1] *Ленин*, Соч., т. XII, стр. 57.
[2] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 177.
[3] *Ленин*, Соч., т. VIII, стр. 133.
[4] *Ленин*, Соч., т. V, стр. 165.

процессе классового расслоения распадалась мелкобуржуазная крестьянская стихия на массу демократического крестьянства, выступавшего союзником пролетариата в деревне, и открыто примыкавшее к буржуазии кулачество. Вместе с тем «попутчики, пришедшие в ряды революции из буржуазной среды в период бурного подъема революции, отошли от партии в дни реакции. Часть их ушла в лагерь открытых врагов революции, часть засела в уцелевших легальных обществах рабочего класса и старалась свернуть пролетариат с революционного пути, старалась дискредитировать революционную партию пролетариата» [1].

Эволюция общественной мысли

Эти социальные сдвиги определили и сдвиги общественной мысли в России. И здесь ведущим становилось все то же основное противоречие — буржуазии и пролетариата. «Буржуазия «хочет» обкарнать классовую борьбу, извратить и сузить ее понятие, *притупить* ее острие. Пролетариат «хочет», чтобы этот обман был разоблачен. Марксист хочет, чтобы тот, кто берется говорить от имени марксизма о классовой борьбе буржуазии, *разоблачал* узость, и притом *корыстную* узость, буржуазного *понятия* классовой борьбы... Либерал «хочет» оценивать буржуазию и ее классовую борьбу так, чтобы *замалчивать* ее узость, *замалчивать* не-включение в эту борьбу «основного» и наиболее существенного» [2].

Ленинизм — марксизм эпохи империализма и пролетарской революции — является последовательным выражением общественной мысли рабочего класса, единственно принципиальной, научно обоснованной и до конца последовательной общественной теорией, осуществившей принципиальное единство теории и практики. Борьба за марксизм, преодоление всех антимарксистских течений характеризует путь развития и укрепления пролетарской партии и ее идеологии. Работы Ленина и Сталина были теоретической разработкой марксизма в условиях нового исторического этапа и в то же время практическим руководством к действию.

Буржуазия противопоставляла марксизму-ленинизму апологетику существующего порядка вещей, прикрытую буржуазной фразой об «объективизме». Организация буржуазных партий в начале XX в. вела к непосредственному разоблачению классовой сущности буржуазной политической программы.

Это разоблачение завершила революция 1905—1907 гг. «Революция, — писал Ленин — замечательно быстро разоблачила либерализм и показала на деле его контр-революционную природу»[3]. Как подчеркивает «Краткий курс истории ВКП(б)», наступление контрреволюции шло и на идеологическом фронте. Наиболее ярким принципиальным выражением этого разрыва, его теоре-

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 96.
[2] *Ленин*, Соч., т. XVI, стр. 400.
[3] *Ленин*, Революция и контр-революция, Соч., т. XII, стр. 74.

тическим, идеологическим утверждением явился сборник «Вехи» — эта *«энциклопедия либерального ренегатства»* [1].

Политическая программа «Вех» была открытым походом против демократии, осуждением революционной борьбы передовой русской интеллигенции, ведущей свое начало от русских просветителей — от Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Революционному мировоззрению «рационалистов-общественников», по терминологии одного из участников сборника, М. Гершензона, противополагалась «традиция», которая «вся соткана из тончайших иррациональных нитей, вся нравственно-существенна»; «усовершенствованию общественных форм» противополагалось «внутреннее устроение личности» [2]. К нему примыкал в сборнике «Вехи» Струве, противопоставляя «проблему воспитания в политике и в социальном строительстве», как дело личности, «внешнему устроению жизни», как функции государственной власти, исключающей вмешательство общества.

«Рационализму» противопоставлялся мистицизм с своеобразным воскрешением мистического идеализма шеллингианства и его российского воплощения в славянофильстве. Религиозно-мистическое начало было подлинной идеологической основой «Вех», обращенных и против материалистического учения марксизма и против попыток материалистического истолкования позитивизма. Оно должно было явиться идеологическим обоснованием их общественной философии. Политической борьбе противопоставлялась национальная идея, основанная на «религиозно-культурном мистицизме». Национальная традиция противопоставлялась космополитизму, славянофильство — просветительству и марксизму. «Интеллигенция еще не продумала национальной проблемы, которая занимала умы только славянофилов», — писал Булгаков в «Вехах»; их продолжателями в вопросах народности он считает Достоевского и Владимира Соловьева. Возврат к славянофильству — таков конечный итог общественной философии, утверждаемой на все лады авторами «Вех» — С. Булгаковым, Н. Бердяевым, П. Струве, С. Франком, М. Гершензоном и др.

В этих изменившихся социальных условиях, по мере заострения основных классовых противоречий, рост загнивания капитализма, последовательное утверждение пролетарской революционности все решительнее ставит вопрос о промежуточных формах мелкобуржуазной идеологии.

Эти условия определили прежде всего судьбу русского народничества, переродившегося в «социал-революционаризм», «...усаживаясь опять-таки между двух стульев посреди русского марксизма (от которого они переняли только жалкие обрывки) и квазисоциалистического либерально-народнического направления» [3].

[1] *Ленин*, О «Вехах», Соч., т. XIV, стр. 218.
[2] *Гершензон*, Исторические записки, 1923, стр. 210—211.
[3] *Ленин*, Соч., т. V, стр. 131—132.

По определению Ленина, «...разрыв с народничеством означал переход от мещанского (или крестьянского) социализма не к пролетарскому социализму... а к буржуазному либерализму» [1].

Определяющий характер этого основного противоречия в развитии общественной мысли нашел свое выражение и в стремлении буржуазной и мелкобуржуазной общественной мысли прикрыть свою беспринципность марксистской фразой. Под марксиста рядился до поры до времени и «певец русского капитализма» П. Струве и вчерашний народник. На этой почве к марксизму, к социал-демократическому движению в России примыкали многочисленные представители радикально-настроенной мелкой буржуазии — «...марксистами становились повально все, марксистам льстили, за марксистами ухаживали» [2].

Именно эти условия определили новое, своеобразное идейное облачение мелкобуржуазной идеологии, выступающее с конца XIX в. в разных формах — легального марксизма, экономизма, меньшевизма. В сборнике «За 12 лет» Ленин со всей определенностью выдвинул эту общую идеологическую основу всех указанных направлений.

«Бросая общий взгляд на борьбу двух течений в русском марксизме и в русской социал-демократии за 12 лет (1895—1907), нельзя не придти к выводу, что «легальный марксизм», «экономизм» и «меньшевизм» представляют из себя различные формы проявления одной и той же исторической тенденции. «Легальный марксизм» г. Струве (1894) и ему подобных был *отражением марксизма в буржуазной литературе*. «Экономизм», как особое направление социал-демократической работы в 1897 и следующих годах, фактически осуществил программу *буржуазно-либерального «Credo»*: рабочим экономическая, либералам политическая борьба. Меньшевизм — не только литературное течение, не только направление с.-д. работы, а сплоченная фракция, которая провела в течение первого периода русской революции (1905—1907 годы) особую политику, *на деле подчинявшую пролетариат буржуазному либерализму*» [3].

Революция 1905—1907 гг. определила дальнейший этап в процессе последовательного раскрытия этого противоречия, последовательного размежевания классовых сил. Как в свое время марксизм, так теперь «критика» марксизма стала модой. «Склонность к перескакиванию от социализма к либерализму» в годы реакции приводит к очищению марксизма от чуждых по духу элементов. Люди, подобные П. Струве, С. Булгакову, Н. Бердяеву, переходят открыто в лагерь реакции, поднимают знамя идеализма и мистицизма. Отражением этих явлений в самой социал-демокра-

---

[1] *Ленин* Соч., т. XII, стр. 57.
[2] *Ленин*, Соч., т. IV, стр. 373.
[3] *Ленин*, Соч., т. XII, стр. 69.

тии явилось «упадочничество... части партийных интеллигентов, считавших себя марксистами, но никогда не стоявших твердо на позициях марксизма» [1], оказавшихся неспособными преодолеть свою мелкобуржуазную сущность. Оно получало здесь выражение то в форме доведения позитивизма до полного агностицизма в духе махистской теории (эмпириокритицизм Богданова), то в форме своеобразного «богоискательства» и «богостроительства» (Луначарский).

Эти черты шатаний и разброда нашли свое отчетливое выражение в развитии философской и научной мысли, совершающемся в России в тесной связи и взаимодействии с западноевропейской наукой.

Пути буржуазной философии и научной мысли Западной Европы

Состояние западноевропейской научной мысли характеризуется теми же указанными выше внутренними противоречиями.

С одной стороны, этот период отмечен на Западе в области точных наук определенным ростом, расширением и углублением научного знания. Толчок, данный научной мысли еще во второй половине XIX в., определил ее дальнейшее развитие. При этом исходное значение в развитии науки XX в. принадлежит в значительной мере разработке современной физикой вопроса о строении материи. Учение о строении материи стоит в центре всей современной физики (работы Бора о строении атома). В новом понимании материи стираются грани между физикой и химией. Развитием того же принципиального начала явилось установление реальной связи биологии с результатами физических и химических исследований, распространение физических законов на изучение живой жизни, раскрытие физико-химических основ биологии (Лёб). Складывающееся новое понимание живого организма в закономерности биологических явлений переносится и в область физиологии. Так, новое понимание материи, вырабатывающееся в процессе конкретного изучения, как бы подводит к единству и целостности научного знания, к преодолению его формальной разобщенности в отдельных науках. Все поступательное движение науки оказывается, таким образом, проникнутым материалистическим духом. Не всегда последовательно, зачастую механистически (Лёб), оно, однако, ищет решения всех вопросов естествознания в природе и внутренне обусловленной деятельности самой материи, устраняя вмешательство каких-либо внешних, трансцендентных сил.

Но, с другой стороны, — и в этом, несомненно, источник определенной непоследовательности, незавершенности этих материалистических тенденций, — развитие отдельных наук стоит в отрыве от общих познавательных и мировоззренческих вопросов, от принципиальных основ общефилософской системы.

---

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 97.

В этих условиях происходит, с одной стороны, распад буржуазной философии, которая, пытаясь опереться на итоги отдельной науки, вступая в непосредственную связь с конкретным научным знанием, превращается в своеобразную философию отдельной науки как особую отрасль философии. При этом она теряет характер познания самой действительности, превращаясь в своеобразную логику данной науки, в обоснование ее специальных методологических принципов. В результате отрыва от общефилософской системы знания является прямое отрицание действительного познания, отрицание философии, отрицание объективной реальности знания вообще. Наши ощущения и порожденные ими представления объявляются пределом всякого знания, но тем самым отрицается познаваемость самих вещей, т. е. подлинная объективность научного знания, утверждаемая марксизмом. Таков конечный смысл махизма, или эмпириокритицизма, еще привлекающего радикальную интеллигенцию внешними чертами критицизма и эмпиризма, но на деле приходящего к крайним выводам идеализма XVIII в., сформулированным английскими философами Беркли и Юмом.

Это философское противоречие получало отражение и в конкретной науке, в идеалистической трактовке материи в учениях энергетики, или в формально-механистических положениях генетики, в ее по существу не менее идеалистическом учении о предустановленных свойствах материального зародыша — гена, изначала определяющих самое развитие (генетическая школа Моргана в США). Разрешение этого противоречия было возможно только через диалектическое понимание развития в марксизме.

Другое выражение того же противоречия представляют последующие попытки буржуазной мысли создать философскую систему знаний, ее стремление к философскому познанию мира. Последнее осуществляется как раз в отрыве от науки и ее конкретных результатов; материалистической сущности выводов конкретной науки противопоставляются попытки возрождения идеалистических систем начала века.

Реставрация идеализма в философии начинается походом на материализм и эмпиризм с позиций рационализма (Гуссерль). Она приходит к утверждению иррационального начала у Виндельбанда и Риккерта в подчинении знания субъективным ценностным понятиям. Она завершается открытым походом не только на материализм и на позитивизм, но и на рационализм, самым ярким выражением которого явилась философия интуитивизма Бергсона. Опытному научному знанию противопоставляется творческое переживание, мистическое созерцание в духе как единственный путь к познанию действительного бытия. Философия Бергсона возрождала религиозно-мистическую философию Шеллинга. Отсюда путь шел к прямому возрождению мистицизма, к воскрешению средневековых мистиков, увлечение кото-

рыми характерно для последнего периода загнивающего капитализма.

Порывая с прогрессивными тенденциями в современной науке, с итогами растущих конкретных знаний, это направление отражено в буржуазной науке ростом разлагающих ее идеалистических, спиритуалистических идей. В биологии это приводит к виталистическим теориям, родоначальником которых выступает немецкий биолог Дриш. Успехи биологии, развитие естественно-научного изучения физиологии и психологии сочетаются с увлечением спиритизмом, находящим своих последователей среди видных физиков, как Крукс и Лодж, среди крупных психологов, как Рише. В Англии «Общество психических исследований» превращается на деле в центр спиритизма.

«Будучи отражением общего кризиса капитализма, война обострила этот кризис...» [1] Отсюда полное торжество идеалистической реакции, полное развитие религиозно-мистического направления в период войны и особенно в послевоенный период, в условиях полного идейного краха буржуазного общества. Но чрезвычайно характерно, что самое оформление этих течений совпадает с началом рассматриваемого периода: к концу XIX в. относятся первые философские работы Бергсона, и в это же время выступает со своей теорией витализма Дриш.

Идейный кризис и на Западе захватывает наименее устойчивые мелкобуржуазные элементы в социал-демократии, интеллигентов-попутчиков, примкнувших к рабочему движению. «Влияние буржуазной философии в ее разнообразных идеалистических оттенках сказалось в махистском поветрии среди марксистов» [2]. Из «критической» ревизии марксизма, из «исправления» марксизма вырос на Западе ревизионизм Бернштейна; попытку неокантианского пересмотра философии марксизма под флагом примирения Маркса с Кантом представляют философские упражнения Ф. Адлера.

Наиболее резко идейная реакция сказалась, естественно, в области общественных наук вообще, в науке об историческом развитии общества в частности.

Правда, и здесь внутреннее развитие науки сказывается в дальнейшем расширении конкретного исторического знания, в частности в области экономической и социальной истории. В начале века буржуазная наука выдвигает еще таких крупных представителей, как А. Олар или А. Сей во Франции, как А. Пиренн—в Бельгии, как Зомбарт, Допш, Дельбрюк — в Германии. Но положительное значение их работ фактически ограничивается накоплением конкретного знания. Отсюда последовательное возрождение описательного метода, прагматического повествования в истории.

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 173.

[2] *Ленин*, О некоторых особенностях исторического развития марксизма, Соч., т. XV, стр. 74.

Свод фактического материала в виде обширных компендиумов по всемирной истории — таков конечный итог буржуазной науки.

Но рядом с расширением конкретного исторического знания происходит обострение идейного кризиса буржуазной исторической науки, так остро сказавшееся в работах тех же Допша или Зомбарта или итальянского историка Б. Кроче, в последовательной эволюции их научных взглядов. Буржуазная научная мысль стояла в прямом конфликте с реальным ходом исторического развития, с исторической закономерностью, определившей разложение капиталистической системы и складывание новой общественно-экономической формации. Эту тенденцию буржуазной научной мысли ярко охарактеризовал Ленин в своей статье «Еще одно уничтожение социализма»: «Отчаяние в возможности научно разбирать настоящее, отказ от науки, стремление наплевать на всякие обобщения, спрятаться от всяких «законов» исторического развития, загородить *лес* — деревьями, вот классовый смысл того модного буржуазного скептицизма, той мертвой и мертвящей схоластики, которые мы видим у г-на Струве» [1].

Буржуазная историческая мысль этого периода направлена на уничтожение основных теоретических достижений научной мысли XIX в. Ее первое положение — отрицание исторической закономерности, противопоставление истории — точным наукам, наук о духе (Geisteswissenschaften)—наукам о природе (Naturwissenschaften), хотя Риккерт и пытается первоначально представить эту антитезу как формальное различие в трактовке материала, не имеющее объективного значения. Виндельбанд и Риккерт идут к этому утверждению от Канта, Зиммель — от позитивизма, но так или иначе Виндельбанд и Риккерт, Зиммель и Дильтей равно отрицают самое понятие исторического закона. История, согласно этой буржуазной философии, интересуется не общей закономерностью, а единичным и неповторяемым, это — наука, описывающая индивидуальные, неповторяемые явления, наука идиографическая. Единство и связь явлений переносится из мира действительности в сферу индивидуальной оценки; место объективной причинной связи занимает субъективная оценка, отнесение фактов к определенной системе ценностных понятий.

Вместе с тем распадается и второе понятие, выдвинутое научной мыслью XIX в., — понятие общества.

Психологизация общественных явлений становится одной из форм субъективной трактовки общественных, в частности исторических, явлений. Не общество, а отдельный человек, с его индивидуальной психологией, вновь представляется действительным субъектом исторического процесса. Общественные отношения теряют свое конкретное содержание, отрываются от материальной основы производственных отношений, растворяются

[1] *Ленин*, Соч., т. XVII, стр. 271.

в субъективном содержании «общественной» психологии. Зомбарт психологизирует даже экономические процессы; характеристика экономических систем выводится им не из производственных отношений, а из экономической психологии; не развитие капитализма формирует буржуазию, а психология буржуа порождает капиталистические отношения. Тот же субъективный психологический характер приобретает социальная интерпретация права у популярного буржуазного юриста Штаммлера [1].

Другой путь упразднения общества—подмена реальных общественных отношений условной логической системой. Таков конечный смысл теории «идеальных типов» Макса Вебера. Теория идеальных типов — своеобразное отражение махизма в исторической науке. «Идеальный тип» — чисто логическая конструкция, не реально существующая система отношений, а искусственное понятие, служащее средством систематизации и описания отдельных исторических явлений. Весь метод, вся социология Вебера обращена не к реальным отношениям конкретной действительности, а к логическим дефинициям, к определению и формальному разграничению понятий, а не явлений.

Психический склад или логическая схема — то и другое фактически упраздняло историческую обусловленность данной системы отношений и тем самым устраняло из буржуазной исторической науки идею закономерности развития, признание поступательного движения истории, теорию прогресса. Условная логическая система отношений превращает исторически обусловленный конкретный этап общественного развития, историческую эпоху, в выражение некоего абсолютного начала, неизменно повторяющегося, возникающего и исчезающего в ходе истории. Смена исторических этапов заменяется вечной борьбой, сочетанием или повторным возобновлением этих абсолютных начал. В такие абсолютные начала превращаются и натуральное хозяйство и капитализм. Соответственно капитализм оказывается исконным началом, присущим и античности (Сальвиоли) и средним векам (Допш, Пиренн), так же как натуральнохозяйственные явления возможны и в современном обществе. Смысл этого утверждения ясен: если капитализм существовал всегда, то он и дальше будет существовать. В условиях усиливающегося кризиса капиталистической системы в послевоенной Европе возрождается теория цикличности (Шпенглер): крах капитализма означает не переход к новой, высшей системе общественных отношений, а возврат к начальным, исходным формам, к средневековью. Отрицание исторического развития приводит к прямой апологии средневековья, к возрождению романтизма с его шеллингианской философией абсолютного духа.

---

[1] «Сплошная erkenntnisstheoretische Scholastik», — писал Ленин о книге Штаммлера «Хозяйство и право» (*Ленин*, Соч., т. XXVIII, стр. 40).

В конкретном историческом изучении буржуазная наука возвращается к внешнему повествовательному стилю, возрождает старый тип политической истории. Характерны в этом отношении обширные исторические компендиумы, представляющие свод фактического материала, вроде Кембриджских публикаций по древней, средней и новой истории [1].

С другой стороны, неоромантизм возрождает тематику народного духа и живописующий стиль и приходит к «романизированной истории» (histoire romancée) и даже к «романизированной биографии» (bioragphie romancée), которыми фактически упраздняется история как наука.

Пути русской философской и научной мысли

Отмеченные противоречия западноевропейской философской и научной мысли еще резче сказались в России в начале XX в., ибо «...Россия была узловым пунктом всех... противоречий империализма» [2]. В России особенно резко обозначались обе крайности этого периода. По определению «Краткого курса истории ВКП(б)», «Октябрьская революция имела перед собой такого, сравнительно слабого, плохо организованного, политически мало опытного врага, как русская буржуазия. Неокрепшая еще экономически и целиком зависевшая от правительственных заказов, русская буржуазия не имела ни политической самостоятельности, ни достаточной инициативы...» С другой стороны, «во главе Октябрьской революции стоял такой революционный класс, как рабочий класс России...», а «во главе рабочего класса стояла такая, испытанная в политических боях, партия, как партия большевиков» [3]. Тем резче выступает реакционность буржуазной идеологии в России, но вместе с тем именно в России учение Маркса и Энгельса получает дальнейшее творческое развитие в ленинизме.

Реакционность буржуазной философской мысли России определилась уже на пороге нового периода в учении Владимира Соловьева, в его религиозно-мистической философии, представлявшей апологию христианства и обращенной против эмпиризма и рационализма ранней буржуазной науки. По определению одного из последователей Вл. Соловьева, он «обозначал собой... кульминационную точку того поворота в мышлении, который произошел в 80-х годах прошлого столетия, и который знаменовал собой признание религиозной жизни и некоторое разочарование в единодержавии науки, в особенности естествознания» [4]. Соловьев подчинял философию религии; он признавал за философией лишь формальную или логическую истину и лишь за бого-

[1] «Cambridge Ancient History», «Cambridge Medieval History», «Cambridge Modern History».

[2] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е тр. 4.

[3] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 202—204

[4] *Радлов*, Очерки истории русской философии, изд. 2-е, 1920, стр. 44

словием — истину абсолютную. Его философия мистического знания совпадала с интуитивизмом Бергсона и в то же время связывалась с национальной традицией русского славянофильства, с его шеллингианско-романтическими основами, с его идеей русского мессианизма и апологией православия. К школе Соловьева принадлежат братья Евгений и Сергей Трубецкие; на двойной — шеллингианской и бергсоновской — основе примыкают затем к этому философскому направлению Лосский и Франк. Центром этого направления в России сделалось «Религиозно-философское общество», а его органом «Вопросы философии и психологии». Богоискательство и богостроительство становится особенно модным в годы реакции. Мистика Соловьева и мессианизм славянофилов становятся основой реакционной философии. В годы войны эта мистически мессианистская философия превращается в философию неприкрытого воинствующего национализма [1].

В этих условиях значительно слабее сказались в русской философии этого периода рационалистические тенденции, идущие от неокантианства. Его непосредственными последователями в философии можно считать Введенского и Лапшина. Более значительное отражение получило оно в специальной области философии общественных наук, в философии истории. Оно более широко захватило мелкобуржуазные слои нашей интеллигенции; под флагом неокантианства открывали поход на марксизм разные «попутчики» и «союзники».

С неокантианских позиций велась ревизия марксизма легальными марксистами, «русскими бернштейнианцами», в 90-е годы. Этот поход против марксизма возобновился с особенной интенсивностью в годы реакции. «Критика» марксизма стала модой» [2]. К этому времени легальные марксисты пришли уже от неокантианства к открытой мистике, к философии «Вех». Новая атака велась с позитивистских позиций; но и в России позитивизм превратился в махизм и распространялся под именем эмпириокритицизма Богдановым, Базаровым, Юшкевичем и др. Своим агностицизмом это учение соблазняет радикальную мелкобуржуазную интеллигенцию и особенно оказывает влияние на общественные науки, на историю; его глубоко отрицательное влияние сказалось на исторических взглядах наиболее крупных радикальных историков этого периода — Н. А. Рожкова и М. Н. Покровского.

Против субъективизма идеалистической философии, против релятивизма махистских и неокантианских концепций марксизм борется за объективность подлинно научного знания. «В противоположность идеализму, который оспаривает возможность познания мира и его закономерностей, не верит в достоверность

[1] См. *Трубецкой, Е. Н.*, Константинополь и св. София; *Булгаков, С.*, Война и русское самосознание; *Эрн, Вл.*, Время славянофильствует.

[2] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 97.

наших знаний, не признает объективной истины ...марксистский философский материализм исходит из того, что мир и его закономерности вполне познаваемы, что наши знания о законах природы, проверенные опытом, практикой, являются достоверными знаниями, имеющими значение объективных истин...» [1]

Борьба за победу пролетарской революции была неразрывно связана с борьбой за торжество подлинно передовой научной мысли, за торжество марксистской философии. Ее все время неуклонно вели Ленин и Сталин. Она приобретала особенную остроту в годы шатаний и разброда конца 90-х — начала 900-х годов, в годы реакции, сменившие революцию 1905—1907 гг. Именно к этому последнему периоду относится появление основной философской работы Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Политическая и идеологическая борьба, развернутая большевистской партией под руководством Ленина — Сталина, приобретала международное, всемирно-историческое значение: «...книга Ленина является не только критикой Богданова, Юшкевича, Базарова, Валентинова и их философских учителей, — Авенариуса и Маха... Книга Ленина является вместе с тем защитой теоретических основ марксизма — диалектического и исторического материализма — и материалистическим обобщением всего важного и существенного из того, что приобретено наукой и, прежде всего, естествознанием за целый исторический период, за период от смерти Энгельса до появления в свет книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» [2].

Именно в области точных наук в России наиболее отчетливо выразился стихийный материализм; крупнейшие передовые представители естественнонаучной мысли по праву заняли первые места не только в русской, но и в мировой науке. Столетов, Умов, Лебедев в физике, Менделеев в химии своими работами не только создавали научную базу материалистической философии, но вступали и в прямую борьбу с механистическими и идеалистическими теориями. О работе Менделеева писал еще Энгельс: «Менделеев, применяя бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверрье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты, Нептуна» [3].

Развитие русской и мировой физиологии за последние полстолетия связано с именем И. П. Павлова; его работы по физиологии высшей нервной деятельности положили начало подлинно научному материалистическому объяснению человеческой деятельности, психики человека. В своей научной работе он искал подлинного единства, законченного и целостного научного знания:

[1] *Сталин*, О диалектическом и историческом материализме, «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 543.

[2] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 98.

[3] *Энгельс*, Диалектика природы, *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XIV, стр. 530.

«Изучайте, сопоставляйте, пополняйте факты, — учил И. П. Павлов советскую молодежь. — ...Факты это воздух ученого... Но изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у поверхности фактов. Не превращайтесь в архивариусов фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения, настойчиво ищите законы, ими управляющие».

В лице К. А. Тимирязева русская биологическая наука доходит до прямого, сознательного материализма на основе марксистского учения.

Но эти представители настоящей науки подвергаются гонениям со стороны официальной власти. Менделеев, несмотря на все практическое значение его научной деятельности, вынужден был уйти из университета. Лабораторию для Лебедева пришлось создавать на общественные средства, и сам он умер под гнетом реакции, наступившей в 1911 г. В то же время официальную поддержку получают идеалистические течения. В биологии вновь разрастается борьба против дарвинизма; рядом с Дришем на Западе стоит русский биолог Берх с его теорией номогенеза. Делаются попытки возродить метафизическое направление и в биологии.

Чем отчетливее материалистические тенденции в области точных наук в России, тем настойчивее общественные науки, науки исторические противопоставляются точным наукам, естествознанию. Буржуазная философия истории в России усиленно воспроизводит эту антитезу. Своими корнями она уходит, с одной стороны, в народническую социологию с ее теорией субъективного метода, противопоставляет естественнонаучному принципу причинности начало долженствования в общественной жизни. Эти народнические истоки отмечаются и у историка Запада Н. И. Кареева и у русского историка А. С. Лаппо-Данилевского, посвятивших ряд работ философско-историческим и социологическим вопросам. Но в то же время они находят подкрепление и в неокантианской философии, в учении Риккерта о науках номотетических и идиографических. Философско-исторической концепции Риккерта посвящена специальная монография — диссертация его ученика С. Гессена, вышедшая на немецком языке [1].

Пути буржуазной исторической науки в России

Из этой философско-исторической концепции исходил в своей исторической работе один из видных представителей русской исторической науки этого периода, А. С. Лаппо-Данилевский. Он изложил ее в своем курсе методологии истории. Основная тема истории, по Лаппо-Данилевскому, — изучение отдельных людей и групп, единичных и коллективных индивидуальностей в их конкретном своеобразии. В то же время риккертовское понятие «абсолютных ценностей» приобретает у Лаппо-Данилевского опре-

[1] *S. Gessen*, Individuelle Kausalität (Индивидуальная причинность).

деленный этико-религиозный характер и тем самым служит переходом к философско-религиозной концепции истории в духе шеллингианства, раскрывающейся в истории всего человечества, как «исторического целого», как «великой индивидуальности».

Рядом с этим открытым утверждением идеализма сохраняющиеся отзвуки позитивистской социологии в буржуазной исторической литературе служат лишь внешним прикрытием тех же основных тенденций. Яркий пример такой эволюции позитивизма представляет историческая теория наиболее крупного представителя школы Ключевского, П. Н. Милюкова, изложенная им в 90-е годы в его «Очерках по истории русской культуры», опыте исторического синтеза с последовательно буржуазных позиций. Теория факторов позитивистской социологии в его интерпретации направлена на разложение единого и целостного исторического процесса на ряд простых элементов, выводимых за границы общественной жизни и тем самым упраздняющих действительную закономерность самого исторического процесса. Их назначение «загородить лес — деревьями», по приведенному определению Ленина.

При этом представители обоих направлений — Милюков и Лаппо-Данилевский — фактически сходятся в воспроизведении формальной схемы государственной теории русской истории.

Наконец, стремление распространить на историю мистические, шеллингианские элементы романтизма отражает растущее влияние религиозно-мистической философии на буржуазную научную мысль в России.

Возрождение славянофильства — своеобразная форма русского неоромантизма; оно характеризует философско-историческую концепцию «веховцев», его развивают в исторической литературе интеллигенты типа Гершензона и Мережковского и вчерашние легальные марксисты — Н. Бердяев, С. Булгаков [1].

Эти внутренние противоречия, как мы видели, сказались со всей отчетливостью уже у Ключевского, отразились в его «Курсе русской истории», получившем окончательное оформление в 90—900-е годы. Чем глубже был разрыв, тем формальнее становилась схема и тем тяжелее ложилась она на самый исторический материал. И переданная им схема в той или иной мере довлеет над всей буржуазной исторической наукой нового периода.

В этих условиях лучшие представители буржуазной исторической науки уходят в разработку специальных проблем. При этом и в России практическое развитие науки связано с углублением техники исследования и с ростом фактического знания. Один момент—дальнейшее развитие так называемых вспомога-

[1] Кроме сборника «Вехи», см. особенно книгу М. Гершензона «Исторические записки».

тельных дисциплин. С другой стороны, историческая наука все теснее сближается со смежными дисциплинами, получая возможность в своем развитии опираться на материал последних. Так, одно из своих ярких выражений это получило в союзе истории с языкознанием.

Через овладение новым материалом историк подходит к новым, мало изученным, глубинным явлениям общественной жизни, восстановляемой в ее детальной, повседневной конкретности. В этом конкретном материале значительно расширяется прежде всего непосредственное знание экономических и социальных явлений. Обращение к социально-экономической тематике, хотя и рассматриваемой в основном сквозь призму старой юридической схемы, по-своему отражает новые тенденции, создающиеся в реальном ходе общественного развития, и в свою очередь расширением технической и конкретной базы служит дальнейшему развитию исторической науки.

Но при этом самая конкретная разработка этого материала стоит как бы вне связи с общими теоретическими и методологическими основами буржуазной исторической науки. Последние идут от прошлого, лишь воспроизводят старую государственную теорию, окончательно превратившуюся в абстрактную схему, оторванную от конкретного материала и лишь извне навязанную последнему.

Только одному буржуазному историку этого периода, Н. П. Павлову-Сильванскому, удается попытка творческого синтеза на новой основе. И если формально Павлов-Сильванский так и не сумел порвать с буржуазной исторической наукой, то по существу его концепция лежала уже за ее пределами. Автор шел к раскрытию истории общественного строя, отвечал на научные запросы, выдвинутые современным историческим развитием. Неслучайно буржуазная историческая наука, даже в лице наиболее крупных ее представителей, прошла мимо работ Павлова-Сильванского.

Появление его работ нельзя поэтому рассматривать как последнее достижение буржуазной исторической науки, идущей вверх; напротив, своим разрывом с буржуазной наукой они являются лишь новым свидетельством ее внутреннего кризиса.

Ленин и русская историческая наука

Загниванию буржуазной исторической мысли противостоит рост подлинно-научной исторической концепции в учении марксизма-ленинизма.

Новый период в истории России отмечен оформлением марксистской концепции русской истории.

Работы Ленина 90-х — начала 900-х годов были первым утверждением марксизма в русской исторической науке и в то же время представляли уже цельную и законченную марксистскую концепцию истории России. Ее дальнейшую последователь-

ную разработку представляют труды Ленина и Сталина. В основе ее лежит высший принцип объективного знания, которое, не ограничиваясь констатацией факта, изучает его причинную обусловленность и действительные социальные силы, определяющие дальнейшее развитие. Единство теории и практики связывает историческую концепцию марксизма-ленинизма с его политической практикой. На протяжении двадцатилетия, предшествующего Октябрьской революции, Ленин и Сталин ведут настойчивую борьбу за марксистско-ленинскую историческую науку против всяких извращений. Историческая практика этого периода служит для нее непосредственной поверкой.

Оформившееся в начале нового периода марксистско-ленинское направление в русской исторической науке представляет ее непосредственное поступательное движение вперед; оно является тем ведущим началом, которым определяются конкретное действительное содержание и историографическое значение новой эпохи в русской историографии.

Вместе с тем создающаяся поляризация исторических идей делает бесплодной всякую попытку найти какую-то промежуточную, среднюю дорогу. Оставаться на буржуазных позициях можно было лишь отказавшись от научного исторического синтеза; разрешить задачу научного исторического синтеза можно было лишь приняв ленинскую концепцию русской истории.

В этих условиях растущее влияние марксизма-ленинизма создает, однако, и в исторической науке «отражение марксизма», как особое, специфическое явление рассматриваемой эпохи. Самое отражение марксизма осуществляется при этом по-разному, в зависимости от той первичной основы, на которой оно реализуется. Для «попутчиков» и «наездников» из лагеря легальных марксистов — это лишь дань моде, кратковременный налет, прикрывающий откровенно буржуазную, внутренне-реакционную сущность его представителей, являющийся на практике сознательным извращением и ревизией марксизма. Наиболее типичный представитель этого направления — «певец русского капитализма» П. Б. Струве.

Иной характер придают этому «отражению марксизма» тенденции, растущие в недрах мелкобуржуазной стихии.

Сознание назревающих исторических изменений и стремление к их историческому осознанию порождают здесь ряд промежуточных исторических концепций под влиянием марксистской науки. Но при этом в самых условиях мелкобуржуазной стихии коренится и внутренняя противоречивость этих порочных в своей основе попыток преодолеть ограниченность буржуазной науки,— попыток, дающих лишь искаженное отражение действительного движения исторической науки к марксизму.

Эти направления идут от буржуазной социологии и представляют скорее попытку интерпретации позитивизма в материали-

стическом духе, заимствуя от марксизма лишь внешнее признание закономерности исторического развития и определенной роли материальных, экономических условий развития. Такова действительная основа экономического материализма, в котором мелкобуржуазный радикализм достигает своего предела. Впрочем и здесь предел возможного, характер принципиальной направленности оказывается разным. У Рожкова движение к историческому материализму никогда не получало характера действенного, направляющего принципа, оно так и осталось лишь внешним «отражением». Для меньшевизма в лице Плеханова марксизм представлялся, напротив, исходной позицией, преображенной на практике воздействием мелкобуржуазной стихии. Наконец, для Покровского он был уже не просто «отражением», но осознанной целью; однако буржуазная основа его научной методологии явилась непреодолимым препятствием на избранном пути.

Так или иначе, все эти направления остаются именно «отражением марксизма». Исторические построения этих авторов должны рассматриваться и расцениваться в свете уже сложившейся марксистско-ленинской концепции истории России. Они были не движением, хотя бы несовершенным, к цели, еще не достигнутой, а отклонением от пути, уже пройденного, искажением научного знания, уже реализованного.

Именно в этом реальная мера конечной историографической оценки этих направлений. Именно поэтому путь действительного развития марксистской исторической науки лежит через преодоление всей этой внутренней противоречивости буржузной (равно— мелкобуржуазной) исторической науки[1].

ГЛАВА 28

РАЗВИТИЕ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В КОНЦЕ XIX—НАЧАЛЕ XX В.

Основная историографическая литература: *Покровский, М. Н.*, Борьба классов и русская историческая литература; в сб.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 1, Соцэкгиз, М. — Л. 1933, стр. 7—117. — *Жебелев, С. А.*, Введение в археологию, ч. 1 и 2, «Наука и школа», Птг. 1923. — Алексей Александрович

[1] В связи с изложенным выше автор считает нужным оговорить, что условия построения курса вынудили к известному нарушению исторической последовательности в изложении. Хотя исторически ленинская концепция является исходной и определяющей в развитии исторической мысли рассматриваемого периода, представляется логически целесообразным не разрывать изложение марксистско-ленинского направления в историографии и объединить его в заключительных главах книги. Именно таково было пожелание специалистов, знакомившихся с работой в рукописи.

Шахматов, 1864—1920. Биография, изд-во Акад. наук СССР, Л. 1930. — «Известия отделения русского языка и словестности Российской Академии наук», 1920, т. XXV, Птг. 1922 (Посвящается памяти А. А. Шахматова); основные статьи: *Карский, Е.*, А. А. Шахматов, как историк русского языка, стр. 75—87; *Приселков, М.*, Русское летописание в трудах А. А. Шахматова, стр. 128—135; *Платонов, С.*, А. А. Шахматов, как историк, стр. 136—140; *Пресняков, А.*, А. А. Шахматов в изучении русских летописей, стр. 163—171; *Готье, Ю.*, Шахматов-историк, стр. 268—282; Список печатных трудов А. А. Шахматова, стр. 7—19. — *Пресняков, А. Е.*, Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский, «Колос», Птг. 1922 (Биографическая библиотека). — «Русский исторический журнал», кн. 6, Акад. наук, Птг. 1920 (Памяти академика А. С. Лаппо-Данилевского); в частности: *Пресняков, А. Е.*, А. С. Лаппо-Данилевский, как ученый и мыслитель, стр. 82—96.; *Пресняков, А. Е.*, Труды А. С. Лаппо-Данилевского по русской истории, стр. 97—111; *Кареев, Н. И.*, Историко-теоретические труды А. С. Лаппо-Данилевского, стр. 112—131; *Шилов, А.* и *Андреев, А.*, Список трудов А. С. Лаппо-Данилевского, стр. 29—43. — *Платонов, С. Ф.*, А. Е. Пресняков. Некролог, «Изв. Акад. наук СССР», VII серия. Отдел гуманитарных наук, 1930, № 2, стр. 83—86. — *Его же*, Несколько воспоминаний о студенческих годах; в журн.: «Дела и дни», 1921, кн. 2. Гиз, Спб. 1921, стр. 104—133. — *Пресняков, А. Е.*, Лекции по русской истории, т. I, Соцэкгиз, М. 1938 (Об А. Е. Преснякове см. *Рубинштейн, Н. Л.*, От редакции, стр. III—VI); т. II — От редакции, стр. 3. —Основные труды историков за этот период указаны в тексте.

Общее направление исторической работы

В развитии буржуазной исторической науки к началу XX в. еще отчетливее выступают основные черты, определившиеся во второй половине XIX в. Отказываясь от задачи теоретического синтеза, буржуазная историческая наука окончательно уходит в разработку частных вопросов. Этим не снимается самое развитие исторической науки. К ней вполне применима общая характеристика эпохи империализма, данная Лениным: «Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма; нет, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом, капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также в частности в загнивании самых сильных капиталом стран (Англия)» [1].

В исторической науке речь идет о развитии конкретного исторического знания в тесном смысле слова, опирающемся прежде всего на рост его материальной базы.

[1] *Ленин*, Империализм, как высшая стадия капитализма, Соч., т. XIX, стр. 172.

Основные исследовательские работы этого периода опираются на определенные источниковедческие работы, на привлечение специальной группы новых источников и на углубление методов их изучения.

Это расширение круга источников происходит далее за счет развития так называемых вспомогательных исторических дисциплин. В развитии археологии, исторической географии история находит новый дополнительный исторический материал для конкретного изучения, особенно древнейших исторических периодов.

В то же время устанавливается более непосредственная внутренняя связь между историей и смежными дисциплинами. История и языкознание, история и литература, история и право развиваются в тесном взаимодействии. В историческое изучение все полнее вовлекаются новые стороны исторической действительности. Сочетание и своеобразный синтез разных направлений исторического изучения характеризует наиболее крупных представителей исторической науки этого периода: история и языкознание сочетаются в работе А. А. Шахматова, история и археология у Ю. В. Готье, история и историческая география у М. К. Любавского, история и право у А. Е. Преснякова.

Связь с историческим изучением оказала положительное влияние на разработку этих смежных дисциплин, усиливая и в них элемент историзма, внимание к общим процессам исторического развития. Непосредственно на базе этого взаимодействия развивается история права с заметным уклоном в сторону общей истории (например М. А. Дьяконов), или история литературы, переходящая в общую историю культуры.

Но самое расширение знания происходит за счет его специализации. Изучение явления вширь, путем вовлечения в рассмотрение новых его сторон, совершалось именно за счет выделения этого явления из общей системы исторических связей, из общей связи развивающегося исторического процесса. Таким образом, новые черты исследовательского метода в конечном счете закрепляли основную позицию буржуазной исторической науки, ее тенденцию к специализации конкретного исторического знания.

Расширение материальной базы, полнота и всесторонность в изучении отдельного исторического явления определили еще одну существенную черту в развитии конкретного исторического знания. Отдельное явление, взятое в своей обособленности, рассматривалось, однако, с предельной конкретностью. Историк подходил тем самым к изучению самых глубинных жизненных явлений, к восстановлению жизненной действительности в полноте ее повседневных жизненных проявлений. С тем большей отчетливостью выступали на поверхность материальные стороны исторического процесса, изучение экономических и социальных явлений. Хотя и взятое в этом частном, внутренне обособленном

проявлении, рассмотрение этих вопросов было посильным откликом историка на запросы современности, отражением современности в буржуазной исторической науке. И вместе с тем, не создавая сами новой исторической науки, историки этого направления, при всей его проблемной ограниченности, дали в руки историка-марксиста значительный и ценный материал, по-своему подготовляя конкретно-историческую базу для новой исторической науки, стоящей, однако, на иных теоретических и методологических позициях.

РОСТ НАУЧНОЙ БАЗЫ

Развитие источниковедения

Углубление метода источниковедческой работы связано прежде всего с именем А. А. Шахматова. Его работы посвящены истории русского летописания, начало изучению которого положил Шлецер более чем за сто лет до Шахматова. Но Шахматов внес в это изучение новое содержание, связав историю летописания, с одной стороны, с языкознанием, с другой — с общим ходом исторического процесса. В результате историческое содержание источника раскрывалось в самом процессе складывания источника, анализ источника переходил в анализ исторических условий его возникновения, — источниковедческое исследование сливалось в своем содержании с общей системой исторического изучения. Вся обширная источниковедческая работа нового периода в той или иной мере идет от Шахматова и несет на себе печать его влияния.

Работы Шахматова сосредоточены на определенном круге исторических источников — на летописях; они возвращали тем самым к первоначальному кругу исторических источников.

Новая тематика, задача изучения исторических явлений в их повседневной непосредственной конкретности требовали мобилизации иной категории источников, отражающих конкретное содержание общественной жизни в хозяйственной деятельности, в явлениях общественного быта, в частной деятельности отдельного лица. Это приводит к систематическому изучению и публикации памятников экономической и социальной истории. Писцовые книги легли в основу изучения истории городов. В ряду материалов по истории крестьянства выделяется прежде всего публикация Актов Коллегии экономии. М. А. Дьяконову принадлежит издание крестьянских порядных. Изучение официального актового материала дополнялось привлечением материалов частных архивов, частнохозяйственными актами — монастырскими, помещичьими, купеческими.

Разработка этих категорий источников привела и в этой области к углублению исследовательских приемов источниковедческой работы.

Разработка историко-экономического материала потребовала применения статистических приемов к материалам отдаленного

прошлого. Результатом такого статистико-экономического изучения явился прежде всего ряд историко-экономических описаний отдельных районов Русского государства в XVI—XVII вв. на основе материала писцовых книг, появившихся в начале XX в.: работы Ю. В. Готье, Миклашевского, Гневушева. Еще в конце XIX в. этим работам предшествует магистерская диссертация Н. А. Рожкова «Сельское хозяйство Московского государства в XVI в.»

Расширение работы над актовым материалом выдвинуло разработку дипломатики как особой отрасли источниковедческой работы, и создание специальной дисциплины — дипломатики частных актов, непосредственно возникающей в процессе изучения соответствующего документального материала. Специальная разработка дипломатики связана с деятельностью А. С. Лаппо-Данилевского в Петербургском университете и небольшим кругом его учеников — А. И. Андреевым, С. Н. Валком и др.

Значение источниковедческой работы отчетливо сказывается в практической непосредственной связи наиболее крупных исследований этого периода с соответствующей источниковедческой темой. Так, исследованию С. Ф. Платонова по истории «смуты» предшествовала его источниковедческая работа «Древнерусские сказания и повести о смутном времени XVII в.» На анализе основного источника — Русской Правды — построено изучение Киевской Руси в первой большой работе А. Е. Преснякова «Княжое право». Работе М. А. Дьяконова «Очерки по истории сельского населения в Московском государстве XVI—XVII вв.» (1898) предшествует его публикация «Актов, относящихся к истории тяглого населения в Московском государстве».

Археология и памятники материальной культуры

Другое направление в расширении материальной базы связано с развитием археологических изучений. Археология от музейного собирательства все более последовательно переходит к непосредственному изучению местного археологического материала, к изучению древнейшей истории страны на основе материальных памятников, заменяющих недостающий документальный письменный материал. Это изменение в общем направлении археологического изучения совершается в тесной связи центра с местной краевой разработкой археологического материала. В изучении центральных областей России выделяются работы В. А. Городцова и А. А. Спицына. Широко развернулась разработка археологических памятников Киевской Руси (Хвойко). Древностям юга России посвящены в первую очередь выдающиеся работы Б. В. Фармаковского и М. И. Ростовцева. Значительные результаты дали археологические работы в Прибалтике, в Среднем и Нижнем Поволжье (Ф. Баллод и др.).

Наряду с этими работами необходимо выделить также изучение памятников древнего искусства, связанное прежде всего с рабо-

тами Н. П. Кондакова и его школы. Работы Кондакова оказали в свою очередь плодотворное влияние на развитие общей археологии.

И здесь прежде всего выделяется та непосредственная связь, которая постепенно устанавливается между археологией и собственно историческим изучением. Археология постепенно превращается в материальную историю древнего периода, до того условно обозначавшегося термином доисторического времени. Фактическим основателем этого направления в русской буржуазной археологии является Василий Алексеевич Городцов. В своем курсе «Первобытной археологии», изданном в 1908 г., он дал опыт исторической систематизации археологического материала, хотя периодизация и сохраняла еще сугубо эмпирический характер, шедший от характеристики вещевого материала. В своей обширной практической деятельности археолога В. А. Городцов затронул ряд основных проблем первобытной истории нашей страны.

В работах В. В. Хвойко, крупнейшего исследователя археологических памятников на территории Украины, изучение памятников Триполья и других древнейших поселений Приднепровья, начиная с самого Киева, завершается восстановлением культуры Триполья как крупнейшего этапа в древней истории Приднепровья («Очерк культуры в доисторические времена древних обитателей среднего Приднепровья», Киев 1913).

Точно так же работы Б. В. Фармаковского восстанавливают историю бронзового века на территории СССР («Археологический период на юге России»), а работы М. И. Ростовцева, начавшись непосредственным изучением классических и скифских древностей северного побережья Черного моря, завершились уже в годы войны его фундаментальным историческим исследованием «Скифия и Босфор».

Наряду с проникновением истории в археологию отмечается и обратная связь — дальнейшее приобщение самих историков к археологии, привлечение ими археологического материала к разрешению исторических вопросов. Эта связь истории и археологии наиболее полно представлена в русской исторической науке работами Ю. В. Готье.

Историческая география

Развиваясь как специальная вспомогательная дисциплина, историческая география является вместе с тем другим посредствующим звеном между историческим документальным материалом и общим историческим исследованием. Ее задача — разработка специального историко-географического материала, сохраненного письменным, этнографическим или вещественным памятником, и восстановление той географической среды, в которой развивались исторические события древности.

Общей разработке исторической географии древней Руси посвящена работа С. М. Середонина. В этой области развивается и специальная научная деятельность М. К. Любавского.

И здесь, как в отмеченных выше других областях специальной работы, основное значение заключается в непосредственном слиянии этой специальной области изучения с общей исторической работой. Историко-географическое введение становится необходимым элементом почти каждого исторического исследования. С. Ф. Платонов предпосылает историко-географический очерк Русского государства XVI в. своему исследованию опричнины и «смуты» [1]. М. К. Любавский начинает таким же историко-географическим описанием свое исследование «Областное деление и местное управление Литовско-русского государства». Его исследование «Образование основной государственной территории великорусской народности» было попыткой построить общеисторическое исследование непосредственно на историко-географическом материале. Такие же историко-географические очерки предшествуют специальным порайонным историко-экономическим описаниям на основе писцовых книг.

При этом историко-географическое изучение связано с общей тенденцией специализации исторического исследования. Изучение местной, областной истории становится одной из форм конкретного ограничения предмета и темы исследования. Именно специализация исследования, рассмотрение исторического материала в историко-географическом разрезе характеризует это направление в исторической науке XX в., в отличие от проблемы исторического воздействия природных условий, теории географического фактора исторической науки XIX в.

РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

История и источниковедение. А. А. Шахматов

Указанные предпосылки определили в значительной мере направление и пути конкретного исторического изучения. Значение источниковедческой базы, непосредственная связь исторического исследования с новыми приемами источниковедческой работы выдвигают Шахматова на первое место в историографии нового периода, сообщают его источниковедческой работе ведущее, в значительной мере определяющее значение для всей современной ему буржуазной исторической науки.

Работа Алексея Александровича *Шахматова* (1864—1920) представляет совершенно новый этап в изучении русского летописания. Шлецер поставил вопрос о восстановлении «очищенного Нестора» путем устранения последующих наслоений; это была задача текстологической критики. Бестужев-Рюмин, а до него в известной мере уже Погодин перешли к изучению состава древнего летописного свода, источников самой Начальной летописи, т. е. Летописи Нестора, но это была все еще в основном текстоло-

[1] *Платонов,* Очерки по истории Смуты. Введение.

гическая критика. Шахматов первый перешел к подлинной исторической критике источника.

Установление состава летописи для него уже не конечная цель, а лишь основа для изучения ее истории. Каждый элемент, из которого слагается конечный текст летописного свода, берется им не как нечто готовое и данное, а как продукт определенных исторических условий, как конкретное историческое явление, продукт и отражение известной исторической среды. Где и когда возник данный текст, кем, когда и почему внесен он в исторический свод,— таковы вопросы, с которыми Шахматов обращается к своему источнику. История источника становится, таким образом, прямым отражением истории того общества, в котором этот источник возник. Тем самым конечное решение источниковедческой проблемы выносится Шахматовым за рамки самого источника и его текстового изучения и переносится на общеисторическую почву. Это дает совершенно новое направление самой критике текста. Предшествующее изучение летописи шло по линии ее разложения на основные тематические, повествовательные отрезки. Шахматов изучает внутреннюю эволюцию текста во всех его мельчайших изменениях. Именно здесь на помощь Шахматову приходит изучение языкового материала, метод исторического языкознания, раскрывающий значительно более диференцированный и детальный путь эволюции изучаемого текста.

С другой стороны, история источника, его даже незаметные на первый взгляд изменения приобретают реальное значение как новый материальный след скрытых от нас последовательных изменений в исторической жизни общества.

Так, его «Разыскания о древнейших русских летописных сводах» (1908), посвященные истории Повести временных лет, превращаются в историю Киевской Руси. Летописные свидетельства о Свенельде и Малуше служат ему основанием для восстановления междукняжеских отношений русских земель в середине X в. и их внутреннего политического строя. Летописные свидетельства о крещении Руси в их внутренней противоречивости, блестяще разобранные в главе о Корсунской легенде, позволяют автору подойти вплотную к целому ряду крупных вопросов русской истории первой половины XI в.: таковы вопросы о крещении Руси, об организации русской церкви до середины XI в., о русско-византийских отношениях. Из этих положений Шахматова выросло в дальнейшем обширное исследование М. Д. Приселкова по истории русской церкви в X—XII вв. Точно так же восстановление истории текста Начальной летописи на основе сопоставления Киевского и Новгородского летописания перерастает в своеобразную историю киевско-новгородских взаимоотношений в XI в.

Этот метод приложен им и к изучению позднейшего летописания. Начало этому изучению положено А. А. Шахматовым еще в статьях 1900—1901 гг. — «Общерусские летописные своды XIV и

XV вв.». «Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.», появившееся уже в советский период (1938), явилось результатом дальнейшей разработки темы автором, представляя еще лишь обширный материал незаконченного исследования. Тем не менее и здесь за историей текста, за последовательной сменой сводов и редакций летописи проступает конкретно-историческая тема перемещения политических и культурных центров, эволюции политических отношений и политической идеологии.

Свой историко-критический метод Шахматов переносит и на другие разряды исторических памятников. Его распространение непосредственно на языковой материал, установление связи истории с языкознанием в известной мере связывают работу Шахматова с работами Марра, у которого, однако, эта проблема получила новое освещение, будучи поставлена в связь с марксистским учением.

Шахматов использует данные истории русского языка непосредственно для решения вопросов древнейшей русской истории. Введение Шахматова к «Очерку древнейшего периода истории русского языка» явилось в то же время введением в историю этногенеза русских племен, введением в древнейшую историю русского народа. Неудивительно, что Шахматов свою последнюю книгу, как бы подводившую итог всей его огромной исследовательской работе, посвятил именно ее общеисторическим итогам — «Древнейшим судьбам русского племени» (1918).

Хотя многое в выводах А. А. Шахматова и даже генеалогия Повести временных лет являются спорными, но историко-критический подход в исследовании сохраняет свое значение.

Прямым продолжением работ Шахматова являются исследования М. Д. Приселкова как в области истории летописания, так и в области общей истории Киевской Руси.

Применение метода Шахматова к Русской Правде, изучение текста Русской Правды в процессе его последовательной внутренней эволюции и в его конкретно-исторической обусловленности лежит в основе теории «Княжого права» А. Е. Преснякова. Дальнейшее распространение этого подхода позволило советской науке пойти дальше и в самой истории Русской Правды вскрыть процесс формирования феодального права в Киевской Руси, подойти к конкретному разрешению вопроса о генезисе русского феодализма. Своими источниковедческими приемами, техникой исследования эти работы связаны с трудами А. А. Шахматова.

Изучение экономических и социальных явлений. Противоречия государственной школы

Развитие исторической науки и ее достижения связаны в основном с расширением конкретного исторического знания в области экономической и социальной истории. В этой тематике исторического изучения отразилась направленность интересов, выдвинутых современностью. . Экономической и социальной направленностью конкретного исторического изучения отмечены основные истори-

ческие школы в крупнейших научных центрах России. В Московском университете она характеризует всю школу Ключевского, в Петербургском университете она представлена прежде всего А. С. Лаппо-Данилевским, в известной мере С. Ф. Платоновым и значительной частью более молодых петербургских историков; в Киеве — М. Довнар-Запольским и его школой.

При этом экономическая и социальная тематика конкретного изучения своеобразно сочетается с общим юридическим направлением государственной школы. Государственная схема русской истории определяет и завершает все историческое построение, внутри которого размещается новый материал в несведенном противоречии, в формальном подчинении старой схеме. Само юридическое направление в исторической науке незаметно переживает внутреннее превращение. От общих историко-юридических построений исследование переходит к конкретному анализу правовых отношений; социальное направление становится характерным и для лучших представителей историко-юридической школы.

Эта внутренняя противоречивость буржуазной исторической мысли XX в. определила еще в одном отношении общий характер буржуазной исторической науки этого периода. Отсутствие конечного научного синтеза лишает ее внутренней завершенности: она не дает итогов, и поэтому в ней нет объединяющего, ведущего начала, единого стержня исторического развития. Она представляет лишь сумму отдельных исторических исследований, лишь ряд местных школ, иногда просто группу отдельных историков.

Московская школа историков

Наиболее крупное значение приобрел в этот период Московский университет с его устойчивой традицией, шедшей от Соловьева и закрепленной Ключевским. Историки Московского университета объединялись в связи с этим в известной мере в одну группу, обозначаемую обычно как школа Ключевского. Историки этой школы, особенно в лице ее младших представителей, отмечают значительное влияние школы П. Виноградова, историка западноевропейского феодализма, которая могла бы быть обозначена как школа социальных исследований. От Ключевского лучшие представители этой группы взяли в своих монографических исследованиях его более сильные стороны: внимательное изучение внутренних процессов народной жизни — экономики и общественного быта. Но в то же время от Ключевского как представителя государственной школы с его исследованиями государственных институтов — Боярской думы и земских соборов, идет и второй ряд проблем, отражающий связь с юридической школой. От Ключевского, может быть, и некоторая общность хронологических рамок основной исторической тематики, в которой исключительное место занимает история XVII в. От Ключевского представители этой школы унаследовали и тонкость внутренней

интерпретации источника и мастерство обработки исторического материала [1].

Михаил Михайлович *Богословский* (1870—1925) был преемником Ключевского по кафедре русской истории в Московском университете. У него, как и вообще у старших представителей школы Ключевского, сильнее выразились тенденции государственной школы. Это сказалось на самой тематике исследований М. М. Богословского, два основных исследования которого были посвящены: одно—«Земскому самоуправлению на русском севере в XVII в.», другое — «Областной реформе Петра Великого».

Но в самой трактовке обеих тем Богословский значительно отошел от линии юридической школы.

В труде «Земское самоуправление» автор к изучению института идет от непосредственного изучения земской жизни и конкретных общественных отношений, а самое учреждение рассматривает в его действии, в его отношениях к обществу. В известной мере это та же задача, которую поставил себе Ключевский в «Боярской Думе». Но «Боярская Дума» превратилась в общую историю древней Руси, только взятую под одним определенным углом зрения, и поэтому поставленная автором задача разрешилась общей схемой. Богословский поставил свою тему в определенные рамки, и поэтому ему в значительной мере удалось дать действительное воспроизведение конкретных отношений реальной жизни. К этому исследованию тематически примыкают специальные очерки, посвященные истории крестьянства (статьи о черносошных и государственных крестьянах, о псковских изорниках и др.).

В «Областной реформе Петра Великого» автор еще глубже ушел в историю учреждений, но и здесь нашел выход за рамки схемы в сравнительно-историческом обобщении материала. Сближение внутреннего развития России и Запада в идее просвещенного абсолютизма, характеризующего для Богословского политику Петра I, шло от исторического понимания эпохи в целом. Обращение к истории Петра I, ставшей темой его многолетних специальных исследований, и высокая историческая оценка его реформ связывает Богословского с прогрессивными течениями в русской историографии и отделяет его от тех кризисных воззрений, которые так резко выявились у Милюкова.

Противоречия исторических воззрений и метода М. М. Богословского с особенной отчетливостью выступают в его последнем заключительном труде о Петре I, относящемся уже в основном к 20-м годам XX в. Автор написал четыре тома, успев довести изложение лишь до 1700 г. В самой трактовке темы автором торжествует чисто описательный стиль, он хочет только «собрать факты, достоверные факты». Автор сравнивает себя «с древними

[1] Историческим работам П. Н. Милюкова посвящена специальная глава, и поэтому он не рассмотрен здесь, хотя в хронологическом порядке он занимает первое место в школе Ключевского.

летописцами и книжными «списателями». Его цель — «восстанавливать жизнь Петра день за днем, изобразить ее так, как она протекала в действительности, наблюдать совершенные им действия, разгадывать одушевлявшие и волновавшие его чувства, представлять себе воспринятые им ежедневные впечатления и следить за возникавшими у него идеями»[1]. Но в связи с этим, рядом с темой биографии Петра вырастает вторая тема — петровского окружения, задача дать широкую развернутую картину всей русской жизни.

Автор отстранил от себя вопросы глубоких сдвигов в общественной жизни, острой классовой борьбы. Но читатель сам находит их отражение в восстановленной автором конкретной исторической картине. Царские выходы, торжественные богослужения, дворцовые приемы, выезды на богомолье и в подмосковные, пиры и охота, вся эта тщательно воспроизводимая бытовая обстановка эпохи Петра сперва утомляет своим перечислением. Но постепенно из-за сухих календарных записей проступает яркая и убедительная картина последовательной ломки старых привычек и обычаев, отмирание старого быта и утверждение новых нравов. Эта картина ломки старого, данная уже в первом томе, в дальнейшем все полнее выделяется автором во всей политической деятельности Петра с первых же лет.

В работах Матвея Кузьмича *Любавского* (1860—1936) отмечается прежде всего обособление географической темы, самостоятельное значение, которое получает историко-географическое изучение. Его специальный курс исторической географии сохранился в первоначальной редакции в литографированном виде, а последний текст курса сохранился в рукописи и еще ждет своего издания. Но историко-географическая тема звучит с полной силой уже в одной из первых работ Любавского, в его исследовании «Областное деление Литовско-Русского государства». Историко-географическое рассмотрение определило его последнюю работу из истории русского государства — «Образование основной государственной территории великорусской народности» (1929).

Основная группа исследовательских работ М. К. Любавского принадлежит истории Литовско-Русского государства: «Областное деление Литовско-Русского государства», «Литовско-русский сейм», «Очерки истории Литовско-Русского государства». Обращение к «областной» теме, к изучению того раздела нашей истории, который оставался вне поля зрения предшествующих русских историков, — первая заслуга этих работ Любавского. В самой трактовке темы сказались исходные позиции государственной школы, представителем которой остается Любавский. Его тема — история государства, и взята она в рамках основной схемы истории Русского государства. Но при этом детальное изучение

[1] *Богословский*, Петр I, т. I, 1940, стр. 10—11.

конкретных исторических явлений привносит и здесь свое содержание в государственную схему. В своей последней работе — «Очерки истории Литовско-Русского государства» (1910), автор подошел к раскрытию новой проблемы развития феодальных отношений.

Эта тема распространена им и на общую историю России в его «Лекциях по древней русской истории до конца XVI века». В этой своей работе автор с наибольшей отчетливостью выделил вопросы экономической и социальной истории древней Руси, пытаясь включить в исходную государственную схему основные частные результаты последних специальных исследований Павлова-Сильванского (закладничество — патронат), Преснякова (княжое право), Дьяконова (старожильство).

Но при всем том он не мог подойти к общему пересмотру всей исторической концепции, к которому уже в начале века пришел Павлов-Сильванский.

У младших представителей школы экономическая проблематика выступает отчетливее и еще более приближает их работы к современности. Юрий Владимирович *Готье* свою основную работу «Замосковный край» [1] посвятил истории экономики и внутреннего строя Московского государства XVII в. Прекрасный знаток документального материала, автор широко ввел в научный оборот богатый материал писцовых и переписных книг XVI—XVII вв. и до известной степени положил начало ряду историко-экономических описаний отдельных районов Московского государства. При всей зависимости от юридических схем, сказавшейся в этом исследовании, Ю. В. Готье показал те сдвиги в социально-экономической жизни основного центра Московского государства, которые совершились в итоге напряженных событий начала XVII в., и впервые подвел к их реальному, конкретному пониманию.

То же обращение к вопросам материальных основ исторической жизни реализовалось в объединении у Ю. В. Готье исторического и археологического изучения в истории древнего периода. Его «Очерки по истории материальной культуры» и их продолжение — «Железный век в Восточной Европе», вышедшие в первые годы Советского периода, представляют до сих пор лучший опыт восстановления древнейшей истории нашей страны, отдельных народов, ее населявших, на основе синтеза исторического и археологического материала.

Но наряду с этим и Ю. В. Готье платит дань традиции государственной школы и продолжает линию истории государственных учреждений в своем исследовании «История областного управления в России от Петра I до Екатерины II» (1913).

В работах Сергея Владимировича *Бахрушина* проблемы экономической и социальной истории приобретают уже главенствую-

[1] Первое издание вышло в 1906 г.

щее значение. Его очерк «Княжое хозяйство XV в.»[1] остается до настоящего времени единственной попыткой конкретного освещения хозяйственной организации княжеской и боярской вотчины периода феодальной раздробленности. Статья «Московский мятеж 1648 г.»[2] была первым серьезным исследованием по истории классовой борьбы в московском городе XVII в., по-новому осветившим вопросы социальной истории города, одновременно поднятые в исторической литературе киевским ученым П. П. Смирновым. К этим же годам относятся первые статьи С. В. Бахрушина по истории Сибири.

Полное развитие научно-исследовательской работы С. В. Бахрушина относится уже к Советскому периоду. В центре этих исследований на долгое время стали две темы. Первая из них — экономическая и социальная история русского города XVII в. Особенность в трактовке этой темы состояла при этом в том, что к широко намеченной общей теме автор шел от частного конкретного материала. Он обращался к людям изучаемой эпохи и в их биографии, в их частной деятельности искал выражение эпохи, пытался восстановить ее во всей ее непосредственности. Здесь впервые со всей полнотой и четкостью используется материал частных архивов, выступающий наравне с государственным актовым материалом.

Местная история Сибири и ее народов была второй крупной темой его исследований, связанной с первой темой реальным значением Сибири в распространении экономических связей московского центра в XVII в. «Очерки по истории колонизации Сибири» были итогом многочисленных исследований С. В. Бахрушина в этой области.

Ту же тему экономической и социальной истории развернул Владимир Иванович *Пичета* применительно к истории Литвы и Белоруссии. Этой теме посвящена его главная работа — докторская диссертация «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа». Автор дал законченную картину торжества крепостнической системы в великом княжестве Литовском в XVI в. и показал реальную организацию сложившегося в это время крепостного хозяйства. Параллельно в ряде специальных очерков он изучал эволюцию шляхетской организации и связанный с этим вопрос Люблинской унии. В Советский период эти исследования В. И. Пичеты расширились в двух направлениях. Изучение экономической истории распространилось, с одной стороны, на общую историю России, с другой стороны, специально на историю белорусского народа, при этом все более приближаясь к современности и переходя на историю XIX в.

---

[1] Напечатан в «Сборнике статей, посвященных В. О. Ключевскому», М. 1909.

[2] «Сборник статей в честь М. К. Любавского», Птг. 1917.

К этому направлению примыкали также исследования *А. А. Кизеветтера* по истории русского города XVIII в., давшие наиболее полное освещение этого вопроса в нашей исторической литературе (наряду с работами Дитятина). В его работах «Посадская община в России XVIII ст.» (1903) и «Городовое положение Екатерины II» (1909) заметно преобладает, однако, историко-юридическое изучение города, история его учреждений и правового строя. В дальнейших работах Кизеветтера по XIX в. все резче отражается журнально-публицистическая тенденция, литературно-повествовательная сторона господствует над научным исследованием.

История учреждений определила в значительной мере и тематику первых работ Алексея Ивановича *Яковлева*. Его работы «Приказ сбора ратных людей» и «Засечная черта» посвящены организации военной и специально военно-оборонительной службы в Московском государстве XVII в. Но и эти темы брались автором не только в их общем государственно-правовом освещении, но и во всей непосредственности их материального содержания. Автор стремился показать деятельность учреждения на живых людях и в реальных материальных условиях осуществления права. В силу этого действительное содержание использованного и воспроизведенного автором материала выходит за рамки первоначально намеченной темы.

Петербургский университет

Историческая работа в Петербургском университете развивалась в несколько иных условиях, под воздействием различных скрещивающихся влияний. Бестужев-Рюмин наложил заметную печать официального направления, частично ослабленную, однако, встречным влиянием В. О. Ключевского периода 80-х годов, шедшим из Москвы. Под этим двойным воздействием сложилось историческое мировоззрение С. Ф. Платонова, который в своих воспоминаниях выделяет значение влияния Ключевского. Струя буржуазного экономизма, шедшая от Ключевского, находила поддержку в Петербургском университете в лице А. С. Лаппо-Данилевского, тогда еще молодого доцента. Наряду с этим основная тенденция государственной школы дополнялась сильным влиянием историко-юридической школы в лице крупнейшего представителя истории русского права, заведовавшего кафедрой в Петербургском университете В. И. Сергеевича.

Виднейшими представителями исторической науки в Петербургском университете на исходе XIX и в начале XX в. были А. С. Лаппо-Данилевский, С. Ф. Платонов и А. Е. Пресняков. За ними идут историки следующего поколения, начинающие свою научную деятельность уже на исходе рассматриваемого периода, — Б. Д. Греков, А. И. Заозерский, П. Г. Любомиров, М. Д. Приселков и др.

Александр Сергеевич *Лаппо-Данилевский* (1863—1919) выделяется в ряду историков рассматриваемого периода исключи-

тельной широтой и разносторонностью своей эрудиции, тематическим охватом своих работ. В развитии русского источниковедения он занял, как указано, видное место созданием дипломатики и специально дипломатики частных актов. Его ранние работы по древнейшему периоду истории России построены на связи истории и археологии («Скифские древности», 1887), на изучении сфрагистики («Печати последних Галицко-Владимирских князей и их советников»). С другой стороны, мы отмечали выше и его обращение к философско-историческим и методологическим вопросам, которым был посвящен его специальный курс «Методология истории». Но, как указывалось, чем шире ставит буржуазный историк синтетические задачи, тем резче сказываются его идеалистические позиции, подчиняющие его конкретные исторические построения традиционным схемам государственной школы.

Это внутреннее противоречие научной мысли сказывается у А. С. Лаппо-Данилевского с особенной остротой. Тематика его отдельных конкретных исследований отражает общий рост научного интереса к вопросам экономической и социальной истории и постепенно сосредоточивается на более позднем периоде, XVII—XVIII вв. Сюда относится его исследование «Организация прямого обложения в Московском государстве» (1890), «Русские промышленные и торговые компании в первой половине XVIII в.» (1890), ряд публикаций и работ по истории города XVII в. и по истории крепостного крестьянства. Но при этом государственное направление определяет трактовку автором изучаемых им вопросов. Он изучает не столько реальные отношения, сколько государственное законодательство. Финансовая история Московского государства интересует его не своим влиянием на судьбы общества и на его хозяйственную деятельность, даже не с точки зрения государственного хозяйства, а лишь техникой непосредственной организации обложения, «функционированием установившейся системы». Так и в истории крестьянства автор занимается лишь изменениями юридического положения крестьян (например, его статья в сборнике «Крестьянский строй») или специальной документацией по истории крестьянства («Служилые кабалы позднейшего типа»).

От государственной школы шла и его общая концепция русской истории, определившая его трактовку вопросов истории XVII и XVIII вв. и самое сосредоточение его исследований на вопросах этого периода. Правда, как и у всех почти буржуазных историков этого периода, схема остается в конечном итоге не реализованной, но младший современник Лаппо-Данилевского А. Е. Пресняков воспроизвел основную мысль историка, формулированную им еще в его «Курсе истории России в XVIII столетии» в 1893/94 г. «В основу этого курса, — пишет А. Е. Пресняков, — была положена определенная схема русского исторического процесса, унаследованная А. С. Лаппо-Данилевским от «историко-юридической

школы». Важнейшим явлением этого процесса поставлена «смена прежних родовых связей новыми, общественными», которые появляются на рубеже XVII и XVIII столетий в ассоциациях, построенных на общности сословных, экономических (торгово-промышленных) и духовно-культурных (новое просвещение, обучение в новых школах) интересов. XVII век характеризуется во вступлении к этому курсу уже как «переходная» эпоха — между Московской Русью XVI в., для которой типичной чертой является преобладание правительственной деятельности, и Россией XVIII в.— периодом взаимодействия между деятельностью правительственной и общественной. Дальнейшее развитие эта схема получила во внутренней периодизации истории России по четвертям века: для первой четверти характерно преобладание государственной власти — на первом плане Петр и правительство; для второй—ослабление правительственной власти и преобладание общественных сил, преимущественно дворянских; для третьей — их взаимодействие приводит к признанию общества правительством... а конец века — распад взаимодействия правительственных и общественных сил, эпоха реакции» [1].

Эта схема в значительной мере определила круг последующих специальных исследований Лаппо-Данилевского, в известной мере подытоженных уже на исходе его жизни в обширном «Исследовании русской общественной жизни XVIII века», оставшемся до сих пор неопубликованным [2].

Сергей Федорович *Платонов* (1860—1933) был преемником К. Н. Бестужева-Рюмина и в дальнейшем руководителем кафедры русской истории в Петербургском университете. Он, как указано, рядом с Бестужевым-Рюминым выделял влияние Ключевского на формирование своих исторических взглядов. В своей научной работе он был в значительной мере историком одной темы — историком «смуты», историком Московского государства конца XVI и начала XVII в. Как проблема установления твердой государственной власти и начала династии Романовых эта проблема стояла в связи с государственной трактовкой русской истории и соответствовала официальному направлению в исторической науке.

Тема понималась им в духе старой государственной историографии, как «смута», как проблема разрушения и восстановления государственного порядка. Но эту тему Платонов пытался рассмотреть под углом зрения социальной борьбы, и в этом состоит то новое, что он внес в буржуазную историографию «смуты».

«Смута» представляется ему результатом сложных внутренних противоречий, на которые он и переносит свое исследование, допуская даже крайность полного игнорирования внешних условий—польско-шведской интервенции. Но эти противоречия двой-

[1] *Пресняков,* Труды А. С. Лаппо-Данилевского по истории России, «Русский исторический журнал», кн. 6, 1920.

[2] Рукопись этого труда была передана автором в Академию наук.

ного порядка: социального и политического. Данная им социальная характеристика, естественно, неопределенна и чужда самого понятия класса. Развитие общественного движения представляется ему в известной условной логической, абстрактной схеме: не в разрезе основных классовых конфликтов, а в виде своеобразного последовательного вовлечения в «смуту» отдельных слоев русского общества, идущего постепенно сверху вниз [1]. Но хотя и в таком условном соотношении, Платонов впервые дал картину «смуты» в виде развернутой картины широкого общественного движения и социальной борьбы, в которой и крестьянское движение под руководством Болотникова получило свое особое самостоятельное место («Третий момент смуты — начало открытой общественной борьбы»).

В общей схеме, однако, общественное движение остается подчиненным борьбе политической. «Борьба за власть» — такова другая самостоятельная тема истории «смуты»; она идет впереди социальной борьбы и сосредоточена в господствующих слоях русского общества. Поэтому и начало «смуты» сводится в конце концов к династической борьбе, а ее конец — к восстановлению порядка.

Отсюда и выведение объяснения «смуты» из политической борьбы, от политического кризиса второй половины XVI в.: опричнина — преддверие «смуты». Но и здесь рядом с политическим кризисом он ищет элементы социального кризиса — в крестьянском закрепощении и в противоречиях внутри феодального класса. В опричнине, вслед за Соловьевым, он видит реальный путь разрешения реальных политических противоречий. Ему удалось при этом полнее вскрыть и силу старого боярства и княжат и сложность и продуманность того политического мероприятия, каким была опричнина.

Книга Платонова отражала противоречия, назревшие в развитии исторической науки, а не уходила от них.

И здесь расширение исторической разработки темы сопровождается и в значительной мере опирается на углубление источниковедческой базы, методов ее разработки. Тема социальной борьбы выдвинула историческую повесть как памятник, дающий наиболее непосредственное отражение социальным и политическим тенденциям и настроениям. Платонову принадлежит и публикация этих сказаний [2] и их источниковедческое изучение в специальной монографии [3].

Александр Евгеньевич *Пресняков* (1870—1929) принадлежит в сущности к более молодому поколению историков, но со своими первыми научными работами он выступил уже в конце XIX в.

[1] Эта конструктивная сторона схемы Платонова совпадает в основном со схемой, данной в «Курсе русской истории» В. О. Ключевского.

[2] «Русская историческая библиотека», т. XIII.

[3] «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени».

Формально он был учеником С. Ф. Платонова, под руководством которого начинал свою научную деятельность. Но наряду с этим он испытал и сильное влияние источниковедческого направления, шедшего в Петербургском университете от Бестужева-Рюмина, а затем от Шахматова, отчасти, может быть, и через В. Г. Васильевского, у которого А. Е. Пресняков специально работал в университете. Именно к первым годам самостоятельной исследовательской работы А. Е. Преснякова относится ряд его работ по истории русского летописания. С другой стороны, А. Е. Пресняков испытал заметное влияние историко-юридической школы в лице В. И. Сергеевича. Это влияние сказалось особенно сильно на первом крупном исследовании А. Е. Преснякова по истории Киевской Руси, на его магистерской диссертации «Княжое право в древней Руси» (1909). Теме государственной, политической истории посвящено и его второе крупное исследование, его докторская диссертация — «Образование великорусского государства» (1915).

Но даже замыкаясь в рамках политической темы государственной истории, деятельность А. Е. Преснякова характеризуется последовательным освобождением от влияния государственной, юридической школы и обращением к изучению реальных исторических отношений. Правда, А. Е. Пресняков до Октябрьской революции так и не подошел к вопросам социальной истории, развития общественных форм; ему осталась чуждой и проблема русского феодализма, разработанная в эти самые годы Павловым-Сильванским. Но не приняв в то время теории Павлова-Сильванского, А. Е. Пресняков принадлежал к тем историкам, которые сразу же оценили ее научное значение, и ему обязаны историки подготовкой к печати и опубликованием основного труда Павлова-Сильванского «Феодализм в удельной Руси».

Если Пресняков не дает прямой постановки социальной темы, то в своем историко-юридическом исследовании о «княжом праве» он фактически ищет реальное социальное содержание правовых норм, сквозь призму юридических отношений изучает действительные общественные отношения. Именно поэтому он изучает не отдельные правовые институты, а систему правовых институтов в их внутренней связи, в единстве их исторического содержания. Вопрос о «княжом праве» был вопросом о княжом обществе, объединенном княжой защитой (mundeburdum), подобно западноевропейской организации периода складывания феодального строя. По сути дела от этого исследования А. Е. Преснякова оставалось сделать еще один шаг, чтобы притти к вопросу о возникновении феодализма в России, и только связанность традицией государственной школы не дала автору сделать этот шаг.

В его второй диссертации только теория великого княжения Владимирского как предпосылки образования великорусского государства была данью юридической школе. Основная сила Преснякова и значение его трудов — в последовательном рас-

крытии реальных исторических отношений. Именно с этих позиций вел он борьбу и против условной схемы городовой волости и теории лествичного восхождения князей в Киевской Руси, данной Ключевским, против теории собирания русских земель и возвышения Москвы у представителей государственной школы. Не имея методологической базы для научного обоснования новой концепции, он, однако, глубоким историческим чутьем сумел восстановить внутреннюю обусловленность и связь реального процесса развития политических отношений и тем подготовил исторический материал для дальнейшего научного обобщения. Научный реализм исторической мысли Преснякова сказался в частности в понимании национальной и территориальной природы политических образований. Пресняков дал первую попытку построения русской истории на основе признания самостоятельных путей великорусской и украинской истории. Это определило его связь с идеями и общей схемой украинской истории Грушевского.

Исторические события ускоряли внутреннюю эволюцию историка, привлекали его внимание к новым вопросам, к изучению общественной жизни и общественных движений. Революция 1905—1907 гг. поставила перед ним вопрос истории революционного движения в России XIX в., в эти годы появились его очерки «Декабристы», «В поисках народности» (40-е годы), «Накануне народничества» (60-е годы), «Революционное народничество» (70-е годы).

Октябрьская революция заставила автора углубить изучение этого позднейшего периода нашей истории; XIX веку посвящен ряд работ Преснякова последних десяти лет его жизни. В этот период автор начал и серьезный пересмотр своих общих методологических позиций, впервые подойдя к вопросам русского феодализма, хотя и в это время он оставался, конечно, близким не к марксизму, а к Павлову-Сильванскому.

Тенденция перехода от общего государственного направления, от методов юридической школы к конкретной социально-экономической тематике характерна и здесь для младшего поколения историков.

Так, уже первая большая работа Павла Григорьевича *Любомирова* «Очерк истории Нижегородского ополчения 1611—1613 гг.» [1], хотя и отражает определенную зависимость от буржуазной историографии, отражает влияние С. Ф. Платонова, к исследованию которого автор неоднократно отсылает читателя, однако в целом она дает по существу иную постановку темы. Автор, идя от конкретного материала своей специальной темы, совершенно правильно выдвинул на первое место развитие ши-

[1] Работа печаталась в журнале в 1913—1914 гг., вышла отдельным изданием в 1917 г., переиздана в 1939 г.

рокого народного движения, национальной борьбы с интервенцией. Народ, а не отдельные правительственные лица, оказался подлинным носителем национальной борьбы. С тем же обращением к социальной тематике связана вторая тема исследований П. Г. Любомирова — история раскола.

Тематика социальной и экономической истории получила полное развитие в трудах П. Г. Любомирова в Советский период.

В 1917 г. вышло и исследование Александра Ивановича *Заозерского* «Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве». И это исследование обращалось к непосредственному изучению реальных отношений. Изучение развития государственной власти переносилось в плоскость конкретной практической деятельности этой власти. Выбранный автором момент в истории складывания русского абсолютизма позволил ему в тесном переплетении реального исторического процесса осветить две важнейшие проблемы XVII в. — вопрос о крепостном хозяйстве XVII в. и о зарождении бюрократического аппарата. И здесь уже намечалась тематика последующих исследований автора, посвященных экономической и социальной истории, в первую очередь развитию крепостного хозяйства XVII—XVIII вв. и формированию русской промышленности XVIII в.

История хозяйства и социального строя стоит с самого начала в центре научных исследований Бориса Дмитриевича *Грекова*. Его первое большое исследование «Новгородский дом св. Софии» (1915) посвящено истории крепостного хозяйства и крепостных отношений XVI—XVII вв. К этой общей работе примыкают специальные исследования по истории крестьянства этого периода (например, статья о новгородских бобылях). Правда, и в этих работах автор еще отражает влияние юридической школы и к вопросам социальной истории идет от юридических норм и определений. Но наряду с этим им уже широко исследуется и специальный экономический материал, вопросы непосредственной хозяйственной деятельности. Его дальнейшие работы переходят уже полностью в плоскость социально-экономического исследования. Наряду с дальнейшим углублением вопросов развития крепостной системы в XV—XVI вв. Б. Д. Греков распространил свое исследование и на более ранние этапы в истории крепостного хозяйства, посвятив свои основные работы Советского периода истории генезиса феодализма в России. В этих работах новые источниковедческие приемы, идущие в значительной мере от Шахматова и его школы, сочетаются с обращением к марксистской методологии, к марксистскому учению о социально-экономических формациях.

Говоря о разработке социальной и экономической тематики, необходимо выделить особую линию исследований, идущую от либерально-народнического направления в историографии, связанную с работами В. И. Семевского, речь о которых была уже выше.

Непосредственным продолжением и развитием работ Семевского по истории русского крестьянства явились многочисленные работы Инны Ивановны *Игнатович*, посвященные в основном истории русского крестьянства XIX в. При этом отношение работ Игнатович к работам Семевского в известной мере воспроизводит общую эволюцию буржуазных исследований. В работах И. И. Игнатович история крестьянства и крестьянского движения берется также в ее конкретных проявлениях, в непосредственном изучении социальных отношений, социального движения, а не в ее идеологическом отображении, не в общей постановке крестьянского вопроса.

Местные центры исторических изучений

Москва и Петербург стягивали главные научные силы. В связи с этим работа в местных центрах носила значительно более узкий, локальный характер и не получила в большинстве случаев заметного отражения в общем развитии русской исторической науки. Более самостоятельное значение имела киевская школа историков.

В Киеве кафедру русской истории возглавлял Митрофан Викторович *Довнар-Запольский*. Историк с чрезвычайно разнообразным кругом интересов, с исключительной литературной плодовитостью, он не имеет такой исследовательской индивидуальности, как рассмотренные выше историки. В нем популяризатор исторических знаний был сильнее исследователя. Зато в его работах получали более непосредственное отражение запросы современности, текущего момента. Оставив работы по Киевской Руси, занимаясь специально историей Московского государства, он в то же время дал ряд работ по истории России XIX в. — по эпохе Александра I и движению декабристов, по крестьянскому вопросу, откликаясь на либеральные настроения 1905—1906 гг. Собственно исследовательский характер имеют скорее работы Довнар-Запольского по истории великого княжества Литовского. После революции он продолжал работать по экономической истории Белоруссии.

Место Довнар-Запольского в русской историографии связано в значительной мере с тем, что длительное пребывание во главе кафедры русской истории в Киеве сделало его главой небольшой местной исторической школы, в которой заметно выступают тенденции экономизма и интерес к социальной тематике, присущие самому Довнар-Запольскому и представляющие более передовое течение в буржуазной исторической науке этого периода.

Среди представителей этой школы наиболее видное место занял уже в эти годы Павел Петрович *Смирнов*, положивший начало серьезному изучению социальной и экономической истории русского города XVII в. Правда, начатая им в эти годы общая работа по истории русского города XVII в. еще носит на себе печать значительного влияния юридической школы в общей трак-

товке темы. Значительно острее социальная тематика сказалась в специальных исследованиях автора, появившихся, главным образом, в связи с публикацией челобитных торговых людей и дворянства. Эти исследования привели П. П. Смирнова примерно в то же время, как и С. В. Бахрушина, к принципиально новой постановке вопроса о Московском восстании 1648 г. и правительственной политике перед восстанием [1].

Истории русского города XVII в. посвящены также лучшие работы П. П. Смирнова в Советский период.

То же направление сказалось и в исследованиях рано умершего историка А. М. Гневушева, автора ряда исследований по экономической и социальной истории Великого Новгорода.

В Одесском и Харьковском университетах в разработке вопросов русской истории сильнее выражен местный характер, теснее связь с историей Украины, чем с общей историей России. В Одессе И. А. Линниченко в своих исследовательских работах продолжил непосредственно традицию историко-юридической школы. В Харькове Д. И. Багалей скорее продолжал линию областной истории в украинской историографии, идущую от школы Антоновича (Киев). Однако его работы по истории Харькова и Слободской Украины, стоящие как бы на стыке украинской истории и истории Московского государства, связывают его с общерусской историей в разрезе областной истории.

Характер областной истории приобрела и школа *Н. Н. Фирсова* в Казани. Сосредоточенные на истории Поволжья, его работы освещали ее в разрезе народных движений и движений народов Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. Описание крестьянской войны в Поволжье и восстаний народов Сибири дано в либерально-народнической трактовке. Фирсову принадлежат и отдельные очерки по экономической истории России XVII — XVIII вв., не отличающиеся особенной глубиной.

Распространение исторических знаний сопровождалось дальнейшим переходом исторической работы непосредственно на места, вне специальных исторических центров, вне связи с университетами или губернскими архивными комиссиями. Эта историко-краеведческая работа — дело частной инициативы. В конце XIX и начале XX в. она сохраняет связь с интересом к народной жизни в народнической интеллигенции; яркими представителями этого направления являются писатель В. Г. Короленко, известный этнограф Богораз-Тан. Организованные формы краеведение получило уже в Советский период, когда появился ряд периодических

[1] Статьи в «Чтениях в Историч. об-ве Нестора-летописца», в «Чтениях Моск. об-ва ист. и древн. росс.», 1915, кн. 3; сб. «Русская история в очерках и статьях», под ред. М. В. Довнар-Запольского, т. III, Киев 1912; отдельно: «Города Московского государства в первой половине XVII в.», т. I, вып. 1, «Формы землевладения», Киев 1917.

краеведческих изданий и когда в эту работу оказались втянутыми историки-специалисты.

История общественных движений

Подъем революционного движения в России и революция 1905—1907 гг. привлекли внимание к истории общественного и революционного движения в России. В буржуазной исторической литературе проявляется особый интерес к движению декабристов, издаются их мемуары и отдельные очерки, посвященные истории восстания 1825 г. Внимание радикальной исторической мысли обращается к истории русского просветительства и к революционному движению 60-х годов. Белинский и петрашевцы, Чернышевский и Добролюбов становятся предметом исследований и документальных публикаций. Тогда же широко публикуется литература по народническому движению 60—70-х годов.

Рядом со старыми историческими журналами, приобретавшими все более официальный характер, в это время создаются новые, либерально-народнического направления. Основанный в 1900 г. в эмиграции журнал «Былое» был перенесен в 1906 г. в Россию, в нем сосредоточилась публикация материалов по истории народнического движения и революционной борьбы начала XX в. В 1908 г., после закрытия «Былого» цензурой, в течение года выходил журнал «Минувшие годы». Редакция обоих журналов состояла из народнической и либеральной интеллигенции—Семевского, Игнатович, Русанова, Богучарского, Водовозова, Щеголева, Корнилова. Последним журналом этого направления был организованный в 1913 г. «Голос минувшего» (1913—1917). В этом журнале радикальные тенденции окончательно сменились буржуазным либерализмом, вопросы общественного и революционного движения — историей общественных идей, в соответствии с общей тенденцией буржуазной исторической литературы этого периода.

История культуры и общественных идей

История литературы была ближайшей смежной областью, которая развивалась в тесной связи с историей. В этот период в истории литературы произошел своеобразный разрыв между формой и содержанием: история литературы получала либо узкий формалистический уклон, либо переходила в историю культуры и общественных идей. Последнюю тенденцию в историю литературы внесли еще в предшествующий период либеральное и особенно народническое направления. Слияние истории литературы с общей историей наметилось уже в 70—80-е годы в работах А. Н. Пыпина.

Народническая публицистика превратила историю литературы в историю русской интеллигенции, в изучение развития общественного типа в русской литературе. Такое направление получила история литературы в работах Иванова-Разумника, Сакулина. К этому же направлению принадлежал и видный критик и историк литературы Д. Н. Овсянико-Куликовский.

Возникают также попытки дать историю общественной мысли на марксистской или по крайней мере на материалистической основе. Одним из первых опытов в этом направлении была «История русской литературы» Келтуяла, отразившая, однако, не марксистские воззрения, а позицию экономического материализма. Более крупные работы в этом направлении принадлежат Плеханову и Фриче.

Народническая история литературы искажала проблему, идя путем подмены темы, смешения задач: она превращала самого героя литературного произведения в носителя общественной идеологии эпохи и формально отожествляла историю литературы с историей идеологии. Наряду с этим возникали попытки создать историю общественных идей как особое самостоятельное изучение истории общественной мысли. Работы Плеханова о Белинском и Чернышевском были началом марксистской истории культуры.

В рамках буржуазной литературы это направление переходило большей частью в плоскость литературно-психологических очерков по воссозданию «образов прошлого», подобно литературно увлекательным очеркам Гершензона, или в литературную биографию, вроде книги Корнилова «Молодые годы Мих. Бакунина».

История права

Другой смежной дисциплиной, заметно сближавшейся с общей историей, была история права. Наряду с заметным влиянием юридического направления на общеисторические исследования имеет место и обратное влияние: расширение общеисторической перспективы в разработке историко-правовых вопросов. Наиболее яркое выражение эта новая тенденция получила в работах *М. А. Дьяконова* (1855—1919). В этих работах история права становится средством к познанию истории общественных отношений, опираясь на широкое изучение общего процесса исторического развития.

Его специальные исследования посвящены прежде всего истории крестьянства в XVI—XVII вв., процессу его закрепощения [1]. Его изучение сосредоточивалось на конкретных формах крестьянской зависимости, взятых в их практическом осуществлении, а не в законодательной норме. Именно Дьяконову принадлежит выделение института старожильства как формы реального закрепощения внеуказным порядком. Точно так же историю государственного строя как в своих «Очерках»[2], так и в специальной монографии «Власть Московских государей» Дьяконов дал в тесной связи с политической историей и историей политических идей. В этом отношении работы М. А. Дьяконова непосредственно дополняли общие исторические работы и в свою очередь оказали значительное влияние прежде всего на разработку истории кре-

[1] См. *Дьяконов*, Очерки по истории сельского населения в Московском государстве XVI—XVII вв. и ряд журнальных статей.

[2] *Дьяконов*, Очерки общественного и государственного строя древней Руси.

стьянства. Та же связь истории права с реальными историческими отношениями дана в ряде специальных исследований этого периода. Так, работа П. И. Беляева о «Древнерусской сеньерии»[1] была непосредственным продолжением исследований Павлова-Сильванского о русском феодализме, конкретным этюдом по истории русского феодализма, хотя и ограниченным более поздним периодом его истории.

Значительно сильнее историко-юридическое направление выражено в исследованиях С. Б. Веселовского, М. В. Владимирского-Буданова и других историков права. *С. Б. Веселовский* принадлежит к числу лучших знатоков актового материала и в частности богатейших архивных фондов. Его специальные исследования по истории землевладения, по организации финансового дела в Русском государстве XVI—XVII вв. основаны на обширном документальном материале, частично им же опубликованном. Но в то же время все его попытки перейти к реальной интерпретации исторических явлений остаются в рамках основной историко-юридической концепции, обращены к крайним положениям исторической схемы Ключевского.

Итоги

Краткий обзор наиболее прогрессивных явлений в буржуазной исторической науке, таким образом, наглядно подтверждает общую характеристику развития исторической науки этого периода. Опираясь на рост технической и материальной базы, отражая тематическую направленность научных интересов, лучшие представители буржуазной исторической науки расширяют и накапливают историческое знание, разрешая ряд специальных, частных исторических вопросов. И в то же время, в силу своей методологической ограниченности, они оказываются бессильными дать новый синтез на основе нового исторического материала. Попытки синтеза приводят, напротив, к обратному воздействию формальной схемы на конкретное исследование. Это внутреннее противоречие выступает со всей отчетливостью на примере Милюкова.

ГЛАВА 29

МИЛЮКОВ

Основные сочинения Милюкова: Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра В., Спб. 1892. — Очерки по истории русской культуры, т. I—III. — Главные течения русской исторической мысли, изд. 3-е Аверьянова, Спб. 1913. — Из истории русской интеллигенции. Сб. статей и этюдов, «Знание», Спб. 1902. — Год борьбы. Публицистическая хроника 1905—1906 гг., б-ка «Общественной пользы», Спб. 1907. — История второй русской революции.

[1] «Журнал министерства юстиции» № 8 и 9, 1916.

Основная литература: Справочники к 2-му и 3-му изданиям сочинений В. И. Ленина, Партиздат, М. 1935. О Милюкове даны указания на стр. 493—494. — История гражданской войны в СССР, т. I, ИГВ, М. 1935. — *Павлов-Сильванский, Н. П.*, Теория контраста Милюкова; в кн.: *Павлов-Сильванский, Н. П.*, Феодализм в древней Руси, Брокгауз-Ефрон, Спб. 1907, гл. 1, разд. III, стр. 19—25. — *Покровский, М. Н.*, Борьба классов и русская историческая литература; в кн.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 1, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 7—100. — *Покровский, М. Н.*, Противоречия г-на Милюкова (о книге *Милюкова, П. Н.*, История Второй русской революции, т. I, вып. 1); в кн.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 2, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 140—164. — *Его же*, Буржуазная концепция пролетарской революции. О книге Милюкова, П., Russlands Zusammenbruch; в кн.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 2, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 111—139.

Лишь два буржуазных историка этого периода — П. Н. Милюков и Н. П. Павлов-Сильванский — обращаются к теме исторического синтеза. Именно поэтому в работах этих двух историков с особенной отчетливостью определились внутренние противоречия развития буржуазной исторической науки.

Милюков

Работы Милюкова были последовательным завершением внутреннего идейного кризиса буржуазной исторической науки, последовательным упразднением реального синтеза. Идеолог русской империалистической буржуазии, бессменный руководитель буржуазной партии «кадетов», Милюков был ее идеологом и в русской исторической науке.

Павел Николаевич Милюков (родился в 1859 г.) был старшим представителем последнего поколения буржуазных историков. В университете он застал еще Соловьева в последний год его профессорской деятельности, но сложился как историк уже в школе Ключевского. Его собственная научная деятельность падает в основном на 90-е годы. К этому периоду относятся его основные работы: исследование о Петре I — «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII в.» (1892), «Спорные вопросы финансовой истории Московского государства» (1892); его историографические очерки — «Главные течения русской исторической мысли» (1893—1895), «Очерки по истории русской культуры» (1895—1896) и отдельные статьи «Из истории русской интеллигенции».

Первые научные исследования — «Государственное хозяйство» и «Спорные вопросы» — опираются на богатый документальный материал, в значительной части впервые вводившийся им в научный оборот, отличаются тонким конкретным анализом используемых источников и занимают видное место в буржуазной исторической литературе. Но даже в этих работах Милюкова его схема, его буржуазная идеология довлела над научным материалом.

В 900-е годы политика оттеснила на задний план теоретические вопросы исторической науки, и вопросы истории переводятся в плоскость политико-публицистической оценки вопросов современности. После Октябрьской революции Милюков выступил идеологом русской контрреволюции и в эмиграции попытался снова подвести исторические итоги и связать настоящее с прошедшим. Он принял участие в коллективной эмигрантской работе по истории России и выпустил в разных вариантах свою историю русской революции. Эти последние работы показали, что исторические события мало чему его научили и что объяснение происходящего он ищет попрежнему в рамках исторической теории, изложенной им в его работах 90-х годов.

Поэтому в характеристике Милюкова как представителя русской исторической науки на определенном историческом этапе именно эти первые его работы имеют основное, определяющее значение.

Теория и методология

В «Очерках по истории русской культуры» Милюков изложил не только свою общую концепцию русской истории, но и ее теоретическое и методологическое обоснование [1]. В условиях 90-х годов Милюков свои теоретические высказывания пытался облечь в современную терминологию и даже причислял себя, хотя и с оговорками, к сторонникам экономического материализма. Западная буржуазная историческая наука называла его «Очерки» чуть ли не марксистской работой, Покровский находил у Милюкова, правда, «легкий (и быстро исчезающий) привкус щаповского, домарксистского материализма» [2]. Но вся эта фразеология была лишь внешним прикрытием действительных идей автора, каждое утверждение в духе современности выставлялось лишь для того, чтобы рядом оговорок тотчас же свести его на-нет.

Историк начинает прежде всего с принципиального противопоставления науки и политики: «Между научным объяснением культурной истории и практическим приложением результатов такого объяснения к жизни — не может быть ничего среднего» [3]. Этот принцип буржуазного объективизма означал, однако, принципиальный разрыв теории и практики, отказ от критической проверки исторических выводов жизнью и от обобщения жизненного опыта наукой. Это означало восстановление в теории разрыва между причинностью и целесообразным действием, на преодоление которого была направлена еще гегелевская диалектика.

Самое понятие закономерности оказывается при этом ограниченным в своем содержании и действии. «Основная закономерная тенденция,— пишет Милюков, — есть только один из фак-

[1] Именно поэтому разбор исторических взглядов Милюкова мы начинаем с этой его работы, хотя и появившейся уже в середине 90-х годов.

[2] *Покровский*, Как и кем писалась русская история до марксистов, «Историческая наука и борьба классов», т. I, стр. 115.

[3] *Милюков*, Очерки по истории русской культуры, т. I, стр. 7.

торов исторического процесса; нигде и никогда эта тенденция не осуществляется в своем чистом, беспримерном виде»[1]. Этим Милюков фактически упраздняет закономерность связи между реальными историческими явлениями. Закономерность оставалась как голый постулат, не связанный с действительным познанием: «Мы принимаем закономерность исторических явлений совершенно независимо от того, может ли история открыть нам эти искомые законы»[2].

Всем этим положениям подводится последний итог, окончательно выводящий проблему закономерности за рамки самой истории, упраздняющий действительную закономерность в историческом процессе. В системе закономерных причинных отношений не оказывается места для таких исторических явлений, как революция или реформация. Милюков отрицает реальность их исторического существования, требуя их разложения на элементарные составные части, которые одни только являются реальными. Основной принцип его методологии заключается прежде всего в распылении исторического процесса. Милюков доводит этот принцип до его логического конца: «...Общий результат, кажущийся нам на первый взгляд цельным и единым, мы должны анализировать дальше, чтобы выделить отдельные создавшие его факторы. Легко может оказаться, что и выделенные нами факторы, в свою очередь, будут не простыми элементами, а сложными равнодействующими более элементарных сил. Мы остановимся в этом анализе только тогда, когда дойдем до элементов, известных нам из ближайшей соседней области знания, т. е. когда увидим, что явления общественной жизни находят себе объяснение в психологии и вместе с последнею опираются на все здание закономерности более простых явлений мира, — физических, химических или физиологических»[3].

В этом построении Милюков доводил до конечных логических выводов теорию позитивизма в ее приложении к исторической науке. Все законы исторической жизни оказываются вынесенными за пределы исторической действительности, «в смежные области знания», а вся историческая действительность разбита на хаотическую массу отдельных первичных элементов. После этого историк получил полную свободу распоряжения фактами, и на место системы реальных отношений им создается своя условная группировка в логические ряды в системе факторов. Вместо целостного рассмотрения исторического процесса дается последовательное рассмотрение отдельных логических рядов, на всем протяжении исторического процесса во внешнем хронологическом следовании отнесенных к данному ряду фактов.

---

[1] *Милюков*, Очерки, т. I, стр. 12.
[2] Там же, стр. 8.
[3] Там же, стр. 9.

В ряде отдельных очерков Милюков и рассматривает совершенно раздельно вопросы населения, экономического быта, государственного строя, сословного строя, наконец, вопросы культуры в тесном смысле слова.

Завершая круг своих теоретических рассуждений, Милюков в предисловии ко второй части «Очерков» отвечает на вопрос о взаимоотношении отдельных факторов между собой. Он и здесь прибегает к своему обычному приему: начиная с признания «требований монизма» и согласия «с принципиальной защитой монизма» экономическим материализмом, он тотчас же спешит устранить и то и другое положение последующими оговорками. Он отвергает прежде всего «тот специальный вид монизма, который назывался философским материализмом». Он хочет далее в самом экономическом содержании свести «материальное» к «психическому». Оказывается, что «материальный характер экономического фактора есть только кажущийся: на самом деле явления человеческой экономики происходят в той же психической среде, как и все другие явления общественности» [1].

Милюков и требовал с самого начала, чтобы все явления получили свое объяснение в психологии. Теперь оказалось, что и единая сфера психической жизни разбивается на самостоятельные системы психических явлений, каждая из которых имеет свою закономерность: в этой психической среде существуют независимо друг от друга и «явления человеческой экономии», и «духовные потребности», и «национальный характер», и другие элементы «социально-психологической организации человеческого общества» [2]. Монизм исторического познания обращается в плюрализм, типичный для всякой теории факторов.

Концепция русской истории. Народ и государство

Разделавшись таким образом с теоретическими и методологическими проблемами современной исторической науки, Милюков отбросил и идею единства исторического процесса, развитую Соловьевым, и проблемы социально-экономической истории, принятые Ключевским в период 80-х годов, и из всего наследия буржуазной исторической науки остановился на государственной исторической схеме Чичерина, доведенной им до ее логического конца.

Свои «Очерки» он начал очерком о населении. В буржуазной науке существовала общая тенденция ростом народонаселения подменивать марксистскую проблему роста производительных сил. У Милюкова этим очерком вводится традиционная тема колонизации, превращающаяся, таким образом, в исходное положение логически подразумеваемой общей схемы. Самый процесс колонизации получает при этом еще более распространительное значе-

[1] *Милюков*, Очерки, ч. 2, стр. 3.
[2] Там же, стр. 3—5

ние. В качестве проблемы русской колонизации рассматривается и присоединение Заволжья в первой половине XVIII в., с подчинением башкир и калмыков, и присоединение Кавказа.

Этот очерк нужен Милюкову как введение ко второму, центральному элементу схемы, утверждающей неразвитость общественных отношений в России, слабость, замедленность ее экономического развития, ее абсолютную отсталость. Такова тема второго очерка, посвященного экономическому быту. Природные условия и слабость организации народных сил, распылившихся в колонизационном процессе по огромной восточноевропейской равнине, не создавали предпосылок экономического развития. Поэтому все развитие вносится искусственно сверху. Таким внешним искусственным явлением в русской истории оказался и основной факт развития экономических отношений — развитие капиталистической промышленности: «У нас... мануфактура и фабрика не успели развиться органически, из домашнего производства, под влиянием роста внутренних потребностей населения. Она создана была впервые правительством»[1].

Теория искусственного насаждения капитализма государством сверху была сформулирована в таком виде именно Милюковым и уже от него перешла в последующие буржуазные и мелкобуржуазные схемы в русской историографии. Отсюда надо было сделать неизбежный вывод об искусственном, государственном характере самой реформы. Этому старому положению государственной теории о закрепощении и раскрепощении сословий Милюков попытался дать экономическое обоснование или, скорее, истолкование. «...Все наше экономическое прошлое есть время господства не менового, а натурального хозяйства; в классе землевладельческом только освобождение крестьян вызвало окончательный переход к меновому хозяйству», в классе крестьянском этот процесс еще только совершается, главным образом, под давлением фискальных требований государства[2]. Эта оценка реформы была фактически оценкой всего развития русского капитализма, в своем существе извращавшей всю проблему отсталости России, и коренным образом расходилась с ленинской концепцией. Данная Милюковым концепция получила дальнейшее развитие во всей буржуазной литературе в обосновании идеи незрелости России для пролетарской революции; наиболее последовательные выводы сделал из нее Струве.

Таким образом, начав с экономики, Милюков пришел к подчинению ее развития государству. Он, правда, пытается спасти видимость зависимости политической надстройки от экономического фундамента; но это лишь «экономический вариант» основного тезиса государственной теории, согласно которому слабость

---

[1] *Милюков*, Очерки, т. I, стр. 85.
[2] Там же, стр. 70.

населения становится причиной силы государства. «Именно элементарное состояние экономического «фундамента», — говорит Милюков, — вызвало у нас в России гипертрофию государственной «надстройки» и обусловило сильное обратное воздействие этой надстройки на самый «фундамент» [1].

Здесь уже принцип закономерности непосредственно переходит в свою противоположность, в признание полнейшей противоположности России и Западной Европы, к которой от тех же посылок пришел в свое время Чичерин. «В России государство имело огромное влияние на общественную организацию, тогда как на Западе общественная организация обусловила государственный строй» [2].

Теория «контраста между западом и востоком Европы» [3] становится лейтмотивом всего дальнейшего изложения.

Государство превращается в самодовлеющую действующую силу русской истории и само развивается «искусственно и насильственно» под влиянием «стихийных условий русской исторической жизни»[4]. «Искусственно и насильно» — такова формула Милюкова, как бы сознательно противопоставленная формуле Соловьева «естественно и необходимо».

История русского государства

В истории государства Милюков устанавливает три этапа: племенной быт, феодальный строй и национально-военное государство. Но тут же оказывается, что в истории России вторая стадия — период феодального строя — выпадает; вернее, он выпал для Северо-восточной Руси. Только Юго-западная Русь знала феодализм, получив его с Запада, из Польши и Литвы, к которым она была присоединена после распада Русской земли. Московская Русь была связана не с Западом, а с Востоком. Поэтому она, после затяжного периода племенного строя, непосредственно перешла к системе военно-национального государства под давлением «борьбы со степью».

В самом военном характере этого государства — «военно-национального государства» — оказываются вместе с тем специфические особенности всего дальнейшего исторического развития. Им определилось и содержание этого третьего очерка. На первом месте в государственной истории России у Милюкова оказалась ее военная организация, порожденная нуждами обороны. Военные нужды определили фискальную систему. А по финансовым потребностям и возможностям равнялась уже вся система государственных учреждений.

Если раздел экономики оказался все-таки впереди раздела о государстве, то объяснялось это именно тем, что вопросы экономики не получили самостоятельного значения и были введены

[1] *Милюков*, Очерки, т. I, стр. 139.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 148.
[4] Там же, стр. 149.

лишь для обоснования положения о гипертрофии государства в духе новых исторических идей.

Очерк о сословном строе завершает государственную схему. Здесь и формула о бродячем характере русского населения, и отсутствие у нас — впоследствии Милюков скажет слабость — феодального (по Чичерину, союзного) начала. Общественный строй создается государством в порядке закрепощения всех слоев населения государственной службе. «В нашей исторической жизни не было условий для образования крепко сплоченных сословий»[1].

Поэтому западному феодалу противостоит у нас «крепостной служилый человек», сменивший в XVI в. старых «вольных слуг» и раскрепощенный лишь в XVIII в. Поэтому и наш город — «полная противоположность европейской истории города». У нас, «раньше чем город понадобился населению, он понадобился правительству»[2]. Отсталость русской экономики задержала его выделение до XVII в. В Московском государстве в XVII в. посадское общество получило свою организацию для несения финансовых повинностей; выделение его верхушки связано с несением своей особой «верной службы» по финансовому ведомству. Оно раскрепощено, как и служилое сословие, в XVIII в.

Те же периоды определили и историю крестьянства: до XV в. «вольным слугам» соответствовало «бродячее» крестьянство; в XVI в. оно закрепощено вместе с остальными сословиями; раскрепощение дворянства и посада превратило крепостное право из публичного в частно-правовой институт; реформа завершила раскрепощение сословий. Полностью воспроизводя чичеринскую схему, Милюков присоединяется к этой общей характеристике в определении сельской общины как принудительной организации для отбывания платежей и повинностей[3].

Теоретический отказ от идеи исторической закономерности превратился, таким образом, в последовательное отрицание всякой общности в историческом развитии России и Запада, в «теорию контраста», по определению Павлова-Сильванского. «Контраст», «полная противоположность», «совершенное своеобразие» — эти систематически повторяемые в тексте формулировки определяют основной смысл принятой Милюковым концепции.

Эту государственную схему Милюков дополнил еще одним новым разделом — разделом о культуре.

История русской культуры

История русской культуры определяется тем же отношением государства и общества, приводящим и в этой области к противоположности России и Западной Европы. История русской культуры также развивается не снизу, а сверху. Поэтому она начинается историей духовенства и школы, т. е. церкви и государства.

---

[1] *Милюков*, Очерки, т. I, стр. 237.
[2] Там же, стр. 239.
[3] Там же, стр. 255.

Первый источник культуры, по Милюкову, состоит в вере — первой организацией культурной жизни общества является церковь. История русской культуры связана с установлением христианской церкви в России. Но слабость народных сил и народного развития привела к разобщенности между церковью и народом, и, лишенная опоры в народе, церковь в России превратилась в орган государственной власти. Отсюда в церкви сословная организация преобладает над подлинным духовным началом, отсюда окончательная разобщенность церкви с народом, мертвенность веры, господство обряда, породившие, с одной стороны, Никоновскую реформу, с другой — раскол.

В силу этого и школа, т. е. дело народного просвещения, из функции духовенства как общественного сословия стала государственным делом, школа в России с самого начала имела официальный государственный характер. Это определило и задачи, на нее возложенные: «школа с самого начала своего существования стала у нас вдвойне правительственной: по своему происхождению и по своему назначению».

Наконец, и общественная идеология в России оказалась государственного происхождения. Эта общественная идеология не имеет своих общественных традиций в прошлом. «Политическая идеология московской государственной программы скоро становится достоянием «народного сознания» и надолго переживает создавшую ее историческую обстановку»[1]. Отсюда общественное самосознание с его классовым содержанием и классовой обусловленностью его развития подменяется вопросом «русского национального самосознания», которое «могло развиться лишь на почве политического объединения русской национальности», т. е. имеет государственное происхождение и содержание.

Отсюда выводится и полный разрыв между интеллигенцией и народом и полная зависимость истории самосознания не от развития общественных отношений, а от внешних условий — развития государственной организации и влияния западноевропейской культуры. Поэтому и вся история «национального самосознания» получила у Милюкова в итоге абстрактный, внеисторический характер. Это —неизменно возобновляющаяся и повторяющаяся борьба двух начал — националистического и критического. В XVII в. — это национальная славянская идея, представленная Крижаничем; затем торжество «критического» начала в петровской европеизации. Тот же конфликт повторяется между Новиковым и Екатериной II, между Болтиным и Радищевым. Тема оборвалась на XVIII в., но автор подсказывает уже ее продолжение в XIX в. — в полемике между западниками и славянофилами; можно сказать, что она сохраняется и дальше в споре о свое-

[1] *Милюков*, Очерки, т. III, стр. 29.

образии русского исторического процесса или о единстве закономерности его развития.

В этой интерпретации вся идеологическая борьба лишается своего реального исторического содержания. Так, борьба Курбского с Грозным оказывается «не борьбой старого отживающего и нового нарождающегося порядка, а ...борьбой двух политических идеалов... за осуществление в будущем»[1]. С другой стороны, в XVIII в. Щербатов и Болтин оказываются в разных лагерях общественной идеологии, причем Щербатов попадает в либералы, а Болтин — в предшественники славянофилов.

Общая концепция и оценка Петра I

Развитие государственной схемы в общей концепции Милюкова получило особенно яркое выражение в приложении к узловой теме русской буржуазной историографии — к вопросу о Петровских реформах. В этом вопросе буржуазная историография повторяла путь, проделанный в свое время дворянской историографией. Переоценку петровской деятельности, начатую Ключевским, закончил идеолог буржуазии периода кризиса буржуазной системы Милюков. В этом была своя классовая закономерность. Перед лицом надвигающегося кризиса буржуазия боится не только революции снизу, но и коренной, решительной реформы, подобной Петровской реформе, превращенной прежней буржуазной историографией в «революцию сверху». Она хочет доказать бесплодность всякой насильственной ломки. Отсюда стремление снизить значение Петровских реформ и развенчать самого Петра.

Таким образом, и по этому конкретному вопросу решительно разошлись Павлов-Сильванский и Милюков.

В «Очерках по истории русской культуры» Милюков развернул эту проблему в плоскости идеологии. Бесплодность Петровской реформы коренится в ее отрыве от национальной почвы. Ее содержание исчерпывается чисто внешним, подражательным перенесением чуждого европейского начала. Павлов-Сильванский показал значение реформ Петра в их соответствии общественным запросам. По Милюкову, реформа была личным делом самого Петра, оставаясь чужой для современного ему общества и для народа. Отсюда и создавалось «впечатление, что Петр полный хозяин своей реформы», тогда как в этом личном начале источник «стихийного характера» всей реформы[2].

Непосредственным обоснованием этого тезиса явилось специальное исследование Милюкова «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII в. и реформа Петра Великого» (1892). Работа в целом представляет значительную ценность по обширности привлеченного исторического материала и тщательности его конкретной обработки. Однако и здесь сказались полностью те

[1] *Милюков*, Очерки, т. III, стр. 59.
[2] Там же, стр. 153, 167.

методологические приемы, которые Милюков пытался обосновать в «Очерках», и они-то позволили автору подвести к желательному для него выводу, несмотря на его явное противоречие с тем фактическим материалом, который им же приводится в тексте. Автор применил свой метод расчленения и распыления исторического материала. Он прежде всего оторвал административную реформу от всей системы Петровских реформ, а затем и административную реформу разбил на части по темам и хронологическим периодам: сперва «приказное хозяйство» в период 1692—1709 гг., затем губернское хозяйство в 1710—1718 гг., наконец, «коллежское хозяйство» в 1719—1725 гг. Но если Петр I и проводил свои реформы частями и отрывками в силу той сложной обстановки, в которой ему приходилось действовать, и если план реформы постепенно тоже изменялся, то нельзя все же отбрасывать факт разработки целого плана и притом при личном участии Петра и по его инициативе, о чем свидетельствуют те самые документы и факты, которые приводятся в тексте книги.

Самая постановка проблемы вела еще к другому искажению. Взяв своей темой административную реформу Петра, Милюков рассматривает ее, однако, не с точки зрения ее политического содержания [1], а только со стороны «хозяйственной», финансовой, тем самым разрывая внутреннее содержание реформы. Вместе с тем эта хозяйственная сторона реформы бралась в отрыве от всего содержания экономической и социальной политики Петра I.

Этим расчленением целого на части и распылением фактов автор и создавал то впечатление хаотичности и бесплановости реформы, которое он обобщил в своем заключении, отказав реформе в плане, а Петру в самой мысли о плане: мы имели, по Милюкову, «реформу без реформатора». «Стихийно подготовленная, коллективно обсужденная, эта реформа... только из вторых рук, случайными отрывками проникла в его сознание» [2].

Как и вся история русского государства, она определялась, по Милюкову, военными потребностями; война и в данном случае была основным рычагом и главной целью деятельности Петра. Для войны нужно было войско, для войска — финансы; все остальное было случайным, попутным. Поэтому-то и административная реформа взята Милюковым лишь со стороны ее «хозяйственного» содержания: не изучение определило общий вывод, а заранее данный вывод определил направление изучения.

Отсюда вытекал и последний итог: реформа была делом государства, и потому ничего не могла дать народу, кроме общего ра-

[1] Именно в этом разрезе взял ее М. М. Богословский в своей работе «Областная реформа» и потому смог показать в ней новое политическое содержание, связанное с идеями просвещенного абсолютизма.

[2] *Милюков*, Государственное хозяйство, изд. Станкевича, Спб. 1905, стр. 543.

зорения страны, ценою которого «Россия была возведена в ранг европейской державы».

В конечном итоге получался разрыв между конкретным материалом, данным в исследовании Милюкова, и теми выводами, к которым он хочет привести читателя, вопреки им же устанавливаемым реальным историческим фактам. При этом совершенно правильно показав вслед за Соловьевым корни Петровской реформы в XVII в., он фактически разорвал и последующие связи и снял вопрос о ее значении в дальнейшем развитии России XVIII в.

История идеологии и проблема историографии

Общая трактовка вопросов истории культуры в свою очередь получила свое отражение в специальной работе Милюкова по русской историографии — «Главные течения русской исторической мысли». Основной методологический порок Милюкова сказался и здесь. Идеология развивается в отрыве от реальной истории, от развития общественных отношений. Поэтому историческая мысль не связана с «общественным сознанием» своего времени и не является «отражением общественного бытия». Развитие исторической науки превратилось в изолированный и замкнутый логический ряд, в который только врывается время от времени идеологическая струя философских влияний Запада. Даже идеология такого историка, как Карамзин, с его резко выраженной политико-публицистической деятельностью, выводится не из общественных отношений его времени: ее источники оказываются «в обстоятельствах русской истории конца XV века».

Поэтому единственной общей идеей, проходящей через книгу Милюкова, является деление на западническое и национальное направление. На русских и немцев делятся историки XVIII в. Проблема западничества и славянофильства становится осью разделения историков XIX в.

Его статья, посвященная русской государственной школе и объединившая в своем рассмотрении Кавелина, Соловьева, Чичерина и Сергеевича, дает не развитие науки и системы исторических взглядов, даже не развитие исторических идей, а лишь схоластическое сопоставление последовательных изменений одной условной схемы.

Итоги

Вся методология Милюкова, вся трактовка исторического процесса направлена на подчинение исторической истины политическим интересам. В этом смысле ко всей методологии Милюкова применима характеристика, данная Лениным в его статье «Политические партии за 5 лет Третьей Думы»: «...он не видит» определенных фактов, «потому, что *не хочет* видеть»; так, «...русский либерал *не хочет* видеть своего отличия от русских демократов», ему «*выгодно*» не видеть этого отличия. Он обходит молчанием определенные факты, когда «...даже самое простое констатирование общеизвест-

ных фактов... противоречит *интересам* либерализма»[1]. Позитивистская методология превращается у Милюкова в неприкрытый субъективизм исторической интерпретации.

ГЛАВА 30

ПАВЛОВ-СИЛЬВАНСКИЙ

Основные сочинения Павлова-Сильванского: Феодализм в древней Руси, «Прибой», Птг. 1924. — Феодализм в удельной Руси. 1. Община и боярщина. 2. Феодальные учреждения, Спб. 1910. — Проекты реформ в записках современников Петра Великого. Опыт изучения русских проектов и неизданные их тексты, Спб. 1897. — Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства, Спб. 1898. — Закладничество-патронат. — Акты о посадских людях-закладчиках, Спб. 1909. — Очерки по русской истории XVIII—XIX вв.; в кн.: *Павлов-Сильванский, Н. П.*, Соч., т. II, Спб. 1910.

Основная историографическая литература: Краткие биографические сведения сообщены в предисловии к посмертному изданию книги «Феодализм в удельной Руси», Спб. 1910.— Феодализм в древней Руси, «Прибой», Птг. 1924. Предисловие М. Н. Покровского; перепечатано в кн.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, т. II, стр. 105—108. — *Владимирский-Буданов, М. Ф.*, Обзор истории русского права, изд. 6-е, Спб.—Киев 1909. — *Тарановский*, Феодализм в России.

Научные взгляды и деятельность Павлова-Сильванского

Николай Павлович Павлов-Сильванский (1869—1908) получил научную подготовку при Петербургском университете в конце 80-х — начале 90-х годов. Но его университетская карьера не была продолжительной, основные годы его научной работы связаны со службой в Государственном архиве. Лишь в 1907 г. он был избран на кафедру истории русского права на Высших курсах, но уже через год умер от холеры, не закончив своего главного труда по истории феодализма в России. Научная исследовательская работа Павлова-Сильванского не прерывалась с 1892 г., и его архивная работа также получила постепенно научное направление.

Характеризуя научные связи и истоки научных воззрений Павлова-Сильванского, составитель кратких биографических сведений о нем[2] выделил влияние социологической школы — Огюста Конта, Спенсера, Бокля, — ссылаясь на увлечение Павлова-Силь-

[1] *Ленин*, Политические партии за 5 лет Третьей Думы, Соч., т. XV, стр. 405—406.

[2] Речь идет о биографии, предпосланной изданию книги «Феодализм в удельной Руси».

ванского их работами в студенческие годы. Павлова-Сильванского связывает с социологическим направлением только общая идея исторической закономерности, но ему совершенно чужда та внешняя закономерность, состоящая в подчинении общественного развития внешнему фактору физических условий, которая так характерна и для Бокля и для Спенсера. В его позднейшей характеристике влияния Бокля на Соловьева звучит определенный элемент критики [1]. Очевидно, определяющие влияния надо искать не здесь.

В годы учения Павлова-Сильванского в Петербургском университете русская история была представлена двумя наиболее крупными учеными — К. Н. Бестужевым-Рюминым и В. И. Сергеевичем. Но судя по работам Павлова-Сильванского, Бестужев-Рюмин остался далек и чужд ему и по своей тематике и по своим историческим воззрениям. Зато его исследования по истории феодализма в России ярко отражают влияние на него юридической школы Сергеевича, от которой он берет, однако, прежде всего ее метод юридического исследования, представляющий наиболее сильную часть работы Сергеевича.

Идея внутренней закономерности, глубоко присущая всему научному мировоззрению Павлова-Сильванского и связывающая его с социологическим направлением, была совершенно чужда юридической школе. Некоторые указания на ее историографические корни дал он сам в своем историографическом очерке — в работе «Феодализм в древней Руси».

В центре развития русской исторической науки Павлов-Сильванский и в 1907 г. ставит Соловьева. Но при этом в Соловьеве он выделяет не государственную теорию, с которой связал его Ключевский и которую берет у него П. Н. Милюков, а глубокий историзм Соловьева, его стремление к раскрытию внутренней целостности и закономерности исторического развития. Поэтому для него, как в свое время для Чернышевского, с Соловьевым связывается Кавелин, а не Чичерин, как у Ключевского и Милюкова. Но отделяя Соловьева и от Кавелина, Павлов-Сильванский видит у Соловьева уже дальнейший вывод из этого общего положения, мысль, хотя еще неясную и несформулированную отчетливо, о единстве закономерности исторического развития России и Запада, и противопоставляет его теорию славянофильскому учению о самобытности исторического развития России. Через Соловьева Павлов-Сильванский связан и с исторической школой на Западе, его понимание феодализма сложилось под несомненным влиянием Гизо.

Следуя от Соловьева дальше и переходя к Ключевскому, Павлов-Сильванский и в Ключевском выделяет именно прогрессивную сторону его исторических взглядов, противопоставляя «Боярскую Думу» его «Курсу русской истории». Экономический и со-

[1] *Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, стр. 15—19.

циальный анализ вотчинного режима, по мнению Павлова-Сильванского, раскрывал, против воли самого автора, основы феодального строя в древней Руси. С этих же позиций он резко ополчается против исторической концепции Милюкова, против итогов исторической теории юридической школы, основную черту которой Павлов-Сильванский удачно подметил в своей характеристике концепции Милюкова как «теории контрастов».

Принципиальная позиция самого Павлова-Сильванского сказалась в его практической научной работе, прежде всего в самой проблематике его исследований. В центре его работы стоит изучение феодализма в России, поставленное им именно как проблема единства исторического развития России и Западной Европы, связывая его тем самым с одной из центральных проблем нового периода русской историографии. Работа над историей феодализма не прекращалась Павловым-Сильванским с 1897 г.

Вторая тема его исследований — история Петровских реформ, обращена к другой узловой проблеме истории России и связывает его с лучшими традициями русской буржуазной исторической науки. Она представляет в то же время следующий этап в сближении истории России с историей Западной Европы.

Его третья тема — история дворянской революционности в России—Радищев и декабристы. И здесь важна не только сама тема, но и характер ее постановки. Павлов-Сильванский восстанавливает идеологические связи революционности Радищева и декабристов с идеями буржуазной революции на Западе, общность ее идеологических корней на Западе и в России.

История феодализма в России

Приступив к разработке темы в 1897 г. и опубликовав с этого времени ряд специальных исследований, Павлов-Сильванский подвел первый итог своей работе в кратком очерке «Феодализм в древней Руси» (1907) и одновременно приступил к работе над большой монографией, оставшейся незаконченной и опубликованной после его смерти А. Е. Пресняковым [1].

В этом исследовании принято подчеркивать одну его сторону — связь с юридической школой. В истории феодализма автор изучает его правовую сторону — феодальные институты, юридические нормы, чтобы из этой суммы юридических норм притти к выводу о тожестве системы правовых отношений. С этой особенностью юридического подхода связана и недостаточная четкость в понимании развития самих институтов и их содержания, приводящая порой к формальному отожествлению явлений XIII—XVI вв. (характеристика общины-волости). С концепцией историко-государственной школы Западной Европы связано и то определение феодализма, из которого исходит Павлов-Сильванский, определяя

[1] *Павлов-Сильванский*, Феодализм в удельной Руси, Соч., т. III, Спб. 1910.

феодализм как соединение землевладения с политическим господством, с создающейся на этой основе иерархией власти.

Но остановиться на этом значит не понять существа взглядов Павлова-Сильванского, состоящего в том, что от этих внешних формальных элементов он идет к раскрытию внутреннего содержания самих общественных отношений.

Он расходится с юридической школой прежде всего в самом понимании исторического значения юридической нормы. Для юридической школы в законе, в правовом институте заключается все содержание исторического процесса, норма сама творит историю, создавая и организуя общественные отношения. Для Павлова-Сильванского юридическая норма лишь проявление общественных отношений, их последующее закрепление. Поэтому юридическая норма такой же источник для изучения общественных отношений, как понятие, переживающее в языке, как памятники быта или фольклора. Это положение развито в специальной статье «Символизм в древнем русском праве».

Отсюда вытекал и дальнейший вывод: не законы создают общественные отношения, а общественные отношения создают определяющие их юридические нормы, обычай складывается раньше закона, общество стоит впереди государства. Это было уже прямым опровержением юридической теории, государственной школы.

«Все основные учреждения древности, — так формулирует это положение Павлов-Сильванский,—...не создавались властью, а постепенно развивались»; «власть обыкновенно только закрепляла и оформляла обычное право» [1]. Таким образом, община-погост не была установлена княжеской властью; погосты древнее Ольги, говорит Павлов-Сильванский. Таким же образом и феодальная власть сеньера, система иммунитетных прав — «исконное право крупного землевладельца», а не результат королевского пожалования [2].

В этом понимании явлений за юридическими нормами и правовыми институтами уже выступает мысль об общественных отношениях. В своей последней, до известной степени завершающей работе Павлов-Сильванский и поставил проблему феодализма как проблему борьбы общины и боярщины.

Община представляется основой первоначального, дофеодального строя, она—конкретная историческая форма общественного строя. Автор отмежевывается и от превращения общины в формальное юридическое понятие, в продукт государственного законодательства; его полемика направлена против государственной теории Чичерина и против теории долевого землевладения Ефименко. Связав общину с древнейшими явлениями — мир, сотня,

[1] *Павлов-Сильванский*, Феодализм в удельной Руси, стр. 292—293.

[2] В самое последнее время этот вопрос был снова поднят в полемике между С. Б. Веселовским («Вотчинный режим») и А. Е. Пресняковым, в которой С. Б. Веселовский пытался вновь обосновать государственную теорию.

вервь, погост, он прослеживает ее судьбу вплоть до волостной организации XVI в. Община в понимании Павлова-Сильванского выступает как определенная стадия общественного развития и ставится в ряд с другими такими же явлениями: у западных славян — полицкая вервь, у древних германцев — марка. На тожество верви и марки указал уже Энгельс.

Боярщина — непосредственная основа и содержание феодального строя; в определении Павлова-Сильванского она уже выходит за рамки чисто юридического понимания. Его определение основных черт боярщины-сеньерии включает «соединение крупного землевладения с властью и с мелким хозяйством». Последняя часть определения вводит в систему общественных отношений, даваемую в характеристике феодально-зависимых отношений смерда, закупа, холопа на пашне. Источник этой зависимости—в насильственном захвате земли военно-служилой боярской верхушкой, в насильственном отчуждении общинных, волостных земель и закабалении сидящих на них свободных членов общины.

Торжество феодальной системы явилось не внешним установлением, не результатом извне идущего воздействия, а итогом длительного процесса внутренней борьбы боярщины с общиной, насильственного подчинения общины боярщиной. Здесь, в отличие от буржуазного экономизма, автор подходит к теории внеэкономического происхождения феодальной зависимости. Относя к XII в. начало феодального периода, Павлов-Сильванский на всем его протяжении прослеживает еще продолжающуюся упорную внутреннюю борьбу.

Общая концепция и периодизация русской истории

В этом понимании определение феодализма уже выходило за рамки одного исторического периода и рассматривалось как этап единого исторического процесса. Общую концепцию русской истории, в первом кратком наброске, Павлов-Сильванский дал в заключительной главе своей книги «Феодализм в древней Руси».

Русская история делится автором на три периода. Первый— до XII в. — характеризуется господством общины, или мирского строя. Второй период — с XIII до половины XVI в.: «центр тяжести отношений переходит от мира к боярщине», но и «мирское самоуправление сохраняется в ослабленном значении». «Наконец, в третьем периоде — XVI—XVIII и частью XIX вв.— основным учреждением является сословное государство». Три эпохи, подытоживает автор, определяются сменой трех учреждений: мира, боярщины, государства[1].

В этом определении снова на первый план как будто выступает юридическая схема с ее превращением истории общества в историю института, а самая трехчленная формула с ее завершением

[1] *Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, стр. 156—158.

в реализации государственного начала кажется лишь вариантом государственных схем, начинающихся с Эверса. Таким же отражением прошлого являются поворотные даты сменяющихся эпох— 1169 и 1565 годы, как очередной вариант к старым схемам. Но и здесь совпадение остается внешним, это — форма, которую автору так и не удается до конца преодолеть; в эту старую форму автор вложил, однако, новое содержание.

Определение начала второго периода 1169 годом — лишь механическое перенесение условной грани из схемы Соловьева. Характеризуя первый период господством общинного строя, Павлов-Сильванский отводит его начало в глубокую,—по его определению, «доисторическую»—древность, а жизнь общинного начала в недрах феодальной системы прослеживает на протяжении всего второго периода.

Старые схемы, однако, не дали ему возможности разглядеть то, что история боярщины начинается раньше указанного им периода,—еще в Киевской Руси; от государственной концепции осталось отожествление феодализма с удельным периодом политической раздробленности.

Характернее вторая намеченная Павловым-Сильванским грань, между вторым и третьим периодами,— 1565 год. Это уже не дата царствования, как в историографии XVIII в., а дата начала опричнины. Делая последовательный вывод из положений Соловьева, опираясь также на исследование С. Ф. Платонова, Павлов-Сильванский связывает опричнину с торжеством государства, т. е. самодержавия, в России. Он начинает с создания опричнины новый период и, снова подчеркивая тожество всего процесса исторического развития для России и для Запада, обозначает этот период термином «сословная монархия».

И здесь характерно определение отношения нового периода к старому. Как и при переходе ко второму периоду, старое не исчезает внезапно, а долго продолжает жить в системе нового. Определяя содержание этого периода, автор ясно отделяет политические отношения от социальных. В XVI в. у нас пал «политический феодализм»; роль Ивана Грозного тожественна с ролью Людовика XI во Франции. «Сеньериальное право крупных землевладельцев», т. е. социальная основа господствующего класса, осталось без изменения. И русское посадское общество этого периода подобно немецкому бюргерству.

С другой стороны, и идея сословности была, хотя не додуманным до конца, перенесением феодального начала в политический строй. Не случайно исследователь разошелся с Чичериным и Ключевским, и в московских земских соборах увидел учреждение, тожественное генеральным штатам феодальной Франции и ландтагам феодальной Германии.

Эта периодизация вносила существенное изменение и в другом направлении. Она явилась последовательным и обоснованным

самим автором изменением схемы Соловьева, давая принципиальную переоценку значения эпохи Петра I в общем ходе русской истории. Для Павлова-Сильванского эпоха Петра I не создает нового периода: «Идя дальше по пути Соловьева, мы можем теперь, на основании новых исследований о Петровской реформе, установить, что и европеизация, так же как норманны и монголы, не составляет основного явления нашего исторического развития»[1].

Третий период, в концепции Павлова-Сильванского, кончается вместе с крепостным правом. С 1861 г. начинается новый, последний период, которому принадлежит и его время. Автор указал его начало, но не определил его содержания.

Реформы Петра I в оценке Павлова-Сильванского

«Петровская реформа не перестроила заново старое здание, а дала ему новый фасад» — такова конечная оценка эпохи, данная автором. Отвергая ту переоценку Петровской эпохи, которую давала буржуазная историография предшествующего периода и которая нашла яркое выражение у Погодина и особенно у Соловьева, Павлов-Сильванский отнюдь не переходил к полному развенчанию Петра и его реформ, характерному для эпигонов буржуазной и мелкобуржуазной историографии и особенно ярко отразившемуся у его современника и антипода — Милюкова.

Эпохе Петра I посвящена его специальная работа «Проекты реформ в записках современников Петра Великого» (1897) и ряд специальных статей, собранных во втором томе его сочинений: «Граф П. А. Толстой», «Иван Тихонович Посошков», «Новое о Посошкове», «Мнения верховников о реформах Петра Великого».

В этих работах Павлов-Сильванский проводил одну основную идею: Петровские реформы отвечали требованиям своего времени, они стояли в полном соответствии с проектами и программами лучших представителей этой эпохи. При определенной условности в оценке отдельных проектов и в общем разделении их авторов на крайних западников, вроде Ф. Салтыкова, и «московских прогрессистов», как И. Т. Посошков, он приходит к совершенно правильному общему выводу, что в основных чертах программы тех и других совпадали и что с этими программами совпадали по своему содержанию и Петровские реформы. В этом совпадении он видит, однако, лишь свидетельство жизненности и прогрессивности самой деятельности Петра I и не думает, подобно Милюкову, подсовывать читателям мысль о простом заимствовании Петром отдельных идей этих «прожектеров» без собственного плана и системы.

Поэтому, отрицая в Петровских реформах наличие коренной ломки современной русской действительности, он признает за ними большое значение в общем развитии внутренних сил России, в организации средств для ее будущего развития. «Россия была

[1] *Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, стр. 156.

возведена в ранг Европейской державы ценою разорения страны»,— приводит Павлов-Сильванский слова Милюкова, и сам на это отвечает: «Преобразователь сознательно жертвовал настоящим для будущего» [1].

Отмечая последующие нарушения и изменения реформ Петра при его преемниках, автор и здесь остается на почве реальных фактов и не следует за крайними выводами тех историков, которые в этих изменениях готовы были увидеть полную ломку и упразднение всех результатов Петровских реформ. Напротив, Павлов-Сильванский подчеркивает их жизненность и прочность:

«Ожидания многих людей Западной Европы, ошибочно полагавших, что преобразования Петра были следствием одной личной воли Петра, что со смертью его все его нововведения будут отвергнуты, не оправдались. Новый порядок вещей в общем сохранился и развивался»[2].

И в основе этого вывода снова лежала, таким образом, та же общая идея, которую мы отмечали выше, которая ставила общество впереди государства и именно в связи с обществом и его запросами видело основу и утверждение всей исторической деятельности Петра I.

Общественное движение конца XVIII — начала XIX в.

Последней темой исторических исследований Павлова-Сильванского явилось общественное движение в России в конце XVIII и в начале XIX в. — Радищев и декабристы.

И эта последняя тема оказывается в тесной органической связи с его общей исторической концепцией. Середина XIX в. была переходом к новому, четвертому периоду в истории России. Павлов-Сильванский ни разу не назвал этот период буржуазным, но он связывал его начало с падением крепостного права и видел в крепостной системе основу социального содержания предшествующего периода. В Радищеве и декабристах он видел прежде всего борцов против крепостного строя, борцов против старой России, представителей идей французской буржуазной революции. Они стояли в преддверии нового исторического периода, представляли общественное движение, его подготовлявшее.

В сочинениях Радищева Павлов-Сильванский видел отражение идей французской просветительной литературы предреволюционного периода, отличающееся «глубоким проникновением в дух французской освободительной литературы и смелой самостоятельной критикой русской действительности». Деятельность Радищева была «борьбой с действительностью во всеоружии свободной мысли», «смелым великим бунтом против современности во имя естественных прав человечества»[3].

---

[1] *Павлов-Сильванский*, Мнения верховников о реформах Петра Великого, Соч., т. II, стр. 379.

[2] Там же, стр. 375.

[3] *Павлов-Сильванский*, Жизнь Радищева, стр. 101.

«Путешествие из Петербурга в Москву» было прежде всего ярким обличением крепостнического режима Екатерининской России с позиций французской буржуазной революции.

Продолжателями дела Радищева, носителями тех же революционных идей в начале XIX в. были декабристы. В своей статье о «Материалистах двадцатых годов» Павлов-Сильванский дал оценку движению декабристов как преемников Радищева, как преемников французского просветительства и французских материалистов. Идеология декабристов шла от «политических классиков XVIII в.» и от идей французской революции 1789 г. Эту революционность декабристов Павлов-Сильванский и выдвинул на первый план в противовес идеалистам 20-х годов с их увлечением Шеллингом и романтикой и отказом от политической борьбы.

«У нас в начале XIX в. декабристы стояли перед такою же стеною отживших учреждений, как французы перед революцией; там монархия опиралась на католичество, у нас самодержавие опиралось на православие. Их боевое отрицание направлено было одновременно против церкви и против самодержавия и рабства»[1].

В этом общественном движении он искал именно начало новой, пореформенной России, ее непосредственных предшественников. И свою характеристику идеологии декабристов, материалистов 20-х годов, он заключил указанием на связь их идей с новыми идеями 60-х годов, с новым материалистическим движением, получившим свое начало в философии Фейербаха, указанием на то, что «старый революционер-материалист 20-х годов», декабрист Горбачевский, через голову поколений протянул руку «новому нигилисту-революционеру» 60-х годов, подлинному герою романа Тургенева «Отцы и дети» — Базарову.

Общие итоги

Смерть оборвала деятельность Павлова-Сильванского именно тогда, когда он подошел уже к обобщению своей исследовательской работы, к реализации идеи исторического синтеза, данного им в основных чертах в его последней книге 1907 г. Но хотя он сам не успел свести все части своей работы в единую целостную систему, общий очерк его трудов показывает, что этот синтез был действительным итогом его большой научной работы, все части которой получали свое надлежащее место в намеченной им единой системе.

В своей исторической работе он шел от идей и положений буржуазной исторической науки, но пошел своим путем навстречу новым историческим идеям. Основное направление его работы определялось идеями закономерности исторического развития и обращалось к изучению развития общественных отношений, порывая тем самым с принципами современной ему буржуазной науки. Лично далекий и чуждый новому общественному движению и марксистской идеологии, он искал опоры в лучшем насле-

[1] *Павлов-Сильванский*, Соч., т. I, стр. 240.

дии буржуазной науки и обратился к прогрессивным сторонам исторических воззрений Соловьева. Но именно последовательное развитие этих сторон исторической мысли, — «идя дальше по пути Соловьева», по выражению самого Павлова-Сильванского, — должно было вывести его за рамки последовательной буржуазной системы исторических взглядов.

Из всех буржуазных историков этого периода только Павлов-Сильванский подошел к проблеме нового исторического синтеза, попытался дать реальные основы для ее разрешения, переходя к проблемам истории общественного развития.

Подводя итоги, лучше всего сопоставить Павлова-Сильванского и Милюкова. Идея единства закономерности лежит в основе взглядов первого, отрицание объективной закономерности определило концепцию второго. Развитие общественных форм лежит в основе исторического развития России и ее периодизации у Павлова-Сильванского, стихийная деятельность государства «искусственно и насильственно» направляет русскую историю у Милюкова. Развитию общественной мысли, истории общественного движения противопоставляется абстрактная смена идейных направлений. Решение проблемы русского феодализма, проблемы Петровских реформ, проблемы общественного движения эпохи французской революции 1789 г. дает повторение одного и того же диаметрального противоречия.

Павлов-Сильванский шел вперед за подлинным развитием исторической науки, Милюков тянул назад, как и вся буржуазная идеология.

ГЛАВА 31

ОТРАЖЕНИЕ МАРКСИЗМА В БУРЖУАЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. СТРУВЕ. ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ

Классики марксизма-ленинизма: *Ленин*, Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. (Отражение марксизма в буржуазной литературе). По поводу книги: П. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России, Спб. 1894, Соч., т. I, стр. 223—362. — *Его же*, Гонители земства и Аннибалы либерализма, Соч., т. IV, стр. 119—157. — *Его же*, Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения, Соч., т. IV, стр. 359—508. — *Его же*, Предисловие к сборнику «За 12 лет», Соч., т. XII, стр. 57—70. — *Его же*, О «Вехах», Соч., т. XIV, стр. 217—223. — *Его же*, Еще одно уничтожение социализма, Соч., т. XVII, стр. 261—279. — *Его же*, Письмо № 7. А. Н. Потресову в Орлов Вятской губернии. 27 июня 1899 г. (с. Шушенское), Соч., т. XXVIII, стр. 38—45.—*Его же*, Шаг вперед, два шага назад. Ответ Н. Ленина Розе Люксембург, Соч., т. XXX, стр. 88—97. — История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, Госполитиздат, 1941.

Основные сочинения: *Струве, П. Б.*, Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России, вып. 1, Спб. 1894. — *Его же*, Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России в XVIII и XIX вв., изд. Сабашниковых, М. 1913. — *Его же*, Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сб. статей за пять лет (1905—1910), изд. Жуковского, Спб. 1911; в частности: Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества, стр. 73—96; Отрывки о государстве, стр. 97—108; Размышления на политические темы: VIII. Русско-германские отношения, стр. 220—225; X. О «Вехах», стр. 228—232; XII. «Общественная реакция» или борьба с реакцией? Призыв к покаянию или призыв к собиранию сил? стр. 236—242; Два национализма, стр. 289—304; Интеллигенция и революция, стр. 339—361. — *Туган-Барановский, М.*, Русская фабрика в прошлом и настоящем, т. I, Историческое развитие русской фабрики в XIX веке, изд. 7-е, Соцэкгиз, М. 1938. — «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве, С. Л. Франка, изд. 2-е, М. 1909.

Основная историографическая литература: *Покровский, М. Н.*, Марксисты, которые... в сб.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 2, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 77—81.—*Его же*, Петр Струве, «Крепостное хозяйство»; в сб.: *Покровский, М. Н.*, Историческая наука и борьба классов, вып. 2, Соцэкгиз, М.—Л. 1933, стр. 82—86.

С легального марксизма исторически начинается «отражение марксизма в буржуазной литературе», в условиях обостряющихся классовых противоречий в конце XIX в. и назревания революционной ситуации, завершившейся буржуазно-демократической революцией 1905—1907 гг.

Легальный марксизм

Наиболее типичными представителями этого направления являются П. Б. Струве, М. Туган-Барановский и С. Булгаков. «Это были буржуазные демократы, для которых разрыв с народничеством означал переход от мещанского (или крестьянского) социализма не к пролетарскому социализму, как для нас, а к буржуазному либерализму»[1]. Они «...увлеклись марксизмом, как новой модой»[2], потому что «...марксистами становились повально все, марксистам льстили, за марксистами ухаживали»[3]. Это были «попутчики», «наездники», по выражению Ленина. Революционный марксизм использовал их как временных попутчиков на данном этапе против общего врага и как легальный путь борьбы и пропаганды идей марксизма, хотя бы в урезанном виде и «эзоповским языком».

От марксизма представители этого направления брали положение о неизбежности и прогрессивности капиталистического развития России. Но то, что для марксистов было этапом в истори-

[1] *Ленин*, За 12 лет, т. XII, стр. 57.
[2] *Ленин*, Шаг вперед, два шага назад, т. XXX, стр. 92.
[3] *Ленин*, Что делать? т. IV, стр. 373.

ческом развитии, то для легальных марксистов было конечной целью. Обоснование экономической необходимости развития капитализма связывало их больше с экономическим материализмом, чем с марксизмом. Но и от экономического материализма их теория отличалась тем, что принцип экономической обусловленности распространялся ими только на экономический строй, общественные и политические отношения в их представлении развиваются самостоятельно. Легальные марксисты исключали вопрос о преодолении настоящего, тем самым лишали марксизм его действенного начала, его классового содержания, «...опошляя марксизм, проповедуя теорию притупления социальных противоречий,объявляя нелепостью идею социальной революции и диктатуры пролетариата, сводя рабочее движение и классовую борьбу к узкому трэд-юнионизму и «реалистической» борьбе за мелкие, постепенные реформы... это означало на практике стремление превратить начинающееся рабочее движение в хвост либералов»[1]. В духе буржуазного либерализма легальный марксизм и строил свою политическую программу соглашения с самодержавием на базе буржуазных реформ.

В исторической теории легального марксизма оказывались две отдельные проблемы, по существу оторванные одна от другой: проблема экономического развития и проблема государства. Это было воспроизведением на новой основе старого дуализма народа и государства в историографии. Эти две линии объединялись в легальном марксизме одной идейной установкой — стремлением к укреплению и сохранению буржуазного порядка вещей.

«Из учения Маркса, — говорится в «Кратком курсе истории ВКП(б)», — они выбрасывали самое главное — учение о пролетарской революции, о диктатуре пролетариата. Виднейший легальный марксист Петр Струве восхвалял буржуазию и вместо революционной борьбы против капитализма, — призывал «признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму»[2].

Рост пролетарской борьбы сделал неизбежным разрыв между революционным и легальным марксизмом. Легальные марксисты в России с особенной быстротой перешли к критике марксизма и к открытой буржуазной апологетике. Теоретически они стали на позиции неокантианства, практически превратились в идеологов буржуазного либерализма, а затем скатились к белогвардейской контрреволюции.

Самым крупным представителем этого направления является П. Б. Струве. Выступавший как главный теоретик и идеолог этого направления, он наиболее полно отразил и всю его эволюцию — от формальной принадлежности к социал-демократии

[1] *Ленин*, Что делать? т. IV, стр. 374—375.
[2] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 22.

в 90-е годы до крайнего буржуазного национализма после революции 1905 г.

Такой же путь прошел и другой «теоретик» легального марксизма, историк русской фабрики М. И. Туган-Барановский.

Струве о капиталистическом развитии России

Свою экономическую теорию Струве развил в 1894 г. в полемике с народничеством, в «Критических заметках к вопросу об экономическом развитии России», подвергнутых Лениным критическому разбору в статье «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве». В своем экономическом обосновании капиталистического развития Струве брал «экономическое вне социального», как механическую закономерность экономического прогресса. Поэтому он отводил определяющую роль не производственным отношениям, а обмену, капитализм отожествлял с товарным хозяйством, его развитие связывал с расширением рынка и рыночного оборота, а его «материальные условия» видел в развитии путей сообщения. Таким образом, конечным условием торжества капитализма оказалось распространение парового транспорта.

Струве снимал при этом внутреннюю антагонистичность капиталистического строя как движущую силу дальнейшего исторического развития. В характеристике капитализма он отвергал его основное классовое противоречие и в связи с этим устранял противопоставление национального богатства и народного благосостояния. В полемике с народниками он приходил к утверждению благодетельности капитализма и для крестьянства и вообще для народной массы, к отрицанию ее разорения растущим крупным капиталистическим предпринимательством, т. е. к отрицанию основного положения марксизма о классовых противоречиях капитализма. Противоречие капитализма оказывалось только противоречием экономического порядка и разрешалось в экономике капитализма, создававшего материальную базу дальнейшего развития, подготовлявшего своим собственным развитием выравнивание общественного неравенства. Это была теория «врастания в социализм», отбрасывавшая классовую борьбу и сводившая вопрос к простому «...*констатированию наличности* тех или других (капиталистических) порядков...» [1]

«Объективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения. Объективист говорит о «непреодолимых исторических тенденциях»; материалист говорит о том классе, который «заведует» данным экономическим порядком, создавая такие-то формы противодействия других классов»[2],— так характеризовал Ленин сущность «объективизма» Струве.

[1] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 294.
[2] Там же, стр. 275—276.

Сняв классовую борьбу и социальную характеристику общественно-экономической формации, Струве тем самым разрывал связь между государством и «экономической структурой» общества. Государство из организации классового господства превращалось им в «организацию порядка»[1]. Этим открывался путь к решению государственных, политических вопросов вне классовой борьбы, обосновывалась буржуазно-либеральная политика.

Ленин и определил книгу Струве, как «буржуазную литературу». Она была началом ревизии экономического учения Маркса, того «критического направления» против марксистской «догмы», которое открывало путь для перехода к открытому либерализму.

В 1899 г. в статье «К вопросу о рынках при капиталистическом производстве»[2] Струве пытался подвести под эту ревизию методологическое обоснование в принципиальном противопоставлении «экономических» и «социологических» категорий, в подчинении марксистского учения неокантианской «критике понятий» с ее схоластическими дефинициями.

Наконец, в 1901 г., в предисловии к записке Витте «Самодержавие и земство» Струве развернул и политические выводы своей концепции[3]. Они заключались в отрицании реальной классовой борьбы, в отрицании роста революционного движения. Вместо этого выдвигалась идея государственной реформы сверху по образцу реформы 60-х годов, идея буржуазного государства, организующего общество. Ленин, давая характеристику этой политической позиции, писал: «*Делать* «великие события» вы, очевидно, не хотите, а хотите только разговаривать о «тени великих событий», да и разговаривать-то с одними «лицами, имеющими доступ к престолу»[4].

Крепостное хозяйство и реформа в освещении Струве

Исторические выводы из своей концепции и вместе с тем ее историческое обоснование Струве попытался дать решением проблемы генезиса и развития капиталистических отношений в России.

Работа Струве «Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России в XVIII и XIX вв.» была издана в 1913 г., но, по собственному замечанию автора, представляет обработку его доклада 1899 г. и научных разработок 1900—1901 гг.

В указанной работе Струве проходят две в известной мере противоположные логические тенденции.

Одна из них исходит из идеи «врастания» одной экономической формации в другую, крепостного хозяйства в капитализм. Теория

---

[1] *Струве*, Критические заметки, стр. 53.

[2] «Научное обозрение», 1899, № 1.

[3] Его разбор дан Лениным в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма», Соч., т. IV; особенно раздел V, стр. 143—151.

[4] *Ленин*, Соч., т. IV, стр. 149.

крепостного хозяйства как носителя торгового капитала и начала первоначального накопления, развитая Рожковым, идет от Струве. Крепостное хозяйство с его системой крепостнической эксплоатации оказывалось, по Струве, не тормозом, а двигателем исторического прогресса; противоречие крепостной системы—не классовое, а экономическое; это противоречие между помещичьим и крестьянским хозяйством, причем прогрессивная роль приписывалась первому. «Крепостное помещичье хозяйство было денежно-хозяйственным клином, глубоко вбитым в натурально-хозяйственное тело страны» [1].

Этим «натурально-хозяйственным телом» было русское крестьянство: «русский крестьянин-земледелец — плохой сельскохозяйственный предприниматель», в силу исторически сложившейся «неподготовленности русского крестьянина-земледельца к товарному производству» [2]. Таким образом, натуральное хозяйство из характеристики крепостной системы превращалось в характеристику одного крестьянского сектора хозяйства. Поэтому крестьянская реформа, взятая сама по себе, т. е. освобождение крестьян от помещичьего гнета, по утверждению Струве, «начало бы в нашей истории период натурально-хозяйственной реакции».

Приняв эту основную посылку, автор получал своеобразную мерку для оценки отдельных явлений русской истории. Факты экономики и экономической политики должны были рассматриваться не с общей позиции экономического и социального прогресса в народнохозяйственном масштабе, а с точки зрения интересов помещичьего хозяйства, которое было объявлено единственным представителем народнохозяйственного прогресса. Такова, например, характеристика барщинной и оброчной системы: с позиций помещичьего хозяйства автор освещает экономические преимущества барщины, игнорируя экономический и социальный смысл расслоения крестьянства, с которым была связана оброчная система. Барщинное хозяйство характеризуется, как «экономически более стройная и поэтому более выгодная организация»; как крупное товарное хозяйство с рыночными связями.

Вся эта концепция замыкалась в логическом кругу отношений крепостного хозяйства к рынку.

Крепостное хозяйство оказывалось своего рода регулятором сельскохозяйственного рынка: при низком уровне денежных затрат оно становилось своеобразным клапаном, спасавшим чрезвычайно узкий рынок сельскохозяйственных продуктов от опасного переполнения в годы обильных урожаев. Этим вводился дополнительный момент в общую характеристику крепостного хозяйства: Струве объявлял его наиболее прогрессивной

[1] *Струве*, Крепостное хозяйство, стр. 159.
[2] Там же, стр. 83 и 98.

формой товарного хозяйства в условиях узости рынка дореформенного периода.

При этом верный своей первоначальной концепции, подчинявшей производственные отношения отношениям обмена, Струве не понимал, что узость рынка создавалась господством крепостнической системы, задерживавшей капиталистическую эволюцию крестьянства, создание сельского рынка. Напротив, ликвидация крепостнических пережитков ставилась им в зависимость от предварительного расширения сельскохозяйственного рынка. Спасительным фактором этого расширения явилось железнодорожное строительство, начавшееся в середине XIX в.; оно-то и спасло, по Струве, от той «натурально-хозяйственной реакции», которой угрожала России реформа 1861 г.

В этой экономической причине, а не в кризисе самого крепостного хозяйства, видит Струве источник и действительную предпосылку реформы.

Здесь выступала вторая сторона, второе положение его концепции: «Крепостное хозяйство, как таковое, экономически не созрело к своей отмене в 1861 г.» [1]

И это было в сущности ответом на вопрос, поставленный Лениным в его работе «Развитие капитализма в России», только ответом с других позиций. Ленин тоже указывал на переживание крепостнического уклада после реформы в системе отработок. Но Ленин раскрыл исторические предпосылки этого явления в классовой политике реформы, в ее «крепостническом» характере, тормозившем ликвидацию отживших экономических форм. Струве, напротив, утверждал этим экономическую жизненность самой крепостной системы: «крепостное хозяйство было «ликвидировано» в момент своего расцвета» [2]. Даже огромная задолженность крепостного хозяйства перед реформой объявляется свидетельством этого расцвета, потребностью в расширении капиталовложений, несмотря на прямые данные о непроизводительном, потребительском использовании денежных займов помещиками.

Поэтому реформа рассматривается как искусственный акт сверху; поэтому реформа и не могла, по Струве, реально ликвидировать крепостное хозяйство. «Отсюда — тот факт, что вся аграрная экономика пореформенной России носит на себе черты крепостного хозяйства», которое «всей последующей аграрной эволюцией нашей страны... доказало свою живучесть». Отсюда «реформа 19 февраля... не столько подвела итоги прошлого и настоящего, сколько учла будущее, правда, будущее очень близкое».

Эта характеристика реформы имела свой политический смысл. Ленинский анализ реформы вскрыл ее буржуазный характер,

---

[1] *Струве*, Крепостное хозяйство, стр. 154.
[2] Там же.

раскрывая в то же время в сохранении крепостнических пережитков противоречия капиталистического общества, разрешаемые революционной борьбой рабочего класса. Идеолог капитализма Струве перед лицом растущей революционной борьбы рабочего класса хочет доказать, что капитализм в России дело не настоящего, а только будущего, что поэтому существует лишь противоречие между капиталистической и крепостной системами и нет исторической почвы для классовой борьбы пролетариата. Существующие противоречия объясняются не социальными, а экономическими противоречиями; они (например, перенаселение) продукт неликвидированного еще крепостного хозяйства, а не нового, капиталистического строя.

Чем острее исторические противоречия, тем дальше отступает назад в своих выводах буржуазная историческая мысль. Милюков отрекался от Петровских реформ, противопоставляя им медленное органическое вызревание реформ 60-х годов. Струве отрекается уже и от реформ 60-х годов: «Факты показывают, что тут не было того экономического разрыва, который предполагался большинством наших исследователей пореформенного хозяйства» [1].

В этих рассуждениях Струве выступала еще одна характерная черта — дальнейшее усиление роли государства. Уже в упомянутой статье 1901 г. Струве выступал с апологией реформы 1861 г. как акта государственной политики. В новой интерпретации реформы государство выступало ее фактическим творцом, создателем будущего капиталистического развития русского общества. Экономическая теория Струве все ближе подходила к государственной теории юридической школы. Революция 1905 г. привела к завершению логической эволюции системы.

Апология государства

За революцией 1905—1907 гг., показавшей руководящую роль пролетариата в революционной борьбе и его идейно-политическую вооруженность, определился факт «...*полнейшего разрыва* русского кадетизма и русского либерализма вообще с русским освободительным движением, со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями»[2]. Это бегство от народной революции под защиту власти с крайней откровенностью высказал в «Вехах» один из представителей «либерального ренегатства», М. О. Гершензон: «Каковы мы есть, — нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной» [3].

Апологией государства, несмотря на формальное отмежевание от слишком откровенного признания Гершензона, явилась вся

---

[1] *Струве*, Крепостное хозяйство, стр. 159.
[2] *Ленин*, О «Вехах», Соч., т. XIV, стр. 217.
[3] Сб. «Вехи», стр. 89.

публицистика Струве с 1908 г. Государство выступает уже не как «организация порядка», не как «орудие упорядочения общежития» или «средство рационального распорядка общественной жизни», а как «нерациональное и сверхразумное» начало «властвования одних над другими».

«Государство есть существо мистическое. Констатирование этого факта, однако, не только не мистично, а в высшей степени позитивно. Мы не желаем сейчас спорить о том, хорошо или худо государство. Но оно таково, и это факт» [1]. Такова государственная философия Струве. Освобожденное от схоластических определений, положение о «мистическом» характере происхождения государства означало его полное освобождение от социально-экономической обусловленности, утверждение его надклассовости; оно утверждало его «позитивность» как реальной действующей силы в истории. Это и было идейной сущностью государственной теории, только переведенной в другие термины.

Струве и выступает «истинным сторонником государственности», созидания мощи государства. В программе внешней политики это выливается в националистическую и великодержавную идеологию борьбы за международное господство, в идеологию «великой России» в духе столыпинской программы. Во внутренней политике, в отношении общества и государства, это выражается в требовании «подчинить народную жизнь началу дисциплины, основному условию государственной мощи» [2].

С этой точки зрения политическая история России в духе той же государственной школы превращалась в борьбу государства с анархическим началом, — такова далеко не новая идея «философии русской истории», изложенной Струве в статье «Интеллигенция и революция» в сборнике «Вехи» [3].

Вся история политической борьбы в России, начиная с «революции конца XVI и начала XVII в.», представляется такой постоянной борьбой государственного и анархического начала. В XVII и XVIII вв. это анархическое и противогосударственное начало было представлено казачеством, которое и несет вину за разрыв народа с государством. В «смуте» победило «государственное и национальное начало», а не «взбунтовавшиеся низы».

С середины XIX в. место казачества заняла интеллигенция, она «в политическом смысле приходит ему на смену, становится его преемником». Ее порок — в отрицании государства: «в безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции».

Все вопросы русской истории разрешались и должны разрешаться государством. «Консервативные общественные силы, способ-

[1] *Струве*, Отрывки о государстве, сб. «Patriotica», стр. 98 и 100.

[2] См. сб. «Patriotica»; особенно статьи «Великая Россия» и «Два национализма».

[3] Перепечатана в сб. «Patriotica».

ные на государственное строительство», спасли Россию в XVII в. от польской интервенции. Государство в 1861 г. своей реформой подготовило будущее развитие русского капитализма. Государственный акт 17 октября осуществил «коренное преобразование сложившегося веками политического строя России»; «по существу и формально» им завершалась революция 1905 г. Точно так же: «социализм, разлагаясь, поглощается социальной политикой. Бентам победил Сен-Симона и Маркса».

Если реакция против марксизма в своих практических выводах превращалась в возрождение государственной теории и в сближение с эпигонами правого гегельянства, то в своих общих философских предпосылках она обращалась к мистическому идеализму шеллингианства и его российского воплощения в славянофильстве.

Струве сделал попытку своеобразного совмещения обоих начал: анархичность интеллигенции коренится в ее «безрелигиозности». Его противопоставление «проблемы воспитания» в политике и в социальном строительстве и «внешнего устроения жизни» было своеобразным возрождением теории К. Аксакова о разделении «внутренней правды» народной жизни и «внешней правды» государственного закона, только с приматом государства над народом. С той же точки зрения «внутренней правды» противопоставлял он религиозное начало личного самоусовершенствования «внешней правде» социалистического учения. Однако у Струве еще преобладает государственное начало; он ближе к государственной школе западников.

Религиозно-мистическое начало было подлинной идеологической основой «Вех».

История русского капитализма по Туган-Барановскому

Ревизию марксизма в рамках экономической теории и истории представляла история развития русского капитализма, данная Туган-Барановским в работе «Русская фабрика в ее прошлом и настоящем».

Свои методологические позиции он определил до известной меры уже в статьях: «Значение экономического фактора в истории» (1895) и «Основная ошибка абстрактной теории капитализма Маркса» (1899). Подобно Струве, он шел по линии противопоставления экономических и социальных категорий.

Его учение о рынках и теория народнохозяйственных кризисов наглядно вскрывают классовые основы его экономических взглядов, «экономизм», как основу его исторической концепции. Кризисы для него не продукт анархии капиталистического производства, а закономерно возникающий побочный продукт капиталистического развития, экономического прогресса. Кризис — результат временного превышения предложения над спросом, разрешаемый каждый раз новым расширением рынка, совершающимся в известной мере автоматически, механически, самым ростом капиталистического производства. Противоречия капиталистического общества оказы-

вались не социальными, а экономическими и разрешались также экономическими средствами. Подобно Струве, он отрицал и противопоставление национального богатства и народного благополучия в развитии капитализма, отрицал классовые противоречия капиталистического общества. История развития капитализма превращалась Туган-Барановским в своеобразное саморазвитие капитализма как экономической системы.

Эта теоретическая позиция отразилась и в конкретном рассмотрении истории русской фабрики.

Характерна сама постановка вопроса. История русской фабрики, т. е. развитие капиталистической промышленности, берется Туганом-Барановским в сущности вне общей проблемы развития капитализма, как это сделал Ленин. В представлении Туган-Барановского речь идет о процессе постепенного расширения и укрепления фабрики, которая уже с Петра I выступает как капиталистическое предприятие. Отсюда возникает крайняя условность и неясность в отношениях этой капиталистической мануфактуры к господствующей системе крепостного хозяйства. С одной стороны, в прямой антитезе народникам Туган-Барановский выдвинул тезис об экономической подготовленности, о созревших условиях для возникновения капиталистического предприятия уже при Петре I, тем самым впадая в противоречие с собственным тезисом о медленности капиталистического развития даже во второй половине XIX в. С другой стороны, противоречия крепостной эпохи оказываются противоречиями между верхушечными классами в борьбе за экономическое господство, прежде всего в промышленности. Вместе с тем весь процесс социального развития оказывается процессом борьбы рабочих с крепостническими отношениями, хотя бы и в борьбе рабочих с крепостником-фабрикантом. Поэтому, по Тугану-Барановскому, для рабочего речь идет не о классовой борьбе с предпринимателями-капиталистами, а о постепенном освобождении от крепостнических пут, от связи с землей.

Борьба с крепостником была социальной и политической борьбой; поэтому ее в конечном счете решило государство сверху. Уже при Петре I «на сцену... выступил новый фактор — государство»[1].

Реформа устранила крепостника и расчистила путь капиталистической фабрике. Дальнейшее развитие капитализма оказывается делом самого капитализма. На вопрос, что вызывает отсталость в истории России, задержку роста нашего капитализма, Туган-Барановский отвечал почти тавтологически: «Если бы требовалось ответить на этот вопрос в двух словах, я бы ответил: русская некультурность. Капитализм несет с собой культуру, но он и предполагает культуру» [2]. Туган-Барановский, в конце

[1] *Туган-Барановский*, Русская фабрика, стр. 15.
[2] Там же, стр. 303.

90-х годов формально повторяя слова Чернышевского конца 60-х годов о русском «азиатстве», игнорирует значительное усложнение всех отношений в России. Но в то же время, ссылаясь на быстрое распространение просвещения среди рабочих, попадающих в город, на предприятие, он усматривает в этом гарантию быстрой ликвидации некультурности силой самого капиталистического развития.

Капитализм оказывается, таким образом, безотносительно общенациональным делом в изображении Туган-Барановского. «Классовое течение, враждебное протекционизму и фабрике... могло исходить только от аграрного класса» [1]. Ростом национализма, в смысле политики национальных интересов, а не влиянием «чисто классовых интересов фабрикантов» объясняется и поворот торгово-промышленной политики в 80-е годы [2].

Таким образом, и здесь «констатирование наличности факта» заменило раскрытие действительной внутренней закономерности исторического развития, чтобы превратиться в апологию существующего капиталистического строя.

Дальнейшая эволюция Туган-Барановского повторила путь развития его ближайшего соратника Струве. Но по своему содержанию она принадлежит уже истории или политической экономии, а не историографии.

ГЛАВА 32

ПЛЕХАНОВ. МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ. «МЕНЬШЕВИСТСКИЙ ПЯТИТОМНИК»

Основные сочинения Плеханова: Социализм и политическая борьба. Наши разногласия, Госполитиздат, М. 1939. — Наши разногласия; в кн.: *Плеханов, Г. В.*, Социализм и политическая борьба. — Русский рабочий в революционном движении, Росс. соц.-демокр. рабочая партия, тип. «Искры», 1902; в Собр. соч., т. III, стр. 121—205.—Политические задачи русских социалистов, «Социалист» № 1, Женева, июнь 1889; в Собр. соч., т. III, стр. 83—95.—Н. Г. Чернышевский, Соч., т. V (б. г.).— История русской общественной мысли, кн. 1—3, М.—Л. 1925.—Пессимизм как отражение экономической действительности (Пессимизм П. Я. Чаадаева); в Собр. соч., т. X, стр. 133—162.—Судьбы русской критики. Белинский и разумная действительность. Литературные взгляды В. Г. Белинского; в Собр. соч., т. X, стр. 199—304.—В. Г. Белинский (Речь, произнесенная весною 1898 г. по случаю пятидесятилетия со дня смерти Белинского на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне); в Собр. соч., т. X, стр. 317—349.—

[1] *Туган-Барановский*, Русская фабрика, стр. 441.
[2] Там же, стр. 443.

Западники и славянофилы, Соч., т. XXIII; особенно статьи: П. Я. Чаадаев; М. П. Погодин и борьба классов; И. В. Киреевский; Виссарион Григорьевич Белинский; О Белинском; А. И. Герцен и крепостное право; Философские взгляды А. И. Герцена.—Общественное движение в России в начале XX века, под ред. П. Мартова, П. Маслова и А. Потресова, т. I—V, Спб. 1909—1911; т. I: Предвестники и основные причины движения; т. II, ч. 1 и 2: а) Международное положение России перед революцией; в) Массовое движение; с) Главнейшие моменты в истории русского марксизма; т. III, кн. 5: Партии — их состав, развитие и проявление в массовом движении, на выборах и в Думе; т. IV, ч. 1 и 2 (кн. 6 и 7): а) Изменения экономического и политического строя; б) Международные отношения; в) Национальные движения; г) Общественное движение в Финляндии; т. V, кн. 8: Эволюция идей. Заключение.

Основная литература: «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)». Краткий курс, под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), Госполитиздат, М. 1941. — *Покровский, М. Н.*, Борьба классов и русская историческая литература; в кн.: «Историческая наука и борьба классов», вып. 1, стр. 7—100.

Плеханов и русская историческая наука

Если «легальный марксизм» с самого начала представлял не более как «отражение марксизма в буржуазной литературе», то в лице Плеханова мы имеем первого представителя марксизма в России, который в своих работах 80—90-х годов «...развил и обосновал точку зрения марксистского материализма». «...Плеханов написал ряд марксистских работ, на которых учились и воспитывались марксисты в России»; «Плеханов первый дал марксистскую критику ошибочных взглядов народников», — так определил значение ранних работ Плеханова «Краткий курс истории ВКП(б)»[1]. Этим определилось принципиально отличное место Плеханова в истории русской общественной и научной мысли.

Однако те «ошибочные взгляды Плеханова», которые, по определению «Краткого курса истории ВКП(б)», «были зародышем его будущих меньшевистских взглядов», как раз полнее всего сказались на его исторических взглядах, оказавшихся с самого начала в противоречии с основными принципами исторического материализма. В своих исторических работах Плеханов с самого начала не сумел преодолеть зависимость от буржуазной историографии и ее методологии, и это открывало путь тем мелкобуржуазным тенденциям, которые получили полное развитие в исторических работах Плеханова-меньшевика. При этом самые попытки исторического обобщения, построения своего рода философии русской истории относятся уже к последнему, меньшевистскому периоду его деятельности. Но естественно возникает вопрос о корнях его

[1] «История ВКП (б)». Краткий курс, стр. 13—15.

последующей эволюции, об элементах, связывающих его конечные выводы с его исходными позициями.

Георгий Валентинович Плеханов (1856—1918), связанный сперва с народничеством, порвал с ним к началу 80-х годов и стал на марксистские позиции.

Два момента определили эту эволюцию Плеханова. В 1876 г. Плеханов впервые столкнулся практически с началом революционной пролетарской борьбы; в этом отношении его очерк «Русский рабочий в революционном движении» имеет автобиографическое значение. Практика революционной пролетарской борьбы привела Плеханова к теории марксизма, знакомство с учением Маркса и Энгельса дало теоретическое обоснование этим новым фактам. Плеханов в 80—90-е годы, пропагандируя теорию марксизма, обосновывал практику революционной пролетарской борьбы в России.

Ленин в своей работе «Что такое «друзья народа» указывал на заслуги Плеханова в борьбе с народничеством и в установлении капиталистического пути развития России как общей закономерности ее исторического развития. Плеханов был создателем первой русской марксистской организации — группы «Освобождения труда»—и автором первого проекта программы русских социал-демократов.

В борьбе с народничеством, с его теорией «самобытности» в русской истории, особого пути исторического развития России, Плеханов уже в работе 1884 г.—«Наши разногласия»—показал не только неизбежность капиталистического развития России, он показал, как говорит Ленин, что фактически «...Россия *вступила* на капиталистический путь»[1]. Глава вторая — «Капитализм в России»— показывала на цифрах и фактах разложение русской общины, капиталистическую эволюцию кустарной промышленности, развитие капиталистической фабрики и товарно-денежных отношений в России во второй половине XIX в.

Торжество капиталистических отношений в России утверждало тожество исторического развития России и Западной Европы, с вытекающими отсюда выводами в отношении понимания всего русского исторического процесса. Научную теорию единства закономерности исторического процесса Плеханов нашел в трудах Маркса и Энгельса. Ее систематическое изложение он дал в работе «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895).

Революционная борьба пролетариата была другим историческим фактом русской действительности, значение которого впервые было раскрыто Плехановым в его работах этого периода. В очерке «Русский рабочий в революционном движении» (1890) Плеханов уже подводил некоторые исторические итоги первому периоду этой борьбы.

[1] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 106.

В этой же связи подошел Плеханов в 90-е годы к общей проблеме истории революционного движения в России в его внутреннем развитии.

Утверждение нового этапа в истории революционной борьбы, связанного с выступлением рабочего класса, привело Плеханова именно в этот период и в отношении ее предшествующей истории к элементам классового анализа, отсутствие которого резко сказалось в его работах последнего периода. Эти черты полнее всего сказались в его статьях 90-х годов, посвященных декабристам, Чаадаеву, Белинскому[1].

В этих статьях, особенно в статье «14-е декабря» (1890), Плеханов намечает основные этапы в развитии русского революционного движения XIX в. Первый этап он связывает с Радищевым. «В лице Радищева мы, — пишет Плеханов, — может быть, впервые встречаемся с убежденным и последовательным русским революционером из «интеллигенции»[2].

Второй этап — декабристы; но их слабость в их дворянской принадлежности: «...*у них не было* поддержки со стороны народа»[3]. С Белинским вступает в историю революционер-разночинец[4]. 70-е годы начинают пролетарский период революционной борьбы в России.

Но уже и в этот период Плеханов недооценивает революционную роль крестьянства, переоценивая либеральную буржуазию. «Эти ошибочные взгляды Плеханова были зародышем его будущих меньшевистских взглядов»[5].

Эти ошибочные взгляды Плеханова на современность находились в связи с его историческими взглядами.

Ленинский анализ русского капитализма был тесно связан с раскрытием его генезиса, его развития, и именно в этом историческом рассмотрении анализ экономической и социальной сущности современности становился на твердую научную базу, способствуя четкой и безошибочной оценке реальной расстановки классовых сил в России конца XIX в.

Плеханов шел не от анализа исторического процесса развития России в целом, а от констатирования факта наличности капитализма в России на данном этапе. Он видел ближайшее направление исторического процесса в окончательном развитии капиталистических отношений и в вызревании революционной силы пролетариата. Но он не видел всех тех сил, которые привели настоящее общество на смену прошлому, не видел и того прошлого, которое продолжало жить рядом с настоящим, и его внутренних противоречий, а значит не видел всего настоящего в единстве его внутрен-

[1] См. *Плеханов*, Соч., т. X.
[2] Там же, стр. 357.
[3] Там же, стр. 372.
[4] См. *Плеханов*, В. Г. Белинский. Речь весной 1898 года, Соч., т. X.
[5] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 17.

них противоречий. Это значило, что в изучении конкретных общественных отношений у Плеханова выпадало основное звено марксистского учения об обществе — общественно-экономическая формация; Плеханов в своей трактовке фактически сводил общество к одному началу.

Именно поэтому он не видел, что борьба с помещиком и с пережитками крепостничества идет параллельно с борьбой внутри капиталистической системы, не видел и того, что в этой второй борьбе революционной силой являлось именно крестьянство, естественный союзник рабочего класса в предстоящей борьбе. Может быть, здесь сказалась также невольная реакция на прежние народнические увлечения.

Это непонимание прошлого, игнорирование классовой революционной борьбы в России сказалось уже в одной из ранних работ Плеханова, в статье о Чернышевском, относящейся к 1889—1891 гг. В этой статье Плеханов отрицает существование классового революционного движения в России до выступлений рабочего класса в 70-е годы: «Вплоть до конца семидесятых годов история русского революционного движения была по преимуществу историей борьбы этого слоя населения (разночинной интеллигенции. — *Н. Р.*) против царизма»[1]. Поэтому и крестьянская реформа оказывалась результатом не классовых противоречий и борьбы, а борьбы государства с помещиком. Эту мысль в известной мере и повторил впоследствии Струве в «Крепостном хозяйстве». В этой связи и само крепостное право становилось актом государственной необходимости и прогресса: «Крепостное состояние было *неизбежным условием европеизации России*»[2].

Это взгляды, которые Плеханов потом развил в «Истории русской общественной мысли», но они сформулированы им уже в этот первый период его деятельности: между теорией и ее практическим приложением не было единства. Плехановская концепция капиталистического развития России не опиралась на твердую базу марксистской теории закономерности общественного развития, основанной на марксистском учении об общественно-экономических формациях.

Та же непоследовательность, незавершенность марксистского анализа сказалась и в трактовке Плехановым истории общественного движения. Попытавшись наметить этапы в развитии классовой природы революционной борьбы, Плеханов, однако, и в этих ранних работах то и дело с истории общественного движения и классовой борьбы переходит на историю общественных идей, взятых в отрыве от классового анализа борьбы. Отсюда превращение Радищева в «революционера из «интеллигенции»[3]. Отсюда и превращение восстания декабристов в «военную мани-

[1] *Плеханов*, Соч., т. V, стр. 14.
[2] Там же, стр. 3.
[3] *Плеханов*, Соч., т. X, стр. 357.

фестацию» с повторением романтической либеральной легенды, что декабристы «...*сознательно* шли *на мученичество*. Они мало верили в непосредственный успех своего восстания»[1].

И в истории общественного движения 30—40-х годов Плеханов выделяет проблемы «пессимизма» Чаадаева, развитие философских идей Белинского, историю русского гегельянства.

При всем выдающемся значении ранних работ для своего периода, когда они явились первой попыткой марксистской постановки этих вопросов, работы Плеханова и в этот период страдали внутренними противоречиями.

Этим открывалась возможность дальнейшей эволюции в интерпретации русской истории Плехановым. Его «История русской общественной мысли» была историческим обоснованием его меньшевистской эволюции, перехода к соглашению с буржуазией. Неудивительно, что свою историческую аргументацию он и заимствовал из буржуазных исторических схем. Эти исторические итоги были отражением «политики, обращенной в прошлое».

стория русской общественной мысли. Теория и ее источники

Та концепция русской истории, на основе которой Плеханов строит историю русской общественной мысли, не была продуктом самостоятельного исследования. Он сам указал свои источники: на первом месте здесь стоят Соловьев и Ключевский, их широко дополняет Милюков. Соловьева, Ключевского и Милюкова объединяет государственная схема русской истории; мы указывали выше, что именно в плане государственной теории принял Соловьева Ключевский и в этом разрезе развил взгляды школы Милюков. Плеханов выработал свою схему исторического развития России под воздействием государственной школы.

Государственная школа в своих конечных выводах пришла к утверждению своеобразия русского исторического процесса. Марксизм вскрывал единство закономерности в историческом развитии России. Плеханов тоже говорит о закономерности, но только добавляет, что это не та закономерность, которая определилась в развитии Западной Европы: это — закономерность развития восточной деспотии, и здесь все было совсем иначе, чем на Западе. Это различие даже последовательно возрастает: «...Россия в течение целых столетий все более и более удалялась от европейского Запада и сближалась с Востоком»[2]. Тожество с восточной деспотией становится ключом к объяснению всех явлений русской истории. Разрешение противоречия найдено, мост переброшен между марксизмом и государственной школой: для своеобразия нашлась другая, примиряющая, формула — «Восток».

Но достаточно приглядеться к раскрытию этого основного положения схемы, чтобы убедиться, что в его конкретном содер-

[1] *Плеханов*, Соч., т. X, стр. 367.
[2] *Плеханов*, История русской общественной мысли, т. I, стр. 75—76.

жании ровно ничего не изменилось. Сущность этого своеобразия, выраженного в понятии восточной деспотии, оказывается, состоит в господстве государства над обществом. Вся история дореформенной Руси есть история крепостного состояния всех сословий русского общества, старая теория закрепощения сословий государству. Русский крестьянин превратился в восточного раба. В отличие от дворянской свободы Западной Европы в России дворяне «...были закрепощены государству так же, как были закрепощены ему крестьяне»[1]. В силу того же своеобразия в России не было третьего сословия, и города были только административными центрами. Эта схема полностью совпадает с той, которую дал Милюков в своих «Очерках».

Совпадение с государственной школой продолжается и дальше, хотя и дополняется экономическими моментами, представляющими, однако, не более как терминологическое изменение. Согласно государственной теории, сила государства коренилась в слабости и пассивности народа; по Плеханову, «закрепощение государством всех слоев русского населения было, как мы видели, результатом инертности народного хозяйства...»[2]

Наконец, и причина этого своеобразия осталась все та же: географические условия. Он только слишком натуралистические сравнения дерева и камня, леса и степи заменил более общим понятием «однообразия природных условий», сохранил указание на борьбу с кочевниками и получил необходимые географические предпосылки для колонизационного процесса как основного начала русской истории. Только и здесь потребовалось экономическое добавление. Для связи между географией и колонизацией сделаны ссылки на слабую диференциацию экономики, однородность хозяйственного быта по всей обширной территории восточноевропейской равнины. Для объяснения социально-политического развития вводилось положение об отливе населения и убыли рабочей силы, порождавшей упомянутую «инертность народного хозяйства». Экономическое объяснение свелось к небольшому привеску к старой, давно знакомой формуле: «История России была историей страны колонизовавшейся *при условиях натурального хозяйства*»[3]. Эта формула повторяется Плехановым через каждые несколько страниц, она объясняет теперь все и вся в русской истории. «Условия натурального хозяйства» продолжают при этом сопутствовать колонизации через всю русскую историю, как будто бы ничто в ее экономике и социальном строе так и не менялось на протяжении веков.

Совершенно понятно, что в этой интерпретации в исторической схеме Плеханова не осталось места ни для общественно-эко-

---

[1] *Плеханов*, История русской общественной мысли, т. I, стр. 85.
[2] Там же, стр. 104.
[3] Там же, стр. 82, 103 и ряд других. (Курсив мой. — *И. Р.*)

номических формаций, ни для классовой борьбы. Какая классовая борьба могла итти между классами, которые все были равно закрепощены государству? Могли быть лишь анархические, противогосударственные выступления. Классовая борьба — дело будущего развитого капиталистического общества, ее нет в историческом прошлом России.

Таковы те общие понятия, которые лежат в основе плехановской схемы русской истории.

Общая схема русской истории

Напрасно искать у Плеханова марксистское определение общественно-экономического строя Киевской Руси. Он принимает у Грушевского указание на земледельческий характер хозяйственной деятельности населения Киевской Руси, а у Ключевского теорию ее городового, торгового строя, нисколько не задумываясь над их внутренним согласованием и добавляя от Соловьева утверждение о слабости развития хозяйственной и общественной жизни под влиянием борьбы с кочевниками. У Ключевского берет он и характеристику киевского князя как «военного сторожа земли». Вслед за Соловьевым и Ключевским Плеханов источник дальнейшей эволюции видит в колонизации Северо-восточной Руси и в торжестве здесь вотчинного начала. Мы указали выше, что у Плеханова вотчинный строй превратился в восточную деспотию. Вместе с этим неизбежно встала проблема русского феодализма. Между Павловым-Сильванским и Милюковым выбор Плеханова пал на Милюкова, и это показательно для всего направления его исторической мысли.

Иван IV дан первым последовательным представителем и идеологом восточной деспотии, т. е. сильного государства, осуществившего закрепощение сословий. В этих условиях общественная борьба превращается в борьбу отдельных слоев русского общества против растущей власти государства. Но именно поэтому все эти движения оказывались беспочвенными и бесплодными.

Первое оппозиционное выступление, в освещении Плеханова, принадлежит боярству в лице Курбского. Его выступление бесплодно, потому что за ним нет реальной силы, потому что само по себе торжество централизации было прогрессивным явлением. Решение этого вопроса идет от Соловьева. И все-таки симпатии Плеханова на стороне Курбского, представляющегося ему защитником человеческого достоинства от посягательств деспотизма, защитником идеи своеобразного конституционализма: «В нем нет холопского настроения. В его лице московский боярин отказывается сложить свое человеческое достоинство к ногам государя. Поэтому его консерватизм много симпатичнее, нежели новаторство Ивана IV»[1]. Эта оценка являлась фактическим отказом от классового анализа идеологии Курбского.

---

[1] *Плеханов*, История русской общественной мысли, кн. 1, стр. 192.

Последовавшая в начале XVII в. «смута» была началом крестьянских войн в Русском государстве. Впрочем, самое понятие крестьянской войны у Плеханова отсутствует. Действующая сила этих движений — казачество. «Они много причинили (Москве) хлопот в Смутное время, хорошо «тряхнули ею» в царствование Алексея Михайловича (Ст. Разин), а потом не на шутку перепугали и Петербург в царствование Екатерины II (Е. Пугачев)»[1]. И все эти движения были бесплодны, потому что они не несли в русскую действительность никакого нового начала. В этом отношении для Плеханова нет разницы между Пугачевым и Курбским, он сходится в этом вопросе с Костомаровым: Пугачев «смотрел не вперед... а назад, в темную глубь прошедших времен. И в этом отношении он поступал совершенно так, как поступало когда-то ненавистное ему боярство»[2].

Здесь была и новая черта своеобразия русской истории в интерпретации Плеханова. Вместо революционной, освободительной борьбы города на Западе (городские восстания в Русском государстве XVII—XVIII вв. Плеханов обходит молчанием), мы имели только движение казаков, которые сами в конце концов «...превратились в орудие угнетения той самой народной массы, из которой они когда-то вышли»[3]. Здесь Плеханов допускал уже прямую игру понятиями, подмену социальных явлений разных эпох и разного порядка.

Но оценка крестьянских движений была лишь продолжением в историческом разрезе основной линии меньшевиков по вопросу о революционной роли крестьянства. Плеханов в свое время ее проглядел, сейчас он и не хотел ее видеть. Он забывал даже указания Маркса, что в феодальную эпоху все революционные движения шли из деревни, он забывал и крестьянскую войну в Германии, утверждая, что на Западе борьбу вел только город. Он не желал видеть огромной роли крестьянских войн в расшатывании социальных устоев крепостнической системы, расчищавших дорогу будущему. Для этого, в духе механицизма и экономизма, присущего всей меньшевистской концепции, он переносил вопрос из плоскости социальных отношений в плоскость экономики. Итоги «смуты» должны были определиться, «как определяются они всегда и везде, — состоянием производительных сил. Что же касается состояния производительных сил, то Смута могла изменить его не к лучшему, а только к худшему». «После Смуты Московская Русь являлась по отношению к Западу значительно более, чем прежде, отсталой страной»[4].

В трактовке Петровских реформ Плеханов ближе к Ключевскому, чем к Соловьеву. Сущность Петровских реформ он видит

[1] *Плеханов*, История русской общественной мысли, кн. 2, стр. 296.
[2] Там же, стр. 296.
[3] Там же, кн. 1, стр. 103.
[4] Там же, стр. 213.

в европеизации, т. е. в попытке повернуть русскую историю в сторону сближения с Западной Европой. Но в конечном итоге для Плеханова Петр I только дворянский царь, он не новое создает, а старое укрепляет, и самая европеизация касается только узкой прослойки столичного дворянства. «Социальное положение благородного сословия изменялось в одну сторону — в сторону Запада, — в то самое время, когда социальное положение «подлых людей» продолжало изменяться в сторону прямо противоположную, — в сторону Востока»[1]. Это последнее положение, идея полного культурного разрыва между верхушкой русского общества и народом, уже прямо взято Плехановым у Ключевского. Национального значения Петровской реформы Плеханов не видит и проходит мимо роста культурных сил самого народа, роста русской национальной культуры в XVIII в.

Но при этом в духе буржуазной идеалистической историографии для всей послепетровской истории России не рост классовых противоречий, не внутренний кризис крепостнической системы, а именно европеизация России становится стержнем исторического развития. Правда, он снова оговаривает, что европеизацию он относит также к явлениям экономической и социальной жизни, — ведь торжество восточной деспотии в России было результатом отклонения русской истории от Запада к Востоку. Нужен обратный поворот к Западу, чтобы создать условия дальнейшего развития. Но отсюда вытекает уже и дальнейший вывод, что этот толчок должен быть дан как-то извне, сверху; ведь сперва должен явиться толчок, а потом уже развитие. Оказывается, что инициатором его должно было явиться само дворянство в лице его более передовых представителей. Ведь дворянство было европеизировано, значит у него уже есть потребность в установлении европейских порядков, а для этого нужно дальнейшее распространение европеизации. Таким образом, и движение декабристов было только плодом европеизации и вызванных ею изменений в экономическом быту и социальных представлениях самого дворянства.

Так возникла и реформа 1861 г.

Последовательным носителем принципа европеизации оказывается при этом помещик, требовавший полного обезземеления крестьян, чтобы его «обезнародить», т. е. пролетаризировать. А государство, решившее сохранить за крестьянином урезанные наделы, оказывается, действовало так вовсе не под влиянием страха крестьянских восстаний, а руководствовалось только своими интересами восточной деспотии. «Крупнейший в мире помещик-рабовладелец — государство — решительно не мог помириться с тою мыслью, что освобождаемые крестьянские «души», с которыми он уже собирался распорядиться по-своему, сразу предстанут

[1] *Плеханов*, История русской общественной мысли, кн. 1, стр. 118.

перед ним в виде многомиллионного пролетариата», — так писал Плеханов еще в 1911 г.[1] Поэтому реформа 1861 г. «очень сильно отзывалась Азией»; освобождение крестьян прошло у нас по восточному образцу, имело «азиатский характер», оно сделало крестьянина бесправным[2].

Отсюда и объяснение дальнейшего пореформенного хозяйства. Вопрос не в условиях классовой борьбы, ее организации и развития, а в распространении культуры, в европеизации. «Взрыв 1905—6 гг. был следствием европеизации России. А его «неудача» была причинена тем, что процесс европеизации переработал пока еще далеко не всю Россию. Последствия «неудачи» будут ослабляться сообразно дальнейшему ходу названного процесса»[3].

Как писал Ленин о соратнике Плеханова П. Б. Аксельроде и о Милюкове, «...мечтательными фразами об «европеизме» они обходят трудный и насущный вопрос о том, как следует вести себя в неевропейской обстановке тому или иному классу *для* упорной борьбы за обеспечение *основ* европеизма»[4].

Эволюция завершилась: классовая борьба отошла на задний план и для капиталистического общества, в котором в конце XIX в. Плеханов видел ее еще с полной отчетливостью. Буржуазная концепция полностью подчинила себе Плеханова — мертвый хватает живого!

«История общественной мысли»

Это определило и основную тему исторической работы Плеханова — «история общественной мысли», а не история общественного «движения». В сущности, по концепции Плеханова, до середины XIX в. в России вообще не было развития общественного строя, следовательно, не могло быть и настоящего общественного движения. В этом отношении для Плеханова история общественной мысли по своей теме ближе даже к истории культуры. И действительно, многое сближает ее в этом отношении с «Очерками» Милюкова.

Самая проблема рассматривается не в социальном, а в культурно-историческом плане.

Основная проблема «Истории русской общественной мысли» — все тот же вопрос о Востоке и Западе, об отношении России и Европы. Западничество и славянофильство являются и для Плеханова, как раньше для Милюкова, стержнем развития русской идеологии. Ее предпосылки лежат в смене идейных влияний, шедших с Запада. Восприятие западноевропейской жизни и западноевропейских идей и отношение к тому и другому — источник идейных движений в русском обществе. Под этим углом зрения рассматривается русская общественная мысль с начала ее оформления, с XVII в.:

---

[1] *Плеханов*, Освобождение крестьян, «Современный мир» № 2, 1911.
[2] См. *Плеханов*, История русской общественной мысли, кн. 1, стр. 123—124.
[3] Там же, стр. 113.
[4] *Ленин*, Как П. Б. Аксельрод разоблачает ликвидаторов, Соч., т. XVI, стр. 42.

Хворостинин, Котошихин, Ордин-Нащокин — это западники; Крижанич — первый русский славянофил. Та же антитеза повторяется и в XVIII в.: Татищев и Посошков, до некоторой степени Щербатов и Болтин. Впрочем, во второй половине XVIII века вопрос несколько осложнился, славянофильство и западничество уже не выступали в чистом виде.

Вместе с тем именно европеизация являлась основным источником прогрессивности общественной мысли. Она и заменила социальное содержание явлений. И поскольку дворянство было единственным европеизированным сословием, то и получалось у Плеханова, что «единственным русским сословием, смотревшим не назад, а вперед, было тогда у нас дворянство»[1]. Плеханов проходит мимо тех внутренних изменений, которые совершались в экономике и в социальной жизни России в XVIII в. и которые получили свое отражение в передовой общественной мысли эпохи — у Радищева, Кречетова, Новикова — и вызвали яркую классовую оппозицию со стороны таких дворянских идеологов, как Щербатов. Именно это отсутствие классового подхода к вопросам идеологии определило его симпатии к консерватизму Курбского в общественной мысли XVI в. Отсюда же для XVIII в. его идеализация Щербатова, в консервативной дворянской оппозиционности которого он готов видеть «зачаток того учения о долге образованных классов перед народом, с которым мы встретимся в передовой русской литературе XIX в.»[2] Плеханов не видит, что критика Щербатова была в действительности критикой «справа», критикой феодальной знати, осознававшей надвигавшийся кризис и недовольной правительством, потому что ей кажется, что эта власть недостаточно охраняет дворянские классовые интересы.

Истории общественной мысли XIX в. Плеханов не успел написать. Для этого периода остались лишь многочисленные отдельные статьи, посвященные отдельным ее представителям или вызванные определенными литературно-историческими работами о них. Это, конечно, еще сильнее суживает социально-историческую базу изучения этого периода у Плеханова. Во всяком случае, общая характеристика, данная выше, распространяется и на эти статьи. Конечно, появление разночинной интеллигенции произвело свои изменения, мимо которых Плеханов не мог пройти. Но и в этих статьях первенствующее место принадлежит философскому анализу идей, и это философско-историческое содержание и составляет наиболее сильную сторону работ Плеханова по истории русской общественной мысли, опирающихся на прекрасное знание Плехановым европейской философии XVIII и XIX вв. В истории русской общественной мысли работы Плеханова по XIX в. представляли крупный шаг вперед по сравнению с буржуазной

[1] *Плеханов*, История русской общественной мысли, кн. 3, стр. 150.
[2] Там же, стр. 217.

историографией, поставив ее изучение в связь и с историей идеологии Западной Европы и с развитием революционной идеологии второй половины XIX в. Но и здесь изучение велось в плоскости общей истории идей, приближаясь скорее к мелкобуржуазной трактовке проблемы.

От классового анализа первых работ Плеханова-марксиста в его «Истории русской общественной мысли» не осталось уже и следа.

«Меньшевистский пятитомник»

Эти черты буржуазной ревизии марксизма в меньшевистской историографии с особенной отчетливостью сказались в так называемом «меньшевистском пятитомнике», в коллективной работе «Общественное движение в России в начале XX в.», выпущенной в 1909—1911 гг. под редакцией Мартова, Маслова и Потресова и при участии других видных меньшевистских журналистов и литераторов— Ерманского, Череванина, Кольцова, Балабанова, Веселовского и др. Внутренняя сущность направления выступила с особенной отчетливостью в связи с темой: работа посвящена предпосылкам и истории первой буржуазно-демократической революции в России 1905—1907 гг. Общее направление связывает авторов с идеями и научной методологией Рожкова и с позднейшими идеями Плеханова, в те годы выступавшего против неприкрытого ликвидаторства.

Экономизм — таково действительное направление, представленное авторами пятитомника. Так именно квалифицировал несколько позже Ленин позицию одного из его авторов, Ерманского, развивавшего дальше идеи пятитомника. «Экономисты, — писал Ленин, — признавали... в классовой борьбе лишь то, что было наиболее терпимо с точки зрения либеральной буржуазии, отказываясь идти дальше либералов, отказываясь признавать более высокую, для либералов неприемлемую, классовую борьбу. Экономисты превращались этим в либеральных рабочих политиков. Экономисты отказывались этим от марксистского, революционного, понятия классовой борьбы»[1]. По указанию Ленина, это был «...вопрос о либеральной подделке марксизма, о подмене марксистского, революционного, воззрения на классовую борьбу воззрением либеральным»[2].

Эта задача разрешалась прежде всего общеметодологической постановкой и трактовкой вопроса. В качестве общей основы движения осталась только экономика. Общества, как целого, с его классовыми противоречиями, с его внутренними антагонизмами, в пятитомнике нет. Нет поэтому и вопроса о расстановке классовых сил, об их реальном взаимоотношении в революции. Каждый класс выступает сам по себе, со своими целями и задачами, и отсюда

---

[1] *Ленин*, О либеральном и марксистском понятии классовой борьбы, Соч., т. XVI, стр. 399.

[2] Там же, стр. 397.

создается авторами впечатление, что каждый из них по-своему представляет революцию.

Революция объясняется не из развития капиталистического общества и обострения присущих ему классовых противоречий. По характеристике Кольцова, «наше рабочее движение определялось и толкалось вперед только факторами политического бесправия, всероссийского разорения и общими условиями капиталистического хозяйства». Революция 1905—1907 гг. была результатом отсталости и некультурности, — так разрешал вопрос Рожков, к этому же пришел Плеханов, эту же мысль повторяет и Кольцов: отсталость связана с недостатком европеизации, а ближайшая цель рабочего класса — «европеизация общественно-политического строя России, включая сюда и европеизацию отношений между предпринимателями и рабочими»[1]. Под европеизацией надо понимать развитие капиталистических отношений.

Отсталость экономики, ее отставание от государственного развития России, т. е. государство, опережающее общество в своем развитии, такова другая, давно знакомая идея, повторяемая авторами пятитомника. «Громадная государственная организация и громадное государство в силу исторических условий создались еще в эпоху, когда их размеры совсем не соответствовали потребностям промышленного развития страны»[2], — пишет П. Маслов. То же повторяет и А. Ерманский, по которому государство было фактическим создателем русского капитализма и русской буржуазии. Неудивительно, что при таком понимании исторического развития России для Маслова «в XIX в. прогрессивным являлся класс землевладельцев до наступления кризиса крепостного хозяйства, а класс крупной буржуазии был реакционен вплоть до наступления этого кризиса, до тех пор, пока крупное производство не уперлось в тупик, благодаря своему внутреннему развитию»[3].

При таких условиях все классы оказываются участниками революции, все принимают то или иное участие в общем «движении». За «общей картиной движения», дающей только внешнее, прагматическое повествование хода событий без классового анализа их содержания и значения, следуют статьи Д. Кольцова о рабочих в 1905—1907 гг., Б. Веселовского о «Движении землевладельцев», А. Ерманского о крупной буржуазии, Череванина о «движении интеллигенции». В результате и вся революция 1905—1907 гг. оказывается не классовой борьбой революционных классов пролетариата и крестьянства, а «общенациональным движением», к которому примыкают наиболее сознательные представители всех классов. Ерманский так и пишет: «Солидные промышленники примкнули, наконец, к общенациональному движению»[4].

[1] «Общественное движение в России в начале XX в.», т. I, стр. 185—186.
[2] Там же, стр. 644.
[3] Там же, стр. 661.
[4] «Общественное движение в России в начале XX в.», т. II, ч. 2, стр. 30.

Это же понимание «общенационального движения» пытается провести и Череванин в изображении надклассового «движения интеллигенции». Носителем этого надклассового движения у Череванина оказывается буржуазный, кадетский «Союз освобождения», который, по Череванину, «стремился сплотить все оппозиционные силы России, поднявшиеся над классовыми противоречиями и различиями отдельных слоев населения»[1].

Этим определялась и оценка итогов революции; меньшевиствующие авторы расценивают ее только как полное поражение пролетариата и крестьянства, в положении которых «нельзя надеяться в ближайшем будущем на сколько-нибудь значительное улучшение»[2], а общая перспектива сводилась к росту промышленного капитализма, т. е., по терминологии Кольцова, к «европеизации».

«Буржуазия «хочет» обкарнать классовую борьбу, извратить и сузить ее понятие, *притупить* ее острие. Пролетариат «хочет», чтобы этот обман был разоблачен. Марксист хочет, чтобы тот, кто берется говорить от имени марксизма о классовой борьбе буржуазии, *разоблачал* узость, и притом *корыстную* узость, буржуазного *понятия* классовой борьбы... Либерал «хочет» оценивать буржуазию и ее классовую борьбу так, чтобы *замалчивать* ее узость, *замалчивать* не-включение в эту борьбу «основного» и наиболее существенного»[3]. В этой ленинской характеристике отчетливо дано различие основных направлений политической и исторической мысли начала XX в.

ГЛАВА 33

Н. А. РОЖКОВ

Классики марксизма-ленинизма: *Ленин*, Манифест либеральной рабочей партии, Соч., т. XV, стр. 272—280. — *Его же*. Из лагеря столыпинской «рабочей» партии, Соч., т. XV, стр. 251—254. — *Его же*, Аграрный вопрос и современное положение России. Заметки публициста, Соч., т. XVII, стр. 75—78.

Основные сочинения Рожкова: Обзор русской истории с социологической точки зрения, ч. 1—2, изд. Шамова, М. 1905; ч. 1, Киевская Русь (с VI до конца XII века), изд. 2-е, ч. 2, вып. 1. Удельная Русь, ч. 2, вып. 2. Западная и Юго-западная Русь с XIII до половины XVII в. — Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке, М. 1899. — Город и деревня в русской истории (Краткий очерк экономической истории России), изд. 2-е, М. 1904. — Происхождение самодержавия в России, М. 1906.— Из русской истории. Очерки и статьи, т. I—II, Academia, П. 1923; в част-

[1] «Общественное движение в России в начале XX в.», т. II, ч. 2, стр. 147.
[2] «Общественное движение в России в начале XX в.», т. IV, ч. 1, стр. 32.
[3] *Ленин*, Соч., т. XVI, стр. 400.

ности: Очерки юридического быта по Русской Правде, т. I, стр. 24—130; Политические партии в Великом Новгороде в XII—XV веке, т. I, стр. 131—159; Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке и его влияние на социально-политический строй того времени, т. I, стр. 160—182. — Исторические и социологические очерки, сб. статей, ч. 1 и 2, изд. Шамова, М. 1906.—Русская история в сравнительно-историческом освещении (Основы социальной динамики), т. I—XII, «Книга» М. (б. г.).

Основная историографическая литература: *Покровский, М. Н.*, Борьба классов и русская историческая литература; в кн.: «Историческая наука и борьба классов», т. I, стр. 7—100. — *Его же*, Новая книга по новейшей истории (о книге *Рожкова, Н.*, Русская история в сравнительно-историческом освещении, т. XII); в кн.: «Историческая наука и борьба классов», т. II, стр. 212—223. — *Его же*, Н. А. Рожков; в кн.: «Историческая наука и борьба классов», т. II, стр. 224—233. — *Мороховец, Е. А.*, Краткие биографические сведения о Н. А. Рожкове; в кн.: «Ученые записки Института истории», т. V, Ранион, М. 1929, стр. 7—14.— *Авербух, Р. А.*, Эволюция социологических воззрений Н. А. Рожкова; там же, стр. 15—68.—*Степанов, Н.*, Политическая деятельность Н. А. Рожкова; там же, стр. 69—129. — *Ключевский, В. О.*, Академический отзыв об исследовании Н. Рожкова «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке»; в кн.: Отзывы и ответы. Третий сборник статей, стр. 421—445.

Библиография: *Сивков, К. В.*, Материалы для библиографии трудов Н. А. Рожкова; в кн.: «Ученые записки Ин-та истории», Ранион, М. 1929, стр. 164—184; то же отдельным изданием.

Рожков и марксизм

От Плеханова и Струве Рожкова, как и Покровского, отделяет то, что он является историком по специальности, так сказать, по профессии; этим определяется и его практически несравненно более крупное значение в русской исторической науке. Но по своей идеологической позиции он представлял по-своему в самом непосредственном смысле лишь «отражение марксизма в буржуазной литературе», правда, взятой в ее мелкобуржуазных и постольку радикальных тенденциях. Нельзя согласиться с мыслью Покровского, что Рожков в своих последних работах был близок к тому, чтобы превратиться в «настоящего историка-марксиста». Хотя сам Рожков в последнем томе «Русской истории в сравнительно-историческом освещении» называет себя марксистом, но легко убедиться, что здесь от марксизма взята его формальная сторона, его терминология, мало отразившаяся на общей исторической методологии автора. В предшествующих работах Рожков не называл себя марксистом, не называл себя даже экономическим материалистом, и, думается, всего точнее он сам определил свое направление в статье «Значение и судьба новейшего идеализма в России» термином «критический позитивизм» [1].

---

[1] *Рожков*, Исторические и социологические очерки, вып. 1.

Критический позитивизм выступал как разновидность «критической философии» начала XX в. Отсюда критика риккертианства приводит его не к материализму, а к идеям юмовской философии и к эмпириокритицизму. В интерпретации исторического процесса Рожкова связывает с легальным марксизмом и с богдановщиной непонимание действительного значения классовой борьбы как движущей силы в истории, и в связи с этим в экономической интерпретации стоит определяющая роль обмена, т. е. экономических, а не социально-экономических, производственных отношений; неслучайно вслед за струвизмом и богдановщиной Рожков развивает теорию торгового капитализма. С этими «критическими» направлениями связана и психологическая трактовка общественных явлений, проблема «психического типа» в определении культурно-исторических процессов.

Но в то же время от позитивизма Рожков идет к теории закономерности исторического процесса, к требованию причинного объяснения исторических явлений. От позитивизма приходит он к обоснованию этой причинности в естественных условиях и экономике. Под отраженным влиянием марксизма это переходит в дальнейшем развитии его исторических взглядов в определенную материалистическую тенденцию.

С марксизмом связала Рожкова практика его революционной деятельности, но и в последней он представляет не революционный марксизм, а мелкобуржуазную революционность, идеологию «либеральной рабочей партии».

Его биография отражает идеологические влияния, под воздействием которых складывалась его научная мысль; эволюция его научных взглядов выступает в тесной связи с эволюцией его практической деятельности и политической идеологии.

Формирование научной и политической идеологии

Николай Александрович Рожков (1868—1927) вышел из среды демократической интеллигенции, был сыном учителя уездного училища и уже в период учения испытал влияние радикальной общественной мысли 80-х годов — западного позитивизма (Спенсер), русского народничества (Лавров, Михайловский), а по Зиберу познакомился и с идеями Маркса. В университете это дополнилось школой В. О. Ключевского, впрочем, того периода, когда у самого Ключевского сильна была струя экономизма. Проблема экономического изучения определила выбор темы его магистерской диссертации, защищенной им в 1899 г., — «Сельское хозяйство Московской Руси XVI в.» В разрезе экономической истории был намечен им и первый популярный очерк русской истории «Город и деревня». Но и в той и в другой работе общая концепция русской истории шла от Ключевского и через Ключевского примыкала еще к юридической школе, к государственной теории русской истории. Влияние юридической школы давало себя чувствовать у Рожкова

до конца в трактовке явлений социальной и политической истории.

С 1898 г. началась также преподавательская деятельность Рожкова в Московском университете, в результате которой в 1903—1905 гг. явился его «Обзор русской истории с социологической точки зрения», в трех выпусках, доведенный до XVI в. В самом заглавии определялось научное направление автора: социологическое направление указывало на позитивизм Конта и его учение об обществе. Выступив с критикой неокантианства и в частности философии истории Виндельбанда — Риккерта, он, пытаясь уже в 1898 г. подойти к обоснованию своих теоретических позиций, «оказался ближе всего к «психологической школе в социологии», представленной Гумпловичем, Гиддингсом, Уордом и др.[1] Милль, по мнению Рожкова, «внес в классификацию Конта единственную поправку, в какой она нуждалась: между физиологией и социологией поставил психологию». «Согласно принципу, на котором построена классификация, — рассуждает он дальше, — явления, изучаемые каждой наукой, слагаются из совокупного действия явлений, рассматриваемых всеми науками, предшествующими ей иерархически... Социологические явления должны объясняться суммой всех других фактов, подлежащих научному исследованию, но главным образом тут имеют значение явления психологические, так как психология — наука, занимающая ближайшее высшее место в классификации» [2]. Хотя Рожков и пытается скорректировать этот психологизм ссылкой на материальную обусловленность «психологического типа» и за поправками обращается к марксизму, но от этого получается лишь искажение марксизма, комбинация психологической школы в социологии с элементами экономического материализма.

Предреволюционный подъем общественного движения связал Рожкова с марксистской печатью (участие в журналах «Научное обозрение», «Образование», «Мир божий», «Жизнь», «Правда»), а затем и с практической революционной деятельностью по агитационно-пропагандистской работе и по Московскому педагогическому обществу. В начале 1905 г. революционное движение привело Рожкова в ряды РСДРП и сделало его активным членом литературно-пропагандистской группы при Московском комитете. В это время он был близок к большевикам, участвовал в 1907 г. на Лондонском съезде и был избран в ЦК.

Но и в этот период его теоретическая мысль отставала от революционной практики. Политически острая тема — «Происхождение самодержавия в России», которой посвящена его работа 1906 г., — решена снова в духе юридической школы, а не на основе марксистской теории. Арест в 1908 г. и ссылка в Сибирь опре-

[1] *Рожков*, Исторические и социологические очерки, вып. 1, статья «Психология характера и социология».

[2] Там же, стр. 177.

делили вместе с тем поворот Рожкова к реформизму и ликвидаторству, оценку которому Ленин дал в 1911 г.

Итоги своей философской эволюции этих лет он изложил в «Основах научной философии», став на путь эмпириокритицизма и выступив против его разоблачения Лениным.

В революции 1917 г. Рожков выступал уже в рядах меньшевистской партии.

В годы советской власти научная работа Рожкова была сосредоточена на «Русской истории в сравнительно-историческом освещении». С 1919 по 1926 г. вышло двенадцать томов, которые автор рассматривал как итог своей тридцатилетней научной деятельности. В этой работе он уже заявлял себя сторонником «материалистического монизма в применении к истории», «так называемого исторического материализма». В заключительной главе последнего тома он и сделал существенный шаг вперед, признал учение Маркса о роли производственных отношений и о классовой борьбе, но не сумел понять учение о социально-экономических формациях, диалектику исторического развития. Он остался и здесь при буржуазной эволюционной теории, при условном контовском учении об органических и критических эпохах.

Историческая концепция Рожкова. Учение об обществе

Рожков в основу изложения своей концепции положил ее разделение на две части: социальную статику и социальную динамику, т. е. учение об обществе и теорию закономерности его развития. Это деление сохранено им и в его последней работе: «социальной статикой» начал он первый том «Русской истории в сравнительно-историческом освещении», «социальной динамикой» закончил он ее последний том. Уже это деление принадлежит контовской социологии и должно было привести его в противоречие с марксизмом, для которого учение об обществе есть именно учение о движущих силах общественного развития и тем самым учение о закономерности исторического процесса. Эта исходная, порочная в самом корне, методологическая посылка остается определяющей для Рожкова до самого конца его научной деятельности. Разрывом статики и динамики он уже по сути дела закрыл себе путь к пониманию каждой из этих проблем, взятой им в ее обособленном рассмотрении.

Исходным для него является учение об обществе.

Его учение об обществе оформилось в начале XX в.; оно получило конкретное выражение в его очерке «Город и деревня» и затем в его «Обзоре русской истории». До этих работ его понимание общества страдает еще большой неопределенностью. В исследовании о «Сельском хозяйстве Московской Руси XVI в.» он придает решающее значение государственному началу, выводя экономические явления эпохи из юридических отношений поместного землевладения. В отмеченной выше теоретической статье

о психологическом направлении в социологии он ищет научного монистического понимания истории в учении о «психических типах», в «социальной психологии».

В «Городе и деревне» Рожков уже устанавливал известную последовательность рассмотрения и вместе с тем определенную иерархию, т. е. внутреннюю обусловленность между элементами, из которых слагается общественная жизнь: экономические вопросы, социальное устройство, политический строй. В «Обзоре» это деление превратилось уже в формальную классификацию общественных явлений «по пяти классам». Связь, существующая «между человеческим общежитием и внешней природой», превратила «процессы, совершающиеся в природе», «группу естественных явлений», в «первый класс общественных явлений», за которыми следовали, в порядке усложнения, «явления хозяйственные или экономические, явления социальные (т. е. общественный строй), явления политические и, наконец, психологические явления» [1]. Эту схему Рожков повторил и во введении к первому тому своей «Истории», последовательно проведя ее через все тома в характеристике каждого исторического периода. Он только еще резче подчеркнул здесь соответствие реальному соотношению явлений, обусловленность каждого последующего ряда, как более сложного, закономерностью, заложенной в содержании предшествующих рядов.

Как же понимается Рожковым внутренняя связь этих элементов, отдельных рядов, между собой? Превращается ли классификация явлений в реальную связь явлений?

Естественные явления, т. е. характеристика природных условий, были в сущности повторением традиционной концепции с ее обычным итогом о колонизационном процессе в русской истории, как их результате, хотя и с известным ограничением их действующего влияния в этом процессе. Переход к экономике дает понятие плотности населения; именно ею в сочетании с природными условиями определяется эволюция экономики, прежде всего господствующая отрасль хозяйственной деятельности.

С экономическим материализмом Рожкова связывает выделение экономического фактора, вернее экономических явлений, как первичного и тем самым определяющего ряда в системе общественных явлений. Но уже в определении самого содержания этого первого ряда он снова оказывался связанным не с марксизмом, а с буржуазным экономизмом. В духе буржуазных историков хозяйства, подобно Гильдебрандту на Западе, он выдвигал на первый план вопрос «об относительном значении в данное время каждой из четырех главных отраслей народного производства, добывающей промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и торговли» [2]. Таким образом не способ

[1] *Рожков*, Обзор русской истории, вып. 1, стр. 4—6.
[2] *Рожков*, Город и деревня, стр. 7.

производства и система производственных отношений, а отрасль хозяйства становится первым определением общественного строя и в дальнейшем общественного развития. За этим следуют проблемы системы хозяйства, формы землевладения и формы хозяйства. Но система хозяйства характеризует лишь хозяйственную технику, форма землевладения представляет прямую дань юридической теории, юридическую сторону начала собственности, которая фигурирует во всех исторических концепциях со времени Соловьева. Лишь форма хозяйства как бы приближает Рожкова к проблеме производственных отношений и должна связать социальные отношения с экономикой. Однако неясность этого понятия для самого Рожкова наглядно видна из того, что рядом с трудом холопа и закупа называется семья в качестве «господствующей хозяйственной единицы», характеризующей форму хозяйства.

В результате, проблема социального строя превратилась у Рожкова в «устройство общества». Последнее представляется непосредственным отражением единства его экономической базы, а не классовых противоречий, коренящихся в системе производственных отношений. Отсюда полное смешение в определении самих социальных понятий. Деление на классы отожествляется с тем, «различались ли тогда отдельные группы общества по занятиям, существовало ли хотя бы первоначальное разделение труда?» [1] При этом понятие сословия представляется автору более высоким, чем понятие класса, это — класс, получивший юридическое оформление своих прав и обязанностей; «были ли общественные классы... или существовали уже сословия?» — так ставится вопрос в очерке «Город и деревня». Самим сословиям дается уже чисто юридическая классификация, по преобладанию прав или обязанностей, на крепостные или свободные, чем прямо перебрасывался мост к государственной теории закрепощения и раскрепощения сословий. Само понятие сословий из категории феодального общества превращалось в категорию общеисторическую. Взятая в отрыве от непосредственного анализа производственных отношений, характеристика общественного устройства превращалась в систему юридических характеристик отдельных социальных категорий, из которой выпадало определение основного содержания классового деления данного периода. «Хозяйственные порядки и отношения, смыкая... общество в сословия ...делили эти сословия, имевшие классовую основу, на подклассы, на более мелкие экономические группы» [2]. Эта конкретная схема как бы продолжала его первоначальную теорию о последовательной «психической дифференциации классовых групп» [3].

[1] *Рожков*, Обзор русской истории, стр. 43.
[2] *Рожков*, Русская история, т. VII, стр. 137.
[3] *Рожков*, Исторические и социологические очерки , вып. 1, стр. 184.

Система производственных отношений заменялась понятием «распределения хозяйственных благ». В связи с этим господство класса подменялось понятием преобладающего значения данного класса. Только на этой основе и могла получиться характеристика общественного строя Киевской Руси, как «господство класса смердов, слагающееся под совокупным влиянием преобладания добывающей промышленности и скотоводства, вольного землепользования, домашней формы производства и равномерного распределения хозяйственных благ между отдельными семьями» [1]. При этом все эти явления совмещались с признанием классового деления общества Киевской Руси.

И в процессе дальнейшего уточнения понятия классового господства, даже при включении классовой борьбы, оно выступает скорее в правовой форме сословного господства, как явление политического строя в большей мере, чем как явление социальных отношений.

Еще резче сказывается этот разрыв «рядов» или «классов явлений» в трактовке политического строя. И здесь на первом плане не столько социальная природа власти и ее структура, сколько соответствие государственной организации данному уровню общего развития общественных потребностей. В «Городе и деревне» эта эволюция власти представляется как переход от начала частного хозяйственного интереса князя к «понятию о государстве» как общественном союзе, преследующем интересы «общего блага». Но даже признав в своей «Истории» классовый характер государственной власти, Рожков все же на первом месте ставит вопрос об эволюции функций государственной власти, развитии ее органов, а классовый характер видит не в самой организации власти, а лишь в направленности ее социальных и экономических мероприятий, т. е. в использовании известным классом сложившейся государственной организации. Развитие политического строя оказывается, таким образом, не классово-обусловленным процессом, а лишь параллельным рядом эволюции правовых форм. Этот самодовлеющий характер эволюции политического строя отчетливо сказался в трактовке Рожковым вопроса «Происхождение самодержавия в России».

Наконец, понятие психического явления, вернее идея «психического типа», завершает конечное обособление развития культуры. Это понятие «психического типа» из его социологических статей конца 90-х годов перешло без изменения в его последнюю, завершающую работу по истории России. Правда, на последнем этапе он попытался и здесь внести в единое понятие «психического типа» элементы классовой дифференциации и сочетать это с принципом его экономической обусловленности. Но по сути дела понятие «психического типа» устанавливало как бы непосредст-

[1] *Рожков*, Обзор русской истории, ч. 1, изд. 2-е, М. 1905, стр. 64—65.

венный переход от экономического строя, взятого в его обобщенной характеристике, к явлениям культуры, причем основа последней из сферы общественных отношений переносилась на психические свойства отдельного индивида, принадлежащего к данному обществу. Если принять во внимание понимание места самого психического явления в духе контовской философии, как промежуточного звена между явлениями физиологии и общественной жизни, то станет совершенно ясно, насколько это далеко уходит от социального понимания культурного развития. Автор оперирует не социальными категориями и даже не понятиями истории культуры, а такими психологическими категориями, как эгоизм, индивидуализм и т. п. Так, по характеристике Рожкова, «секрет психологического синтеза (!), гармонии духовной культуры (!), екатерининского дворянства коренился в избалованном барском самодурстве — основной черте психики людей, подобных Потемкину»[1].

Понятие общества разбилось на внутренне обособленные ряды явлений, классификация разорвала внутреннюю связь общественной жизни.

Социальная динамика. Проблема исторической закономерности

Социальная статика определяет социальную динамику. Правда, самая задача, которую ставил себе историк, — проблема закономерности, — постепенно эволюционирует. В «Обзоре» речь идет скорее о формальном методологическом приеме: «Каждая из... наук берет одно основное понятие и из него объясняет все явления, ею изучаемые; другими словами, это основное понятие или основной процесс берется как нечто данное, гипостазируется, ставится под весь материал, исследуемый данной научной отраслью... Вопрос заключается, следовательно, не в том, следует ли в социологии гипостазировать какой-либо элемент, а в том, какой именно элемент должен быть положен в основу социологических построений»[2]. В последнем томе «Русской истории» Рожков говорит уже об «установлении, насколько это возможно при современном состоянии исторической науки, закономерности развития общественных явлений», причем «закономерность общественных явлений... имеет такой же характер, какой и закономерность явлений природы»[3]. Здесь автор ссылается уже не на положения социологии, а на учение Маркса.

Но при этом Рожкову попрежнему чужд основной принцип исторического материализма — диалектика развития общественно-экономической формации. В представлении Рожкова, диалектический метод выступает лишь второстепенным логическим привеском. Понимание развития остается эволюционным, а не диалек-

[1] *Рожков*, Русская история, т. VII, стр. 144.
[2] *Рожков*, Обзор русской истории, стр. 6.
[3] *Рожков*, Русская история, т. XII, стр. 348.

тическим. Поэтому вместо единого процесса развития общественной жизни, обусловливаемого внутренней борьбой противоречий, он дает последовательную эволюцию одного лишь ряда экономических явлений, взятого в условной классификационной изолированности. Прочие явления остаются в качестве параллельных рядов, развивающихся соответственно основному экономическому ряду, но без реальной внутренней обусловленности. Движущие силы исторического развития выпадают, и остается в конечном счете лишь ряд статически данных систем отношений, сменяющих одна другую, но не вырастающих закономерно одна из другой.

Марксистское понимание закономерности основано на раскрытии действительных законов исторической смены формаций и установлении их действия в развитии любого исторического процесса. Рожков сводит проблему закономерности к простому констатированию повторяемости исторических явлений «в сравнительно-историческом освещении». Установление законов исторического развития Рожков подменяет созданием «исторических типов» на основе установления параллелизма и однородной последовательности явлений в истории отдельных народов. Условность и произвольность такого метода с полной наглядностью сказались уже в том, что по признаку формального параллелизма и внешнего уподобления античные общества попали в один ряд развития с современными народами Европы. Принцип повторяемости исторических рядов привел на деле к упразднению основного принципа единства закономерности исторического развития.

Формальный характер приобретает в этой интерпретации и понятие формации, которое Рожков пытается положить в основу исторической периодизации в «Русской истории». Вместо пяти формаций, установленных классиками марксизма-ленинизма, у Рожкова оказывается девять: 1) первобытное общество, 2) общество дикарей, 3) дофеодальное общество, или общество варваров, 4) феодальная революция, 5) феодализм, 6) дворянская революция, 7) господство дворянства (старый порядок), 8) буржуазная революция, 9) капитализм. Впоследствии, в заключительной главе последнего тома, Рожков разделил еще первые две формации своей схемы на четыре отдельные формации каждую, и число всех формаций возросло до пятнадцати. В этом длинном перечне только три формации совпадали терминологически с общественно-экономическими формациями исторического материализма: первобытная (точнее было бы «первобытно-общинная»), феодализм и капитализм.

По какому признаку установил свое деление Рожков?

Единый признак у него отсутствует. Определение первой формации не дает никакого отличия от второй и третьей, а между последними — разница культурного уровня, но не производственных отношений или общественного строя. Позднейшее дробление вносит еще более произвольности: то признаком деления оказы-

вается техническая приспособленность орудий (палеолит, неолит), то изменение форм родовой организации (матриархат, патриархат), то превращение орды в расу, причем понятие расы отождествляется с понятием языковых групп. Пятая и шестая формации вводят сословный или юридический признак вместо классового. Лишь четвертый и шестой разделы исходят из системы производственных отношений.

Некоторое единство принципа сказалось только в выделении четвертой, шестой и восьмой формаций, «критических», или революционных периодов, противостоящих периодам органическим. Под конец Рожков распространил этот принцип и на древнейшие периоды при их дальнейшем подразделении, хотя трудно определить, почему, например, матриархат оказывается критическим, а патриархат — органическим периодом. Единственный признак, который оказывается у самого Рожкова, сводится к ускорению темпов исторического развития в критические периоды. Впрочем, и это условно: период дворянской революции в России тянулся с Ивана IV, кончая Петром I, т. е. около 180 лет, а период господства дворянства едва 136 лет (от Петра I до реформы). Самый принцип деления снова взят не у марксизма, а в социологии Конта. В основе его лежит прямое отрицание марксистского учения об антагонистичности классовых формаций. В социологической схеме Рожкова классовая борьба оказывается вынесенной за скобки; органическая эпоха превращается в покоящуюся систему, опирающуюся на единый органический принцип, определяющий все ее содержание, снимающий всякие противоречия. Отсюда — эволюция внутри отдельного ряда, но неизбежный разрыв между формациями. Смена формаций — не результат внутреннего переворота, скачка, создающего насильственно изменение в системе производственных и классовых отношений, а искусственное формальное разделение материала, проводимое самим историком, когда нарастание изменений представляется ему достаточно значительным, чтобы дальнейшую характеристику построить на новом, в какой-то мере видоизмененном основании. Условным является поэтому и содержание избираемого признака. Таким образом, отмеченное выше определение значения диалектики у Рожкова было не случайной формальной оговоркой, а совершенно точно отразило его понимание. Понятие формации лишь терминологически связывало Рожкова с марксизмом. Самый принцип периодизации брался попрежнему в буржуазной науке и принимал при этом сугубо эклектический характер.

Первые работы по русской истории

Зависимость от буржуазной науки сказалась и в конкретной разработке вопросов русской истории. Особенно резко сказалась она на более ранних работах Рожкова.

Его первая работа «Сельское хозяйство Московской Руси XVI в.» вышла из школы Ключевского и при всей ее эко-

номической тенденции носит в себе отчетливые черты влияния государственной школы. Рожков поставил себе две задачи в своем исследовании: 1) изучить техническую сторону сельскохозяйственной промышленности и 2) выяснить, под какими влияниями слагалась сельскохозяйственная производительность в Московском государстве XVI в. Он впервые применил новейшие методы экономического исследования (в том числе статистический метод) к изучению ранних периодов нашей истории и выдвинул ряд важных проблем экономической и социальной истории этого периода, объединенных общей проблемой сельскохозяйственного кризиса, хотя в самом решении вопросов осталось много спорного. Но перейдя от описания к критическому объяснению явлений, Рожков сразу же оказался в плену у юридической школы, сведя причину кризиса к изменению форм землевладения (этот момент сохранял и дальше большое значение в общей схеме Рожкова) — к вытеснению вотчины поместьем: неустойчивость владения объявлялась источником хищнической эксплоатации и причиной быстрого экономического истощения и кризиса. Недостаточность такого объяснения автор сам вскоре увидел. В статье 1901 г. он заново пересмотрел и подытожил выводы своей диссертации и признал уже необходимость «выйти в широкую область общих экономических отношений, в ту сферу, в которой и нужно искать истинного разрешения вопроса» [1]. Поместье было поставлено в связь с господством натурального хозяйства, а противоречие было выведено из зарождения менового хозяйства; экономическое объяснение, заменившее юридическое, представляло шаг вперед. Но оно оставалось односторонним и не охватывающим всей сложности исторического процесса. Выделив экономическую проблему, Рожков лишь несколько последовательнее развернул экономическую идею, высказанную Ключевским в объяснении «происхождения крепостного права в России». Концепция Ключевского о закрепощении по ссуде и кабале в точности воспроизведена Рожковым в его статье.

Другой проблемой монографического исследования Рожкова была история русского самодержавия. В очерке «Город и деревня» Рожков дал первый набросок по этой теме; он мало в чем разошелся со схемой Ключевского. Несколько снизив только роль князя в древнейший период и подчинив его вечевой организации волости, он для XIII—XV вв. дает по существу картину вотчинного характера княжения, а с XVI в. — переход к государству с его принципом «общего блага».

Эту схему Рожков положил в основу и своей работы «Происхождение самодержавия в России»; и здесь первый период, до XII в., характеризуется «двоевластием веча и князя», второй период, с XIII по XV в., определяется, как «типическое вотчин-

[1] *Рожков*, Из русской истории, вып. 1, стр. 176.

ное государство», наконец, в XVI—XVII вв. происходит установление самодержавия. В объяснение этого процесса входит и экономическая характеристика XVI в.—экономический кризис, требующий сильной власти для его преодоления, и социальная проблема—необходимость закрепощения сословий для организации социальных сил на разрешение этой задачи. Это было ответом на вопрос «для чего?». Но оставался вопрос, как это произошло. И здесь Рожков следует своему социологическому принципу системы восходящих рядов, и в этой системе ближайшей предпосылкой оказывается эволюция административной системы, диференциация и распределение административных функций: освобождение верховной власти от вмешательства во все мелочи текущего управления, обособление административных функций превращали князя в представителя чистого начала верховного суверенитета, чем и определялось начало самодержавия. В этой схеме юридизм концепции был доведен до его предела.

И в самом понимании самодержавия возвращалась идея государственной теории о силе государства и слабости народа, о государстве, оформляющем общественный строй путем организации крепостных сословий. Единственное изменение состояло в том, что эта слабость получила теперь экономическое объяснение в «катастрофическом характере русского экономического развития второй половины XVI и начала XVII в.» [1]

Точно так же в истории «Политических партий в Великом Новгороде XII—XV вв.» автор остается на поверхности событий, не умея перейти от внешней истории политической борьбы к классовым противоречиям, ее обусловившим и определившим ее развитие. Осталась в основном система внешнеполитических отношений.

В той же плоскости «юридического быта» рассматривается Рожковым и общественный строй древней Руси по Русской Правде.

Общая концепция русской истории

В общей периодизации русской истории Рожков в своих первых работах шел за старой буржуазной историографией. Русская история делилась им на период Киевской Руси, Руси удельной, или вотчинной, Московской Руси XV—XVI вв., новой крепостной Руси и, наконец, Руси пореформенной. В решении узлового вопроса периодизации—проблемы феодализма в России, Рожков, проходя мимо указаний Ленина и специальных исследований Павлова-Сильванского, как и большинство русских буржуазных историков, находил элемент феодальных отношений в России лишь в XVI в., но и то несложившихся в законченную феодальную систему в результате торжества самодержавия. Крепостной строй XVII—XVIII вв. как бы сопоставлялся и вместе с тем противопоставлялся феодализму Западной Европы. Лишь для

[1] *Рожков*, Происхождение самодержавия в России, стр. 209.

Литовско-Русского государства признавалось реальное существование феодальных отношений.

К окончательной периодизации русской истории и истории других народов Рожков пришел лишь в своей последней работе. Две первые формации в схеме Рожкова относятся к первобытной истории и представляют краткий компилятивный очерк, лишь подводя к образованию племенного общества.

Фактически русская история начинается у него с VI в. — с расселения русских племен в Приднепровье, в верховьях Волги и Оки и в бассейне Волхова. Дальнейшая периодизация укладывается в следующие хронологические разделы:

VI—IX вв. — древнейшая Русь, состояние варварства.
X—XII вв. — феодальная революция.
XIII в. — половина XVI в. — феодализм (с середины XIV в. падение феодализма).
С половины XVI в. до 1725 г. — дворянская революция.
1725—1825 гг. — господство дворянства.
1825—1860 гг. — буржуазная революция.
1861—1905 гг. — производственный капитализм.
1905—1917 гг. — революция в России.

Принципиально новым в этой периодизации было прежде всего признание феодализма в России. Период феодализма, совпадая хронологически со старым удельным периодом, все же в понятии «феодальной революции» как бы распространялся в глубь времен: начало процесса феодализации переносилось в X в. В самом процессе феодализации исходное и определяющее значение отводилось не политическому строю, а экономике. Но эта новая терминология в значительной мере прикрывала старое содержание. В соответствии с первоначальной социологической эволюционной теорией Рожков попрежнему в основу периодизации кладет эволюцию хозяйства, понимаемую им как смена отраслей хозяйственной деятельности. Переход к феодализму связывается у него с переходом от добывающих промыслов к земледелию и торжеством натурального хозяйства. Для этого потребовалось одно изменение в схеме Ключевского. В характеристике экономики Киевской Руси у Ключевского земледелие также выпадало, а хозяйственный строй определялся соединением промыслов и торговли с ведущей ролью последней. Рожков отбрасывает преувеличение роли торговли, но в остальном принимает схему Ключевского. Поэтому и для него переход к земледелию совершается уже в Северо-восточной Руси и связывается с колонизацией волжско-окского бассейна в XII—XIII вв. Колонизация и переход к новой отрасли хозяйства заменяют изменение производственных отношений и классовую борьбу в складывающемся феодальном обществе.

Эта экономическая интерпретация феодализма от земледельческого натурального хозяйства привела и к своеобразному выде-

лению «муниципального феодализма». Здесь было лишь формальное подведение под понятие феодализма старой антитезы вотчинной системы удельно-княжеского строя и городских торговых республик—Новгорода и Пскова. Общая проблема города в системе феодальных отношений заменялась, таким образом, проблемой муниципального феодализма как особого типа феодальных отношений.

Рост товарно-денежных отношений служит в новой схеме Рожкова предпосылкой перехода к новому периоду в середине XVI в. Это положение было выдвинуто им еще в итоге исследования «Сельского хозяйства Московской Руси XVI в.» в упоминавшейся статье 1901 г. Он повторил его и в очерке «Город и деревня в русской истории» и в «Происхождении самодержавия в России». При этом возникло, правда, другое противоречие. Прежде Рожков, как и другие историки-юристы, склонен был видеть именно в крепостной системе известные аналогии с феодальным строем. Теперь, признав феодализм в России для предшествующего периода, он, однако, не пришел к выводу о внутреннем единстве обоих периодов, который сделан был марксистской исторической наукой на основе учения о социально-экономических формациях. Напротив, в характеристике нового периода крепостной строй как система классовой эксплоатации крепостного хозяйства окончательно отодвинут на задний план товарно-денежными отношениями. В действие вступила третья отрасль хозяйственной деятельности — торговля; торговый капитализм становился экономической основой нового периода, только его носителем оказывалось дворянское крепостное хозяйство в качестве господствующей формы хозяйства рассматриваемого периода. На этой основе возникла и антитеза дворянства и боярства, отражающая эволюцию сословного строя, а не изменение классовых отношений. Вся эта искусственная схема была результатом чисто буржуазной, социологической, немарксистской трактовки проблемы периодизации. Характеристика каждого отдельного периода выводилась из формально единого логического начала, причем между условно выделяемыми ведущими началами каждого ряда или класса явлений устанавливалось совершенно формальное единство путем их механического сопоставления. Торгово-капиталистическая—по экономическому признаку, дворянская — по социальному, самодержавная — по политическому, — такова характеристика эпохи по Рожкову. При этом в общей эволюционной концепции Рожкова торгово-капиталистический характер дворянского хозяйства превращался в эволюционный этап от феодализма к «производственному капитализму», к буржуазному обществу. Это была по сути теория «врастания феодализма в капитализм». Несколько иными путями, на основе иных посылок Рожков по существу смыкался с теорией торгового капитализма Богданова и с теорией «врастания» Струве. К той же проблеме торгового капитализма пришел и Покровский, только с иной, социальной характеристикой периода.

Расчленение общественной жизни на отдельные ряды явлений, расчленение процесса на ряд последовательных этапов с чисто статической характеристикой каждого позволяло при этом Рожкову правильно охарактеризовать отдельные стороны явлений или отдельные этапы, но исключало научно правильное понимание единства процесса в целом. Так, Рожков дал правильные характеристики классовой борьбы периода так называемой «смуты». Он прав был в своей характеристике дворянской сущности петровской политики; но, механически связав дворянство с экономической политикой торгового капитала, он в сущности не смог ничего понять в действительном историческом значении петровской политики.

Позже, уже в период «разложения старого порядка», та же экономическая точка зрения помешала Рожкову понять движение декабристов; в его представлении позиция отдельных декабристов целиком определяется их индивидуальным хозяйством, «распределением материальных благ», по его первоначальной терминологии.

Реформы 60-х годов определили переход к эпохе производственного капитализма. Сравнительно правильно оценив самую реформу и первоначальное развитие промышленного (по Рожкову, производственного) капитализма в России, Рожков, однако, и здесь не мог понять закономерности дальнейшего развития, и здесь классовый анализ подменялся эволюционной теорией. Поэтому, в то время как марксизм вскрывал процесс загнивания капитализма в переходе к эпохе империализма, Рожков устанавливал для России обратный путь развития — от хищнического, грабительского капитализма первого этапа к более совершенным и прогрессивным формам «культурного капитализма» в XX в. Таким образом, в XX в. капитализм в России оказывался не в состоянии кризиса, а на подъеме. В итоге революции 1905—1907 гг. Рожков приходил к той же теории эволюции, врастания капитализма в социализм, к которой в конце 90-х годов пришел легальный марксизм. Его теория культурного капитализма была в сущности лишь вариантом темы «европеизации» меньшевистской схемы. Только в результате мировой войны 1914—1918 гг. «исключена была возможность дальнейшего мирного, безбурного эволюционного процесса» в России, потому что, пишет тут же Рожков, «реакция не имела достаточно времени для осуществления своих планов»[1]. Так выходило, что победа реакции обеспечивала мирный путь развития, а случайность мировой войны принесла вторую «случайность» — Октябрьскую революцию.

Эта оценка вытекала из непонимания Рожковым самого революционного движения в России. Он не понял и тут диалектики событий, в силу которой отсталой русской буржуазии противо-

[1] *Рожков*, Русская история в сравнительно-историческом освещении, т. XII, стр. 385.

стоял передовой рабочий класс. Для него социалистичность русского революционного движения оказывается тоже лишь результатом его запоздалости и отражением внешних западных влияний.

Но Октябрьская революция была фактом, и на девятом году существования советской власти с этим фактом нельзя было не считаться. Необходимость революции, обусловленной данным стечением обстоятельств, Рожков признает. Но в его представлении она не столько изменила путь, сколько ускорила общий ход развития: нэп принимался им за возврат к государственному (т. е. культурному) капитализму; закон эволюционного развития снова вступал в силу.

Итоги

Таков итог исторической работы Рожкова. В своей теоретической основе его научная мысль осталась до конца на буржуазных позициях. Именно поэтому и на Рожкова надо распространить ленинское определение об «отражении марксизма в буржуазной литературе». Но от идеологии Струве и его соратников Рожкова отделяла его мелкобуржуазная революционность, которая заставляла его искать хотя бы сближения, согласования, на практике — с революционным рабочим движением, в истории — с марксизмом. Именно поэтому Рожков не мог, подобно Струве, превратиться в идеолога контрреволюционной буржуазии. В его исторической концепции проблема закономерности, хотя и не решенная, оставалась до конца связующей нитью между ним и историческим материализмом. В этом смысле Рожков ближе к мелкобуржуазным течениям в исторической науке, к меньшевизму, с которым после 1908 г. он оказался связан и организационно. Однако от меньшевистской историографии, прежде всего от Плеханова, его отделяет то, что за ней стоит все же ее первоначальный марксистский период. Рожков никогда не был марксистом и к своему позитивизму пришел от буржуазной исторической науки, от Ключевского. Плеханов по сути дела пришел к Ключевскому и даже к Милюкову в своих конечных исторических воззрениях. Но Плеханов пришел к этому в результате отпадения от марксизма, это был попятный шаг. Миновать марксистский период в историографическом изучении Плеханова нельзя. В историческую науку Плеханов и Рожков вступили с разных концов, пришли от разных идеологических позиций.

ГЛАВА 34

ПОКРОВСКИЙ

Основные сочинения Покровского: Русская история с древнейших времен М. Н. Покровского, при участии М. Никольского и В. Н. Сторожева, т. I—IV, изд. 2-е (б. г.); то же, т. I—V, изд. «Мир», М. 1913; то же, т. I—IV, Соцэкгиз, М. 1933. — Русская история в самом сжатом очерке: ч. 1 и 2. От древнейших времен до конца столетия, ч. 3. Двадца-

тый век, 5-е посм. изд., Учпедгиз, М. 1934.—Очерк истории русской культуры, изд. 2-е, ч. 1—2, изд. «Мир», М. 1917; то же, «Прибой», Птг. 1923; то же, изд. 4-е, доп., Госполитиздат, М.—Л. 1925.—Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., «Красная новь», М. 1924. — Дипломатия и войны царской России в XIX столетии, сб. статей, «Красная новь», М. 1923. — Внешняя политика, сб. статей (1914—1917) (б. м.), изд. «Денница», 1919.—Империалистическая война, сб. статей, 1915—1927, изд. Комакадемии, М. 1928.—Империалистическая война, Соцэкгиз, М. 1934 (значительно дополненное издание). — Царская Россия и война, Гос. изд., М. 1924. — Марксизм и особенности исторического развития России, сб. статей 1922—1925, «Прибой», Л. 1925. — Крестьянская реформа, изд. «Пролетарий», Харьков, 1926.—Декабристы, сб. статей, Гос. изд., М.—Л. 1927. — Историческая наука и борьба классов (Историографические очерки, критические статьи и заметки), сборник подгот. к печати Ин-том Комакадемии, вып. 1 и 2, Соцэкгиз, М.—Л. 1933; в частности: Борьба классов и русская историческая литература, вып. 1, стр. 7—117; Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия, вып. 1, стр. 167—205; О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России, вып. 1, стр. 285—303; «Идеализм» и «законы истории» (Генрих Риккерт. Границы естественно-научного образования понятий. Логическое введение в исторические науки, перев. с нем. А. Водена, Спб. 1904), вып. 2, стр. 5—43; Н. Г. Чернышевский как историк, вып. 2, стр. 176—206; Ленинизм и русская история, вып. 2, стр. 266—283.

Основная литература. К изучению истории, сб., Партиздат, М. 1937; статьи: 1. В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б), стр. 19—21; 2. *И. Сталин, А. Жданов, С. Киров*, Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР, стр. 22—24. — Против исторической концепции М. Н. Покровского, сб. статей, ч. 1, изд. Акад. наук, М.—Л. 1939; ч. 2, изд. Акад. наук, М.—Л. 1940.

Покровский и русская историческая наука

Историографическое рассмотрение научной деятельности Покровского представляет в некоторых отношениях известную сложность. Дело в том, что Покровский в развитии русской исторической науки занимает несколько особенное место. Он прошел длинный путь развития: выйдя из исторической школы Ключевского, начав с буржуазной исторической концепции, Покровский вскоре вступил в решительную борьбу с буржуазной идеологией и стал на путь идейного сближения с марксизмом. Сближение с марксизмом определяло идейную направленность его научной мысли, хотя он никогда не был настоящим марксистом. В этой направленности заключалось принципиальное отличие между ним и современной ему буржуазной и мелкобуржуазной историографией. Это отделяло его от тех историков и исторических направлений в России начала XX в., которые все шли за буржуазной исторической наукой или возвращались к ней. Идейное сближение закрепилось практически, действенным сближением

с революционным марксизмом в революционной борьбе пролетарской России, приведшим Покровского в ряды большевистской партии, в ряды деятельных участников Октябрьской революции и советского строительства.

В борьбе с буржуазными историческими школами за создание советской исторической науки положение большевика-историка поставило Покровского во главе советской исторической науки.

Покровский в русской исторической науке выступал не только в качестве ее радикального, передового представителя в период кризиса буржуазной науки, но на определенном этапе и как руководитель советских историков, создающих советскую историческую науку. Естественно, что на этих двух этапах различны были требования, предъявляемые к историку, различна мера для оценки его деятельности; то, что могло быть заслугой на первом историческом этапе, обнаруживало полную непригодность на втором.

И это еще не все. В Советской России Покровский имел учеников, так называемую «историческую школу Покровского». Эта школа развивала ошибочные, антимарксистские положения исторической схемы Покровского — одни бессознательно, не подвергнув их марксистско-ленинской критике, другие вредительски, прикрывая авторитетом учителя свою антисоветскую идеологическую деятельность. Конечно, было бы неверно просто отожествлять так называемую «школу Покровского» с самим Покровским: за нею не было его «прошлого» — ни прежних заслуг, ни бремени старых ошибок; они несут ответственность за «настоящее».

Партия и правительство, внимательно следя за состоянием советской исторической науки, указали в начале 1936 г., «что среди некоторой части наших историков, особенно историков СССР, укоренились антимарксистские, антиленинские, по сути дела ликвидаторские, антинаучные взгляды на историческую науку. Совнарком и ЦК ВКП(б) подчеркивают, что эти вредные тенденции и попытки ликвидации истории как науки связаны в первую очередь с распространением среди некоторых наших историков ошибочных исторических взглядов, свойственных так называемой «исторической школе Покровского». Совнарком и ЦК указывают, что задача преодоления этих вредных взглядов является необходимой предпосылкой как для составления учебников по истории, так и для развития марксистско-ленинской исторической науки и подъема исторического образования в СССР, имеющих важнейшее значение для дела нашего государства, нашей партии и для обучения подрастающего поколения».

Исторический путь Покровского [1]

Михаил Николаевич Покровский (1868—1932), как и Рожков, провел годы своего студенчества в Московском университете в 1887—1891 гг. и был учеником Ключевского в тот период,

[1] Наиболее полно научная биография Покровского на широком истори-

когда влияние экономизма сказывалось у него особенно сильно. Наряду с этим он испытал на себе также влияние школы социальных исследований, наиболее крупным представителем которой был историк западного феодализма П. Г. Виноградов.

Социально-экономическое направление исторических взглядов Покровского определялось уже в это время господствовавшей тогда в кругах передовой буржуазной интеллигенции экономической тенденцией. Отражение этой тенденции мы видели и в легальном марксизме и в исторических работах Рожкова конца 90-х — начала 900-х годов. У Покровского она нашла проявление в его статьях в «Книге для чтения по истории средних веков» под редакцией Виноградова и в книге «Русская история с древнейших времен до смутного времени», составленной Сторожевым. Его статья «Хозяйственная жизнь Западной Европы в конце средних веков» знаменует в известном отношении уже начало разрыва Покровского с основной буржуазной схемой, получившей свое выражение в школе Ключевского. Посвященная истории Западной Европы, статья выражала, однако, определенную позицию автора по вопросам русской истории, она утверждала тожество социально-экономического развития России и Западной Европы, сопоставляя и устанавливая тожество социальных категорий и правовых институтов; в ней проводилась, притом независимо от Павлова-Сильванского, до появления его первых работ, идея существования феодализма в России. Это было несомненным поворотом в трактовке русского исторического процесса, хотя и с позиций чистого экономизма, выдвигавшего на первый план действие внешних экономических факторов, ставившего обмен, значение торговли впереди производственных отношений.

В начале 900-х годов Покровский проделал следующий этап в эволюции радикальной мелкобуржуазной интеллигенции, оказавшись под влиянием «богдановской школы», замаскированного субъективного идеализма Маха — Авенариуса. Покровский с небольшим перерывом был официальным членом богдановской группы до 1911 г., а от влияния ее идей не освободился до самого конца своей жизни.

Революция 1905—1907 гг. завершила идейный разрыв Покровского с буржуазным либерализмом и привела его в ряды большевистской партии и даже в состав Московского комитета партии. Он уже признал «теорию классовой борьбы, как движущего начала истории», но в то же время оставался на теоретических позициях экономического материализма и даже выпустил в 1906 г. брошюру под этим названием. Это было свидетельством теоретической незрелости Покровского, отсутствия подлинно марксистских

ческом фоне дана в обстоятельной статье *А. М. Панкратовой*, Развитие исторических взглядов М. Н. Покровского (сб. статей «Против исторической концепции М. Н. Покровского», ч. 1).

основ в его позиции, и именно это предопределило легкость его отхода от партийной ленинской мысли, его возврат к богдановщине, к махизму в 1907 г., вступление в антиленинскую фракционную группу «Вперед», а после разрыва с богдановщиной привело его к сотрудничеству в органе Троцкого. Его историческая методология, представлявшая соединение экономизма и махизма, полностью определилась в основных его исторических работах, относящихся именно к периоду 1907—1916 гг. Таковы его «Русская история с древнейших времен» и «Очерки истории русской культуры».

В 1917 г. Покровский вернулся в ряды большевистской партии. В Октябрьские дни он был поставлен во главе Московского Совета рабочих депутатов, а с весны 1918 г. началась его работа как заместителя народного комиссара просвещения, как главы советской исторической науки, как руководителя Коммунистической академии, Института красной профессуры и других исторических центров. Покровский вел большую историческую работу в своих лекциях и статьях и в своей публикационной работе, поражающей своим обилием в эти годы его большой и разносторонней деятельности. Но и вернувшись в ряды большевистской партии, Покровский продолжал нести на себе печать богдановщины, приведшей его в начале Октябрьской революции в ряды «левых коммунистов».

Надо сказать, что Покровский видел эти ошибки, во всяком случае понимал, что он ошибается, когда партия ему на это указывала. Он хотел быть настоящим марксистом и сам вел упорную борьбу со всякими извращениями марксизма и со всякими антимарксистскими вылазками представителей буржуазной исторической науки прежде всего. Покровский старался вести эту борьбу и в отношении собственных теоретических ошибок. Он начал «исправлять» их уже в 1924—1925 гг. Он говорил об исправлениях и в дни своего юбилея в 1928 г., он указывал на конференции историков-марксистов в 1929 г. на трудное дело проветривания всяких «непроветренных» углов своего миросозерцания, испытавшего длительное влияние экономического материализма. В 1930 г. он попытался исправить свои ошибки в вопросе «О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России».

И все же, несмотря на все поправки, марксистско-ленинского понимания истории у Покровского так и не получилось. Это показывают все его исторические работы, кончая самыми последними, показывают и все его «поправки». Больше того, попытка разрешить вопрос поправками там, где речь шла о коренном пересмотре концепции, показывает, что Покровский в сущности до корня своих ошибок так и не дошел. И дело не в том, что он еще не успел дойти, а в том, что он не мог дойти. А. М. Панкратова права, когда она говорит, что «это произошло потому, что Покровский не усвоил марксистско-ленинской теории,

что его собственная историческая схема и методология были антимарксистские»[1].

Методология Покровского и марксизм

На конференции историков-марксистов в 1929 г., в докладе «Ленинизм и русская история», Покровский так определяет сущность марксизма: «Не только экономический материализм, т. е. экономическая интерпретация истории, но экономический материализм плюс борьба классов — это все-таки еще не марксизм. И только тот, кто признает политические выводы из марксизма, признает диктатуру пролетариата, тот — настоящий марксист»[2]. К этой формулировке Покровский возвращается неоднократно. В этом определении марксизма отчетливо сказался предел методологической эволюции Покровского. «Экономический материализм *плюс* борьба классов», принцип сложения (в других случаях вычитания), простого добавления к старому, — в этом и выразилась со всей непосредственностью механистическая сущность его методологии. Покровский ищет разрешения порочности теории экономического материализма в простом добавлении к старой схеме фактов классовой борьбы, не понимая, что простое добавление второго ряда фактов не изменяет существа первоначального ряда. Он не понимает, что учение о классовой борьбе в марксизме не стоит само по себе, что изменение должно состоять не в добавлении классовой борьбы к экономике, а в принципиально ином рассмотрении самих экономических явлений с точки зрения теории классовой борьбы, что речь идет не о механическом сложении разных элементов, а о диалектической переработке всего исторического содержания, всей системы отношений и фактов. Неслучайно в интерпретации марксизма-ленинизма у Покровского именно момент диалектики полностью отсутствует.

В недиалектичности, механистичности мировоззрения Покровского и заключается его основная порочность, его неспособность перестроить свои взгляды.

Полемика Покровского обычно направлена против ошибочных выводов автора, но никогда не доходит до действительных принципиальных оснований этих выводов, не вскрывает и значит не устраняет корней ошибок. Его критика превращается в механистическое отрицание, а не в диалектическое преодоление ошибок. Полемизируя с тем или иным историком, Покровский в конечном счете попадает в плен методологии своего противника; он сам становится на его методологические позиции: получаются два противоположных вывода, но строятся они на одном и том же основании. Критикуя Ключевского и создавая свою «Русскую историю» как бы в антитезу «Курсу» Ключевского, он в проблематике и в самой постановке вопросов шел на самом деле от Клю-

[1] Сб. «Против исторической концепции М. Н. Покровского», стр. 41.
[2] *Покровский*, Историческая наука и борьба классов, т. I, стр. 271.

чевского. Выступая же против народничества, он дал по сути дела народническую интерпретацию революционного движения 70—80-х годов XIX в. Именно в силу этой методологической порочности он лишь противопоставлял экономизму марксистское учение о классовой борьбе, но сохранял при этом всю систему взглядов экономического материализма.

Игнорирование диалектики выразилось в выпадении у Покровского и второго принципиального элемента исторического материализма — учения об общественно-экономических формациях, которым разрешался вопрос о диалектическом единстве исторических явлений.

Учение об обществе и проблема закономерности

Формально Покровский исходит из учения о формациях, в своей периодизации он говорит о феодализме, о капитализме. Но в действительности он далеко стоит от марксизма в понимании формаций. Сущность марксистского учения об общественно-экономических формациях заключается в раскрытии единства общественной жизни в системе ее внутренних противоречий, в том, чтобы раскрыть в самом этом единстве «...*корни* без исключения всех идей и всех различных тенденций в состоянии материальных производительных сил»[1]. Покровский это диалектическое единство заменяет механическим сведением всей общественной жизни к одному условному принципу или началу, из которого логически выводится формальное единство всего содержания данного общественного строя.

Вопрос сводится только к выбору самого принципа. Буржуазная историческая наука в лице юридической школы исходила из государственного начала, превращала историю общества в историю государства. Покровский противопоставил общество государству, но самую антитезу он брал в плане старой буржуазной методологии; у юридической школы выпадало общество, у Покровского выпало государство. Марксизм рассматривает государство в неразрывной связи с определенными производственными отношениями, чтобы в его классовой обусловленности понять историческое значение государства на отдельных конкретных этапах. Покровский просто устраняет государство и его деятельность из исторического процесса. Это обусловлено у Покровского тем, что и для него история сводилась к одному, только иному, началу: говоря об обществе, он имеет в виду экономику; уходя от государственной школы, он пришел к экономическому материализму.

При этом экономика лишена в его понимании социального содержания, превращается в чистую форму «экономических отношений». Отсюда и получился примат обмена над производственными отношениями, связавший первоначальную историческую схему

[1] *Ленин*, Соч., т. XVIII, стр. 13.

Покровского с легальным марксизмом и с богдановщиной: натуральное хозяйство, т. е. отсутствие обмена, характеризует феодализм; развитие обмена и роль торгового капитала определили переход к капитализму в системе торгового капитализма. Учение о торговом капитализме было лишь логическим выведением всего содержания эпохи из единого формального начала — торгового капитала.

Неудивительно поэтому, что в этой экономической схеме Покровского первоначально и не нашлось места для классовой борьбы. Ее нет в «Русской истории с древнейших времен», нет и в «Очерках по истории русской культуры». Разрыв между экономикой и политикой устранил из исторического процесса самих людей и сознательное действие классовых сил; по выражению Покровского, «прошлое внесет свое, будьте спокойны, и без всякого содействия с нашей стороны»[1].

Тот же разрыв остался и тогда, когда Покровский под давлением уроков Октябрьской революции и уроков марксизма попытался восстановить в правах классовую борьбу и возвратить ее на страницы русской истории. Классовая борьба так и оставалась чем-то посторонним, чисто внешним к общему историческому процессу, без реальных корней в историческом развитии самих общественных отношений. Вернувшись в русскую историю в форме «крестьянской революции» в начале XVII в., она и продолжала жить в этом своем первоначальном виде на всем протяжении дальнейшей истории России. «В течение 300 лет боролось мелкое крестьянское хозяйство с крупным помещичьим» — таков, по Покровскому, стержень русской истории вплоть до Октябрьской революции. Поэтому «рабочая революция России была частью мировой рабочей революции, эпизодом интернационального рабочего движения... Если мы будем отыскивать национальные корни русской революции, то нам придется взять, конечно, не революцию рабочую, которая, повторяю, является фактом международным, а не национальным, а придется взять революцию крестьянскую, придется взять переход земли в руки крестьян»[2]. Так определял Покровский природу классовой борьбы в русской истории еще в 1924 г. Классовая борьба оказалась, таким образом, лишь внешним моментом в истории экономического развития России. Оставались две системы фактов, только ударение переносилось с одной на другую, и тогда первая отходила на задний план. Но тем самым классовая борьба выпадала из внутреннего содержания общественного развития, утрачивалось понимание «диалектики вещей», лежащей в основе всего учения марксизма-ленинизма.

Все это и обусловливало понимание исторической закономерности Покровским. Покровский признает единство исторического

[1] *Покровский*, Историческая наука и борьба классов, т. II, стр. 261.

[2] *Покровский*, Очерки по истории революционного движения в России в XIX и XX веках, стр. 7—8.

процесса и тожество закономерности исторического развития у отдельных народов. Но при этом он стоит перед лицом двух, между собою не связанных систем явлений. С одной стороны, оказывались экономические явления с внутренней закономерностью их исторического следования. Но замкнутые в одном абстрактном логическом ряду, они давали не диалектику общественного развития, а только последовательную смену экономических явлений.

С другой стороны, классовая борьба оказывалась оторванной от реальной материальной экономической базы, она не вырастала из развития производственных отношений, а как бы извне вносилась в ход истории в качестве внешне действующей силы. Покровский связывал впоследствии свой переход к махизму, к богдановщине, с своеобразной реакцией против этого общего увлечения экономическим материализмом[1].

Выступив в 1904 г. против риккертианства со статьей «Идеализм и законы истории»[2], Покровский, в силу отмеченных уже свойств своей методологии, не исправил, а углубил ошибку Риккерта; отвергнув противопоставление наук о природе и наук о духе, он отверг объективность закона вообще. Объективность закона заменялась в махистской схеме Покровского логическим понятием целесообразности. «Преодолеть хаос можно только одним путем, упрощая его. Из миллионов действительных и возможных впечатлений мы берем два, три, которые нам нужны для практических целей ориентировочно. Если они выбраны удачно, — дают возможность в краткой формуле охватить то, что составляет для нас сущность явления, то, чем оно для нас важно, — этого достаточно»[3]. Это было, таким образом, «приложением критерия Маха к истории», признанием, что объективное знание мира, вещей вне нас, вообще не существует, а есть только наше субъективное представление о вещах. Именно на базе этой махистской теории, а не на основе диалектического метода марксизма вводил Покровский классовую борьбу в историю, и именно отсюда происходила ее бесплодность в исторической схеме Покровского.

Классовая борьба была для Покровского принадлежностью политики, субъективным, а не объективно-историческим началом. Маркс говорил о классовой борьбе как о действии начала необходимости в истории, как о действительном законе общественного развития в классовом обществе. Покровский говорил о «политике, обращенной в прошлое». Эта богдановская махистская концепция сидела в нем крепко. Его понятие классовой борьбы не включало в себя законов классовой борьбы, а являлось лишь субъективным истолкованием истории. В этой субъективности и условности источник и тех колебаний и резких переходов в истолковании и оцен-

[1] *Покровский*, Историческая наука и борьба классов, т. II, стр. 298.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 23.

ке одних и тех же событий, которыми изобилуют работы Покровского [1].

Закономерность заменилась условной схемой. Ее основной элемент — классовая борьба не обусловливалась реальными отношениями, не вытекала из процесса в целом, не вырастала «...на *почве* действительной истории»[2], а, напротив, искусственно выключалась из всего комплекса конкретных отношений и фактов, которые отбрасывались как ненужная деталь, заслоняющая основное. Это было связано с непониманием основного положения марксизма, для которого коммунизм — «не *состояние*, которое должно быть установлено, не *идеал*...», а «*действительное* движение...»[3] Покровский не понимал, что это «действительное движение» может быть показано в своей закономерности и конкретной необходимости лишь при условии целостного рассмотрения всей совокупности реальных отношений в системе гражданского общества, совокупности, которая «обнимает все материальное общение индивидов...», как «истинный очаг и арена всякой истории...»[4] Вместо марксистского понимания классовой борьбы как содержания исторического процесса в целом, проходящего через всю систему конкретных отношений, классовая борьба выделялась как особая система фактов в специальную «историю революционного движения». В действительности это давало не очищенное, а суженное и абстрактное понимание классовой борьбы, вырванное из конкретной связи явлений и потому лишенное внутренней обусловленности и закономерности своего собственного развития. При этом сама революционная борьба превращалась в ряд революционных вспышек, оторванных от понимания классовой борьбы, пронизывающей все содержание истории.

Покровский видел в этом проявление «партийности в науке». Марксизм требовал от историка партийности, понимая ее, по определению Ленина, как высшую форму объективности, как установление «действительного движения» вперед с его классовой направленностью, противопоставленное голой апологии существующего, признанию наличных фактов. Покровский обращал ее не вперед, а назад, не в практику будущего, а в искусственное перекраивание прошлого. Ленин требовал от историка умения увидеть и понять классовую революционную сущность в действительной истории, а Покровский видел революционность в том, чтобы из самой истории брать только факты революционного действия. Он понимал революционность истории как революционность тематики, забывая, что если «...не даны условия и истоки», то

[1] Наглядную картину этих изменений дает сборник статей Покровского о декабристах.

[2] *Маркс* и *Энгельс*, Немецкая идеология, т. IV, стр. 28.

[3] Там же, стр. 26.

[4] Там же, стр. 26—27.

и сама Октябрьская революция «остается немотивированной...»[1]

Партийность он понимал как субъективизм, а не как высшую объективность, не как раскрытие реальных фактов с их реальным классовым содержанием. В этом смысле марксизм представлялся Покровскому тожественным всякой идеологии, ограниченным, субъективно-классовым и поэтому таким же искаженным и относительным познанием действительности, ее «кривым зеркалом». Поэтому и сами факты получали субъективно-условный характер: «Это, говорят, факты, такие факты были... — пишет Покровский. — А между тем, дорогие товарищи, это вовсе не факты. Это идеология, т. е. отражение фактов — я не знаю как сказать — в вогнутом или выпуклом зеркале с чрезвычайно неправильной поверхностью»[2].

Этим определялось отношение схемы Покровского, его исторического метода к фактам, к конкретности исторической действительности. Не в реальном, фактическом содержании раскрывается им закономерность классовой борьбы, а в исторической действительности отбираются те факты, которые составляют непосредственное проявление этой классовой борьбы.

Не поняв марксизма, не найдя действительного научного фундамента, он пошел по пути той же буржуазной науки, не чувствуя, что, идя по пути формального отбора, вырывая факты из «живой жизни», из живой конкретной действительности, он сам себе закрывал путь к пониманию этих фактов и закономерности их исторического развития. Оторвав факты от теории, он противопоставлял факты теории, а теорию, оторванную от фактов, от конкретной реальной базы, делал тоже мертвой и бесплодной. Вместо «живой жизни» он давал абстрактную схему, в которой никакой реальности не осталось.

Вместе с реальными фактами выпадала и реальная конкретная личность как составная часть исторического процесса. И здесь Покровский полагал, что идет за марксизмом, а на самом деле он искажал его учение. В признании исторической роли личности Покровский видел лишь народнический культ героической личности. Но марксизм, доказывая, что «...не герои делают историю, а история делает героев, следовательно, — не герои создают народ, а народ создает героев и двигает вперед историю», указывал в то же время, что «герои, выдающиеся личности могут играть серьезную роль в жизни общества лишь постольку, поскольку они сумеют правильно понять условия развития общества, понять, — как их изменить к лучшему»[3].

[1] *И. Сталин, А. Жданов, С. Киров*, Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР.

[2] *Покровский*, Историческая наука и борьба классов, т. I, стр. 10.

[3] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 16.

Это значило, что деятельность личности осуществляется в рамках и пределах, установленных исторической закономерностью, которая сама, однако, осуществляется через деятельность людей и при их осознанном или неосознанном участии. В представлении Покровского, исторический процесс, поскольку он причинно обусловлен, совершается через голову самих людей, помимо их участия. Отсюда то нигилистическое начало, которое господствует в исторических работах Покровского и по отношению к крупным историческим личностям и по отношению к тем идеалам, которые, овладевая сознанием людей, могут двигать отдельными людьми или массами людей, превращаясь тем самым в материальную силу исторического развития. Отрицание буржуазного идеализма превращалось механически в отрицание и самих идеалов, порождаемых исторической действительностью и тем самым входящих в ее реальное, конкретное содержание.

В этом суженном, искусственно обедненном содержании вошла историческая действительность в историческую концепцию Покровского.

Исторические работы Покровского

Покровский оставил после себя значительное число исторических работ. К досоветскому периоду относятся два обзора русской истории— «Русская история с древнейших времен» и «Очерки по истории русской культуры». Обе работы возникли в эмиграции: первая — в 1907—1910 гг., вторая — накануне империалистической войны. К этому же времени относится и его деятельное участие в «Истории России XIX в.», издававшейся издательством «Гранат» при участии наиболее радикальной группы историков. Эти работы писались в отрыве от архивов, от документальной базы, на материале, взятом из вторых рук, и представляли зачастую скорее размышления о русской истории, критическое рассмотрение чужого материала, установившейся исторической традиции, а не научное исследование, построенное на самостоятельном изучении источников, на базе фактического материала. Этим в известной мере определялся стиль историка, формировался его научный метод.

Вместе с тем это наложило свою особую печать на обе основные работы этого периода. «Русская история с древнейших времен» (четырехтомник), доведенная до начала XX в., противопоставлялась «Курсу русской истории» Ключевского, но поэтому и шла за Ключевским, повторяя и его план и его тематику; оказалась в известной мере та же схема, но с других позиций, в другом освещении. «Очерки по истории русской культуры» должны были явиться антитезой «Очеркам» Милюкова; и опять оказалось, что в самом своем построении, хотя бы и бессознательно, автор пошел за чужой схемой. В «Очерках» Покровского повторено расчленение всего исторического материала на условные тематические ряды, весь материал дан по вертикальным разрезам: экономика, госу-

дарство, культура. И хотя к самой оценке отдельных явлений и их значения автор и здесь подходит с иных позиций, внося в нее, с одной стороны, принцип экономического материализма, с другой — классовую оценку государственной деятельности, но в самом понимании исторического процесса разрушался основной марксистский принцип рассмотрения целостного процесса общественной жизни в непосредственном единстве и внутренней связи явлений.

Специальное внимание Покровского привлекли в этот период вопросы внешней политики России в XIX в.; его статьи, связанные в основном с «Историей России в XIX в.», вышли впоследствии отдельной книгой под названием «Дипломатия и войны царской России в XIX в.» Методологическую ошибку этих статей, связанную с схематическим пониманием классовой политики в системе экономического материализма, Покровский сам отметил в своем «Послесловии» 1924 г.: «Международным отношениям дается в них освещение не столько с точки зрения реальных экономических интересов различных социальных групп (точка зрения Маркса в его статьях о внешней политике), сколько от идеологии этих групп. Дворяне будто бы ведут свою «феодальную» политику, промышленный капитал — свою «либеральную» и т. д. [1] При всем том это была первая попытка в русской исторической литературе связать внешнюю политику с анализом внутренних классовых отношений.

С Октябрьской революции начался новый этап научной деятельности Покровского. Центр тяжести переместился в сторону истории классовой борьбы и революционного движения. На грани стоит его «Русская история в самом сжатом очерке», первые две части которой вышли в 1920 г. Книга писалась, так сказать, в условиях военных действий, в разгар борьбы за утверждение советской власти. Это придало самой книге в значительной мере характер борьбы, разоблачения и уничтожения старых буржуазных схем и концепций. В полемической заостренности и доступности состояло бесспорное значение этой книги на том этапе. Это отметил в ней Ленин, указавший, однако, и другое — необходимость дополнить очерк фактами, хотя бы в виде хронологического указателя: «Учащиеся должны знать *и* Вашу книгу *и указатель*, чтобы не было *верхоглядства*, чтобы ***знали факты***, чтобы учились сравнивать старую науку и новую»[2]. В «Сжатом очерке» русская история сведена уже вполне к условной схеме и превращается в историю революционного движения, начиная с «киевских революций XI—XII вв.», через «крестьянские революции» XVII—XVIII вв. и выступления «революционной буржуазии» (декабристов) к «народнической революции» второй половины XIX в.

[1] *Покровский*, Дипломатия и войны, стр. 390.
[2] *Ленин*, Соч., т. XXIX, стр. 442.

Истории революционного движения в России посвящена основная часть его работ этого периода, начиная «Очерками по истории революционного движения в России XIX и XX вв.» и третьей частью «Сжатого очерка» и кончая статьями по истории Октябрьской революции. Как указывалось, переход к проблемам классовой борьбы не был преодолением старых черт экономического материализма. Своеобразное сочетание одного и другого наглядно сказалось в «Очерках истории революционного движения», в которых Покровский пытался вывести закономерность развития революционного движения из колебания хлебных цен, попрежнему подменяя формальными экономическими условиями обмена социальное содержание системы общественных производственных отношений.

Другая линия научных работ Покровского представляла продолжение его прежних работ по истории внешней политики. К этим работам относится его «Внешняя политика России в XIX в.», составившаяся из лекций 1925 г. и многочисленных статей, посвященных истории империалистической войны.

Вопросы русской историографии определили третье направление научной работы Покровского этого периода. Свою общую концепцию русской историографии Покровский изложил в цикле лекций во II Коммунистическом университете в 1923 г.; они были изданы в 1925 г. под названием «Борьба классов и русская историческая литература». К этому очерку примыкает ряд статей, относящихся к отдельным явлениям русской исторической науки, отчасти связанных с переизданием отдельных буржуазных исторических работ. Эти статьи уже после смерти Покровского были собраны в двух томах[1].

С именем Покровского связана и организация ряда исторических публикаций, среди которых на первом месте стоит издание документов по истории мировой войны — «Международные отношения эпохи империализма».

Общая концепция русской истории. Вопросы периодизации

Общую периодизацию русской истории Покровский дал в терминах, которые связаны с марксистской периодизацией истории. Он говорит о феодализме и капитализме, а впоследствии, в «Очерках по истории революционного движения в России» добавляет и период империализма. Но их конкретное понимание искажено в соответствии с общей методологией Покровского и его пониманием учения о формациях.

Самое определение феодализма Покровский взял не у марксизма, а у буржуазной исторической школы, заимствовал его у Гизо, от которого это определение перешло и к Павлову-Сильванскому. Определение феодализма сведено им к «трем основным признакам»: «господство крупного землевладения», «связь с землевладе-

[1] *Покровский*, Историческая наука и борьба классов, М.—Л. 1933.

нием политической власти», «иерархия землевладения»[1]. Впрочем, на практике сам Покровский не остается в рамках этого юридического определения; в своем конкретном рассмотрении он вводит экономический признак натурального хозяйства и анализ социальных отношений, складывавшихся на основе соединения крупного землевладения с мелким хозяйством. И в характеристике самого процесса феодализации Покровский шел в значительной мере за Павловым-Сильванским, работам которого он давал и в дальнейшем высокую оценку. Самый переход к оценке феодализма не только как суммы известных правовых институтов, а как цельной системы отношений, как этапа исторического развития, представлял несомненный шаг вперед для русской историографии. В этой связи стоит и определенное расширение хронологических рамок феодализма у Покровского. Он пытается уже отойти от объяснения установления феодальных отношений внешними фактами перемещения на северо-восток или татарского завоевания и связывает это с торжеством натурального земледельческого хозяйства, которое он, в отличие от Ключевского, находит уже в Киевской Руси. Хотя сам он и не дает точной хронологической периодизации, но общая характеристика явлений свидетельствует, что начало процесса относится Покровским уже к XI в. В этом отношении «Очерки по истории русской культуры» и особенно «Сжатый очерк» представляли даже шаг назад по сравнению с «Русской историей»: автор возвращался вспять, к буржуазной схеме, снова связывая начало феодализма с удельным периодом в Северо-восточной Руси, и, следуя в известной мере за Ключевским, исходил из рабовладения в характеристике классовых отношений Киевской Руси.

Но, как отмечалось выше, самая характеристика феодализма выводилась им из единого формально выделенного начала, снимавшего внутреннюю антагонистичность системы классовых отношений и проблему внутренней эволюции феодальной формации. Этим определилось решение проблемы перехода к следующему периоду, определение новой формации.

Покровский и здесь делал попытку отбросить старое деление по политическому признаку и найти материальную основу исторической эволюции. Новый признак периодизации он брал в экономике. Надо сказать, что Покровский исходил при этом также из правильного конкретного наблюдения относительно роста рыночных отношений, рыночного обмена в XVI в. и развития денежного хозяйства. Но, отметив эти явления, он не сумел понять их место в общей системе социально-экономических отношений. Сведя феодализм к одному единому началу, он игнорировал указания Маркса, что начало выделения города как рыночного центра составляет также органический признак развития феодализма и что первые

[1] *Покровский*, Русская история с древнейших времен, т. I, стр. 30.

формы капитала — торговый и ростовщический — принадлежат экономическому строю феодальной эпохи на определенном этапе ее развития.

Для Покровского выделение торгового капитала равносильно вытеснению старого феодального начала; вместо анализа соотношения и противоречия двух начал с последовательной эволюцией экономической и классовой структуры получалось торжество одного начала и автоматическое исчезновение другого из поля зрения историка. Развитие феодального строя в систему крепостных отношений оказывается лишь производным явлением отношений торгово-капиталистических. Факт роста торгового капитала превратился у Покровского в основу теории торгового капитализма. Как указано, это связывало Покровского и с легальными марксистами и с богдановщиной. Под воздействием этих идеологических влияний теория торгового капитализма постепенно заполнила мысль Покровского; эту теорию, применительно к русской истории, он ставил себе в заслугу еще на конференции историков-марксистов в 1929 г. Она проникает, с одной стороны, в его концепцию предшествующего периода русской истории, смыкаясь с теорией торговой Руси Ключевского, с другой — проходит через всю дальнейшую историю России вплоть до Октябрьской революции. Покровский безнадежно смешал понятия торгового капитала и торгового капитализма, промышленного капитала и промышленного капитализма. Поэтому всякое выдвижение на политическую арену интересов торгового капитала кажется ему проявлением особой системы отношений торгового капитализма, и то же происходит в отношении промышленного капитала. Самая смена одного другим рисуется ему чисто механически: достаточно появления при Петре I купеческих мануфактур, чтобы торговый капитал превратился в промышленный. Отсюда — появление промышленного капитализма при Петре I, его столь же внезапное исчезновение и не совсем отчетливое восстановление в XIX в.

Мы отметили выше, что в «Очерках революционного движения» Покровский устанавливает для России также наличие следующего периода — империализма. Но и его понимание империализма идет не от Ленина, а от Гильфердинга, на которого сам он ссылается. Империализм Ленин характеризовал пятью признаками, включающими всю сложность экономических, классовых и политических противоречий [1].

Покровский, вслед за Гильфердингом, свел эту характеристику к двум признакам, и оба оказались в плоскости торгово-капиталистических отношений: во-первых, таможенные пошлины, создающие монопольное положение внутри страны; во-вторых, «стремление раздвинуть таможенные границы», т. е. стремление максимально расширить сферу действия национальных монополий.

[1] См. *Ленин*, Соч., т. XIX, стр. 142—143.

Неудивительно, что теория торгового капитализма продолжала уживаться у Покровского с этим пониманием империализма. Признав, казалось бы, переход России в систему империализма, Покровский и после этого продолжал расценивать внешнюю политику русского царизма в XX в., и прежде всего русско-японскую войну 1904—1905 гг., как торгово-капиталистическую.

В общей схеме русской истории у Покровского есть еще один пробел, связывающий его с буржуазной историографией. В схеме русской истории Покровского не оказалось места для народов, входивших в состав России. Это в известной мере явилось результатом прежде всего того положения, что самая схема Покровского сложилась до Октября и что строил он ее на том материале, который черпал из буржуазной историографии. И все-таки в этом вопросе Покровский оказался даже позади Преснякова.

Но кроме этой формальной стороны вопроса есть и идеологическая. С национальной проблемой у Покровского повторилось то же, что с понятием объективности. Он не подошел к марксистскому раскрытию проблемы. Он отожествил ее действительное содержание с тем пониманием, которое давала ей буржуазная наука, и, ополчившись против буржуазного национализма, он отбросил и национальную проблему, с водой выплеснул из ванны и ребенка. Он отбрасывает всякое национальное движение в истории русского народа, самую проблему национального объединения, так четко поставленную еще у Энгельса и потом так тщательно разработанную Лениным и Сталиным; для него не существует и борьбы народа за свою национальную независимость. Как бы в пику национальному чувству, он хочет показать высокую культурность и даже культурное влияние Золотой Орды на Московскую Русь.

Рядом с русскими (великоруссами) только украинский народ попадает на страницы его истории. Но и эта тема взята в сущности в плане «воссоединения Руси», в духе буржуазной историографии, и только в разрез с нею, отбрасывая национальное вместе с националистическим, он готов считать совершенно равнозначным для самого украинского народа присоединение к Польше и присоединение к Москве. В этом вопросе он частично следует за Костомаровым.

Так, в сложном столкновении двух начал, под перекрестным влиянием двух исторических направлений складывалось конкретное построение исторической схемы Покровского. Ее природа и значение могут быть всего лучше поняты из сопоставления с той буржуазной схемой, от которой она фактически исходила, и, с другой стороны, с ленинской концепцией, терминологией которой она, повидимому, пользовалась, но смысл которой она полностью искажала. Говоря об отношении Покровского к марксизму, мы отмечали отсутствие основного элемента марксистской теории и методологии—отсутствие диалектики. Это сказалось и на конкретном

содержании: всюду, где у Ленина дана ясная и глубокая диалектическая характеристика исторических явлений, у Покровского ее элементы выступают в механической разобщенности, разложенными на части, размещенными в пространстве или во времени.

Основные проблемы русской истории в «четырехтомнике»

Первое противоречие возникло у Покровского из попытки сочетать признание феодализма в России со схемой торговой городской Руси Ключевского. Признание феодализма и связанного с ним господства натурального хозяйства внесло крупное изменение в старую концепцию Киевской Руси, показав древность русского земледелия. Но при этом в рамках натуральнохозяйственной экономической интерпретации феодализма не оказалось вовсе места для древнерусского города. И тогда вместе с городом постепенно возвращается в общую схему и торговая теория Ключевского в форме торгового капитализма, носителем которого был объявлен древнерусский город. В характеристике города XI в. говорится о «засилии, какое стал забирать торговый, а вместе с ним, конечно, и ростовщический капитал»; киевский князь Святополк Изяславич (XI—XII вв.) оказывается «весьма типичным представителем первоначального накопления», который вступился «за мелких торговцев»; «капитал работал не только в городе, а и широко вокруг него»[1].

Таким образом, вместо единства социально-экономической формации получилось противоречие двух обособленных экономических систем — торгового города и феодальной деревни. Для Покровского именно здесь оказалось основное противоречие эпохи, в стороне от которого неизбежно оказалась вся классовая борьба этого периода. Классовая борьба врывается как-то извне, в виде своеобразных «городских революций» в Киеве в 1068 и 1113 гг., социальный смысл которых остается неразрешенным. В конечном счете противоречие эпохи решается внешней силой— монгольским завоеванием: «Татарский разгром одним ударом закончил... процесс разложения городской Руси X—XII вв.»[2], осуществил перегнивание городской Руси в деревенскую, как формулирует Покровский это положение в «Сжатом очерке». К этому присоединилось в качестве экономического объяснения перемещение мировых торговых путей.

Непонимание феодальной природы средневекового города отразилось на характеристике Новгорода. Покровский и здесь пошел, в конечном счете, за Ключевским и так же, как и Ключевский, прошел мимо работ Никитского. Подобно буржуазным историкам, он видел в Новгороде демократическую республику, погибшую в результате разложения ее демократического строя. Покровскому и здесь нехватает классового анализа политического

---

[1] *Покровский*, Русская история, т. I, стр. 30.
[2] Там же, стр. 93.

строя. Он отожествляет демократию с вечевой организацией, не замечая, что в первые века, в XII и даже в XIII в., вече было по сути дела орудием в руках новгородской феодальной верхушки. Ему непонятна поэтому и дальнейшая эволюция веча. Организационный рост демократических, прежде всего ремесленных элементов Новгорода привел к их активному выступлению на вече и породил конфликт с городской олигархией, перенесшей свою деятельность в совет господ. Покровский проглядел эту реальную классовую борьбу, развернувшуюся на вече, начало действительной демократизации, не удавшейся в силу господства феодальных отношений.

Еще сильнее сказалась зависимость Покровского от буржуазной историографии в истории образования Московского государства. И здесь, как у Ключевского, в центре вопроса осталось «возвышение Москвы» с ростом ее торговых связей, торгово-капиталистических интересов. Торговой конкуренцией объяснено и завоевание Новгорода. Итогом этого процесса оказывается «аграрный переворот первой половины XVI в.» (глава VI).

Мы определили выше происхождение теории торгового капитализма у Покровского и подчинение ему феодальных отношений в системе крепостного хозяйства.

Отражением этого положения в истолковании конкретных исторических явлений явилась прежде всего известная характеристика московского самодержавия как «торгового капитала в шапке Мономаха». Лишь в 1930 г. Покровский впервые попытался внести известную оговорку в эту свою формулу. Соответствующую «буржуазную» интерпретацию получила и опричнина, общую характеристику которой Покровский заимствовал у Платонова: «Переворот 1564 г. был произведен коалицией посадских и мелкого вассалитета, точно так же как «реформы»[1] были делом коалиции буржуазии и боярства»[2].

Теория торгового капитализма, утверждающегося в XVI в., определила и трактовку классовой борьбы периода XVI—XVIII вв. Покровский не видит действительных классовых сил, выступающих в этой борьбе. Следуя за Ключевским, он, как и Ключевский, придает «смуте» прежде всего династический характер, как и Ключевский, опускает и крестьянскую войну под руководством Разина. И дело по существу в том, что в концепции Покровского Разину и делать-то было нечего. Крестьянская война направлена против феодального строя, а, по Покровскому, в России уже оказывался капитализм. И если Разин исчез в «Русской истории» Покровского, а Пугачев все-таки остался, то объясняется это тем, что вторая половина XVIII в. представлялась Покровскому периодом феодальной реакции, и поэтому у восстания Пугачева оказывался свой исторический смысл.

[1] Имеются в виду реформы Избранной Рады.

[2] *Покровский*, Русская история, т. II, стр. 206.

Позже, в «Сжатом очерке», в разрезе истории революционного движения Покровский дал крестьянскую войну, но тогда она сразу же превратилась в «крестьянскую революцию», цели которой так и остаются невыясненными, так как непонятно, о какой смене формаций должна итти речь.

Первая крестьянская война первоначально представлялась ему только дворянской смутой, разрешаемой при участии буржуазии; даже движение Болотникова было представлено только придатком дворянского движения Ляпунова и Пашкова. В «Сжатом очерке» движение Болотникова превратилось в крестьянскую революцию, но большей классовой ясности от этого не получилось, а вся схема превратилась в своеобразное противопоставление буржуазным схемам и оценкам. Лжедимитрий превратился в «названного» Димитрия, считающего себя подлинным царем, и чуть ли не в крестьянского царя, Шуйский — в купеческо-боярского царя, а народное ополчение против интервентов — в «борьбу с революцией», возглавляемую городской буржуазией, ставленниками которой и оказываются Романовы.

В «Сжатом очерке» появилась и «крестьянская революция» под руководством Разина, но она оказалась в значительной мере движением против торгового капитала, действовавшего в Поволжье, т. е. самое существо противофеодального движения оказалось стертым. Об этом упоминалось и в третьем томе «Русской истории» в связи с анализом «пугачевщины». Покровский развивал здесь мысль, что «разинщина» как крестьянское движение не могла развернуться, потому что крестьянское хозяйство якобы шло на подъем, что поэтому его подняло население Поволжья, «непосредственно эксплоатировавшееся торговым капиталом» [1]. Напротив, «восстание крестьян в 1773—1774 гг. было первым ответом на интенсификацию барщины» [2].

Проблема Петровских реформ тесно связана с общим пониманием XVIII в. В дворянско-буржуазной историографии утвердилась тенденция начинать с Петра I новый период русской истории, сменяющийся реакцией «эпохи дворцовых переворотов» и возобновляющий свое поступательное движение с Екатерины II. Покровский начал с критики буржуазной схемы, показав, что никаких принципиальных изменений в политике после Петра I не наблюдается. Но в итоге он лишь частично видоизменил старую схему, отодвинув феодальную реакцию до середины XVIII в. Между тем Ленин уже указывал на процесс формирования буржуазного уклада, начинающийся «примерно с XVII в.»; в середине XVIII в. отчетливо определился уже антагонизм двух систем, и период Екатерины II характеризуется не только реакционной политикой правительства, но и подъемом буржуазного и народного

[1] *Покровский*, Русская история, т. III, стр. 103.
[2] Там же, стр. 104.

массового движения, — не только восстанием под руководством Пугачева, но и деятельностью Радищева, Кречетова, Пнина, Новикова и многих других. Этот диалектический процесс начинавшегося кризиса феодально-крепостнической системы оказался механически расчлененным на две составные части, из которых одной отведена первая половина века, другой — вторая.

Петровский период показан как торжество торгового капитализма с зарождением промышленного; даже административная реформа подается Покровским в виде «буржуазной администрации петровской России». Но если, с одной стороны, прогрессивность эпохи Петра I должна была выступить при этом как бы еще резче, то в конечном итоге формальная антигосударственная тенденция приводит Покровского почти к концепции Милюкова, кончая формулировкой об «агонии буржуазной политики» и полным развенчанием личности самого Петра, в противоположность всем высказываниям теоретиков марксизма-ленинизма.

Период второй половины XVIII в. выступал в этой схеме только как «новый феодализм», а классовая оппозиция — только в восстании Пугачева. Таким образом, выпадала другая важнейшая проблема — развитие буржуазных отношений, буржуазного и буржуазно-демократического движения; выпадала проблема французской буржуазной революции в ее отношении к внутренней и внешней политике России, тем самым и вопрос о превращении царизма в европейского жандарма.

В трактовке Александра I Покровский пошел в основном за буржуазной историографией. Александр I выступает лишь в качестве оппозиции Павлу и даже с налетом либерализма, а реакция второй половины царствования как бы проходит мимо Александра I с его мистическими мечтаниями — как дело Аракчеева.

Проблемы буржуазного развития и революционной борьбы XIX—XX вв.

Покровскому не удается понять и дальнейший процесс развития буржуазных отношений в России. Ленин дал диалектическую характеристику декабристов как дворянских революционеров, т. е. дворян по происхождению, но представителей буржуазной революционности. У Покровского эта формула оказалась снова механически расчлененной на две части: декабристы Северного общества оказались просто дворянами, декабристы Южного общества, во главе с Пестелем, — революционерами.

Аналогичное явление получилось у Покровского и с реформой 1861 г. Ленин определил ее как буржуазную реформу, но осуществленную крепостниками и потому совмещавшую в себе и буржуазные и крепостнические черты. У Покровского осталась опять лишь одна половина этой характеристики — крепостническая реформа, в результате которой положение крестьян лишь ухудшилось.

Отсюда явилась и вся характеристика последующего периода. Согласно Покровскому, канун реформы представляется не кризисом, вынудившим реформу, а эпохой подъема; напротив, пореформенный период оказывается периодом кризиса. Не рассмотрев процесса развития капиталистических отношений и формирования рабочего класса, Покровский не может разобраться и в революционном движении этого периода. В «Русской истории» он, бессознательно идя за народниками, представляет себе это движение как интеллигентское и во главе его ставит студенческое движение. В «Сжатом очерке» он прямо говорит о «народнической революции». Как бы то ни было, в обоих случаях он полностью игнорирует и развитие рабочего движения, уже выступившего наружу в 70-е годы, и дезорганизующую роль народнического терроризма в отношении этой формирующейся подлинно революционной борьбы. В «Очерках революционного движения в России» он завершает это сползание в плен народнических идей, признав кулака основной революционной силой в деревне.

«Кулаки представляли из себя уже в 70-х годах, несомненно, слой наиболее демократический в деревне, и могли бы быть опорой политической революции», — это Покровский писал в 1925 г. [1]

Как указывалось выше, принятие «империализма» для России конца XIX в. по сути дела ничего не изменило в конкретных исторических взглядах Покровского. Сущность политической власти и сущность политики, прежде всего внешней, оставалась торгово-капиталистической. В очерке «Внешняя политика России в XX в.» Покровский продолжал рассматривать самодержавие, как «аппарат торгового капитализма», а во внешней политике видел прежде всего борьбу за торговые пути. В третьей части «Сжатого очерка»[2] Покровский также говорит о политике «Торгового дома Романовых», уподобляя Николая I «старозаветному купцу». Дальневосточная политика Витте в его характеристике «заключала в себе кое-какие зачатки империализма... но в основе это было продолжение захватнической колониальной политики Романовых XVIII—XIX вв.»; это было «дикое, первобытно-торгашеское и феодальное колонизаторство его коронованных господ, Романовых» [3].

«Направление русского империализма определилось именно интересами русского торгового капитала в первую голову»[4],—писал Покровский в «Очерках истории революционного движения».

Не изменились и внутренние отношения. В изображении Покровского, рабочий класс в России не был готов к революционному движению ни накануне революции 1905 г., ни даже в 1917 г.

---

[1] *Покровский*, Очерки по истории революционного движения, стр. 72.
[2] Издана в 1923 г.
[3] *Покровский*, Русская история в самом сжатом очерке, ч. 3, стр. 75.
[4] *Покровский*, Очерки по истории революционного движения, стр. 129.

Вместе с тем он и для XX в. продолжает считать, что «кулак — это первый либерал в деревне, и что это опора в деревне демократической революции», ссылаясь при этом на свидетельство Преображенского [1]. При этих условиях он не может понять значение организующей роли партии и руководства большевистской партии в революции 1905—1907 гг.

Историю революции 1905—1907 гг. он трактует в «Сжатом очерке» скорее по-меньшевистски. Причина неудачи для него состоит в конце концов в незрелости рабочего класса, с одной стороны, а с другой—в том, что «склока большевиков с меньшевиками лишала тех и других доверия в глазах рабочей массы» [2].

И в оценке результатов революции, обращаясь к вопросу о вооруженном восстании, Покровский, начав как будто бы с признания правильности линии большевистской партии, закончил возвратом к первоначальному тезису о неподготовленности масс, приводившему по сути дела к меньшевистскому выводу. «В декабре 1905 г. в Петербурге именно этой надежды на успех не было. Истощение было не материальное, а политическое. Пролетариат устал бороться...» Он делал и последний логический вывод, что неверно было бы искать здесь чьей-либо вины, прямо оправдывая меньшевистское руководство Петербургского совета во главе с Троцким.

Покровский не понял и основного ленинского учения о перерастании буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Он не понял его в революции 1905—1907 гг. и даже пытался уверить, что сам Ленин пришел к этому учению лишь через десять лет после первой революции. Он не понял его и для революции 1917 г., не понял процесса перерастания Февральской буржуазно-демократической революции в пролетарскую революцию. И это снова неслучайно, потому что это было непосредственным раскрытием диалектики исторического процесса, а именно диалектика оставалась абсолютно чужда Покровскому. Поэтому в своих статьях, вошедших в сборник «Октябрьская революция», Покровский то считал, что социалистическая революция началась уже в феврале, то видел в Октябрьской революции лишь завершение революции буржуазно-демократической.

Этот беглый обзор основных элементов и положений исторической концепции Покровского не преследовал цели исчерпать все вопросы. Но для нас было важно прежде всего вскрыть методологические источники порочности его системы, обусловившие ту длинную цепь ошибок, из которых сложилась его концепция и которые в конечном счете представляют одно неразрывное целое.

Узлом, в который собирались источники всех ошибок Покровского, оказалось отсутствие диалектики — непонимание основ исторического материализма.

[1] *Покровский*, Очерки по истории революционного движения, стр. 154.
[2] Там же, стр. 98.

Историографические работы Покровского

В заключение необходимо остановиться еще на одном специальном разделе работ Покровского — на его историографических статьях [1]. Начало этим работам положил цикл лекций Покровского во II Коммунистическом университете, к которому примкнул целый ряд статей и заметок, посвященных отдельным историкам и историческим работам.

Буржуазные курсы историографии обычно обрывались на 30—40-х годах XIX в., т. е. как раз на пороге оформления буржуазной историографии в России в лице ее наиболее крупных представителей. Для дальнейших периодов имелись только отдельные статьи, краткие вводные экскурсы, как у Павлова-Сильванского в очерке «Феодализм в древней Руси», либо обзоры для учебных целей, скорее библиографического, чем историографического характера.

Покровский сделал попытку дать общий очерк развития буржуазной исторической науки в России в XIX—XX вв. Его историографический очерк преследовал при этом не справочную, а критическую задачу: вскрыть источники условных, ложных, ненаучных концепций, чтобы преодолеть их ошибки. Эти ошибки он умел часто подметить с большой остротой и ярко показать их идеологические источники, — в этом его бесспорная заслуга. Но он не мог дать им научный, теоретический анализ и значит не мог найти путь для преодоления их ошибок, чтобы таким образом освоить критически позитивную сторону буржуазных исторических работ. Он не мог этого сделать потому, что он исходил из утверждения, что объективной науки вообще нет, что всякая наука вообще «партийна» в этом специфическом, немарксистском, субъективном смысле, что всякая идеология есть только «вогнутое или выпуклое зеркало». Эта характеристика идеологии дана им именно во введении к его историографическим лекциям [2]. Именно поэтому он не мог дать действительный ключ к анализу историка, который научил бы критически пользоваться данными этого историка. Он раскрывал его ошибки не для того, чтобы их преодолеть и исправить, а для того, чтобы его просто отбросить. Поэтому и результат его критической работы оказывался только отрицательный: к позитивной переработке итогов пройденного исторического пути он так и не пришел.

Самый анализ превращается поэтому в значительной мере в присвоение классового ярлыка, в наложение определенного штампа. Чичерин — тамбовский помещик, Соловьев — городской житель, Щапов — сын дьячка, Костомаров — представитель мелкобуржуазного течения, Плеханов — представитель технической интеллигенции, Рожков — представитель трудовой интеллиген-

[1] См. *Покровский*, Историческая наука и борьба классов, т. 2, М.—Л. 1933.
[2] *Покровский*, Историческая наука и борьба классов, т. I, стр. 10.

ции, — таков характер социальной оценки историков, которую применяет Покровский.

В приведенной выше самокритике по разделу внешней политики Покровский указал на узко формальное применение им понимания классовой природы идеологии. Но это узко формальное понимание идеологии, ошибочность которого он признал для дипломатии, продолжало довлеть над ним в историографии. И корень этого лежал попрежнему в экономизме. Покровский не применял учения о формациях и поэтому никогда не мог притти к тому положению, что каждая данная система отношений раскрывается разными своими сторонами у разных представителей одной эпохи в сложном взаимодействии различных влияний. Марксистское положение «бытие определяет сознание» он понимал не диалектически, как марксист, а механически, как экономический материалист. Именно поэтому ему необходимо было указать всякой идеологии ее особое, ей одной отведенное «бытие», поместить ее в прочно определенное место в своей витрине. Именно там, где он полагал, что стоит на наиболее четкой классовой позиции, Покровский оказывался полностью в плену у экономического материализма.

Историографические работы Покровского с наибольшей наглядностью вскрывают сильные и слабые стороны его исторической мысли.

ГЛАВА 35

ЛЕНИН И РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

Маркс и Энгельс о России: *Маркс* и *Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, Соч., т. V, стр. 483—513.—*Маркс* и *Энгельс*, Статьи, связанные с Крымской войной 1853—1856 гг., Соч., т. IX и X.—*Маркс*, Подготовка крестьянской реформы в России, Соч., т. XI, ч. I, стр. 529—531.—*Маркс*, Об освобождении крестьян в России; там же, стр. 527—545.—*Маркс*, Письмо в редакцию «Отечественных записок», Соч., т. XV, стр. 375—378.—*Маркс* и *Энгельс*, Предисловие к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии», Соч., т. XV, стр. 600—601.—*Энгельс*, Эмигрантская литература, Соч., т. XV, стр. 215—264 (гл. V. Социальные отношения в России).—*Энгельс*, Внешняя политика русского царизма, Соч., т. XVI, ч. II, стр. 3—40.—*Энгельс*, Послесловие к статье «Социальные отношения в России», Соч., т. XVI, ч. II, стр. 388—401.—Письма Маркса к Анненкову, Вере Засулич и др.; Письма *Энгельса* к Николаю —ону и др. *Ярославский, Ем.*, Маркс и Энгельс о России.

Ленин, Соч., т. I—XXX. Для характеристики взглядов Ленина на историю России особенно важны следующие работы: т. I. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?; Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве; т. II. От какого наследства мы отказываемся? т. III. Развитие капитализма в России; т. IV. Что

делать?; т. V. К деревенской бедноте; т. VII—VIII (статьи периода революции 1905—1907 гг.); т. VIII. Две тактики социал-демократии в демократической революции; т. XII. Аграрный вопрос в России к концу XIX века; т. XIII. Материализм и эмпириокритицизм; т. XIV. Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционерам; т. XV. По поводу юбилея; Л. Н. Толстой и его эпоха; Пятидесятилетие падения крепостного права; «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция; Памяти Герцена; т. XVI. Три источника и три составных части марксизма; т. XVII. Еще одно уничтожение социализма; Из прошлого рабочей печати в России; т. XVIII. Карл Маркс; Социализм и война; О двух линиях революции; т. XIX. Империализм, как высшая стадия капитализма; Доклад о революции 1905 года; т. XXI. Государство и революция; т. XXIV. Лекция о государстве; т. XXV. Детская болезнь «левизны» в коммунизме.— Философские тетради. — Тетради по империализму. — «Ленинский сборник» XXX.

Основная литература о Ленине: *Сталин*, О Ленине. — *Сталин*, Об основах ленинизма. — История ВКП(б). Краткий курс. — *В. Быстрянский*, Ленин-историк, Л. 1925.

Теория исторического материализма

Учение Маркса «...есть *высшее развитие* всей исторической и экономической и философской науки Европы»[1]. «Его учение, — писал Ленин, — возникло как прямое и непосредственное *продолжение* учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма.

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно... Оно есть законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке...»[2].

В середине XIX в., когда Маркс и Энгельс создавали свое учение, русская общественная и научная мысль в силу отсталости русской жизни не могла овладеть марксизмом как законченным философским учением и революционной теорией.

«Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»[3].

Свое полное осуществление в России марксизм получил в работах Ленина. Вместе с тем работы Ленина открывают новый марксистско-ленинский этап в русской исторической науке.

---

[1] *Ленин*, Еще одно уничтожение социализма, Соч., т. XVII, стр. 276.

[2] *Ленин*, Три источника и три составных части марксизма, Соч., т. XVI, стр. 349.

[3] *Ленин*, Детская болезнь «левизны» в коммунизме, Соч., т. XXV, стр. 175.

Проблема внутренней закономерности исторического развития была выдвинута еще буржуазной историографией. Но последняя не смогла в силу своей внутренней ограниченности разрешить эту задачу. Проблему закономерности она понимала лишь как внешнюю причинную обусловленность настоящего прошлым. Подлинное понимание закономерности соединяет познание причинной зависимости с познанием целесообразной деятельности человека, в которой диалектически заключен путь «от ...субъективной цели к *объективной* истине»[1]. Настоящее лишь известной своей частью принадлежит прошлому, оно само чревато новым, более богатым содержанием.

В этом отношении, как отмечалось выше[2], Чернышевский сделал шаг вперед в деле углубления познания исторической действительности, подойдя в познании исторической закономерности от настоящего к прошлому. В основе этого понимания действительности лежало значительно более богатое и полное содержание настоящего, дававшее тем самым более глубокую и верную оценку прошедшего. Но познание исторического процесса, как целого, все еще оставалось неполным. Углубилось только понимание прошлого в свете его отношения к настоящему, но познание настоящего, раскрытие исторической значимости его содержания, его объяснение попрежнему оставалось ограниченным его отношением к прошлому. В марксистском понимании исторического процесса вступало третье звено — будущее, и лишь в единстве этих трех элементов исторический процесс впервые выступал как законченное целое. Это означало, что «настоящее», т. е. каждый отдельный последовательный этап исторического развития, является не только результатом, итогом прошлого, но и предпосылкой будущего. Поэтому полное целостное познание любой исторической эпохи означает познание в нем прошлого, настоящего и будущего, познание того, что принадлежит в нем прошедшему и подлежит отмиранию и в чем заключается начало будущего, основа дальнейшего исторического развития. В этом понимании единство исторического процесса и единство исторических явлений выступали уже не в формальном замкнутом единстве абстрактного логического понятия, а в диалектическом единстве внутренних противоречий. Именно это понимание исторического процесса, исторической закономерности заключается в марксистском учении о социально-экономических формациях.

В своей первой теоретической работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», в полемике с народничеством Ленин выдвигает учение об общественно-экономических формациях как основное звено марксистского учения об историческом процессе. «Маркс, — пишет Ленин, — положил

[1] *Ленин*, Философские тетради, стр. 184.
[2] Глава XXII.

конец воззрению на общество, как на механический аггрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства (или, все равно, по воле общества и правительства), возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс»[1].

Позже, в статье 1914 г. «Карл Маркс», Лениным дано классическое по четкости определение общественно-экономической формации как основы материалистического понимания истории: «Марксизм указал путь к всеобъемлющему, всестороннему изучению процесса возникновения, развития и упадка общественно-экономических формаций, рассматривая *совокупность* всех противоречивых тенденций, сводя их к точно определяемым условиям жизни и производства различных *классов* общества, устраняя субъективизм и произвол в выборе отдельных «главенствующих» идей или в толковании их, вскрывая *корни* без исключения всех идей и всех различных тенденций в состоянии материальных производительных сил» [2].

Именно учение об общественно-экономических формациях поставило с головы на ноги учение Гегеля об историческом процессе, подчинило «диалектику понятий» «диалектике вещей». Оно поставило на место произвольного выбора «главенствующих» идей действительные законы развития производительных сил и производственных отношений, объединяя в сложном единстве производственных отношений различные классы и различные тенденции развития. Общественно-экономические формации возникают, развиваются и погибают; рядом с господствующей системой производственных отношений данной формации сохраняются в качестве отмирающего уклада остатки прежней формации и на определенном этапе возникает в качестве уклада начало будущей формации. В определении соотношения этих трех элементов и состоит познание истинного значения настоящего и определение того «действительного движения, которое устраняет настоящее состояние»: смена общественно-экономических формаций есть дело людей, в ней участвующих, дело общественных классов, составляющих это общество. Содержание самого процесса из логического развития одного начала превращается в борьбу различных начал, составляющих это общество, в борьбу общественных классов как основную движущую силу в истории классового общества.

И поскольку люди творят историю, но творят ее своими целесообразными действиями, постольку само познание закономерной

---

[1] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 62—63.
[2] *Ленин*, Соч., т. XVIII, стр. 13.

направленности развития становится его мощным рычагом. «Здесь именно и сказывается величайшее организующее, мобилизующее и преобразующее значение новых идей, новых теорий, новых политических взглядов, новых политических учреждений» [1]. Ленин говорит о субъективной цели, превращающейся в объективную истину.

Эта действенная сторона исторического процесса, то, что мы охарактеризовали как связь настоящего с будущим, познание закономерности развития настоящего, соединенное с активным участием в этом развитии, является другим принципиальным элементом марксистско-ленинского учения, устраняющим противоречие между причинностью и телеологией формальной логики, противоречие позитивистских и последовательно идеалистических учений буржуазной философии истории. Ленин разрешает его в единстве объективности и партийности, создающем высшую, подлинную объективность. И это положение дано Лениным в первых же его работах; оно сформулировано со всей принципиальной заостренностью в его работе «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве».

Разоблачая буржуазную сущность легального марксизма, Ленин писал: «Объективист говорит о необходимости данного исторического процесса; материалист констатирует с точностью данную общественно-экономическую формацию и порождаемые ею антагонистические отношения. Объективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения... Таким образом, материалист, с одной стороны, последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно-экономическая формация дает содержание этому процессу, *какой именно класс* определяет эту необходимость... С другой стороны, материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы»[2].

Это классическое положение повторяется Лениным и в работе «Материализм и эмпириокритицизм», в критике Богданова. Партийность историка это — партийность классовой борьбы как основной объективной силы исторического развития. В этом положении Ленина с исключительной ясностью выступает раскрытие внутренней направленности исторического развития, его познание в связи с будущим как необходимая основа полноценного исторического познания. Историческое знание обосновывает будущее и будущим проверяется.

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 111.
[2] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 275—276.

Необходимо при этом оговорить, что в этом принципе заключается не только идея предвидения будущего в условиях современности, но именно общий принцип исторического познания, так как в истории каждое изученное явление имеет свое прошлое и свое будущее и лишь совокупность всех этих отношений заключает истинное знание его содержания и закономерности его развития.

Здесь ключ к пониманию исторического процесса как непрерывного развития. В отличие от статического понимания эпох в буржуазной исторической науке, учение об общественно-экономических формациях рассматривает в единстве производственных отношений последовательные изменения конкретного соотношения определяющих его элементов. Познание каждого исторического явления состоит поэтому не только в установлении его общей природы, определяемой содержанием данной общественно-экономической формации, но и в установлении всей конкретной системы его отношений к изменяющимся элементам этой формации, т. е. его отношения к данной формации на данном этапе ее исторического развития.

В этом заключается единство общего и конкретного частного явления в марксистско-ленинском понимании истории; именно так подходил Ленин к изучению русского исторического процесса и всех явлений русской истории. Ярким примером такого понимания истории является ленинское учение о буржуазных и буржуазно-демократических революциях, развитое дальше товарищем Сталиным. За теми общими чертами, которые присущи всякой буржуазной революции и которые определяются самым составом классовых сил, в ней участвующих, Ленин устанавливает специфические черты различных форм буржуазных революций в зависимости от того, на какой стадии развития буржуазных отношений совершается данная революция, и от характера движущих сил революции. Отсюда выводится различие французской буржуазной революции 1789 г., буржуазных революций 1848 г. в Европе и буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг. в России,—буржуазно-демократической революции эпохи империализма.

Ленин дал последовательное развитие учения марксизма, «...он сделал еще шаг вперед, развив марксизм дальше в новых условиях капитализма и классовой борьбы пролетариата»[1]. Марксизм не есть догма, он развивается в неразрывной связи с практикой действительного общественного развития. «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции»[2], в ленинизме марксизм получил законченное учение об империализме как последней стадии развития капитализма, законченное учение о пролетарской революции, о диктатуре пролета-

[1] *Сталин*, Об основах ленинизма, «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 2.
[2] Там же.

риата, о путях и методах строительства социалистического общества. Это развитие марксизма в ленинизме было непосредственным итогом всего исторического развития от Маркса до Ленина, итогом развертывания и победы пролетарской революции в России, открывшей «...эру пролетарской демократии, эру Советов» [1].

В этом значение Ленина для мировой истории и для мировой исторической науки.

Это значение Ленина для русской истории и для русской исторической науки дополняется еще и тем, что Ленин «...применил марксизм к российской действительности и применил его мастерски» [2].

Маркс и Энгельс о России

И в этом отношении ленинизм опирался на наследство основоположников марксизма, заложивших первые основы нового, подлинно научного понимания русской истории.

В то время как в России шли споры славянофилов и западников о будущем развитии России, о самобытности ее истории, основоположники марксизма, вооруженные своим материалистическим диалектическим методом, со всей отчетливостью устанавливали единство и внутреннюю связь истории России с общей мировой историей, раскрывали закономерность ее развития в единстве исторической закономерности.

Уже в «Манифесте Коммунистической партии» (1848) Маркс и Энгельс писали:

«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Для священной травли этого призрака соединились все силы старой Европы — папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские» [3].

Впоследствии в ряде отдельных высказываний и специально в «Предисловии к русскому изданию „Манифеста Коммунистической партии“» (1882) Маркс и Энгельс развили дальше это свое положение»: «Это было время,— писали они,— когда Россия являлась последним большим резервом всей европейской реакции», когда «царя провозгласили главою европейской реакции» [4].

Борьба европейской революции и русского царизма как «главы европейской реакции», объединившей все реакционные силы старой феодальной Европы,—так определялось положение Европы в 1848—1849 гг.

В статьях Маркса и Энгельса, посвященных истории Крымской войны 1853—1856 гг., крепостническая природа русского самодержавия получила дальнейшее последовательное раскрытие. Вместе с тем поражение русского царизма должно было

[1] *Сталин*, Об основах ленинизма, «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 2.
[2] Там же, стр. 1.
[3] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. V, стр. 483.
[4] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XV, стр. 600—601.

создать предпосылки для победы буржуазных отношений в России.

Реформы 60-х годов и в первую очередь «крестьянская» реформа 1861 г. блестяще подтвердили прогноз основоположников марксизма. В статьях Маркса 1858 и 1859 гг. «Подготовка крестьянской реформы в России» и «Об освобождении крестьян в России»[1] дан первый марксистский анализ еще только подготовлявшейся реформы 1861 г. Начало капиталистической эры — так подытожил значение реформы Энгельс в «Послесловии к статье «Социальные отношения в России». «Поражения во время Крымской войны ясно показали необходимость для России быстрого промышленного развития. Прежде всего нужны были железные дороги, а их сооружение неосуществимо в большом масштабе без отечественной крупной промышленности. Предварительным условием для возникновения последней явилось так называемое освобождение крестьян; вместе с ним наступила для России капиталистическая эра...»[2]

Развитие капитализма в России — таково дальнейшее развитие этой темы в многочисленных работах и письмах Маркса и Энгельса. Маркс в письме в редакцию «Отечественных записок», Энгельс в статьях «Социальные отношения в России» и «Послесловие к статье «Социальные отношения в России» и в письмах Николаю — ону внимательно прослеживали процесс быстрой капиталистической перестройки России. О быстроте капиталистического развития России, о том, что «...за последние годы... она не мало потрудилась в этом направлении»[3], — писал Маркс в 1877 г.

Еще определеннее мог подвести итоги этому процессу Энгельс в 1894 г., устанавливая, как «...идет все более и более ускоряющимся темпом превращение России в капиталистически-индустриальную страну, пролетаризация значительной части крестьян и разложение старой коммунистической общины»[4].

Этот марксистский анализ социально-экономического развития России был в то же время последовательным разоблачением народнических извращений исторического хода развития России и их антиисторического учения о сельской общине. Маркс и Энгельс дали конкретную характеристику развития общины в России; дали четкую оценку исторических перспектив общинного строя в условиях осуществившейся «крестьянской» реформы; наконец, показали процесс ее последовательного разложения. Основоположники марксизма вели систематическую и упорную борьбу с народничеством, показывая всю ложность и гибельность народнических иллюзий и расчищая путь революционной пролетарской борьбе в России.

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч. т. XI, ч. I.
[2] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XVI, ч. II, стр. 394—395.
[3] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XV, стр. 377.
[4] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XVI, ч. II, стр. 400.

Развитие революционной борьбы в России, судьбы грядущей русской революции, — такова другая сторона этой темы. Для Маркса и Энгельса это было вопросом дальнейшего исторического развития самой России и вместе с тем вопросом о судьбах революции в Европе. Контрреволюционной роли русского царизма они противопоставляют роволюционную борьбу русского народа.

Энгельс еще в 1851 г. указывал на будущую революционную роль России, после того как она «...будет вовлечена в аграрную революцию»[1].

А в 1863 г., после того как в России «наступила... капиталистическая эра», Маркс писал Энгельсу: «Будем надеяться, что лава потечет на сей раз с востока на запад, а не наоборот...»[2] И в дальнейшем Маркс и Энгельс неоднократно возвращаются к развитию этого положения. Статьи Маркса о подготовке реформы 1861 г. заключали первый анализ революционной ситуации, создавшейся в России в 1859—1861 гг. Энгельс указывал на повторение революционной ситуации в 1875 г., когда революцию могла отсрочить, по его словам, только «...удачная война против Турции или против Австрии...»[3] О перспективах русской революции и объединения революционных сил России и Западной Европы писали Маркс и Энгельс в предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» в 1882 г.

Эта оценка современного положения России и перспектив ее дальнейшего развития опиралась в то же время на историческое изучение ее прошлого. Широта занятий Маркса и Энгельса русской историей нашла свое непосредственное яркое отражение в «Хронологических записках» Маркса. Главы V и VI книги Маркса «Тайная дипломатическая история XVIII столетия»[4] представляют блестящий очерк русской истории вплоть до XVIII в. К нему примыкают работа Энгельса «Внешняя политика русского царизма» и ряд высказываний в его отдельных работах— «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «О разложении феодализма» и др.

И здесь прежде всего обращает на себя внимание устанавливаемое Марксом и Энгельсом тожество, единство основных этапов развития России и Западной Европы, единство исторической закономерности, устанавливаемой теорией исторического материализма.

Таков переход от первобытно-общинного строя к феодализму, показанный Марксом в тожестве империи Рюриковичей и империи Карла Великого, раскрытый Энгельсом в тожестве русской

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XXI, стр. 210.
[2] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XXIII, стр. 134.
[3] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. XV, стр. 264.
[4] *Marx*, Secret diplomatic history of the XVIII century, L. 1899.

верви и западной марки. Так устанавливается далее непосредственная связь в процессе политического и национального объединения в Западной Европе и в России. Характеристика Петровских реформ в «Тайной дипломатической истории» представляет ее законченную марксистскую оценку, а в работе Энгельса «Внешняя политика русского царизма» анализ международных отношений нового периода получил свое историческое обоснование.

«Маркс и Энгельс, — писал т. Ярославский, — первые дали марксистское освещение истории России, марксистский анализ классов и производственных отношений в России. Они первые дали марксистский прогноз русской революции»[1].

В работах Ленина марксистский анализ русской истории превратился в цельную и законченную марксистскую историю России.

Ленин о закономерности исторического развития России

Сила ленинского учения заключалась именно в том, что его оценка современности и предвидение будущего опирались на прочный научный фундамент исторического познания прошлого и глубокое раскрытие настоящего. В этом заключается одно из основных принципиальных различий в подходе к истории между Плехановым и Лениным. Плеханов, как указал Ленин в своей работе «Что такое «друзья народа», сделал первый конкретный вывод из марксизма в применении к «действительному» общественно-экономическому развитию России, показав, что Россия вступила на капиталистический путь. Но Плеханов дал лишь этот конкретный итог развития, характеристику современного состояния, без изучения самого процесса исторического развития буржуазных отношений в России, и именно поэтому он и не смог определить реальное соотношение классовых сил в этом обществе, расстановку классовых сил в дальнейшей борьбе. Сила Ленина заключалась именно в том, что, не ограничиваясь установлением характера существующих отношений, он обращается к вопросу о путях и условиях возникновения и дальнейшего развития капиталистического строя в России, так как только в отношении настоящего к прошедшему раскрывается его отношение к будущему, раскрываются реальные классовые противоречия данного исторического этапа. Поэтому проблема капитализма и пролетарской борьбы в России была неразрывно связана с проблемой возникновения капитализма из предшествующего этапа — феодального строя.

Первые же ленинские работы 90-х и начала 900-х годов дают уже цельную законченную концепцию русского исторического

---

[1] *Ярославский*, Маркс и Энгельс о России, «Историк-марксист», 1940, № 10, стр. 58.

процесса. Она дана уже в его работах «Что такое «друзья народа», «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве», «Развитие капитализма в России», «Гонители земства и Аннибалы либерализма», «Что делать?», «К деревенской бедноте». В этом знании прошлого и настоящего — предвидение будущего; на этой строго научной основе выросла ленинская теория перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Дальнейшее развитие истории России было в этом смысле проверкой исторических взглядов Ленина и определяло вместе с тем дальнейшее развитие его исторической концепции. Последняя дополнялась новыми разделами, расширялась хронологически; она углублялась в свете современности и выдвигаемых или заостряемых ею проблем, но она оставалась неизменной в своей общей основе, начиная с первых ленинских работ и кончая его лекцией «О государстве» и работой «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Теория проверяется практикой, и практика исторической жизни, явившаяся лучшей проверкой ленинизма, тем самым подтвердила научную правильность ленинской концепции русской истории.

Ее исходное положение заключается в единстве внутренней закономерности, в единстве закономерности исторического развития России и других стран. «Материализм дал вполне объективный критерий, выделив «производственные отношения», как структуру общества, и дав возможность применить к этим отношениям тот общенаучный критерий повторяемости, применимость которого к социологии отрицали субъективисты»[1]. Именно на этой основе в «Развитии капитализма в России» Ленин показал, как Россия, подобно Западной Европе, прошла путь развития от феодализма к капитализму. И точно так же, после победы Октябрьской революции в «Детской болезни «левизны» в коммунизме», Ленин, подводя итоги пролетарской революции для мировой истории, указал, что мировое значение Октябрьской революции «в узком смысле слова» заключается в том, «...что русский образец показывает *всем* странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и недалекого будущего»[2].

Это единство исторического развития раскрывается теорией исторического материализма в закономерной смене общественно-экономических формаций.

Исторический материализм устанавливает пять основных общественно-экономических формаций: первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, социалистическую. При этом классики марксизма устанавливали, что переход от первобытно-общинного строя мог совершаться непосредственно к феодальному строю, минуя рабовладельческую форма-

[1] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 61.
[2] *Ленин*, Соч., т. XXV, стр. 171.

цию. Именно так определен путь исторического развития русского народа в работах Ленина, неоднократно отмечающего феодальный строй как первое классовое общество в России.

В работе «Что такое «друзья народа» Ленин традиционной буржуазной социологической схеме, по которой «семья разрослась в племя, а племя разрослось в государство», противопоставил марксистскую схему русской истории.

«Если можно было говорить о родовом быте в древней Руси, то несомненно, что уже в средние века, в эпоху московского царства, этих родовых связей уже не существовало, т.-е. государство основывалось на союзах совсем не родовых, а местных: помещики и монастыри принимали к себе крестьян из различных мест, и общины, составлявшиеся таким образом, были чисто территориальными союзами. Однако о национальных связях в собственном смысле слова едва ли можно было говорить в то время: государство распадалось на отдельные земли, частью даже княжества, сохранявшие живые следы прежней автономии, особенности в управлении, иногда свои особые войска (местные бояре ходили на войну со своими полками), особые таможенные границы и т. д. Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями, почтеннейший г. Михайловский, и даже не их продолжением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было ничем иным как созданием связей буржуазных»[1].

Ленин о русском феодализме

В «Развитии капитализма в России» Ленин писал, что отработки — этот основной элемент феодально-крепостнической системы эксплоатации — «...держатся едва ли не с начала Руси (землевладельцы кабалили смердов еще во времена Русской Правды)»[2]. Он неоднократно возвращался к этому вопросу и в дальнейшем. Здесь же дана им классическая характеристика феодально-крепостнического барщинного хозяйства с его четырьмя определяющими признаками: 1) господство натурального хозяйства, 2) наделение непосредственного производителя средствами производства и прикрепление его к земле, 3) личная зависимость крестьянина от помещика, как основа «вне-экономического принуждения», 4) низкое и рутинное состояние техники[3].

[1] *Ленин*, Соч., т. I, стр. 73.
[2] *Ленин*, Соч., т. III, стр. 150.
[3] См. там же, стр. 140—141. Эта же характеристика повторена в работе Ленина «Аграрный вопрос в России к концу XIX века.», Соч., т. XII.

Конец феодальной формации в России Ленин связывает с реформами 60-х годов. Эта мысль повторяется им в ряде его статей о «крестьянской» реформе и в лекции «О государстве».

Дав общую характеристику феодального хозяйства и общие хронологические грани феодального периода, Ленин свое исследование обращает на изучение эволюции феодальной системы, на процесс ее постепенного разложения и зарождения в ее недрах капиталистических отношений. Этот процесс внутреннего развития прослеживается им последовательно на отдельных элементах системы.

Его первая проблема — развитие промышленной деятельности, история зарождения капиталистической промышленности. Развитие кустарной промышленности и отделение промысла от земледелия составляют одну сторону процесса капиталистического развития, которая дана Лениным в характеристике шести этапов «соединения промысла с земледелием», завершающихся соединением мелкобуржуазного земледелия с мелкобуржуазными промыслами (V этап) и наемной работы в земледелии с наемной работой в промышленности (VI этап) [1]. Другая сторона этого процесса состоит в формировании капиталистической мануфактуры, история которой дана в главе VI «Развития капитализма в России». И здесь Ленин первый показал, что это развитие шло не от крепостной помещичьей мануфактуры, а от кустарных промыслов, от крестьянских мастерских XVII в. Отсюда, с конца XVII в., и прослеживается Лениным длительный скрытый путь медленного зарождения капиталистической промышленности в России.

К тому же времени — «примерно с 17 века» — относится отмеченный выше процесс постепенного развития буржуазных связей в рыночном обороте, характеризующийся «...усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок»[2].

Завершение всех этих процессов выходит уже за пределы данного периода — в формировании капиталистической фабрики, капиталистического «национального, а затем и всемирного рынка», наконец, и в капиталистической эволюции сельского хозяйства. Но развитие капиталистического уклада уже в XVIII в. налицо.

В связи с экономикой стоят и классовые сдвиги эпохи: рост крепостнической эксплоатации крестьянства, положение которого, по ленинской характеристике, мало чем отличалось от рабства; развитие русской буржуазии (Ленин говорит о «буржуазных связях») и начало демократического общественного движения в России в XVIII в.

Экономическая и социальная эволюция определяла развитие го-

[1] См. *Ленин*, Соч., т. III, стр. 304—307.

[2] *Ленин*, Что такое «друзья народа»... Соч., т. I, стр. 73.

сударственного строя России. Государство из творца общественных отношений превращалось в составную часть процесса общественного развития, выступало в своей реальной исторической обусловленности. И здесь, отмечая помещичью, феодально-крепостническую природу русского самодержавия, сохранявшуюся еще на пороге XX в., Ленин прослеживал его последовательную эволюцию, указывая в работе «Что такое «друзья народа» на его постепенное приобщение к новым буржуазным отношениям русского общества. Позже Ленин детализирует эту эволюцию, отметив «самодержавие с Боярской думой» в XVII в., дворянскую военно-бюрократическую монархию XVIII в., наконец, превращение царизма в европейского жандарма с его разновидностями при Александре I и Николае I [1].

Процесс разложения феодализма есть процесс роста капиталистических отношений и обострения классовой борьбы. В условиях феодального общества эта борьба идет прежде всего из деревни. В статье «К деревенской бедноте» Ленин дал характеристику классовой борьбы крестьянства как движущей силы феодально-крепостной эпохи: «Крестьяне не могли объединиться, крестьяне были тогда совсем задавлены темнотой, у крестьян не было помощников и братьев среди городских рабочих, но крестьяне все же боролись, как умели и как могли. Крестьяне не боялись зверских преследований правительства, не боялись экзекуций и пуль... крестьяне поднимались то здесь, то там, и правительство наконец уступило, боясь общего восстания всех крестьян» [2]. В дальнейшем, в своих работах о крестьянской реформе, Ленин показал, что именно классовая борьба крестьянства, а не развитие гуманных идей, привела к реформе 1861 г.

Рост буржуазных отношений порождает и буржуазную революционность в России. Если русское самодержавие перед лицом буржуазной революции во Франции выступило в роли европейского жандарма [3], то передовая часть русского общества откликнулась на нее «Путешествием» Радищева и восстанием декабристов. Внутреннюю связь этих явлений Ленин подчеркнул уже в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» (1901): монархи «...являлись палачами Радищевых и «спускали» на верноподданных Аракчеевых; они помнили 14-ое декабря 1825 г. и проделывали ту функцию европейской жандармерии, которую (функцию) исполнило русское правительство в 1848—49 годах» [4]. Историю русского революционного движения XIX в. Ленин начинал с движения декабристов, «дворянских революционеров».

---

[1] *Ленин*, Соч., т. I, Что такое «друзья народа»; т. XIV, «Как социалисты-революционеры подводят итоги революции...»

[2] *Ленин*, Соч., т. V, стр. 311.

[3] Ленин отметил это уже в своей работе «Что такое «друзья народа» (1894).

[4] *Ленин*, Соч., т. IV, стр. 127.

«Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен»; затем «...революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Наконец, «Буря... движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс...» [1]

Крестьянская реформа и развитие капитализма в России

Соотношение классовых сил в середине XIX в. определило характер и содержание «крестьянской реформы» 1861 г. «Под давлением военного поражения, страшных финансовых затруднений и грозных возмущений крестьян, правительство прямо-таки *вынуждено* было освободить их [крестьян]. Сам царь признался, что надо освобождать сверху, пока не стали освобождать снизу», — так определил Ленин происхождение реформы в статье «Рабочая партия и крестьянство» в 1901 г. И в этой же статье Ленин дал и оценку существа реформы. По своему общему значению это была буржуазная реформа: 19 февраля было «днем падения старой крепостной России». Но проведенная крепостниками-помещиками и крепостнической по своей природе царской властью, она была в то же время крепостнической реформой: «Освобожденный» от барщины крестьянин вышел из рук реформатора таким забитым, обобранным, приниженным, привязанным к своему наделу, что ему ничего не оставалось, как «добровольно» итти на барщину» [2].

Существо ленинской характеристики пореформенной России, тех 35—40 лет, которые отделяли начало ленинской деятельности от реформы 19 февраля, заключалось именно в том, что он показал не только торжество капиталистического, буржуазного строя в России, но и силу сохранявшихся старых крепостнических отношений.

Пережитки крепостнической системы в деревне сохранились и после реформы. Русское пореформенное хозяйство строилось на соединении барщинной системы хозяйства (отработок) с капиталистическою, и первая система лишь медленно вытеснялась второй. Русская пореформенная деревня первоначально еще представляла «...*сеть мелких местных рынков, связывающих крохотные группы местных производителей, раздробленных и своим обособленным хозяйничаньем, и массой средневековых перегородок между ними, и остатками средневековой зависимости*» [3]. В период империализма Россия вступала с самой отсталой в мире деревней.

Но Россия не только вступила на путь промышленного капитализма, она в своем развитии в конце века уже перешла в империалистическую фазу развития. Ленин показал процесс развития в России крупной машинной индустрии, совмещение в России самых

[1] *Ленин*, Памяти Герцена, Соч., т. XV, стр. 468; о том же: Из прошлого рабочей печати в России, Соч., т. XVII.

[2] *Ленин*, Соч., т. IV, стр. 100—101.

[3] *Ленин*, Развитие капитализма в России, Соч., т. III, стр. 295.

передовых форм капиталистических предприятий с крепостнической отработкой в сельском хозяйстве, самого передового пролетариата и самой отсталой деревни. В связи с этим Ленин показал проникновение капитала в деревню, развернувшийся там процесс раскрестьянивания. Вместе с тем в последних главах «Развития капитализма в России» он указывает на колониальные устремления русского капитала. Этим самым Россия включалась в систему мирового империализма, с которым связывались дальнейшие судьбы ее внутренней и внешней истории. Связь — и притом связь активная — с мировым империализмом и с мировым рабочим движением составляла другой важнейший элемент в ленинском понимании исторической закономерности, в понимании внутреннего единства мирового исторического процесса. В «Развитии капитализма в России», в законе неравномерности развития капитализма Ленин дал ключ к конкретному разрешению этой новой проблемы.

Вопросы революции в России

Основным выводом, сделанным Лениным из его всестороннего анализа русской истории, было определение расстановки классовых сил и направления классовой борьбы на исходе XIX в. Анализ развития капитализма в России показал, что на очереди дня стояла задача совершения буржуазно-демократической революции, но что буржуазия уже неспособна ее осуществить.

Если Плеханов видел только одну линию противоречий между развивающимся буржуазным строем и крепостничеством и революционную борьбу мыслил себе в конечном итоге в союзе пролетариата с буржуазией против самодержавия, то Ленин показал, что в действительности здесь идут две отдельные линии борьбы, две самостоятельные системы противоречий: противоречие феодального общества между крестьянином и помещиком и противоречие нового буржуазного строя между рабочим и капиталистом, постепенно проникающее и в деревню. Эти две линии сходятся и должны будут объединиться в будущей русской революции. Поэтому в России контрреволюционен не только помещик, но контрреволюционна и буржуазия. Это контрреволюционное превращение русской буржуазии Ленин дал уже в оценке пореформенного либерализма, в работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма». Поэтому гегемоном в ближайшей буржуазно-демократической революции в России будет не буржуазия, а пролетариат, и именно поэтому буржуазно-демократическая революция должна будет непосредственно перерасти в социалистическую. Этот вывод, в котором Ленин резко разошелся с Плехановым, был сделан на основе исторического анализа генезиса и развития капитализма в России и опирался на прочный научный фундамент.

Так, научная оценка прошлого и настоящего определила перспективы будущего. На ее основе оформляется ленинская тео-

рия американского и прусского пути развития капитализма в сельском хозяйстве России, теория военно-феодального империализма и учение о революционной роли русского крестьянства, о гегемонии пролетариата в русской революции и о перерастании буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую.

Здесь была та прочная теоретическая база, опираясь на которую Ленин последовательно одержал победу над всеми антипролетарскими, антиленинскими, реакционными — потому что они шли против закономерного исторического развития — течениями и группами: сперва над народничеством, затем над экономизмом и легальным марксизмом и над всеми мелкобуржуазными течениями, начиная с меньшевизма и эсеровщины.

Империализм в России. Программа и итоги

Итог прошлого превращался в программу будущего. Это будущее в своем конкретном развитии становилось в свою очередь практической проверкой сделанных выводов, а новые итоги обобщения исторического опыта дополняли новым звеном первоначальную цепь, не изменяя и не нарушая, а напротив, дальше скрепляя ее внутреннее единство в закономерности последовательного развития.

Русско-японская война была первой проверкой ленинского учения, конкретным проявлением военно-феодального характера российского империализма. Она ускорила назревание революционного кризиса в России, приведшего к буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг. Революция подтвердила правильность большевистского учения и большевистской программы. И вслед за революцией, подводя итоги, Ленин прежде всего восстанавливает ее связь с прошлым: «1861 год породил 1905-ый ...реформа, проведенная крепостниками в эпоху полной неразвитости угнетенных масс, породила революцию к тому времени, когда созрели революционные элементы в этих массах» [1]. Но в то же время он обращается и вперед, к будущему, и в статье «Уроки московского восстания» уже протягивает нить от буржуазно-демократической революции 1905 г. к революции 1917 г.: «...победа будет за нами в следующем всероссийском вооруженном восстании» [2].

Сравнение 1861 г. с 1905—1907 гг. вело к дальнейшему углублению узлового вопроса противоположности прусского и американского пути капиталистического развития, генетически связанного с реформой и своим разрешением определявшего дальнейшее развитие и исход начавшейся революционной борьбы.

Аграрная политика Столыпина стояла на пути разрешения этой противоположности. И снова точно и ясно восстанавливаются все конкретные соотношения частей. Это была «вторая буржуазная

[1] *Ленин*, «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция, Соч., т. XV, стр. 146.

[2] *Ленин*, Соч., т. X, стр. 53,

реформа, проводимая крепостниками... второй и более серьезный шаг *по тому же пути*» «...превращения чисто крепостнического самодержавия в буржуазную монархию...»[1]

Ее задача состояла в том, чтобы обеспечить победу прусского пути развития капитализма. Но время было упущено, зрелость революционных элементов в народных массах и противоречия в самом правительственном лагере обрекли политику Столыпина— политику «последнего клапана» — на неудачу.

Следующий этап —мировая империалистическая война. Итоги прошлого определили последовательно революционную, единственно правильную позицию русской большевистской партии, руководимой Лениным и Сталиным, провозгласившей лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую. События подтвердили его правильность. Пройденный очередной этап, очередную проверку опытом Ленин подытожил в работе «Империализм, как новейший этап капитализма». Этот итог устанавливал не только общую линию развития империализма и порожденных им империалистических противоречий, но и определял в реальном осуществлении закона неравномерности капиталистического развития судьбу России, как слабейшего звена в империалистической цепи, с законченной последовательностью раскрытую товарищем Сталиным в «Основах ленинизма». Выводы уже обращались к будущему. В «Апрельских тезисах» и в работе «Государство и революция» Ленин разрабатывал конкретный план осуществления социалистической революции.

В рамках этих определяющих положений Ленин в своих работах дал шаг за шагом всю историю России XX в. в детальном и конкретном анализе всех ее элементов, всех последовательно сменявшихся событий. Именно эта конкретная ленинская характеристика изложена выше, в главе 26 настоящей книги и поэтому нет необходимости воспроизводить ее вторично.

Но вместе с тем это развитие конкретного содержания эпохи в свою очередь получает отражение в дальнейшем развитии основного ленинского учения об империализме и пролетарской революции.

В революции 1905—1907 гг. завершается разработка ленинского учения о перерастании буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую, развернутого Лениным в его брошюре «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Оно было последовательным выводом из установленных Лениным двух линий революционной борьбы в городе и деревне, направленной и против помещиков и против буржуазии, борьбы, руководимой пролетариатом и опирающейся на революционную борьбу крестьянства. Именно из этой оценки содержания классовых противоречий и классовой борьбы, из этого определения

[1] *Ленин*, Соч., т. XV, стр. 146.

революционных сил буржуазно-демократической революции в России и контрреволюционности буржуазии вытекал основной практический вывод Ленина: «...только тогда начнется настоящий размах русской революции, только тогда это будет действительно наибольший революционный размах, возможный в эпоху буржуазно-демократического переворота, когда буржуазия отшатнется и активным революционером выступит масса крестьянства на-ряду с пролетариатом»[1]. Отсюда вырастало ленинское требование революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции. Но «...от революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции»[2]. «*Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силой сопротивление буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии*»[3].

Работа Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» была органическим завершением его труда «Развитие капитализма в России». Подводя итог пройденному новому историческому этапу, Ленин определил его «историческое место». Он показал в самом историческом развитии общественных отношений, в действительном ходе жизни, «...что частно-хозяйственные и частно-собственнические отношения составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение, — которая может оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое (на худой конец, если излечение от оппортунистического нарыва затянется) время, но которая все же неизбежно будет устранена» [4].

В то же время на основе ленинского учения о неравномерности развития капиталистического общества, сформулированного еще в работе «Развитие капитализма в России», окончательно сложилась его «...*новая*, законченная теория социалистической революции, теория о возможности победы социализма в отдельных странах, об условиях его победы, о перспективах его победы» [5]. Эта теория сформулирована Лениным уже в 1916 г. в его статье «Военная программа пролетарской революции»: «Развитие капитализма

---

[1] *Ленин*, Соч., т. VIII, стр. 95—96.
[2] Там же, стр. 186.
[3] Там же, стр. 96.
[4] *Ленин*, Соч., т. XIX, стр. 174.
[5] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 163.

совершается в высшей степени неравномерно в различных странах... Отсюда непреложный вывод: социализм не может победить одновременно *во всех* странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными». Отсюда же выводилась и неизбежность интервенции и лозунг справедливой войны «...за социализм, за освобождение других народов от буржуазии»[1].

Февральская буржуазно-демократическая революция и ее перерастание в социалистическую революцию, осуществленную в октябре 1917 г. под руководством Ленина и Сталина, были окончательным торжеством ленинизма. И здесь Ленин последовательно определял каждый очередной исторический этап: от победы пролетарской революции в октябре 1917 г. через гражданскую войну и интервенцию, через период военного коммунизма и нэпа к победе социалистического строя в СССР. И здесь конкретная программа практического действия непосредственно переходила в исторический итог. В «Детской болезни «левизны» в коммунизме» Ленин подвел конечные исторические итоги завершенного этапа русской истории уже в разрезе мировой истории.

Ее вехи были ярко обозначены на историческом пути. Задача познания русского исторического процесса в его внутренней закономерности получила свое разрешение.

ГЛАВА 36

СТАЛИН

Основные произведения Сталина: Вопросы ленинизма, изд. 11-е, Госполитиздат, 1940. Основное содержание: Об основах ленинизма, стр. 1—77; Октябрьская революция и тактика русских коммунистов (Предисловие к книге «На путях к Октябрю»), стр. 78—105; К вопросам ленинизма, стр. 106—156; Международный характер Октябрьской революции (К десятилетию Октября), стр. 175—182; О правом уклоне в ВКП(б) (Из речи на пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г.), стр. 214—263; К вопросам аграрной политики в СССР (Речь на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.), стр. 275—294; К вопросу о политике ликвидации кулачества как класса, стр. 295—298; О задачах хозяйственников (Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г.), стр. 322—330; О некоторых вопросах истории большевизма (Письмо в редакцию журн. «Пролетарская революция»), стр. 350—361; О проекте конституции Союза ССР (Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г.), стр. 507—534; О диалектическом и историческом материализме, стр. 535—563; Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) (10 марта 1939 г.),

[1] *Ленин*, Соч., т. XIX, стр. 325.

стр. 564—611; в частности: Некоторые вопросы теории, стр. 600—609. — Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей, Госполитиздат 1939. — Статьи и речи об Украине. Сборник, Партиздат ЦК КП(б)У, 1936. — Как понимает социал-демократия национальный вопрос?, Госполитиздат, М. 1940.—Класс пролетариев и партия пролетариев (По поводу первого пункта устава партии), Госполитиздат, 1940. — Вскользь о партийных разногласиях. (Лето) 1905; в кн.: *Л. Берия*, К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, Госполитиздат, М. 1941, стр. 51—55. — Анархизм или социализм? «Ахали Цховреба» № 2, 21 июня; № 4, 24 июня; № 7, 28 июня 1906; «Ахали Дроеба» («Новое время») № 5, 11 декабря; № 6, 18 декабря; № 7, 25 декабря 1906. Подпись *Коба*, на грузинском языке; цитировано там же, 100—106. — Из предисловия к брошюре Каутского «Движущие силы российской революции»; в кн.: *Ленин* и *Сталин*, Сборник произведений к изучению истории ВКП(б), т. I, стр. 419—422. — *Ленин* и *Сталин*, Сборник произведений к изучению истории ВКП(б), т. I—III, Партиздат, ЦК ВКП(б), 1936.— К изучению истории. Сборник, Госполитиздат, 1938. Содержание: *И. Сталин, А. Жданов, С. Киров*, Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР, стр. 22—24; *И. Сталин*, Об учебнике истории ВКП(б). Письмо составителям учебника истории ВКП(б), стр. 28—31; Постановление жюри Правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник для 3 и 4-го классов средней школы по истории СССР, стр. 32—39. — История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), Госполитиздат, 1941.

Основная литература: *Берия Л.*, К вопросу истории большевистских организаций в Закавказье. Доклад на собрании Тбилисского партактива 21—22 июля 1935 г., изд. 6-е, Госполитиздат, 1941. — Иосиф Виссарионович Сталин (Краткая биография), Госполитиздат, 1941.—*Калинин, М.*, К шестидесятилетию со дня рождения товарища Сталина, Госполитиздат, 1939. — *Барбюс, Анри*, Сталин, Госполитиздат, М. 1936. — *Панкратова, А.*, Сталин и исторический фронт; в журн.: «Историк-марксист» № 1, 1940, стр. 14—24.

Иосиф Виссарионович Сталин и историческая наука

Биография товарища Сталина неразрывно связана с историей пролетарской революции в СССР, с ее революционной борьбой и мирной стройкой социализма. Рядом с Лениным он вел упорную борьбу за ленинскую теорию, за большевистскую практику в рабочем движении с конца XIX в. Вместе с Лениным руководил он революционной борьбой рабочего класса и широких народных масс в 1917 г., в дни Октябрьской революции, в тяжелые годы гражданской войны и интервенции. Вместе с Лениным и продолжая его дело во главе рабочего класса, во главе освобожденных народов Советского Союза осуществил товарищ Сталин строительство социалистического общества.

«История его жизни, — пишет Анри Барбюс, — это непрерывный ряд побед над непрерывным рядом чудовищных трудностей...

Его сила — это его несравненный здравый смысл, широта его познаний, изумительная внутренняя собранность, страсть к ясности, неумолимая последовательность, быстрота, твердость и сила решений, постоянная забота о подборе людей... Ленин живет всюду, где есть революционеры. Но можно сказать: ни в ком так не воплощены мысль и слово Ленина, как в Сталине. Сталин — это Ленин сегодня» [1].

Победа Октябрьской революции открывала новый период в истории нашей страны и в истории всего человечества созданием первого в мире пролетарского социалистического государства — Союза Советских Социалистических Республик. Победа пролетарской революции была вместе с тем победой революционной теории марксизма-ленинизма, в основе которого лежал принцип единства теории и практики, понимание теории как руководства к действию. Основное требование марксизма определялось Сталиным, как и Лениным, в смысле соединения социализма и рабочего движения: «Рабочее движение должно соединиться с социализмом, практическая деятельность должна тесно связаться с теорией...» [2] Ленинизм — «марксизм эпохи империализма и пролетарской революции», по определению товарища Сталина. Руководство партии, возглавлявшейся великим Лениным, блестяще оправдало себя в истории трех русских революций. И эта проверка теории практикой еще более углубляла теорию, вооружала ее новой силой реального исторического опыта.

Новый этап в истории человечества, открытый победой первой в мире социалистической революции, вел к дальнейшему расширению и развитию научной теории марксизма-ленинизма. От руководства революционной борьбой пролетариата прежде всего она переходила к руководству творческой созидательной работой строительства социалистического общества во всем конкретном многообразии общественной жизни, хотя и в условиях капиталистического окружения. Господство пролетариата и господство социалистического строя становилось тем самым материальным условием развития и укрепления марксистской теории. Товарищ Сталин говорил на XVIII съезде партии: «...мы можем и должны требовать от марксистов-ленинцев нашего времени, чтобы они не ограничивались заучиванием отдельных общих положений марксизма, чтобы они вникали в существо марксизма, чтобы они научились учитывать опыт двадцатилетнего существования социалистического государства в нашей стране, чтобы они научились, наконец, опираясь на этот опыт и исходя из существа марксизма, конкретизировать отдельные общие положения марксизма, уточнять и улучшать их» [3].

---

[1] *Барбюс*, Сталин, стр. 351—352.

[2] *Сталин*, Вскользь о партийных разногласиях, стр. 16 (цит. по книге Берия, изд. 1941 г., стр. 53).

[3] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 603—604.

Этот рост науки, обращенной вперед, в сторону практики настоящего и будущего, сопровождается углублением и ее взгляда на прошлое. «Марксистско-ленинская теория есть наука о развитии общества, наука о рабочем движении, наука о пролетарской революции, наука о строительстве коммунистического общества... в своем развитии она не может не обогащаться новым опытом, новыми знаниями, а отдельные ее положения и выводы не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми выводами и положениями, соответствующими новым историческим условиям» [1].

Каждый новый этап в историческом развитии народов, обозначаемый крупнейшими историческими событиями, ставит перед обществом новые исторические задачи, дает новое направление его практической деятельности и в то же время бросает новый свет на его прошедшие судьбы в раскрывающейся связи прошлого с настоящим. Так, история нашей родины, бывшая раньше историей России, превратилась в историю СССР.

Великая пролетарская революция в октябре 1917 года открыла путь свободного развития богатым творческим силам многочисленных народов Советского Союза, потому что «...царская Россия была очагом всякого рода гнета — и капиталистического, и колониального, и военного» [2]. Именно поэтому в условиях победившей пролетарской революции историческое прошлое раскрывалось со всей полнотой своего конкретного содержания, чтобы показать все те скрытые силы, которые медленно, но неизбежно вели к революции и которые, в условиях победившей революции обеспечили ее небывалый творческий размах.

В «Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР» товарищей Сталина, Жданова, Кирова в августе 1934 г. указывается: «В конспекте не даны условия и истоки национально-освободительного движения покоренных царизмом народов России и, таким образом, Октябрьская революция, как революция, освободившая эти народы от национального гнета, остается немотивированной, равно как немотивированным остается создание Союза ССР ...В конспекте... не учтена зависимая роль как русского царизма, так и русского капитализма от капитала западноевропейского, ввиду чего значение Октябрьской революции, как освободительницы России от ее полуколониального положения, остается немотивированным» [3]. Эти конкретные указания обозначают вместе с тем общий план рассмотрения прошлой истории СССР.

Подводя итог исторической борьбе рабочего класса и широких трудящихся масс народов России, Великая Октябрьская Социа-

---

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 339.
[2] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 4.
[3] «К изучению истории», стр. 22—23.

листическая революция раскрывает широкие перспективы мирового исторического развития.

Все предшествующие революции, все предшествующие смены общественно-экономических формаций,—переход от рабовладельческого общества к феодальному, от феодального к капиталистическому — совершались в интересах определенного классового меньшинства. Классовая борьба пролетариата впервые осуществляет интересы подавляющего большинства. Только пролетарская революция, учит товарищ Сталин, обеспечивает свободу и полноту национального развития всем народам, только пролетарская революция превращает национальный вопрос из лозунга национализма и национального угнетения в лозунг свободы народов и международного содружества.

И если самая борьба за пролетарскую революцию происходила в условиях зависимости царской России от западноевропейского капитала, то победа пролетарской революции в России сразу ставила ее в центре мирового революционного движения. «Победив в центре России и овладев рядом окраин, Октябрьская революция не могла ограничиться территориальными рамками России... Октябрьский переворот, устанавливая связь между народами отсталого Востока и передового Запада, стягивает их в общий лагерь борьбы с империализмом», — так определял «мировое значение Октябрьского переворота» товарищ Сталин уже в статье 1918 г. «Октябрьский переворот и национальный вопрос» [1]. И отсюда выводилась широкая и общая задача проследить связь истории России с историей других стран в ее последовательных изменениях на каждом отдельном историческом этапе, — четко сформулированная в тех же «Замечаниях» задача дать такую историю, «где бы история народов СССР не отрывалась от истории общеевропейской и, вообще, мировой истории...»

Так же как деятельность Сталина от начала до конца принадлежала революции, его мысль принадлежала марксизму-ленинизму. В письме составителям учебника истории ВКП(б) товарищ Сталин писал: «...борьба большевиков с антибольшевистскими течениями и фракциями была *принципиальной* борьбой за ленинизм ...без принципиальной борьбы с антиленинскими течениями и группами, без их преодоления, наша партия неминуемо переродилась бы, как переродились соц.-дем. партии II-го Интернационала...» [2] И на конференции аграрников-марксистов в 1929 г. он указывал на необходимость, чтобы «теоретическая работа не только поспевала за практической, но и опережала ее, вооружая наших практиков в их борьбе за победу социализма» [3].

---

[1] *Сталин*, Марксизм и национально-колониальный вопрос, изд. 1939 г., стр. 75—76.

[2] «К изучению истории», стр. 29.

[3] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 275.

Вся деятельность товарища Сталина была выражением такой «принципиальной борьбы», живым соединением теории и практики ленинизма. Он был еще в начале XX в. не только руководителем революционной деятельности рабочих масс Закавказья, но и теоретиком большевизма, развивающим его теоретические положения в ряде работ. Его статья 1904 г. — «Как понимает социал-демократия национальный вопрос», его брошюра 1905 г.— «Вскользь о партийных разногласиях», его статьи 1906—1908 гг., преимущественно в грузинской прессе, давали систематическую разработку теоретических и практических вопросов и осуществляли идейную борьбу со всеми мелкобуржуазными и либеральными течениями в рабочем движении[1].

Его работа 1913 г. — «Марксизм и национальный вопрос» — была разрешением важнейшего вопроса революционной борьбы нового этапа, борьбы с национальным гнетом в ее неразрывной связи с революционной борьбой рабочего класса против всякого угнетения. И здесь практика переплеталась с теорией: товарищ Сталин был непосредственным руководителем большевистских организаций в Закавказье и соратником Ленина в общем руководстве революционной борьбой всего рабочего класса России. Работы товарища Сталина были принципиальной программой действия, реализованной в Октябрьской революции и в дальнейшей национальной политике Советского Союза.

Победа Октябрьской революции была реализацией ленинско-сталинской политики, неуклонно проводившейся в борьбе со всеми антипартийными и антисоветскими группировками. Разоблачение их враждебных теорий было дальнейшей борьбой за развитие марксизма-ленинизма. Труд товарища Сталина «Об основах ленинизма» — лекции, читанные им в Свердловском университете в начале 1924 г., — является обобщением его теории и практики в их внутренней связи. Его последняя работа — «О диалектическом и историческом материализме» — итог философских основ и научно-исторических выводов марксизма.

В процессе всего социалистического строительства каждый новый поворот в исторической жизни Советского Союза получает свое теоретическое обобщение в работах товарища Сталина.

Задача поднять научную мысль на более высокий теоретический уровень и очистить ее от тех чуждых наслоений и извращений, которые вносились в нее, приобретала все большее значение по мере разрешения первой задачи — расширения общего культурного уровня широких народных масс и повышения их идейных, научных запросов.

Вопросы повышения теоретического марксистского образования и непосредственного изучения общественной жизни привлекали все большее внимание партии и правительства под личным

[1] Интересные выборки из этих статей даны в книге Л. Берия.

руководством товарища Сталина. Они нашли свое выражение в письме в редакцию журнала «Пролетарская революция» в 1931 г. «О некоторых вопросах истории большевизма», в постановлении СНК и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. «О преподавании истории в средней школе», в «Замечаниях на конспекты учебников по истории», данных товарищами Сталиным, Ждановым и Кировым в 1934 г. и опубликованных в январе 1936 г., в последовавшем тогда же постановлении партии и правительства о «так называемой «школе Покровского», в письме товарища Сталина составителям учебника истории ВКП(б) в 1937 г., наконец, в постановлениях о партийной пропаганде 1938 г.

Эти документы были не общей директивой, а конкретной, практической программой действия. Товарищ Сталин сам принимал активное участие в ее осуществлении и конкретными указаниями и личным участием в работе. Результатом этой работы товарища Сталина, плодом его личного участия явился «Краткий курс истории ВКП(б)» — образец марксистского исторического исследования, настольная книга каждого историка, каждого советского читателя вообще.

Теория марксизма и исторический материализм

«...Теория, — писал Маркс, — становится материальной силой, как только она овладевает массами» [1]. Довести до масс теорию марксизма-ленинизма — такова задача, над которой неустанно работал товарищ Сталин и которую блестяще осуществил «Краткий курс истории ВКП(б)». В работе «О диалектическом и историческом материализме», написанной для этого курса, товарищ Сталин писал: «Сила и жизненность марксизма-ленинизма состоит в том, что он опирается на передовую теорию, правильно отражающую потребности развития материальной жизни общества, поднимает теорию на подобающую ей высоту и считает своей обязанностью использовать до дна ее мобилизующую, организующую и преобразующую силу» [2].

Мы видели выше, как много товарищ Сталин работал над вопросами теории.

Товарищ Сталин в своих работах раскрывает действенное, революционное значение марксизма. Этот основной принцип марксизма проявляется в диалектике. Товарищ Сталин ярко и образно охарактеризовал сущность диалектики в одной из своих ранних статей: «Говорят, что жизнь заключается в непрерывном росте и развитии, и это верно: общественная жизнь не является чем-то неизменным, застывшим, она никогда не останавливается на одном уровне — она в вечном движении, в разрушении-созидании... Поэтому-то в жизни всегда существует **новое и старое**, растущее и умирающее, революция и реакция — в ней непременно что-

[1] *Маркс* и *Энгельс*, Соч., т. I, 1938, стр. 392.
[2] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 112.

нибудь умирает и в то же время непременно что-нибудь рождается...

Диалектический метод говорит, что жизнь нужно рассматривать именно так, как она в действительности существует. Жизнь находится в непрерывном движении, стало быть наш долг рассматривать жизнь в ее движении, в разрушении и созидании. Куда идет жизнь, что умирает и что рождается в жизни, что разрушается и что созидается — вот вопросы, которые должны, в первую очередь, интересовать нас. Таков первый вывод диалектического метода» [1]. В революции завершается отмирание старого и утверждается торжество нового, рождается новая эпоха: «Эволюция подготовляет и дает почву революции, а революция увенчивает эволюцию и содействует ее дальнейшей работе» [2].

Это не революционность абстрактной теории, строящейся вопреки законам общественной жизни на основе «идеальных планов» и «всеобъемлющих проектов», как у утопистов [3], а революционность, заложенная в действительных отношениях, присущая самой жизни, — «живая жизнь» по выражению Ленина. «...Революционные перевороты, совершаемые угнетенными классами, представляют совершенно естественное и неизбежное явление» [4].

Сознательное руководство историческими событиями составляет непреодолимую силу марксистко-ленинского учения, определившую мировое историческое значение «творца этой теории и тактики» — Ленина. «Значит, в своей практической деятельности партия пролетариата должна руководствоваться не какими-либо случайными мотивами, а законами развития общества, практическими выводами из этих законов.

Значит, социализм из мечты о лучшем будущем человечества превращается в науку.

Значит, связь науки и практической деятельности, связь теории и практики, их единство должно стать путеводной звездой партии пролетариата». Так определил это положение «Краткий курс истории ВКП(б)» [5].

Сила и значение этого ленинско-сталинского руководства заключается, далее, и в том, что это руководство осуществляется не отдельным лицом, а что теория, вооружая партию, вооружая класс, привлекает весь класс к этому руководящему историческому действию.

Реалистичность, «историзм» марксистского учения настойчиво выделяется и раскрывается товарищем Сталиным. «Понятно, что

---

[1] Газета «Ахали цховреба» № 2, 21 июня 1906 г., стр. 2—3. (Цит. по книге *Берия*, К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, изд. 1941 г., стр. 101. — *Н. Р.*)

[2] Там же, стр. 103.

[3] См. «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 111.

[4] Там же, стр. 105.

[5] Там же, стр. 109.

без такого *исторического* подхода к общественным явлениям невозможно существование и развитие науки об истории, ибо только такой подход избавляет историческую науку от превращения ее в хаос случайностей и в груду нелепейших ошибок» [1].

Но при этом у товарища Сталина утверждается и обратная связь: историзм становится основным элементом теории марксизма, основным методом марксистской теории. Этот историзм мышления является, может быть, одной из основных черт сталинской мысли. Не абстрактная теория, а приложение к реальной, конкретной действительности является у него одним из обычных путей научного доказательства.

Если речь идет о проблеме диалектического процесса развития, товарищ Сталин показывает диалектику в действии, обращаясь к доказательству от реальной исторической действительности, на примере спора марксистов с народниками о революционной роли крестьянства и рабочего класса в России и его разрешения в диалектике реальной революционной борьбы конца XIX в. Если идет полемика с меньшевиками о марксистском разрешении национального вопроса, то это разрешение опирается на конкретный анализ национальных отношений и национальной политики в царской России. И если речь идет о перспективах, о тактике революционной борьбы в предстоящей революции, то этот вопрос разрешается на основе научного анализа исторического опыта предшествующих революций.

Историзм мышления находит свое отражение в самом стиле товарища Сталина, в характерной особенности всех его выступлений, всегда насыщенных историческими ссылками и сопоставлениями. Это не внешняя форма, а плод глубокого проникновения в реальное содержание действительной жизни, воспринятой в ее органическом внутреннем развитии. Говоря об индустриализации страны, товарищ Сталин напоминает предшествующую борьбу с «вековой отсталостью» в нашей стране. Говоря о вражеской интервенции и борьбе с ней украинского народа в 1918 г., он напоминает об «отечественной войне». Этих примеров можно привести много.

Эти сопоставления — не сравнения обычного порядка. Неслучайно товарищ Сталин сам указал: «Исторические параллели всегда рискованны»[2]. Сопоставления товарища Сталина—не простые «параллели», они всегда включают в себя и противопоставление; он сопоставляет, чтобы показать разницу. Так, борьба Советской страны с технико-экономической отсталостью противопоставляется борьбе Петра I с отсталостью. Так, буржуазной революции должна противополагаться революция пролетарская.

Если в буржуазной исторической литературе сравнение сти-

---

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 105.

[2] *Сталин*, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, стр. 3.

рает исторические грани, историческую перспективу, то сопоставления товарища Сталина вскрывают различия, показывают связь исторических явлений в их изменении, в их развитии.

В этих сравнениях исключительная собранность, законченность, отчетливость каждой сталинской исторической характеристики. И этой законченности и собранности исторического образа соответствует такая же точность теоретического анализа и законченность научного определения. Этой четкости и точности требует он в первую очередь от историка. В замечаниях товарищей Сталина, Жданова и Кирова по поводу конспекта учебника по истории СССР говорится: «В конспекте свалены в одну кучу феодализм и дофеодальный период... самодержавный строй государства и строй феодальный... В конспекте свалены в одну кучу понятия реакция и контрреволюция, революция «вообще», революция буржуазная и революция буржуазно-демократическая».

В определениях товарища Сталина нет лишних слов и нет недоговоренности. Эти определения отливаются в законченную формулу математического определения. И в каждом таком определении итог и в то же время программа большой исторической работы.

Конкретность является основным элементом исторического подхода. «Все зависит от условий, места и времени»[1],— так определяет товарищ Сталин один из основных принципов марксистского понимания истории; «...жизнь нужно рассматривать именно так, как она в действительности существует» [2]. Это значит, что историческая действительность должна рассматриваться в органической связи всех ее элементов, во всей полноте ее конкретного содержания, в закономерности ее развития. Эта задача получает свое разрешение в марксистском учении об общественно-экономических формациях. В своей работе «О диалектическом и историческом материализме» товарищ Сталин дает дальнейшую разработку его конкретно-исторического содержания в последовательном процессе реального развития общественно-экономических отношений. В этом конкретно-историческом рассмотрении охватывается вся полнота содержания общественной жизни, и если в экономике, в системе производственных отношений определяется основа закономерности развития и смены формаций, то дальнейшая разработка учения товарищем Сталиным заключается в том, что в развитии формации и все остальные стороны общественной жизни выступают в конкретной закономерности своих последовательных изменений и превращаются в опорные пункты научного анализа и дифференциации конкретного исторического материала.

Эта последовательность развития общественных отношений, изменение классовых сил получает свое конкретное выражение

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 105.

[2] *Берия*, К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, стр. 101.

в изменении политических форм, в развитии государственной организации. Так получается разделение феодальной формации на два периода — феодальной раздробленности и феодального абсолютизма. Так определяется изменение государственной организации в процессе развития социалистического общества и в переходе к коммунистическому строю.

История рабочего движения и его революционной борьбы под руководством партии большевиков как выражение другой стороны исторического развития становится основой для периодизации новейшей истории в этом разрезе и вместе с тем превращается в направляющую нить для изучения этой системы явлений во внутренней органической связи и закономерности, как она выявляется в процессе исторического развития. Эта периодизация, изложенная товарищем Сталиным в письме составителям учебника истории партии, и легла в основу «Краткого курса истории ВКП(б)».

«...Наглядность и конкретность исторического материала», правильный разбор и правильное обобщение исторических событий, подводящие учащегося к марксистскому пониманию истории, утверждается постановлением СНК и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. как основной принцип марксистской исторической науки [1].

«Краткий курс истории ВКП(б)» явился образцом реализации этих принципов на практике.

История Октябрьской революции

Великая Октябрьская Социалистическая революция и послеоктябрьская история СССР—такова центральная историческая тема, получающая свое раскрытие в работах товарища Сталина.

Проблема Октябрьской революции выступает прежде всего как проблема первой социалистической революции, во всем конкретном определении ее внутреннего содержания и особой закономерности ее осуществления. И эта проблема социалистической революции раскрывается прежде всего в ее антитезе революции буржуазной и революции буржуазно-демократической. На раскрытии этих исторических различий товарищ Сталин останавливается еще в 1907 г. в предисловии к брошюре Каутского «Движущие силы российской революции». В замечаниях товарищей Сталина, Жданова и Кирова на конспект учебника новой истории говорится: «Основной осью учебника новой истории должна быть эта именно идея противоположности между революцией буржуазной и социалистической. Показать, что французская (и всякая иная) буржуазная революция, освободив народ от цепей феодализма и абсолютизма, наложила на него новые цепи, цепи капитализма и буржуазной демократии, тогда как социалистическая революция в России разбила все и всякие цепи и освободила народ от всех форм эксплоатации...» [2]

[1] «К изучению истории», стр. 18.
[2] Там же, стр. 25—26.

«Все зависит от условий, места и времени»[1].

В своей работе «Об основах ленинизма», в ее первой главе, посвященной историческим корням ленинизма, товарищ Сталин дал с предельной четкостью определение тех причин, которые привели именно царскую Россию к социалистической революции. Они лежали в условиях империалистического развития России и в условиях ее международного положения. «...Россия была узловым пунктом всех этих противоречий империализма ...царская Россия была очагом всякого рода гнета — и капиталистического, и колониального, и военного ...царская Россия была величайшим резервом западного империализма ...сторожевым псом империализма на востоке Европы». Наконец, «только в России существовала реальная сила, могущая разрешить противоречия империализма революционным путем»: самый революционный в мире пролетариат, руководимый большевистской партией во главе с Лениным и вооруженный революционной теорией — ленинизмом [2]. В этих скупых, но именно поэтому доведенных до четкости математических формул определениях дана вся история генезиса пролетарской революции в России.

Товарищ Сталин дает возможность проследить и ее более отдаленные исторические корни. Таково все сталинское учение о природе многонационального государства как «родины... национального гнета», и о природе национально-освободительного движения. Таков блестящий анализ «технико-экономической отсталости нашей страны» в речи «Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б)», показавший, что «...ликвидировать ее может только пролетариат, построивший свою диктатуру и держащий в своих руках руководство страной» [3].

Конкретно и четко раскрываются условия победы социалистической революции в октябре 1917 года — «причины, определившие сравнительно легкую победу революции в России». Пять условий этой победы указывает «Краткий курс истории ВКП(б)» в VII главе: 1) слабость русской буржуазии, 2) революционность и закаленность в боях рабочего класса России, 3) союз рабочего класса с крестьянской беднотой, 4) руководство рабочим классом со стороны большевистской партии, 5) условия международного положения. В этих кратких, сжатых определениях дан ключ к пониманию всего хода и исхода революционной борьбы 1917 г.

«Революция против царизма... должна была перерасти в революцию против империализма», — писал товарищ Сталин в работе «Об основах ленинизма» [4]. «...Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества — эру пролетарских революций», — определяет ее значение «Краткий

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 105.
[2] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 4—6.
[3] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 9-е, стр. 359.
[4] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 5.

курс истории ВКП(б)»[1]. Поэтому Октябрьская Социалистическая революция в России становится определяющей датой в мировой истории. В замечаниях товарищей Сталина, Кирова и Жданова о конспекте учебника новой истории указано, что победа Октябрьской революции в России и окончание империалистической войны знаменуют конец второго периода новой истории — периода начавшегося упадка капитализма.

Страна диктатуры пролетариата, страна победившего социализма стала родиной трудящихся всего мира, идейным центром мирового революционного движения. Она приобрела это значение самым фактом своего существования, так как «...то, о чем мечтали и продолжают мечтать миллионы честных людей в капиталистических странах, — уже осуществлено в СССР», и это свидетельствует «...о том, что то, что осуществлено в СССР, вполне может быть осуществлено и в других странах»[2]. В условиях обострившихся классовых и национальных противоречий капиталистического общества эпохи империализма СССР указывает трудящимся всего мира путь революционного разрешения этих противоречий.

Победа Октябрьской Социалистической революции разрешила исторические противоречия прошлого в нашей стране и, расколов мир на две системы, открыла новую эру в истории. Содержание истории послеоктябрьского периода товарищ Сталин исследует шаг за шагом по следам событий.

В «Письме составителям учебника по истории партии» товарищ Сталин определил основные этапы Советского периода нашей истории: 1917—1918 гг. — период подготовки и проведения Октябрьской революции; 1918—1920 гг. — период гражданской войны; 1921—1925 гг.—период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства; 1926—1929 гг. — борьба за социалистическую индустриализацию страны; 1930—1934 гг. — борьба за коллективизацию сельского хозяйства; 1935—1937 гг. — борьба за завершение строительства социалистического общества и проведение новой Конституции.

Международное значение Октябрьской революции определило задачи первого периода, поставив Советскую страну перед лицом вражеской интервенции и поддержанной ею гражданской войны. Советская власть победоносно разрешила эту первую задачу.

Товарищ Сталин в нескольких статьях дал исчерпывающую характеристику этого периода, определяя основные этапы истории гражданской войны. В статье «Новый поход Антанты на Россию»[3] товарищ Сталин дает полную картину развития этой борьбы в последовательных этапах трех походов Антанты с исчерпывающим по конкретности анализом основных определяющих элементов этой последовательной эволюции.

[1] «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 214.
[2] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 533.
[3] «Правда» от 25 и 26 мая 1920 г.

Строительство социализма в СССР, уничтожение экономической отсталости страны являлось второй задачей и основой всего дальнейшего развития. Восстановление разрушенного в годы войны хозяйства, социалистическая индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и ликвидация кулачества как класса — таковы основные этапы, которыми шла страна к разрешению своей коренной задачи построения социализма. Завершая развитие ленинского учения о неравномерности развития капиталистического общества и о возможности победы социализма в одной стране, товарищ Сталин дал законченный анализ конкретного развития этого процесса.

С изменением экономики тесно связано изменение социального строя, классовой структуры нашего общества: в нем исчезли эксплоататорские классы помещиков, капиталистов, кулаков, а оставшиеся классы — рабочий класс, крестьянство и интеллигенция — приобрели новое содержание в процессе строительства социалистического общества.

В этом процессе осуществилось и коренное изменение в области национальных взаимоотношений в истории СССР — ликвидировано фактическое экономическое и культурное неравенство, осуществлен «опыт образования многонационального государства, созданного на базе социализма...»[1]

В этих условиях изменялись формы и функции социалистического государства в Советской стране: «...формы нашего государства меняются и будут меняться в зависимости от развития нашей страны и изменения внешней обстановки», — указывал товарищ Сталин в отчетном докладе на XVIII съезде партии [2]. Товарищ Сталин указал на две главные фазы развития социалистического государства, связанные с основными гранями в послеоктябрьской истории нашей страны. Первая фаза — от победы Октябрьской революции до ликвидации эксплоататорских классов—характеризовалась в государственном строе преобладанием функций подавления свергнутых классов и обороны страны, с постепенным развитием новой, хозяйственно-организационной и культурно-воспитательной функции. Во вторую фазу, завершенную принятием новой Конституции, эта новая функция приобретает решающее, основное значение при сохранении функций военной защиты страны. Указана и возможность третьей фазы в развитии государства с переходом в период коммунизма при сохранении капиталистического окружения.

Новые этапы в развитии социалистического строительства систематически определялись товарищем Сталиным на каждом последовательном этапе в истории СССР. Его доклады XIV, XV, XVI, XVII, XVIII партийным съездам, работы — «Год великого

---

[1] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 513.
[2] Там же, стр. 605.

перелома», «К вопросам аграрной политики в СССР», «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства», «Итоги первой пятилетки» — этапы не только в политике ВКП(б), но и в развитии исторической разработки истории нашей родины за годы Великой Октябрьской Социалистической революции. Доклад о проекте Советской конституции на Чрезвычайном VIII съезде Советов СССР был блестящим подведением этих исторических итогов.

Проблемы общей истории нашей страны

История Октября есть вместе с тем итог всей предшествующей истории нашей страны, истории народов нашего Союза.

Первой общей проблемой истории СССР, ставившейся в непосредственной связи с историей Октябрьской революции, была проблема отставания русской истории, превращавшаяся в буржуазных и в меньшевистских исторических построениях в теорию неподготовленности России к Октябрьской революции, в прямое отрицание исторической закономерности Октябрьского переворота.

Этот вопрос получил у товарища Сталина свое принципиально новое историческое истолкование. Ленин указывал, что без известной высоты развития капитализма победоносная пролетарская революция была бы в России невозможна. Развивая это положение Ленина, товарищ Сталин покончил с теорией абсолютной отсталости, отодвигавшей историю России на один исторический этап назад, представлявшей теорию систематического опаздывания России на историческом пути. Речь шла лишь об относительной отсталости, об элементах отсталости, которые сталкивались и своеобразно переплетались с новыми элементами в ее истории, но не останавливали самого процесса исторического развития.

В России, в условиях тяжелой внешней борьбы, процесс национального развития запоздал, но уже с XVI века идет процесс складывания централизованного государства. «Технико-экономическая отсталость нашей страны» существовала и в XVII и в XVIII вв., но существовал и Петр I, который, «...имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны ...это была своеобразная попытка выскочить из рамок отсталости» [1]. Та же отсталость в XIX в. привела к консервации элементов крепостничества в пореформенной России, но она не снимала одновременного развития передовых элементов в сложном сосуществовании разных укладов и не остановила перехода России в стадию империализма, лишь опутав его пережитками феодальной отсталости, придав ему характер военно-

[1] *Сталин*, Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б), «Вопросы ленинизма», изд. 9-е, стр. 359.

феодального империализма. Она не остановила роста пролетариата и его революционной борьбы, а лишь поставила перед ним более слабого противника в лице русской буржуазии.

Меньшевики делали вывод, что Россия отстала и поэтому должна еще проделать процесс буржуазного развития, чтобы созреть для пролетарской революции. Большевики показали, что отстала прежде всего русская буржуазия и что поэтому ликвидации отсталости надо ждать уже не от буржуазии, а от пролетариата. «Вековую отсталость нашей страны, — указывал товарищ Сталин, — можно ликвидировать лишь на базе успешного социалистического строительства. А ликвидировать ее может только пролетариат, построивший свою диктатуру и держащий в своих руках руководство страной» [1].

Так, буржуазно-меньшевистской теории безысходной вековой отсталости, развивавшейся в исторической литературе всеми буржуазными и мелкобуржуазными теоретиками, начиная Милюковым и Струве и кончая Рожковым и Плехановым последнего периода его деятельности, противопоставлялось боевое диалектическое учение, открывавшее России путь к превращению в авангард мировой революции, ибо «...Россия была узловым пунктом всех... противоречий империализма... Россия была беременна революцией более, чем какая-либо другая страна...» [2], и при этом «...цепь империалистического мирового фронта оказалась слабее в России, чем в других странах» [3].

Поэтому и в политическом развитии России и в ее международных отношениях товарищ Сталин указывает две стороны.

«История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную» [4].

Но это лишь одна сторона вопроса. Товарищ Сталин показывает и другую сторону, подчеркивает моменты внутреннего укрепления страны в борьбе с чужеземной угрозой. Так складывание и у нас централизованного государства в XV—XVI вв. разрешило задачи «обороны от нашествия турок, монголов и других народов Востока». Еще более крупных политических успехов Россия достигла при Петре I.

В этом аспекте выступала по-новому как органический элемент общего исторического развития история государства. Мы

[1] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 9-е, стр. 359.
[2] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 4.
[3] Там же, стр. 19.
[4] *Сталин*, О задачах хозяйственников, «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 328.

видели, как в порядке реакции против государственной школы эта проблема была снята теорией экономического материализма и выпала и у Рожкова и у Плеханова. В работах товарища Сталина она получает свою подлинную историческую оценку.

Складывание многонационального централизованного государства в России XVI в. было началом превращения царской России в тюрьму народов. Но если бы этого не произошло, Россия стала бы добычей монголов или Польши. Это было бы худшей формой колониальной зависимости для всех народов России. Завоевание Казанского царства легло тяжелым гнетом на народы Поволжья; устранять эту сторону вопроса значило бы забывать «...истоки национально-освободительного движения покоренных царизмом народов России...» [1] Но это было единственным условием укрепления и сохранения Русского государства, и в этом его историческое оправдание. Присоединение Украины к Русскому государству привело в дальнейшем к тяжелому угнетению украинского народа российским царизмом. Но исторические условия сложились так, что сохранить самостоятельность Украина не могла, речь шла о выборе «меньшего зла», и выбор присоединения к России был исторически оправдан.

Политика Петра I ложилась тяжелым гнетом на крестьян, «с которых драли три шкуры». Но дворянская по своей классовой природе политика Петра I служила «укреплению национального государства», т. е. спасала Россию от грозившей ей перспективы превращения в колонию или полуколонию Швеции, — и в этом была одна из прогрессивных сторон петровской политики.

Превращение самодержавия из европейского жандарма в резерв западного империализма, в «сторожевого пса империализма на востоке Европы», превращение царской России в полуколонию западноевропейского капитала — таково содержание международных отношений царской России XIX в.

Пролетарская революция превратила Россию, бывшую «узловым пунктом противоречий империализма», в авангард революции. Но вместе с тем и именно поэтому «...революция против царизма... должна была перерасти в революцию против империализма...» [2]

Во внутренней истории СССР этот процесс сопровождался и определялся развитием классовой борьбы. Товарищ Сталин развил дальше теорию крестьянских войн феодально-крепостнической эпохи. Он указал, что историческая литература еще в работах Покровского и его «школы» продолжала даже в самой терминологии пользоваться «затасканными трафаретными определениями» — «разинщина», «пугачевщина», заслоняющими классовый смысл движения. Но в то же время в четком классовом анализе

---

[1] «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР», в сб. «К изучению истории», стр. 22.

[2] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 5.

движения товарищ Сталин вскрыл и природу его классовой ограниченности на данном историческом этапе: «Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями. Только комбинированное восстание во главе с рабочим классом может привести к цели» [1].

В статьях 1904—1906 гг., в брошюре «Вскользь о партийных разногласиях», в предисловии к брошюре Каутского, в газете «Ахали цховреба» [2] товарищ Сталин дал марксистский анализ развития революционной борьбы рабочего класса и его превращения в гегемона революции, вскрывая параллельный процесс классовой эволюции крестьянства и обосновывая в борьбе с меньшевиками необходимость союза рабочего класса и крестьянства в этой революционной борьбе с самодержавием и капитализмом.

«Краткий курс истории ВКП(б)» подвел итоги этой борьбы и дал ее историю на базе марксистского анализа истории рабочего класса в России, в органической связи со всем процессом ее внутренней и внешней истории.

Принцип изучения истории СССР, «не отрываясь от истории общеевропейской и, вообще, мировой истории», получил конкретное выражение в указаниях товарища Сталина на роль не только политических связей и противоречий, но и на значение культурных, идеологических влияний и взаимодействий. В уже неоднократно цитированных «Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР» говорится: «Конспект не отражает роли и влияния западно-европейских буржуазно-революционных и социалистических движений на формирование буржуазного революционного движения и движения пролетарско-социалистического в России. Авторы конспекта очевидно забыли, что русские революционеры считали себя учениками и последователями известных корифеев буржуазно-революционной и марксистской мысли на Западе».

Но и здесь товарищ Сталин выдвигал также обратное влияние передовой революционной мысли России. О ведущей, руководящей роли Ленина, идей большевизма говорит известное письмо товарища Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» — «О некоторых вопросах истории большевизма» (1931). Она была закреплена Октябрьской революцией, которая царскую Россию, «очаг всякого рода гнета», превратила в Советский Союз — родину свободы, родину всех трудящихся.

Пролетариат России, осуществивший Великую Социалистическую революцию, из роли ученика переходил к роли руководителя и вождя в мировом революционном движении: «...Страна,

[1] *Сталин*, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, Партиздат, 1938, стр. 9.

[2] См. в книге *Берия*, К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, особенно стр. 100—101, 103—106.

проделавшая такую революцию и имеющая такой пролетариат, послужила родиной теории и тактики пролетарской революции... вождь этого пролетариата, Ленин, стал вместе с тем творцом этой теории и тактики и вождем международного пролетариата»[1].

Проблема национального развития

В условиях борьбы за пролетарскую революцию выступил в своем подлинно историческом значении и национальный вопрос, в его конкретно-историческом содержании, в истории развития народа от первоначального племенного строя к современной национальной организации. Только в марксизме-ленинизме вскрывалась историческая природа национального вопроса, и реакционной буржуазной позиции национальной исключительности противопоставлялось учение о революционной сущности национально-освободительного движения.

Законченное теоретическое и историческое обоснование марксистской трактовки национального вопроса было дано именно товарищем Сталиным уже в 1913 г. в работе «Марксизм и национальный вопрос». Это было в преддверии империалистической войны, в канун Октябрьской революции. В этом же году выработанные товарищем Сталиным установки по национальному вопросу были утверждены специальным партийным совещанием в Поронине как принципы ленинско-сталинской национальной политики.

Сила учения марксизма-ленинизма, состоящая в его историзме, в том, что он имеет дело не с абстрактными застывшими категориями, а с живым историческим процессом, с явлениями, исторически обусловленными, исторически развивающимися, полностью сказалась в сталинском учении о национальном вопросе. «...Решение национального вопроса возможно лишь в связи с историческими условиями, взятыми в их развитии»[2]. Нация из надисторической, этнографической категории становилась исторической категорией и притом «...исторической категорией определенной эпохи, эпохи подымающегося капитализма»[3].

«Складывание людей в нации» имело длительную историю: ему предшествовало существование племени на ранней стадии, в период варварства и начала феодальной раздробленности, образование народности, отвечающее периоду перехода к феодально-абсолютистской централизации. Переход от народности или национальности к нации отвечал развитию буржуазных отношений. Этот вопрос о происхождении нации был не простой академической схемой. Условия прохождения народом этих основных этапов его развития определяли характер постановки национального вопроса для данной, отдельно взятой, страны. Так в первую очередь оформляется сталинское учение о национальных и многонациональ-

[1] *Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 7.
[2] *Сталин*, Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 24.
[3] Там же, стр. 16.

ных государствах. Последние сложились на Востоке Европы — таковы Австрия и Россия; товарищ Сталин в дальнейшем еще уточняет анализ этого явления, указывая на его обусловленность тем, что здесь «...процесс появления централизованных государств шел быстрее процесса складывания людей в нации...» [1], что одна из причин этого — интересы обороны от вражеских нашествий (монголы, турки). «Эти многонациональные государства... послужили родиной... национального гнета...» [2], — отсюда ясно особенное значение национального вопроса в многонациональной Российской империи.

В недрах многонационального государства, сложившегося в условиях феодализма, развитие буржуазных капиталистических отношений вело к консолидации наций — нации господствующей и наций подчиненных — и поднимало мощную волну национально-освободительного движения.

Для этого периода «буржуазия — главное действующее лицо» в национальном движении. Но это лишь временный этап: «...национальная борьба в условиях *подымающегося* капитализма является борьбой буржуазных классов между собой» [3]. В этом и ее ограниченность, поскольку в конечном итоге она ведет лишь к усилению национального гнета, как внутри государства господствующей нацией, так и за счет его распространения путем захвата новых народов. Колониальные захваты становятся в свою очередь источником нового расширения национального гнета. Тем самым «...национальный гнет из вопроса внутригосударственного был превращен в вопрос междугосударственный, в вопрос о борьбе (и войне) «великих» империалистических держав за подчинение слабых, неполноправных национальностей» [4].

Носителем подлинной национально-освободительной борьбы становился пролетариат, единственная до конца революционная сила. «...Октябрьский переворот, покончив со старым, буржуазно-освободительным национальным движением, открыл эру нового, социалистического движения рабочих и крестьян угнетенных национальностей, направленного против всякого,—значит и национального, — гнета, против власти буржуазии, «своей» и чужой, против империализма вообще». «Так, — продолжает товарищ Сталин, — национальный вопрос из частного вопроса о борьбе с национальным гнетом вырастает в общий вопрос об освобождении наций, колоний и полуколоний от империализма» [5].

Эта освободительная борьба открыла путь тому мощному подъему национального развития и национальной культуры,

[1] *Сталин*, Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 97—98.
[2] Там же, стр. 98.
[3] Там же, стр. 20.
[4] Там же, стр. 88.
[5] Там же, стр. 74—76.

которые осуществлены в Советском Союзе, где царскую Россию — «тюрьму народов» — сменил братский союз свободных народов в виде «...многонационального государства, созданного на базе социализма» [1].

В конкретно-исторической реализации своего учения по национальному вопросу товарищ Сталин показал, с одной стороны, исторический путь СССР в историческом развитии Великороссии, в ее связи с историей других народов СССР, т. е. в конкретном развитии многонационального государства, и, с другой стороны, конкретную историю отдельных народов, вошедших в это многонациональное государство. Образцом такого конкретного анализа является та краткая характеристика, в которой товарищем Сталиным раскрыт внутренний стержень всей истории Грузии.

«Грузины дореформенных времен жили на общей территории и говорили на одном языке, тем не менее они не составляли, строго говоря, одной нации, ибо они, разбитые на целый ряд оторванных друг от друга княжеств, не могли жить общей экономической жизнью, веками вели между собой войны и разоряли друг друга, натравливая друг на друга персов и турок. Эфемерное и случайное объединение княжеств, которое иногда удавалось провести какому-нибудь удачнику-царю, в лучшем случае захватывало лишь поверхностно-административную сферу, быстро разбиваясь о капризы князей и равнодушие крестьян. Да иначе и не могло быть при экономической раздробленности Грузии... Грузия, как нация, появилась лишь во второй половине XIX века, когда падение крепостничества и рост экономической жизни страны, развитие путей сообщения и возникновение капитализма установили разделение труда между областями Грузии, вконец расшатали хозяйственную замкнутость княжеств и связали их в одно целое» [2].

Четкость и ясность этой характеристики снимает необходимость всяких комментариев. Она указывает путь изучения истории отдельных народов нашего Союза.

«Краткий курс истории ВКП(б)» и направление советской исторической науки

«Краткий курс истории ВКП(б)», составленный под редакцией комиссии ЦК ВКП(б) при непосредственном участии и под руководством товарища Сталина, явился блестящим синтезом развитых товарищем Сталиным исторических идей. История партии рабочего класса — это история рабочего класса, а история рабочего класса, превращающегося в хозяина страны, в руководителя всей ее жизни, — это в конечном итоге уже история самой страны.

В органическом историческом рассмотрении заключается первое основное требование товарища Сталина составителям учебника истории ВКП(б), направленное против тех, кто превращает

[1] *Сталин*, О проекте Конституции Союза ССР, «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 513.

[2] *Сталин*, Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 10—11.

историю в «...легкий и непонятный рассказ о делах минувших». В принципиальном теоретическом вооружении рабочего класса, в показе того, что «...борьба большевиков с антибольшевистскими течениями и фракциями была *принципиальной* борьбой за ленинизм», заключалась вторая основная задача.

В свете этой двойной задачи раскрывался пройденный рабочим классом и его партией исторический путь и явилась первая научная периодизация истории партии, данная товарищем Сталиным в его письме составителям учебника истории ВКП(б). «Краткий курс истории ВКП(б)» явился блестящей реализацией этой программы. Трудно полнее и четче охарактеризовать его охват и значение, чем это сделано во «Введении» к «Краткому курсу истории ВКП(б)».

«Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) прошла долгий и славный путь от первых маленьких марксистских кружков и групп, появившихся в России в 80-х годах прошлого столетия, до великой партии большевиков, руководящей ныне первым в мире социалистическим государством рабочих и крестьян.

ВКП(б) выросла на основе рабочего движения в дореволюционной России из марксистских кружков и групп, которые связались с рабочим движением и внесли в него социалистическое сознание. ВКП(б) руководствовалась и руководствуется революционным учением марксизма-ленинизма. Ее вожди в новых условиях эпохи империализма, империалистических войн и пролетарских революций развили дальше учение Маркса и Энгельса, подняли его на новую ступень.

ВКП(б) росла и крепла в принципиальной борьбе с мелкобуржуазными партиями внутри рабочего движения — эсерами (а еще раньше с их предшественниками — народниками), меньшевиками, анархистами, буржуазными националистами всех мастей, а внутри партии — с меньшевистскими, оппортунистическими течениями, — троцкистами, бухаринцами, национал-уклонистами и прочими антиленинскими группами.

ВКП(б) крепла и закалялась в революционной борьбе со всеми врагами рабочего класса, со всеми врагами трудящихся — помещиками, капиталистами, кулаками, вредителями, шпионами, со всеми наемниками капиталистического окружения.

История ВКП(б) есть история трех революций: буржуазно-демократической революции 1905 года, буржуазно-демократической революции в феврале 1917 года и социалистической революции в октябре 1917 года.

История ВКП(б) есть история свержения царизма, свержения власти помещиков и капиталистов, история разгрома иностранной вооруженной интервенции во время гражданской войны, история построения Советского государства и социалистического общества в нашей стране.

Изучение истории ВКП(б) обогащает опытом борьбы рабочих и крестьян нашей страны за социализм.

Изучение истории ВКП(б), изучение истории борьбы нашей партии со всеми врагами марксизма-ленинизма, со всеми врагами трудящихся помогает *овладевать большевизмом*, повышает политическую бдительность.

Изучение героической истории большевистской партии вооружает знанием законов общественного развития и политической борьбы, знанием движущих сил революции.

Изучение истории ВКП(б) укрепляет уверенность в окончательной победе великого дела партии Ленина — Сталина, победе коммунизма во всем мире».

История партии явилась историей трех революций, историей разгрома иностранной интервенции и внутренней контрреволюции, историей построения социалистического общества в нашей стране. А это значит, что история партии существует не изолированно, не в отрыве от всего исторического процесса в его развитии, а должна быть взята в свете всей истории рабочего класса, всей истории нашей страны. И в свою очередь вся история нашей страны, приведшая к победе пролетарской революции, завершившаяся в революционной борьбе рабочего класса под руководством большевистской партии, должна быть понята и может быть понята лишь в свете этого завершающего этапа. В этом принципиальное общеисторическое значение «Краткого курса истории ВКП(б)», которое распространяется на все огромное поле исторических изучений. Те требования, которые товарищ Сталин предъявил к историкам партии, относятся ко всем историкам. То, что дал «Краткий курс истории ВКП(б)», является образцом и школой для всех историков.

Обязанность всех историков давать всесторонний анализ исторического процесса во всей его конкретной полноте и внутренней обусловленности, а не «легкий и непонятный рассказ о делах минувших».

Обязанность всех историков изучать не только факты, но самое их действие, материальное и идейно-теоретическое обогащение человечества, его знаний и опыта, в результате каждого пройденного исторического этапа.

Обязанность всех историков изучать в истории самую деятельность людей, воздействие идей и сознательного руководства на практику.

Обязанность всех историков — борьба с антибольшевистскими течениями, «*принципиальная* борьба за ленинизм».

Не отказываясь от прошлого исторического наследства, используя лучшие труды прежних историков, советские историки должны развивать советскую марксистско-ленинскую историческую науку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работах Ленина и Сталина дано теоретически обоснованное, подлинно научное раскрытие закономерности исторического развития СССР. Реальный итог исторического развития России, подведенный Великой Октябрьской социалистической революцией, определил конкретные задачи и направление исследовательской работы советской исторической науки. Они даны со всей принципиальной четкостью и предельной конкретностью в руководящих высказываниях товарища Сталина.

Несмотря на сравнительно короткий отрезок времени существования советской науки, ею пройден уже немалый путь. Правда, этот путь советской исторической науки был частично заслонен искажениями, внесенными в нее «так называемой «исторической школой Покровского». Эти извращения принадлежали, однако, не настоящему, а прошлому исторической науки; они были пережитком прошлого и именно поэтому смогли быть так быстро изжиты.

Но в то же время по всему Советскому Союзу шла большая конкретная, систематическая работа, направленная на разрешение новых вопросов, поставленных перед историей современностью, на заполнение тех белых мест, которых оставалось так много в буржуазной исторической науке. Здесь была и большая подготовительная работа мобилизации и публикации огромных, зачастую никем не тронутых архивных фондов, тщательная монографическая разработка отдельных исторических вопросов и подведение первых частных итогов.

Работа эта велась не только в центре, но и на местах, в самых отдаленных частях Советской страны, впервые развернув изучение истории многочисленных народов Союза. В этой работе не только выявлялись материалы, не только расширялось конкретное знание, — росли люди, создавались новые кадры советских историков.

И в результате этой большой коллективной работы наша советская наука смогла уже сейчас подойти к подведению того обобщающего итога, к тем синтетическим задачам, от которых уже давно отказалась буржуазная историческая наука в России. К наступающему 25-летию Октябрьской революции коллектив советских историков сможет выполнить ту задачу, которую поставили перед ним товарищи Сталин, Киров и Жданов: дать такую историю СССР, «где бы история Великороссии не отрывалась от истории других народов СССР, — это во-первых, — и где бы история народов СССР не отрывалась от истории общеевропейской, — это во-вторых»

Но рассмотрение этого периода уже выходит за рамки настоящей работы. Мы изучали путь развития исторической мысли, — этот путь в основном пройден. На очереди претворение его теоретических итогов в практику. И сам этот период принадлежит уже не прошлому, не истории нашей науки, — он еще весь в настоящем и будущем, для которого закладывается прочный научный фундамент.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ[1]

Абулгази (Абуль-Гази) (1605—1665)— 70, 97, *102*, 216.
Август, имп. — 26, 28, 32, 35, 41, 42, 62.
Авенариус, Р. — 483, 578.
Авраамий Палицын (ум. 1625 г.) — 37, 41, 78.
Адашев, А. Ф. — 435.
Аделунг, Ф. (1768—1843) — 216.
Адлер, Ф. — 478.
Аксаков, К. С. (1817—1860) — 273, **276—280**, 284, 288, 331, 361, 543.
Аксельрод, П. — 555.
Акундинов, Т. — 124.
Алевиз Фрязин — 29.
Александр Македонский — 61, 112.
Александр Невский — 33, 34.
Александр I — 171, 172, 179, 215, 267, 316, **317, 318**, 416, 421, 595, 612.
Александр II — 293, 318, 319, 417.
Александр III — 345, 450.
Алексей Комнен — 47.
Алексей Михайлович (1629—1676) — 39, 40, 41, 43, 49, 62, 171, 380, *415*, 453, 467, 553.
Анастасия Романовна — 42.
Андреев, А. И. — *75*, 492.
Андреевский, И. Е. (1831—1891) — 443.
Андрей, апостол — 76, 77.
Андрей Боголюбский — 33, 45, *84*, 132, 329, 333.
Анна Кашинская, княгиня — 49.
Анненков, П. — 290.
Антонович, В. Б. (1830—1908) — 360, 510.
Анучин, Д. Н. — 359.
Аракчеев, А. А. — 318, 416, 595, 612.
Аристов, Н. Я. (1834—1882) — 365, *388*, 442, 443, 451.
Армашенков, Ив. — *48*.
Арнольд (XII в.) — 88.
Арсеньев, К. И. (1789—1865) — 208.
Артемий (XVI в.) — 29.
Арцыбашев, Н. С. (1773—1841) — 216, 241.
Аскольд [и Дир] — 155, 178, 248.
Афанасий, митрополит (XVI в.) —32.
Афанасьев, А. Н. — 362.

Бабст, И. К. — 377.
Багалей, Д. И. (1857—1932) — 510.
Базаров — 482, 483.
Байер Г.-З. (1694—1738) — 79, 81, 87, 92, 95, **96—97**, 98, 100, 153, 155, 234.
Балабанов — 557.
Баллод, Ф. — 492.
Бантыш-Каменский, Н. Н. (1737—1814) — 105, 175, 213, 214, 215.
Барант (1782—1866) — 247, 252, 253.
Барбаро, И. (XV в.) — 176.
Барбюс, А. — 619, *620*.
Бароний, Ц. (1538—1607) — 47, 59, 60.
Барсов, Н. П. (1839—1889) — 143, 363.
Барсуков, А. П. — 357.
Барсуков, Н. П. — *102*, *114*, *219*, *220*, 357, 418.
Бартенев, П. И. (1829—1912) — 357, 366.
Батый — 84, 89, 184, 185, 225.
Бахрушин, С. В. — 110, 113, **500—501**, 510.
Башилов, С. (1740—1770) — 154.
Башкин, М. — 29.
Баязет, султан — 29.
Беер — 79.
Бейль, П. — 79.
Беккария, Ч. — 120.
Белинский, В. Г. (1811—1848) — 204, 207, 208, 243, 244, 273, 274, 275, 290, 291, 293, 474, 511, 512, 548, 550.
Белов (G. von Below) — 13.
Белозерский — 425.

[1] В указателе страницы основного текста, посвященного данному автору, выделены жирным шрифтом, ссылки на сноски даны курсивом. Библиография в указатель не включена.

Белокуров, С. А. (1862—1918) — 39.
Бельский, Мартин —36, 46.
Беляев, И. Д. (1810—1878) — 214, 270, 277, 286, 287—288, 458.
Беляев, П. И. — 513.
Бензель, Г. Э. — 68.
Бенкендорф, А. Х. — 257.
Бентам, И. — 205, 543.
Бергсон, А. — 477, 478, 479, 482.
Бердяев, Н. — 474, 475, 485.
Бередников, Я. И. (1793—1854) — 219, 220, 241.
Бережков, М. — 365, 443.
Березин, И. Н. (1818—1896) — 358.
Беринг, В. — 100, 101.
Бернштейн, Э. — 478.
Берия, Л. — *403*, *625*, *627*, *635*.
Берх — 216, 484.
Беркли, Дж. — 347, 477.
Берлинский, М. Ф. — 216.
Бестужев-Рюмин, К. Н. (1829—1897) — 16, 166, 268, 353, 405, 406, **411—414**, 418, 420, 423, 453, 494, 504, 506, *526*.
Биондо, Ф. — 57.
Биорнер, Г. Ю. — 68.
Бирон, Э. И. — 69.
Бисмарк, О. — 319.
Блуд — 84.
Богданов, А. — 476, 482, 573, 603.
Богданович, М. И. — 417.
Богораз (Тан), В. Г. — 510.
Богословский, М. М. (1867—1929) — **498—499**, *523*.
Богучарский (Яковлев), В. Я. (1861—1915) — 511.
Боден, Жан (1530—1596) — 120, 146.
Бодянский, О. М. (1808—1877) — 85, 214, 357.
Бокль, Г.-Т. (1821—1862) — 146, 316, 349, 351, 353, 450, 525, 526.
Болотников, Ив. — 436, 505, 594.
Болтин, И. Н. (1735—1792) — 85, 95, 115, 116, 123, 124, 126, 127, 128, 136, **137—150**, 151, 153, 160, 165, 174, 177, 185, 213, 226, 234, 238, 241, 250, 362, 363, 521, 522.
Бора — 476.
Борзаковский, В. С. — 420.
Борис [Годунов] — 37, 39, 48, 88, 102, *114*, 250, 269.
Боткин, В. П. (1810—1869) — 293.
Бреннер, Г. (1669—1732) — 68.
Буддей, И. Ф. — 79.
Бужинский, Г. — 60, 64.
Булавин, К. — 338, 435.
Булгаков, С. — 474, 475, *482*, 485, 535.
Булгарин, Ф. В. — 244.
Буленвилье — 317.
Буслаев, Ф. П. (1818—1897) — 362.
Буташевич-Петрашевский, М. В. — 406, 408.
Бутков, П. — 241.
Бэкон, Ф. (1561—1626) — 52, 53, 209.
Бюхнер, Л. (1824—1899) — 347, 350.

Валентинов, Н. — 483.
Валк, С. Н. — 492.
Валла, Лоренцо (1407—1457) — 57.
Василий I (1371—1425)—25.
Василий II (1415—1462) — 35.
Василий III (1479—1533) — 28, 30, 133.
Василий IV [Шуйский] (1552—1612)— 37, 39, 68, 102, 307, 594.
Васильевский, В. Г. (1838—1899) — 506.
Вассиан Патрикеев (XVI в.) — 134.
Введенский, А. И. — 482.
Вебер, М. — 480.
Вейсаль — 88.
Величко, С. В. (конец XVII—XVIII вв.) — 38, 271, 357.
Велланский, Д. М. (1774—1847) — 206, 207.
Веселовский, Б. — 557, 558.
Веселовский, С. Б. — **513**, *528*.
Вико, Дж.-Б. (1668—1744) — 247.
Виндельбанд, В. — 452, 477, 479, 562.
Виноградов, П. Г. — 497, 578.
Витзен, Н. К. (1641—1717)—100, 108.
Витте, С. Ю. — 538.
Владимир I (ум. 1015 г.)—34, 40, 41, 42, 62, 84, 87, 132, 160, 164, 177, 183, 184, 225, 231.
Владимир II Мономах (1053—1125) — 22, 33, 45, 47, 132, 142, 156, 251.
Владимирский-Буданов, М. Ф. (1838—1916) — 513.
Водовозов, В. В. — 511.
Вольтер (1694—1773) — 56, 92, 120, 121, 122, 140, 145, 158, 169, 190.
Вольф, Х. (1679—1754) — 55, 61, 72.
Воронцов, С. Р., граф — 115, 217.
Воронцов, В. П. (В. В.) (1847—1918)— 365, 391, 398, **402—403**, 404.
Востоков, А. Х. (1781—1864) — 216, 222, 247.
Всеволод Ярославич — *23*, 33, 178.
Всеволод Большое Гнездо — 23, 38, 465.
Вундт, В. М. — 349.
Вырубов, Г. Н. — 351.
Вяземский, П. А. — 186, 243.

Галич, А. И. (1783—1848) — 206, 207.
Гаммель, И. Х. (1788—1861) — 216, 220.
Ганвей, Дж. (1712—1786) — 70.
Гаркави, А. Я. (1839—1919) — 358.
Гвоздев, П. П. — 447.
Гегель, Г.-В. (1770—1831) — 9, 11, 12, 192, 196, 197, 198, 200, 207, 210, 229, 244, 291, 294, 295, 302, 310, 315, 330, 360, 602.
Геерен, А.-Г.-Л. (1760—1842) — 167, 223, 247.
Гейне, К. Г. (1729—1812) — 96, 152.
Геккель, Э. Г. (1834—1919) — 392.
Гельвеций (1715—1771) — 122.
Гельмгольц, Г.-Л. (1821—1894) — 348.
Гельмольд (XVII в.) — 88.
Георгий Амартол (IX в.) — 22, 35, 164, 216, 217.
Герберштейн, Сигизмунд (1486—1566) — 81, 152, 176.
Гердер, И.-Г. (1744—1803) — 122, 169, 190, 245, 247.
Геродот (V в. до н. э.) — 79, 97.
Герцен, А. И. (1812—1870) — 204, 206, 207, 208, 211, 273, 275, 290, 291, 295, 300, 381, 612.
Гершензон, М. О. (1861—1925) — 474, 485, 512, 541.
Гессен, С. — 484.
Гесснер, И. М. (1691—1761) — 151.
Гете, В. — 320.
Гиббон, Эд. (1737—1794) — 170.
Гиддингс — 562.
Гизель, И. — 18, 43, 44, **45—48**.
Гизо, Ф.-П. (1787—1874) — 199, 200, 247, 256, 262, 315, 317, 320, 347, 371, 434, 526, 588, 605.
Гильдебрандт — 564.
Гильфердинг, А. Ф. (1831—1872) — 288.
Гильфердинг, Р. — 590.
Гмелин, И.-Г. — 100.
Гневушев, А. М. — 492, 510.
Гоббс, Т. (1588—1679) — 53, 54, 55, 57.
Гоголь, Н. В. — 147.
Голиков, И. И. (1735—1801) — 106, 243.
Гольбах, П. (1723—1789) — 122.
Горбачевский, И. И. — 533.
Городцов, В. А. — 492, 493.
Гостомысл — 81, 94.
Готье, Ю. В. — *186*, 490, 492, 493, **500**.
Грабянка, Г. И. (ум. 1738 г.) — 38, 432.
Градовский, А. Д. (1841—1889) — 209, **363**.
Грановский, Т. Н. (1813—1855) — 293, 315, 330, 344.
Греков, Б. Д. — *458*, 502, **508**.
Греч, Н. И. — 244.
Грибоедов, Ф. А. (XVII в.) — **40—42**, 50, 62, 63, 204.
Григорович, И. И. — 216.
Гримм, Якоб (1785—1863) — 362.
Грисбах, И. Я. — 152.
Грушевский, М. С. — 507.
Гулак, Н. И. — 424.
Гумплович, Л. — 562.
Гуссерль, Э. — 477.
Гуч (G. P. Gooch) — 13.
Гюйссен, Г. (ум. 1740 г.) — 64.

Даль, В. И. (1801—1872) — 362.
Даниил, митрополит (XVI в.) — 29.
Даниил Александрович, кн. — 33, 34, 131.
Данилевский, Г. П. — 366.
Данилевский, Н. Я. (1822—1885) — 273.
Даниельсон, Н. Ф. [Николай —он] (1844—1918) — 343, 365, 391, 398, **400—402**, 404, 606.
Дарвин, Ч. (1809—1882) — 348, 385, 392.
Дельбрюк, Г. — 478.
Де Роберти, Е. В. (1843—1915) — 351.
Державин, Н. С.— 274.
Десницкий, С. Е. (ум. 1789 г.)— 213.
Дильтей, В. — 479.
Дитятин, И. И. (1847—1892) — 443, 502.
Дмитриев, И. И. — 171, 173.
Дмитрий Донской — 132, 133, 184.
Дмитрий Иванович, царевич — 261, 269.
Добролюбов, Н. А. (1836—1861) — 207, 345, 350, 354, 365, 372, **374—377**, 378, 414, 474, 511.
Довнар-Запольский, М. В. — 497, **509**, *510*.
Домбровский, И. (1753—1829) — 222, 256, 275.
Допш, А. — 478, 479, 480.
Достоевский, Ф. М. — 474.
Дриш, Г. — 478, 484.
Дубровин, Н. Ф. (1837—1904) — 353, 417, **418**.
Дьяконов, М. А. (1855—1919) — 260, 458, 490, 491, 492, 500, **512**.
Дюбрюкс — 222, 358.
Дюмон — 215.

Евгений [Болховитинов], митрополит (1767—1837) — 214, 216, 247.
Екатерина I — 421.
Екатерина II — 93, 94, 104, 115, 117, 119, 120, 124, 125, 134, 136, 138, 149, 171, 181, 213, 215, 316, 318, 340, 387, 405—407, 468, 500, 521, 553, 594.
Елагин, И. П. (1725—1794) — **94—95**.
Елизавета Петровна — 70.
Ерманский, А. — 557, 558.
Ермолай-Эразм (XVI в.) — 29.
Ефименко, А. Я. (1848—1919) — **404—405**, *528*.
Ефрем, епископ — 142, 143.

Жданов, А. А. — 14, *585*, 621, 624, 627, 628, 630, 642.
Жданов, И. Н. — 365.
Желябужский, И. А. (XVII — XVIIIвв.) —38.
Жеребцов, Н. А. — *375*, 376.
Жирарден — 247.
Жуковский, В. А. (1783—1852) — 186, 243.

Забелин, И. Е. (1820—1908) — 358, 361, **419—420**, 436, 439.
Замысловский, Е. Е. (1841—1896) — 144, 363.
Заозерский, А. И. — 502, **508**.
Зибер, Н. И. (1844—1888) — 252.
Зиммель, Г. — 479.
Зинин, Н. Н. (1812—1880) — 204, 205, 206.
Зомбарт, В. — 478, 479.
Зонара, И. (ум. в середине XII в.) — 22, 35, 46, 88.
Зубов, П. — 119.

Иаков мних (XI в.) — 217.
Ибн-Фадлан — 216.
Иван Калита — 131, 329.
Иван III — 26, 28, 29, 62, 69, 76, 84, 89, 125, 130, 132, 133, 160, 170, 176, 179, 182, 184, 217, 225, 250, 253, 266, 305, 329, 435, 453, 465.
Иван IV — 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 62, 85, 125, 132, 133, 134, 148, 173, 174, 181, 184, 209, 213, 227, 267, 297, 299, 301, 329, 331, 334, 336, 342, 399, 413, 435, 454, 465, 522, 530, 552, 569.
Иван V Алексеевич — 66.
Иванов-Разумник, Р. В. — 511.
Игнатий дьякон (ум. 1405 г.) — 78.
Игнатович, И. И. — 509, 511.
Игорь, князь — 90, 232, 250.
Изяслав Ярославич — 33.
Иконников В. С. (1841—1923) — 16, 38, 142, 242.
Иловайский, Д. И. (1832—1920) — 133, 353, 366, **414—416**, 420.
Иоанн Новгородский — 157.
Иов, патриарх — 85.
Иорнанд (VI в.) — 88.
Иосиф Волоцкий (1440—1515) — 29.

Кавелин, К. Д. (1818—1885) —207, 209, 255, 258, 267, 275, 290, 291, **292—301**, 302, 303, 305, 313, 317, 330, 333, 336, 344, 345, 361, 363, 373, 386, 450, 464, 524, 526.
Кадлубек, В. (ум. 1223 г.) — 156.
Калайдович, К. Ф. (1792—1832) — 175, 176, 213, 214, 216—218, 221, 222, 247.
Калачов, Н. В. (1819—1885) — 356, 357, 362, 363.
Кант, И. (1724—1804) — 196, 197, 205, 207, 478.
Кантемир, А. Д. — 98.
Кантемир, К. — 97.
Карамзин, Н. М. (1766—1826) — 7, *43*, 54, 85, 123, 133, 134, 136, 137, 150, **166—188**, 203, 205, 211, 214, 223, 224, 226, 227, 232, 235, 236, 237, 243, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 256, 263, 268, 269, 270, 286, 290, 292, 294, 307, 310, 314, 317, 319, 322, 325, 328, 335, 336, 341, 342, 413, 416, 418, 431, 432, 435, 440, 442, 453, 461, 463, 465, 524.
Кареев, Н. И. — 484.
Карл Великий — 148, 252, 607.
Карпов, Г. Ф. (1848—1890) — 356, 431, 432, 439.
Карпов, Ф. (XVI в.) — 29.
Катков, М. Н. (1818—1887) — 345.
Катырев-Ростовский, И. М., кн. (XVII в.) — 37, 38.
Каутский, К. — 628, 635.
Кауфман, А. А. (1864—1919) — 404.
Качановский, М. Т. (1775—1842) — 186, 187, 205, 210, 214, **233—241**, 242, 243, 256, 258, 268, 269, 286, 294, 314.
Квинт Курций (I в. н. э.) — 61.
Кедрин, Г. (XII в.) — 22, 61, 155, 164, *217*.
Келтуяла, В. А. — 512.
Кельсиев, В. Н. — 381.
Кенникот, В. — *161*.
Кеппен, П. Н. (1793—1864) — 216, 217, 247.
Кизеветтер, А. А. (1866—1933) — **502**.

Кине, Э. — 247.
Киприан, митрополит (XIV в.) — 25, 26, 32, 78, 162.
Киреевский, Ив. В. (1806—1856) — 273, 277, **281—282**, 283, 284, 285.
Киреевский, П. В. (1808—1856) — 262, *263*, 266, 273, **280—281**, 288, 293.
Кирилл (827—869) — 82.
Кирилл Александрийский (421—445)—82.
Киров, С. М. — 14, *585*, 621, 624, 627, 628, 630, 642.
Кларендон — 58.
Ключевский, В. О. (1841—1911) — 34, 130, 140, 144, 147, 269, 300, 310, 313, 316, 319, 333, 335, 336, 337, 340, 352, 353, 362, 363, 365, 434, 435, 440, 443, **445—469**, 485, 497, 498, 502, 504, *505*, 507, 513, 514, 517, 522, 526, 530, 550, 552, 553, 554, 561, 569, 570, 572, 575, 577, 578, 580, 586, 589, 590, 592, 593.
Козьма Индикоплов (VI в.) — 29, 48.
Кольцов, Д. — 557, 558, 559.
Кондаков, Н. П. (1844—1925) — 491.
Кондорсе, М.-Ж. (1743—1794) — 122, 190.
Константин Великий, император — 57.
Константин Манассия (XII в.) — 35.
Константин Мономах (1042—1054) — 28, 47.
Константин Порфирородный (905—959) — 79, 91, 97, 144.
Конт, О. (1798—1857) — 194, 259, 347, 351, 525, 562, 569.
Контарини, А. (XV в.) — 176.
Корнилов, А. А. (1862—1925) — 511, 512.
Короленко, В. Г. (1853—1921) — 510.
Корсак, А. — 443.
Корсаков, Д. А. — 299, 366.
Корш, Е. Ф. — 290.
Костомаров, Н. И. (1817—1885) — 14, 269, 300, 353, 356, 361, 366, 381, 420, **421—440**, 441, 442, 443, 451, 453, 553, 591, 598.
Котошихин, Гр. — 556.
Кошелев, А. И. (1806—1883) — 275, 293, 344.
Коялович, М. И. (1828—1891)—16, 19.
Крамер — 96, 97.
Кранц, А. (ум. 1517 г.) — 47, 88.
Крашенинников, С. П. (1713—1755) — 106.
Кревье — 92.
Крестинин, В. В. (ум. 1795 г.) — *142*.
Кречетов, Ф. В. (род. ок. 1744 г.) — 117, 203, 556, 595.
Крижанич, Ю. — 521, 556.
Кромвель — 57.
Кромер, М. (1512—1589) — 36, 88.
Кроче, Б. — 479.
Круг, Ф. И. (1764—1844) — 216, 247.
Крукс — 478.
Крюков — 293, 315, 316.
Кудрявцев, Т., дьяк (XVII в.) — **39—40**, 49.
Кузен, В. (1792—1867) — 207, 245.
Кукольник, Н. В. — 244.
Кулиш, П. А. — 425.
Куник, А. А. (1814—1903) — 358.
Куницын, А. П. (1783—1841) — 209.
Кункин, И. Я. — *49*.
Курбский, А. М. (1528—1583) — 29, **30—31**, 38, 78, 134, 241, 435, 522, 552, 553, 556.
Кутузов, А. М. — 167.
Кутузов, М. И. — 186, 416.

Лавров, П. Л. (1823—1900) — 351, **391—395**, 396, 399, 561.
Ламартиньер, П.-М. (XVII в.) — 79.
Ламбин, Н. П. (ум. 1882 г.) — 366.
Ламбин, П. П. (1812—1871) — 366.
Ламеннэ, Ф.-Р. (1782—1854) — 208.
Лампрехт, К. (1856—1915) — 349.
Лаппо-Данилевский, А. С. (1863—1919) — *48*, 484, 485, 492, 497, **502—504**.
Лапшин, И. И. — 482.
Лёб, Ж. — 476.
Лебедев, П. Н. (1866—1912) — 350, 483, 484.
Лев Грамматик (XI в.) — 88.
Лев Диакон (X в.) — 22.
Леверрье — 483.
Ледрю-Роллен — 264.
Лейбниц, Г.-В. (1646—1716) — 54—56, 61, 73, 80, 112.
Леклерк, Н.-Г. (1726—1798) — 136, 139, 140, 141, 143, 145, **146**, 147, 148, 149.
Ленин, В. И. (1870—1924) — 8, 10, *12*, 13, 55, 59, 60, 191, 193, 198, 202, 203, 204, 275, 293, 304, 344, 345, 346, 348, 351, *352*, 354, 370, 387, *389*, 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, *404*, 423, 424, 446, 471—473, *474*, 475, *478*, 479, *480*, 483, 486, 487, 489, 524, *525*, 535, *536*, 537, 538, 540, *541*, 544, 547, 555, 557, 559, 563, 571, *581*, 584, 587, 590, 591, 592, 594, 595, 597, **599—618**, 619, 620, 623, 625, 629, 632, 635, 636, 640, 641.

Лео, Г. (1799—1878) — 201.
Леонтович, Ф. И. (1833—1911) — **363—364**.
Леонтьев, К. Н. (1831—1891) — 273.
Лерберг, А.-Х. — 216, 247.
Лжедимитрий I — 37, 39, 102, *114*, 124, 594.
Либих, Ю. — 348, 350.
Ликург — 169, 170.
Линниченко, И. А. — 510.
Литтре, Э. (1801—1881) — 349.
Лобачевский, Н. И. (1793—1856) — 204, 205, 206.
Лодж — 478.
Локк, Дж. (1632—1704) — 52—55, 120, 121, 146.
Ломоносов, М. В. (1711—1765) — 45, 81, 85, **86—92**, 106, 121, 130, 132, 158, 160, 183, 248, 453.
Лопухин, И. В. (1756—1816) — 167.
Лосенко, А. П. — 95.
Лосский, Н. О. — 482.
Луначарский, А. В. — 176.
Лучицкий, И. В. (1845—1918) — 404.
Любавский, М. К. (1860—1936) — 490, 493, 494, **499—500**.
Любовский — 206.
Любомиров, П. Г. — *119*, 502, **507—508**.
Людовик XII — 148, 530.
Людовик XVI — 121, 319.
Ляпунов, П. — 594.

Мабильон, Ж. (1632—1707) — 58.
Мабли, Г. (1709—1785) — 158, 159.
Майков, Л. Н. (1839—1900) — 363.
Макарий, митрополит (XVI в.) — 32, 78.
Макиавелли, Н. (1469—1527) — 57, 247.
Максим Грек (ум. 1556 г.) — 29, 30, 134.
Максимович, М. А. (1804—1873) — 289, 361, 425, *439*, 440.
Малиновский, А. Ф. (1762—1840) — 105, 176, 213.
Манкиев, А. И. (XVIII в.) — 44, **62—63**, 106.
Марина Мнишек — 187.
Марковников, В. В. — 206.
Маркс, К. (1818—1883) — 4, *5*, *7*, 8, *9*, *10*, 11, 12, 13, 28, 53, *118*, 191, 192, 194, 195, *197*, 201, 226, 229, *343*, 347, 348, 349, 351, 352, 354, 395, *398*, *399*, 400, 478, 481, 483, 536, 538, 543, 547, 561, 563, 567, 583, *584*, 587, 589, **600—608**, 624, 639.
Марр, Н. Я. (1864—1934) — 496.
Мартов, Л. — 557.
Маслов, П. — 557, 558.
Матвеев, А. — 38, 78.
Мах, Э. — 347, 578, 583.
Медведев, С. (1641—1691) — 38, 78.
Межов, В. И. (1831—1894) — 366, 367.
Мезерэ, Ф. (1610—1683) — 58.
Менделеев, Д. И. (1834—1907) — 204, 350, 483, 484.
Меншиков, А. Д. — 103.
Мережковский, Д. С. — 485.
Мерсье-де-ла-Ривьер, П.-П. (1720—1794) — 121.
Мессершмидт, Д.-Г. (1685—1735) — 61.
Меттерних — 605.
Мефодий (IX в.) — 67.
Мечников, И. И. — 350.
Мианcаров, М. — 367.
Миклашевский, И. Н. (1858—1901) — 492.
Миллер, Г.-Ф. (1705—1783) — 7, 32, 62, 70, 75, *79*, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, **99—115**, 116, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 136, 143, 144, 149, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 172, 175, *176*, 213, 218, 247, 358, 362.
Милль, Дж.-Ст. — 351.
Милюков, П. Н. (род. 1859 г.) — 16, 18, 95, 142, *143*, 149, 241, 311, 337, 342, 352, 365, 463, 467, 485, 498, **513—525**, 526, 527, 531, 532, 534, 541, 550, 551, 552, 555, 575, 587, 595, 632.
Милютин — 304.
Минин, К. — 437, 439.
Минцлов, С. Р. — 367.
Мирабо — 207, 264.
Михаил Александрович, тверской князь (1333—1399) — 49.
Михаил Федорович, царь — 39, 40, 41, 42, 63, 102, 133.
Михайловский, К. Н. (1842—1904) — 351, 391, **395—399**, 400, 401, 561, 610.
Михаэлис, И.-Г. (1668—1738) — 58, 96.
Михаэлис, И.-Д. (1717—1794) — 58, 151, 152, 153.
Мишле, Ж. (1798—1874) — 201, 247, 315.
Могила, П., митрополит — 43.
Молешотт, Я. (1822—1893) — 349, 350.
Моно, Г. (G. Monod) — 12.
Монфокон, Б. (1656—1741) — 58.
Монтескье, Ш.-Л. (1689—1755) — 120, 140.

Морган — 477.
Мордовцев, Д. Л. — 366, 421, 425.
Мосох — 84, 90.
Мстислав Владимирович, князь — 68, 76, 89, 179.
Муравьев, М. Н. — 381.
Муравьев, Н. М. (1796—1845) — 258.
Муратории, Л. А. (1672—1750) — 88.
Мусин-Пушкин, А. И. (1744—1817) — *48*, 61, 62, 115, 138, 175, 213, 214, 358.

Надеждин, Н. И. (1804—1856) — 19, 144, 215, 222, 361, 362.
Наполеон I — 196, 207.
Неандер, А. (1789—1850) — 315.
Небольсин, П. И. (1817—1898) — 258.
Неволин, К. А. (1806—1855) — 144, 209, 363.
Нестор (конец XI — начало XII в.)— 21, 22, 43, 79, 84, 88, 142, 145, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 170, 171, 234, 237, 266, 267, 268, 494.
Нибур, Б.-Г. (1776—1831) — 200, 210, 234, 235, 236, 242, 243, 247, 248, 251.
Никита Пустосвят — 264.
Никитский, А. И. (1842—1886) — 353, 365, *442*, 443—445, 451, 592.
Николай I — 263, 274, 319, 416, 417, 425, 596, 612.
Никон, патриарх (1605—1681) — 31, 170, 171, 380.
Новиков, Н. И. (1744—1818) — *48*, 92, 93, 106, 115, 167, 168, 213, 521, 556, 595.
Ной — 80, 90.

Овеянико-Куликовский, Д. Н. (1853—1920) — 511.
Оглоблин, Н. Н. — *101*.
Огарев, Н. П. — 290.
Одоевский, В. Ф. — 206, 207, 245.
Одоевский, Н. И., князь — 40.
Олар, А. — 418.
Олег, князь — 82, 127, 155, *163*, 178, 260.
Ольга, княгиня — 90, 127, 178, 251.
Ордин-Нащокин, А. Л. — 556.

Павел, диакон (VIII в.) — 88.
Павел I — 416, 515.
Павлов, П. В. — 426.
Павлов, И. П. (1849—1936) — 350, 483, 484.
Павлов-Сильванский, Н. П. (1869—1907) — *64*, 336, 341, 362, 404, 405, 456, 486, 500, 506, 507, 513, 514, 520, 522, 525—534, 552, 571, 578, 589, 598.
Палацкий, Ф. (1798—1876) — 275.
Панаев, И. И. — 293.
Панкратова, А. М. — *577*, 579.
Паскевич — 417.
Пассек, В. В. (1807—1842) — 222, 358.
Пастер, Л. — 348.
Пахомий Логофет (XV в.) — 26.
Пекарский, П. П. (1828—1872) — *61*, *62*, *64*, *67*, *68*, *88*, *91*, *103*, *105*, *106*, *111*, 366.
Пересветов, И. (XVI в.) — 29.
Пертц (Pertz), Г. Г. (1795—1876)—200.
Пестель, П. И. — 258, 595.
Петр Могила, митрополит — 43.
Петр I — 50, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 82, 92, 93, 104, 105, 106, 121, 124, 125, 130, 135, 145, 160, 169, 170, 171, 180, 181, 182, 184, 203, 225, 243, 245, 250, 261, 266, 267, 270, 279, 283, 288, 297, 299, 305, 317, 318, 319, 326, 329, 334, 336, 339, 341, 342, 370, 375, 376, 384, 387, 399, 414, 435, 452, 453, 457, 459, 466, 467, 498, 499, 500, 504, 514, 522, 523, 531, 532, 544, 554, 569, 590, 594, 595, 626, 633, 634.
Петр III — 117.
Петрей, П. — 152.
Петров — 205, 206.
Пиренн А. — 478, 480.
Пирогов, Н. И. — 206.
Писарев, Д. И. (1840—1868) — 350.
Пичета, В. И. — 501.
Плано-Карпини, И. — 176.
Платонов, И. — 227.
Платонов, С. Ф. — 42, 269, 336, 342, 412, 456, 465, 492, 497, 502, 504—505, 506, 507, 530, 593.
Плеханов, Г. В. (1856—1918) — 122, 255, 276, 310, 342, 345, 346, 354, 397, 401, 488, 512, 546—557, 558, 575, 578, 598, 608, 614, 633, 634.
Плиний (I в.) — 79.
Пнин, И. П. (1773—1805) — 117, 595.
Погодин, М. П. (1800—1875) — 85, 113, 133, *171*, *172*, *173*, *174*, 187, 188, 205, 207, *209*, 210, 212, 215, 234, 241, 245, 251, 254—271, 273, 275, 276, 279, 280, 281, 292, 294, 297, 310, 315, 316, 325, 328, 336, 357, 413, 414, 418, 420, 455, 494, 531.
Пожарский, Д. М. — 437, 439.
Покровский, М. Н. (1863—1932) — 16, 17, 269, 274, 435, 436, 437,

483, 488, 515, 539, 560, 573, **575—599**, 641.
Полевой, Н. А. (1796—1846) — 187, 205, 207, 210, 215, 236, 241, **242—254**, 258, 290, 301.
Поликарпов, Ф. П. (ум. 1731 г.) — 61, 62.
Полунин, Ф. А. (XVIII в.) — 106.
Попов, А. Н. (1821—1877) — **286—287**.
Попов, А. С. — 350.
Попов, Н. А. (1833—1891) — *68*, *69*, *72*, *317*.
Посошков, И. Т. (1652—1726) — 71, 271, 531, 556.
Постников, В. Е. — 404.
Потебня, А. А. (1835—1891) — 362.
Потемкин, Г. А. — 119, 138, 421, 567.
Потресов, А. Н. — 557.
Прасковья, царица — 66, 421.
Преображенский — 597.
Пресняков, А. Е. (1871—1929) — 36, 269, 365, 412, 454, 463, 490, 492, 496, 500, 502, *504*, **505—507**, 527, 528, 591.
Преторий — 88.
Пригара, А. — 473.
Приселков, М. Д. — 23, 25, 26, 176, 495, 496, 502.
Прозоровский, Д. И. — 358.
Прокопий (VI в.) — 88.
Прокопович, Феофан (1681—1736) — 64, 68, 81, 97.
Прус — 26, 28, 34, 42, 62, 81.
Птоломей (II в.) — 79.
Пугачев, Е. — 117, 124, 134, 264, 338, 418, 425, 468, 553, 593, 595.
Пуффендорф, С. — 59, 60.
Пушкин, А. С. (1799—1837) — 87, 186, 187, 188, 204, 244, *468*.
Пыпин, А. Н. (1833—1904) — *43*, 365, 511.

Радищев, А. Н. (1749—1802) — 117, 179, 203, 521, 527, 532, 533, 548, 549, 556, 595, 612.
Радлов, Э. — *481*.
Разин, С. — 287, 338, 380, 425, 435, 436, 468, 553, 593, 594.
Разумовский, К. Г. (1728—1803)—154.
Ранке, Л. (1795—1886) — 200, 315.
Раумер, Ф. (1781—1873) — 200, 315.
Редкин, П. Г. (1808—1891) — 293.
Рейналь, Ф. (1713—1796) — 140, 158.
Ремезов, С. У. (XVII в.) — 48, 49, 101.
Рикардо, Д. — 351.
Риккерт, Г. — 452, 477, 479, 484, 562, 583.
Риттер, К. (1779—1859) — 315, 316, 349, 350, 351, 585.
Рише — 478.
Ришелье — 319.
Робертсон, У. (1721—1793) — 170, 253.
Робеспьер, М. — 207.
Рожков, Н. А. (1868—1927) — 456, 482, 488, 492, 539, 557, 558, **559—575**, 577, 578, 598, 633, 634.
Розенкампф, Г. А. (1762—1832) — 216.
Роллен, Ш. (1661—1741) — 92.
Романов, А. И. — 42.
Романовы — 37, 41, 42, 85, 172, 261, 594, 596.
Ростовцев, М. И. — 492, 493.
Рошер, В.-Г. (1817—1894) — 349, 352.
Ртищев, Ф. — 467.
Рубинштейн, Н. Л. —274.
Рубрук, В. (XIII в.) — 176.
Румянцев, Н. П. (1754—1826) — 166, 213, 214, 215, 216, 217.
Русанов — 511.
Руссо, Ж.-Ж. (1712—1778) — 168, 169.
Рюрик — 26, 32, 40, 62, 68, 76, 81, 82, 90, 132, 144, 160, 179, 182, 248, 249, 260, 279, 313, 329.
Рюриковичи — 22, 25, 41, 42, 62, 133, 331, 607.
Рыбников, П. Н. (1832—1885) — 361.
Рычков, П. И. (1712—1777) — 104, 213.

Савельев, П. С. (1814—1859) — 358.
Савиньи, Ф. К. (1779—1861) — 197, 275.
Савич — 424.
Сазонов, И. — 241.
Сакулин, П. Н. (1868—1922) — 511.
Салиас де Турнемир, Е. А. — 366.
Салтыков, Ф. С. — 64, 511.
Сальвиоли, Г. — 480.
Самарин, Ю. Ф. (1819—1876) — 277.
Самовидец (ум. ок. 1702 г.) — 38, 357, 432.
Самоквасов, Д. Я. (1843—1911) — 359.
Сафонович, Феодосий — **43—45**, 48, 49, 63.
Сахаров, И. П. (1807—1863) — 361.
Святополк I Владимирович — 231, 232, 251.
Святополк Изяславич — *23*, 33, 129, 178, 592.
Святослав Игоревич — 95.
Святослав Ярославич — 33.
Сей, А. — 478.

Семевский, В. И. (1848—1916) — 353, **405—409**, 508, 509, 511.
Семевский, М. И. — 366, 421.
Семенов — 258, 365.
Семлер — 152.
Сен-Симон, А. (1760—1825) — 194, 208, 543.
Сергеевич, В. И. (1835—1911) — 260, 363, **364—365**, 455, 463, 506, 524, 526.
Середонин, С. М. — 493.
Сеченов, И. М. — 350.
Сибиряков, А. И. — 406.
Сизов, В. И. — 359.
Сильвестр, летописец (конец XI — начало XII в.) — 21, *23*, 156, 157, 162, 435.
Сисмонди — 197, 258, 396.
Слейдан, И. (XVI в.) — 58.
Смирнов, П. П. — 501, **509—510**.
Смит, А. (1723—1790) — 191, 208, 351.
Смышляев, Д. Д. — 367.
Снегирев, И. М. (1793—1868) — 222, 361.
Соймонов, Ф. — 104.
Соколовский, П. А. (1842—1906) — **404**.
Соловьев, Вл. С. (1853—1879) — 350, 474, 481, 482.
Соловьев, С. М. (1820—1879) — 15, 16, *76*, 83, *84*, *85*, 86, 89, 130, **131**, 137, 188, 205, 210, 212, 222, 223, 234, 255, 257, 258, 260, 269, 275, 277, 278, *283*, 284, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 305, **312—342**, 344, 352, 355, 356, 372, 373, 375, 379, 411, 413, 415, 420, 423, 424, 427—429, 431, 439, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 452, 454, 461, 462, 463, 464, 465, 468, 497, 505, 514, 517, 519, 524, 526, 530, 531, 534, 550, 552, 553, 598.
Софья Алексеевна — 225.
Софья Палеолог — 28.
Спенсер, Г. (1820—1903) — 259, 392, 396, 525, 526, 561.
Сперанский, М. М. (1772—1839) — 179, 180, 208, 209, 211, 220, 374.
Спицын, А. А. — 360, 492.
Срезневский, И. И. (1812—1880) — 424, 425.
Сталин, И. В. — 13, 14, 59, *395*, 403, 471, 473, *481*, 483, 487, *585*, 591, 594, *605*, 615, **618—640**, 641, 642.
Станкевич, Н. В. — 207, 234, 241, 269.
Старчевский, А. — *43*, *44*, *45*.
Степан Бородатый, дьяк (XV в.) — 26.
Столетов, А. Г. (1839—1896) — 350, 483.
Столыпин, П. А. — 615.
Сторожев, В. Н. — 578.
Страбон (ум. 23 г. н. э.) — 79.
Стралленберг, Ф.-И. (1676—1744) — 61, 68, 69, 75, 84, 108.
Стратеман — 59, 60.
Стрекалов — 241.
Стриттер, И. Г. (1740—1801) — 128, 157, 234.
Строганов, С. Г. — 358.
Строев, П. М. (1796—1876) — 82, 83, 102, 103, 105, 114, 175, 176, 213, 214, 216, **217—220**, 221, 247, 257, 356, 357, 418.
Строев, С. М. (1815—1840) — 241.
Струве — 204, 205.
Струве, П. Б. — 396, 397, 403, *424*, 474, 475, 479, 487, 518, 535, 536, **537—543**, 544, 545, 549, 560, 573, 575, 633.
Стрыйковский — 36.
Стурлесон Снорре (1179—1241) — 100.
Стюарты — 57.
Сумароков, А. П. (1717—1777) — 95.
Сусанин, И. — 437, 439.

Тард, Г. — 349.
Татищев, В. Н. (1686—1750) — 18, 33, 61, 64, **65—86**, 88, 90, 91, 95, 96—98, 101—103, 106, 107, 108, 112—113, 114, 118, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 153, 160, 162, 164, 176, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 362, 556.
Татищев, С. С. (1846—1906) — *417*.
Тауберт — 87.
Тацит (I—II в.) — 170.
Тенгоборский, Л. В. (1793—1857) — 208.
Теплов, Г. Н. (1720—1770) — 154.
Терещенко, А. В. (1806—1865) — 222, 361.
Тизенгаузен, В. Г. (1825—1902) — 358.
Тимирязев, К. А. (1843—1925) — 350, 484.
Тимофеев, И. (XVII в.) — 37, 38.
Тит Ливий — 235.
Тихомиров, М. Н. — *26*, *31*.
Тихонравов, Н. С. (1832—1893) — 362, 365.
Толстой — 213.
Тотлебен — 416.

Тредьяковский, В. К. (1703—1769) — **92—93**, 95.
Туган-Барановский, М. И. — 534, **537, 543—545**.
Тургенев, И. С. — 290, 350, 533.
Тургенев, Н. И. (1789—1871) — 208.
Тьер, Л.-А. (1797—1879) — 200.
Тьерри, О. (1795—1856) — 11, 201, 202, 246, 247, 252, 253, 256, 262, 317.
Тэн, И. (1828—1893) — 349, *466*.

Уваров, А. С. (1828—1884) — 359.
Уваров, С. С. — 211, 219.
Уорд, Л. — 562.
Устрялов, Н. Г. (1805—1870) — 353, 375, **414**, 417.

Фармаковский, Б. В. — 492, 493.
Федор Алексеевич (1661—1682) — 42.
Федор Борисович [Годунов] — 39..
Федор Иванович (1557—1598) — 39, 41, 42, 85, 107, 132, 133, 184.
Фейербах, Л. (1804—1872) — 207, 291, 350, 533.
Феодосий, игумен (XII в.) — 100.
Феодосий Косой (XVI в.) — 29.
Феофан Проповедник (VIII в.) — 88.
Фиоровенти, Аристотель (XV в.) — 29.
Фирсов, Н. Н. — 510.
Фихте, И. Г. (1762—1814) — 196, 207.
Фишер, И. Э. (1697—1771) — 37, 96, **97—98**, 104.
Флеровский (Берви), В. В. (1829—1918) — 354.
Фонвизин, Д. И. (1745—1792) — 94.
Фотий, митрополит (XV в.) — 26.
Фохт — 347, 349, 350.
Франк, С. — 474, 482.
Френ, Х. Д. (1782—1851) — 216, 247.
Фриче, В. — 512.
Фрязин, Антон — 29.
Фрязин, Марк — 29.
Фукидид (V в.) — 235.
Фурье, Ш. (1772—1837) — 258.
Фютер, Э. (Fueter, Ed.) — 12.

Хвойко, В. В. — 492, 493.
Хворостинин, И. А. (ум. 1625 г.)—37, 556.
Хилков, А. Я. — 62, **106**.
Хмельницкий, Богдан — 46, 357, 424, 425, 431, 432, 438, 439, 440.
Ходаковский, А. — 222, 362.
Хомяков, А. С. (1804—1860) — 273, 275, 277, 282, **283—286**, 325.

Чаадаев, П. Я. (ум. 1856 г.) — 204, 211, 212, 548, 550.
Чеботарев, Х. А. (1745—1815) — 213, 214.
Череванин, Н. — 557, 558, 559.
Чернышевский, Н. Г. (1828—1889) — 196, 204, 207, 245, 246, *275*, 290, 293, 301, 320, 345, 350, 351. 352, 354, 365, **369—374**, 375, 376, 378, 385, 423, 425, 447, 451, 474, 511, 512, 526, 545, 549, 601, 613.
Чингис-хан — 101.
Чичерин, Б. Н. (1828—1904) — 207, 260, 265, 277, 278, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 300, **301—312**, 314, 319, 322, 324, 325, 334, 335, 345, 350, 352, 364, 383, 384, 386, 388, 405, 430, 431, 435, 445—447, 450, 452, 460, 462—463, 464, 465, 466, 517, 519, 520, 524, 526, 528, 530, 598.
Чуди, Э. (1505—1572) — 58.

Шад, И.-Б. (1758—1834) — 208.
Шапиро, А. Л. — *370*.
Шатобриан, Ф.-Р. (1768—1848) — 201.
Шафарик, П. И. (1795—1861) — 222, 256, 275, 327.
Шафиров, П. П. — 64.
Шахматов, А. А. (1864—1920) — 19, 21—23, 26, *31*, 79, 163, 166, 490, 491, **494—496**, 506, 508.
Шашков, С. С. (1841—1882) — 377, 409, 410.
Шевченко, Т. Г. — 424, 425.
Шейн, П. В. (1826—1900) — 361.
Шеллинг, Ф.-В. (1775—1854) — 195, 196, 197, 205, 206, 207, 245, 275, 285, 291, 320, 428, 477.
Шемберг — 69.
Шереметев — 106.
Шиллер, Фр. — 320.
Шильдер, Н. К. (1842—1902) — 353, **416—417**.
Ширинский-Шихматов, П. А. — 220.
Шлегель, А.-В. (1767—1845) — 201.
Шлецер, А.-Л. (1735—1809) —322, 46, 58, 81, 85, 87, 97, 98, 102, 104, 114, 119, 121, 139, 141, 14, 143, 149, **150—166**, 167, 172, 174—176, 182, 213, 214, 217, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 234, 235, 237, 243, 255, 256, 258, 268, 269, 286, 328, 491.
Шмидт, К. (1863—1932) — 53.
Шмоллер, Г. (1883—1917) — 349, 352.
Шпенглер, О. — 480.
Штаммлер, Р. — 480.

Штейнгель, В. — 208.
Шторх, А. К. (1766—1836) — 208.
Штрубе де Пирмонт, Ф.-Г. — 87, 96, **98**, 233.
Шубинский, С. Н. — 366, 421.
Шумахер — 87, 99.
Шхонебек — 61.

Щапов, А. П. (1830—1876) — 207, 350, 352, 353, 363, **377—388**, 409, 423, 426, 447, 448, 450, 451, 460, 598.
Щеголев, П. Е. (1877—1931) — 511.
Щербатов — 417.
Щербатов, М. М. (1733—1790) — 54, 78, 82, 92, 95, 106, 110, 113, 114, 115, **116—137**, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 156, 160, 162, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 203, 213, 225—226, 227, 236, 270, 322, 328, 417, 452, 556.

Эверс, Г. (1781—1830) — 167, 182, 185, 204, 216, **223—233**, 235, 237, 238, 240, 242, 249, 251, 294, 295, 314, 331, 530.
Эмин, Ф. А. (1735—1770) — 92, **93—95**.
Энгельс, Ф. (1820—1895) — 4, *5*, 7, 8, *9*, 10, 13, 53, 57, 118, 192, 194, 195, *197*, *201*, 229, 343, 347, 348, 349, 354, 395, 481, 483, 529, 547, *584*, 591, **600—608**, 639.
Эрн, В. — *482*.

Южаков, С. Н. (1849—1910) — 398, 402.
Юлиан, император — 82.
Юм, Д. (1711—1786) — 54, 123, 139, 170, 174, 178, 235, 347, 477.
Юрий Всеволодович, князь — 84, 160, 225.
Юрий Долгорукий, князь — 33, 84, 132.
Юшкевич, П. — 483.

Ядринцев, Н. М. (1842—1894) — 409.
Языков — 227.
Якоб — 208.
Яковлев, Н. М. — 502.
Яковля, Г. — 42.
Якушкин, П. И. (1820—1872) — 361.
Ярополк I Святославич — 84, 231.
Ярослав I Владимирович — 26, 33, 46, 87, 89, 90, 132, 183, 184, 232.
Ярослав Ярославич — 34.
Ярославский, Ем. — 608.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . . . 3—5

Введение . . . . . 7—17
Задача и тема марксистской историографии, *7*. — Развитие исторической науки и возникновение историографии, *9*. — Кризис буржуазной науки и судьба буржуазной историографии, *12*.—Содержание курса русской историографии, *13*. — Периодизация русской историографии, *15*. — Русская историографическая литература, *16*.

Раздел I

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ РОССИИ ДО КОНЦА XVII в.

Глава 1. Историческое знание в период феодальной раздробленности (XI—XV вв.) . . . . . 18—26
Начало исторического знания, *18*. — Летопись как историографический памятник, *20*. — История древнерусского летописания. «Повесть временных лет», *21*. — Местное летописание и своды XII—XIV вв., *23*. — Переход к общерусскому своду, *25*.

Глава 2. Русская историография феодально-абсолютистского периода (XVI—XVII вв.) . . . . . 27—50
Перемены в истории Московской Руси, *28*. — Историческая повесть. «История о великом князе Московском» князя Курбского, *30*. — Летописные своды XVI в., *31*. — «Степенная книга», *32*. — Хронограф, *35*. — Сказания и повести периода крестьянской войны и интервенции, *37*. — Попытки разработки истории в XVII в., *38*. — «История» дьяка Грибоедова, *40*. — Украинские писатели в русской историографии. Феодосий Сафонович, *43*. — «Синопсис» Иннокентия Гизеля, *45*. — Рост исторического кругозора в XVII в., *48*.

Раздел II

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В XVIII В.
ПРЕВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В НАУКУ

Глава 3. Начало нового исторического этапа . . . . . 51—64
Общественные и философские основы новой европейской науки, *51*. — Философско-историческая концепция рационализма, *54*.— Развитие конкретного исторического изучения в XVII в., *57*. — Русское общество и реформа Петра I, *59*. — Переводная историческая литература при Петре I, *60*. — Первые русские исторические работы начала XVIII в., *61*.

Глава 4. Татищев . . . . . 65—86
Формирование исторических взглядов Татищева, *66*. — Основы мировоззрения Татищева, *71*. — Исторические воззрения Татищева, *72*. — Исторические труды Татищева, *74*. — «Введение» и его содержание. Общие вопросы русской истории и ее изуче-

ния, *75*. — Вопросы источниковедения у Татищева, *77*. — Вопросы этнографии, *79*. — Историческая география, *81*. — Вопросы хронологии и генеалогии, *82*. — Изложение конкретной истории России, *82*. — Историческое значение работ Татищева, *85*.

Глава 5. Ломоносов. Два направления в дальнейшей разработке русской истории . . . . . **86—98**
Ломоносов М. В., *86*. — «Древняя Российская история», *90*. — Литературное (риторическое) направление, *92*. — Академия наук и русская историческая наука, *95*.

Глава 6. Миллер . . . . . **99—115**
Начало деятельности Миллера в России, *99*. — Сибирская экспедиция и разработка истории Сибири, *100*. — Развертывание научной работы. Журналы. Архивы. Публикации, *103*. — Проблема источника. Начало археологии. Источниковедение, *107*. — Проблема научной критики, *110*. — Этнографическая проблема у Миллера, *111*. — Восстановление исторического факта и проблема исторического синтеза, *113*. — Значение Миллера в русской историографии, *114*. — Расширение работы с источником. «Древняя Российская Вивлиофика», *115*.

Глава 7. Щербатов . . . . . **116—137**
Общественно-политические истоки исторических взглядов Щербатова, *116*. — Научная основа воззрений Щербатова. Западное влияние, *120*. — Источники исторических взглядов Щербатова, *121*. — Исторические работы Щербатова, *124*. — Работа Щербатова над источником, *125*. — Критика источника, *127*. — Трактовка русского исторического процесса, *129*. — Периодизация русской истории, *131*. — Политическая идеология в «Истории» Щербатова, *133*. — Полемика с Болтиным. Значение Щербатова, *136*.

Глава 8. Болтин . . . . . **137—150**
Формирование исторических взглядов Болтина, *138*. — Постановка вопросов истории у Болтина, *140*. — Вопросы подготовки историка, *141*. — Источник и его критика, *142*. — Историческая география, *143*. — Проблемы этнографии и этногенеза, *144*. — Понимание исторического процесса, *145*. — Периодизация русской истории. Проблема феодализма в России, *147*. — Значение Болтина в историографии, *149*.

Глава 9. Шлецер . . . . . **150—166**
Биографические сведения. Научная подготовка Шлецера, *151*. — Начало изучения России, *152*. — Начало научной работы над летописью, *154*. — Возвращение в Геттинген и последующие занятия русской историей, *158*. — Шлецер-историк. Общие вопросы истории России, *159*. — Вопросы критики источника, *160*. — Вопросы русского летописания, *162*. — «Высшая критика». Проблемы этнографии и общественного строя, *164*. — Значение работ Шлецера, *165*.

Глава 10. Карамзин . . . . . **166—188**
Основы формирования мировоззрения Карамзина, *167*. — Начало исторических занятий Карамзина, *171*. — Исторические взгляды Карамзина, *173*. — «История» и ее источники, *175*. — Трактовка исторического факта, *177*. — Общая концепция русской истории, *179*. — Периодизация истории России, *181*. — Отражение идей XIX в. в исторической схеме Карамзина, *184*. — Карамзин и современники. Историографические итоги, *186*.

Раздел III

ПЕРИОД БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ. XIX ВЕК

Глава 11. Введение. Теоретические основы . . . . . 189—212
Проблемы исторического развития в науке XIX в., *190*. — Основные элементы проблемы и их решение, *193*. — Немецкая классическая философия. Распространение шеллингианства и гегельянства, *195*. — Историческая наука в Западной Европе, *198*. — Экономические и социальные сдвиги в России, *202*. — Развитие русской научной мысли. Естественные науки, *205*. — Общественные науки в России в первой половине XIX в., *207*. — Путь русской исторической науки, *210*.

Глава 12. Собирание и публикация памятников русской истории. Изучение источников . . . . . 212—222
Состояние изучения источников к началу XIX в., *213*. — Организация научных обществ и исторических изданий, *213*. — Кружок Румянцева, *215*. — П. М. Строев. Начало археографических работ, *217*. — Археографическая экспедиция и Археографическая комиссия, *219*. — Развитие смежных и вспомогательных дисциплин, *221*.

Глава 13. Начало новой исторической науки в России. Эверс 223—233
Эверс. Начало научной работы, *223*. — Новая тематика, *224*. — Древнейшее право руссов. Новые научные принципы, *228*. — Схема развития Эверса. Родовая теория, *229*. — Общие итоги, *232*.

Глава 14. Скептическая школа в русской историографии. Каченовский . . . . . 233—241
Каченовский, *233*. — Теория скептической школы, *235*. — Баснословный период русской истории, *236*. — Значение критики Каченовского. Его школа, *240*.

Глава 15. Полевой . . . . . 242—254
Полевой и его время, *242*. — Научные воззрения Полевого, *244*. — Источники исторических взглядов Полевого, *247*. — «История русского народа», *249*. — Значение труда Полевого, *253*.

Глава 16. Погодин . . . . . 254—271
Место Погодина в историографии, *255*. — Биографические данные. Развитие взглядов, *255*. — Научный метод Погодина, *258*. — Вопрос исторического развития России и Запада, *261*. — Процесс исторического развития. Народ и государство, *264*. — Общая схема русского исторического процесса, *266*. — Отдельные вопросы русской истории. Летопись Нестора, *267*. — О возвышении Москвы, *269*. — Борис Годунов и крепостное право, *269*. — Роль Петра I, *270*. — Издание исторических памятников, *271*. — Общие итоги, *271*.

Глава 17. Славянофилы . . . . . 271—289
Славянофилы в историографии. Славянофилы и западники, *273*. — Проблема народа и государства. Константин Аксаков, *276*. — Историческая схема К. Аксакова, *278*. — Россия и Европа. Иван Киреевский, *281*. — Философия истории А. С. Хомякова, *283*. — Историки славянофильской школы, *286*.

Глава 18. Государственная школа. Кавелин. Чичерин . . . . 289—312
Государственная школа русской истории, *290*. — Кавелин. Формирование его взглядов, *292*. — Концепция русского исторического процесса, *294*. — Народ и государство. Россия и Европа в схеме Кавелина, *298*. — Оценка Кавелина, *300*. — Чичерин, *301*. — Учение о государстве. Государство и народ, *302*. — Го-

сударство и народ в истории России, *304*. — Закрепощение и раскрепощение сословий. Крестьянство и сельская община, *306*. — Развитие Русского государства, *309*. — Упразднение единой закономерности исторического процесса, *310*.

Глава 19. Соловьев . . . . . 312—342
Оценка Соловьева в историографии, *313*.—Формирование исторических воззрений, *314*. — Политическая идеология, *317*. — Историческая теория органического развития, *320*. — Соловьев и концепция государственной школы, *322*. — Основные вопросы исторического развития, *324*. — Периодизация русской истории, *328*. — Киевская Русь. Теория родового быта, *330*. — Северо-восточная Русь, *332*. — Петр I и «эпоха преобразований», *336*. — Вопросы народной борьбы и истории народов, *338*. — Специальные исследования, *339*. — Значение Соловьева в русской историографии, *341*.

Глава 20. Предпосылки развития исторической науки во второй половине XIX в. (60—80-е годы) . . . . . 343—354
Экономические и социальные сдвиги, *343*. — Развитие западноевропейской буржуазной науки, *346*. — Развитие философской и научной мысли в России, *350*. — Развитие общественных наук и истории, *351*.

Глава 21. Развитие исторического знания в период 60—80-х годов. . . . . 354—367
Развитие исторического знания. Специальные исторические дисциплины, *355*. — Археография, *356*. — Археология, *358*. — Этнография, *360*. — Историческая география, *362*. — Выделение специальных исторических дисциплин, *363*. — Распространение исторических знаний. Журналы, *365*. — Историческая библиография, *366*.

Глава 22. Великие русские просветители Чернышевский и Добролюбов. Щапов и начало народничества . . . . . 367—388
Великие русские просветители. Чернышевский, *369*. — Вопросы русской истории в освещении Чернышевского, *372*. — Добролюбов, *374*. — Щапов. Формирование взглядов, *377*. — Раскол как народное движение, *379*. — Значение народа в истории России, *382*. — Материализм Щапова. Вопрос о причинах отсталости, *384*. — Народ и государство. Прогресс и интеллигенция, *386*. — Общая оценка, *388*.

Глава 23. Народническое направление в русской исторической литературе . . . . . 388—410
Исторические корни народничества, *389*. — Теоретические основы. Социология Лаврова, *391*. — Теоретические основы. Социология Михайловского, *395*. — Экономическая история в народнической историографии, *399*. — Социальная история. Крестьянство и крестьянская община, *403*. — В. И. Семевский, *405*. — Местная история. Сибирское областничество, *409*.

Глава 24. Буржуазная историческая наука в 60—80-е годы . . 410—421
Общие замечания, *411*. — «Объективное знание». Бестужев-Рюмин, *411*. — Официальное направление. Политическая история, *414*. — Археографическое направление, *417*. — Археологическое направление. История быта, *418*. — Местная история, *420*. — Историческая повесть, *421*.

Глава 25. Костомаров . . . . . 421—440
Место Костомарова в русской историографии, *423*. — Биографические данные, *424*. — Теоретические позиции. Проблема народа и этнография, *427*. — Государство и народ, *430*. — Пользо-

вание источником, *431*. — Общее направление исторического изучения, *433*. — Основная схема истории России, *434*. — Проблемы украинской истории, *437*. — Современная критика сочинений Костомарова, *439*. — Художественный романтизм Костомарова, *440*.

Глава 26. Буржуазный экономизм. Ключевский . . . . . **441—469**
Буржуазный экономизм, *441*. — Развитие буржуазного экономизма в России, *442*. — А. И. Никитский, *443*. — Историографическое место Ключевского, *445*. — Биографические данные. Развитие научной деятельности, *446*. — Теоретические основы, буржуазный экономизм и юридическая схема, *450*. — Социология и «культурно-историческая точка зрения», *451*. — Художественность исторического мышления, *453*. — Методологические позиции Ключевского в 80-е годы, *454*. — «Боярская Дума», *456*. — Происхождение крепостного права в России, *457*. — Торжество юридической схемы. «Курс русской истории», *459*. — Общая схема русской истории, *461*. — Первый период — Киевская Русь, *462*. — Русь верхневолжская, удельно-княжеская, *464*. — Русь Московская, царско-боярская, *465*. — Период IV — императорско-дворянский, *467*. — Проблема народа в «Курсе» Ключевского, *468*. — Значение Ключевского, *468*.

Раздел IV

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА

Глава 27. Общественная и научная мысль в России в период империализма . . . . . **470—488**
Изменение социальных отношений. Пролетариат и буржуазия, *471*. — Эволюция общественной мысли, *473*. — Пути буржуазной философии и научной мысли Западной Европы, *476*. — Пути русской философской и научной мысли, *481*. — Пути буржуазной исторической науки в России, *484*. — Ленин и русская историческая наука, *486*.

Глава 28. Развитие буржуазной исторической науки в конце XIX — начале XX в. . . . . . **488—513**
Общее направление исторической работы, *489*. — Рост научной базы. Развитие источниковедения, *491*. — Археология и памятники материальной культуры, *492*. — Историческая география, *493*. — Развитие исторических исследований. История и источниковедение. А. А. Шахматов, *494*. — Изучение экономических и социальных явлений. Противоречия государственной школы, *496*. — Московская школа историков, *497*. — Петербургский университет, *502*. — Местные центры исторических изучений, *509*. — История общественных движений, *511*. — История культуры и общественных идей, *511*. — История права, *512*. — Итоги, *513*.

Глава 29. Милюков . . . . . **513—525**
Милюков, *514*. — Теория и методология, *515*. — Концепция русской истории. Народ и государство, *517*. — История русского государства, *519*. — История русской культуры, *520*. — Общая концепция и оценка Петра I, *522*. — История идеологии и проблема историографии, *524*. — Итоги, *524*.

Глава 30. Павлов-Сильванский . . . . . **525—534**
Научные взгляды и деятельность Павлова-Сильванского, *525*. — История феодализма в России, *527*. — Общая концепция и периодизация русской истории, *529*. — Реформы Петра I в оценке Павлова-Сильванского, *531*. — Общественное движение конца XVIII — начала XIX в., *532*. — Общие итоги, *533*.

Глава 31. Отражение марксизма в буржуазной литературе. Струве, Туган-Барановский . . . . . 534—545
Легальный марксизм, *535*. — Струве о капиталистическом развитии России, *537*. — Крепостное хозяйство и реформа в освещении Струве, *538*. — Апология государства, *541*. — История русского капитализма по Тугану-Барановскому, *543*.

Глава 32. Плеханов. Мелкобуржуазные тенденции в социал-демократии. «Меньшевистский пятитомник» . . . . . 545—559
Плеханов и русская историческая наука, *546*. — История русской общественной мысли. Теория и ее источники, *550*. — Общая схема русской истории, *552*. — «История общественной мысли», *555*. — «Меньшевистский пятитомник», *557*.

Глава 33. Рожков . . . . . 559—575
Рожков и марксизм, *560*. — Формирование научной и политической идеологии, *561*. — Историческая концепция Рожкова. Учение об обществе, *563*. — Социальная динамика. Проблема исторической закономерности, *567*. — Первые работы по русской истории, *569*. — Общая концепция русской истории, *571*. — Итоги, *575*.

Глава 34. Покровский . . . . . 575—599
Покровский и русская историческая наука, *576*. — Исторический путь Покровского, *577*. — Методология Покровского и марксизм, *580*. — Учение об обществе и проблема закономерности, *581*. — Исторические работы Покровского, *586*. — Общая концепция русской истории. Вопросы периодизации, *588*. — Основные проблемы русской истории в «четырехтомнике», *592*. — Проблемы буржуазного развития и революционной борьбы XIX—XX вв., *595*. — Историографические работы Покровского, *598*.

Глава 35. Ленин и русская историческая наука . . . . . 599—618
Теория исторического материализма, *600*. — Маркс и Энгельс о России, *605*. — Ленин о закономерности исторического развития России, *608*. — Ленин о русском феодализме, *610*. — Крестьянская реформа и развитие капитализма в России, *613*. — Вопросы революции в России, *614*. — Империализм в России. Программа и итоги, *615*.

Глава 36. Сталин . . . . . 618—640
Иосиф Виссарионович Сталин и историческая наука, *619*. — Теория марксизма и исторический материализм, *624*. — История Октябрьской революции, *628*. — Проблемы общей истории нашей страны, *632*. — Проблема национального развития, *636*. — «Краткий курс истории ВКП(б)» и направление советской исторической науки, *638*.

Заключение . . . . . 641—642

Именной указатель . . . . . 643—653

ВОЛОГОДСКАЯ
ЧИТАЛЬНАЯ
Областная библиотека

ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
31	8 сверху	объединения	обеднения
122	20 сверху	Menschengeschichte	Geschichte

Подписано в печать 31/V 1941 г. Объем 41¼ п. л. 47 040 зн. в 1 п. л. 41,9 авт. л. А38157. Тираж 20 000 экз. Цена в перепл. 7 р. 85 к.

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», Москва, Валовая, 28. Заказ № 558.

48
50
52
54
56
86
08
16

7 р. 85 к.